ISSN 0130–6545

9.1980

Иностранная литература

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

Сентябрь

9

1980

Содержание

НГУЕН ДИНЬ ТХИ — Рассказы *(Перевод с вьетнамского и вступление М. Ткачева)* 3

ГИЛЬЕРМО ДИАС ПЛАХА — Стихи разных лет *(Перевод с испанского Сергея Гончаренко)* 28

ЖОРЖИ АМАДУ — Возвращение блудной дочери *(Роман. Продолжение. Перевод с португальского Юрия Калугина)* . 33

КОНСТАН БЮРНИО — Стихи *(Перевод с французского и вступление М. Кудинова)* 106

ИРВИН ШОУ — Богач, бедняк... *(Роман. Продолжение. Перевод с английского Иды Басавиной)* 112

Литературные иллюстрации

РОБЕРТ МУЗИЛЬ — Рассказы *(Перевод с немецкого А. Карельского и Т. Свительской. Вступление А. Карельского)* . 161

Критика

И. ЗОРИНА — Момент постижения ответственности (О третьей советско-американской встрече писателей) 183

Заметки писателя

ИРЖИ ТАУФЕР — Что есть поэзия? *(Перевод с чешского С. Пархомовской)* 192

ДАВИД САМОЙЛОВ — Прозаизация поэзии и поэтизация жизни 197

Трибуна переводчика

ВЕРА ПОТАПОВА — Сила златострунной арфы 200

К нашим иллюстрациям

М. Т. — Лубки деревни Донгхо 204

Культура и современность

Заметки на полях

Е. КАРЦЕВА — «Странный поворот к ужасу»: случайность или закономерность? 205

Публицистика

Проблемы идеологии

Л. ТОДОРОВА — «Свободный поток информации», или Культурно-информационный экспансионизм США 209

«Нет!» фашизму, «нет!» войне

ДИК ВАЛДА — Они были детьми... *(Перевод с голландского И. Волевич)* 219
ЮРГЕН ПОМОРИН, РЕЙНГАРД ЮНГЕ — Неонацисты *(Перевод с немецкого А. Плюто)* 228
ВЛАДИМИР ЛОМЕЙКО — Способно ли еще плодоносить чрево?.. 237

Антирубрика

ДИНО БУДЗАТИ — Военная песня *(Притча. Перевод с итальянского Владимира Ронина)* 239
ЭНТОНИ БАКЕРИДЖ — Пропавшая книга *(Перевод с английского Владимира Постникова и Игоря Золотарева)* . . 241
ДЖОН КОЛЬЕР — Ах, университет! *(Перевод с английского Татьяны Гинзбург)* 242

Наши гости

Радий Фиш — Самим Коджагёз (Турция) 244

Из нашей почты

246

Среди книг

Издано в СССР

Юрий Суровцев — Сходное, близкое, наше общее... ✦ В. Перехватов — Страницы боли и гнева. ✦ Т. Ротенберг — Исследователь и сказочник Джон Гарднер 250

Издано за рубежом

М. Николаева — Неприкаянные ✦ Сергей Белов — Как победить чуму 256

Из месяца в месяц

261

На обложке: репродукция вьетнамского лубка.

© «Иностранная литература», 1980 г.

НГУЕН ДИНЬ ТХИ

Рассказы

Перевод с вьетнамского и вступление М. ТКАЧЕВА

Революция защищается

Вроде бы отошел в прошлое далекий уже август сорок пятого, когда по городам и сельским уездам Вьетнама прокатился могучий шквал народной революции и стала хрестоматийной зачитанная вскоре, 2 сентября, товарищем Хо Ши Мином на грандиозном митинге в Ханое «Декларация независимости», возвестившая миру о рождении нового, суверенного вьетнамского государства. Но и сегодня мы снова и снова обращаемся к событиям и документам того времени и к начавшейся вскоре эпопее войны Сопротивления сорок шестого — пятьдесят четвертого годов. Ибо без них не понять до конца ни победы, увенчавшей в семьдесят пятом другую, еще более долгую и тяжелую войну — против американских захватчиков и их ставленников в Сайгоне, ни разгрома позднее, в семьдесят девятом, вторгшихся на землю социалистического Вьетнама китайских интервентов.

Долгие годы спустя после поражения французского экспедиционного корпуса во Вьетнаме военные теоретики на Западе продолжали писать об этой войне, выставляя подчас как причину победы вьетнамцев надуманные, а иной раз чуть ли не противоестественные стечения обстоятельств. Уж очень неравны поначалу были силы. Только что созданным и плохо вооруженным отрядам Народной армии (вспомним, что в знаменитом Столичном полку, в течение двух месяцев защищавшем Ханой от колонизаторов, на 2500 бойцов было всего 1500 исправных винтовок) противостояли превосходно по тем временам оснащенные французские силы, к весне сорок седьмого насчитывавшие более 100 000 человек. Нападение на Вьетнам было совершено вероломно и внезапно. Рабочим и техникам, ушедшим вместе с Народной армией из городов в горные джунгли, удалось, естественно, вывезти, а точнее — вынести на своих плечах не так уж и много станков, оборудования, сырья. За год до начала войны страна, разоренная японской оккупацией, пережила тяжелейший голод, унесший около двух миллионов человеческих жизней... Но, как это ни парадоксально, первое же стратегическое наступление колонизаторов осенью сорок седьмого закончилось неудачей. Ни французские военачальники — тогда, ни западные историки — позднее не учитывали, что военные и материальные ресурсы, которыми располагала революция, должны быть многократно помножены на энергию, волю и мужество революционного народа. В го-

---

НГУЕН ДИНЬ ТХИ — NGUYÊN DINH THI (род. в 1924 г.).

Вьетнамский писатель — поэт, прозаик, драматург, общественный деятель.
В нашей стране переведены и изданы его роман-дилогия «Рушатся берега», «Разгневанная река», повесть «Вперед, в атаку», рассказы, очерки.
В «Иностранной литературе» печатались повести «В огне» (№ 6, 1966), «Линия фронта прочерчивает небо» (№ 11, 1968), рассказ «Пленный негр» (№ 11, 1965), поэтическая подборка (№ 9, 1975), статья о творчестве писателя (№ 9, 1978).
Предлагаемые рассказы взяты из сборника «На берегу реки Ло» («Bên bờ sông Lô»; **Nxb** «Văn hoc», Hà-nôi, 1957). Они войдут в том Библиотеки вьетнамской литературы — Нгуен Динь Тхи, «Избранное», готовящийся к печати в издательстве «Прогресс».

рах Вьетбака (он-то и являлся главной целью наступления колонизаторов) под руководством компартии, ведущей силы Сопротивления, была создана военная и экономическая база революции. Здесь находилось правительство и командование Народной армии. Здесь, в лесах, налажено было производство оружия, боеприпасов, медикаментов. Печатались газеты, журналы, учебники... Части Народной армии вели операции и в других областях страны. Во вражеском тылу в каждом уезде, каждой волости, каждом оккупированном городе действовали партизаны.

Потерпело поражение и осенне-зимнее наступление французских колонизаторов в сорок восьмом — сорок девятом годах, с его пресловутой стратегией «масляных пятен» (предполагалось, что захваченные экспедиционным корпусом плацдармы и созданные им укрепленные районы будут расширяться, как пятна масла по поверхности воды, окружая и сжимая освобожденные Народной армией и партизанами районы).

Переломным в ходе войны стал пятидесятый год, когда от колонизаторов была очищена северная граница страны и Вьетнам установил непосредственную связь со странами социалистического содружества. Здесь будет уместно вспомнить, что одной из решающих предпосылок победы вьетнамской революции явился разгром гитлеровского рейха в Европе и победа, одержанная советскими войсками над Квантунской армией — ударной мощью японского милитаризма. Поддержка социалистических государств, всех миролюбивых сил была очень важна для вьетнамского Сопротивления. Особую роль сыграла борьба французского народа против грязной войны во Вьетнаме, охватившая всю Францию. У правящих кругов ее возникали трудности с отправкой во Вьетнам каждого очередного контингента войск. И тем не менее в последний год войны численность экспедиционного корпуса колонизаторов достигала 220 000 человек. Примерно столько же насчитывала марионеточная армия «императорского правительства». Но Народной армии, выросшей численно, перевооруженной, приобретшей боевой опыт, этот противник был, как говорится, по плечу. Военные планы колонизаторов терпели провал за провалом. Их не спасала возросшая «щедрость» Вашингтона, все активней вмешивавшегося во вьетнамскую войну. Уже когда весной пятьдесят четвертого шла решающая битва под Дьенбьенфу, тогдашний госсекретарь США Даллес носился с планами «совместных действий» в Индокитае, а в Пентагоне изучалась возможность применения в Северном Вьетнаме атомного оружия...

Но ход истории необратим. На вьетнамской земле восторжествовала революция. И революция эта не только защищалась, она строила, воспитывала, учила. Революция создавала новую культуру. Вместе с солдатами в сорок шестом ушли в джунгли многие писатели, художники, композиторы, актеры. Год спустя, в сорок седьмом, во Вьетнаме была создана Ассоциация культуры, которую возглавил хорошо знакомый нашим читателям прозаик Нгуен Туан. Ассоциация издавала свой журнал, печатала книги, проводила литературные конкурсы, работала с творческой молодежью. В руководство Ассоциации вошел и молодой тогда Нгуен Динь Тхи, служивший политруком в Столичном полку, ранее, до революции,— подпольщик, а после августа сорок пятого — один из активных строителей новой культуры, заместитель министра по делам молодежи и просвещения. Судьба Нгуен Динь Тхи во многом типична для писателей его поколения, пришедших в литературу именно в те военные годы. Он печатался в периодике (очерки, стихи), затем, в пятьдесят первом, вышла отдельной книжкой его поэма «Мать солдата Тяна» и позднее, в том же году — повесть «Вперед, в атаку!». Эта вторая книга — написал он ее за время недолгого отпуска — была удостоена премии Ассоциации культуры и не раз переиздавалась впоследствии. В победном пятьдесят четвертом он выпустил еще одну книгу — очерки «Осень — зима этого года».

Потом, после войны, Нгуен Динь Тхи напишет еще немало книг: стихи и поэмы, повести, роман-дилогию, пьесы, статьи и эссе. Но он останется верен военной прозе. На третьем году мира он издаст книжку рассказов «На берегу реки Ло», из которой и взяты публикуемые рассказы. В ней двенадцать рассказов, написанных просто, строго, с удивительной достоверностью. Двенадцать рассказов, как бы вобравших в себя всю войну — от первых и до последних ее месяцев. Герой последнего рассказа «Обратный путь» Кхай говорит своим спутникам: «Наверно, нынешней ночью по всей стране такая же непривычная тишина, как здесь. Мир, нигде не стреляют больше»... Да, тишина — вернейшая, первая примета мира. Но на земле Нгуен Динь Тхи она, увы, окажется недолговечной. И снова он, уже не приписанный к части, а по велению сердца, разделит с бойцами — артиллеристами ПВО, летчиками-истребителями — их опасную и благородную судьбу. Он напишет о них две повести: «В огне» и «Линия фронта прочерчивает небо», переводы которых выйдут в Москве и Варшаве, Париже и Риме... И люди узнают о мужестве его соотечественников и о той высочайшей цене, которую заплатили они за свою победу.

И пусть несколько лет спустя главным пристрастием Нгуен Динь Тхи станет театр. Пускай, словно одержимый, читает он до полуночи друзьям свои новые пьесы и день за днем пропадает на сцене и в зрительном зале, вместе с режиссерами и художниками готовя пьесы к премьере,— всюду, где бы он ни был, он слушает тишину. Вслушивается в нее, такую зыбкую и непрочную в нашем тревожном мире, потому что, как и герои его книг, всегда остается солдатом революции.

Ротный

Сотни глаз — со всех точек двух кругов, внутреннего и внешнего, которыми бойцы расположились вокруг макета,— уставились на командира батальона. Он стоял в центре и нервно постукивал указкой по носку ботинка.

— А теперь,— медленно сказал комбат, глядя туда, где сидела сто двенадцатая рота,— я хочу довести до сведения ударной группы последний пункт...

Косые лучи солнца освещали загорелых до черноты людей, сидящих плечом к плечу посреди сухого поля, у самой лесной опушки. Из жавшихся к реке домов на сваях ветер доносил гул и скрип ручных мельниц: хозяева обрушали рис для солдат. Комбат усмехнулся, в уголках век собрались морщинки. Подбородок его заметно выдавался вперед. Он молчал, ожидая, пока не затихнет пробежавший по рядам шум. Из-под козырьков разномастных фуражек на него уставились худые смуглые лица, словно высеченные из окаменевшей земли; они были внимательны и строги. Люди эти — бывшие горняки из Хонгтая и Донгчиеу, рыбаки с морских побережий Северо-Востока — от Куангиена до Кыаонга, Дамха, Тиениена и Хайниня. На их лицах следы прежней безрадостной, тяжкой жизни. Но сегодня в руках у каждого винтовка или тесак. Их задубелые, покрытые кровоподтеками ноги исходили все дороги и тропы — от берега моря до здешних горных чащоб. В глазах комбата светилась гордость за своих солдат.

— ...Если сто двенадцатая рота не выполнит задачу с ходу,— продолжал он внятно и громко,— отойти и залечь. Я дам приказ повторить артналет. Если она и после этого не прорвется, пусть уходит в тыл на отдых. К утру я подтяну все орудия и прикажу сровнять форт с землей,— голос комбата зазвучал язвительно и резко,— чтобы товарищи из сто двенадцатой вступили туда в парадном строю.

Речь его вдруг оборвалась. Всему батальону до последнего бойца и приданным ему артиллеристам, саперам показалось, будто на сто двенадцатую роту обрушился удар хлыста. Они повернулись к углу макета, где тесно — одна к одной — сбились японские каски.

Ряды бойцов сто двенадцатой, разгоряченных, потных от зноя, не шелохнулись, оттуда не донеслось ни звука. Лишь в первом ряду помощник ротного Данг привстал было, но тотчас уселся на место и замер как статуя. Лицо его вспыхнуло. Все, казалось ему, смотрят только на него, ждут, что он скажет. Сидевший рядом командир роты Ком невозмутимо покуривал трубку, не сводя пожелтевших от малярии глаз с крохотного форта на макете, словно ничего не слыша.

У противоположного конца макета встал командир резервной роты Фыонг. Подняв длинную ветку, он ткнул ею в вырезанный из банана кубик на макете.

— По-моему,— пробасил он,— артиллеристы должны прежде всего обратить внимание на эту красную постройку — вот здесь, в секторе «Б». Тут находится тяжелое орудие, а прикрывает его вынесенный вперед дот с крупнокалиберными пулеметами. Дот навис над рекой и будет с фланга бить по нашей ударной роте, когда она пойдет в атаку. Здесь шутки плохи. Не побережемся — нам же хуже.

Шиеу, командир артиллерийской роты, озабоченно моргал за стеклами своих очков.

— Взять форт очень трудно,— продолжал Фыонг.— Он стоит на господствующей высоте. Все окружающие холмы ниже. Надо бы поставить орудия вот здесь, метрах в восьмистах от противника. Иначе «он» всыплет нам по первое число!

По рядам прокатился смех, звякнули каски, винтовки, фляги. Фыонг поднял руку:

— Предлагаю передвинуть поближе два орудия восемьдесят первого калибра и сразу подавить огневые точки в секторе «Б»...

Разгорелся спор. Время от времени его заглушали взрывы смеха. Слово взял Данг и, как всегда волнуясь, повел речь о бое в казематах форта. Прошлым летом, вспоминал он, во время операции на реке Тхао некоторые подразделения не сориентировались в системе укрытий и ходов сообщения, потеряли время и много живой силы. Ком с трубкой в зубах сидел на прежнем месте и внимательно слушал.

По правде говоря, многое его беспокоило. Бой предстоял скоротечный, а толком произвести разведку форта не успели. Никто не представлял себе точно ни системы огня противника, ни возможной его дислокации. Да и точная численность гарнизона неизвестна: вроде бы рота иностранного легиона, а может, и больше... Ком разглядывал укрепления на макете, ряды колючей проволоки — натянутые между лучинками белые нитки, раскрашенные красным и синим карандашами бумажные флажки: огневые средства — свои и неприятеля. Взгляд ротного то и дело возвращался к злополучному доту: сектор его огня перекрывает тропу, по которой рота двинется на штурм. Ком как бы видел воочию мощный бетонный колпак с амбразурами, колючую проволоку вокруг... Если сразу не подавить его, сколько солдат останется лежать на этом лысом склоне! Жаль, нет рядом Хоа: все бы прикинули, обсудили. Как там сейчас в госпитале его политрук? Пошел ли на поправку?.. Он притушил большим пальцем табак в трубке и встал.

Итак, план операции обсужден. Прозвучали команды. Рота за ротой рассыпались по полю. За плечами бойцов торчали стволы винтовок.

В центре гудящей людской круговерти остались стоять у макета несколько командиров.

— Смотри не подведи, положи в цель хоть двадцать снарядов! — крикнул Данг улыбавшемуся Шиеу и хлопнул его по плечу.— А уж тех гадов, что уцелеют, мы берем на себя.

Артиллерист присел на корточки посреди макета и, держа в руке очки, разглядывал укрепления, едва не тычась в них носом.

— Та-ак,— протянул он.— Так, все ясно... Фыонг, прошу, не науськивай больше мои мортиры на эти пулеметики. Ты только, Данг, постарайся, войди в форт. Клянусь, я сам понесу тебя назад в паланкине, как древнего триумфатора.

Он встал, смеясь, отряхнул брюки и, видя, что все уже разошлись, шутливо выгнул калачиком руку, приглашая Данга вместе отправиться к биваку.

Лишь командир сто двенадцатой не отходил от макета, втолковывая что-то своему связному, шустрому мальчугану по имени Тинь.

— Ком! — окликнул его Данг.— Я пошел.

Ротный ничего не ответил.

— Ну и ну, словечка не вытянешь,— обернувшись, сказал вполголоса Шиеу.

— Это точно,— Данг тоже оглянулся на ротного.— Такой у него нрав...

— Ты ручаешься, что хорошо помнишь дорогу? — спрашивал у связного Ком.

— Еще бы! Да я в прошлом году раз пять водил по ней товарища Хоа. Слово даю, до форта рукой подать.

Ком задумался.

— Кстати,— снова спросил он,— как дела у Хоа?

— Понимаете, врач пока не разрешает ему вставать.

— А мед ты купил?

— Так точно, отнес ему целых две банки.

— Ступай-ка в роту,— Ком положил руку ему на плечо,— скажи

Бану, может, расстарается, добудет что-нибудь на похлебку. Пусть вечером угостит нас с Данго́м как следует.

Тинь лихо козырнул, вскинув ладонь к каске, повернулся и припустился со всех ног.

Жара спадала. У макета ни души. Лишь часовой с винтовкой на плече молча расхаживал взад-вперед. Поля золотистого риса ступенями сходили от подножья горы к реке. Над холмами поплыл дым. Солдаты варили рис. Опускался мягкий октябрьский вечер; шум и голоса, долетавшие из рот, растянувшихся километра на два вдоль реки Кикунг, дрожали и таяли в воздухе.

Первые буйволы возвращались из леса. Деревянные колотушки, висевшие у них на шеях, постукивали размеренно и гулко. Мальчуган из народности тхо, совсем еще коротышка, подгонял бамбуковой хворостиной степенно шагавших мимо макета огромных, оглушительно фыркавших буйволов. Ком кивнул часовому и пошел прочь. Пастушонок, завидя его, остановился, приподнял сползавшую на нос плетеную шляпу и улыбнулся во весь рот.

— Вы еще здесь, товарищ Ком? — громко спросил он.— Давайте вместе пойдем домой.

Ротный подошел к мальчику и погладил его по щеке.

— Ты уж, Куан, возвращайся первым,— сказал он.— Я приду попозже. А где сестрица Лыу?

— Лыу, она с утра ушла в Нангыом. Вы не задерживайтесь, ладно?

Ком — лицо его как-то сразу подобрело — проводил пастушонка взглядом и скорым шагом направился к реке: там, у самого берега, в домиках на сваях расположился штаб батальона.

К ночи над рекой поднялся густой туман. В маленьком доме на сваях, приютившемся под раскидистым баньяном, мерцает огонь. Кома все нет. Данг, сидящий у очага, то и дело поглядывает на часы.

— Уже девять! — бормочет он.— Куда этот тип запропастился?

После того как политрук Хоа был ранен, Дангу, вдобавок к собственным его обязанностям, пришлось заменять Хоа. Дел было невпроворот, с непривычки прямо голова пухла. А тут еще Ком задержался где-то, хотя уж давно бы пора им обсудить и наметить все дела на завтра. На огне мерно пыхтел котел с кипящей водой. Данг встал, подошел к задвинутому в угол длинному столу — его сколотили на скорую руку из первых попавшихся досок — и при свете коптилки, сделанной из американского чернильного пузырька, расстелил карту. Ротный «кормилец» Бан сидел рядом со связным Тинем и хозяйским мальчишкой Куаном, все трое грызли печеные кукурузные початки. Видя, что Данг не в себе, Тинь понимающе переглянулся с Баном. В отсутствие Кома Бан не часто решается заговорить с помощником ротного. Человек-то Данг в общем неплохой, но с закавыкой, да и в роту пришел недавно, люди к нему еще не совсем привыкли.

За дверью послышались чьи-то веселые голоса. Застучали шаги на лестнице. В дом вошли Ком и Лыу. Ротный, продолжая начатый разговор, засмеялся и сказал:

— Нет-нет, имя у меня другое. А Комом — Костлявым — ребята прозвали. Ком да Ком — вот и прилипла кличка.

Лыу сразу направилась к очагу, в руке у нее был здоровенный кусок говяжьей печенки.

— Вы бы, Данг, вышли на туман глянуть,— сказала она.— Такое редко увидишь. Я тут купила для Бана печенку.

— Ну,— откликнулся Данг из-за своего «письменного стола»,— ужин сегодня будет на славу!

— Разрешите обратиться,— встрепенулся Бан.— Прошу командование слегка перекусить — вон там рис. Я пока приготовлю похлебку.

— Устал я, сил нет,— ответил Ком.— Лучше дождусь похлебки. Данг, ты хоть поел?

— Да. Какие новости?

— Ничего особенного, небольшие изменения в плане... Чуть не забыл, тебе письмо из «тыла».

Данг расцвел, увидев адрес на конверте.

— Что, небось от сестры? — с ехидцей спросил Ком.

Данг лишь покраснел в ответ.

Ком присел рядом и протянул руки к огню, словно не заметив смущения собеседника.

— Прекрасно, что же пишет сестра? — снова спросил он.

— Да-а... все домашние дела... В общем, письмо от Бить. Она тебе кланяется.

— Вот как. Мы вроде с ней незнакомы.

— Я ей писал про тебя.

Лыу — они с Куаном ужинали, сидя у очага,— усмехалась лукаво, слушая разговор «командования», и сравнивала их друг с другом. Ком постарше Данга лет на десять, да и держится он будто старший брат с младшим. Наивная и чувствительная, как все девушки из народности тхо, она, вглядевшись в худое — кожа да кости — лицо Кома, вдруг ощутила безотчетную жалость. Да уж, на этот раз он куда больше оправдывает свое прозвище, чем в прошлом году, когда с ротой проходил здесь перед боем у деревни Чай. Отчего он так быстро старится? Говорит мало, а смеется и вовсе редко. Все та же на нем потертая стеганка и брюки; видно, ему и переодеться не во что. Хоть бы словечко новое выучил по нашему — что затвердил в прошлом году, то и повторяет; хорошо, хоть этого не забыл. А слова-то выговаривает — вот-вот язык сломает. Она опять усмехнулась. Сегодня вдруг разговорился. Оказывается, родом он из Хайфона; это очень далеко отсюда, на самом краю земли, дальше уже начинается море. И есть там причал Шаукхо. Когда они шли над рекой, Ком сказал: «Я приглашаю вас, Лыу, после победы в Хайфон. Покажу вам причал Шаукхо»...

Бан колдовал над чугунком, где в шкворчащем сале поспевали куски печенки. Дом наполнился запахом тушеного лука. Куан, видя, что Лыу задумалась о чем-то своем, громко спросил:

— Вы будете еще есть, сестрица?

Та почему-то засмеялась и погрозила ему палочками для еды.

Командиры уединились за колченогим столом и, едва не ударяясь лбами, толковали над картой. Чаще слышался приглушенный голос Кома. Данг неотрывно следил за ползущим по карте указательным пальцем ротного, временами спрашивая о чем-то и кивая головой в знак согласия. Лыу, убрав поднос с посудой, пекла на углях бататы, прислушиваясь к разговору. Ком говорил совсем тихо. До нее доносились лишь обрывки фраз: «...Не очень-то надейся, я считаю, дело трудное... Благо еще, командование отложило на день... Нам нужны две «базуки», иначе с этим дотом в секторе «Б» не управимся... А если артподготовка не даст результатов? Нет уж, пусть дают «базуки»... Отходить лучше по этой дороге, тут пройдем скрытно...» Даже когда Бан торжественно водрузил на стол свое варево, ротный, хлебая его, продолжал шептаться с Дангом.

Лыу сидела у очага, но ее одолевал сон, глаза слипались сами собой. Сегодня она устала как никогда, с утра до вечера ходила по деревням, собирала женщин — ноги прямо гудят. Каких только дел не обсуждали: доставка грузов, снабжение, помощь пострадавшим от войны, забота о раненых. Да и завтра перевозить через реку солдат на плотах выйдет вместе со стариками самое меньшее десяток женщин. По всему судя, послезавтра — бой. В прошлом году форт Бан с перво-

го раза так и не взяли. Оттуда время от времени тэй[1] обстреливали деревни из пушек. Форт этот торчал на горе, словно коршун, и озирал всю округу. Как тут его возьмешь!.. Она поглядела на Кома, и ей стало не по себе. Весь дом спит — даже Куан угомонился, улегся и Бан. Только эти двое все сидят — полуночники. Потянувшись, она украдкой зевнула и окликнула их:

— Командиры, а командиры! Прошу, угощайтесь.

Они перешли от стола к очагу, не прерывая разговора. Лыу, оставив их наедине с бататами, ушла в комнатку за перегородкой и легла спать. Куан, закутавшись в одеяло, спал рядом с бабушкой. За плетеной перегородкой у очага по-прежнему гудели приглушенные голоса. Лыу, вздохнув с облегчением, натянула на себя одеяло. Мысли роились у нее в голове. За перегородкой Данг сказал что-то, потом засмеялся. Ком отвечал невнятно. А это снова Данг:

— Ты что, прямо сейчас и пойдешь?

— Да нет, посплю немного. Я сговорился с ними на десять тридцать утра. Скоро все они будут здесь. Говорю тебе, изучить как следует этот дот — считай, половина дела. Надо еще осмотреть дорогу, по которой двинемся на штурм.

На время воцарилось молчание, затем снова послышался голос Данга:

— Знаешь, сегодня, когда разбирали операцию на макете, я страшно разозлился.

Заговорил другой голос. Что здесь особенного? Надо же и пошутить иногда. Данг скоро привыкнет. Всякий раз, как комбат съязвит, ребята смеются: наш-то опять кипятится.

Они посмеялись тихонько, потом улеглись рядом у очага, в котором багровели уголья. Но сон, видно, их не брал; они ворочались с боку на бок.

— Бить прислала свою последнюю фотографию... Чудеса!..— голос у Данга бодрый, и не подумаешь, что человек улегся спать.

— Чего ж ты не показал?

— Успеется... утром.

Молчание.

— Как думаешь, есть уже час ночи? — вдруг, словно торопясь куда-то, спросил Данг.

— Да уж, около того.

Потрескивают угли в очаге. Оба вроде угомонились.

— Ты рассказал бы мне как-нибудь про свою жизнь,— это опять Данг.— Толком-то я о тебе ничего не знаю, а иные такую несут околесицу... Да, Бить просит прислать ей твое фото... Если можно, с женой и с малышами...

Лыу, она уж совсем было уснула, насторожилась. Ком ничего не ответил. Спустя какое-то время он заговорил, только голос его вроде изменился:

— Жизнь у меня не очень веселая. Жена с детьми умерли в сорок пятом, во время голода. Я тогда надрывался в своей шахте. После революции сразу ушел в армию, так и воюю до сих пор. Прошлое сгинуло... Не люблю вспоминать о нем... Вот так-то. Думаешь небось, трудный я человек? Ладно, давай спать.

Осенний полдень. В лесу, меж стволами старых огромных деревьев сквозил слабый ветер. Данг следом за Комом свернул в ворота госпиталя. На расчищенном участке белели свеженастланные бамбуковые навесы. Чисто подметены оранжево-красные глинистые дорожки. В центре участка — операционная, накрытая ярко-желтым парашютным шелком,— трофей, взятый под Лунгфэй этой весной.

[1] Тэй (*вьетнамск.*— запад) — презрительная кличка европейцев, чаще всего — колонизаторов-французов. *(Здесь и далее прим. перев.)*

— Ну и красотища! — изумился Данг.

Они направились прямо к «палате», где лежал Хоа. Политрук — его видно было еще издали — с довольно бодрым видом читал книгу. К ним подбежал фельдшер. Данг все оглядывался вокруг и, разумеется, не упустил случая поговорить со знающим человеком.

— Вон как у вас просторно,— сказал он.

— Мы перевели часть раненых в другой сектор по ту сторону дороги,— тотчас пояснил фельдшер.— Готовим места на завтра и послезавтра.

Данг усмехнулся — эта профессиональная логика ошарашит кого угодно...

— Нет-нет, не вставай,— Ком, не позволив Хоа подняться, присел рядом.— Как себя чувствуешь сегодня?

— Лучше намного,— политрук широко раскрыл глаза.— Говорят, дней через пять рука наладится, больше резать не будут.— Он помолчал немного и спросил: — Завтра вечером, да? — Черные с поволокой, как у девушки, глаза его заблестели.

Ком кивнул.

— Ну и как? — снова спросил Хоа.

— Да может и сорваться,— улыбнулся Ком,— но скорее всего наша возьмет.

Хоа поднял голову с вещмешка, заменявшего подушку, плотно сжал губы.

— Ладно,— сказал он наконец,— в следующий-то раз я буду на ногах. Завтра вечером дождусь, услышу, когда ребята откроют огонь.

Ком обернулся, поискал взглядом Данга... Помощник его вместе с фельдшером обходил «своих» раненых, лежавших по соседству. Достав из кармана пачку «Кэмела», Ком положил ее рядом с изголовьем Хоа.

— Это тебе сувенир из Лангшона. Наши устроили там засаду, всыпали тэй по первое число.

Они молча закурили. Здесь, в лесу, царил покой; в кронах высоких чамов щебетали птицы.

Ком встал:

— Ну, мне пора.

Хоа протянул ему левую руку. Ротный долго не отнимал у него своей руки.

— Удачи вам! — Хоа улыбался через силу.

Ком улыбнулся в ответ. Подошел Данг.

— Что, пойдем? — спросил он.— Да, надо шагать, времени вон уж сколько.

Он заговорил о чем-то с Хоа. Ком вышел за дверь, медленно пошел вперед. «Впервые иду в бой без этого парня,— думал он.— У Данга опыта маловато. Зато схватывает все на лету. Настойчив, смел — это хорошо».

Солдаты начали форсировать реку в три часа утра. Больше десятка плотов еще с полуночи согнали к маленькой пристани у деревни Нангыом. Они сновали от берега к берегу в густом тумане; факелы, укрепленные на них, едва высвечивали небольшое пространство вокруг плотов. Солдаты длинными цепочками спускались от лесной опушки к воде.

Сто двенадцатая рота вышла на берег с утренними петухами. Переправлялись последними. Ближе к рассвету туман стал еще плотнее: в полусотне шагов не разглядеть человека. Деревьям, кустарникам, скалам туман придавал очертанья диковинных зверей и птиц.

Ком, стоявший на берегу, стиснул зубы, чтобы унять дрожь,— холод пробирал до костей. В старой стеганке вата вся повытерлась, толку от нее никакого. Ночью в шалаше было холодно. Ком, съежась,

то задремывал, то просыпался снова. Лишь под утро забылся сном, и почти сразу Тинь разбудил его. Спросонья ротный тер пальцами покрасневшие веки.

— У тебя не найдется закурить? — раздался сзади чей-то голос.— Замерз совсем.

Ком обернулся. Из тумана появился Данг. Он надел сегодня каску, затянув ремешок под подбородком. Висевший на боку длинный тесак, казалось, прибавил ему росту. Дрожащими пальцами они сворачивали самокрутки. Управившись наконец, Ком прикурил, сделал длинную затяжку, еще одну... Данг указал рукой на плоты с солдатами, появлявшиеся иногда в просветах среди разорванного ветром тумана, и сказал:

— Глянь-ка, правда, похоже на переправу Красной Армии из фильма о Сталинграде?

Ком и сам следил за обвешанными маскировочными ветками бойцами на плотах, выплывавших из тумана внизу, под обрывом. Не первый год он вместе с ними ходил в бой, но всякий раз путь к исходному рубежу был другим, и что-то всегда волновало его, не давало покоя. Сегодня, стоя здесь, над потонувшей в тумане рекой, на самом краю горного леса, он вспомнил вдруг, как вот таким же ранним утром покидал он в моторном баркасе спавший еще Хайфон. Ком вел баркас в Куангиен, в Хонгай и, выйдя в устье, оставлял за спиной задымившие добрую половину неба высокие трубы цементного завода. Портальные краны, точно длинные тощие руки, отражались в воде у причала Шаукхо... Эх, увидать бы Хайфон! Поглядеть, как восходящее солнце окрашивает багрянцем широкие коричневые паруса шаланд, теснящихся вдоль причала!.. Ветер ударил вдруг ему в лицо, словно призывая опомниться. Он снова поглядел на неугомонные плоты, перевозившие солдат через реку. И почувствовал вдруг, как дорога ему эта маленькая речная пристань. Он не хотел думать о смерти. Но завтра поутру, когда солдаты на плотах поплывут назад через реку, приплывет ли сюда и он, чтобы опять увидеть здешнюю пристань? Ком усмехнулся, отгоняя прочь эту мысль. Ведь каждый раз, уходя в бой, он мог не вернуться и все-таки возвращался. Обычное дело...

Данг, стоя рядом с ротным, тоже не сводил глаз с переправы. Вот уже более месяца служит он в сто двенадцатой роте, прославленной на весь полк роте «стальных касок», и чувствует, чуть ли не физически ощущает тяжесть новой возложенной на него ответственности; но в то же время в душе его ширится, растет радость и гордость. Всем известно, это — ударная рота, ей дают самые трудные задания, ставят на решающие участки. Командиры частенько шутят: уж если попал в сто двенадцатую, непременно «прогремишь»! Честь быть всегда впереди, в самых опасных местах окрыляла Данга; ему казалось, что и сам он возмужал, вырос. Первое время после прихода в роту — отдавал ли он распоряжения младшему по званию командиру или беседовал с кем-нибудь из бойцов — Данг нередко ловил себя на мысли: а, собственно, вправе ли я решать судьбы людей, столько раз находившихся между жизнью и смертью? Это подчас становилось причиной недоразумений. Но со временем он освоился в сто двенадцатой. Хотя все еще был убежден: лишь побывав вместе с ротой в боях, он добьется, чтобы солдаты сердцем признали в нем своего командира. Больше месяца Данг с нетерпением ждал этого боя. Случалось, его обуревали сомненья. «Если не отличусь,— решил он,— нечего вообще лезть в командиры!..»

Но сегодня Данг был бодр и весел. «Вот бы Бить увидела нашу переправу! — вдруг подумал он.— Она, небось, и не представляет, как красиво выходят ребята на боевой рубеж».

Он легонько продул свой сигнальный свисток.

Ком обернулся, взглянул на часы и сказал:

— Шестой час. Старики на плотах проработали всю ночь; устали, наверно, страшно. Теперь очередь нашей роты. Давай спускаться.

Они пристроились к подошедшей цепочке солдат.

Внизу, у пристани, люди, сбившись группами — по отделениям, стояли, дожидаясь своей очереди. Данг бегал вдоль причала, отдавая команды, голос его перекрывал разговоры и шум:

— Второй взвод — по плотам!.. Ком, проходите сюда.

Боец с маскировочными ветками на каске и на плечах смотрел на ротного с еле приметной улыбкой. Ком похлопал его по плечу:

— Ну как, товарищ Зыонг, сколько тэй решил пришпилить сегодня?

Зыонг улыбнулся, блеснув зубами, но промолчал. Лишь убрал свой огромный тесак, давая пройти ротному. Старый плотовщик из народности тхо тоже улыбался Кому, опираясь на шест. Ком подошел к нему, угостил сигаретой.

Плот степенно выплыл на середину реки. Течение было сильное, плот скрипел и потрескивал. Данг, стоя впереди, оглядывал реку, бурлившую меж гористыми берегами; ему чудилось, будто он очутился вдруг в неведомом, дальнем краю. «После победы,— думал он,— надо во что бы то ни стало побывать в Лаосе или в Тэйнгуене». Ком, закурив, глядел вместе с Зыонгом на берег, на деревню Нангыом, медленно пятившуюся за белый полог тумана. А туман начинал редеть, первые слабые солнечные блики легли на воду.

Глядя на лучи света, пробившие туман, Зыонг сказал уверенно и громко:

— Рассвело. Скоро «он» поднимет самолеты.

Ком подобрал лежавший на плоту шест и вонзил его в воду. Галька на дне реки зашуршала. Ком с силой оттолкнулся шестом, и вдруг на него нахлынула нежданная безотчетная радость, сердце в груди гулко забилось.

У самого берега старый плотовщик спрыгнул на песчаный скос. Когда бойцы проходили мимо него, он прощался с каждым за руку и говорил:

— Желаю вам победы, товарищи!

Ком, растроганный, крепко пожав мозолистую ладонь старика, сказал:

— Завтра вернемся, дедушка, и устроим праздник. Повеселимся на славу.

Весь день ярко светило солнце. Французский форт белел посреди дикой пустоши — ветер травинку не шелохнет, не слышно ни звука. Лишь изредка где-то высоко в небе пролетал транспортный самолет, но тяжкий гул моторов вскоре утопал в вязком, безжизненном, точно смерть, безмолвии, застывшем над раскаленными травянистыми холмами. А вокруг гор, холмов и низин, над которыми господствовал форт, в лесных чащах потаенными тропами — под покровом колючих ветвей и лиан — друг за другом шли к рубежам атаки роты и взводы. Люди шаг за шагом волокли в гору пушки; обливаясь потом, тащили на жердях и канатах неподъемные глыбы немого металла. Вытянувшись в цепочку по одному, молча двигалась ударная рота. В ущельях вдоль речек расположились группы по переноске раненых; девушки из окрестных деревень сидели у новых бамбуковых носилок, утирали пот с лица, обмахивались руками.

Бойцы подразделений второго эшелона — они торопились, но старались не поднимать шума — часам к четырем пополудни отрыли последние траншеи. Отсюда до форта не было и пятисот метров. Командир взвода связи, побагровевший от зноя, метался, гневно воздевая руки и не смея браниться вслух, у неподключенного еще телефонного аппарата. Офицеры из штаба батальона следили в бинокли за снующими между строеньями форта легионерами и солдатами-неграми.

Сто двенадцатая рота в полном составе расположилась на поле, зажатом меж двумя каменистыми кручами. Оно было чуть притоплено водой; рядом бежал ручей с бурой, как ржавчина, водой. Пройдя вдоль ручья с полкилометра, можно выйти к полям близ деревни Бан. Сотня с лишним солдат ударной роты расселись по валунам и выступам скал. Несколько саперов, спустившись поближе к ручью, разглядывали «базуку».

Командир роты Ком и мальчишка-связной Тинь сидели рядышком и с аппетитом жевали холодные рисовые колобки. А помощник ротного Данг водил от взвода к взводу присланного к ним корреспондента. Журналист то и дело щелкал фотокамерой. Ком, наблюдая за ним, сказал связному:

— Да, и прессе приходится попотеть... Значит, телефон в батальоне поставлен?

— Так точно, сам видел. Когда я уходил, его как раз подключили.

Ком взглянул на часы, доел рис и, глотнув воды из фляжки Тиня, встал. Бойцы, усевшись в кружок, читали казао[1], напечатанные в батальонном боевом листке.

Здесь, на поле, прохладно. Каменистые кручи отвесно уходили ввысь; в проеме между ними голубел широкий квадрат неба, словно пластина раскаленного лазурита. Ком быстро обходил взводы, все — командиры и солдаты — провожали ротного блестящими от возбужденья глазами.

Корреспондент теперь снимал позировавшего ему Данга. Ком подошел к ним, улыбнулся:

— Вы, я вижу, товарищ журналист, собрали богатый материал. Теперь вам пора в батальон, иначе пропустите самое интересное.— Он обернулся к Дангу: — Объяви по взводам боевую готовность.

Данг вытянулся в струнку. Потом, на бегу уже, бросил скороговоркой:

— А тэй и в ус не дуют! Увидишь, дело выгорит...

Гром первого орудийного залпа подбросил Кома с земли, как пружиной. Горы и лес откликаются долгим рокочущим гулом, будто над ними пронесся ливень... И вот уже бойцы сто двенадцатой вместе с двумя отделениями саперов и взводом гранатометчиков стремительными рывками пересекают поле за полем, где рис вымахал им по грудь. Они бегут пригнувшись, стиснув зубы. Подразделения второго эшелона открыли огонь по вражеским укреплениям, дуги трассирующих пуль переплетаются в воздухе. На высоте из-за брустверов, из амбразур форта вырываются огненные вспышки.

Вторым залпом разнесло часть стены форта, к небу взметнулся клубящийся столб черного дыма, кирпичной и известковой пыли. Впереди Кома уверенно и четко, как на маневрах, продвигаются полукружья двух взводов.

Гремит третий залп. Саперы прокладывают проход в проволочных заграждениях. С артпозиций у входа в форт слышны громкие голоса французов. Рота преодолевает второй ряд колючей проволоки. Взрывной заряд прошибает брешь в третьем. Полыхает пламя. Саперы, встав во весь рост, валят частокол. Командир отделения, бегущий рядом с Дангом, вдруг останавливается, обхватывает руками живот и падает, уткнувшись лицом в землю. Рядом свистят пули. Данг с маху бросается на землю. Два пулемета из высоко поднятых амбразур веером кладут пули на пути атакующих. Пулеметы трещат не умолкая. Пули, впиваясь в землю, поднимают фонтанчики пыли. Первый взвод застрял у частокола, пулеметы не дают людям поднять головы.

[1] Казао — жанр народной песенной поэзии; стихи в форме казао пишут профессиональные и самодеятельные авторы.

Ком — он залег метрах в сорока ниже по склону — кричит:

— Выбросить флаг!

Сигнальный флажок, словно алая искра, взмывает над землей. Сигнальщик машет флажком, описывая круги; это условный знак — вызов артогня. Но пушки, неизвестно почему, молчат. Над гребнем стены появляется всклокоченная голова, высовывается ствол ручного пулемета. Пули градом обрушиваются на лежащих у частокола солдат. Ком в ярости. Еще один ручной пулемет... Третий... Легионеры, пристроившись вдоль стены, бьют по порядкам роты. Где пушки, черт подери! Снова судорожно кружит над землей сигнальный флажок: вызываю артогонь...

Данг лежит, прижавшись к земле, рядом с частоколом. Очереди вражеских пулеметов и автоматов, пули, распарывающие воздух прямо над ним, приводят его в бешенство. Вдруг стрельба умолкает. Оглядеться бы! Он пробует поднять голову. Тотчас пулеметы захлебываются бешеным лаем, торопясь растерзать в клочья ненавистную тишину. Яростней всех надрывался крупнокалиберный пулемет на фланге роты. Нет, не случайно они с Комом день за днем ломали голову: как бы обезвредить этот дот. Огонь его, накрыв склон, остановил первый взвод. Половина взвода залегла у самого частокола, остальные отползли пониже, к подножью холма. Пальцы Данга в бессильной злобе сжимают рукоять лежащего у бедра тесака. В памяти снова и снова всплывает обидная фраза комбата: «...чтобы товарищи из сто двенадцатой вступили туда в парадном строю...»

Ком, присев за высокой межой, внимательно изучает обращенную к нему сторону форта, примечает вспышки выстрелов. Он насчитал восемь пулеметов — в доте и вдоль стены. Противник явно стянул сюда большую часть огневых средств. Сейчас может сработать разыгранный тогда на макете запасной вариант атаки. У соседней роты есть все шансы прорваться. Наверно, с пушками что-то случилось. Думай! Надо действовать как-то по-другому. Проклятый дот должен быть подавлен!.. К ротному подползают связные из взводов: командир взвода Ам убит... Помкомвзвода Хай тяжело ранен...

Он перебирается к телефонному аппарату.

— Алло! Это Хунг? — голос его абсолютно спокоен.— Предлагаю сто десятой немедленно атаковать! Мы двинемся после. Они стянули все восемь пулеметов против нас... Пусть запустят на дот бомбу с пороховым зарядом... Или поддержат нас артогнем... Алло!.. Я выдвигаю «базуки»... Алло!.. Алло!..

Связь обрывается. Где-то в небе слышится высокий упругий гул. Это бьют по атакующим тяжелые пушки из Тхэткхе; все цели у них пристреляны заранее! Через мгновенье гул переходит в пронзительный свист. Грохочут разрывы. Снаряды накрыли боевые порядки роты. Надо немедленно подавить пулеметный огонь и идти вперед! Оставаться здесь, под огнем артиллерии, нельзя ни минуты. Ком встает и, пригнувшись, быстрыми перебежками устремляется туда, где залег второй взвод.

Солдаты лежат длинной цепью, ожидая приказа к атаке. Заметив издалека командира роты, бегущего к ним под градом пуль, люди с тревогой следят за ним, но в то же время почему-то чувствуют себя уверенней. Ком все ближе и ближе. Наконец он подбегает к «базукам» и бросается на землю рядом с командиром гранатометчиков. Ротный указывает ему поточнее уязвимые места дота. А из амбразуры в бетонном колпаке сыплются пули.

Расчет «базуки» отделяется от взводной цепи и перебежками движется вверх по склону холма. Падает один гранатометчик... Второй... Ком скрипит зубами. Из ствола «базуки» вырывается зеленая вспышка. Вон они, каски двух оставшихся при «базуке» ребят, поднимаются над землей у самой колючей проволоки. Еще одна зеленая вспышка — взрыв откалывает кусок бетонного колпака.

Где-то сзади, у подножья холма, возникает резкий сверлящий свист. Он близится, нарастает. И вдруг за стеною форта громыхает взрыв. Все заволакивают клубы дыма. Тинь, связной, вскакивает поглядеть, как взорвалась «летучая» бомба.

— Ложись! — выкатив глаза, кричит ему Ком.

Из форта доносятся брань, вопли.

Тинь снова встает, нахлобучив каску, прислушивается и кричит:

— Командир, рожок!

Ту-ру-ру... Наши пошли на штурм с другой стороны!.. Запасной вариант... Ту-ру... Ту-ру-ру... Медный голос рожка пробивается сквозь треск пулеметов, пальбу винтовок и уханье гранат.

Похоже, в форте паника. Из-за стены доносятся беспорядочные крики, топот. Подразделения второго эшелона поддерживают штурмовые группы огнем. Из-за спины атакующих к форту рвутся светящиеся пулевые трассы. Два или три пулемета уже смолкли. Каски гранатометчиков снова поднимаются над землей уже позади заграждений. Ком видит, как ставший на колени у «базуки» наводчик падает. Но «базука» стреляет. Вспышка зеленой молнии. Граната попадает прямо в амбразуру дота! Надо поднимать людей и — вперед! Вскочив с земли, Ком подносит к губам висящий на шее свисток. Машет рукой. Бойцы встают. Ком бежит, обгоняя цепь, оборачивается, кричит во всю мочь:

— Товарищи!.. Главное — смелость!.. Вперед!..

Ему отвечает катящийся вдоль цепи многоголосый крик. Он ширится, растет, сливаясь в неумолкающий мощный клич, перекрывающий грохот разрывов, стрельбу. Данг выхватывает из ножен тесак. Вокруг стопятимиллиметровой пушки мечутся десятка полтора легионеров. Оба взвода преодолевают последние заграждения.

С каждым шагом бегущей вперед цепи сокращается пространство между нею и стеной форта. День и час, прошлое, будущее — все утратило свое значение. Осталась лишь эта полоса красной, как кровь, земли. Тридцать... Двадцать... Пятнадцать метров... Белая стена все ближе. Низкорослый, коренастый боец с тесаком под мышкой прыгает на орудийный лафет. Разбегаются голые по пояс легионеры. Слышны короткие автоматные очереди. К гребню стены уже прислонены штурмовые лестницы из бамбука. Боец, первым добравшийся до верха, вдруг, покачнувшись, отделяется от перекладины и, раскинув руки, падает. Обмякшее тело его повисает на стене, из раскрывшихся пальцев выпадает тесак. Но следом поднимаются другие, они, перемахнув через стену, прыгают вниз. С глухим звуком рвутся гранаты. Ком машет рукой, вызывая третий взвод, и подбегает к стене. Связной бежит за ним по пятам, как тень.

Вдруг рядом, раздирая барабанные перепонки, рвутся снаряды.

Ком застывает на бегу, разводит руками, словно плывя по воздуху, и падает. На грудь камнем наваливается страшная тяжесть — нет, не сбросить ее, не подняться... Тинь кидается к нему.

— Товарищ Ком!.. Товарищ Ком!..— кричит он, голос не слушается его.

Ком поднимает голову. С трудом разлепляет веки. Он хочет увидеть форт. Но перед глазами лишь ноги... Бегущие ноги... Мысли путаются, ускользают... Он должен, должен увидеть... Все заволакивает туман. Появляется лицо Тиня. Исчезает. Появляется снова.

— Ком!.. Что же вы, Ком?! — кричит, наклоняясь над ним, мальчик.

— Где наши? — еле слышно шепчет Ком.— Как там?..

— Взяли дот,— Тинь с трудом сдерживает слезы.— Второй взвод ворвался на радиостанцию.

Ком поднимает руку.

— Сними часы, малыш,— шепчет он.— Я тебе дарю...

Губы его шевелятся беззвучно. Он хрипит, с трудом переводит дыхание. Какое синее небо! Он с утра вроде и не видел неба. Медленно проплывают белые тучи. Ком смотрит и смотрит ввысь, не говоря ни слова. Неужто и впрямь бывает так тихо! Из груди вырывается вздох... Последний... Он больше не дышит. За стеною форта Данг, разъяренный, вел бойцов в рукопашную схватку.

На другой день рядом с макетом (игрушечные холмы, укрепления форта — все было в целости) стояли в ряд одиннадцать гробов, покрытых кумачом. Небо, как и вчера, было удивительно ясным и синим. Вдалеке под обрывом изгибалась дугой река Кикунг. Без малого сто человек из Нангыома и других ближних деревень пришли на похороны. Косые лучи предзакатного солнца длинными светлыми полотнищами ложились на поля. Ветер колыхал созревший рис. Командир батальона, прощаясь с убитыми товарищами, сказал несколько немудреных фраз. Рванулась в небо очередь трассирующих пуль из захваченного вчера пулемета. Среди артиллеристов стоял, моргая и щурясь за стеклами очков, их командир Шиеу. Он почти не поднимал головы, словно чувствовал себя виноватым, хоть и знал: орудийный ствол лопнул вчера потому, что был очень уж старым. Данг стоял рядом с Хоа, по щекам его текли слезы. Он молчал. Ком воевал все время молча и умер молча. Свисток Кома Данг носил теперь на груди под курткой. Он будет хранить его всю жизнь. Политрук Хоа, похудевший и бледный, тоже не проронил ни слова. Рука его висела еще на перевязи. Он не сводил глаз с гробов, словно давал погибшим друзьям безмолвную последнюю клятву.

Когда гробы опускали в могилу, сто двенадцатая рота взяла винтовки на караул. Смуглые лица солдат, затененные касками, казалось, окаменели. Из толпы женщин вышла Лыу и, обойдя гробы, бросила на каждый горсть земли. Одиннадцать накрытых кумачом гробов не отличишь друг от друга, как узнать, в котором лежит Ком.

Когда закончились похороны, уже начинало темнеть. Бойцы ушли строем по разбитой глинистой дороге, поднимавшейся на холмы, ставшие в сумерках фиолетовыми.

Тинь, едва доставший до плеча Бану, шагая рядом с ним, вытягивал шею и говорил погромче, чтобы тот его лучше слышал:

— А правда, умер он очень легко? Сказал только два-три слова...

Лыу и Куан возвращались в деревню по берегу. Она вспоминала, как Ком говорил ей: «Я приглашаю вас, Лыу, после победы в Хайфон. Покажу вам причал Шаукхо»...

Дожди

Тху поднималась в горы Вьетбака, но по дороге, в деревне Моонг, ее свалила малярия. Сильнейший приступ длился почти неделю. Все эти дни она провалялась в бреду в темном доме на сваях, где жили лишь два человека — старик, председатель здешнего комитета фронта Вьетминь, и мальчишка, печатавший на машинке деловые бумаги и письма. Тху особенно боялась той утренней поры, когда начинало припекать солнце и зной сочился через крышу жарким потоком. Солнечный свет не проникал в дом, но от жары у Тху начинала кружиться голова. И она кочевала из угла в угол, тщетно ища местечко попрохладней, вся мокрая от пота, словно только что вышла из бани. Так продолжалось с утра и до вечера. С первыми сумерками возвращался домой председатель. Войдя в дверь, старик снимал старую фетровую шляпу, приглаживая зачесанные на затылок седые волосы. Затем он подносил огонь к фитилю,

плававшему в щербатой чашке, наполненной маслом чау [1]. Стол как бы сразу вытягивался в длину, отсекая залитый светом угол от остального темного пространства. Мальчик снимал чехол с пишущей машинки. Председатель аккуратно раскладывал на столе какие-то листки и, прижав их рукой к доске, нагибался пониже и начинал диктовать. Машинка выстукивала звонкую дробь. Мальчуган — Тху видела только его лицо — сосредоточенно ударял пальцами по клавишам. Иногда, наклонясь вперед, он, широко раскрыв глаза, перечитывал только что напечатанную строку, потом, шевеля губами, поворачивал валик. Сгорбленная спина председателя распрямлялась на несколько секунд, и он, переведя дух, монотонно читал дальше. Тху лежала под накомарником, обливаясь потом, засыпала в изнеможенье и сквозь сон слышала как бы издалека голос председателя и вторивший ему стук машинки: «...Тринадцатого июля тэй ворвались в деревню Хан... разграбили... трое убитых... Сожжено... два дома...». Тук-тук... Тук-тук-тук... Всякий раз, когда Тху, вздрогнув, открывала глаза и вытирала мокрое от пота лицо, она видела две тени — большую и маленькую, склонившиеся над смятыми листами бумаги и то и дело заедавшей пишущей машинкой.

В среду или в четверг болезнь вроде пошла на убыль, Тху стала приходить в себя.

Благо, как раз в эти дни стало попрохладнее. Небо с утра до ночи было затянуто тучами. Но Тху еще не вставала. Лежа на полу, она разглядывала свои запястья — тонкие, обтянутые синеватой пленочкой кожи.

Как-то председатель вернулся совсем рано, чуть ли не в полдень. Следом за ним в дом поднялся молодой парень, худой, долговязый. Председатель, справившись о самочувствии Тху, представил гостя: «Товарищ Кханг»...

Тху приподнялась, села, пожала руку Кханга и снова легла. Кханг поговорил о чем-то с председателем на языке тхай. Председатель, перебросив через плечо ремешок планшета, вышел за дверь. Кханг обошел раз-другой вокруг очага, потом подошел к Тху и сел рядом с нею. Он не сказал ни полслова, все глядел и глядел с жалостливым видом на Тху.

Тху решила заговорить первой.

— Вы здесь недавно, да? — спросила она, улыбнувшись.

— Нет, я здешний,— покачал головой Кханг.— Работаю в уездном комитете. Живу за горой. А вы, товарищ, очень уж исхудали.

Тху кивнула: да, мол... Кханг выглянул за дверь.

— Что, товарищ,— спросил он,— как по-вашему: скоро пойдут дожди?

Изумленная, Тху не успела даже ответить, как он продолжал:

— Осталось еще пять дней. А там — жди паводка.

Тху поглядела в проем двери. Неподвижные черные тучи обложили небо, было сумрачно и тихо. Ей почудилось, будто время остановилось, и неведомо, стронутся ли когда-нибудь с места эти тяжкие свинцовые громады. Кханг тоже оглядел — медленно и внимательно — весь небосвод, и глаза его радостно заблестели, точно он одолел в споре давнего противника. Посидев еще немного, он встал и, не говоря ни слова, вышел.

Через два дня, к тому времени, когда Тху оправилась от лихорадки, они с Кхангом стали задушевными друзьями. Теперь старик председатель, возвращаясь домой по вечерам и бросая на стол свой кожаный планшет, спрашивал: «Ну, дорогая гостья, сознавайтесь, где вы были с Кхангом сегодня?..» Тху попросила Кханга сводить ее в уездный комитет, разместившийся, как оказалось, в таких же домиках на сваях. Кханг познакомил ее с товарищем Шоном и товарищем

[1] Чау — растение, родственное клещевине, из семян его выжимают масло, используемое в хозяйстве

Тхау, с ее сверстницей Бить и мальчишкой-подростком по имени Лау. Во второй половине дня Кханг обычно бывал свободен, и они вдвоем отправлялись в лес. Пройдя по холмам, поросшим пальмами, они оказывались у подножья горы Чо. По пути они непременно заглядывали на женские курсы ликбеза, где было десятка полтора учениц — совсем молодых и постарше. На обратном пути Кханг обычно забирался на развилину высокого дерева и подолгу разглядывал гору Чо. «Вас, сестрица, всегда интересно послушать,— говорил он Тху на обратном пути. И добавлял: — Мой дом вон там, за горой...»

Она теперь знала: Кханг — из народности мыонг, ему двадцать лет, он работает с молодежью, деревня его — километрах в десяти отсюда — захвачена врагом. Каждый день прогуливаясь с Тху по окрестностям, он, бывало, за все время только и скажет что две-три фразы. Шагает себе напрямик, даже не оглянется. Но он не забывал отвести в сторону все торчавшие на пути ветки, а в трудных местах всегда останавливался и вел дальше Тху за руку. Бывало, отстанет она, и тут на нее тучей обрушивалось комарье. Вскрикнет, припустит со всех ног вдогонку за Кхангом, а тот обернется, посмеиваясь: «Комары-то решили, что вы, товарищ, заснули...» Иногда он казался ей младшим братом, разумным и покладистым, а то вдруг преображался в старшего, заботливо оберегавшего от малейшей напасти. Тху рассказывала ему о том, какая она, равнина,— далекая, никогда им не виданная; рассказывала про свою работу. Кханг слушает ее, слушает и вдруг скажет, вроде бы невпопад: «А вот старший мой брат — молодец! Он будет посильнее меня...» Или ткнет пальцем в небо: «Еще три дня, и пойдут дожди!..» Как-то, особенно, видно, расчувствовавшись, он сказал тихонько: «Хоть верьте, товарищ, хоть нет, а я раньше думал — дедушка Хо из наших, из мыонгов...» Потом вытащил из кармана блокнот, где вел записи по политграмоте, достал спрятанную меж страничками фотографию Хо Ши Мина, вырезанную из газеты, и, усевшись на землю, долго ее разглядывал.

Небо день ото дня нависало все ниже, усиливалась духота. Тучи ползли нескончаемой чередой. Но взглянешь ввысь — и кажется, вроде они стоят на месте, не шелохнутся. Застыли без движения, только разбухают вширь и вглубь. Вечерами на горизонте, темном, точно задымленная медь, приоткрывались щели, пышущие багрянцем. И председатель, как всегда в это время читавший донесения и циркуляры, бормотал, вытирая пот со лба: «Да-а, вот-вот польют дожди». Кханг являлся теперь в гости попозже. Он раздобыл где-то самострел и все похвалялся им перед председателем. Потом они затевали бесконечные споры на языке тхай. Кханг, в подтвержденье своих слов, всякий раз указывал пальцем на небо, подняв самострел, натягивал тетиву и снова опускал его на пол. И все время громко смеялся. Председатель тоже смеялся и, наконец, повернув к Тху свою наполовину седую голову, говорил:

— Товарищ Кханг утверждает: еще два дня, и хлынут дожди. А по-вашему — сколько еще ждать?

Ей казалось забавным: чего это Кханг так волнуется из-за дождя?

— Точно не знаю,— говорила она.— Думаю, задождит — не завтра, так через день. Каково-то мне будет в дождь шагать по горам!

Похоже, председатель, вроде Кханга, только и думал что о дожде. Даже мальчуган, печатавший на машинке, то и дело поглядывал на небо. Обычно, проходя мимо уездного комитета, Тху слышала долетавшие из свайных домиков шум, разговоры, смех: «Послезавтра быть дождю!..», «Зато уж теперь как зарядит — держись!..», «Золотые ваши слова»... И она, встревожась, говорила себе: «Пора! Соберусь поскорей и — в путь».

Перед дорогой она затеяла генеральную стирку. Потом решила: задержусь еще на денек, поднаберусь сил. На исходе последнего дня она попросила Кханга отвести ее на курсы ликбеза — попрощаться с

тамошними ученицами. Погода была прохладнее, чем в предыдущие дни. Ветер, вихрями вздымаясь со дна лощин, кружился вокруг холмов. Тху и Кханг весело шагали к подножью Чо. Они забрались уже довольно высоко, как вдруг Кханг опустился на траву и спросил:

— А вы знаете, товарищ, кого сегодня нет в комитете?

Тху, привыкшая уже к странной его манере вести разговор, вздохнула и улыбнулась:

— Наверно, сестрицы Бить. Угадала?

— Нет, вовсе не Бить,— недовольно поморщился он.— Ушел товарищ Лэм. Тэй схватили его старую мать, вот он и пошел домой.

Голос его звучал напряженно и сухо. Тху, желая как-то умерить его волнение, спросила:

— А почему тэй схватили мать товарища Лэма?

Экая простота! Кханг засмеялся отрывисто:

— Тэй, уж если нагрянут, хватают всех подряд.

Больше он не прибавил ни слова. Острая вершина горы Чо чернела на фоне неба. Тяжелые громады туч надвигались, громоздясь друг на друга. Небо с каждой минутой все больше темнело. Ветер пригнул к самой земле траву. Где-то вдали прокатился низкий рокочущий гул.

Кханг встал.

— Что это — гром или стрельба? — спросил он в недоуменье.

Как бы в ответ ему с высоты, сверкнув, обрушилась молния. Тху в страхе прижалась к стволу дерева.

— Вернемся обратно! — прокричала она.

Непроглядный мрак затопил все вокруг. Молнии, змеясь, полыхали над лесом. Деревья, кусты, трава метались и гнулись, шумя под ветром. Вдруг показался шагавший вверх по склону ополченец с самострелом на плече. Кханг подбежал к нему. Они обменялись несколькими словами. Ополченец протянул Кхангу свой самострел, Кханг осмотрел его и вернул владельцу. Тот снова забросил его на плечо, свернул на боковую тропинку и скрылся из глаз. Тху заторопилась вниз, туда, где, дожидаясь ее, стоял Кханг.

— Тэй и вправду увели мать товарища Лэма,— сказал он, волнуясь.— Они схватили еще одну старую женщину, что пришла к нам с равнины, и ихнего гостя, резавшего свинью. Наши вступили с тэй в перестрелку. Товарищ Дык, вы только что видели его, одним выстрелом из самострела уложил двоих наповал. Да-да, из того самого! Вы-то, небось, его и не разглядели?

Ветер крепчал. Новые черные глыбы туч грозно ползли по небу, исполосованному зигзагами молний.

Кханг потянул Тху за руку:

— Скорее! Бегом!

Она побежала, нагнув голову. Застучали первые капли дождя. Кханг шагал следом за нею.

— Только бы ливень затопил ущелье Вык! — громко, словно сердясь, кричал он ей.— Тогда тэй, что сидят в форте Ванг, крышка!.. Им и отступать-то некуда!..

Тху не обернулась даже на его слова. Дождь хлестал ее по лицу.

Кханг, не отступая, шел все тем же широким шагом.

— Если зальет ущелье,— кричал он,— тэй из нижнего форта Мао не смогут прийти к ним на помощь! Бей их, как душа пожелает!..— Голос его звучал все громче.— После такого ливня непременно жди паводка!..

Его заглушил дождь. У Тху все поплыло перед глазами. Из последних сил старалась она разглядеть свет фонаря в уездном комитете. Но до него, видно, было неблизко. Кханг вроде все кричал что-то скороговоркой. Она то и дело спотыкалась, всякий раз чудом оставаясь на ногах. Домой она добежала промокшая насквозь.

Весь вечер с нарастающей яростью шумел дождь. Крыша протекала, как решето. Кругом, раздирая слух, скрипели и стонали пальмы

ко. Казалось, дом не в силах уже вместить весь этот грохот и гул. При каждой вспышке молнии Тху различала бешено мчавшиеся по земле пенистые потоки. Дом словно плыл по бушующим волнам. В углу по-прежнему постукивала машинка. Как бы издалека доносился голос председателя: «Утром двадцать шестого июля французы ворвались в деревню Ла... Больше двадцати черных тэй...[1] Около четырех часов утра, люди еще спали. Вражеские солдаты вломились в дом тетушки Тхин. Бывший с ними предатель из мыонгов крикнул: «Вставайте! Уже утро!..» Они схватили и увели двух старых женщин: одна — местная жительница, другая — беженка с равнины, а также их гостя»...

Тху — она сидела у очага, внимательно слушая председателя,— разожгла огонь.

«...Увели трех коров, награбили много риса и кукурузы... На обратном пути партизаны атаковали их из засады... Взрывом гранаты убито трое черных солдат... Партизан отравленной стрелой уложил из самострела белого сержанта»...

Голос председателя звучал монотонно, как всегда. Одной рукой он прижимал к столу лист бумаги, чтоб его не унес ветер; другой — прикрывал огонек, плясавший на конце фитиля, опущенного в щербатую чашку с маслом чау. Светильник то и дело грозил погаснуть. Ветер заносил в дом дождевые капли, и пол под ногами старика был весь мокрый. Пальцы мальчишки бегали по круглым белым клавишам. Сколько подобных докладов составили и отпечатали председатель и его «секретарь»!.. Тэй ограбили... Сожгли... Партизаны атаковали... Столько-то убитых, столько-то раненых... За те годы, что маленькая община борется с врагом здесь, в отдаленном горном углу Шонла, слова эти повторялись изо дня в день бессчетное множество раз.

В дверь ввалился Кханг, мокрый с головы до ног. Он направился прямо к столу и, сняв с плеча самострел, положил его рядом с машинкой.

— Ну, товарищ председатель, вода за фортом Мао уже поднялась!

Председатель встал:

— Здóрово! Значит, ущелья Вык и Хаук тоже затоплены!

Кханг ничего не ответил. Председатель выглянул за дверь. Стук машинки умолк. Кханг вдруг разразился длиннейшей тирадой на языке тхай. Слова звучали размеренно, иногда лишь голос его срывался на крик. Мальчишка слушал, подняв голову от машинки и широко раскрыв рот. Председатель кивал седеющей головой: да, мол, так и есть. Потом уселся за стол и снова склонился над своими бумагами. Голос его звучал монотонно и глухо. Опять застрекотала машинка. Кханг, взяв самострел, подошел к очагу, опустил оружие на пол, снял со спины вещмешок и присел рядом с Тху. С волос его все еще капала вода, Тху разрубила длинные хворостины и подбросила дров в очаг.

— Сегодня, когда совсем стемнеет, я ухожу домой,— сказал Кханг.

— Как домой? — вздрогнула она.

Он развязал вещмешок, нашарил внутри длинный бумажный сверток и стал осторожно его разворачивать.

— Начался паводок, пора возвращаться.

Сверток наконец раскрылся, в нем оказалось с полсотни стрел. Кханг взял одну и поднес поближе к свету.

— Да разве вы дойдете в такой ливень? — спросила Тху.

— А почему бы нет? Переплыву через ущелье, обогну гору Чо и — дома.

— Но ведь паводок... Водовороты...

---

[1] Черные тэй — так вьетнамцы называли африканских солдат, служивших во французском экспедиционном корпусе.

— Ничего, мне они не помеха. Если нельзя вплавь, свяжу плотик из бамбука. К утру все равно буду дома. Матери скажу, чтоб уходила подальше в лес. Когда партизаны атакуют форт, пусть себе тэй палят по деревне за милую душу. Может, собьют парочку лимонов.

Он засмеялся, довольный, представив себе воочию эти «жертвы» обстрела. Потом снова упаковал сверток со стрелами и вдруг помрачнел.

— Старший мой брат погиб из-за того, что жена его не успела вовремя уйти в лес. Но зато он уложил на месте француза ростом вдвое повыше его самого. Тэй, они, товарищи, не люди — звери. Они убили товарища Хао (он стал загибать пальцы), товарища Ма, товарища Лунга. Земля здесь отличная, а в деревне у нас ни зернышка риса. Вот и едим дикие клубни — маи да бау. Главное — нечем армию нашу поддерживать. Да еще тэй требуют: подавай им каждый год двадцать два с половиной центнера риса. Не сдашь, бьют смертным боем. Мою мать-старуху и ту избили. Матери товарища Лэма за восемьдесят перевалило, тэй пинали ее ногами, сбросили с лестницы...

Председатель в своем углу вдруг перестал читать, вскричал: «Ага!» — и обернулся к ним.

— Слушай, товарищ Кханг,— сказал он,— ты не забыл: надо заглянуть по пути в деревню Диен — пусть люди немедленно уходят в лес. Оттуда ведь до деревни Ла рукой подать, и эта гадина Кон непременно приведет туда тэй. Как, не слишком большой получится крюк?

— Да нет, туда от развилки всего-то дороги на один голос [1]!

— Вот беда, а ты поспеешь к ущелью до петухов?

— Ясное дело. Дорогу знаю как свои пять пальцев.

Снова застучала машинка. Кханг повернулся к Тху и спросил:

— Ну а вы, товарищ, когда в дорогу?

— Завтра. Если дождь не уймется, пережду еще день. Мне засиживаться больше нельзя.

— Вот как... Такая бледная да хилая и пойдете? Значит, я, как вернусь, вас уже не застану?

Он как будто огорчился. Минуту-другую глядел на небо, потом заговорил с жаром:

— В том году тэй понаставили восемь фортов. А теперь их всего три. В прошлый паводок партизаны взяли четыре форта. Нынче наш отряд поведу я. Запомните мои слова: форту Ванг — конец!

Он встал, продел руки в лямки вещмешка, взял самострел.

— Что ж,— сказал он,— счастливо оставаться. Когда вы уходите?

— Завтра, самое позднее — послезавтра,— повторила Тху.

Кханг, переступив через порог, вдруг остановился.

— Да, товарищ,— спросил он,— как вас зовут-то?

Она удивилась немного, но отчетливо, по складам произнесла свою фамилию и имя.

— Надо же мне знать, чтоб, если кто пойдет в ваши края, переслать с оказией.

— Что переслать?

— Матушка моя мастерит цветные сумки — загляденье. Я попрошу ее соткать для вас сумку, товарищ.

Она не успела ответить. Кханг скрылся за дверью.

Председатель, встав из-за стола, вышел следом за ним на лестницу. Дождь не унимался. Кханг весело окликнул знакомых из агитбригады в доме напротив, сбежал по ступенькам и зашлепал по лужам, громким приятным голосом затянув песню. Председатель, кивая головой и улыбаясь, глядел ему вслед.

Ливень зарядил с новой силой. Начиналась пора дождей.

---

[1] Многие народности, живущие в горах, измеряют расстояние пространством, через которое доносится в лесу человеческий голос.

Белая блузка

Я тогда только что закончил военное училище. И в составе батальона, куда был назначен, впервые направлялся на фронт. Мы покинули заросли пальм ко и поросшие чаем холмы у реки Тхао; путь наш теперь лежал в Шонла.

Уже на подходе к месту назначения батальон получил приказ двигаться дальше форсированным маршем и нанести удар по горной деревне Х., занятой неприятелем.

Весь день мы шли по холмам, заросшим длиннолистой жесткой травой под неистово палящим солнцем, и я чувствовал себя как бы сваренным заживо. К вечеру от голода и жары у меня начала кружиться голова, то и дело прошибал пот, руки и ноги холодели и, казалось, вот-вот отвалятся.

— Тебе бы посидеть, передохнуть,— сказал командир взвода.— Дождись лучше здесь Куока с его отделением. Вместе и догоните нас.

Отыскав окоп у самой дороги, я спрыгнул в него и уселся рядом со связным Хыу. Он тоже перегрелся на солнце. Лицо его побагровело, словно ошпаренное кипятком; держа в руке шляпу из листьев, он время от времени обмахивался ею.

Солнце уже опустилось к самому горизонту, когда наконец явился Куок со своим отделением. Мы двинулись вместе с ними дальше. В косых лучах заката вдруг вспыхнули тростники и тотчас угасли. Повсюду вокруг видны были лишь тростниковые чащи... Тростник... Опять тростник... Ни единого дерева, ни чистого поля. Даже птиц не слыхать. Один из бойцов по имени Тиеу, здешний уроженец, был нашим проводником. Он бодро шел впереди, указывая дорогу.

А она становилась все уже, временами чуть ли не вовсе терялась в траве. Тиеу теперь частенько останавливался, выбирал направление и снова торопливо шел дальше. Когда мы поднялись на какой-то холм, он остановился и на этот раз стоял довольно долго, озираясь по сторонам. Потом, предложив нам обождать его, скрылся в зарослях тростника. Вернулся он смущенный вконец.

— Никак не найду дорогу,— признался он.

Все растерялись.

— Давайте пойдем напрямик еще немного,— сказал я.— А ну как нам повезет.

Вдруг как-то необычайно быстро начал опускаться туман; окрестные холмы и горы в мгновение ока заволокло белесой пеленой. В сгущавшихся сумерках, раздвигая траву и тростник, мы шагали следом за Тиеу. Отделенный Куок шел рядом со мной. Он все время оглядывался и помалкивал, но, видно, ужасно сердился.

Вскоре совсем стемнело — хоть глаз коли. Мы шли, перекликаясь на ходу. Иногда забредали в совсем уж непролазные чащи; шипы и колючки цеплялись за одежду. Не верилось, что где-то есть торные дороги и тропы. Сперва мы еще шутили, посмеивались друг над другом; но потом, в кровь исцарапанные колючками и павшие духом, замолчали. Больше в темноте не слышно было ни слова. От голода сводило живот, а тут изволь карабкаться с холма на холм. Ноги гудели; чем дальше, тем больше становилось не по себе. Тен, его снова начала трепать лихорадка, тихонько постанывал. Куок, чтоб хоть как-то помочь ему, взял у него винтовку. Разгулявшийся ветер с силой бил в лицо.

Ближе к полуночи мы совсем уж было собрались устроить привал и улечься прямо на траве, как вдруг услыхали плеск воды и стук песта. Так и есть, где-то неподалеку шумела водяная рисорушка! Мы разом приободрились и двинулись на шум. Перейдя вброд довольно глубокий ручей, безмолвно сбегавший со склона, мы увидели маленький дом на сваях; в доме горел очаг.

Я знаком собрал людей, потом мы вдвоем с отделенным вошли во двор и осторожно поднялись по лестнице. Куок постучал в дощатую дверь. В доме по-прежнему было тихо. Потом чей-то хриплый голос спросил:

— Пхы де? [1]

Куок ответил что-то тоже на языке тхай. Слышно было, как в доме кто-то встал, раздул поярче огонь и подошел к двери. Она, скрипя, приоткрылась. Послышалось тяжелое прерывистое дыхание. Дверь раскрылась пошире. За нею стоял высокий плечистый старик. Он посторонился и, сощурясь, глядел на нас. Мы вошли в дом.

Я поздоровался; он не ответил ни слова. Куок присел у очага и, протянув руки к огню, сказал:

— Мы солдаты. Вот, проходили мимо...

Дальше он скороговоркой стал объясняться на языке тхай. Старик пошел в угол комнаты, взял небольшой чайник с чашками, поставил чайник на огонь.

Куок вышел и позвал ребят. В доме сразу стало тесно и шумно. Все тянулись к огню. Хыу снял с плеча винтовку и огляделся.

— О-о, дом-то новехонький! — сказал он.— Что ж это с вашим котлом стряслось? Вон какой кусище выщерблен с краю. Жалко...

Сев рядом со стариком, он пристроился поближе к очагу и продолжал:

— Мы, хозяин, с голоду помираем. Не дадите ли нам котел — сварить рис?

Тен, обессиленный вконец, лег на пол и, накрывшись с головой одеялом, негромко стонал.

Старик внимательно оглядел каждого из нас и, слегка запинаясь, сказал:

— Давайте, това-арищи... я сам сварю вам рис.

Он говорил по-вьетнамски довольно неплохо.

— Эй, Лыонг! — крикнул старик, повернувшись к плетеной перегородке.

Из внутренней комнатки в конце дома вышла девушка. Волосы у нее закручены были высоким узлом. Стесняясь незнакомых людей, она одернула короткую белую блузку, направилась в ближний от лестницы угол и, плеснув из бамбукового ведерца воды в котел, принялась его мыть.

Старик все так же молча заварил чай.

Хыу уже похрапывал, растянувшись у очага. Уснул и Тен; одеяло его размеренно поднималось и опадало. Лишь изредка Тен стонал. Другие ребята тоже спали, притихнувшись по углам.

Я пил чай со стариком.

— Вы так и живете здесь вдвоем? — спросил я.

Он кивнул головой. В ясных не по годам глазах его вдруг вспыхнул насмешливый огонек.

— Вы, това-арищи, небось заблудились?

— Откуда вы знаете? — удивился я.

Он, улыбаясь, поглядел на меня.

— Да лица у вас, това-арищи, исцарапаны в кровь. Надо бы лекарством присыпать.

Вот почему он так разглядывал нас в дверях... Я засмеялся и потрепал его по плечу:

— А ведь верно. Ловко вы догадались.

Довольный, он хлопнул себя по ляжке и расхохотался. Девушка, промывавшая в котле рис, удивленно подняла голову, взглянула на нас и снова зашуршала влажными зернами.

Мы со стариком были теперь на дружеской ноге. Тут к нам подсел Куок, и разговор пошел еще веселее. Старик все время свиристел

[1] Кто там?

и булькал бамбуковым кальяном. Он так увлекся беседой, что иной раз лучина обгорала чуть не до пальцев, а он все забывал в очередной раз раскурить свой лаосский табак. Они с дочкой, рассказал старик, перебрались сюда и распахали здесь новь месяца три назад, а может и больше. Дом же их был далеко отсюда, в полутора днях пути. Тэй ворвались к ним в деревню и выгнали оттуда всех жителей — до единого.

Девушка поставила на очаг котел с рисом; присела, словно притаилась за спиной у отца, лишь изредка подвигалась поближе к огню — подбросить хворосту, и щеки ее заливал румянец.

А старик — глаза навыкате от гнева — рассказывал, как тэй согнали их с земли:

— Заставили всех порушить дома, бросить поля и перебраться жить к самому ихнему форту. А там обнесли все оградой, чтоб люди не ходили на дальние пашни. Ох, и голодно стало, това-арищи! А соль... Если из какой семьи женщины или девушки не пойдут к ним в форт, тем соль не продавали. Сын мой ушел в отряд к партизанам. Жена его с ребенком дома осталась. Да разве дитя выкормишь без соли? Ну, и самой тоже худо. Заболели они, раздулись от водянки и померли оба. Потом явился ко мне волостной начальник из наших и тэй с ним. Ударил меня!.. «Ты почему,— кричит,— не пускаешь дочь плясать перед его благородием?..» Вот мы вдвоем с дочкой и подались сюда.

Он умолк, понурился. Мне показалось, будто редкие седые нити его бороды подрагивают, как бы от ветра.

— У-у, сволочи!..— выругался Куок.— Не люди — звери! Ну ничего, отец, скоро им всем крышка!

Старик кивнул в знак согласия. Но на спокойном лице его, словно рябь по воде, промелькнули тоска и боль.

— Да, племяннички,— сказал он,— всех горестей не сочтешь, не расскажешь! Сколько уж мы, старики, передумали всего — выскажешь разве что малую часть. Когда я увижу мой ручей, старый мой дом?! Самолеты их проклятые летают повсюду, стреляют с неба. Один-единственный дом увидят — и по нему бьют!

Больше старик не проронил ни слова. Я тоже молчал, да и что тут скажешь? Все попадавшиеся нам во время похода деревни были пусты и безжизненны. Днем люди прятались в лесу. Лишь с наступлением темноты в домах на сваях слышалась человеческая речь, загорались огни. Но многие деревни стояли и вовсе заброшенные: дома сгорели или осели набок, меж сваями в подполе кустится трава. И повсюду ждали: когда же придут наши? Пожалуй, впервые с тех пор, как противник сбросил парашютный десант и взял Шонла, здесь появились наши регулярные части.

Рис сварился. Куок разбудил ребят. Хозяева сдобрили рис чистой белой солью. Да вдобавок выставили большую чашку холодного волокнистого варева из горного мха и миску похлебки из побегов опийного мака с мясом какого-то лесного грызуна. Я все никак не мог привыкнуть к здешней еде, подолгу держал во рту каждый кусок, не решаясь его проглотить. Не знаю, может, с другими было иначе... Впрочем, все — и рис, и похлебку — ребята подчистили без остатка.

После еды минут десять все переговаривались, шумели, устраиваясь на ночлег. Я тоже завернулся в одеяло и улегся лицом к очагу. Какое-то время еще я различал белую блузку Лыонг, сидевшей у огня. Потом перед глазами все поплыло, смешалось — меня сморил сон.

...Вдруг сквозь сон я услышал какой-то шум над головой. С трудом разлепив веки, высунулся из-под одеяла. В доме кромешная тьма. Наконец я разглядел Хыу: скорчившись, он сполз с настила под крышей и опрометью бросился за дверь. Вскоре он вернулся, стараясь ступать потише.

— Ты чего? — спросил я шепотом.

— Сам не пойму,— растерянно зашептал он,— мутит, сил нет...

— Это все опийный мак,— подал голос Куок, лежавший рядом со мной. — С непривычки бывает...

— Кто б мог подумать...

Хыу снова полез на настил, где сушился рис.

— Тебе что, внизу места мало? — спросил я, задрав голову.— Спишь, как курица на насесте.

— Я забрался туда на всякий случай: припрется непрошеный гость, влеплю в него сверху пулю и — наповал. Винтовка под рукой, заряжена, снял предохранитель — готово...

Я и сам вдруг встревожился. Разве угадаешь судьбу? Кому жить, кому умирать? Где она нас поджидает, смерть?.. Полежал, прислушиваясь к посвисту ветра за стеной. Оседавшие капли тумана шелестели по соломенной крыше, как морось... Должно быть, сын старика воюет теперь здесь в ополчении... Знает ли он об ужасной смерти жены и ребенка?.. От холода и беспокойства уснуть я больше не мог. Поднялся, набросил на плечи одеяло и, присев у очага, раздул огонь. Потом взял карту и стал прикидывать по ней наш маршрут. Отметил карандашом место, где мы, по моим расчетам, сбились с пути. Оттуда до пункта завтрашнего сбора, судя по карте, километров десять— пятнадцать. Главное — точно сориентироваться и снова выйти на большак. Надо будет завтра расспросить старика.

Пламя, полыхавшее в очаге, высвечивало лица спавших вокруг ребят. Тен лежал, повернув голову набок, тяжело дыша; вид у него был совсем изможденный. Куок и во сне сжимал рукой винтовку; на ремне у него висели подсумки, и потому фигура его казалась какой-то скособоченной.

Я снова, в который уже раз, перебирал в памяти перечень дел на завтра, как вдруг услыхал за спиной чьи-то осторожные шаги. Обернулся — Лыонг. Она тащила, обхватив руками, глиняный котел с дырчатым дном, в котором готовят на пару рис. Тотчас сложив карту, я привстал, чтобы помочь ей. Но она, мотнув головой, дала понять: мол, нет, не надо. И подойдя к очагу, поставила котел на огонь. Казалось, тело ее еще пышет теплом недавнего сна; белые рукава блузки красиво облегали округлые полные руки.

— Что это вы в такую рань собрались кашеварить? — спросил я.

— Хочу вас накормить... всех...

— Наверно, скоро рассвет?

— Ага, ско-оро.

Она не совсем ясно произносила звуки и тона вьетнамского языка, и оттого речь ее звучала непривычно и странно. Но главное — все было понятно. С непостижимым проворством она подложила в очаг хворост и поставила рядом чайник.

— Мы очень бедные,— сказала она,— нечего даже подарить солдатам. Ну не беда, после боя приходите в нашу деревню. У нас очень много рыбы. Во время паводка, в апреле, рыба идет стаями. Ловишь ее, ловишь; руки устанут, а рыбе все нет конца.

— Да неужели?

— Возле моей деревни целых четыре речки,— сообщила она; вся раскраснелась, глаза горят.— Сейчас-то они мелеют, пересыхают; там, где была вода, пашут и сеют. Зато в апреле, как начнется паводок, четыре речки все затопят. Целую ночь с факелом и с острогой бьешь рыбу, даже о доме забудешь. Карпы огромные: каждая чешуйка шириной с эту чашку. Взрежешь брюхо, а там икры — полный котел. И есть уже не можешь, и отдать некому. В каждом доме над очагом рыбы висит — не сосчитать.

— Ясно. Значит, нам лучше всего собраться к вам в гости — на рыбу в апреле.

— Да вы все равно не придете.— Она усмехнулась и, помолчав, спросила: — У вас нет с собой какой-нибудь песни, я бы ее переписала?

— А вы, вы знаете грамоту? — удивился я.

— Ага, знаю. У нас здесь есть школа, туда все ходят — и стар и мал.

Я покраснел от смущения.

— Вы, небось, просто не хотите давать мне песню,— насмешливо улыбнулась она.

— Нет-нет, что вы! Могу подарить вам свой блокнот с песнями. Хотите?

— Я-я... ага...

Лыонг вытерла руки об юбку, взяла протянутый мною блокнот, перелистала первые странички, аккуратно закрыла обложку и спрятала за пояс.

— Потом отнесу к себе в комнату. Буду каждый день учить по одной песне. Заодно и буквы повторю. Тэй, они никому не позволяли учиться.

Из закипевшего чайника ударила струя пара.

— Идите, товарищ, пить чай,— позвала меня Лыонг.— Раньше к нам в деревню заходили товарищи-солдаты; очень весело было. А как сюда перебрались, по этой дороге солдаты не ходят — никого не увидишь.

Допив чай, я положил карту в планшет. Небо начинало светлеть. Ручей вроде приумолк, и шум рисорушки стал почти неразличим среди множества звуков нарождавшегося утра. Защебетали птицы. Я спустился во двор. Густой туман оседал мелкой моросью.

Ребята в доме проснулись, и, как всегда, началась перепалка.

— Быстрее, быстрее! — это был голос Куока.— Пристегнуть подсумки!

Я вернулся в дом. Старик, сидя у очага, заваривал чай. Лыонг возилась с подносом и чашками.

Куок вытянулся передо мной:

— Разрешите доложить, хозяин угощает нас паровым рисом. Поедим и сразу в путь.

Поели мы очень быстро. Бойцы построились во дворе. Только что рассвело. Я хотел было позвать Куока, чтобы вместе расспросить про дорогу. Но тут он, собственной персоной, появился на лестнице; следом спускался старик. Потом во двор сошла и Лыонг; за спиной у нее торчал из-за пояса широкий тесак, с которым обычно ходят в лес.

— Хозяин посылает Лыонг с нами,— громко сказал мне Куок.— Она выведет нас к большаку.

Растроганный, я подошел к старику и пожал ему руку на прощанье. Бойцы простились с ним; он по старинке отвесил поклон каждому, не выпуская из рук мою ладонь.

Когда наша цепочка вышла к ручью, я обернулся: старик все стоял во дворе у дома и глядел нам вслед. Кто знает, пребудет ли в мире его маленький дом на сваях? Или самолеты отыщут его, обстреляют, разрушат? С удрученным сердцем шагал я вброд через ручей. Потом, поднявшись на противоположный берег, снова оглянулся: соломенная крыша — самого дома уже не было видно — белела на фоне деревьев.

Трава напиталась росой, вскоре и наша одежда стала влажной.

Лыонг шла впереди, высокая и стройная.

Утро становилось все светлее. Сквозь белую дымку проглядывало солнце, похожее на круглое блюдо с кровяным студнем. Мы подошли к высокой горе. Дорога, усеянная острыми камнями, все время круто шла вверх. Когда мы добрались до вершины, волей-неволей пришлось устроить привал — надо было хоть дух перевести. Туман рассеивался,

все яснее проступали очертания желтых холмов. Лыонг подняла руку и показала пальцем на холмы, уходившие вдаль:

— Вон там!.. Видите?

Далеко внизу змеилась дорога — точно красная нить, продетая меж подножий холмов.

Хыу вскочил на ноги.

— Вот это да! Ай молодец старикова дочка... Большак-то, вот он. Куда ж ты, милый, вчера подевался?

Еще через полчаса, спустившись с гор, мы, радостно крича, выбежали на дорогу. Кто, сняв шапку, вытирал пот со лба, кто потуже затягивал пояс. Лыонг стояла у обочины и глядела на нас. Она тяжело дышала, на лбу и на шее проступили капельки пота.

Я протянул ей руку. Она смутилась немного, но потом пожала мне руку и сказала:

— Счастливого всем вам пути.

Ребята помахали ей руками. Она поклонилась, снова пожелала нам доброй дороги, повернулась и стала взбираться на гору.

По ровному широкому большаку ноги шагали сами собой.

— Да, здорово нам повезло,— виновато произнес вчерашний наш проводник Тиеу.— Я уж не знал, куда нам сегодня податься.

— Пропесочь хорошенько свою память,— расхохотался Куок.— Чуть не уложил нас спать с тиграми.

Хыу оглянулся назад, рискуя вывернуть шею, и молвил:

— А знаете, здесь, в горах, очень красивые люди!

Грохнул дружный смех. У Хыу побагровели даже уши.

Дойдя до перекрестка, мы оглянулись. Блузка Лыонг белела на тропе в зарослях травы и тростника. Я приложил ладони рупором ко рту и громко окликнул девушку. Ребята, следуя моему примеру, кричали во всю мочь. Поднявшись на вершину горы, белое пятнышко остановилось и замерло. Кто-то извлек из вещмешка полотенце и неистово замахал им. Белая блузка оставалась немой и неподвижной.

Куок поглядел на гору из-под ладони:

— Вроде она машет рукой.

— Эх, ничего не видно!

— Жаль, ни у кого нет бинокля...

На всякий случай мы снова замахали полотенцем и шапками.

Вдруг белое пятнышко разрослось и заметалось из стороны в сторону. Мы закричали громче прежнего.

Тиеу изумленно пялил глаза на гору:

— Эй, красавица машет нам своей блузкой!

Мы двинулись вперед, прибавляя шаг, но то и дело оглядывались назад. Белая блузка развевалась по-прежнему. Потом она вроде застыла на месте. Все остановились, как по команде. Белое пятнышко на горе съежилось и вдруг скрылось из вида.

Солнце тем временем поднялось уже высоко. Тумана как не бывало. Мы шли не останавливаясь и после полудня догнали своих.

Вечером батальон взял штурмом форт и уничтожил неприятеля в деревне Х...

■

ГИЛЬЕРМО ДИАС-ПЛАХА

Стихи разных лет

Перевод с испанского СЕРГЕЯ ГОНЧАРЕНКО

Унамуно [1]

Бумага. Недочитанная гранка.
Уже в жаровне угли поостыли.
За шторой — вековая Саламанка.
За Саламанкой — древняя Кастилья.

Внутри и вне — война. У изголовья
атакой захлебнулась Гвадаррама.
Ты истекаешь родиной, как кровью,
и свежею землей пропахла рана.

Мигель де Унамуно, не иначе
ты вызвал бога вновь на поединок!
Ты умираешь. И отчизна плачет

губами раны в день твоих поминок.
И обелиск встает в нагорной выси,
который ты себе всей жизнью высек.

Антонио Мачадо [2]

У вечности свое святое право
обречь на память или на забвенье.
Ты знал, насколько многогранна правда
и сколько может сил вселить сомненье.

[1] Мигель де Унамуно — испанский писатель и общественный деятель (см. о нем «ИЛ» № 12, 1979). Унамуно умер в Саламанке, захваченной франкистскими мятежниками, в конце 1936 года Гвадаррама — река, на которой происходили тяжелые бои между республиканцами и фашистами.

[2] Антонио Мачадо — великий испанский поэт-антифашист. После поражения Республики вместе с отступающей армией пешком перешел Пиренеи и в 1939 г. умер во французском городке Кольюр, на берегу Средиземного моря.

© Guillermo Diaz-Plaja, 1978.

ГИЛЬЕРМО ДИАС-ПЛАХА — GUILLERMO DIAZ-PLAJA (род. в 1909 г.).

Испанский поэт и прозаик, ученый, педагог и общественный деятель, многогранное творчество которого охватывает самые различные жанры: от художественной прозы до фундаментальных исследований в области языка и литературы. Действительный член Королевской академии Испании и Барселонской академии искусств. Его перу принадлежит около двадцати стихотворных сборников, первый из которых увидел свет в 1941 году — «Первая тетрадь сонетов» («Primer cuaderno de sonetos»).

Предлагаемая подборка составлена из стихотворений, вошедших в книги «Прощания» («Los adioses», Barcelona, 1962) и «Лирический атлас» («Atlas lirico», Barcelona, 1978).

Ты знал, что не под силу петушиным
страстям украсить стих, где мало чувства,
что пропасти приравнены к вершинам
не ремеслом, а таинством искусства,

что тишина бывает громче бури,
что бездна ближе к звездам, чем нагорье...
Учитель грусти, ты лежишь в Кольюре

на берегу изгнания и моря.
Но родины твоей подземный голос
омыл тебя и твой подспудный колос.

Бразильские зарисовки

■ ■ ■

Автодорожный знак:
гудеть запрещается
вплоть до полного пробуждения
океана.

■ ■ ■

Волны — протяжные,
словно зевки:
море просыпается
на измятой простыне песка.

■ ■ ■

Излучина бухты стреляет
из лука
синевой
по Рио-де-Жанейро.

■ ■ ■

Пена — это вода,
которая хотела стать облаком,
но мечта ее разбилась
о волну.

■ ■ ■

И в сплошной синеве моря
есть, оказывается,
изумруды.

■ ■ ■

Прибой — это сердце,
приговоренное
к вечной жизни.

Танец бразильского негра

Белый владеет имением,
белый имеет власть.

У черного — только ярость,
которая проявляется
в том, как он скрипит зубами,
приветливо вам улыбаясь,
в том, как он больно толкает
вас при удобном случае.

Посмотрите,
как он танцует сегодня:
каждое движение похоже
на удар из засады.

Зато
белый владеет имением,
белый имеет власть.
Сегодня.

На мотив бразильской песни

— Эй, мулат, сумеешь мне
на одной сыграть струне?
— Да, сеньор.
— А не сможешь ли мотива
ты извлечь из банки пива?
— Да, сеньор.
— Из молочного бидона?
— Да, сеньор.
— Из дырявого баллона?
— Да, сеньор.
— А сыграешь на линейке?
— Да, сеньор.
— На пустой садовой лейке?
— Да, сеньор.
— Выдашь песню о тоске
на неструганой доске?
— Да, сеньор.
— Выжмешь песню из слезы?
— Это все, сеньор, азы;
вы, сеньор, поверьте.
— А исполнишь ли дуэт
с погремками смерти?
— Ради бога...
(— Что вы, нет!)

Разновидности бразильской пляски

Можно плясать с подругой.
Можно и нет — заметьте.
Можно плясать с ножами.
Можно плясать со смертью.

Продавец бумажных змеев на берегу моря

Торговец бумажными змеями,
пусть реют над хлябью
твои недолговечные солнца —
ты похож на Творца,
населившего мир птенцами
и порханием синих бабочек.

Вон как трепещут на ветру эти звезды,
эти разноцветные светила,
соединенные с рукой человека
почти незаметной нитью.

Именно так и бывает с мечтой.

Постижение осени

... Вот он я. И это бесповоротно,
ибо таким запечатлели меня
тысячи исписанных мною страниц.

Все могло выйти иначе,
но вышло именно так.

Каждая строчка моей жизни
могла бы звучать изящней,
стрелы мои бы могли поразить
более высокие цели,
колос мой мог бы налиться
зерном куда тяжелее — а голос
мог бы стать внушительней и звонче.

Но все вышло именно так —
не иначе,
и я не желаю нарушать
границу своей обнаженной души.

Принимайте меня за меня.

Окно, распахнутое в сад

И снова я вынужден признаться:
не знаю, кто мне подарил
чудо расцветающего сада
за этим окном, за которым
я истекаю голосом и словом.
Круговращенье растений,
замкнутая цепь январей и апрелей,
безупречный календарь лепестков,
выверенный маятник розы,
точные стрелки ветвей,
указующие зеленью на лето,
золотом — на осень,
педантичный часовой механизм,
изменчивый цвет под изменчивым небом —
прозелень, зелень, золото, просто зола,
голая серость, голубизна, серебристость...

Круговращение музыки, коловращение звуков:
извечная партитура птичьего свиста,
детские крики — зимой и под сенью листвы, —
изредка — лай соседской собаки, а по праздникам — песня:
голос шарманщика и завыванье шарманки.

...Впрочем, бывает — доносятся ноты безмолвья,
музыка тихого сада, сомкнувшихся створок...

Я завещаю и цвет, и звучание
этого сада —
да, неизвестному и неродному потомку,
который однажды посмотрит на мир из окна
этой квартиры...

Зубчатое колесо времени

Времени при́вод и самых
главных часов шестерня
движется мерно, вгрызаясь
в самое сердце меня.
Маятник света и тени,
птица в моей тишине!
Тиканье этого сердца
кровь продвигает во мне.

Взмах этой тоненькой стрелки
и оборот колеса
в памяти властно стирают
облики и голоса.

Не заслониться от ветра:
грани минуты остры.
Зря ли осенние листья
вспыхнули, словно костры?
Кто остановит движенье
тикающей шестерни?
Жадная мельница мелет
желтые мысли и дни.
Косит осенние травы
желтой разлуки коса.
С каждой минутой мужают
внуков моих голоса.
Двигают внуки, как поршни,
тяжесть оставшихся лет.
И от подобного счастья
средства и снадобья нет...

В Москве, у Кремлевской стены

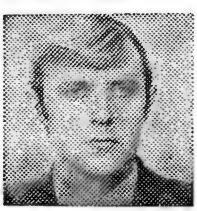
Почти ослепнув от жестокой вьюги,
на эту башню, боевой шатер,
глядел ордынец, затупив топор
о кольца белокаменной кольчуги.

Москва, твой враг всегда смотрел в испуге,
как ты встаешь, готовясь дать отпор,
и как идут хоромы на костер
и на мечи — натруженные плуги.

Не мудрено, что черная волна
тонула в этом белом океане,
где в помощь стенам — воинов стена,

а каждая поляна — поле брани
вокруг столицы, чья живая твердь
всегда предпочитала плену смерть.

■



ГОНЧАРЕНКО СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ (род. в 1945 г.).

Советский поэт и переводчик, филолог-испанист, кандидат филологических наук. Автор книги стихов «Четыре лета в году» (М., 1980), переводчик поэзии Луиса де Гонгоры, Мигеля де Унамуно, П. Неруды и других испанских и латиноамериканских поэтов. Ему принадлежит ряд работ в области романской филологии и теории перевода, в том числе составление, предисловие и комментарий к двуязычной антологии «Испанская поэзия в русских переводах, 1792—1976» (М., 1978).

ЖОРЖИ АМАДУ

Возвращение блудной дочери

РОМАН

Перевод с португальского ЮРИЯ КАЛУГИНА

Нет, я не должен пользоваться ни одним из обычных определений: публичный дом, дом терпимости, бордель, сераль, гарем, женский пансион, даже дом свиданий, чтобы классифицировать «Убежище лордов» в столице славного штата Сан-Пауло — роскошный, скромный, совершенно закрытый приют.

Простите меня, коли я не нахожу верного слова, чувствую себя в нерешительности, боюсь совершить непростительную ошибку, ведь я неотесанный повествователь, привыкший к сухой почве и скромной жизни, скудным деньгам и тяжелому труду. К тому же зачем классифицировать приятное место отдыха, где великие люди успокаивают нервы и восстанавливают силы? В столь благословенном уголке, как говорят, самые могущественные персоны наслаждаются обществом прекрасных и умелых девушек. Ах, как трудно быть бедным и неизвестным. Я говорю «неизвестным» потому, что двери «Убежища лордов» открываются исключительно для тех писак, что обладают известностью и славой, для немногих привилегированных. Как знать, может быть, в один прекрасный день я попаду туда, если повезет. И тогда смогу найти правильное определение. Пока же нет.

Молодой Парламентарий — интересный мужчина лет сорока, однако классом ниже Милейшего Доктора, который выглядит героем из новеллы и, если бы захотел, мог бы зарабатывать на жизнь, показываясь на экране телевизора. Некоторая тенденция к ожирению, начал округляться живот, и сауна не помогает, в глазах алчность и хитрость; репутация Молодого Парламентария весьма сомнительна, о нем судачат за кулисами Федеральной палаты. За кулисами, но никогда публично — кто бы осмелился? Он хорошо принят в высших сферах, особенно в тех кругах, которые действительно обладают властью. В газетной хронике стали называть его кандидатом на высокие посты; парламентского мандата, в последнее время довольно дискредитированного, уже недостаточно, чтобы удержать авторитет на высоте. Он получил твердое обещание быть принятым при ближайшем наборе в Высшую военную школу.

Милейший Доктор, привыкший к общению с видными личностями, не произносит его имени, считая это ненужным или неосмотрительным. Точно так же они стараются не называть сумму и не говорить о платеже. Лишь в какой-то момент появилась широкая улыбка на лице Молодого Парламентария: не часто в нынешнее время попадается такая выгодная сделка. Деликатную деятельность по установлению контактов и достижению договоренностей Молодой Парламентарий развертывает в рамках законного патриотизма и с признан-

Продолжение. Начало см. в № 7, 8.

ной ловкостью. Чаевые — было бы скандальным и недостойным словом для обозначения благодарности тех, которые использовали его достоинства и связи.

Приятно видеть их здесь вечером спокойно растянувшимися — в чем мать родила — на широких диванах одной из звуконепроницаемых зал, зарезервированных мадам Антуанет для шумных развлечений; они отсылают девиц, жертвуя временем досуга ради высших интересов, поскольку оба сознают свои важные обязанности.

— Здесь мы укрыты от нескромного любопытства,— новоявленный тшеславный клиент, Молодой Парламентарий с похвалой отзывается об «Убежище».

Залы, предназначенные прежде всего для модного сексуального содружества, начиная с римских бань, служат также для важных деловых разговоров магнатов, жаждущих покоя и осторожности. Как хорошо сказал Молодой Парламентарий, в «Убежище лордов» они укрыты от нескромного любопытства.

Милейший Доктор из портфеля извлекает кожаный футляр, предлагает сигары. Он знает привычки и вкусы партнеров, изучил с интересом, хотя и не без отвращения биографию Молодого Парламентария.

— Кубинские...— объясняет, улыбаясь; поскольку упоминание о Кубе запретно в любой области здешней жизни, дар приобретает значимость.

Молодой Парламентарий не удовлетворяется одной сигарой, он захватывает три.

— Раньше я курил только кубинские. Теперь их добываешь с трудом, все из-за коммунистических махинаций.— Он вдыхает запах сигары.— Великолепно! Нам нужно вырвать Кубу из когтей Фиделя Кастро, освободить континент от страшной угрозы подрывной деятельности.— Он говорит несколько напыщенно, как если бы находился на трибуне палаты депутатов.

— Днем позже, днем раньше американцы покончат с ним.— Милейший Доктор протягивает золотую зажигалку, дает собеседнику закурить.— Но когда вы захотите кубинских сигар, не церемоньтесь, у меня всегда есть хороший запас.

Молодой Парламентарий не может скрыть искру зависти в алчных глазах: такого рода типы умеют пользоваться жизнью, у них ни в чем нет недостатка, они позволяют себе любую роскошь. А ведь этот — лишь подставное лицо, а если вообразить других — хозяев? Он решает сделать самый трудный шаг — воспользоваться подвернувшейся возможностью:

— Спасибо. Но перейдем к главному, нам не следует заставлять девочек долго ждать. Должен заметить, что дела не представляются мне легкими, есть серьезные затруднения, я бы даже сказал — почти непреодолимые. Наш друг заявил, что не хочет участвовать в бизнесе.

— Да, но несколько дней тому назад вести были иные.

— Тогда еще газеты хранили молчание. А сейчас что они пишут?

— Подумаешь, газеты... Всегда раздувают сенсации.

— Говорят, что во всем мире есть только пять такого рода предприятий, и ни одна страна не разрешает открывать их. Загрязнение окружающей среды — устрашающие слова. Ужасные.

— Только пять? Газеты ошибаются.— Он с торжествующим видом объявляет: — Могу вам перечислить по крайней мере шесть.

— Разница невелика. Боюсь, что... Доводы должны быть убедительными, иначе нам не удастся уговорить нашего друга, а если он не тронется с места, то я не вижу, как можно будет добиться разрешения на регистрацию.

Милейший Доктор — не овечий пастух, но он знает свое стадо, за это ему платят, и хорошо платят. Чтобы торговать на рынке, надо уметь, если нужно, придержать, рассчитать, до каких пределов дойти.

— Понимаю. Значит, аргументам, которые мы представили для вашего сведения и для сведения нашего выдающегося друга, не хватает веса.

— Да, они недостаточны. Смешные доводы, сказал он мне. «Смешные» — это его слово. Как вам известно, не за ним окончательное решение, он сам должен аргументировать и для этого нуждается в доводах убедительных.— Он налил себе еще виски.— Лишь пять, пять или шесть во всем мире... Об этом писалось в газетах. Загрязняется вода, дохнет рыба, отравляется воздух. Вы читали статью в «Эстадо де Сан-Пауло»? В Италии дело дошло до тюрьмы.— Он выпускает клуб голубого дыма кубинской сигары, подрывной, однако несравненной по качеству.

Милейший Доктор понижает голос, несмотря на то что они находятся наедине в отдельной зале «Убежища лордов», где нет опасности быть услышанным нескромными ушами, нет и тайных микрофонов, как это бывает в приключенческих романах об арабской нефти и контрабанде оружия с многонациональными шпионами и сказочно сексуальными шпионками.

— Мои друзья склонны подкрепить аргументы.— Манерный голос становится почти неслышным.— Сколько?

Молодой Парламентарий задумывается, на пальцах как бы прикидывает расчеты, определяет цену, громко запрашивает. Милейший Доктор отрицательно качает головой.

— Половину.

— Половину? Это очень мало.

— Ни сентаво больше.— Голос звучит тверже.— Есть люди, которые согласятся провернуть это дельце за меньшую сумму.

— Ну ладно... Согласен. В конце концов газеты столько врут, и «Эстадо» со своей игрой в демократию всегда выступает против наших интересов. Конечно, все может кончиться плохо...

Милейший Доктор достает из портфеля чековую книжку.

— На предъявителя,— рекомендует Молодой Парламентарий, демонстрируя свою неопытность. Милейший Доктор едва скрывает насмешливую улыбку.

Молодой Парламентарий получает чек, встает, идет к шкафу и убирает чек в карман пиджака. Они наливают себе еще виски, поднимают стаканы в безмолвном тосте. Назначают рандеву, в один из ближайших дней тут же — не найти более укромного места, приятного и подходящего при решении дел, имеющих важное значение для прогресса страны. Молодой Парламентарий хлопает в ладоши, открывается дверь, девицы возвращаются. В конце концов жизнь не сводится лишь к заботам об интересах родины.

В дверях администраторша подходит попрощаться с ними. Депутат? Депутат, новый клиент, еще не завсегдатай, благодарит и спрашивает о мадам Антуанет. Администраторша поясняет:

— Мадам в Париже, в гостях у своей семьи. Вы знаете, что мадам Антуанет — дочь французского генерала? La mère est de la Martinique. Trés chic!..[1]

Администраторша начинает упражняться во французском языке — в один прекрасный день, чего доброго, унаследует от нынешней хозяйки владение домом. Когда Тиета устанет и решит переехать раз и навсегда в Агрéсте.

Вернувшись с Рикардо в Агресте, чтобы участвовать в празднестве на площади Дубления, Тиета поинтересовалась у Леоноры, как идут у той любовные дела. Девушка улыбнулась в замешательстве, взяв руки покровительницы в свои:

[1] Мать с Мартиники. Шикарнейшая! *(Франц.)*

— Не знаю, что произошло, Мамочка. Асканио был двое суток в отъезде, инспектировал работу префектуры, вернулся совсем другим. Все так же захвачен затеей открыть здесь туристский центр, все такой же нежный, но уже менее сдержан. Он сказал мне, что после смерти префекта будет избран на этот пост, тогда его положение изменится. Возбужден, не похож на самого себя. Он даже целует меня, представляешь себе? Дона Перпетуа застала нас... Я так рада, Мамочка!

— Ну что ж, хорошо. Судя по всему, ты скоро сделаешь почин на берегу реки. Новинка придется тебе по вкусу. Воспользуйся, пока есть время, ведь днем раньше, днем позже мы уложим чемоданы, и всему конец.

— Ах, Мамочка, я в этот день умру.

— Никто не умирает от любви. Как это там Барбоза говорит? Мы живы любовью.

Добрая, преданная Кармо! При всей своей репутации мудрой женщины она дала вовлечь себя в козни Тиеты и, чтобы продлить их пребывание, открыла Асканио состояние Леоноры, якобы обесчещенной негодяем женихом. А дальше происходило все в точности так, как желала Антониета. Асканио, узнав о случившемся, мгновенно изменил свое поведение, стал смелым и более ласковым. Вскоре, утратив остаток былой застенчивости, он заключит возлюбленную в объятия, забыв о своих планах женитьбы и создания домашнего очага и проявляя интерес только к постели. В конце концов ведь многое решается в постели.

Все! Достаточно привести пример племянника Рикардо, едва не обезумевшего от угрызений совести и страха, собиравшегося покинуть семинарию, решив, что он обречен на вечную кару божью после того, как спал с теткой среди дюн Манге-Сэко. Теперь он ничего иного и не хочет — если было б возможно, он весь день напролет проводил бы в забавах,— ослепленный юноша, кипящая сила, безграничная мощь, бесконечное желание, ураган, землетрясение, празднество! Тиета разбита, утомлена, удовлетворена, шаловливая девчонка на каникулах, прыткая козочка. Козочка? Старая коза, которая прежде никогда не принимала молодого ненасытного козла. Горячий и требовательный, ласковый и ликующий, Рикардо тоже изменился. Он утратил страх, похоронил угрызения совести, продолжая в то же время служить всевышнему. Так он познал милосердие божье.

В субботу к вечеру рабочие возвращались в поселок Сако, и Рикардо сопровождал их на лодке Жонаса. Когда он вернулся, его юношеское лицо было просветленным. Найдя Тиету на пляже в купальном костюме, скорее показывающем ее прелести, чем их скрывающем, он, отведя глаза, сообщил:

— Сегодня я буду ночевать в Агресте, Жонас отвезет меня на лодке.

— Сегодня, почему? Через несколько дней мы и так возвращаемся туда. Главное уже сделано, об остальном позаботится комендант, нам достаточно будет наведываться сюда изредка, всего на сутки. Почему сегодня? Ты что, пресытился мною?

— Не говори этого даже в шутку. Но сегодня я исповедался, завтра буду причащаться, а если останусь здесь... Я вернусь завтра же. Позволь мне... разреши уехать...

Просьба, мольба, сетование, дрожащий голос мальчика, разрывающегося между нею и богом, козленка на пастбище Тиеты и служителя церкви. Достаточно одного слова, жеста, взгляда, чтобы удержать его рядом с собой, отвести от церкви и причастия.

Священнослужитель, избранник и грешник, целомудренный и похотливый, сильный и слабый. Дитя божье.

— Ладно, иди и помолись господу за меня. Я буду скучать. Жду тебя здесь завтра.

Она будет ощущать его отсутствие и испытывать страдание, когда сядет на «маринети», отправляясь в Сан-Пауло; наверняка не обойдется несколькими слезинками. Здесь — мой мальчик, служитель бога! Она научила его любви, он познал женщину, наслаждение, утонченные удовольствия, она сделала его мужчиной. Когда она уедет, Рикардо будет искать в других объятьях, на другой груди, на других коленях те же ощущения, возбуждение и радость, что познал в Манге-Сэко. Внезапно Тиету обуревает ярость, она твердо решает задержаться в Агресте, по крайней мере пока не будет проведен сюда электрический свет. Чтобы насладиться еще в течение нескольких недель этим разгулом любви, этим бурным морем, этим ураганным ветром. Потом она оставит его богу, свободным от страха и опасностей невинности, что приводит к тоске и страданию, а это хорошо знает Тиета, жертва заговора святош, ведьм, озлобленных старых дев, ненавидящих ближнего. Такой была и Перпетуа до того, как вышла замуж за майора.

В воскресенье утром они отправились на лодке Элиезера в Манге-Сэко, и пляж наводнило веселье. Все собрались перед уже возведенными стенами домика Тиеты, на которые начали водружать стропила; на стволе кокосовой пальмы команданте Дарио вырезал придуманное ею название: «Загон козла Инасио». Все хором поддержали заслуженную похвалу отсутствовавшему семинаристу, которую произнес команданте: темпами строительства Тиета обязана Рикардо.

Позже, гуляя по холмам, Антониета прослушала отчет доны Кармозины.

— Я разговаривала с Асканио о том, что ты открыла мне насчет Леоноры... Ну, об этой истории с помолвкой на Юге, поездки, пилюли, ты помнишь...

Тиета выразила удивление и беспокойство:

— Ты сказала ему, что Леонора не девственница? Боже мой, Кармо! — И тут же согласилась: — Если хорошенько поразмыслить, то, пожалуй, даже лучше, что он узнал правду. Благодарю тебя, Кармо. Должно быть, разговор был неприятным.

— Да... Но я довольна. Мне представлялось, что он порвет с Леонорой, откажется от нее, не захочет больше видеть, однако Асканио справился с предрассудком. Он порядочный человек. Не захотел даже, чтобы она узнала о том, что я рассказала ему, он рыцарь.

Кивнув головой, Тиета согласилась, но в душе посмеивалась. Она слишком хорошо знает, как поведет себя рыцарь, узнав, что Леонора не девственница. Асканио постарается переспать с ней — это и предвидела Тиета. Если прежде, влюбленный, он мечтал о помолвке и женитьбе, то, узнав правду, отступил — ведь ни один мужчина в Агресте не женится на обесчещенной девушке. Но именно поэтому глупо отказаться от нее совсем, когда ничто не мешает отвести ее в безлунную ночь в какой-нибудь укромный уголок у реки под плакучими ивами. Итак, проблемы Леоноры решены. Потом останется только пролить несколько слезинок при отъезде. «Какого черта Рикардо так задерживается с возвращением»,— спрашивает она себя, посматривая на реку с высоты дюны, нет никаких признаков, что лодка Жонаса близко. Уж не заметил ли служка в церкви похотливые взгляды, приоткрытые алчные уста доны Эдны, распутнейшей, вульгарной особы?

— Ты озабочена, Тиета? Если я поступила дурно, скажи мне.

— Ты поступила очень хорошо, Кармо. Я думала о подлеце женихе. А с Элизой ты тоже говорила?

Нет, с Элизой дона Кармозина не разговаривала. Она не пыталась уговорить ее выбросить из головы безумную мечту уехать с Тиетой в Сан-Пауло, захватив Астерио в виде багажа. Она еще не перевела дыхания после трудного диалога с Асканио, не хватает ей мужества, чтобы нанести новый удар. Разочарование Элизы будет, вероятно, посильнее, та ведь не обладает такой твердостью, как Асканио. Тиете

надо набраться немного терпения, дона Кармозина поговорит при удобном случае, как только Элиза сама коснется этого вопроса. Пусть бедняжка сохранит еще на несколько дней свои иллюзии в отношении Сан-Пауло.

Первым, однако, заговорил об этом Астерио, когда Тиета вернулась в Агресте. Он посидел втихомолку в баре, пока Перпетуа не отправилась в церковь вместе с сыном-семинаристом, и воспользовался ее отсутствием:

— Я хотел поговорить с тобой, кума. Дело касается нас с Элизой. Но прежде обещай мне сохранить наш разговор в тайне.

— Давай, кум, выкладывай, я умею хранить тайны, ты даже не представляешь, сколько их у меня в душе, потому-то и бюст такой большой.— Она весело рассмеялась.

— Есть затея одна у Элизы. Если она еще и не говорила с тобой, то непременно будет просить тебя взять нас в Сан-Пауло. Чтобы ты устроила меня на работу и выделила нам комнату в своей квартире.

— Говорить она еще не говорила, но уже намекала. Ты-то хочешь ехать?

— Боже меня упаси! — Но тут же спохватывается, как бы не обидеть Тиету: — Я хочу сказать: мне, конечно, было бы очень приятно жить в твоем обществе, ты нам больше чем сестра, стала нашим провидением. Но нет у меня охоты жить в Сан-Пауло, там я буду не в своей тарелке. Элиза, конечно, горит желанием уехать отсюда, чтобы нам лучше жилось, но я-то знаю, что из этого получится. Там ведь бедным гораздо хуже, чем здесь.

— Ты прав, кум, именно так. Но ты можешь быть спокоен, этого не случится, нет. Тебе действительно будет плохо там, а место жены — рядом с мужем. Если Элиза заговорит со мной, я постараюсь, чтобы она выкинула подобную мысль из головы.

— Не знаю, как благодарить тебя, кума.

— Не нужно благодарности. Элиза — сестра мне, я обязана заботиться о ней, помогать вам чем могу. Но только здесь, а не там.

За всю свою жизнь Тиета редко видела такого довольного человека, как Астерио в конце беседы. Она дружелюбно взглянула на кума:

— Послушай, Астерио, ты не должен позволять Элизе делать все, что ей вздумается. Если она заговорит с тобой о Сан-Пауло, то скажи твердо, что не хочешь ехать, что отсюда вы не уедете. Укороти жене уздечку.

— Боюсь, только настрою против себя. Она будет топать ногами, реветь, толковать об этом целыми днями, пока не заставит меня подчиниться. Как мне убедить ее?

— Обратись к старому Зе Эстевесу, и он тебе поможет. Спроси, как он научил послушанию мать Элизы. Быть может, он одолжит тебе свою палку. Дело верное, кум. Если умеючи ее применить, то достаточно будет одного раза. Никогда мать Тонья не смела поднять голос на старика. Что же касается истории с Сан-Пауло, то положись на меня.

Ночь Тиета провела с Рикардо, божьим слугой.

Асканио Триндаде почувствовал себя другим человеком по окончании переговоров с доктором Мирко Стефано. Специалисту в области общественных отношений хватило бы и часа, чтобы завоевать доверие и вызвать восхищение у честного муниципального чиновника. Честного мечтателя. Милейший Доктор показал планы и рисунки, подготовленные компетентными архитекторами-урбанистами, обладающими большим воображением; он привел тайного смысла эзотерические цифры и формулы, пустил в ход магические термины: орга-

нограммы, know-how [1], рынок труда, marketing [2], статус — «префектура Сант'Аны-до-Агресте получит статус индустриального муниципия». Асканио был ошеломлен.

Прощаясь с посетителем на пороге старого особняка в колониальном стиле, Асканио Триндаде почувствовал, что он занял новое положение — стал своего рода импресарио. Хотя это определение не подходит, правильнее было бы сказать — стал государственным деятелем. Правителем общины, которой уготованы богатство и прогресс, славное будущее — будущее или настоящее? Сегодня он всего лишь секретарь префектуры, правда обладающий широкими полномочиями. В скором времени он станет префектом, получит еще более широкие полномочия, закрепленные народным избранием, которое, судя по всему, будет единодушным.

В ходе разговора ему показалось, что он услышал в сдержанных и туманных словах уполномоченного Правления скрытый намек на вознаграждение за оказанные услуги. Толком он не понял, но, поскольку у него возникли сомнения, тут же добавил на всякий случай, что поддерживает грандиозный проект исключительно ради высших интересов муниципия и родины. Кристально ясная истина; в своих действиях он не руководствуется никакими низменными чувствами, у него нет неблаговидных притязаний. Только любовь к родному краю, желание содействовать развитию этих мест заставили его воспылать энтузиазмом, когда он слушал сообщение доктора Мирко Стефано, технократа, полиглота и вдохновенного оратора. Стоило выслушать доктора Мирко Стефано!

Знаток человеческой натуры, ловкий бизнесмен, Милейший Доктор отступил. Он умел отступать. Для всего есть соответствующие время и положение. Пожалуйста, дорогой префект, please[3], не поймите меня дурно. Речь идет о прямых и косвенных формах вознаграждения муниципия со стороны компании, рассматривающей как услуги, подлежащие оплате, сотрудничество префекта ради того, чтобы получить необходимое разрешение на строительство промышленного комплекса — две большие взаимосвязанные фабрики — в одном из его районов, в Манге-Сэко.

Помимо чистых прибылей, сбора значительных налогов, увеличения валового дохода на душу населения, повышения занятости местных жителей компания взяла бы на себя обязательство провести в срочном порядке необходимое благоустройство, например, заасфальтировать дороги. Если понадобится, компания может обратиться к властям штата, в министерство путей сообщения — у ее директоров достаточно большой престиж, скажу вам по секрету, сеньор префект. Строительство отеля, оборудование автобусной линии, организация лодочного сообщения по реке. Не говоря уж о территории Манге-Сэко, где вырастут фабрики, а это будет означать зарождение современного рабочего города с десятками жилых домов для рабочих, техников и служащих. Предприятие безвозмездно окажет содействие прогрессу всего этого района. У достойных директоров на первом плане не прибыли, а стремление внести свой вклад в усиление могущества Бразилии на уровне ее славной миссии в мире.

Околдованный словами доктора Стефано, Асканио видел перед собою вновь расцветший Агресте, стоящий в авангарде муниципиев баиянской провинции. Видел в небесах дым от фабричных труб, с лихвою восполняющий отсутствие паровозного дыма и одновременно приносящий Агресте богатство, а самому Асканио — побольше тщеславия: он, молодой префект, неутомимый воин, возглавит прогресс края, станет руководить.

---

[1] Секреты производства *(англ.)*.
[2] Торговля *(англ.)*.
[3] Пожалуйста *(англ.)*.

В конце беседы с уполномоченным временного правления компании, когда Асканио от имени префектуры дал фирме разрешение изучить возможности размещения на землях муниципия своих промышленных предприятий, он осознал, что в нем снова возрождается былая амбиция студента права, когда он строил радужные планы. К высокому гражданскому чувству прибавилась и личная заинтересованность. Личная, но не мелкая и не корыстная.

Он был ослеплен перспективой на новом этапе развития Агресте сделать административную и политическую карьеру, а последняя, конечно, даст верительные грамоты тому, кто хочет стать кандидатом в мужья сан-пауловской наследницы, принадлежащей к высшему обществу, миллионерши.

До сих пор он считал ее недоступной, в страхе ждал объявления даты отъезда, который означал бы конец зыбкой идиллии молчания и ожидания, намеков и робких жестов. Теперь перед ним открывались горизонты, поле битвы, он уже не чувствовал себя ничтожным чиновником агонизирующего городка, ибо, как выразился в поэтической форме Милейший Доктор, над Агресте занималась заря великих событий, возвещая утро прогресса.

Жалко, что он не может рассказать об этом чуде Леоноре, ни ей, ни кому другому. Доктор Мирко Стефано потребовал проявить максимальную осторожность, разговор их абсолютно секретен, впредь до новых указаний. Только после предварительного изучения, которое едва начато, компания сможет предать гласности многообещающую новость. Одно слово, сказанное до определенного момента, может все испортить, и дело провалится.

Хотя, на первый взгляд, район Сант'Аны-до-Агресте, граничащий с Манге-Сэко, казался идеальным местом для постройки фабрик, заключительные выводы зависят еще от всестороннего изучения возможностей и преимуществ, от различных факторов, начиная с глубины моря в устье реки Реал и кончая поддержкой администрации. Новая партия техников прибудет сразу же после рождества. Чтобы помочь им успешно провести ряд сложных работ, доктор Стефано попросил сеньора префекта не только проявить добрую волю, но и быть осмотрительным. Являются ли земли на берегу реки собственностью префектуры? Если нет, то кому они принадлежат? Осмотрительность необходима, в частности, для того, чтобы не допустить чрезмерного повышения цен на участки, что сделало бы невыгодным использование территории. Сегодня — молчание; потом — фейерверк.

Сотрудничество — пожалуйста, во всем, где оно будет необходимо. С молчанием труднее. Народ в этом краю любит задавать вопросы, коли не знает чего — придумывает. Если Асканио умолчит о встрече, пересуды усилятся, будет хуже. Нельзя ли коснуться проекта организации туристского центра? Ведь разговоры уже начались; он сам, Асканио, полагал, что речь идет именно об этом.

Идея показалась Милейшему Доктору исключительно забавной, он не удержался от смеха. Устремив взор на спокойные улицы Агресте, которые были видны из окон второго этажа префектуры, он весело согласился:

— Туризм... Прелестная штука, сеньор префект. C'est drôle [1].

Асканио не поинтересовался причиной веселья, насмешки на лице визитера, смыслом изречения по-французски. Доктор помог уложить планы и проекты в длинный металлический футляр, собрать бумаги, закрыть элегантный черный портфель. У выхода доктор Мирко Стефано передал портфель и футляр тяжеловесу-охраннику; за поясом у того виднелся внушительного размера револьвер. Другой чемпион такого же веса, объема и с такой же рожей подоспел из бара, где выпивал вместе с шофером; пиджак у него был расстегнут, оружие выставлено напоказ.

[1] Это забавно *(франц.)*.

На этот раз доктор прибыл лишь в сопровождении шофера и пары головорезов. К разочарованию Оснара и Фиделио, присутствовавших при встрече, ни одна марсианка или хотя бы девчонка из Ипанемы[1] не вышла из машины — только Великий Космический Шеф, шофер и два охранника. Однако повод для изучения и комментариев был: уже много лет жители Агресте не видели никакого оружия, кроме больших ножей, простых орудий труда, за поясом у крестьян на субботней ярмарке.

Вооруженные охранники оказались неразговорчивыми. Тот, что зашел в бар утолить жажду, не сводил глаз с двери префектуры, где оставил напарника. Оснар не отважился спросить, как поживает Бети, она же Бебэ для близких друзей. Он с негодованием воспринял предложение прожигателя жизни Фиделио:

— Почему бы тебе не поболтать с ним? Расскажи ему что-нибудь забавное, заслужи его расположение, узнай, зачем приехал.

— Пошел ты к черту!

Неприятная пара уселась на задние сиденья, держа в руках документы. Милейший Доктор пожал руку Асканио, лицо его расплылось в дружеской улыбке:

— До скорого, дорогой префект. Merry Christmas![2] Кстати, если позволите, я пришлю к рождеству подарки для бедных детей.

Он уехал, а кучка зевак еще задержалась, глядя на Асканио, который тоже не трогался с места, обдумывая все, что было сказано и обещано Агресте. Рождественские подарки для бедных детей — радостное начало. Подошел Оснар:

— Итак, капитан, какие заботы у Астронавта?

Не любивший лгать, почитавшийся всеми как честный гражданин со строгими принципами, Асканио внезапно обнаружил, что вынужден сказать неправду, отступить от своих правил. Пусть все будет для блага Агресте! Смущенный и растерянный, он ответил:

— Какие же еще, кроме туризма? — Он стал рассказывать подробности, не представлявшиеся ему секретными: — Они проявляют интерес к покупке земель в Манге-Сэко. Кокосовой рощи...

— Земли кокосовой рощи? Это невозможно, капитан Асканио. Поднимется дьявольская кутерьма. Ведь до сих пор не выяснено, за кем они числятся...

Смущенный Асканио замечает на пороге дома Перпетуи Леонору, обратившую взор в сторону префектуры. Он договорился зайти за ней, за ней и Тиетой, чтобы отправиться искупаться в «Бассейне Катарины», сейчас как раз время. Он быстро прощается.

Оснар удивлен поведением секретаря префектуры: Асканио явно что-то утаивает. Туристское предприятие, много денег, обилие новостей. А что, если эти типы и впрямь купят кокосовую рощу и пляж Манге-Сэко? Если откроют там клуб, доступный строго его членам? Нет, это у них не выйдет, побережье — собственность народа, оно неотчуждаемо, не так ли? Возможно, они купят земельные участки, построят гостиницы, лавки, современные магазины... Кто знает, может быть, Бебэ приедет провести некоторое время в кокосовой роще, познакомиться здесь с тем, насколько привлекательны дюны для туристов, организовать рекламу: воспользуйтесь нашим приглашением, приезжайте повеселиться на белых песках Манге-Сэко, оплата в кредит — ежемесячными взносами. Бети кажется ему способной на такие дерзкие предприятия.

За исключением ребятни, которая смотрела еще боевик в кинотеатре «Тупи», практически все остальное население города собралось в пять часов в последнее воскресенье перед рождеством на старой

[1] Ипанема — один из районов Рио-де-Жанейро. «Девчонка из Ипанемы»—название популярной самбы.

[2] Счастливого рождества! *(Англ.)*

площади Дубления, переименованной в площадь Модесто Пиреса. Скверик, тротуар вокруг него, обелиск в центре, булыжная мостовая — все это результат деятельности Асканио Триндаде в префектуре, заслуживает всеобщей похвалы.

— Этот Асканио — молодец!

— Представьте, что будет, когда он станет по-настоящему префектом.

— Агресте превратится в рай.

Деревянная эстрада, сооруженная для церемоний и показа карнавальных костюмов; обелиск с мемориальной плитой, задрапированной бразильским флагом. На углу, на стене дома Перпетуи, металлическая пластина, закрытая таким же образом.

Крестная мать празднества, окруженная семьей и ближайшими друзьями величественная и улыбающаяся, подлинная королева или, как выразился поэт Барбоза, мадонна, перенесенная из эпохи Возрождения на холмы Агресте, дона Антониета Эстевес Кантарелли под руку с полковником Артуром де Фигейредо направляется к скромному монументу в сопровождении Асканио Триндаде, Модесто Пиреса, доны Аиды с дочерью Марией и зятем, инженером государственной нефтяной компании «Петробраз». Тишина и внимание, вытянутые шеи. Дона Антониета разрезает желто-зеленую ленту национальных цветов, опоясывающую бетонную плиту, на которой выгравированы дата празднества и имя достопочтенного полковника Артура де Фигейредо, нынешнего префекта. Скромная церемония, проходящая под аплодисменты, вместе с тем волнующая, и Перпетуа достает черный платок из кармана черной юбки и вытирает слезу — черную, траурную слезу, как насмешливо шепчет Аминтас на ухо доне Кармозине.

Мальчики из начальной школы запевают гимн. Приветственные восклицания в честь полковника, взмахивающего рукой. Довольный, он опять берет Тиету под руку. Горная козочка стала отличной козой. Эх, в свое бы время!..

Зе Эстевес, вполне удовлетворенный жизнью в связи с приближающимся переездом на новую квартиру, поднимает посох и провозглашает:

— Да здравствует моя дочь, сеньора дона Антониета Эстевес Кантарелли!

Общий энтузиазм, новая слеза Перпетуи, Элиза, блещущая красотой. С улыбкой кинозвезды, Леонора, в высшей степени оживленная, дирижирует овацией. Почему же не приветствуют Асканио?

Аплодисменты доне Аиде — ей предоставлено право открыть на стене углового дома пластину с именем выходящего в отставку выдающегося гражданина города Модесто Пиреса.

«Если не будут приветствовать Асканио, не постесняюсь выступить сама»,— думает Леонора, донельзя возмущенная такой несправедливостью.

Наступает очередь падре Мариано, который явился в сопровождении церковного служки Рикардо в красно-белом одеянии, галантного и благочестивого. Падре благословляет скверик, обелиск, площадь, всех присутствующих. Особенно теплые благословения он припас для полковника Артура де Фигейредо, для достопочтенного члена городской управы Модесто Пиреса, для щедрой, образцовой овцы прихода — доны Антониеты Эстевес Кантарелли и ее милой падчерицы.

Берет слово инженер «Петробраза» доктор Педро Палмейра. Он говорит о мирной тишине и красоте Агресте: пусть они никогда не будут нарушены ужасами насилий, загрязнения окружающей среды и войн.

В заключение выступает с речью Асканио Триндаде от имени полковника Артура де Фигейредо. Воспламененный, ища вдохновения

в глазах Леоноры, он предвещает, что Сант'Ану-до-Агресте неминуемо ожидают грандиозные и славные дни. Уважаемые граждане могут радоваться, близок день, когда наступит конец застою и нищете, трудностям и апатии. Возможно, Агресте станет новым индустриальным полюсом Баии, соперничая с промышленным центром Арату́ в окрестностях Салвадора, столицы штата. Вернутся времена изобилия и оживления, снова возникнут основания гордиться своим горячо любимым краем, изобилующим лесами и реками, Агресте заблистает яркой звездой на карте Бразилии.

— Что там капитан Асканио накручивает, черт возьми? — спрашивает Оснар.— Что-то он утаивает.

— Утаивает? Просто Асканио еще не хочет разглашать планы организации туристского комплекса, но похоже, они замечательны,— откликается дона Кармозина.

— Он упомянул что-то об индустриальном полюсе.

— Это такое выражение. Вы же не станете отрицать, что туризм сегодня — индустрия самого большого значения,— поясняет дона Кармозина.— К тому же Асканио влюблен.

Волнующим возгласом «Да здравствует Сант'Ана-до-Агресте!» Асканио заключает свое пламенное, хотя и несколько сбивчивое выступление. С угла площади Модесто Пиреса доносится пропитой голос Козлиного Духа в запоздалом приветствии:

— Да здравствует Асканио Триндаде, да здравствует его возлюбленная! Когда свадьба, Асканио?

Леонора краснеет под смех Элизы и доны Кармозины. Не прислушиваясь к речам вокруг скверика, прохаживаются под руку девушка и юноша, они открывают аллею для прогулок. Леонора смотрит на Асканио, протягивает ему руку — еще одна пара влюбленных обходит площадь. Дона Кармозина вздыхает, взволнованная.

Полковник Артур де Фигейредо садится с Тиетой на одну из скамеек, говорит доверительно, поглаживая ей руку и разглядывая кольца — настоящие или поддельные брильянты? Если настоящие, им нет цены.

— Кончится тем, что мой приемный сын Асканио сойдет с ума от этой истории с туризмом. Представь себе, он появился у меня на фазенде и передал, что они соорудят здесь фабрики, построят город в Манге-Сэко.

Импровизированный оркестр, оплаченный префектурой, начинает играть танцевальную музыку поочередно на все вкусы, и тут же появляются пары.

Леонора смотрит на Асканио, он улыбается, услышав ее шепот:

— Пойдем...

Они поднимаются на эстраду, гармоника играет карнавальный танец, Леонора скользит с полузакрытыми глазами. Асканио ведет девушку, легкое тело прижалось к нему, распущенные волосы касаются его лица, он чувствует ее горячее дыхание... Танец завоевывает площадь, танцуют все.

Ровно в девять часов вечера на эстраде свет погас, положив конец танцам, но дона Кармозина придумала прогулку к реке, своего рода ночной пикник. В баре сеу Мануэла они запаслись пивом и гуараной, пирожками с треской — коронным блюдом португальца. Все рассаживаются на камнях, Оснар достает открывалку для бутылок, дона Кармозина разворачивает сверток с пирожками, за едой беседуют. Отрешенные Асканио и Леонора, держась за руки, глуповато улыбаются. Тиета, проявляя нетерпение, встает:

— Я умираю от усталости. Предлагаю...

Она не успела объявить свое предложение — оставить тут пару влюбленных, а тем, кто хочет спать, отправиться по домам, ночным

же охотникам разойтись по темным переулкам,— как Барбоза, сидевший рядом с нею, указал на город и спросил:

— Что это там за свет? Похоже на огонь.

Не похоже, а на самом деле полыхает огонь. Вздымаются языки пламени, в темноте разгорается зарево.

— Пожар! — восклицает Амантас.

— Где это?

Асканио тоже поднимается, перед мысленным взором возникает карта города.

— Это «Глубокая яма».

— Ах, боже мой! — стонет дона Кармозина.

В «Глубокой яме» живут беднейшие из бедняков, те, у кого нет ни кола ни двора, нищие, бездельники-пьяницы, старики, вымаливающие кусок хлеба на улицах в центре.

— Скорее туда! — Асканио помогает Леоноре встать.

Тиета уже пошла, не ожидая приглашения. Давно, еще молоденькой девушкой, она как-то вечером, гуляя с коммивояжером на берегу «Бассейна Катарины», тоже услышала крики и тоже заметила зарево. Когда они прибежали к месту пожара, огонь уже расправился с домом доны Паулины, а в нем сгорели трое из пяти детей вдовы, самые маленькие. Пожар в Агресте — редкость, но уж если случается, всегда гибнут люди — здесь нет никаких средств для тушения огня.

Пикник не состоялся, компания отправляется вслед за Тиетой; та все более удаляется от остальных, быстрый шаг переходит в бег. На улицах появляются люди, привлеченные заревом пожара.

Одной из первых Тиета добирается до «Глубокой ямы». В пламени был домишко, к счастью стоявший в отдалении от других. Местные жители окружили девушку-толстушку, та кричит, рвет на себе волосы:

— Она умрет, моя бабушка!

Хромой Козлиный Дух тягучим голосом объясняет, что Марина, по кличке Толстая Кишка, прачка по профессии, а если находит клиента, просто дешевая проститутка, была разбужена пожаром и выбежала на улицу, позабыв про свою бабушку, старую Микелину. Огонь охватил стены домишка, пальмовую крышу, и старуха, уже неспособная ходить, могла бы сгореть заживо. Человек двадцать соседей и зевак глухи к мольбам внучки спасти бабушку, единственную ее родственницу: уж если сама Толстая Кишка, прежде всего на которой лежит семейный долг, не настолько рехнулась, чтобы лезть в огонь, в этот ад, то чужим-то людям что за дело. Они утешают ее, уповая на то, что бабушка Микелина прожила долгую жизнь, никто уж и возраста ее не помнит. Видела она и хорошее, и плохое — дадим, мол, ей успокоиться. Не стоит подвергать себя смертельной опасности ради того, чтобы продлить ей жизнь всего-то на несколько месяцев, недель, а то и дней.

Не дослушав объяснений Козлиного Духа, не обращая внимания на доводы соседей, Тиета бросается в огонь наперекор крикам, советам. Когда Оснар и Амантас достигли грязной улицы, Тиета уже исчезла в пламени. Отовсюду торопливо подходят мужчины, женщины, мальчики — церковный колокол звонит, издавая мрачные звуки, возвещая о несчастье и смерти.

Гул усиливается, когда показываются Леонора под руку с Асканио, а за ними следует дона Кармозина.

— Дона Антониета там, внутри...

Узнав, что Тиета бросилась в горящий дом, Леонора освобождается от руки возлюбленного, намереваясь последовать за ней, но Амантас удерживает ее. Асканио, бледный, заключает ее в объятия.

Обрушилась крыша, взметнулось огромное пламя, рассыпались тысячи искр. Рикардо, в сутане, босой, пробрался через толпу и успел вовремя, чтобы увидеть Тиету, вынесшую на руках крошечное тело

старой Микелины — живой, невредимой и разъяренной, бранящей бессердечную внучку, которая бросила ее в час опасности: «Я тебя проклинаю, чертовка!» Огонь пощадил топчан, на котором лежала старуха, ровно до той минуты, как за ней пришла Тиета, а затем и его превратил в пепел. На Тиете загорелась одежда, волнистые волосы в огненном ореоле.

Окружающие были в таком испуге, в таком волнении, что, онемев, буквально оцепенели. Только Козлиный Дух проявил сообразительность: сбегал за ведром воды и вылил его на Тиету.

Если электрический ток от гидроэлектростанции, провода и мачты которой быстро приближались к городу, вознес Антониету Эстевес Кантарелли на пьедестал достойной гражданки, выдающейся персоны Агресте, то спасение старой Микелины, покинутой внучкой в огне, обреченной на смерть зеваками, столпившимися перед горевшим домом, причислило ее к лику святых. Ее портрет был помещен в алтаре Главной церкви рядом с образом богоматери Сант'Аны, как и предсказал Модесто Пирес, посетивший ее одним из первых на следующий день.

В течение всего дня совершалось паломничество к Тиете. Люди жаждали узнать, как она себя чувствует, посылали ей записки с горячими приветствиями, дружескими заверениями. У изголовья постели рядом с Леонорой поэт Барбоза, обессилевший из-за ревматизма, но верный страсти молодости, декламирует посвященную ей оду. В ногах у нее — Элиза и племянник Рикардо, рослый и нежный, страстно желающий расцеловать каждый ожог, заключить Тиету в объятия. Пето принес ей цветок, сорванный в лесу.

Лежа в постели, слушая возгласы людей, столпившихся на площади и скандирующих ее имя, Тиета, святая по достоинствам сердца и красоте черт лица, бесстрашная Жанна д'Арк сертана, купается в море любви.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭПИЗОД

О рождественских и новогодних празднествах, или Матриархат Эстевес

Сидя за письменным столом префекта, Асканио Триндаде изучает программу празднеств, посвященных великому событию: городу проводят свет от гидроэлектростанции. Программу еще надо представить муниципальной палате для утверждения на ближайшем заседании. Мачты и провода должны быть доведены до Агресте, согласно расчетам инженеров, примерно через месяц. Асканио намечает устроить торжество на высоком уровне: фонари, которые загорятся от тока станции Пауло-Афонсо,— первый исторический шаг муниципия на пути возврата к былому процветанию. Как знать, не приедет ли помимо инженеров кто-нибудь из директоров компании «Вале-до-Сан-Франсиско» или какой-нибудь видный политический деятель из федерального правительства? Ведь впервые прозвучит публичное выступление молодого администратора, будущего префекта, поднимающегося на первую ступеньку блестящей карьеры. Празднество надо устроить наподобие тех давнишних, когда сюда, в Агресте, прибывало множество богачей и политических фигур, представителей власти из столицы: речи, банкеты, балы, фейерверки, народ, танцующий на улице.

Где найти деньги на такие расходы? Сейфы префектуры, как всегда, пусты. Асканио опять придется выйти на улицу с подписным листом выпрашивать пожертвования. Фазендейро, скотопромышленник, разводящий коз, плантатор, выращивающий маниоку и кукурузу, президент муниципальной палаты, неоспоримый хозяин края в течение пятидесяти с лишним лет, полковник Артур де Фигейредо возглавляет все подписные листы; за ним следует Модесто Пирес, богатый гражданин, именем которого названа площадь. Их пожертвования достойны внимания, прочие же свидетельствуют лишь о бедности торговли, об упадке общины.

И тем не менее Асканио собирается отметить незабываемыми торжествами вечер, когда яркий свет от электростанции Пауло-Афонсо заменит мертвенное освещение от усталого движка, поставленного еще при его деде, бывшем тогда интендантом. Возможно, Асканио сумеет наконец, в обстановке радости и энтузиазма, предложить красавице Леоноре Кантарелли руку и сердце и станет официально ее женихом. Во время поездки в Росинью, преодолев горечь от сообщения доны Кармозины, Асканио пребывает в состоянии непрерывного возбуждения. После того как он справился с предрассудками, чувства его проявлялись по-иному — это была безумная нежность к невинной жертве чудовищного соблазнителя. Долгие поцелуи при встречах и расставаниях возбуждали желание, разжигали любовь.

Готовясь к объяснению с Леонорой, Асканио рассчитывает на добрую волю мачехи, чье сердце будет смягчено чествованием ее на празднестве. В одном из пунктов разработанного Асканио проекта намечается назвать именем блудной дочери дорогу, ведущую в город, по которой приезжает и уезжает «маринети» Жаиро и вдоль которой протянутся провода прогресса, несущие Свет Тиеты, как его прозвал народ. «Грязная дорога», именуемая так с незапамятных времен, станет улицей доны Антониеты Эстевес Кантарелли (достопочтенной гражданки). Памятная доска заблаговременно заказана в Салвадоре — еще до того, как члены муниципальной палаты ознакомятся с планом; разве найдется неблагодарный, который выступит против? На этот раз Асканио не забыл о фамилии Эстевес — этого потребовали дона Перпетуа и старик, дерзкий и самоуверенный. Но где взять деньги для банкета, музыки, флажков на улицах, транспарантов, фейерверка? На булыжник для мостовой? Кто бы еще мог принять участие в финансировании празднества, взять на себя долю расходов? Вот бы появился доктор Мирко Стефано, предприниматель, заинтересованный в том, чтобы соорудить промышленные предприятия в окрестностях Манге-Сэко, законный представитель прогресса! После переговоров когда он изложил планы и показал чертежи, выдающийся деятель обещал приехать еще раз в ближайшие дни Асканию надеется на этого необыкновенного человека: для доктора Мирко Стефано нет трудностей, он напоминает волшебника из «Тысячи и одной ночи», джинна из «Лампы Аладдина». Ах, если бы он внезапно появился...

Он и в самом деле внезапно появляется, улыбающийся и всемогущий дух спустившийся с неба в обществе Санта-Клауса. Мощный воздушный корабль повис над префектурой, сделав круг над Главной церковью и садом — пленительное зрелище, страшный шум, неведомые до сих пор народу Агресте.

Яркий солнечный свет и благодатный бриз с Атлантики, приятный день, обычный для лета в сертане. Город кажется заснувшим — вдруг возникает и нарастает гул; Пето, переходя улицу, устремляет глаза кверху, узнает и приветствует вертолет не виданную ранее в Агресте машину, впрочем, Пето не раз любовался ею в журналах, которые дона Кармозина разрешает ему перелистывать в почтово-телеграфном агентстве. Торговцы возникают в дверях своих магазинов. В пустынном баре сеу Мануэл отрывается от неприятного занятия — мытья

стаканов, выглядывает и восклицает: «Черт возьми, откуда она взялась?» Асканио, которого устрашающий шум отвлекает от дел, бросает бумагу, карандаш и свои мечты, подбегает к окну и видит, как аппарат садится в центре площади — между префектурой и Главной церковью. Падре Мариано в сопровождении испуганно крестящихся прихожан появляется наверху лестницы, ведущей в церковный двор.

Из вертолета, двигатели которого не сразу перестают работать, а несущие винты продолжают медленно вращаться, к восхищению первых ошеломленных зевак, выходят Милейший Доктор, одетый по-спортивному в джинсы и яркую рубашку для гавайского пляжа с изображенными на ней чувственными женщинами и экзотическими цветами, и собственной персоной Санта-Клаус, самый красивый из всех существующих — ведь он, с белой бородой и в красной одежде, не кто иной как энергичная, исполнительная и волнующая наша знакомая, столь высоко ценимая Элизабет Валадарес, Бети — для коллег, Бебэ — для близких друзей. Самая компетентная секретарша, выполняющая любые поручения, накануне Нового года преобразилась по необходимости в Санта-Клауса, действуя под руководством изобретательного джинна из Лампы Титана — Милейшего Доктора.

Асканио, завидев вертолет, Санта-Клауса и доктора Мирко, указывающего удивленному Леонсио на груз в аппарате, не удержался от возгласа, полного энтузиазма,— звучного «viva». Милейший Доктор поднимает глаза и обеими руками машет секретарю префектуры.

— Я решил лично привезти рождественские подарки для бедных детей,— объясняет волшебник, горячо пожимая руку Асканио, который взбежал по трапу, чтобы приветствовать гостей. Оставив на попечение Санта-Клауса выгрузку цветных мешочков из кабины вертолета и доставку их в префектуру — задачу, которую хромой Леонсио выполняет с поразительной быстротой, Милейший Доктор удаляется с молодым чиновником на короткую беседу. Он лишь сообщает ему, что результаты исследований, произведенных в Манге-Сэко техниками и специалистами, весьма удовлетворительны.

Несмотря на то что более развитые районы, с лучшими путями сообщения и с бо́льшими удобствами, богаче оснащенные материально, такие, как Валенса на побережье океана, Ильеус и Итабуна на юге штата и даже Аремебепе рядом со столицей, ведут спор, предоставляя всевозможные льготы,— все во имя сооружения у них крупной индустрии, предприниматели склоняются к тому, чтобы отдать предпочтение Агресте. Милейший Доктор, очарованный красотой и климатом его, благородством обитателей, со своей стороны, содействует этому.

Взволнованный, почти растроганный Асканио упивается его речами, полными хороших предсказаний, и спрашивает, следует ли и далее держать дело в секрете. После появления вертолета с грузом подарков будет трудно, фактически невозможно утаить правду.

Переходя на французский язык, Милейший Доктор соглашается:

— Alors, mon cher ami...[1] Можете объявить, что существует перспектива сооружения в муниципии, по соседству с Манге-Сэко, двух фабрик «Бразтанио» — акционерного общества «Бразильская индустрия титана». Даже больше чем перспектива — конкретная возможность.

Он поясняет, что окончательное решение все же зависит от некоторых дополнительных изысканий и уточнений.

— Мы находимся в фазе исследований, причем имеется в виду не только ваш муниципий, как я уже сказал. Шансы Агресте, однако, очень велики. Personnellement, je suis pour...[2] Но решение зависит не

[1] Ну что ж, мой милый друг *(франц.)*.

[2] Лично я — за... *(франц.)*

только от votre serviteur...[1] — Он поднимает руки в ораторском жесте, который подчеркивает его высокопарные слова.— Присутствие «Бразтанио» в Агресте превратит муниципий в мощный индустриальный центр, кипящий жизнью, поистине magnifique[2]!

Асканио подкрепляет шансы Агресте, сообщив, что через несколько дней, самое большее через месяц, электроэнергия Пауло-Афонсо начнет подаваться сюда, будет поставлена на службу «Бразтанио». Префектура намерена организовать большое торжество по случаю этого события, но францисканская бедность, в которой она еще пребывает...

Милейший Доктор не дал ему окончить, он поинтересовался подробностями празднества и конкретно суммой предполагаемых расходов. В то самое утро Асканио считал и пересчитывал эти расходы. Для него — большая сумма, для доктора Мирко Стефано — сущая безделица: ассигнования, предназначенные на общественные контакты и разные начальные мероприятия, практически неисчерпаемы. Одним махом он снял главную заботу Асканио — крупнейший расход на починку мостовой, которую потребуется произвести ради празднества.

— Положитесь на меня, пришлю рабочих замостить улицу. «Бразтанио» будет польщена, если сможет оказать содействие в том, чтобы торжество прошло с наибольшим блеском. После новогодних праздников я появлюсь здесь снова. Для окончательного разговора. Мы сверим наши часы и дадим команду к старту. Я надеюсь, все будет хорошо.

Асканио не понял, говорит ли он о сооружении фабрики или о подготовке к празднеству Света Тиеты:

— К какому старту?

— К старту прогресса и богатства Агресте! — Пылкий, убеждающий голос внушает доверие.— Что касается празднества, «Бразтанио» берет на себя труд замостить улицу и будет участвовать в прочих расходах на благо народа муниципия. Я же, со своей стороны, сделаю все возможное, чтобы присутствовать на торжестве лично. Служить высшей цели «Бразтанио» — значит служить родине. Бразилия über alles[3].— Заговорив о деньгах, Милейший Доктор оставляет дипломатический французский язык, переходя к более точным языкам — немецкому и английскому.— Auf Wiedersehen[4]. Merry Christmas, my dear[5].

На площади Дезембаргадора[6] Оливы столпился народ. Пето подошел к вертолету и отрекомендовавшись послом городских мальчишек, заговорил с пилотом, улыбнулся Бети — Санта-Клаусу, стал помогать ей в выгрузке мешочков. С любопытством ощупывая их, он обнаруживает куклы, какие-то автомобильчики, всякую мелочь для самых маленьких. Интерес к мешочкам у него пропадает, ведь ему скоро тринадцать, он уже почти юноша.

Милейший Доктор с порога префектуры, где он стоит рядом с Асканио, созерцает старые дома на площади, бедняков, глазеющих с изумлением на вертолет, и провозглашает:

— С приходом «Бразтанио» в недалеком будущем здесь поднимутся небоскребы!

Асканио в восторге, золотые слова... Он не в силах сдержаться — дополняет рукопожатие сердечным и признательным объятьем:

— Большое спасибо, доктор. Я буду ждать.

— Сразу же после новогодних праздников.

---

[1] Вашего слуги *(франц.)*.
[2] Великолепный *(франц.)*.
[3] Превыше всего *(нем.)*.
[4] До свидания *(нем.)*.
[5] Счастливого рождества, мой дорогой *(англ.)*.
[6] Дезембаргадор — высший судейский чиновник в Бразилии.

Прежде чем вернуться на вертолет, Санта-Клаус прижимает к груди озорного посла бедных детей — не такое уж он дитя и не так уж он беден,— целует его в щеку. Пухлые и горячие губы, душистое дыхание, великолепно! Пето отвечает поцелуями, прижимается сильнее, ощутив ничем не стесненную грудь под красной сатиновой туникой.

Чрево вертолета заполнено такими же мешочками, как и те, что отнесены в залу первого этажа префектуры, где собирается муниципальный совет, когда в редких случаях его созывает полковник Артур де Фигейредо, причем всегда по просьбе Асканио, отличающегося своим формализмом. Никчемные заседания, на которых члены муниципального совета утверждают под аплодисменты то, что уже решил полковник,— в точности так, как поступает национальный парламент при утверждении законопроектов исполнительной власти.

Лопасти винтов набирают скорость, воздушный корабль поднимается, берет направление к морю. Милейший Доктор продолжает рождественское путешествие, везя в Валенсу, Ильеус и Итабуну от имени «Бразтанио» своего Санта-Клауса, подарки и обещания грандиозного будущего. Он не полетит, однако, в Аремберпе. Для каждого места и для каждого случая — своя стратегия.

Полсотни разноцветных мешочков с девизом на бразильском флаге «Порядок и прогресс» пересчитаны и сложены в зале заседаний муниципального совета; они разделены на две кучки по двадцать пять в каждой. В первой, предназначенной для девочек, преобладает желтый цвет и каждый мешочек содержит маленькую куклу (из пластмассы), очажок (из жести), два воздушных шара, пакет с леденцами, «тещин язык», деревянную трещотку «реко-реко». В другой преобладает зеленый цвет; кукла и очаг заменены автомобильчиком (из пластмассы) и рожком (из жести). На всех пятидесяти одинаковая гравюра с изображением Иисуса Христа с одной стороны и с надписью золотыми буквами — на другой: «Да придут ко мне дети мои. Дар «Бразтанио» — акционерного общества «Бразильская индустрия титана», предприятия на службе Бразилии».

Рождество бедных детей. Асканио доволен тем, как разрешилась тревожившая его проблема финансирования праздника в честь открытия передачи тока от гидроэлектростанции: почтенное акционерное общество «Бразтанио» оплачивает все — асфальт и флажки, фейерверк и музыку, и сам доктор Мирко Стефано почтит город своим присутствием. Еще больше, однако, волнуют Асканио вести о перспективах основания в Агресте гигантской индустрии: доктор практически гарантировал счастливый результат исследований. Не Итабуна, не Ильеус, не Валенса, не Аремберпе...

Асканио в некотором сомнении: упомянул ли доктор Мирко в числе возможных мест Аремберпе? Кажется, он слышал название знаменитого пляжа, привлекающего туристов со всего света, хотя ему далеко до Манге-Сэко. Но он не уверен, поскольку, перечисляя конкурирующие города, магнат свел их к двум на юге штата и третьему на побережье. В конечном счете это не имеет значения, если руководители предприятия отдают предпочтение Агресте.

Чтобы поставить в конце визита золотую точку, доктор Мирко освободил Асканио от обязательства сохранять тайну: он может сообщить народу благую весть. И сделает он это во время раздачи рождественских подарков.

Асканио Триндаде не силен во лжи, он не умеет таить правду, проговаривается, а его оговорки наводят на размышления. Так получилось у него и в речи, произнесенной на площади Модесто Пиреса, когда он легкомысленно возвестил в скором времени большие перемены, дав понять о существовании проекта, намного более значитель-

ного, чем простое туристское предприятие, сделав упоминание — представьте себе! — об индустриальном центре. Большинство не истолковало этого дурно, но некоторые навострили уши. Оснар спросил его по дороге к реке:

— Что это за толки, капитан Асканио, об индустриальном центре? Что-то кроется за этой историей...

Идя под руку с Леонорой, Асканио отреагировал на вопрос шуткой. Он побывал на фазенде «Тапитанга» у полковника Артура де Фигейредо. Полковник — влиятельное лицо, фактический префект, к тому же крестный отец и покровитель Асканио. Последний подробно изложил ему состоявшийся в свое время разговор с «крупным предпринимателем», рассказал о намечаемых планах. Однако полковник уже не интересуется ничем, кроме земель и коз. Он посчитал проект чистым безумием, если не хуже — темным замыслом мошенника.

— Крупный предприниматель, сын мой? Этот тип не иначе как жулик. Только он не знает, что легче выдоить козла, чем добыть ассигнования для Агресте. Он сел не в тот трамвай. Мошенник и сумасшедший!

Спорить с крестным отцом? Бесполезно, его не убедишь. Но сейчас тут — подарки, пятьдесят мешочков с игрушками для бедных детей, полковнику придется смириться перед фактом. Крупный предприниматель, да. Не сумасшедший, не мошенник, а представитель огромных капиталов, выступающий от имени «Бразтанио», индустрии, производящей диоксид титана — основы развития отечественной экономики. Ее предприятия разместятся в Агресте, где префектом предприимчивый и компетентный Асканио Триндаде. Если он еще и не является таковым, то будет, как только пройдут выборы, дату которых в столице штата должны назначить в ближайшее время.

Распределение подарков, пожертвованных «Бразтанио», совершенно необходимо отметить большим торжеством. Асканио решил составить из хорошеньких сеньор и сеньорит комиссию для волнующей церемонии. Это будет незабываемое рождество, и все благодаря «Бразтанио». Он улыбнулся, представив себе Леонору, раздающую подарки, фею, несущую радость детям.

Асканио оставляет мешочки под охраной Леонсио и направляется в дом доны Перпетуи, чтобы сообщить обо всем Леоноре и доне Антониете. Тиета все еще прикована к постели, но ожоги ее заживают: заботлив уход племянника-семинариста, золотого мальчика.

Статья за подписью Джованни Гимараэнса взорвалась в Агресте на следующий день после рождества. Бомба замедленного действия — номер «Тарде», в котором она была опубликована, датирован тремя днями раньше, вышел за два дня до рождества, когда поэт Барбоза, пытаясь узнать, что это такое — диоксид титана, еще не закончил свою поэму в честь празднества для детей бедняков.

Виною был грипп, который, удержав лихорадящую дону Кармозину в постели под одеялами, не только лишил ее участия в почетной комиссии, но и помешал прочесть казенный экземпляр газеты в почтово-телеграфном агентстве в день раздачи корреспонденции. Дону Кармо заменила дона Милу, уставшая от утреннего марафона в префектуре и торопившаяся поскорее вернуться домой к больной дочери. Она выдала немного писем тем, кто зашел за ними после прибытия «маринети», сильно запоздавшего в тот день; остальными письмами, а также газетами она собиралась заняться после праздника.

На следующий день, позавтракав, дона Милу пришла раздать остаток корреспонденции и разобрать газеты; она задержалась, чтобы выяснить, не появится ли кто-нибудь с письмами для отправки, убивая время на разговоры с Оснаром и Амintасом примерно до четырех часов, после чего заперла дверь и, захватив с собой экземпляр «Тарде», вернулась домой.

Почувствовав себя гораздо лучше, но еще не вставая с постели, дона Кармозина укладывает подушки, устраиваясь поудобнее для чтения газеты. Она пробегает заголовки первой страницы, репортаж о дороговизне жизни, о трудностях, испытываемых населением, которое практически лишено возможности отпраздновать рождество из-за повышения цен на все продукты. На обороте — главная страница «Тарде»: редакционная статья, разные заметки, хроника и важные статьи, а также материал, который она особенно предпочитает — ежедневная колонка с комментарием Джованни Гимараэнса.

Она бросает близорукий взгляд на заголовок и что же видит? ПИСЬМО ПОЭТУ ДЕ МАТОСУ БАРБОЗЕ — набрано жирными черными буквами над двумя колонками, напечатанными курсивом и подписанными Джованни. Лицо больной освещается, она восклицает: «Ого!» Но радость от того, что она увидела имя друга наверху страницы, оборачивается волнением, тревогой, как только прочла первую строку статьи: «Твой рай, поэт, под угрозой!»

«Твой рай, поэт, под угрозой!» Этой предостерегающей фразой автор статьи начинает драматическое послание, адресованное «поэту и гражданину муниципия Сант'Ана-до-Агресте Грегорио Эустакио де Матосу Барбозе». Дона Кармозина пытается угадать: что будет дальше, боже мой? Она вспоминает добродушный хохот журналиста, отозвавшийся эхом в почтово-телеграфном агентстве, когда он посетил Агресте. Очень веселый человек, сразу подружившийся со всеми, в особенности с Оснаром.

В начале статьи Джованни Гимараэнс рассказывает именно об этом посещении Агресте несколько лет назад по приглашению поэта, который прекратил службу в префектуре Салвадора, где трудился с примерным старанием; оставил бурную столичную жизнь, богемные привычки, литературные круги и вернулся к здоровому воздуху, замечательному климату родного края. Он вспоминает немногие счастливые дни пребывания в «буколическом городке, счастливом мирном королевстве, идиллическом уголке», прогулки по реке, купание в «Бассейне Катарины», поездки на пляж Манге-Сэко, «шедевр природы, пейзаж сотворения мира, единственный и неповторимый. Есть одно лишь небо, под которым стоит жить,— это небо Агресте, рая на земле»,— заключает он. Там, вдыхая прекрасный здоровый воздух, он почувствовал себя помолодевшим, с посвежевшими легкими и сердцем.

И далее: «Твой рай под угрозой смерти, поэт, Костлявая хочет обосноваться в водах реки Реал, в волнах Манге-Сэко, витает над лугами и дюнами, чтобы превратить прозрачное голубое небо в грязное черное пятно, чтобы отравить воды, извести рыб и птиц, обречь рыбаков на нищету, погубить их здоровье, заразить новыми болезнями с непредвиденными последствиями».

Дона Кармозина прерывает чтение скорбным вздохом: ах, боже мой, зачем такое ужасное пророчество! Однажды Джованни спросил ее, сколько лет народу Агресте суждено наслаждаться отличным климатом, спокойным существованием вдали от бед общества потребления?

«Знаешь ли ты, мой поэт, что во всем мире всего лишь шесть заводов, производящих диоксид титана? Что недавно были приговорены к тюремному заключению директора одной компании в Италии за вред, причиненный Средиземноморью в результате загрязнения вод и уничтожения морской флоры и фауны? Знаешь ли ты, что ни одна цивилизованная страна не допускает на свою территорию эту чудовищную индустрию? Что предприятие, появление которого угрожает Бразилии, не имеет права сооружать свои проклятые производственные корпуса в Голландии, Мексике, Египте? Vade retro! [1] — восклицали правители,

[1] Убирайтесь! *(Лат.)*

отказываясь от огромных капиталов не только потому, что они иностранные, но главным образом потому, что они влекут гибель атмосферы и вод». Дона Кармозина откладывает газету, о некоторых из этих фактов она знает, читала о них в прессе, показывала, в частности, команданте Дарио статью в «Эстадо де Сан-Пауло», и вместе они аплодировали приговору, вынесенному итальянским судьей,— молодец!

«Твои замечательные стихи, поэт, о пляже Манге-Сэко будут завтра единственными свидетельствами красоты чистых вод, золотого песка, огромных косяков рыбы, отваги рыбаков, когда Мегера, поднимаясь из труб построенных здесь фабрик, занесет свои когти дыма над дюнами. Все спокойствие и красота, которые ты воспеваешь в стольких поэмах любви, станут меркнуть и погибать в испарениях, в газах, в непомерном загрязнении окружающей среды». «Боже мой!» — шепчет дона Кармозина, чувствуя тяжесть в груди, ей уже не хватает воздуха.

«Несмотря на то что они еще не получили необходимого разрешения федерального правительства на сооружение в стране таких промышленных предприятий, директора недавно созданного «Бразтанио» — акционерного общества «Бразильская индустрия титана» (бразильского в нем мало, мой поэт, за исключением подставных лиц) — знают заранее, что им не будет разрешено построить свои фабрики в южных штатах. Поэтому они обращаются к несчастному штату Баия, и их представители в четырех зонах его ведут исследования, чтобы выбрать места, где они собираются возвести свои страшные трубы. Техники и агенты бродят по пригородам между Итабуной и Ильеусом, на побережье в районе Валенсы, и, по слухам, даже окраины столицы штата поблизости от Аремберпе находятся у них под прицелом. Все указывает, однако, на то, что короли загрязнения окружающей среды склонны отдать предпочтение району северного побережья штата, устью реки Реал, кокосовой роще Манге-Сэко». Полуденная жара всей силой обрушилась на дону Кармозину, небо потемнело в глазах. Бедный Барбоза: его друг Джованни Гимараэнс публично предупреждает его, а сам он, Барбоза, слагает похвальные гимны хозяевам «Бразтанио», королям загрязнения окружающей среды. «Какая ирония судьбы!» — восклицает дона Кармозина.

«Богатый пригородный район, мой поэт, имеет вес в судьбах отечественной экономики, он в силах предотвратить угрозу своему морю, реке Кашоэйре, производству какао — важному источнику валюты. То же самое можно сказать о побережье, менее богатом, но защищаемом остатками политического престижа баронов сахарного песка, пребывающих в состоянии упадка, но все же баронов. Что же касается Аремберпе, то он, несомненно, был бы отличным местом, с точки зрения предпринимателей, благодаря близости к столице штата, хорошим путям сообщения, соседству с промышленным центром Арату, однако никакое правительство, сколь бы неограниченной властью оно ни обладало, не отважится дать разрешение на загрязнение городского пояса, а значит, на то, чтобы покончить с рыбной ловлей, сделать пляжи непригодными для использования, изгнать туристов, отравить саму столицу штата. Ах, мой поэт, остается лишь муниципий Агресте, забытый богом и людьми, покинутый судьбою. Манге-Сэко станет обиталищем Проклятой Смерти. Внимание, поэт! Там появятся, если уже не появились, эмиссары загрязнения окружающей среды, суля золотые горы, рассуждая о прогрессе и богатстве, однако на самом деле они несут лишь погибель в своем портфеле, наполненном иностранными монетами».

Дона Кармозина доходит до конца статьи Джованни Гимараэнса: «Возвысь свой голос, поэт, пусть лира твоя издаст крик протеста, возьми под защиту спокойствие и красоту своего сказочного края, пробуди гнев народа и помешай тому, чтобы загрязнение окружающей среды распространилось на холмы и пляжи, спустилось в глубину вод, покрыло копотью прозрачное небо Агресте». Статья заканчивается

повторением все того же зловещего, мрачного предупреждения, сделанного вначале: «Твой рай, поэт, под угрозой смерти!»

У доны Кармозины дрожат руки, перебои в сердце; забыв о гриппе, она встает, поспешно одевается и выходит из дома, чтобы найти Барбозу. В этот час поэт обычно в баре играет в бильярд. Но уже в начале Первой улицы она встречает команданте Дарио, который, завидев ее, спрашивает:

— Куда это ты бежишь, моя добрая Кармозина? — Подойдя, он замечает волнение подруги, вспоминает, что она должна бы лежать в постели, пугается: — Случилось что-нибудь?

Дона Кармозина протягивает ему газету:

— Прочти.

Тут же, посреди улицы, команданте проглатывает статью. Прерывает чтение, бросает ругательство:

— Тысяча чертей!

— Мои дорогие, с вашими рассуждениями надо кончать. Мне бы следовало распорядиться посадить вас в тюрьму.— Так заявил для начала разговора Его превосходительство. На стареющем лице красные пятна. Хитрые глаза, усталые жесты, тягучий голос, вульгарность и властность.

Милейший Доктор не отвечает, он лишь улыбается, ожидает, когда девушки закончат подавать напитки и удалятся. Одна из них напоминает Бети; рыжая, пикантная, она возбуждает у него аппетит. Как знать, может быть, в конце встречи...

Старый Парламентарий уже многие годы посещает здешний дом, он завсегдатай заведения со времен мадам Жоржет, когда нынешнее «Убежище лордов» еще называлось «Nid d'Amour». Ему нравятся девушки и то, что они одеты лишь в свою улыбку; нет лучшего успокаивающего средства для переутомленных глаз, утверждает он. Но всему свое время и место, и если данное место и подходит для художественно обнаженной натуры, то дела не для посторонних ушей — не следует валить все в одну кучу.

Одна из нудисток опирается на элегантный зонт, принадлежащий Старому Парламентарию. Воспитанный в Оксфорде, он приобрел манеры и облик всамделишного английского лорда: высокий и худой, тщательно выбритый, с седыми аристократическими усиками, в костюме, сшитом у лондонского портного, с розочкой на лацкане, флегматичная наружность. Простецкие замашки Его превосходительства ему явно не по душе. Его превосходительство — противоположность английскому лорду, и если бы не достигнутое им положение — бедный Сан-Пауло! — то никогда бы ему не было позволено вступить в столь изысканный и закрытый круг.

Поскольку Его превосходительство заговорил о тюрьме, Старый Парламентарий позволил себе кашлянуть, дабы предупредить собеседника о неуместности обсуждения важных дел, высоких интересов, патриотических мероприятий в присутствии девушек, бесспорно прелестных и соблазнительных, но решительно неподходящих для данного случая и возвышенных социально-экономических дебатов. Он покашлял с осторожностью и опаской: Его превосходительство импульсивен, и когда прерывают, он реагирует порой с агрессивной резкостью. Ведь он привык иметь дело с подчиненными: помощниками, секретарями, чиновниками, с мошенниками, применяя точный термин, поскольку они и являются таковыми — да еще какими! — он не считается ни с преклонным возрастом, ни с парламентскими мандатами единомышленников, в особенности сейчас, когда все пали так низко.

Девушки выходят — изящный кортеж,— оставляя поданные бутылки и бокалы. Виски этой марки нет даже на Елисейских полях, его

можно найти лишь в Жокей-клубе и в «Убежище лордов». Его превосходительство смакует напиток с видом знатока:

— Вот это виски, да! Остальное все — дрянь. Я велю покупать самое лучшее, а мошенники приобретают низкопробное и прикарманивают разницу в цене. Я бы должен был посадить всех в тюрьму. Да и вас также. Всю дирекцию.

Смелый Предприниматель, надменный и горячий молодой человек, окончивший знаменитую Школу управления и экономики, где ныне он выступает с докладами после блестящей стажировки в Соединенных Штатах, компетентнейший технократ, один из самых одаренных представителей нового поколения, собирается возразить, но Милейший Доктор останавливает его почти незаметным жестом: если станет протестовать, все пропало.

Увидев улыбку на лице Его превосходительства, спускающего добродушным жестом с плеч подтяжки, Смелый Предприниматель признает опыт и ловкость Милейшего Доктора — хитрый и осторожный, для таких поручений незаменим. Его превосходительство приступает ко взысканию мзды:

— Сенатор может сказать, какую работу мы проделали.

Старый Парламентарий, успокоенный уходом девушек, но всегда ведущий себя сдержанно, как подобает истинному англичанину («британский вид, лондонская элегантность» — так охарактеризовал его парламентский хроникер, который был обязан ему небольшими одолжениями), согласился кивком головы и подкрепил утверждение Его превосходительства:

— Большая работа.

Его превосходительство говорил и одновременно раздевался — девушки ожидали его в соседней комнате:

— Сенатор может сказать также, сколько нам пришлось истратить...

Всего лишь жестом, но многозначительным, Старый Парламентарий показал огромные размеры затраченной суммы. Его превосходительство, оставшийся уже в рубашке и трусах, с широким поясом на объемистом животе, поднимает бокал, остальные поддерживают тост:

— Сегодня никто не оказывает милостей задаром, все ведь очень рискованно. В нынешней ситуации никто не может чувствовать себя в безопасности.— Он считает на пальцах: — Работа, деньги, риск. Большой риск. Несмотря на это, я получил разрешение на ввод в действие вашей индустрии. Но знайте наперед: вы будете загрязнять окружающую среду далеко отсюда, Сан-Пауло больше не вынесет чрезмерного дыма.— Алчные взоры переходят с Милейшего Доктора на Смелого Предпринимателя.— Никто бы этого не добился, только мне удалось, вам известно, что это означает?

— Страна отблагодарит Ваше превосходительство,— произносит решительно и напрямик Смелый Предприниматель.

— Страна? Чепуха! — Его превосходительство, как известно, импульсивен. Он смотрит на Смелого Предпринимателя: не хочет ли этот человек случаем посмеяться над ним? Перед ними уже не добродушный простак, а снова лидер, обладающий неограниченной властью.

Будто изваяние, типичный англичанин, Старый Парламентарий устремляет доверчивый взгляд на Милейшего Доктора, чей медоточивый голос в минорном, но четко слышимом тоне вводит благодарность в соответствующие рамки:

— Страна и «Бразтанио», Ваше превосходительство. Рождество для бедных детей Сан-Пауло во сколько обошлось? Припомните, Ваше превосходительство!

Смелый Предприниматель вздрагивает, услышав абсурдную сумму. Он хочет высказаться, получить скидку, однако снова почти незаметный жест Милейшего Доктора удерживает его: с Его превосходительством не следует торговаться, это опасно — сообщение о предо-

ставлении лицензии еще не опубликовано и наверняка не будет предано огласке до тех пор, пока все не окажется в порядке, пока чаевые не будут положены в банк в Швейцарии. Милейший Доктор задает вопрос, ответ на который он заранее знает.

— Как всегда?

— Точно.

Направляясь к двери, ведущей в комнату, где его ждут две кроткие девушки, Его превосходительство обращается к Милейшему Доктору, указывая на Смелого Предпринимателя:

— Немой он лучше, чем когда говорит. Откроет рот — и все запакостит. Но в тот день, как только вы раскусите этих мошенников, обратитесь ко мне, у меня найдется для вас место.

Одна из девушек торопливо возвращается в залу за одеждой Его превосходительства. Лишь успела она закрыть дверь, как Старый Парламентарий поднимает зонт и покашливает. Милейший Доктор понимает, протягивает руку к портфелю. Он не спрашивает сенатора о стоимости рождества для бедняков, ведь все материальные вопросы уточнены с Молодым Парламентарием еще в начале долгой и дорогостоящей операции здесь же, в «Убежище лордов».

Он открывает портфель, заполняет чек (на предъявителя, конечно). В каждой ситуации имеется риск, каждому участнику даются чаевые — более крупные или менее крупные, но всегда значительные. Расчеты Милейшего Доктора ограничиваются рамками чаевых; чаевые — то, что получает слуга, даже если он одет в смокинг, фрак или пиджак. Волнующая шахматная партия. Иногда, к сожалению редко, заканчивающаяся скандалом, процессом.

Старый Парламентарий прячет чек в карман, предварительно сверившись с суммой: только обусловленная цифра, ни одного сентаво больше, рассчитываются правильно, но до чего же они жадны! На бесстрастном лице не заметно разочарования. В конце концов, Его превосходительство проявил немало старания, пойдя на риск, поэтому-то он и получает такой огромный куш в валюте в безопасном месте — в Швейцарии. Хорошая эта страна Швейцария, хотя и далека от совершенства Англии. Он встает — одна девочка, лишь одна, но самая молоденькая из всех, ожидает его,— когда Милейший Доктор затрагивает другой вопрос, открывая непредвиденные перспективы:

— Его превосходительство удалился раньше, чем мы смогли обсудить проблему локализации...

— В Сан-Пауло, вы уже знаете, это невозможно. Вообще на всем юге страны.

— Мы уже вынесли решение в пользу Баии. Проблема заключается лишь в том, где именно в этом штате...— Милейший Доктор излагает данные о том, что он называет «маленькой, однако важной деталью».

Старый Парламентарий позволяет себе улыбнуться «по-английски» — на флегматичном лице лорда мелькнул оттенок удовлетворения. Могущественным и нуждающимся в положительном решении вопроса предпринимателям придется дорого заплатить, на этот раз пусть они не рассчитывают на жалкую неопытность Молодого Парламентария. Цена высокая, лорды. Для начала за секретнейшую информацию, известную только в высоких сферах, они, очевидно, запросят голову Его превосходительства. Поговаривают об обжаловании его мандата — ни более, ни менее. Да, именно из-за коррупции. Затем понадобится установить новые контакты, чтобы разрешить «маленькую, но важную деталь» — важную и большую проблему, не маленькую, и не деталь. God, save the King[1].

Все обсуждается тактично, тонко, по-джентльменски. Его превосходительство, грубиян, нечистоплотный, отвратительный,— прямая противоположность лорду.

[1] Боже, храни короля! *(Англ.)*

В разгаре спора, лишенный аргументов, прижатый к стене, Асканио Триндаде теряет голову, забывает об обычной вежливости и, послав ко всем чертям почтительность к общественному положению, званию и возрасту собеседников, заявляет во всеуслышание:

— Неужели потому, что у команданте есть дом в Манге-Сэко и он хочет наслаждаться в одиночку прелестями пляжа, Агресте закроет двери прогрессу? Неужели из-за полудюжины привилегированных мы откажем индустрии, которая могла бы развиваться на нашей земле? Агресте возродится, пусть это будет и кому-то не по душе.

Почти речь, не говоря уж об экзальтации. Человек, легко воспламеняющийся, но искренний и мягкий в обращении, патриот, носящийся с химерическими проектами восстановления благополучия пришедшего в упадок города, засыпающий письмами туристские отделы столичных газет, Асканио пользовался до сих пор всеобщим уважением, поддержкой и единодушным одобрением своих земляков.

Но лишь весть о статье Джованни разнеслась по городу, жизнь Асканио стала нелегкой.

Никогда «Тарде» не достигала в Агресте столь широкой популярности. Все хотели ознакомиться со статьей, а где найти газету? Единственный экземпляр, доступный публике, был собственностью сеу Мануэла, обычно он выкладывал его на прилавок бара, и газета поступала в распоряжение посетителей. В тот день, оспариваемая чуть не до драки, она переходила из рук в руки, пока таинственно не исчезла. Сколько же раз Асканио пришлось повторять свое объяснение: ему кажется преждевременным выносить какое-либо суждение. Преждевременным и несправедливым, ведь чтобы составить свое мнение, мало знать только доводы журналиста, настроенного против «Бразтанио», необходимо услышать и другую сторону, принять во внимание соображения директоров и инженеров предприятия.

Вечером, когда Асканио направился на свидание с Леонорой,— они обычно гуляли под руку вокруг площади,— на пороге дома Перпетуи он натолкнулся на поэта де Матоса Барбозу, возбужденного, с экземпляром «Тарде», полученным от одного из пяти подписчиков. В течение нескольких часов Асканио удавалось избегать его — он знал, что поэт находится в скверном настроении.

Поначалу поэт упал духом, почувствовал себя навсегда обесчещенным из-за своей преступной поэмы, восхваляющей чудовищную индустрию, которую разоблачил перед народом его дорогой, лучший друг, выдающийся журналист Джованни Гимараэнс в опубликованном на страницах «Тарде» открытом письме, адресованном ему, де Матосу Барбозе, поэту и философу.

Он примчался к Тиете, считая себя опозоренным, а она, смеясь и шутя, приободрила его, подняла настроение, возродила. Придя в себя, поэт отправился сообщить Асканио, что в ответ на предостерегающий крик Джованни Гимараэнса он обратит свою лиру в боевое оружие и быстро сочинит серию сатирических поэм, с помощью которых рассчитывает решительным образом воспрепятствовать реализации погубных планов «Бразтанио», сорвав с нее маску, разоблачив лицемерие и подлость преступных директоров компании. С ближайшей почтой он отправит Джованни первые поэмы для опубликования в «Тарде». Он развернет боевое знамя!

Усталый, опаздывающий на свидание с Леонорой, Асканио не стал даже пытаться отговорить его от задуманного поэтического разоблачения, это было бы пустой тратой времени. Но предупредил, что воздерживается от высказываний до тех пор, пока не получит дополнительную информацию. «Зачем нужна эта дополнительная информация?» — возразил поэт. Она ни к чему, какая бы ни была, ведь доводы его выдающегося друга неопровержимы.

В таком настроении, после бессонной ночи Асканио еще раз выслушал из уст доны Кармозины полный текст проклятой статьи, как будто он не прочел и не перечел ее накануне. Сейчас она показалась ему еще мрачнее, поскольку Кармозина читала охрипшим голосом, прерывая чтение кашлем и саркастическими, едкими замечаниями,— комментарии делались не только ею, но и команданте.

Поначалу Асканио осторожно заметил, что выяснит все досконально, так как нельзя из-за одной лишь статьи, пусть подписанной Джованни Гимараэнсом, осудить проект, столь жизненно важный для общества,— сооружение на землях муниципия заводов индустрии, значение которой неоспоримо. Тем более в далекой, заброшенной кокосовой роще в Манге-Сэко, на необитаемых, ни на что не пригодных землях.

Далекой, заброшенной? Ни на что не пригодной? Возмущение команданте возрастало: для Асканио рыбаки Манге-Сэко, видимо, не существовали; ни они, ни граждане Агресте, которые имеют свои бунгало на побережье.

Асканио вышел из себя. Он говорил о Манге-Сэко, о кокосовой роще. Проект «Бразтанио» — он видел планы и чертежи — предусматривал размещение заводов гораздо ниже по течению реки и подальше от нее, а не у побережья. Даже если незначительное загрязнение и возникнет — ведь нет промышленности, которая бы вовсе не загрязняла окружающую среду,— то оно не затронет ни рыбаков, ни отдыхающих в своих бунгало.

Мало-помалу у дверей агентства и на тротуаре стали собираться любопытствующие, прислушиваясь к захватывающему спору. Дона Кармозина, воодушевленная присутствием публики, возражала с солидной аргументацией, превозмогая головокружение после гриппа: речь идет не о какой-нибудь индустрии с допустимым процентом загрязнения. Дело касается производства диоксида титана. «Тебе, Асканио, известно, что это такое?» Она предложила ему прочитать статью, опубликованную в «Эстадо де Сан-Пауло», приговор судьи Вильетты,— у команданте сохранилась вырезка. Сточные воды предприятия, расположенного в кокосовой роще, не только загрязнят побережье, сделав невозможной рыбную ловлю и морские купания, но и уничтожат поселок Манге-Сэко, отравив воды и воздух, превратив океан в помойку, как определил итальянский судья в своем смелом приговоре.

Асканио, разгорячившись, возражает, сокращая размах явных преувеличений доны Кармозины. Прежде всего, сказал он, в Манге-Сэко нет никаких рыбаков, там всего лишь деревушка из полудюжины лачуг, в которых ютятся безработные, занимающиеся контрабандой, что уже наказуемо по закону, если бы только закон соблюдался. Отдыхающие же занимают четыре-пять домов, большинство людей предпочитает уезжать на побережье Сако, где купание в море безопасно и где гораздо больше удобств — есть магазин, церковь. Что касается степени загрязнения окружающей среды, то об этом должны высказать свое мнение инженеры, а не какой-то газетчик, не имеющий ученого звания.

Дона Кармозина настолько обиделась, что забыла о своем гриппе: Джованни Гимараэнс, к сведению Асканио, не какой-то газетчик, а крупный журналист, человек честный и просвещенный, он достоин уважения. Она еще раз горячо заверила, что они с команданте намерены бороться всеми средствами против того, что теперь именуют «смертельным дымом», который, кстати, как разъяснила эрудированная и дотошно информированная дона Кармозина,— желтого цвета, а не черного, в этом Джованни ошибся.

Утверждение о цвете дыма вызвало смех — Асканио заработал очко. Дона Кармозина разозлилась. Прицепившись к не имеющей значения детали, забыв о массе конкретных данных, представленных

Джованни в статье, Асканио поступает бессовестно. Она бросила обвинение, повторяя резко и агрессивно:

— Ты нечестен! — Она произнесла по слогам жестокое слово: — Не-чес-тен!

Обвинение команданте было еще строже. Он подчеркнул то, что казалось ему непростительным в позиции Асканио: зная уже давно о проекте «Бразтанио», благодаря своему положению секретаря префектуры, он скрыл его от населения, лгал, болтая о планах развития туризма, став, таким образом, соучастником проектируемого преступления. Такая позиция представляется команданте поистине мало совместимой с выполняемыми Асканио ответственными обязанностями. Он предает интересы общества.

Это было уж слишком. Поднявшись, Асканио вытянул руку.

— Прогресс Агресте превыше чего бы то ни было, превыше кого бы то ни было! — торжественно и решительно заявил он.

Асканио проходит среди любопытствующих, направляется в префектуру. Амантас, до сих пор молчавший и внешне почтительный, заявляет, обращаясь к Оснару:

— Война объявлена. Дымовая война, маэстро Оснар. В какой батальон ты завербовываешься? В батальон желтого дыма или черного?

Оснар не рассмеялся, он лишь покачал головой, все это ему явно не по душе.

Команданте Дарио, сидя за рулем моторки, ожидает, когда Тиета закончит чтение статьи Джованни Гимараэнса. Они с доной Лаурой проведут в Манге-Сэко Новый год и праздник, крещение. Тиета и Рикардо, пользуясь случаем, поедут вместе с ними, чтобы подтолкнуть к завершению строительство «Загона козла Инасио», наверняка задержавшееся из-за рождества, ведь любой предлог хорош работягам с побережья, лишь бы не трудиться. Тиета хочет справить новоселье в хижине — так она называет свой дом — до возвращения в Сан-Пауло, что намечалось сразу же после торжества, посвященного подводке тока от гидроэлектростанции. Она не собиралась пробыть здесь так долго — приехала на месяц, а кончилось тем, что провела два; непростительно деловому человеку. Для «Загона» она заказала в Агресте широкую кровать с матрацем из шерсти обезьяны барригудо, на ней она простится с Рикардо, когда настанет час отъезда. Через Астерио она заказала складные стулья, столы и кровати; купила на базаре гамаки для гостей — старика и матери Тоньи, сестер, племянников, друзей, которые будут пользоваться «Загоном» в ее отсутствие.

Первая реакция Тиеты на прочтенную статью встревожила команданте. Она сказала:

— На такой истории можно заработать большие деньги.

— Заработать большие деньги?

— Не вы ли сами мне говорили, что у этих земель нет хозяина, что это ничейные земли?

— Не совсем так. Хозяева есть, лишь никто не знает толком, кто они. Часть земли, принадлежавшую жителям поселка, купил Модесто Пирес. Он мне сказал, что не стал покупать больше из-за путаницы — у кокосовой рощи неизвестно сколько владельцев, а это равносильно тому, что нет никакого хозяина.

— Так вот, мы скупим эти земли, чтобы продать их людям компании. Покупается за единицу, продается за десять, за десять или двадцать. Фелипе был мастак в этих операциях.

— Боже меня избави, Тиета. Я не хочу зарабатывать деньги на несчастье моего края.

— Команданте, если мы не сможем помешать, если не сможем найти выход, то по крайней мере заработаем деньжата. Когда Аска-

нио затеял эту историю с туризмом, я подумала, не купить ли тут участки.

— Во-первых, мне не на что купить даже дохлого кота; во-вторых, будет величайшей трудностью отыскать владельцев земли; в-третьих,— он сделал паузу, прежде чем объявить,— я не стану сидеть сложа руки, Тиета, вступлю в драку. Я самый мирный человек на свете, но против загрязнения Агресте я протестую.

Тяжелая лодка, влекомая маломощным мотором, неторопливо спускается по реке. Вдохновенный голос команданте завоевывает внимание Рикардо. Поначалу семинарист следит за разговором рассеянно, мысли его витают далеко. Он вспоминает рождественские праздники. Они засели у него в голове, воспоминания живы, и ему доставляет удовольствие возвращаться к ним. Впервые он отдал себе отчет в том, что девушки и некоторые женщины с интересом на него поглядывают на улице и в церкви.

Рикардо отвлекается от этих мыслей, услышав горячую декларацию команданте, которую тот произносит, повысив голос:

— Я буду драться, а уж если я дерусь, то дерусь по-настоящему.

— Думаете, стоит, команданте? — в вопросе Тиеты сквозит скептицизм.

— То же говорю себе и я,— вставляет озабоченно дона Лаура.

— Даже если из этого ничего не выйдет, я не дам уничтожить Манге-Сэко так легко.

Лодка разрезает волны, скользя по реке, которая расширяется ближе к устью. Пейзаж становится все красивее, вдали виден океан, течение убыстряется, лодка идет легче. Голос команданте звучит не так громко, но сохраняет страстность. Команданте Дарио старается убедить собеседницу:

— Послушайте, Тиета, подумайте о том, что я вам скажу. Если я открою рот в Агресте, чтобы протестовать, то ничего не достигну, это совершенно точно. Меня выслушают, так как относятся ко мне с уважением, некоторые согласятся со мной, но это ничего не изменит. То же самое и с Барбозой, его поэмы ни к чему не приведут. Возможно, «Тарде» опубликует какую-нибудь из них, но чему это послужит? Ничему. Не исключена возможность, что найдутся и насмешники, которые обвинят его в том, что он подобен флюгеру: сначала, мол, рассыпался в похвалах, называл людей компании волхвами, потом, когда его имя появилось в газете, переметнулся на другую сторону. Вы знаете, какие языки у людей.

— Бедняга Барбоза! Он так расстроен. Когда узнал о статье, то чуть не рехнулся, упал духом, задал мне столько работы...

— Он последовал за Асканио, и вот результат.

— Асканио не виноват, он тоже ничего не знал об этой... Как по-настоящему ее название?

— «Бразтанио».

— Они возмечтали о прогрессе, произносили тосты, Асканио расчувствовался — это может случиться с кем угодно.

— Не отрицаю. Асканио вбил себе в голову, что надо возродить муниципий, управлять им так, как в свое время его дед, который был лучшим интендантом Сант'Аны-до-Агресте. Он тогда провел в городе электричество, замостил улицы, построил причалы, здание префектуры. Достаточно Асканио услышать разговоры о прогрессе, как он сатанеет, способен поставить на карту и проиграть все, что мы имеем: климат, красоту, спокойствие. Одно я вам скажу, Тиета: он не получит моего голоса на выборах префекта.

— Не говорите так, команданте. Асканио с его любовью к Агресте может сделать много хорошего...

— ...и много плохого. Раньше я не сомневался в его честности. Но он совершил очень дурной поступок.

— Какой же?

— Он знал о планах этих людей, видел чертежи, проекты, был в курсе всего, но прикусил язык, обманывая всех галиматьей о туризме...

— Бедняга не знал об опасности, какую несет с собой подобная промышленность... Похоже, что это конец, не так ли? По тому, что пишет газета...

— Если это в самом деле так... Не может быть ничего хуже. Будем считать, что он не знал об опасности. Но как объяснить, что он продолжает защищать «Браздании» и после появления статьи Джованни Гимараэнса? Даже сегодня утром в почтово-телеграфном агентстве он поносил последними словами меня и Кармозину. Я знаю мир, Тиета, и я убедился, что нет хуже человека честолюбивого. Честолюбцу трудно оставаться честным.

Он показал на холмы Манге-Сэко, высившиеся на фоне моря, будто рождавшиеся в прибое; когда большие волны разбивались о лодку, поднимался целый каскад брызг. Команданте говорит горячо:

— Вы представляете себе все это покрытым грязью? Прогресс — дело хорошее, но нужно знать, что это за прогресс.— Он устремил взгляд на Тиету.— Но возвратимся к тому, что я говорил: если протестовать станем мы — я, Барбоза, Кармозина, еще два-три человека,— толку будет мало. Если же вы, Тиета, присоединитесь к нам, поднимете свой голос — это другое дело...

— Я? Почему?

— Жители Агресте верят в вас. И справедливо: свет от гидроэлектростанции, старушка, спасенная на пожаре, весь ваш облик, откровенность, жизнелюбие... Для народа Агресте после святой Сант'Аны на пьедестале — вы. Что бы вы ни провозгласили, становится законом. Вы что же, не отдавали себе в этом отчета?

— Я знаю, что меня любят, всегда любили. Меня выгнал из Агресте старик из страха перед сплетнями ханжей, но не народ. Меня любят, но из этого не следует... Зачем мне вмешиваться, скажите, команданте? Я обожаю свой край, думаю окончить здесь свои дни, придет время. Но ввязываться мне в какие-то драки...

Команданте молит, теряя надежду:

— Только вы с вашим престижем можете спасти Агресте!

Лицо Тиеты черствеет, она становится снова мадам Антуанет. Ей нечего больше делать в Агресте, пора возвращаться в Сан-Пауло. Навестила своих близких, насладилась спокойствием родного края, облагодетельствовала семью и общество, помогла беднякам — хватит! Ей нечего больше делать здесь, повторяет она себе.

Прежде чем она успела открыть рот, из глубины лодки послышался властный голос Рикардо:

— Тетя согласна, команданте. Она не позволит, чтобы уничтожили Манге-Сэко. Иначе зачем было сооружать «Загон козла Инасио»?

Тиета оборачивается — ее мальчик вырос, стал вдруг взрослым мужчиной. Пораженная, она слушает его категоричный, непреклонный голос:

— Я прочел статью в газете, команданте, сеу Барбоза показал ее мне. Тетя не допустит, чтобы покончили с рыбой и рыбаками. Ни она, ни я. Если вы сочтете, что я гожусь на что-нибудь, можете на меня рассчитывать, команданте.

В Манге-Сэко великолепный солнечный день, огромные морские просторы, песчаные дюны, бескрайние кокосовые рощи, внешне здесь царит полнейшее спокойствие. Внешне — констатировали немного позднее.

В сопровождении команданте — дона Лаура осталась в «Тещиной лачуге» с Грипой для уборки — Рикардо и Тиета осматривают, насколько продвинулось сооружение дома. Команданте улыбается, видя, как поражены тетка и племянник: они не ожидали найти кров

лю уже завершенной. Рабочие трудились всю рождественскую неделю — то ли ради самой Тиеты, то ли из-за ее денег, может быть, из-за того и другого, но главным образом благодаря присутствию команданте, который заменил Рикардо, наблюдающего за работами, и хотел сделать им сюрприз.

Они договариваются с мастерами — каменщиком и плотником — о проведении всяких доработок, когда появляется инженер Педро Палмейра. Даже не поздоровавшись, он спешит задать вопрос:

— Читали статью Джованни Гимараэнса? Что скажете?

— Нам грозит катастрофа,— отвечает команданте Дарио.

— Вот именно. Я сейчас поспорил об этом с сеу Модесто. Он думает иначе, считает, что можно заработать большие деньги.

Скрывая улыбку, Тиета поглядывает на команданте, как бы напоминая ему о разговоре в лодке. Инженер, чертя по песку кокосовой веткой, продолжает:

— Это было неприятно. Я избегаю обсуждения некоторых тем с сеу Модесто, наши точки зрения редко совпадают. Но сегодня я не мог уклониться от разговора. Сеу Модесто был назойлив. Для него деньги превыше всего. Что же касается угрозы загрязнения окружающей среды заводами «Бразтанио», то ему на это наплевать.

Тиета почувствовала, что краснеет. Разве и она не подумала прежде всего о деньгах, которые можно заработать? Разве не предложила она команданте приобрести землю на берегу реки, где предполагается построить завод, чтобы перепродать с прибылью? Но команданте заговорил о спокойствии, красоте, благотворном климате, о счастье народа, и она вспомнила о более важных ценностях — фундаментальных, по выражению озабоченного инженера,— о праве на здоровье, красоту, спокойствие и место, где хорошо дожидаться смерти. А после того как Рикардо, ее золотой мальчик, золотой и брильянтовый, провозгласил от имени их обоих воинственную солидарность с делом Агресте, она решилась:

— Сеу Модесто, забыв про отдых, отправился в Агресте, поворошить в нотариальной конторе старинные купчие, чтобы выяснить, кому же принадлежат кокосовые рощи.

— Нелегко ему придется. Однажды он уже пытался этим заняться, когда хотел купить землю, принадлежавшую рыбакам, и рассчитывал разделить ее на участки. Ничего не вышло.

— Но только потому, что он отказался от затеи, команданте. Поскольку с разделом на участки не получилось, он и отказался. И сейчас он не вернется, пока не выяснит, кто же на самом деле является владельцем земель. Дело в том... он узнал от одного из техников «Бразтанио», побывавшего здесь, что идеальное место для завода — вернее заводов, ибо их два, взаимосвязанных — несколько ниже его участков на берегу реки. Этот тип из компании хотел выяснить, кому принадлежат те земли, чтобы самому приобрести их. Сеу Модесто, конечно, не проговорился.

— Если они выяснили это в городе, то убедились, что кокосовая роща принадлежит рыбакам или у нее вообще нет владельца,— так все думают в Агресте.

— Сеу Модесто говорил мне, что землю, принадлежащую рыбакам, он скупил всю.

— Это правда.

— Теперь он намерен купить остальное, чтобы перепродать «Бразтанио». В этот час он, наверное, доктора Франклина мучает в нотариальной конторе.

Команданте задумчиво почесывает в затылке. Протестовать? Да, это необходимо. Но как? Что можно, черт возьми, сделать, даже с Тиетой во главе и если тебя поддерживает народ?

— Что можно сделать?— спрашивает и Тиета.

В плавках, босой, с обнаженным смуглым торсом, похожий скорее на молодого рыбака, чем на церковного служку, Рикардо заявляет решительно, безапелляционным тоном:

— В тот день, когда эти типы появятся снова в Агресте или в Манге-Сэко, мы заставим их убраться.

— Кардо!— возликовала Тиета, повернувшись к племяннику, ее мальчику, ставшему взрослым, большим козлом.

— Дай пожать твою руку,— инженер протягивает руку семинаристу.

Асканио, поставленный в безвыходное положение, два дня и две ночи проводит без отдыха; он озабочен, глаза воспалены, на лице — следы бессонницы. В первый вечер Асканио почти онемел. Гуляя с Леонорой вокруг площади, он только сжимал руку девушки, ища поддержки для уверенности в своей правоте. Статья в газете сводила его с ума. Мало-помалу, возможно потому, что Леонора не проявляла интереса к волновавшей его проблеме, он возвращался к этой теме. Возмущение Джованни Гимараэнса должно было обладать какой-то конкретной основой, сказал он, возможно, в его словах есть частица правды, но он, Асканио, не желая что-либо утверждать, почти уверен, что в экзальтированной, резкой критике журналиста содержатся невероятные преувеличения, вызванные неведомо какими темными причинами. Какое-то загрязнение, конечно, будет исходить от производства диоксида титана, ведь все заводы загрязняют окружающую среду — одни больше, другие меньше. Однако он не верит в столь устрашающую историю о смертельной опасности для флоры и фауны, для реки и моря. Так или иначе, прежде чем занять определенную позицию, нужно подождать, пока разоблачение журналиста подтвердится, либо ограничиться соответствующими рамками, установленными компетентными специалистами. Леонора подняла его руку и поцеловала: Асканио прав, нужно подождать, возможно, все это окажется бурей в стакане воды.

На следующий вечер положение Асканио еще более усугубилось. Обычно он находил в течение дня по крайней мере две-три причины побывать в доме Перпетуи: либо просил разрешения зайти на минуту либо подзывал Леонору к окну — она оставалась в помещении, он на тротуаре, несколько слов, улыбка, поцелуй. В этот день он не появился, Леонора получила известие от доны Кармозины о резком споре, разгоревшемся утром в почтово-телеграфном агентстве. Потом команданте зашел с доной Лаурой повидать Мамочку и Рикардо, но не упомянул об инциденте. Об Асканио ни слуху ни духу.

После обеда, в час сиесты, он пришел серьезный и грустный. Леонора ожидала его у порога, Асканио не захотел войти, чтобы хоть поздороваться с Перпетуей. Они пересекли сад на площади, где девушки и юноши флиртовали, расхаживая парами. Некоторое время молчали, затем он спросил:

— Ты уже знаешь?

— О споре? Да.

— Ужасно. Я потерял голову, оскорбил команданте, человека уважаемого, который гораздо старше меня. Но он обвинил меня в нечестности.

— Команданте? Я думала, это Кармозина.

— Она только обругала меня в разгаре спора, это не имеет значения. Но команданте сказал, что я солгал, что, будучи в курсе планов сооружения завода, молчал об этом, обманул всех. По его словам, я проявил себя недостойным доверия, которое оказывалось мне. Не знаю уж, как с этим быть, но в общем-то он прав — я лгал, скрывал кое-что, пытался обмануть. Но клянусь, я делал это только ради блага Агресте. Доктор Мирко — ты знаешь, кто он,— попросил меня дер-

жать все в секрете, потому что ничего еще не было решено и если бы стало известно широкой публике, то могло бы привести к полному провалу их планов. Для меня интересы Агресте превыше всего.

Как и накануне, Леонора поднесла руку Асканио к губам и поцеловала ее. Молодой человек улыбнулся, но улыбка была такой грустной, что по ней можно было судить, насколько он огорчен и даже напуган. Тогда тут же, прямо посреди площади, под деревом, забыв о присутствии парочек влюбленных, она остановилась и поцеловала его в губы. Пусть он, да и вообще все знают, что она безусловно солидарна с ним.

Лежа в гамаке и рассматривая гравюры горделивых коз, мирных китов, большого голубого солнца — мечты и действительность,— Леонора считает минуты. Утром Асканио прислал с Леонсио записку: сегодняшний день у него очень загружен, он будет занят проблемами мощения улицы при въезде в город, но если ему удастся выкроить время, он обязательно зайдет к ней.

Колокол Главной церкви пробил пять часов. И вот он входит в дом, даже не попросив разрешения, снова величавый, вдохновенный, с победоносным лицом; в руках — пачка газет, уведомление о предстоящем асфальтировании Грязной дороги и табличка с наименованием улицы Доны Антонието Эстевес Кантарелли (достопочтенной гражданки).

Асканио Триндаде находится сейчас при въезде в город, между Рыночной площадью и поворотом дороги; он с десятником занят уточнением деталей асфальтирования улицы, по которой пройдут в Агресте мачты с проводами от гидроэлектростанции.

До прихода «маринети» Жаиро день для Асканио был исключительно неприятным. После того как все прочли открытое письмо Джованни Гимараэнса, его жизнь превратилась в кошмар. Со времени разговора с доктором Мирко Стефано, Милейшим Доктором,— как его окрестила секретарша, та, что потом появилась одетой Санта-Клаусом во главе батальона техников,— до получения газеты со статьей Асканио построил огромный воздушный замок, предвидя сенсационное будущее для Агресте и для себя самого. Трубы заводов, которые будут возведены в Манге-Сэко, благоприятствовали бы прогрессу: широкая асфальтированная дорога, возможно двухрядная, почти автострада; образцовый городок в кокосовой роще с коттеджами для рабочих и служащих; современный отель в Агресте, для которого будет воздвигнуто многоэтажное здание; процветающая и богатая община. Компания «Бразтанио», ставшая пионером в развитии промышленности в Агресте, откроет путь другим промышленным предприятиям, которые захотят получать выгоду от эксплуатации природных богатств муниципия. Во главе всего этого — управляющий, компетентный администратор, полезный, неутомимый, полный идей и способный осуществить их, государственный деятель Асканио Триндаде, префект Сант'Аны-до-Агресте, то ли муж, то ли жених красивой санпауловки, богатой наследницы, Леоноры Кантарелли.

Асканио отказывается разделять опасения Джованни Гимараэнса насчет вредных последствий производства диоксида титана, придравшись к тому, что журналист не в курсе дела, не компетентен в научных вопросах. А вдруг все это правда и в своих разоблачениях он опирается на мнения физиков и химиков? Статья обнаруживает исключительную уверенность, как если бы автор был абсолютно убежден во всем, что утверждает. Во всем? Не может быть, ибо сама дона Кармозина, страстная сторонница статьи, нашла в ней примитивную ошибку, касающуюся цвета дыма. Если Джованни ошибся в этой детали, то он мог ошибиться во многом. Но если оставить в стороне цвет дыма, прав ли он в главном? Так ли опасна эта индустрия, якобы

смертельная для обитателей реки и моря, грозящая покончить с рыбной ловлей и рыбаками? В настоящее время у людей развилась подлинная мания видеть повсюду загрязнение окружающей среды, приписывать фабричным трубам все бедствия мира.

Какую позицию должен в конце концов занять он? Если будет доказано, что Джованни Гимараэнс допустил преувеличения, то все решится легко и просто. Но если, наоборот, знатоки проблемы поддержат его? Порвет ли Асканио с Милейшим Доктором, не дав разрешения и обещанных льгот для строительства заводов «Бразтанио» в муниципии, или же он смело встретит опасность загрязнения окружающей среды, считая, что для будущего Агресте экономические преобразования, индустриализация и богатство как следствие их важнее, чем скудные уловы рыбаков из Манге-Сэко, чистота вод и красота пейзажей? Как действовать, какую позицию занять, на чью сторону встать? Отказаться от всего — от административных проектов, от мечты о помолвке и женитьбе — ради того, чтобы сохранить здоровый климат, местные красоты и покой, граничащий с апатией? Для чего нужно ясное небо, чистая вода, тишина и спокойствие? Чтобы дожидаться смерти? Со временем эта фраза коммивояжера стала избитым выражением, общеизвестной истиной. Боже мой, можно сойти с ума!

Асканио устал, изнурен, нервы напряжены до предела. Утром в префектуре он принял решение замостить Грязную дорогу у въезда в город в связи с празднествами по случаю подачи тока от гидроэлектростанции. Нужно срочно начать работу, через месяц мачты достигнут улиц Агресте и загорится Свет Тиеты. Разъедавшие душу сомнения заставили Асканио отказаться от крикливых обещаний доктора Мирко Стефано и осуществить старый план — ведь булыжника более чем достаточно и в реке и на холмах, это единственная подлинно дешевая вещь в Агресте. Финансировать же работу придется местным богачам, а он в роли общественного попрошайки еще раз обойдет их с подписным листом.

Решившийся, но подавленный, необычайно раздражительный и ворчливый, он ведет долгие и нудные переговоры с десятником, уточняя детали подряда. Десятник Эспиридиан считает неприемлемыми скудные предложения секретаря префектуры, учитывая в особенности весьма сжатый срок: ему придется нанять много рабочих, трудиться с утра до ночи, и все же будет тяжело сдать работу вовремя. В результате они отправились осматривать место действия.

Они сумели наконец достигнуть компромисса, когда Жаиро затормозил свой «маринети», подняв страшную пыль. Десятник, едва не задохнувшись, возмутился:

— Рассуждают о загрязнении окружающей среды, как будто этот проклятый автобус не губит наши легкие вот уже более двух десятков лет.

Жаиро выходит, держа в руках два свертка.

— Для вас, Асканио.— Сначала он вручил посылку в оригинальной упаковке, Асканио ощупал ее.

— Я знаю, что это такое,— сказал он, обращаясь к десятнику.— Это уличная вывеска. Ее прислали раньше, чем я рассчитывал.

— А вот этот пакет мне велели доставить срочно. Видимо, что-то важное.

Вручив посылки, Жаиро, охваченный любопытством, ждет, когда Асканио вскроет их. Первая, как и предсказал Асканио, содержала вывеску для новой улицы с именем доны Антониеты, написанным белыми буквами на синем фоне. В другой, адресованной Асканио Триндаде, предприимчивому префекту Сант'Аны-до-Агресте, СРОЧНО, были газеты и письмо. Асканио раскрывает одну из газет, и черты его лица разглаживаются, как рукой сняло раздражительность, усталость и горечь, когда он видит заголовки аршинными буквами на первой странице: «БРАЗТАНИО» РАЗОБЛАЧАЕТ ОБМАНЩИКА,— и мгно-

венно секретарь префектуры констатирует, что разоблаченным лжецом является не кто иной, как журналист из газеты «Тарде» Джованни Гимараэнс.

Асканио направляется к «маринети». Он прижимает газеты к груди, как если бы это было золото, драгоценные камни, лекарство против смерти.

Доводы Джованни Гимараэнса неоспоримы, заявил поэт Барбоза в разговоре с Леонорой. Не о чем больше спорить, сказали дона Кармозина и команданте: журналист из «Тарде» изобразил все черным по белому, поставил точку над «i». Иначе думали владельцы и редакторы других изданий; доказательство сейчас перед Асканио Триндаде, на столе префекта. Две столичные газеты представили обильные материалы, в которых отрицательное мнение журналиста в его «Письме поэту Де Матосу Барбозе» подвергнуты полному пересмотру, резкой критике и сопоставлению не в его пользу, с ответственными декларациями видных ученых и опытных администраторов.

Весьма агрессивный заголовок в одной из газет Асканио увидел еще перед тем, как сесть в «маринети». Там он в возбуждении перечел его, констатировав резкость выражения по адресу Джованни — «обманщик», ни более ни менее. Газета не приняла во внимание отличную репутацию журналиста, симпатию и уважение, которыми он окружен.

Длинная передовая, набранная жирным шрифтом, поет дифирамбы Барбозе в выражениях, рядом с которыми похвалы самого Барбозы в злополучной поэме бледнеют. В момент, когда правительство штата закончит сооружение Промышленного центра Арату́, создав тем самым условия для нового подъема в жизни Баии, сведения о внедрении на территории штата важной индустрии «Бразтанио», фундаментальной для развития страны, являются наиболее многообещающим известием истекающего года, ценным рождественским подарком населению штата, утверждает передовая статья. Можно считать, что Баия облагодетельствована судьбой, поскольку она оказалась избранной выдающимся директоратом компании, намеренной вложить в наш штат капиталы неизвестных здесь ранее масштабов, небывалых среди частных предприятий. Есть люди, которые опасаются, естественно, заражения среды, но скептики и ретрограды, глашатаи бедствий существовали всегда, повсюду и по любому случаю восставая против прогресса. Их голоса единичны, к тому же сомнительного происхождения и служат закулисным интересам. Если ради простого любопытства мы займемся изучением политической биографии этих зловещих птиц, предрекающих беды, то немедля установим подозрительный идеологический душок, чего доброго — и самое ужасающее — клеймо Москвы. В таком тоне вся передовая. В ней не упоминается имя Джованни Гимараэнса, но оно явно подразумевается.

Оно упоминается, однако, в интервью, данном той же газете «одним из энергичных директоров «Бразтанио»— акционерного общества «Бразильская индустрия титана», молодым предпринимателем Розалво Лусеной, «экономистом, пользующимся репутацией национального значения, окончившим Институт имени Жетулио Варгаса[1], профессором которого он затем стал, а также обладателем ученой степени доктора науки управления, присужденной Бостонским университетом». Возвышенный столькими высокими званиями, он начал с того, что высмеял Джованни, «интересного журналиста, но без всяких научных познаний; ему бы следовало держаться в рамках мелких будничных происшествий, строчить комментарии к уголовной хронике, по случаю побед и поражений в футболе — что, как известно, и является его излюбленными темами,— не касаясь того, в чем он не раз-

[1] Жетулио Варгас (1882—1954) — президент Бразилии с 1930 по 1945 и с 1951 по 1954 гг.

бирается, превратившись из журналиста в обманщика, пытающегося повернуть общественное мнение против предприятия, которое принесет Бразилии экономию валюты, расширение рынка труда, наконец, приумножение богатства. Относительно воображаемой, несуществующей смертельной опасности, которую якобы несут заводы «Бразтанио», по утверждению презренного газетного писаки, лучше было бы выслушать мнение специалиста, обладающего бесспорной компетенцией, доктора Карла Байера, имя которого известно всем, кто интересуется проблемами окружающей среды». На портрете в три колонки Асканио увидел в центре страницы «энергичного доктора Розалво Лусену, выдающегося ученого Байера и симпатичного доктора Мирко Стефано рядом с нашим главным редактором во время визита в редакцию газеты».

Выдающийся специалист в исключительно научном и архинепонятном тексте, именно поэтому звучащем весьма убедительно, ответил на три вопроса, им самим сформулированных, так как «эти репортеры неграмотны в области экологических проблем», и исчерпал проблему. Оперируя научными терминами: ильменит, хлорид, катализатор, пентоксид ванадия, нектон, планктон и прочее,— он доказал как дважды два, что вся болтовня о загрязнении окружающей среды, гибели рыбы и заражении вод является не более чем «презренной демагогией». Кто станет выражать сомнения перед академизмом?

В другой газете, не менее воодушевленной деятельностью «Бразтанио», развивающей «индустрию национального первостепенного значения, фактора нового подъема баиянской экономики», инженер Аристотелес Мариньо из министерства промышленности и торговли высказал свое мнение в пользу акционерного общества. Никакой опасности, гарантирует технократ; избегая замысловатых терминов, он проявил более скромную компетентность, чем немец Байер. Однако мнение его весомо, так как отражает взгляд администрации штата, которая, по его словам, тщательно изучила дело, приняв во внимание жизненные интересы населения, и дала заключение о полной безвредности и исключительной важности индустрии, намеченной к созданию в штате компанией «Бразтанио». Статья кончалась заверением, что баиянцы могут спать спокойно, ибо правительство проявляет бдительность и не позволит нанести вред землям, водам и воздуху в пределах штата Баия. Когда он говорит о правительстве, то имеет в виду власти штата и федеральное правительство, которые «единодушны в деле защиты естественных богатств страны и здоровья народа».

Газеты — по нескольку экземпляров каждой из двух — прибыли в сопровождении краткого письма доктора Мирко Стефано, адресованного дорогому другу, доктору Асканио Триндаде. В этом письме он сообщает, что «Бразтанио» заключила контракт с одним транспортно-дорожным предприятием на проведение исследований и составление проекта расширения и ремонта пятидесяти километров мощеной дороги, связывающей Агрести и Эспланаду. То же предприятие заасфальтирует, как было обещано за счет «Бразтанио», улицу у въезда в город. В ближайшие дни прибудут машины и рабочие. Ни газет, ни Джованни Гимараэнса он не коснулся.

Профессор Карл Байер был категоричен: никакой опасности загрязнения окружающей среды. Этим он ликвидировал последние сомнения некоторых персон из правительства, по-видимому, опасавшихся разговоров о деятельности «Бразтанио». Уверенность, выраженная компетентным ученым мужем, однако, не означает его безоговорочной непреклонной позиции — все на свете зависит от часа и места, а также от ставки в игре. Завтра профессор Байер может изменить мнение, утверждать совершенно обратное, на этом зиждется величие (и богатство) выдающихся личностей.

Я пришел к этому заключению, сказал он, прочтя в газетах сообщение о прибытии в Бразилию другого выдающегося и опять же непогрешимого технократа. Он приехал за счет транснациональной компании, дирекция которой пребывает в Соединенных Штатах, для заключения контракта на разведку новых нефтяных месторождений, утверждая с величайшим энтузиазмом, что в наших недрах имеются неизмеримые запасы столь высоко ценимого черного золота. Речь идет о том же компетентном специалисте, который в свое время был законтрактован нашими правителями, чтобы выяснить раз и навсегда, есть или нет в Бразилии нефть. Он был тогда еще более категоричен, тверд и решителен в своем отрицательном ответе, чем выглядел в полемике с «Бразтанио» профессор Байер. После нескольких месяцев изучения, разведки, бурения, банкетов он под честное слово гарантировал полное, абсолютное отсутствие нефти в бразильских недрах — ни одной капли из земли и моря. Не вызывая в свой адрес обвинений в подрывной деятельности по указке Москвы, что заслуживало бы суровые репрессии, он положил в карман крупный гонорар и, если не ошибаюсь, получил в качестве чаевых высокую награду за услуги, оказанные Бразилии. Его мнение было узаконено, и многие люди были брошены в тюрьму, среди них Монтейро Лобато [1], знаменитый писатель, упрямый бразилец, безответственно видевший нефть там, где нефти не было, ведь отсутствие ее уже было неоспоримо доказано в отчете мистера... Как, кстати, его имя, этого молодчины?

Имя его читатель может увидеть сегодня в газетах, где оно снова блистает: теперь умная голова утверждает совершенно обратное насчет наличия нефти в бразильских недрах, на земле и на море; в этот раз ему платят соотечественники. В данном случае место рождения специалиста и источник денег помогают установить его североамериканскую национальность, блистательнейшую из всех.

Как знать, может быть, со временем наш профессор Байер также изменит свое мнение. Что касается других байеров и магнатов, то для них неважно, загрязняет ли окружающую среду производство диоксида титана. Если загрязняет, то это происходит вдалеке от них, в неведомых землях Баии. Смертоносный дым, желтый или черный, не достигает их, им важно лишь собирать прибыли с вложенного капитала и платить псевдоученым и «их превосходительствам».

Старый Эстевес умер от радости, как заключила Тиета, узнав подробности его кончины. Он упал замертво с улыбкой на лице, когда, завершив сделку о покупке с помощью Тиеты земли и стада, пришел в свой загон для коз. Он не заслужил такой легкой смерти, по мнению зятя, в доме которого было устроено бдение у тела покойного.

Вдова его Тонья сидит на стуле около гроба. Сидит молчаливая, послушная мужу, как это было в течение всей жизни. По другую сторону гроба — Перпетуа, она то и дело подносит платок к сухим глазам, грудь ее то и дело вздымается, будто от рыданий, на кухне Элиза и дона Кармозина готовят кофе и бутерброды, чтобы помочь людям преодолеть сон в течение ночи.

Бдение продолжается, маленькая гостиная в доме Астерио переполнена, люди беседуют и на тротуаре у дома, когда в сопровождении Рикардо, команданте Дарио и доны Лауры Тиета прибыла из Манге-Сэко, куда послали известить ее о смерти отца.

Предшествуемая шурином, она подходит к гробу, обнимает Тонью. Приближаются сестры, кто-то будит Пето. Леонора тоже присоединяется к семейной группе, целует Мамочку.

[1] Жозе Бенто Монтейро Лобато (1882—1948) — бразильский писатель, за памфлет «Нефтяной скандал», направленный против происков иностранного империализма в Бразилии, был заключен в тюрьму. В конце жизни вступил в компартию.

Для родственников в Агресте смерть Зе Эстевеса означает облегчение их участи. Тиета увидела снова отца всего лишь месяц назад и в эти дни в Агресте забавлялась его необдуманными поступками, радуясь, когда он приходил, пожевывая табак, ворчливый и придирчивый, но еще способный мечтать и радоваться, умеющий смеяться, решительный полководец с посохом в руке. Она узнавала себя в старике, так они походили друг на друга, отец и дочь.

Астерио расхаживает с сокрушенным видом, Элиза рыдает, Перпетуа подносит к глазам черный платок, деятельно изображая страдание безутешной дочери. Тиета не плачет, не возвышает голоса. Она легонько поглаживает лицо отца, опаленное солнцем, темное, каменное лицо. Из трех сестер только она одна потеряла дорогого для нее человека, только она осталась сиротой. Она и Тонья, несчастная Тонья.

Похороны Зе Эстевеса лишний раз подтвердили престиж Тиеты. Если бы старик умер раньше, чем она вернулась в город богатой вдовой, то у гроба, вероятно, собралось бы, помимо семьи, не более дюжины соседей.

Благодаря же присутствию Тиеты проводы старика в последний путь превратились в событие. Перед выносом гроба падре Мариано отслужил панихиду в доме Элизы, моля бога принять в свое лоно сию душу, одарив ее бесконечной милостью. В проповеди падре Мариано упомянул о Тиете, сказав, что она своим столь эффективным посещением родного города оказала Агресте неоценимое благодеяние — ведь это она выхлопотала проводку электричества из Пауло-Афонсо и предоставила Главной церкви новое электрооборудование. Она явила, кроме того, героическое доказательство преданности и любви к ближнему, бросившись в огонь с риском для жизни, чтобы спасти от ужасной смерти бедную старушку. Присутствующие едва не зааплодировали красноречию священника.

На похороны явилась масса народа. Гроб выносили видные люди города, и среди них Асканио, у которого из кармана торчали газеты, присланные доктором Мирко Стефано. Он намеревался утереть нос команданте, заставив его просить прощения за обвинение в нечестности.

Дома, как только вернулись с кладбища, Тиета торопится снять черное платье — жарко; Перпетуа же, прежде чем переодеться, сделав паузу в сетованиях, заявляет:

— Теперь нам нужно договориться о наследстве.

— Наследстве? — удивилась Тиета.— Старик ведь ничего не оставил.

— Не оставил? Это ты так думаешь. Каждый месяц он припрятывал деньги, которые ты ему присылала, за исключением пустяка, какой-то мелочи, которую он тратил на покупки на базаре и оплату квартиры. Остальное припрятывалось. Он никогда не тратил на подарки мне, Элизе или внукам. Приходил в гости только в час завтрака или обеда, разве ты не замечала? У него должно быть накоплено немало.

Сбережения за десять—двенадцать лет — приличная сумма. На что он собирался пустить деньги? Перпетуа говорит возбужденно, голос у нее неприятный, шипящий, ставший еще более резким из-за острой темы:

— Я много раз спрашивала его, что он намерен сделать с этими деньгами, а он отвечал: не вмешивайся в мою жизнь. Я посоветовала ему положить их в банк либо одолжить сеу Модесто под проценты. Не захотел, ведь он не доверял никому, тем более банку. Я думаю, копил он деньги без особой необходимости,— она понизила голос,— зловредный был, прости меня, господи.

— Имей сострадание, Перпетуа. Не прошло и часа, как мы похоронили старика; прежде чем вспоминать его недостатки, мы не должны забывать, что он был нашим отцом.

Перпетуа уступила, ей не хотелось навлечь на себя недовольство Тиеты:

— Ты права. Падре Мариано тоже говорит, что у меня нет чувства сострадания. Мой долг оплакивать его кончину, я знаю. Но что ты хочешь? Когда я думаю о том, чего мы натерпелись от него... Ты же знаешь.

— Знаю, да. Но все же мне жаль его, он мой отец, были у него и достоинства, хорошие качества. Он был откровенен и, когда хотел чего, умел драться, чтобы добиться своего.

— Теперь он умер, и кончено. Вернемся к тому, что представляет интерес для нас обеих: нужно найти, где он прятал деньги. Возможно, мать Тонья знает. Если мы их найдем, то часть пойдет на покрытие расходов по похоронам — тебя тут не было, заплатить за все пришлось мне, кое-что отложим на мессы седьмого дня и тридцатого. Остаток разделим между матерью Тоньей и нами тремя. Если кто-нибудь захочет заказать другие мессы, пусть платит из своего кармана.

Чтобы не оскорбить чувства богатой сестры, щедрой тетки, она прибегает к высшему доказательству дочерней любви:

— Я сама закажу еще три мессы: одну от своего имени, две от имени каждого из двух мальчиков. И ежегодно, пока бог дарует мне жизнь, в день его смерти я буду заказывать мессу.— Она не может удержаться и добавляет: — Я считаю, что это лучше, чем придумывать достоинства, которых у отца не было.

Тиета чувствует себя утомленной. Нет смысла спорить — потерянное время, никакие доводы не изменят мнения Перпетуи. Она удаляется:

— Переоденусь, приму ванну и лягу, я страшно устала.

Вечером этого дня, а было тридцать первое декабря, отдохнув, Тиета скромно оделась и, зайдя в почтово-телеграфное агентство за доной Кармозиной, направилась вместе с нею в дом Элизы.

Встретив их, Элиза бросилась в объятья сестры в новом порыве скорби. Смерть ведь должна быть достойно оплакана, чувства родных к покойному полагается выразить в причитаниях и рыданиях, наглядных знаках горя.

Тонья, завидев Тиету и дону Кармозину, поднимается им навстречу, разражаясь рыданиями:

— Что теперь со мною будет?

Тиета молча прижимает мачеху к груди, прежде чем усадить ее снова на стул и сесть рядом с ней:

— Не беспокойся, мать Тонья, ты ни в чем не будешь нуждаться. Живи с Элизой и Астерио, а я каждый месяц буду посылать тебе немного на твои расходы.

Тонья пытается поцеловать ей руку, но Тиета не позволяет и говорит:

— Давайте потолкуем теперь о делах.

Она выкладывает на стол пачку денег:

— Это сбережения старика.

Тонья узнает розовую ленточку, которой перевязана пачка:

— А я и позабыла. Ты, наверное, в матраце нашла их? Он проделал дыру в холсте, каждый месяц добавлял денег в пачку, завернутую в лист газеты и перевязанную этой лентой. Заставил меня поклясться никому не говорить. Каждый день вытаскивал пачку, чтобы проверить, даже ночью просыпался и начинал считать.

— Отец сам вытащил деньги из матраца, перед тем как умереть; немного погодя я объясню зачем. Сначала я хочу отдать тебе твою долю.

— Мою долю?

— Половина денег, которые он скопил, принадлежит тебе, это доля жены. Другая половина — дочерям: Перпетуе, Элизе и мне. Я оплатила Перпетуе расходы на похороны: на гроб, могилу, священника, а также затраты, связанные с бдением у гроба,— на кофе и сандвичи. Отдала и ее долю; здесь то, что осталось.— С тщательностью человека, привыкшего производить расчеты, маневрировать кредитом и дебетом, она сообщает общую сумму сбережений, сумму расходов, цифры произведенного дележа — сколько полагается Тонье, сколько каждой сестре. Считает грязные и потрепанные, побывавшие в бесчисленных руках банкноты, передает часть их вдове: — Эти деньги твои, мать Тонья, не отдавай их никому, береги для какой-нибудь срочной надобности. Потом, после продажи часов старика, будешь иметь еще немного.

Она делит остаток на две кучки — свою долю и долю Элизы, оставляя их на столе, удерживает протянутую руку сестры:

— Минутку, Элиза, выслушай сначала, что я скажу. Отец умер, когда он только что завершил сделку с Жардо Антунесом на покупку у того земли и стада коз; небольшая собственность, но, насколько мне известно, в очень хорошем состоянии и приносит приличный доход. Старик попросил меня помочь ему в платеже, он хотел иметь участок земли и несколько коз. Думаю, не столько ради прибыли, сколько просто ради удовольствия. Он любил животных, ему нравилось иметь какой-то вес в обществе.

— Да, он любил...— согласилась дона Кармозина, до того слушавшая молча. Для нее существование денег, спрятанных Зе Эстевесом, — не сюрприз.

— Ты знала об этом, Элиза? Об этой покупке?

— Астерио рассказал мне, сеу Жардо поделился с ним.

Тиета протягивает руку, гладит сестру по голове — какая роскошная черная грива!

— Так вот, послушай: цена, которую Жардо запросил,— вполне подходящая, ему сейчас нужны наличные деньги. Даже сеу Модесто Пирес нашел цену сносной, Оснар посоветовал мне заплатить, не торгуясь.— Тиета принимает решительный вид, ведь она привыкла иметь дело с деньгами, заключать сделки.— Мой план таков: соединяем обе доли, твою и мою, я добавляю сколько не хватает, и мы покупаем все это для тебя и Астерио, купчую оформляем на ваше имя. Чтобы вы не жили и дальше так стесненно, считая гроши. С лавкой и фермой получится более чем достаточно. Я помогаю мальчикам Перпетуи, хочу помочь и вам. Со смертью старика, когда дом будет готов, вы будете жить в нем вместе с Тоньей. Вот это я и хотела вам сказать.— В голосе ее звучит удовлетворение от возможности оказать благодеяние, способствовать улучшению жизни сестры и шурина.

— Счастливы те, у кого есть такая сестра, как ты, Тиета,— восклицает дона Кармозина.

Элиза же хранит молчание, уставившись в пол. Она явно взволнована и до такой степени, что не знает, как выразить свою благодарность. С усилием начинает говорить, не поднимая головы, нервничая, заикаясь:

— Кармозина права, ты очень добра, Тиета. До того как я узнала тебя, я представляла тебя феей, а ты и на самом деле такая.— Она поднимает взор и устремляет его на дону Кармозину, как бы прося поддержки: — Я очень благодарна за то, что ты делаешь для нас с Астерио, за покупку участка и дома, в котором мы будем жить бесплатно,— она делает паузу, чтобы перевести дух и набраться смелости,—

но я мечтаю о другом, я даже просила Кармозину поговорить с тобой...

— Тебе не нужен посредник! Скажи сама, чего ты хочешь,— Тиета даже стала далекой и холодной.

Элиза робко поднимает глаза на богатую и могущественную сестру. Решается, голос ее дрожит:

— Я хочу только одного — уехать с тобой в Сан-Пауло. Хочу, чтобы ты меня забрала с собой, подыскала работу для Астерио...

Она не успела закончить фразу, Тиета резко обрывает ее:

— Ты хочешь уехать в Сан-Пауло? Что ж ты там собираешься делать, скажи мне? Наставлять рога мужу? Стать шлюхой?

Элиза вздрагивает, как от пощечины, закрывает лицо руками, слезы брызжут из глаз. Эти рыдания, слезы не имеют ничего общего с недавним плачем по обязанности, по ритуалу, связанному со смертью. Сейчас искренний, настоящий плач после жестокого и неожиданного удара, следствие подлинного огорчения от разбитой мечты. Она опускает голову на руки, лежащие на столе, и тихонько стонет, всхлипывает как ребенок, волосы рассыпались по плечам.

Тиета встает, подходит к младшей сестре — та моложе ее лет на двадцать пять. Приподнимает голову Элизы, сбнимает, утешает сестру. Целует в щеки, утирает слезы, гладит но волосам, называет ее дочкой — голос мягок и нежен, как у матери:

— Не плачь, Лиза, дочь моя. Я отказываю ради твоего же блага. Там вам не место. Плохо будет тебе, еще хуже Астерио. Я обещаю, что, когда в один прекрасный день соберусь поехать отдохнуть, пошлю за вами, чтобы вы тоже отправились со мной. А ты знаешь, если уж я обещаю, то обязательно выполню. Но сейчас тебе надо помогать мужу в лавке, ведь у него прибавится забот с приобретением фермы.— Она снова повышает голос: — И никогда больше не заикайся о том, чтобы поехать в Сан-Пауло. Никогда!

Похороны старого Зе Эстевеса, разговор с Перпетуей о наследстве, объяснение с Элизой невольно отражаются на лице Тиеты, которая сидит сейчас перед зеркалом, снимает косметику, сидит одна в притихшем доме, и на улице тишина.

Одна в новогоднюю ночь, в пустом доме! Она бы не поверила, если б ей такое рассказали. Еще жива была жена комендадора Фелипе, а он всегда приходил под Новый год повидать Тиету, приносил ей подарок, обычно какое-нибудь драгоценное украшение. Умерла жена, и он встретил Новый год в обществе Тиеты в роскошном ночном клубе, где был устроен пышный и веселый карнавал, а сколько прозвучало тостов, сколько выпито шампанского!

И год назад праздник начался таким же образом в элегантном ночном клубе. Они обсуждали финансовые дела, вспоминали первые дни этой неизлечимой (по определению Фелипе) связи. В качестве сувенира он преподнес ей купчую крепость на большой магазин в первом этаже здания «Монтейро Лобато», названного так домовладельцем в честь сан-пауловского писателя, рядом с которым он когда-то жил,— монументального здания в центре города на оживленной торговой улице. Как получить приличный доход? Сдать магазин в аренду или устроить в нем роскошную великосветскую boutique [1]? Такой boutique она, естественно, могла бы заведовать. Но где найти время, дела «Убежища» занимают целый день? Лучше сдавать, посоветовал Фелипе, и без труда и забот класть в карман приличную ежемесячную сумму.

А в эту новогоднюю ночь, так непохожую на прошлые, Тиета сидит одна перед зеркалом в доме старшей сестры и спрашивает себя: стоило ли приезжать?

[1] В данном случае — мастерская, ателье *(франц.)*.

Да, стоило, несмотря на притворство и лицемерие, амбиции и распри в семье Эстевес, тщательно маскируемые показной скромностью и миром. Из-за одной лишь встречи с Рикардо жертва оказалась не напрасной, даже вознагражденной.

Вспомнив о мнимой падчерице, Тиета недовольно покачала головой. Она привезла ее с собой, чтобы та отдохнула от безрадостной жизни, подлечила легкие здоровым воздухом Агресте, начала улыбаться, расправив скорбные складки у рта. Хорошо ли она поступила? Все говорит за то, что да: Леонора чувствует себя счастливой, выглядит по-другому. Но что будет потом? Нужно сделать так, чтобы они с Асканио решились побывать в оврагах «Бассейна Катарины», открыв гроты под плакучими ивами. Дата отъезда приближается. Леонора заслуживает того, чтобы отдаться мужчине по любви; до сих пор она это делала только по обязанности или по заблуждению. Тиете придется заняться и этой проблемой. На следующей неделе «Загон козла Инасио» будет окончательно готов. Это подходящий случай, чтобы привезти чету влюбленных в Манге-Сэко, где в таинственной лунной ночи у моря тонут колебания и робость, как утверждает Рикардо.

Сначала, однако, надо убедить Асканио отказаться от злополучной идеи раскрыть городские ворота Агресте производству диоксида титана, способному отравить чистый воздух, омрачить голубое небо, загрязнить реку и море, покончив с рыбой и рыбаками. Контрабандисты? Они всегда были, но нет более смелых и отважных моряков, чем моряки Манге-Сэко, смело вступающие в единоборство с кровожадными акулами и яростными морскими волнами. Внезапно она испытывает огромное сочувствие к землякам, безмерную нежность, забывает о семейных обидах, притворстве и лжи. Бедные люди Агресте, бедные, но такие милые! Все они любят ее, все без исключения, хорошие и плохие.

В тот же самый час, когда Тиета, обнаженная, в постели ожидает Рикардо, он, находясь в церкви, сквозь дымку ладана увидел впервые Марию Непорочную, увидел и растерялся. Совсем молоденькая, почти девочка, ей не больше пятнадцати. Одета она в платье из небесно-голубого муслина, белый цветок гардении в курчавых волосах, едва расцветшие формы, глаза как два уголька, на устах улыбка. Улыбка, адресованная ему.

Праздничная месса нравится Рикардо нарядностью одежд и красотой пения. Он чувствует на себе восхищенные, подчас алчные взоры по меньшей мере трех женщин, и все они недурны собой. Он пробегает глазами по переполненному нефу церкви. Множество женщин молится, стоя на коленях. В глубине группы стоят мужчины в новых костюмах, и лишь несколько более ревнивых и преданных мужей держатся возле жен, скажем, Терто рьяно доказывает всем, кто не верит, что он — счастливый супруг аппетитной доны Эдны, развратнейшей по натуре.

Рикардо смотрит на скамейки, где сидят женщины. У стены, почти в самой глубине, он узнает хозяйку публичного дома Зулейку Золушку, он видел ее несколько раз на улице, когда та ходила за покупками. Вокруг нее полдюжины проституток, ни одна из них не решается сесть. Вот тут взгляд Рикардо и обнаружил Марию Непорочную, он сразу узнал ее, она была словно тетя Антониета, которая как бы чудом вернулась к девическим годам, когда — по ее же рассказам — встречалась с возлюбленным на берегу реки, под плакучими ивами, пылкая козочка. Открытое лицо, блестящие глаза, стройная, но не худая фигурка, черные вьющиеся кудри. Чувственные губки.

Кончилась служба, все идут по дороге к гавани. На углу площади, укрывшись в тени мангового дерева, его поджидает Мария Непорочная. Рикардо не удивлен, он догадывался, что она близко; выходя из

алтаря, следил за ней. Оказавшись лицом к лицу, улыбнулись друг другу. Она спрашивает:

— Уже освободился?

— Я иду в гавань встретить мать и кузину.

— Я тоже туда.

Площадь пустынна, лишь у церкви показался силуэт падре, направляющегося в приходский дом. Они поспешили к реке. Как только прошли улицу и погрузились в темноту, она открыла ему объятья. Рикардо прильнул, они слились в долгом поцелуе. Вкус поцелуя такой же, как у тети, но у этого другой аромат — скромный запах кустарника. Рикардо касается ее груди, настанет день, и грудь станет такой же, как у Тиеты, когда окончательно сформируется; сейчас это еще зеленый фрукт, вымя козочки. Уста отстраняются со вздохом, чтобы снова сомкнуться, девушка слабеет в объятьях Рикардо.

Они проходят еще несколько шагов, в небо взвиваются первые ракеты. Он вспоминает, что мать и Леонора ожидают его.

— Мне надо идти.

— Побудь еще немного, дорогой.

Губки девушки приоткрываются в ожидании:

— Поцелуй меня еще раз, мой милый.

Они снова сливаются в поцелуе. Рука Рикардо опускается от груди к молодым бедрам. Фейерверк взрывается в небе.

— Мне надо идти. Когда мы сможем увидеться?

— Завтра я буду ждать тебя, дорогой, как только стемнеет.

— Где?

Она задорно смеется.

— Ты ведь церковный служка, не можешь пойти в дом доны Зулейки. Так я буду ожидать тебя на том же месте, что и сегодня.

Долгий прощальный поцелуй при свете фейерверка. Зубки девушки отметились на губе семинариста. Ой!

— Больно, дорогой? Прости, Рикардо.

— Ты знаешь мое имя?

— Знаю, а ты не знаешь моего,— она снова торжествующе смеется.

— Так как же тебя зовут?

— Мария Непорочная, дорогой.

— Счастливого Нового года, Непорочная!

Он уходит торопливо, оставляет ее там, на пороге Нового года. Оглядывается на повороте дороги и видит Марию, залитую светлым серебряным дождем. До завтра, моя милая!

Ожидая случай показать команданте интервью и редакционные статьи, Асканио размышляет над тем, как бы лучше довести разоблачение клеветы журналиста «Тарде» до сведения населения, потрясенного «Письмом поэту Де Матос Барбозе», и унять безответственную болтовню, разжигаемую дьявольской доной Кармозиной и поэтом Барбозой, вознесенным к вершинам славы. Даже смерть Зе Эстевеса с помпезными похоронами по первому разряду не смогла уменьшить волнение, вызванное драматичным предостережением, брошенным Джованни Гимараэнсом.

Те, кто знал журналиста лично, подружившись с ним во время его памятного посещения Агресте, сразу приняли сторону Гимараэнса, соблазняя остальных, возбуждая общественное мнение против «Бразтанио». Асканио ломает голову: как познакомить людей со статьями и декларациями из полученных газет, где дело выводится на чистую воду и выявляются преувеличения, допущенные Джованни Гимараэнсом, доказывается, что опасность загрязнения не более обычной, а проблема сооружения предприятий по производству диоксида титана сведена к ординарным размерам. В конце концов, что за дерь-

мо этот диоксид, или эта двуокись титана? Он старался выяснить все, что относится к неведомому термину, прочитал внимательно интервью профессора Байера, но ответа на вопрос так и не нашел. Единственно, что ясно, речь идет о продукте, необходимом для развития экономики страны, что ж, достаточно им этого. Нужно донести правду до всех, убедить их в преимуществах «Бразтанио», в действительном значении Компании для прогресса и приумножения богатства Бразилии, а в частности Агресте. Как сделать это?

Выйти на улицу, показывая газеты одному человеку за другим, непрактично. Оставить газеты в баре в распоряжение посетителей тоже не годится, прочтет их лишь часть жителей, может быть интеллектуально и самая развитая, но численно ничтожная; к тому же есть опасность, что газеты исчезнут, их порвут, выкинут. Созвать народ и устроить своего рода коллективное чтение? Идея заманчивая, но сложная, трудная для выполнения и к тому же опасная. Коли речь зайдет о «Бразтанио», бедняки — да и другие тоже, как показал опыт,— могут подумать, что предстоит новая раздача подарков и, не получив их, разочаруются, результат будет обратный.

Наконец, вспомнив университетские времена, он решил воспользоваться витриной, вывешенной в префектуре. Впервые за многие годы синекуры (хотя и низкооплачиваемой) казначей Линдолфо проявляет себя подлинно полезным работником. Ловкий владелец батареи цветных карандашей, наклеив вырезки, воспроизвел крупными буквами основные утверждения интервью и редакционных статей, а надо всем — надпись, идущая от края и до края листа: «Бразтанио» — прогресс и возрождение для Агресте!» Завершая свое произведение искусства, он нарисовал контуры огромного завода в центре панорамы, фигуры счастливых граждан, держащих праздничные флажки,— все это на фоне небоскребов, рабочего городка, отеля, кинотеатра, достойного столицы, роскошного новейшего автобуса. Итак, примитивная, рассчитанная на невзыскательного зрителя картина Линдолфо занимает основание листа, а между нею и надписью, восхваляющей «Бразтанио»,— вырезки из газет, разъясняющие истинное положение дел.

Витрину вывесили в зале первого этажа, где порой собирается муниципальный совет, когда полковнику Артуру де Фигейредо приходит в голову его созвать. Нужно, кстати, срочно сделать это, ибо наверняка понадобится согласие членов муниципального совета на размещение фабрик «Бразтанио» в муниципии. Асканио считает, что Компания наверняка сделает запрос, учитывая результаты исследований, проведенных специалистами. Если «Бразтанио» не намерена обосноваться в Манге-Сэко, зачем бы ее директора стали заключать особый контракт с землеустроительной фирмой на разработку планов расширения и ремонта дороги, соединяющей Агресте и Эспланаду?

Даже дерзкое заявление доны Кармозины, прочитавшей газеты, не изменило намерений, не охладило накала патриотических чувств, не лишило хорошего настроения секретаря префектуры, находившегося в состоянии эйфории с момента получения письма и материалов, присланных Милейшим Доктором. Не имея аргументов, чтобы опровергнуть научные утверждения профессора и патриотические заявления владельцев газет, дона Кармозина удовлетворилась категорическим и пренебрежительным заключением:

— Все это не более чем подлог. Вполне очевидный. Надо быть очень глупым или уж совсем бесстыжим, чтобы отрицать это.

Тиета, завершив сделку с Жардо на покупку земли и стада коз, решила, что ей уже нечего делать в Агресте. На следующий день к вечеру она обязательно уедет в Манге-Сэко на моторке Элиезера, взяв с собою Рикардо, чтобы он присмотрел за окончанием сооружения «Загона козла Инасио»: окраской помещений и настилом полов.

— Хочу насладиться своей хижиной, прежде чем уехать,— сказала она Асканио.

— Уехать? Только после празднества по случаю подключения света, не забудьте! — Асканио в таком радостном настроении, что у него развязался язык.— Я готовлю для вас сюрприз.

— Для меня? Скажите сразу, что это такое.

— Извините, дона Антониета, не могу. Но вам понравится.

Ей бы действительно понравилось, если бы он поборол застенчивость в отношениях с Леонорой. Надо подтолкнуть его, ускорив развитие событий.

— Через несколько дней хижина будет готова, я пришлю за Норой, пусть она поживет там со мной.

— Поживет в Манге-Сэко? — Асканио побледнел, голос его задрожал, внезапно пропало радостное настроение и энтузиазм.

В точности как и предвидела Тиета. В Манге-Сэко в конце недели она заставит молодого человека выкинуть из головы злополучную идею разместить в кокосовой роще предприятия, возведению которых оказывают сопротивление во всех частях света, заставит отвести, ужаснувшись, смертельную угрозу для климата и вод Агресте. Взамен она пошлет его на ложе Леоноры, самое роскошное ложе в мире — дюны Манге-Сэко, чистые, не загрязненные.

— Приезжайте и вы тоже, «Загон» мал, но если постараться, в нем можно разместить и коз, и козлов.

Старательный послушник и служка старого падре, размышляя над тем, в какой переплет он попал, искал способ с достоинством миновать трудный перекресток. Он пытался найти пути, которые привели бы его сначала в девические объятия Марии Непорочной, а затем — к бальзаковским ласкам Тиеты. Пока, однако, он не видел выхода из тупика.

В прошлый вечер, вернувшись с фейерверка вместе с матерью и Леонорой, он дождался, когда в доме воцарилась тишина, и, пройдя через коридор, вошел к Тиете. От первых поцелуев Рикардо она проснулась и крепко его обняла.

— Козленок!

— Моя коза!

Он сказал «коза» с мыслью о козочке, которая просила: «поцелуй меня еще раз, мой милый!» Голос ее слабел, когда она называла его «милым», а он краснел, слыша, как она это произносит. Если бы он мог, то рассказал бы Тиете: сегодня в темноте под манговым деревом я встретил тебя, тетя, такой крепкой, статной, какой ты была в свое время. Прости меня, но мне хотелось узнать, какова ты была пастушкой, без французских духов, без кремов и благовоний; без париков, изящного белья, золотых колье, колец с брильянтами; когда от тебя исходил аромат гардении и ты была одета в небесно-голубое платье из муслина...

Как ухитриться выйти на свидание, когда в девять часов погаснет свет? Даже в те вечера, когда у них бывало много гостей, ему не удавалось найти предлогов выбраться на улицу, мать не делала уступок в отношении распорядка в доме. Он подумал о тысяче извинений, изобрел десятки предлогов и оправданий, все они были неосновательными. Время шло, а он не знал, как поступить. Он был готов на любую ложь, будь что будет. Тем более он уже лгал сегодня — тетка еще рано утром заметила след укуса на губе.

Рикардо поглядывает на часы, до девяти остается немногим более получаса, а он не придумал, как бы удрать. Страшная тоска овладевает им, скоро Мария Непорочная укроется за стволом мангового дерева и будет ждать его.

Вдруг на тротуаре звучат шаги, слышится голос падре Мариано:

— Рикардо! Рикардо! Ты уже спишь?

Перпетуа торопится встретить священника, желая знать причину его посещения. Грустная причина, дорогая дочь: надо принять последнее покаяние от старой Белармины, которой скоро должно исполниться девяносто лет.

Погасли огни, когда падре и Рикардо, побывав у доны Белармины, покинули ее дом. Провожая священника к церкви, Рикардо заметил Марию Непорочную за манговым деревом, и она увидела его. Он довел падре до приходского дома и услышал, как тот запирает дверь. Тогда он подошел к девушке.

— Милый, ты так красив в сутане!

Рикардо чувствует себя легко и счастливо, бог дал ему хороший предлог без осложнения уйти из дома благодаря появлению падре Мариано, которому надо было выполнить обязанность священнослужителя.

Мария Непорочная сегодня в черной юбке и блузке из набивной ткани, но у нее, как и вчера, гардения в волосах и на устах свежая и ясная улыбка. Они целовались по дороге; придя на берег реки, она, видя его нерешительность, сама взяла Рикардо за руку и повела в самое укромное место, под плакучими ивами «Бассейна Катарины». «Освяти меня, мой милый!»

Вместе они возвращаются на площадь. Рикардо, блаженно улыбаясь, поглаживает ее лицо, целует глаза, треплет курчавые волосы, прячет в карман гардению. Они прощаются у мангового дерева.

— Завтра я буду снова ждать тебя здесь, мой милый. В тот же час.

— Я еду завтра в Манге-Сэко.

— Долго пробудешь там, дорогой? — голос ее преисполнен горячего желания.

— В субботу я вернусь, жди меня.

— Непременно приходи, не то я умру от тоски.

— Приду обязательно. До субботы, Непорочная.

— Не спеши, милый. Поцелуй меня еще.

В момент, когда они соединились в долгом поцелуе, на площади мелькнула чья-то тень. Рикардо высвобождается, Мария Непорочная исчезает в темноте.

В критический момент, когда еще не были найдены ответы на вопросы, возникшие в связи с известием о предстоящем сооружении фабрик «Бразтанио» в кокосовой роще Манге-Сэко, Асканио Тринда-де вспомнил о рыбаках, тайные занятия которых, не говоря о рыболовстве, тоже могут оказаться под угрозой. Однако он решил не вникать в эту проблему, иначе придется заботиться и о людях поселка, расположенного на противоположном берегу реки Реал, в соседнем штате Сержипе. Жозафа Антунес в разговоре с Тиетой те же эгоистические рассуждения сформулировал по-своему: пусть жители Сержипе сами почешутся.

Они «чесались» — «Тарде» в рамке на первой странице призывала читателей обратить внимание на материалы в газете, касающиеся жгучей проблемы загрязнения окружающей среды; сообщение о выборах в префектуру Сант'Аны-до-Агресте, телеграмму префекта муниципия Эстансии в штате Сержипе и интервью «выдающегося художника Карибэ [1], пользующегося международной популярностью, который так возвеличил Бразилию за ее рубежами».

О выборах—короткое сообщение, напечатанное курсивом в колонке политических новостей: распространились слухи, согласно которым предоставленное Агресте право первым назначить дату предстоящих выборов нового префекта объясняется маневром руководите-

[1] Карибэ — известный бразильский художник, иллюстратор многих романов Жоржи Амаду.

лей «Бразтанио», заинтересованных поставить во главе общины, где намечается открыть нежелательное и осуждаемое производство диоксида титана, человека, безропотно им подчиняющегося.

Телеграмма префекта Эстансии звучит гневно: «Гнусный проект «Бразтанио» разместить свои фабрики в Манге-Сэко представляет неслыханную угрозу для южного побережья Сержипе, для отважных и честных рыбаков и всего мирного, трудолюбивого населения местечка Сако, для богатой рыбной фауны моря и рек Пиауи и Пиауитинги, которые при слиянии образуют реку Реал немного выше Эстансии — муниципия, экологии и экономике которого будет нанесен сильный ущерб, так же как и другим соседним муниципиям Сержипе и Баии, двух братских штатов, чьи голоса и действия в защиту сохранения окружающей среды должны объединиться в борьбе».

Не будь префект Эстансии известен своим благородством, можно было бы подумать, что, подчеркивая честность рыбаков местечка Сако, он имел тайное намерение противопоставить их промысел нелегальной контрабандистской деятельности, осуществляемой жителями Манге-Сэко, пользующимися сомнительной репутацией. Таким образом, подчеркивание факта, что проекты «Бразтанио» угрожают в равной степени здоровой экологической среде двух штатов, призывы к укреплению братских отношений, которые должны сплотить членов этой зыбкой федерации, в особенности потому, что они соседи, могут создать впечатление, что автор телеграммы отвечает на мысли Асканио Триндаде и на злополучную фразу Жозафы Антунеса. В то время как энергичный и популярный префект Эстансии и понятия не имел о циничном заявлении Жозафы, тем более о неожиданной позиции Асканио.

Что же касается интервью Карибэ, которого редакция газеты в россыпи похвал именует «выдающимся художником, пользующимся международной популярностью», то, как явствует из текста этого второго интервью, с которым Карибэ выступил по поводу «Бразтанио», он дал его потому, что «известный баиянец был владельцем очаровательной простенькой виллы в Арембепе». Начинает он с упоминания о первом интервью, в котором, опередив Джованни Гимараэнса, с негодованием осудил «Бразтанио» — «чудовищную угрозу побережью Арембепе, всему морскому побережью столицы штата, трудовому населению, рыбам и моллюскам, морю богини вод Йеманжи[1]». Во втором интервью он поздравляет себя и народ города Салвадора с тем, что в связи с волной протестов, поступивших со всех концов страны, «Бразтанио», по-видимому, отказалась от первоначального проекта «превратить Арембепе в сточную канаву для смертоносных отходов своего производства». Это значительная победа, но все же борьба против Компании должна продолжаться с целью воспрепятствовать тому, чтобы «убийственная индустрия обосновалась на землях Баии или в какой-либо другой части бразильской территории».

Интервью это должно было наверняка вызвать резонанс благодаря весу и популярности художника Карибэ. Кроме того, если до сего времени лишь Джованни Гимараэнс, префект Эстансии и поэт Де Матос Барбоза в двух поэмах, опубликованных в литературном приложении к той же газете, подняли голос в защиту Агресте, реки Реал, побережья Манге-Сэко, соседних муниципиев, то протесты против строительства завода в Арембепе следуют один за другим.

В ответ на витрину Асканио Триндаде, вывешенную в зале муниципального совета префектуры, дона Кармозина выпустила свою, большего размера и еще более броскую, с цитатами, заимствованными из всех упоминавшихся здесь материалов и статьи Джованни Гимараэнса; написано все это было чуть не метровыми буквами. Текст дополнен мрачной иллюстрацией: желтый дым, поднимающийся из заводских труб «Бразтанио», страшное пятно диоксида, которое

[1] Йеманжа — богиня моря, по верованиям бразильских негров.

навсегда затмит голубизну неба; газовые испарения; река с дохлой рыбой, сточная канава, где собираются смертоносные продукты распада — дона Кармозина знает все о диоксиде титана и его производстве. От кокосовой рощи Манге-Сэко не осталось и следа, деревушка с задыхающимися нищими обитателями в агонии.

Произведение искусства, в равной мере примитивное и обращенное к невзыскательному зрителю, ни в чем не уступает, однако, картине казначея Линдолфо; напротив, оно превосходит ее, ибо художник у доны Кармозины пользовался акварельными красками, а не только лишь батареей цветных карандашей.

Помещенная между двумя дверями у входа в почтово-телеграфное агентство, витрина доны Кармозины, в центре которой статья Джованни Гимараэнса, две «Поэмы проклятия» поэта Барбозы и портрет художника Карибэ, читается и комментируется несравненно оживленнее, чем творение Асканио Триндаде в зале муниципальной палаты,— посещаемость двух учреждений не идет ни в какое сравнение. В префектуре бывают лишь те, кому нужно обсудить какое-то дело, подать прошение. В почтово-телеграфное же агентство идут не только по необходимости, но и ради удовольствия поболтать, послушать выдающихся людей, в интересной дружеской беседе узнать, что происходит в мире, где так мало радостей и так много несчастий, бесчисленных опасностей.

ПЯТЫЙ ЭПИЗОД

От голубого неба до черной луны, или Соперник бога

Все, что до сих пор печаталось на страницах газет, обсуждалось на углах улиц, отражалось эхом в связи с появлением неких неведомых существ, которых с трудом удалось распознать даже поэту Барбозе, близкому ко всему сверхъестественному, превратилось в осязаемую и непосредственную реальность с прибытием однажды утром на улицы Агресте тяжелых, мощных машин Баиянской инженерно-проектной фирмы. С важной неторопливостью они проследовали по главной улице. Глухой шум, невиданные конфигурации — прогресс в действии.

Мальчишка Сабино, запыхавшись, ворвался в магазин Астерио, где Оснар беседовал об агрономии и ветеринарии со своим новым соседом по земельному участку. Из уст Сабино вырвалось:

— Танки с орудиями и всем остальным!

Сначала стрелою пронесся мимо магазина быстроходный джип. Затем проехали неуклюжие механизмы и грузовики с людьми в комбинезонах и касках в больших рабочих рукавицах. Механизмы не имели ничего общего с машинами гидроэлектростанции, которые иногда привозят в город инженеров и техников, занятых уточнением расчетов по установке мачт.

Могучий грейдер, соскребающий землю, выравнивающий полотно дороги, за ним — асфальтоукладчик, каток, грузовик. Оснар в волнении быстро встает со стула, на котором было развалился, делает знак Астерио, выбегает к дому префектуры. Его влечет тайная надежда, нет ли в джипе поразившей его воображение Элизабет Валадарес, Бети — для коллег, Бебэ — для близких друзей? Накануне Нового года Оснар потерял ее за какие-то секунды. Поспешив на площадь, он едва успел заметить ее издали в вертолете, откуда она, одетая Санта-Клаусом, махала рукой собравшейся толпе. Он тоже помахал ей, и рыжая мисс, по-видимому узнав его, послала ему воздушный поцелуй.

Хотя вся история с «Бразтанио» была ему крайне неприятна, поскольку грозила нарушить ритм жизни города, столь дорогой тому, кто не хотел уезжать отсюда, терять покой, Оснар не связывает Бети с угрозой загрязнения окружающей среды. Желанная, она представляется ему скорее всего жертвой системы.

С папкой в руке какой-то тип в парусиновом костюме цвета хаки выскакивает из джипа и направляется к префектуре, оставив двух своих коллег в машине. Разом застопорились диковинные механизмы. Бети нет и следа, нет и радушного плута, болтуна и полиглота, распоряжениям которого она подчинялась. Разочарованный Оснар уходит в бар, где в обществе сеу Мануэла отпускает язвительные реплики в адрес «Бразтанио»:

— Раньше, по крайней мере, присылали красоток, чтобы мы хоть любовались ими. Теперь — одни мужчины.

— А эти колоды? — Сеу Мануэл указывает на механизмы.— Для чего они?

— Чтобы испоганить нам жизнь, вот увидишь.

В префектуре человек из джипа вручает Асканио письмо от Мирко Стефано, в котором Милейший Доктор в исключительно вежливой форме, после приветов «симпатичному другу Асканио Триндаде», представляет ему доктора Ремо Куарантини, главного инженера Баиянской инженерно-проектной фирмы, который во главе группы техников прибывает в Агресте,— он должен сделать все необходимое по выпрямлению и расширению полотна дороги, а также ее асфальтированию. Кстати, с ним направляются машины и рабочие — покрыть асфальтом улицы при въезде в город. Тем самым «Бразтанио» выполняет обещание, данное муниципию через него, Мирко. Письмо завершается приглашением уважаемого друга прибыть как можно скорее в столицу штата Баия для важных переговоров с членами правления Компании — надо решить ряд проблем, касающихся развития в этой зоне производства диоксида титана. Есть хорошие новости, и Мирко хотел бы сообщить лично. А перед сердечными объятиями и подписью сообщается, что расходы по поездке оплачивает «Бразтанио», не желающая отягощать бюджет префектуры. «До скорого свидания, дорогой друг, я рассчитываю на ваше присутствие. Воспользуйтесь случаем и приезжайте вместе с доктором Ремо, который, помимо всего прочего, является замечательным рассказчиком анекдотов». Взглянув на лысого с большой белокурой растрепанной бородой, скупого на слова «замечательного рассказчика анекдотов», Асканио горячо приветствовал его от имени властей и народа муниципия, предложил ему свои услуги, тут же предупредив о своем намерении сопровождать главного инженера при возвращении, рассчитывая насладиться юмористическим репертуаром. Пока в префектуре происходят церемонные переговоры, на площади праздношатающиеся рассматривают, разинув рот, дорожные машины. Пето, которого автомобили и машины интересуют почти столько же, сколько и тайны секса, описывает назначение каждой, сыплет названиями. Грейдер, каток и асфальтоукладчик прокладывают дороги и покрывают их черным асфальтом, который знаком только тем, кто путешествовал хотя бы до Эспланады.

Инженер задает вопросы о шоссе. Просит прощения за откровенность: эту дорогу для мулов трудно назвать шоссе. Извилистая, узкая тропа, изобилующая крутыми спусками, колдобинами, выбоинами, ямами, в общем — ужас! Ее надо полностью переделать; придется, возможно, изменить проект, значительно добавить рабочей силы. Асканио делится кое-какими сведениями, но, по его словам, только Жаиро, владелец «маринети», хорошо знает дорогу и сможет дать точную информацию, когда приедет из Эспланады.

Ироническая улыбка появляется на хмуром лице доктора Куарантини: при выезде из Эспланады они обогнали чудной автобусик, настолько устаревший, что его можно обойти даже на малой скорости.

Шофер, который его водит, действительно должен знать эту горе-дорогу до мельчайших подробностей. Асканио рекомендует главному инженеру быть осторожным при разговоре с Жаиро: хозяин «маринети» пребывает в плохом настроении с тех пор, как увидел в газетной витрине префектуры рисунок роскошных автобусов, предусмотренных для обслуживания пассажиров на новом шоссе, проектируемом инженером.

Напомнив об этом, он просит инженера уделить минутку драгоценного времени, чтобы взглянуть на витрину, прежде чем обследовать участок дороги, подлежащий асфальтированию,— по этому участку тот, впрочем, только что проехал, следуя в город. Бородач, увидя рисунок, отвечает еще одной неопределенной улыбкой. Асканио теряется в догадках: эта улыбка вызвана спорным художественным дарованием Линдолфо либо восторженными выражениями по адресу «Бразтанио»? Гость не комментирует ни рисунки, ни изречения, написанные цветными карандашами.

— Пойдемте. Чем раньше начнем, тем лучше.

Он торопился. За исключением доктора Мирко Стефано, медлительного и спокойного, остальные лица, связанные с прогрессом, не допускают потерь времени — постоянно в бегах, нетерпеливы. Встреча с лысым главным инженером убедила Асканио, что и ему придется изменить ритм своей жизни. Проживая вдали от столицы штата, он привык за последние годы к замедленному течению времени в Агресте.

Джип, грузовики и дорожные машины спускаются по улице в сопровождении возрастающей толпы зевак. У выезда из города машины останавливаются, высаживая техников, водителей и рабочих. Асканио, оба инженера и инспектор фирмы проходят по участку дороги, подлежащей ремонту,— будущей улице Антониеты Эстевес Кантарелли.

— Всего-навсего этот кусочек? — Доктор Куарантини обращается к специалистам:— Не стоит разбивать палатки, с такой ерундой справимся сегодня же. Я думал, что тут больше работы.— Он повернулся к Асканио: — Очень хорошо, мой дорогой, принимаемся за дело. Не можете ли вы, дружище, организовать для моих людей кое-какую еду и несколько ящиков пива? И завтрак для нас. Есть тут хоть приличный ресторан? Впрочем...— с унылым, безнадежным жестом он добавил: — любой подойдет.

— Будьте спокойны, я позабочусь об этом. В котором часу вы думаете возвращаться?

— Вечером. Постараемся закончить работу до захода солнца. Хватит времени, Санте?

Санте, крепко сколоченный мулат, пожевывая окурок сигары, откликается:

— Более чем достаточно.— Он приказывает людям: — Принимайтесь за дело.

Торжествующий, с бьющимся сердцем, секретарь префектуры Агресте уходит — надо принять все необходимые меры. В пансионе доны Аморзиньо заказывает еду для бригады. Сам он с тремя гостями будет завтракать в зале пансиона, рабочие же поедят на месте работы — «приготовьте им повкуснее фасоль и жареного барашка, оплата за счет префектуры». Затем он направляется в дом Перпетуи — поделиться с Леонорой новостями, сообщить о своей неожиданной поездке в столицу штата Отдает ли она себе отчет в важности этой поездки, которая может преобразовать бесперспективное ухаживание, абсурдную мечту в восхитительную реальность помолвки и женитьбы? Он вернется, а с собой привезет адресованное префектуре ходатайство «Бразтанио» о разрешении обосноваться в Агресте. Только ли это? Горизонт открывается широкий.

В полдень оба инженера и инспектор — производитель работ поглощают лучший завтрак в своей жизни: вареные раки, рыбная мокека, курица под острым коричневым соусом, жареный козленок, вяленое мясо с кашей из маниоки. Десерт из лучших фруктов и ягод, прохладительные напитки. Хмурый главный инженер столько съел всего и с таким аппетитом, что обычно бледные щеки его порозовели. Оставив ремонт дороги на попечение коллеги, он растянулся в гамаке — подремать до вечера, до завершения работ.

Когда «маринети» Жаиро прогудел на повороте, рабочие, благодушно настроенные после барашка, фасоли и пива, заканчивали укладку первого тонкого слоя асфальта на выровненную поверхность улицы. Они убрали желтые козелки, чтобы дать проехать запыхавшейся машине, приветствуя ее свистом и насмешками: железный лом, развалюха на колесах, допотопный рыдван!

Около шести часов появляется Асканио под руку с Леонорой. Асфальтирование близится к концу. Блестит битум, влажный и черный. Разбрасывается последний слой асфальта. Улица Антониеты Эстевес Кантарелли готова к открытию.

Еще не поборов дремоту, главный инженер Ремо Куарантини дает распоряжение об отъезде. Какой завтрак! Асканио прощается с Леонорой, поцеловав ее в щечку на глазах у всех. Инженер в джипе торопит, дает гудок. Впредь Асканио придется спешить, спешить!

Жизнь пришла в движение, меняется ее уклад. Конечно, ответственность за превращение Астерио — скромного торговца в нувориша падает прежде всего на богатую свояченицу из Сан-Пауло, и если здесь сказалось влияние «Бразтанио», то оно было косвенным, даже случайным. Как бы то ни было, но и для Астерио ритм жизни ускорился. Теперь ему приходится делить часы между магазином, фермой и перестройкой дома Тиеты.

По утрам он отправляется в Виста-Алегре присмотреть за стадом и плантацией. Из магазина идет в дом, купленный у доны Зулмиры, там тоже нужен его глаз. Ранее старый Эстевес торчал здесь целыми днями, умасливая десятника, подгоняя рабочих. Астерио не может допустить, чтобы без старика работы затянулись, когда они, собственно, подходят уже к концу. Отделаны ванные комнаты, лучшие в Агресте, с душами и ваннами, роскошными унитазами и биде; красят остальные помещения — еще немного, и в доме можно будет жить. Мечта Астерио — переехать как можно скорее, даже если ремонт не будет полностью завершен. Это принесет ему двойную выгоду: он сразу перестанет тратить деньги на оплату квартиры, да и ремонт пойдет быстрее. Он уже распорядился, чтобы Элиза укладывала пожитки.

Смерть Зе Эстевеса открыла ему путь к благосостоянию. Маниока и козы. Отличный дом, хоть и не свой, но, во всяком случае, обитать в нем можно бесплатно, один из лучших жилых домов в городе. Достойное обрамление для красоты и элегантности Элизы.

Заботит его настроение Элизы. Она ходит с опущенной головой, тайком плачет. Будто и не получила стольких благодеяний, к тому же таких, которые свидетельствуют о горячей родственной любви, столь редко встречающейся в Агресте. Даже никогда не встречающейся. Тиета щедра и не то чтобы великодушна, просто расточительна. Тем не менее Элиза держится так, будто ее обидели, плохо с ней обошлись. Астерио не припомнит на лице ее улыбки с того вечера, на следующий день после похорон старика, когда Тиета объявила о покупке фермы Виста-Алегре на их имя. Астерио не раз спрашивал, чем вызвана ее грусть, а Элиза уверяла, что она вовсе не грустит, пусть о ней не беспокоятся.

Когда он поговорил с Тиетой по поводу желания Элизы переехать в Сан-Пауло, свояченица посоветовала укоротить узду жене, после-

довать примеру старого Зе Эстевеса, напомнив даже, что тот иногда и посох в ход пускал.

Такая добрая, с золотым сердцем, Тиета все же кое-когда характером своим смахивала на старика. Ему поднять голос против Элизы? Держать на короткой узде? Но зачем, если она такая хорошая и преданная жена, рачительная хозяйка, не говоря уж о красоте и элегантности?

Вспоминая добродетели жены, Астерио приходит в волнение. Что дурного в том, что дочь оплакивает смерть отца? Со временем это пройдет. Рано или поздно она станет снова той же Элизой, примет свой отрешенный, несколько снобистский вид, что так ей идет. Самая красивая и элегантная женщина города; когда-то бедная, ныне же — землевладелица; у кого есть земля, тот хозяин частицы мира,— говаривал покойный старик.

— Последняя полученная нами информация несколько пессимистична.

Голос Анжело Барди не выдает ни беспокойства, ни опасений. Привыкший распоряжаться, но вместе с тем любезный и сердечный, он сохраняет легкий итало-сан-пауловский акцент[1] сына иммигрантов, родившегося в Бразилии. С седыми висками, хорошо сложенный, ни полный, ни худой, лет пятидесяти, всегда заботящийся о собственном достоинстве, Анжело Барди внушает доверие. Внимательно слушающий его Розалво Лусена, доктор управленческих наук, которого газеты оценивают как смелого и удачливого предпринимателя, сейчас кажется студентом, Анжело Барди выглядит в точности тем, кем он и является,— магнатом.

Они сидят за большим столом в звуконепроницаемом, с искусственным климатом зале правления акционерного общества «Бразильская индустрия титана». Кроме них здесь присутствует доктор Мирко Стефано, а на председательском месте восседает пожилой господин с коротко подстриженными волосами и потухшим взором.

Доктор Мирко только открыл было рот, но не успевает и слова промолвить, как, попросив разрешения, в зал входит Бети в сопровождении официанта, который несет поднос с кофе, сахаром, тремя видами сладостей, чашками и ложечками. Она сама подает всем, с изяществом и непринужденностью, с улыбкой, говорящей о том, что совершенно счастлива угощать этих господ. Тот, что с коротко подстриженными волосами, устремляет свой потухший взор на высокий бюст секретарши, на ее стройные ноги.

Предшествуемая официантом, Бети удаляется в полном безмолвии, чувствуя прикованный к ее бедрам потухший взор, и аккуратно закрывает дверь. Тогда Милейший Доктор переводит председателю фразу на немецкий язык. Случается, что и ответственному по связи с общественностью приходится выполнять роль переводчика. А на заседаниях особой важности нельзя допустить присутствие постороннего лица. Только они четверо.

— Мы не должны слишком обольщаться,— продолжает Барди.— Нет сомнения, нам предстоит преодолеть сильное сопротивление, люди колеблются. Думаю, однако, что если мы проявим настойчивость, то получим желаемое идеальное место для наших заводов. Возможно...

Тот, что с потухшим взором, жестом обрывает фразу, смотрит на Мирко Стефано. Милейший Доктор переводит слово в слово. Так ему было велено — слово в слово. Другой жест приказывает магнату продолжать. Ответственный по связям с общественностью, удачливый предприниматель, магнат, хозяин — такова субординация.

---

[1] В штате Сан-Пауло проживает очень много эмигрантов из Италии.

— Возможно, все эти задержки представляют собой нечто иное, скажем, попытку вытянуть у нас побольше денег, хотя, конечно, известное сопротивление есть. Особенно в Баие.

Переждав, пока слова его переведут, он продолжает:

— Нужно сделать еще один рывок — подкинуть побольше денег. Я хочу верить, что в конечном счете мы достигнем цели.

Слушая перевод, человек с потухшим взором всматривается поочередно в каждого из трех сидящих перед ним директоров; в глазах появляется стальной блеск. Он произносит несколько слов, Милейший Доктор переводит:

— Необходимо решить, где строить.

Блеск гаснет в тусклых глазах. Анжело Барди начинает снова говорить:

— Согласен, я тоже так считаю. Вместе с тем надо быть готовыми к любым непредвиденным осложнениям. Мы уже пришли к заключению, что зона какао действительно не представляет интереса. Что касается района устья реки Реал, то, несмотря на неудобства, отмеченные в отчетах, полное отсутствие подходящей инфраструктуры...

Господин с коротко подстриженными волосами сделал новый жест; Барди и Мирко подчиняются — один смолкает, другой снова берет слово, высказываясь точно, со знанием дела. Розалво Лусена слушает с таким вниманием, что создается впечатление, будто он даже понимает немецкий. Магнат из Сан-Пауло заявляет:

— Район реки Реал, несмотря на отсутствие инфраструктуры, по-моему, не может быть все же сброшен со счетов. Нам уже дали зеленый свет; там мы можем разместить одно из наших предприятий — больших препятствий не будет.

— На мой взгляд, нам следует вложить дополнительную сумму ради этой перспективы. По двум причинам. Во-первых, нам действительно придется в конечном счете обосноваться в устье реки Реал — если мы не сумеем выиграть другую битву; во-вторых, речь идет о полезной для нас диверсионной деятельности. В то время, как говорят об Агресте, а об Агресте говорят немногие, забывают, оставляют в покое...

— Это означает, что я могу дать ход моему предложению?

Анжело Барди отвечает за себя и за Розалво Лусену, который молча улыбается — одобрительно, компетентно.

— Мы, со своей стороны, согласны. Но окончательное решение за Ним. Кстати, тот парень уже в городе?

— Со вчерашнего дня Он живет в том же отеле, что и мы.— Слышится заглавная буква, когда Мирко Стефано произносит почтительно «Он».— Хороший отель тоже может помочь,— голос снова звучит нормально.

Выслушав слово в слово вопрос Милейшего Доктора и мнение двух бразильских директоров, Он — господин с коротко подстриженными волосами — отрубил:

— Ja! [1]

Только на третий день, к концу пребывания в столице штата, после бесед с Милейшим Доктором — в их отношениях под влиянием коньяка уже появилось некое человеческое тепло — Асканио Тринда вдруг стало не по себе, у него возникло ощущение зависимости, некоторого ущемления свободы. Ощущение, в сущности, неопределенное и не имевшее явной причины, возможно, вызванное совершенно чуждой для него обстановкой. Ведь он неожиданно очутился в роскошном отеле, жил там с людьми из незнакомого, приводящего в

[1] Да! *(Нем.)*

замешательство, манящего мира, с которым никогда не имел контактов.

В первый день можно было подумать, что доктор Мирко Стефано вызвал его срочно лишь угостить вином и познакомить с девушками у бассейна. Асканио вылез из джипа поздно вечером, устав, пожалуй, больше от анекдотов инженера Куарантини, чем от тряской дороги. Выполняя, несомненно, полученные ранее распоряжения, шофер привез его в большой отель, где ему вручили записку от Милейшего Доктора: «Занимайте номер, зарезервированный на ваше имя, завтра увидимся».

После полудня они действительно встретились, когда Асканио уже решился пойти позавтракать — до этого все утро он сначала просидел было в номере в ожидании телефонного звонка, затем бродил по холлу вокруг отеля, любуясь магазинными витринами, выставкой произведений искусства и древностей, наблюдая за туристами с Бермудских островов в цветастых рубашках, даже отваживаясь бросать взгляды на бар и бассейн, возле которого красивые женщины в соблазнительных бикини принимали солнечные ванны, выставив почти все напоказ.

Он увидел Милейшего Доктора, выходящего из внушительного черного лимузина, за которым следовал другой, такой же. К машинам устремились бои и швейцары, оспаривая багаж и чаевые. Из второго автомобиля вышли трое с портфелями и чемоданами и, как по волшебству, сразу исчезли в лифте. Доктор Мирко остался в холле, направился было к регистратуре, когда заметил Асканио. С распростертыми объятиями он бросился ему навстречу, рассыпая извинения за то, что не сумел встретиться с ним раньше.

— Ужасный день. Аэропорт Сан-Паулу был закрыт, самолет смог взлететь только после девяти, то есть тогда, когда по расписанию должен приземлиться здесь. Идемте со мной.

По пути Милейший Доктор пожимал протянутые ему руки, делая приветственные знаки, бросая словечко одному, другому. Они уже подходили к бассейну, как к ним пристроились три незнакомых Асканио личности. Один из них, кривой, прошептал заговорщически:

— Кто приехал?

— Доктор Барди.

— А другие? Я видел их около регистратуры.

Ложь — приехавшие не останавливались у регистратуры, они вошли прямо в лифт, Асканио следил за ними взглядом с того момента, когда они покинули автомобиль. Милейший Доктор лишь улыбнулся в ответ.

Девушки — по крайней мере многие плавающие в бассейне или загорающие на солнце — оказались собственностью Милейшего Доктора (или, вернее, «Бразтанио», ведь мало кто может обладать такой разнообразной коллекцией звезд, разве только большое предприятие). Без промедления они ринулись к столику, который тот занял. Трое подошедших мужчин взирали с любопытством на Асканио, ожидая, что их представят друг другу, но поскольку доктор Мирко забыл или прикинулся забывчивым, они тотчас же переключились на более приятное — виски и девушек. Все без стеснения пили, без смущения флиртовали — по мнению Асканио, вели себя невоспитанно. А трое были журналисты, как узнал он потом от Милейшего Доктора. Но девушкам, похоже, нравились грубоватые словечки, недвусмысленные предложения.

Встреча длилась недолго, Доктор поднялся с весьма занятым видом, оставив своим ненасытным приятелям почти полную бутылку виски и девушек.

— Завтра или послезавтра у меня будут для вас новости. До этого — ни слова. Никто не прибыл, мир царит в лондонском Сити и на Уолл-стрите.

— А если «Тарде» преподнесет сенсацию? — подал реплику кривой.

— Тем лучше, тогда в ваших руках будет и заявление и опровержение.

Он взял Асканио под руку, подводя его к лифтам. Подчиняясь жесту Доктора, одна из девушек отправилась вместе с ними.

— Сегодня я буду заседать всю вторую половину дня. Вам я могу сказать: это будет решающее заседание правления. Только ближе к вечеру, перед обедом, смогу повидаться с вами и поговорить. Но я оставляю вас в хороших руках. Патрисия — в вашем распоряжении, она будет служить вам секретарем и шофером. Гуляйте, развлекайтесь. Перед обедом мы побеседуем.— Около дверцы лифта он обратился к девушке: — Позаботься о нем, Пат, будь ласкова с ним. В один прекрасный день ты будешь гордиться тем, что сопровождала его, была его чичероне.

Патрисия улыбнулась и завладела Асканио:

— Позавтракаем здесь, в отеле, или хотите пойти в ресторан? Я переоденусь, через минуту вернусь.

Патрисия тоже была блондинка, но на Леонору не походила. Стихи о спелой пшенице не шли к ее волосам, Барбоза не сравнил бы ее с сильфидой. Красивая — да, но не той единственной в своем роде, несравненной красотой, изяществом, свидетельствующими о благородном происхождении Леоноры: дочь миллионера, комендадора, нежившаяся в золотой колыбели, воспитанная в лучших колледжах, цветок сан-пауловского высшего общества. Элегантность и изысканность, проявляющиеся не только в хорошем вкусе, но в каждом жесте, в деликатности, бесподобной грациозности. В обращающей же на себя внимание пикантности Патрисии есть что-то вульгарное, и в ее неоспоримой любезности проглядывает профессиональное умение оказывать услуги.

После завтрака в роскошном ресторане отеля Патрисия покинула его, чтобы он отдохнул, и у нее самой были дела. Но она вернется к трем, они отправятся погулять или за покупками — что он предпочтет.

На машине, управляемой Патрисией, Асканио проехал по городу, в котором не был уже более семи лет. Сейчас Салвадор украсили новые авеню, протянувшиеся, в частности, вдоль морского берега; возросло городское движение, население удвоилось. Столица преобразилась за эти годы. Где тот старый сонный город университетских времен, живший славой прошлого, город исторической традиции, колыбель бразильской нации [1], центр экономически отсталого сельскохозяйственного штата? Чтобы подчеркнуть застой, упадок Салвадора, Максимо Лима кричал на факультете:

— В городе нет даже пивоваренного завода, а скоро не будет и древних руин, чтобы показывать туристам.

Асканио надо было бы повидать Максимо до возвращения в Агресте, поговорить с ним о преобразованиях, которые охватят теперь далекий муниципий Сант'Ана-до-Агресте. Для того он и приехал, чтобы узнать великое решение.

По собственному желанию, не то по просьбе гостя, Патрисия проехала по новым авенидам, выехала на шоссе и отвезла Асканио в Индустриальный центр Арату́, о котором столько говорят по всей стране, ставя в пример его инфраструктуру, разработанную на основе исследований специалистов. Огромное количество новостроек, некоторые недавно сооруженные предприятия начали выдавать продукцию, тогда как многие еще находятся в процессе строительства фабричных блоков.

Накануне Асканио проехал здесь на джипе, но в ночной темноте и тишине высокие трубы и строения представлялись лишь неясными

[1] В колониальные времена (до 1763 года) Салвадор был первой столицей Бразилии.

контурами. Теперь он видел дымящие трубы, здания, растущие ускоренными темпами, слышал шум битвы. На протяжении многих километров огромные щиты с названиями предприятий рекламировали изделия, которые вырабатываются или будут вырабатываться в Индустриальном центре Арату́. Циклопические машины и сотни людей переворачивали тонны земли, рыли котлованы под фундаменты, возводили стены из кирпича и железобетона, сваривали металлические каркасы.

Машина остановилась на обочине дороги. Асканио, в смущении ощутив, что Патрисия прижимается к нему бедром, отвел глаза от фабричных труб. Девушка улыбнулась:

— Там дальше, по дороге в Касамари, будет нефтехимический завод. Колоссально, не правда ли? — Это звучало скорее утверждением, чем вопросом.

Асканио повернулся к ней, глаза его блестели от восторга, Патрисия потянулась к нему, приоткрыв губки. Целуя ее, он как бы целовал новую Баию.

Они возвращались по морскому побережью. Вдоль красивейших пляжей на пустынных прежде землях выросли сплошной грядой отели, рестораны, бары, ночные клубы, роскошные виллы новейшей архитектуры — великолепная панорама! Остановились у одного бара. Веселая, томимая жаждой Патрисия заказала пива — баиянского производства с датской этикеткой,— лучшее в мире, как пояснила всеведущая чичероне, затем купила американские сигареты. Когда Асканио собирался вытащить бумажник, чтобы расплатиться, она уже протянула в кассу купюру, не обращая внимания на его протесты,— он почувствовал, что его мужское самолюбие уязвлено.

— Не валяй дурака, милый, это вышло из моды; платит ведь «Бразтанио».

Они дошли до пляжа, уселись на песок, опять обменялись поцелуями.

— Ты душка, мой милый.

Перед обедом состоялся запланированный разговор с доктором Мирко Стефано — правда, по телефону, короткий, но исключительно любезный. Милейший Доктор сказал, что он все еще чрезвычайно занят — pardon, mon cher ami [1] — и сможет встретиться с Асканио только на следующий день, пока же Пат позаботится о нем. Он поинтересовался, как прошла вторая половина дня; Асканио рассказал ему о посещении Индустриального центра.

— Грандиозно! Я знал, что это значительный комплекс, но действительность превзошла все мои ожидания. Впечатляет!

— Не правда ли? А ведь совсем недавно здесь была лишь заброшенная лесная чаща. Хуже, чем побережье Агресте. Вы представляете себе, во что очень скоро превратится кокосовая роща Манге-Сэко. Ладно, развлекайтесь — завтра у нас много дел. Будьте у регистратуры ровно в девять, я хочу вас представить друзьям.

Патрисия рассталась с Асканио около подъезда отеля, она поехала домой переодеться, обедать они будут не здесь. Вернулась в таком шикарном туалете, что он почувствовал себя немного стесненным в своем поношенном, плохо сшитом синем костюме работы сеу Мигела Розиньи, который кроит и шьет пиджаки и брюки полковнику Артуру де Фигейредо уже более сорока лет. Перед выходом из отеля Патрисия предупредила, чтобы он не вздумал платить,— все расходы за счет «Бразтанио». Они поели в ресторане на берегу, потом она предложила отправиться в ночной клуб, где они танцевали до полуночи, прижавшись щекой друг к другу. Счета привели его в ужас. Если бы ему пришлось платить, то денег бы не хватило, он сгорел бы со стыда.

---

[1] Извините, мой дорогой друг *(франц.)*.

Поставив машину у тротуара возле отеля, Патрисия поднялась в лифте вместе с Асканио, в номере попросила его расстегнуть молнию на спине длинного зеленого платья с отделкой из белых кружев. После душа Пат ожидала его в постели. «За счет «Бразтанио»,— подумал он.

Обращение, составленное доной Кармозиной с участием Амин-таса, критические замечания которого оказались полезными, собирает некоторое число подписей, хотя и намного меньше, чем предвидели и желали инициаторы начинания. Команданте Дарио специально приехал из Манге-Сэко, чтобы оказать помощь,— даже вышел на улицу с подписным листом в руке, поставив на карту свой престиж и благорасположение граждан.

И команданте, и Кармозине приходилось слышать из уст колеблющихся одно и то же:

— А что думает обо всем этом дона Антониета?.. Она ведь человек опытный, на чью сторону станет — там и правда.

Им мало заверений доны Кармозины насчет позиции Тиеты, мало и утверждений команданте Дарио, будто ему известен образ мыслей сан-пауловской вдовы, поскольку он, дескать, только что прибыл из Манге-Сэко, где она гостит у него. Они хотят узнать все от нее самой.

В почтово-телеграфном агентстве два главных организатора кампании подводят итоги проделанной работы, подсчитывают собранные подписи, и число их — увы! — все недостаточно, чтобы подтвердить правоту слов обращения: «Весь народ Агресте отвергает притязания пагубной индустрии диоксида титана». Дух оппозиции, сопротивления, похоже, начинает ослабевать.

Идея написать обращение принадлежала доне Кармозине, стороннице активных действий. Перепалка устная или через газетные витрины не дает никаких результатов. Амintас, несмотря на присущий ему оптимизм, согласился участвовать в составлении обращения. Команданте воодушевился, произвел подсчеты, сделал некоторые выводы. Если бы удалось собрать по меньшей мере тысячу подписей среди девяти тысяч жителей муниципия, то, учитывая детей и огромное количество неграмотных, можно было бы сказать, что почти вся масса лиц, способных поразмыслить над проблемой, заняла отрицательную позицию в отношении «Бразтанио». Но после утомительной работы было собрано лишь немногим более сотни подписей. Весомых имен среди них совсем немного. Коммерсанты в предвидении выгодной торговли после сооружения завода воздержались от высказываний. Падре Мариано объявил себя нейтральным: статус священника не позволяет ему, дескать, стать на ту или иную сторону в столь щекотливом деле. Но он сказал:

— Я не вижу тут подписи доны Антониеты Эстевес Кантарелли. Ее подпись должна была бы открыть лист, если команданте хочет, чтобы народ подписался.

Дона Кармозина соглашается с тем, что успех кампании зависит от Тиеты:

— В воскресенье я отправлюсь в Манге-Сэко и попробую убедить ее приехать. Между нами говоря, надеюсь на успех. К тому же я размышляла об истории с владельцами кокосовой рощи и пришла к заключению, что она нам на руку: пока они спорят между собой, заводу негде обосноваться.

— Не стройте иллюзий, моя добрая Кармозина. Эти владельцы объединяются и уполномочивают Модесто Пиреса, самого знающего из всех, кто вовлечен в это дело, вести переговоры о продаже кокосовой рощи «Бразтанио». И мы ничего не сможем поделать...

— В таком случае и Тиета будет бессильна.

Поджидавший у регистратуры с половины десятого, Асканио спешит навстречу деятелям, выходящим из лифта. Один из сеньоров торопливо проходит мимо него и ныряет в первый черный лимузин. Асканио так и не удалось узнать, кто он такой,— уж не директор ли «Бразтанио»? — он успел заметить лишь коротко подстриженные волосы, как было модно много лет назад. Доктор Мирко Стефано представил ему тут же, пока они стояли, двух других господ. Церемония длилась лишь мгновение — оказалось, что все срочно уезжают в аэропорт.

— Доктор Анжело Барди, наш директор-президент.

Магнат — он явно был магнатом — протягивает руку, на лице у него расцветает улыбка.

— Это и есть наш человек? Очень хорошо.— Одобрительная улыбка расплывается шире, он рекомендует Милейшему Доктору: — Позаботься о нем, у него не должно быть ни в чем недостатка. Как можно скорее уладь все нерешенные проблемы, в частности историю с выборами. Я говорил вчера по телефону с Сан-Пауло. В эти часы председатель избирательного трибунала уже должен получить телеграмму.— Он вновь пожимает руку Асканио.— Рад познакомиться. Будьте здоровы.

Другой, еще молодой — доктор Розалво Лусена, тоже директор «голова», по отзыву доктора Мирко,— условливается повидаться с ним на более продолжительное время по возвращении из аэропорта, куда они все направляются, в том числе и Милейший Доктор. Асканио провожает их до подъезда, видит, как отъезжают оба многосильных черных автомобиля.

Он снова принимается расхаживать по роскошному холлу, не зная, куда деть себя. Туристы выходят, чтобы посетить церкви, сделать покупки на Образцовом рынке — «Меркадо Модело»; это группы болтливых, эйфорически настроенных и вместе с тем опасливых старух, явно страдающих от артрита, а также неувядающих женщин бальзаковского возраста и ослепительных девушек. Асканио опускается в огромное кожаное кресло и принимается за чтение рекламного проспекта отеля, напечатанного на пяти языках. Затем протягивает руку к газете, но тут появляется Патрисия, покинувшая его около восьми утра, после кофе и душа; она висит на руке одного из трех типов, которые накануне кутили с Милейшим Доктором возле бассейна. На этот раз он услышал:

— Доктор Асканио Триндаде, друг доктора Мирко. Исмаэл Жулиан, грозный газетчик, создатель крупных сенсаций, здесь ему нет равных.— Эти слова она произносит весело, а заключает серьезно:— Мой жених.

Асканио пожимает руку молодому человеку, пугается. Жених? Наверное, девушка разыгрывает его, но Пат весьма романтично прижалась головой к плечу небритого журналиста, треплет ему шевелюру и, как бы догадываясь о сомнениях Асканио, сообщает:

— Мы поженимся примерно через месяц.

— Через два, дорогая. После карнавала,— уточняет Исмаэл.— Медовый месяц и карнавал в одно и то же время — это не годится.

— На карнавале каждый участвует в своем ансамбле,— соглашается Пат.

Асканио не понимает шутки, да и Пат не дает объяснений, зато приглашает:

— Отправляйтесь надеть плавки и приходите размяться в бассейне вместе с нами. Доктор Мирко не появится раньше полудня, и то если приедет сюда прямо из аэропорта. Никогда нельзя знать заранее его планов.

— Je suis l'imprévisible [1].— Журналист подражает напыщенному голосу ответственного по связи с общественностью.

[1] Я непредсказуем *(франц.)*.

— Дело в том, что я не захватил плавки.— Асканио пытается уклониться от приглашения.

— Ничего, здесь можно взять напрокат, идемте, я вам покажу.— Она подмигивает жениху: — Я тебя найду на трамплине, дорогой.

— Это твой жених на самом деле? — Асканио все еще считает себя жертвой шутки.

— А почему это должно быть ложью? У меня уже есть подвенечное платье, подарок Милейшего Доктора. Он привез его из Рио.

— Фата и гирлянда! — невольно выпалил он с испугом.

Пат смеется, она в хорошем настроении:

— Фата, гирлянда, флёрдоранж, звуки свадебного марша — обожаю! Ты отсталый человек, мой милый.

В бассейне Асканио — он хорошо плавает, прыгает с трамплина, ныряет — под конец присоединяется к обществу Патрисии и Исмаэла, невесты и жениха. Бассейн помогает расслабиться, девушка права, он нуждается в этом — напряжение и неуверенность не покидают его с тех пор, как он вылез из джипа у дверей отеля. Понемногу он начал чувствовать себя свободнее, непринужденнее. Обстановка здесь была такая, будто все уже давно знакомы. Он принимает участие в игре на воде с огромным пластмассовым мячом, беседует с молодой четой кариок [1], очарованных Баией, обменивается впечатлениями с незнакомыми; случается, что он не понимает некоторых выражений, иногда целую фразу, но никто этого не замечает, с ним обращаются на равных, для них он — часть этого курортного мира, а значит богатый и симпатичный молодой человек.

Исмаэл выходит из воды, растягивается в шезлонге. Патрисия плавает вокруг Асканио, заигрывает с ним, делает вид, что старается утопить, хватает за руки и за ноги, взбирается ему на плечи, тонет вместе с ним, ныряет под него. Приятное утро!

— Доктор Мирко прибыл. С доктором Лусеной,— заметив подошедших, сообщает Пат.

Исмаэл Жулиан поднимается, идет поздороваться, наливает виски — двойную порцию, возвращается к бассейну с бокалом в руке. Патрисия говорит с ним как нежная невеста. Асканио уходит переодеться, вскоре появляется в пиджаке, с галстуком. По молчаливому жесту Милейшего Доктора занимает место за столиком.

Розалво Лусена — университетские и служебные титулы которого Пат шепнула ему еще в воде, поскольку в ее обязанности входило информировать его,— очаровывает Асканио Триндаде. Перед технократом, физиономия которого дышит уверенностью и авторитетом, почти таким же молодым человеком, как он сам, но вместе с тем энергичным и смелым предпринимателем, Асканио ощущает себя пигмеем. Расслабленность, наступившая после купания в бассейне, снова сменяется напряженностью и нерешительностью. Да, вот этот победоносный лидер достоин руки Леоноры Кантарелли, обладает заслугами, титулами и постами. Титулами по-латыни и по-английски. В свои тридцать лет он — директор акционерного общества «Бразильская индустрия диоксида титана», умница! Несмотря на разделяющую разницу в положении, Розалво Лусена обращается к Асканио радушно, с уважением, держится любезно и заинтересованно:

— Мирко мне много говорил о вас, рассказывал о вашей борьбе за прогресс муниципия Агресте. Мы сможем эффективно содействовать превращению ваших идей в реальность. Я занимаюсь техническими и экономическими проблемами, касающимися сооружения двух наших объединенных предприятий, в ближайшее время приеду познакомиться с вашим городом и побережьем, о котором столько говорят и вблизи которого, судя по всему, поднимется наш промышленный комплекс. Сегодня туда прибывает наша бригада, которой даны точ-

[1] Кариока — житель, уроженец Рио-де-Жанейро.

ные задания. Мы переходим от фазы исследований к фазе разработки проекта.

— Прибывает? Сегодня?

— Они выехали утром на двух больших быстроходных катерах. Если еще не прибыли, то скоро прибудут. Они везут все необходимое, чтобы разбить лагерь на побережье на несколько дней, а там будет видно. Им предстоит разрешить проблемы, касающиеся размещения не только заводов, но и жилья для технического и административного персонала, а также возведения рабочего поселка. Огромные капиталовложения, мой дорогой. Необходимо выбрать идеальное место. Похоже, это будет примерно в центре кокосовой рощи, где есть нечто вроде озера и небольшой овраг.— Он самодовольно улыбнулся: — Я никогда не был в Агресте и Манге-Сэко, но знаю все о них, как если бы родился там, знаю и о контрабанде. Это один из самых старых перевалочных пунктов контрабанды на северо-востоке нашей страны. Мы хотим работать в тесном сотрудничестве с вами и остальными властями муниципия.

— Что касается меня, вы будете иметь полную поддержку. Если «Бразтанио» обоснуется в Манге-Сэко, наступит возрождение Агресте.

Фраза заслужила аплодисменты Милейшего Доктора.

— Wonderful! Fine! [1] Une trouvaille! [2] Походит даже на мою фразу. Не забывайте эти слова, мой дорогой. Вскоре вам придется повторить их.

— Да, мы надеемся быть полезными вашей зоне,— продолжает Лусена,— оказать всестороннюю поддержку инициативам, которые вы проявите, чтобы поднять экономику и культуру Агресте. К сожалению, в Бразилии отдельные районы слишком отличаются друг от друга по уровню развития, продолжают существовать острова нищеты и отсталости. Следует как можно быстрее изменить эту панораму, ликвидировать такие различия, устранить препятствия на пути развития страны.— Он дружески хлопает Асканио по колену: — Люди, подобные вам, приносят неоценимую пользу обществу. Наша обязанность, обязанность специалистов,— оказать полную поддержку им во всем, в чем они нуждаются. Вы ведь тоже идеалист, и наш общий идеал — прогресс!

Он произносит эту блестящую тираду, почти речь, естественно, в тоне беседы, причем серьезной беседы, и в то же время предупредительно относится к блондинке и шатенке — обе они, одетые в бикини, сидят на широких подлокотниках его удобного кресла новейшего фасона. Уверенный голос, четкое произношение, без всяких запинок, не изменяется даже тон, когда он делает официанту выговор за плохое качество виски, налитое из зеленоватой бутылки изысканной формы. Попробовав его, он выражает вежливое, однако резкое возмущение: «Какая мерзость! Фальсификация!» Он обращает внимание Милейшего Доктора: виски в хрустальной бутылке, похожей скорее на диковинную скульптуру, обычно никуда не годится, это просто бесчестная приманка. Кроме многих других познаний молодой технократ разбирается в особенностях великолепного шотландского напитка, единственного, по его мнению, подлинного нектара богов. В этом он расходится со вкусом доктора Мирко: тот, хотя ему и нравится виски, все же предпочитает благородное французское вино — что может сравниться с отменным шампанским! Каково мнение друга Асканио? У того нет определенного мнения, он мало знаком с виски, еще меньше с шампанским. Розалво Лусена возвращает официанту полный бокал и зеленую бутылку:

— Вылей эту гадость и принеси другой бокал. Что касается бутылки, то скажи бармену, чтобы он сохранил ее для какого-нибудь пьяницы, который не способен отличить настоящее виски от суррогата.

[1] Замечательно! Прекрасно! *(Англ.)*

[2] Находка! *(Франц.)*

я хочу шотландского, а не это рвотное. Принеси мне бутылку неоткупоренную, чтобы я осмотрел и открыл ее здесь сам. И передай, что я пожалуюсь хозяину...

Спокойствие и непринужденность, с которой Розалво говорит о развитии страны и отвергает опороченное виски, внушает Асканио восхищение, достигающее кульминации, когда он слышит его замечание:

— Обрати внимание, Мирко, с каким удовольствием твой приятель Исмаэл смакует эту гадость. У него, видно, луженый желудок. Отвратительно!

«Желудок и лоб,— думает Асканио,— ему уже наставляют рога еще до того, как он женился, несомненно, он знает о похождениях невесты; быть может, потворствует им. Более чем отвратительно — гнусно!»

Подходит встревоженный бармен, в руке у него затребованная бутылка, униженно он просит прощения: если бы он знал, что это для стола доктора... Любезный и великодушный, Розалво Лусена отпускает его с миром, нет, хозяину ничего не скажет...

Асканио оживляется и поздравляет предпринимателя с замечательным интервью, в котором тот сокрушил репортера из редакции «Тарде» Джованни Гимараэнса, разъяснив суть проблемы жителям Агресте, которых «Письмо поэту де Матосу Барбозе» просто удивило. Дело в том, что этот Джованни посетил город несколько лет назад, завязал там кое с кем дружеские отношения, пользовался известным уважением. Розалво отвечает, изучая при этом бутылку виски, дабы установить ее подлинность и самому откупорить, затем наливает Милейшему Доктору, себе, Асканио и одной из девушек — другая предпочла кампари:

— Джованни? Хороший парень, смышленый, остроумный, умеет писать. Но он никогда не поднимется выше уровня провинциального газетчика с его нынешней службишкой и скудным жалованьем. Для большего у него маловато способностей. Не хватает амбиции и идеализма.— Он пробует виски, делает еще глоток: — Вот это да, настоящее! — Он устремляет взор на Асканио, хлопает его снова по коленке, чтобы обратить внимание на важность того, что собирается сказать: — Без идеализма и честолюбия, мой дорогой, трудно продвинуться. Высший идеал — приобрести вес в обществе, стать творцом прогресса. Здесь помогает честолюбие. Честолюбие — движущая сила.

В течение короткого времени, пока они выпивали и беседовали возле бассейна, любуясь красотой женских тел в голубоватой, прозрачной воде, Асканио был представлен множеству несомненно важных персон, которые останавливались, чтобы поздороваться с Розалво Лусеной и перекинуться парой слов с Милейшим Доктором, а то сказать ему что-то по секрету на ухо.

Солнечное утро, приятная обстановка, грациозные женщины, умные собеседники за столом, шотландское виски. Он уже не чувствует себя таким несчастным пигмеем рядом с Розалво Лусеной. Тот, кстати, прощается — у него назначен завтрак с важным лицом из администрации штата:

— До скорого свидания в Агресте.

— Буду к вашим услугам.

Он слышит произнесенный шепотом совет доктора Мирко Стефано, когда Лусена встает:

— Человек он трудный, будьте с ним осторожны. От него зависит многое. Скажите ему, что дело уже на ходу.

Милейший Доктор задерживается еще посмаковать виски, его окружает все большее число лиц. Несмотря на то, что у него впереди une journée terriblement chargée [1], он не торопится, созерцает ясный, солнечный день, движение праздных людей в баре и бассейне, на-

[1] Страшно загруженный день *(франц.)*.

слаждается зрелищем полуобнаженных девушек, предлагающих себя, впитывает сплетни и лесть алчных газетных писак. В конце концов он встает, подписывает счет, условливается о встрече с Асканио в четыре часа — Пат проводит его в помещение Компании:

— Нам предстоит о многом поговорить. Bye-bye [1]

Наконец-то, думает Асканио, состоится долгожданный разговор, ради которого он приехал. Приближается Пат, с нею другая девушка, худая смуглянка с пышным бюстом.

— Это — Нилса, мой милый. Она только что назначена твоей секретаршей. Я не могу сопровождать тебя сегодня — у Исмаэла в редакции свободный день, ему надо лишь сдать свою колонку.— Она нежно смотрит на жениха, который, вылив себе остаток виски из бутылки, вернулся в бассейн.— Ты понял, милый? Нилса заменит меня. Она тебе понравится, дорогой, а ты ей.

Нилса много смеется, говорит мало, пользуется любым предлогом продемонстрировать свою пышную грудь. Она предлагает ограничиться холодным завтраком — это быстрее и не обременяет желудок. Сиесты не было, она проводила его прямо в номер. Созерцая груди Нилсы, большие, округлые, высокие, и ее маленький живот, Асканио приходит к мысли, что опоздание с беседой, для которой он прибыл в столицу штата, имеет свои положительные стороны. Если бы он не тосковал по Леоноре, то не возражал бы задержаться тут еще на несколько дней.

«Мы прогоним их при первом же появлении здесь»,— пригрозил молодой семинарист Рикардо в разговоре с Тиетой, комендантe и инженером Педро Палмейрой, имея в виду персонал «Бразтанио». Фраза заслужила одобрительное рукопожатие инженера. Рикардо выполнит свое обещание. Они увидят его во главе толпы. Его в сутане и Тиету, которая приехала развлечься. Она будто вернулась ко временам первой молодости, когда убегала с холма, оставляя стадо на попечение козла Инасио, и отправлялась с кем-нибудь в дюны, приобщалась к жизни рыбаков.

Рукопожатие ознаменовало начало крепнущей дружбы между инженером и семинаристом, и разница в возрасте — двенадцать лет — не помешала. Педро увлеченно рассказывал семинаристу Рикардо о героических схватках во время студенческих волнений, к которым он не потерял интереса и после окончания университета, когда, женившись и став отцом семейства, перестал в них участвовать. Он со стороны следит за ними, помогает деньгами, подписывает протесты. Педро напоминает Рикардо, что даже семинаристы появляются на манифестациях, ввязываются в стычки с полицией.

Они повели широкую разъяснительную кампанию среди трудящихся масс — по выражению инженера, старого и непременного составителя призывов к борьбе против империализма, капиталистической экспансии,— то есть среди полутора дюжин семей рыбаков — простых тружеников моря, с задубевшей на ветру кожей, и мальчишек, искусных в плавании, рыбной ловле и футболе на песке.

Решение поддержать Рикардо и инженера в их намерении прогнать людей «Бразтанио», когда они появятся, было принято в ходе переговоров между Жонасом, Исайасом и Даниэлом, тремя неоспоримыми вожаками маленькой общины, и с кумом Жеремиасом в одно бурное раннее утро на шхуне в открытом море.

Жонас, самый старый из трех, заявил:

— Мы не дадим им сунуться сюда. Мы уже прогоняли полицию, тем более не потерпим этих прохвостов.

Исайас, средний по возрасту, подтвердил:

— Инженер и молоденький падре уже сказали, что мы должны

[1] До свидания *(сокращ. от англ. good-bye).*

проучить их. И проучим. Будь спокоен, держись твердо — другого такого места, как это, тебе, кум, не найти.

Плохая ночь, сильный ветер, море в ярости бушует, бушуют и они: уничтожить рыбу, где это видано? Шхуна исчезает в темноте, лодки, сопровождаемые акулами, борются с волнами. На побережье молчаливые люди выгружают товары, убирают их в хорошо укрытое место в ожидании Элиезера и других сотоварищей.

Бригада техников «Бразтанио» прибыла в Манге-Сэко после продолжительного и опасного перехода по бурному морю. В устье реки Реал прибой обрушивается на берег огромными волнами, ветер поднимает песчаные вихри, меняет очертания побережья. Погода настолько плохая, что рыбаки селения Сэко не вышли в этот день на лов. Людей «Бразтанио», прежде всего женщин, охватывает страх.

На двух мощных катерах новейшей конструкции люди «Бразтанио» привезли с собой все необходимое, начиная с пяти больших палаток и кончая множеством консервов, различных продуктов питания, бутылок минеральной воды, прохладительных напитков и даже ожерелий, закупленных на салвадорском рынке «Меркадо Модело» для раздачи жителям поселка. Несмотря на усталость и нервное напряжение, на непогоду, они посчитали, что игра стоила свеч, увидев пейзаж Манге-Сэко, высокие холмы, противостоящие неистовству океана, огромные просторы побережья, протянувшиеся от края и до края полуострова, раскинувшуюся по берегам реки необъятную кокосовую рощу. А небо, затянутое тучами, еще угрожало дождем.

Моторы выключены, катера остановились на некотором расстоянии от берега. Один из пассажиров прыгает в воду, которая приходится ему по пояс, выбирается на песчаный берег, идет к хижинам из стволов и ветвей кокосовых пальм, наполовину засыпанным песком, здесь он обнаруживает Исайаса, занятого починкой порванного во время вчерашней бури паруса.

— Эй! Вы тут! Вы и остальные («остальные» — это те, что, усевшись широким кругом, беседуют между собой, крошат табак, курят трубки), пойдите помогите выгружать вещи. Да поскорее!

Исайас смотрит, не отвечает. Старый Жонас поднимается, спрашивает:

— Ты, молодой человек, из столицы?

Ветер чуть не валит молодого с ног, но он кичливо отвечает:

— Да, мы из «Бразтанио»,— и командует: — Поторапливайтесь!

Жонас разглядывает моторки, стоящие на якоре недалеко от берега в бурном приливе, пересчитывает пассажиров. Сколько там женщин? Женщина — еще одна беда! Старый моряк почесывает редкую бороду. Вспоминает времена, когда полиция отваживалась являться сюда. Как правило, политиканы, придя к власти, всегда похвалялись честностью, размахивали законами: мы немедленно покончим с контрабандой! И от этого пришлось им отказаться. К тому же где найти солдат или сыщиков, желающих отправиться в Манге-Сэко?

Правда, давно уже не пользовались рыбаки приемом, применявшимся ими лишь в крайних случаях,— не было необходимости. Самые молодые знают о нем понаслышке, для них это будет развлечением.

— Исайас, приготовь лодки. Даниэл, собери народ. Будиан, беги сообщи доне Тиете, что они прибыли. Скажи также Кардо и инженеру. Не задерживайся — человек торопится.— Он обращается к посланцу прибывших: — Иди, мы сейчас.

Наблюдая за человеком «Бразтанио», который, нагнувшись, шагает против ветра, Жонас в душе доволен, что здесь нет команданте, занятого сейчас в Агресте. Дружище команданте Дарио закрывает глаза на ночные незаконные делишки, делает вид, что не замечает странного маневрирования шхун, грузовых судов и катеров, перегрузки контрабанды, однако несмотря на крайне недоброжелательное отношение к «Бразтанио» и дружеские чувства к народу Манге-Сэко

он, возможно, все же воспротивился бы задуманным мерам Жонаса и его соратников, создав тем самым для них дьявольскую проблему.

В свое время Тиета решила поразвлечься на побережье, однако, высадившись с дружком из лодки, угодила в неприятную историю: два солдата, несколько сыщиков и полицейский инспектор из Эспланады пытались конфисковать товары и захватить старого охотника за контрабандой, прибывшего из Эстансии[1]. Сопровождавший Тиету щеголь, попав в переделку, растерялся, побледнел, обмяк, поджал хвост и побежал к лодке один, бросив возлюбленную,— позор! Тиета не придала этому значения, осмотрелась, смекнув, в чем дело, схватила свою пастушью палку и с рыбаками стала прогонять полицию. Ударила палкой полицейского инспектора, не обращая внимания на свистки и угрозы револьвером. Она удивила всех. Тиета не родилась в Манге-Сэко, но была достойна родиться там. Быть может, Жонасу сейчас придется взять ее с собой, поручив ей женщин.

За исключением того типа, что пришел позвать на помощь разгружать катера, остальным служащим «Бразтанио» высадиться не удалось. Их оказалось человек двадцать, в том числе четыре женщины: картограф, две секретарши и жена старшего бригады — полная сил, не лишенная романтичности женщина, очень ревнивая, она поехала с группой, чтобы не оставлять мужа во власти кокеток-секретарш, а заодно покупаться в море у Манге-Сэко. Это, впрочем, было общим желанием. Специалисты с хорошими заработками, компетентные техники, все они прибыли в надежде соединить полезное с приятным: в свободное от работы время — отдых на пляже, слава о котором разнесена по Компании теми, кто побывал здесь ранее.

Прибывшие перепугались насмерть. Поначалу они не отдали себе ясного отчета, что же происходит. Первое видение было сюрреалистическим: вдалеке среди кокосовых пальм появляется бегущая женщина, одетая в брюки и черный прорезиненный плащ, как у моряков, в руке у нее длинная палка. Из-за порывов ветра они не слышат, что кричит женщина, но предчувствуют угрозу, заметив поднятую палку. За женщиной бегут падре в сутане и какой-то бородатый тип. А далее — рыбаки: старики, парни, мальчишки. Удивление посланцев «Бразтанио» быстро переросло в страх.

Перед этим Жонас пригласил Тиету:

— Пойдемте с нами, дона Тиета. Не бойтесь.

— Вы что, не знаете меня, Жонас?

— Извините, я сказал не подумав.

Рикардо бросился было за теткой, бородатый также. Жонас запрещает:

— Вы оба останьтесь.— Он объясняет инженеру: — Если сеу Модесто узнает, он рассвирепеет, доктор Педро. Лучше вам остаться здесь, мы справимся сами.— Обращаясь к Рикардо, он говорит: — То, что мы собираемся сделать, неугодно богу, будущий падре.— Он не предлагает — приказывает; это уже не тот добряк Жонас, что подшучивал над семинаристом по дороге в селение.

Педро соглашается и уходит. Из любви к жене и детям он хочет жить в мире со свекром. Но Рикардо возражает, голос его так же тверд, как и голос Жонаса:

— Кто вам сказал, что это неугодно богу? Бог освещает нам путь, когда это необходимо. Я непременно пойду.

Жонас почесывает бороду:

— Ну что ж, иди, но потом не жалуйся. Как знать, может быть, так ты и станешь хорошим священником.

Они садятся в лодки, кое-кто прихватил с собой мотки веревок. Подгребают к пришельцам, прыгают в воду, залезают в катера, усмиряют пассажиров и команды — по два моряка в каждом катере — с проворством, невероятным для тех, кто видел их столь апатичными на

[1] Город в соседнем с Баией штате Сержипе.

побережье и не знает об их ночных экспедициях. Первая операция удалась: они воспользовались растерянностью прибывших, донельзя напуганных,— дело не доходит до борьбы. Жонас принимает команду на одном из катеров, Исайас — на другом.

— Всем женщинам пересесть в эту лодку! — приказывает Жонас.— Дона Тиета, приглядите за ними. Рикардо, со мной!

Веревки послужили для того, чтобы скрутить руки мужчинам; их связывают одного с другим в две группки, по одной на каждом катере. Ошеломленные служащие «Бразтанио» протестуют, возражают, требуют объяснений. Бесполезны вопросы, бесполезны доводы, соображения и угрозы. Никто их не слушает. Только молодой техник, поглядывающий на одну из секретарш, пытается перейти от слов к делу, продемонстрировать храбрость — спешит произвести впечатление на девушку и атакует Исайаса. Его тут же усмиряют Будиан и Саму, привязывают к остальным. Затем связанных отводят на капитанские мостики, где они поступают под охрану молодых рыбаков: пусть хорошо прочувствуют все, испытают на себе. Жонас дает знак к отправлению, катера медленно движутся, рыбачьи лодки сопровождают эскортом.

Катера сейчас направляются не к отмели, где прибой даже в плохую погоду не представляет собой опасности и страшен только на вид,— они двигаются среди гигантских волн по маршруту контрабанды. Этот путь лодки проплывают в ночи доставки контрабанды, а ранее совершили тогда, когда везли полицейских, также со связанными руками. Один сержант потерял голову от страха, вырвался из рук рыбаков, которые пытались его задержать, и бросился в воду, но акулы вмиг разорвали его; пятна крови долго держались на воде, разносимые волнами. Поэтому Жонас и велел перевязать людей «Бразтанио» в цепочку, по одной на каждом катере, а четырех женщин поручил Тиете:

— Не двигайтесь, козочки, иначе дубинка будет пущена в ход!

С катеров разносятся крики, плач, мольбы о помощи, о милосердии бога ради. Рыбаки подчеркнуто спокойны, добравшись до того места, где волны достигают огромной высоты, яростно разбиваются о берег.

Убираются весла, останавливаются моторы — замирают на пороге небытия. Катера и лодки, как щепки, кружатся, взлетают на гребни волн, падают в пучину, грозят перевернуться, затонуть. Рыбаки с большим трудом удерживают руль, чтобы сохранить равновесие. Свирепые волны стремятся выбросить суденышки на горы песка. Гибель угрожает со всех сторон: свинцовые контуры акул вырисовываются в бушующей воде. Внезапно одна из них, не самая большая, взметнулась из воды, метрах в двух от катера, которым командует Исайас. Все кричат, женщины плачут, одна из них в обмороке на руках Тиеты. Еще три акулы выныривают вместе, еще две, еще одна. Сколько же их? Разинуты чудовищные голодные пасти, видны острые, жадные, страшные зубы. У Жонаса одна рука — незачем рассказывать, как он потерял другую, каждый может догадаться. Все слышат удары акульих хвостов о борта катеров. Сколько времени пробыли посланцы «Бразтанио» тут — лицом к лицу со смертью? Скорее всего лишь минуты, но им показалось, что прошла вечность — время безмерного ужаса.

Катера и рыбачьи лодки снова двинулись в путь; преодолевая исполинские волны, они направляются в открытое море, акулы сопровождают их еще некоторое время, видимо, на что-то надеясь, потом исчезают. Тучи разразились дождем. Прежде чем вернуть катер хозяевам и пересесть в рыбачью лодку, Жонас, пророк бедноты, мягко, но решительно заявляет:

— Никогда больше сюда не возвращайтесь и предупредите других!..

В модерных помещениях «Бразтанио», занимающих целый этаж в одном из новейших зданий Нижнего города [1],— весенняя атмосфера, в окнах затененные стекла, у телефонного столика богиня в парике; и вдруг Асканио возобновляет старое знакомство, встретив Элизабет Валадарес, Бети — для коллег, Бебэ — для друзей. Греческая богиня, оповестив об его присутствии, указала ему на стул, но он не успел сесть, как тут же из двери появилась Бети. Демонстрируя блестящую память и живость характера, она приветствовала его выражениями горячей симпатии:

— О, дорогой! Я счастлива увидеть вас здесь, в нашей скромной рабочей палатке. Пойдемте со мной, Доктор ожидает вас.

На столе в кабинете доктора Мирко Стефано под стеклом большой рисунок в красках, Асканио узнает пейзаж Манге-Сэко — дюны, устье реки и кокосовая роща. Часть этой рощи уже исчезла, ее заменил внушительный промышленный комплекс, высокие строения, из заводской трубы поднимается белый дым. Между заводом и дюнами разбросаны дюжины вилл с верандами и садиками для администраторов, инженеров, техников. С другой стороны, в направлении Агреста,— городок, сотни веселых домиков, расположенных попарно, все одинаковые, это жилища для рабочих. Новейшая гавань, почти порт, на рейде — большие моторные катера. Асканио ослеплен картиной будущего. Торжественный голос Милейшего Доктора возвращает в настоящее:

— Видите этот дом, стоящий отдельно от всех, самый близкий к пляжу? Это мой. Я буду там отдыхать, когда найдется время для досуга. Я обожаю Манге-Сэко, самое красивое место в мире. Оно останется и в будущем самым красивым местом, став одновременно кузницей богатства. C'est ça... [2]

Он садится за письменный стол, указывает Асканио место напротив. Удовлетворенно потирает руки:

— Я попросил вас приехать в Салвадор, чтобы передать вам лично важное известие, мой дорогой Асканио. Разрешите мне называть вас так, без всяких церемоний.

— Пожалуйста, доктор Мирко.

— Не доктор и не сеньор. Ваш друг Мирко Стефано, ваш почитатель. Но вернемся к многообещающему известию: «Бразтанио» окончательно решила развернуть в Сант'Ане-до-Агресте производство диоксида титана, которое, как вы знаете, является одной из самых важных отраслей промышленности, созданных в стране за последние годы. Одной из самых важных с точки зрения развития отечественной экономики. Должна сэкономить валюту. Индустрия, заслуживающая внимания!

Торжественный тон звучит категорично, утверждения исключают какие-либо сомнения, нападки, осуждение.

— Решение было принято на заседании правления, которое закончилось вчера к вечеру. Но так как я заранее знал, каков будет результат, то поспешил пригласить вас, чтобы побеседовать, сверить наши часы, так сказать; c'est bien nécessaire [3]. Полагаю, ожидание не было для вас тягостным?

— Наоборот, очень приятным. Я должен лишь поблагодарить вас.

— Rien, mon cher [4]. Мы предадим гласности наше решение в ближайшие дни. Как только уладим последние формальности с властями штата, чем, собственно, и занимается доктор Лусена, мы обратимся в префектуру Агресте, чтобы официально сообщить о нашем проекте и получить необходимое разрешение. Должен добавить: именно я повинен в том, что выбор пал на Агресте, мне очень понравился ваш го-

---

[1] Нижний город — прибрежный район Салвадора.

[2] Вот так *(франц.)*.

[3] Это совершенно необходимо *(франц.)*.

[4] Пустяки, мой милый *(франц.)*.

родок, в особенности побережье. Другие центры, более развитые, обладающие подходящей инфраструктурой, пытались завоевать приоритет, предлагая всевозможные льготы, включая освобождение от налогов. Нас не это интересует. Являясь предприятием, несущим факел прогресса, «Бразтанио» предпочла более отдаленную зону, заброшенную до сего времени, для которой мы подготовили стимул к развитию. Как вы хорошо сказали: «Бразтанио» — это возрождение Агресте. Конечно, от нас потребуются большие затраты, однако мы достигнем нашей главной цели — служить народу.

Он нажимает кнопку звонка на столе, поднимается, подходит к Асканио, протягивает ему руку:

— Как префект или представитель префекта муниципия Сант' Аны-до-Агресте примите мои горячие поздравления.

Асканио встает, но рукопожатия, по его мнению, недостаточно, и он обнимает доктора Мирко. Появляется Бети, за которой следует официант: красный поднос, хрустальные бокалы, темная бутылка шампанского. Увидев лишь два бокала, Милейший Доктор велит подать третий, официант поспешно выполняет распоряжение. Пока откупоривается с особой осторожностью бутылка, доктор Мирко, пребывая в своей стихии, поясняет:

— «Дон Периньон». Вы, вероятно, знаете...

Асканио хотелось сказать «да», но все-таки он признается:

— Нет, этого я никогда не пил. Как-то пробовал одно, которое называется... «Вдова»...

— «Veuve Cliquot»[1].

Пробка взлетает с обычным праздничным хлопком, Милейший Доктор передает бокал Бети.

— Ведь мы с ней первыми попали в Агресте. Первооткрыватели!

— Вас кто-то принял за марсиан, людей из космоса,— вспоминает Асканио.

Они смеются, живо вообразив испуг обитателей Агресте.

— Хорошие люди,— заключает доктор Мирко Стефано, поднимая бокал.— Пью за процветание Агресте и за энергичного человека, который распоряжается его судьбой, моего друга Асканио Триндаде!

Они чокаются, слышится звон хрусталя. Будто смех Леоноры. Как гордилась бы им она, если б находилась здесь в этот момент! Подходит Бети и целует его в щеку: «Поздравляю, милый» — и исчезает из кабинета.

Доктор Мирко снова наливает шампанское, садится на край стола, делает знак, чтобы Асканио устроился на стуле. Он излагает идеи и планы:

— Желательно, чтобы к тому моменту, когда мы войдем с нашим предложением, вы были бы, по возможности, уже избраны. Мы принимаем меры, чтобы приблизить дату выборов, доктор Барди занимается этим лично. Избирательный трибунал занес Агресте в список муниципиев, где выборы состоятся в ближайшее время, и вчера доктор Барди договаривался по телефону с друзьями в Сан-Паулу о том, чтобы решение было принято непременно на сегодняшнем заседании — избирательный трибунал собирается раз в неделю. Все было бы именно так, все о'кей, если б у председателя не случился сегодня утром инфаркт — он скончался. В результате заседание отменено, теперь оно состоится только на следующей неделе. Но уезжайте спокойно: через неделю дата выборов будет назначена.

Он опять наливает шампанское, к благородному напитку относится почтительно, высоко ценит, знает в нем толк.

— Виски я пью, когда бываю с друзьями в баре или на каком-нибудь празднике. Но что я действительно люблю, так это — champagne.— Он никогда не произносит «шампанское» по-португальски,

[1] «Вдова Клико» *(франц.)*.

считая, что так звучит грубо.— Как Розалво вам сообщил, в Манге-Сэко отправилась группа техников. Одновременно мы готовим всю необходимую документацию, чтобы просить у правительства штата, а затем у префектуры Агресте разрешения начать работы. Будем набирать рабочих во всем районе, включая Сержипе. Вскоре мы получим исходные данные для проекта спрямления и асфальтирования дороги, соединяющей Агресте с Эспланадой. Все идет как следует, mon vieux [1].

Он задумчиво смотрит сквозь бокал:

— Находятся люди, протестующие, восстающие против внедрения в стране производства диоксида титана, якобы загрязняющего окружающую среду. Мотивы разные, но, как правило, несостоятельные. Однако иностранным агентам, которые ведут эту антибразильскую кампанию, удается ввести в заблуждение многих честных людей, их охватывает тревога, они выступают против нас. Я не стану вас уверять, что производство диоксида титана абсолютно не загрязняет окружающую среду. Да, оно вызывает некоторое загрязнение, как и любое другое промышленное предприятие, может быть несколько больше. А ведь против текстильной фабрики или завода бытовых электроприборов никто не восстает. Но в отношении ведущих отраслей промышленности те, кто заинтересован, чтобы мы оставались зависимой, слаборазвитой страной, выдумывают самые невероятные нелепости. Утверждают, например, что мы уничтожим фауну реки и моря. Ничего подобного! Мы соорудим подводную систему труб, через которые загрязняющие отбросы производства будут отводиться на несколько километров от берега, и там они уже не представят никакой опасности. Я велел подобрать соответствующие материалы — проблема мнимого страшного загрязнения окружающей среды будет полностью разъяснена, поставлена в соответствующие рамки. В результате вы подготовитесь и сможете разоблачить обманщиков, просветить тех, кто дал себя обмануть. Сан-Пауло оставался бы до сегодняшнего дня глухой провинцией, если бы наши противники могли навязать свое мнение. Но вы же видели Индустриальный центр Арату́. Борьба идет, казалось бы, против каких-то кретинов. За спиной этих кретинов орудуют враги Бразилии.— Он не разъяснял, какие враги, еще не успев прощупать политический пульс Асканио. Окажись тот правых взглядов, Доктор упомянул бы о Советском Союзе, а если левых — то о Соединенных Штатах.

Звонит телефон, говорит Бети. Милейший Доктор слушает.

— Надо идти на похороны судьи. Ничего не поделаешь, видите, до чего уже дошло? — Он смеется с любезным видом:— Завтра закончим наш разговор. В отеле, в моем номере, там никто не станет нам мешать.

Асканио собирается что-то сказать, колеблется, доктор Мирко ободряет его:

— Что такое? Можете говорить, не стесняйтесь.— В глубине души у него блеснула надежда: уж не попросит ли денег?

Асканио указывает на рисунок под стеклом — великолепная картина будущего:

— Если бы я мог захватить эту работу в Агресте, было бы отлично. В газетной витрине, которую я вывесил в префектуре, есть рисунок нашего художника Линдолфо, но этот вид — подлинное произведение искусства.

Мирко вызвал Бети по телефону: приходи и приведи Руфо. И Асканио не только снова увидел блондинку, у которой теперь появилась в волосах голубоватая прядь, но и познакомился с юношей, у которого волосы ниспадали на плечи, совсем как у Иисуса Христа, это был автор рисунка. Асканио горячо поздравил его: вы большой художник! — и поблагодарил от имени Агресте. На следующий день

---

[1] Старина *(франц.)*.

обещал Милейший Доктор, Асканио получит в отеле вместе с документацией шедевр, упакованный, как полагается, в футляр.

Для обеда Нилса выбрала ресторан в красивейшем месте города, неподалеку от Музея современного искусства, в котором открылась уже порядком нашумевшая выставка,— внутренний двор музея забит автомобилями.

Когда кончили с обедом, Нилса повела его посмотреть экспозицию. Асканио был шокирован. Что это такое? Он ожидал увидеть пейзажи, обнаженную натуру, натюрморты, красивые картины, а тут в глаза лезли нелепые, даже аморальные фотографии, гравюры, изображающие деформированные церкви, какие-то абсурдные сооружения из обломков разных ненужных предметов, все было похоже скорее на мусорную кучу: художник использовал в своей композиции даже старый унитаз. Художник? Да, подтверждает Нилса, и он пользуется известностью, большим авторитетом не только в Баие, но и во всей стране, Асканио наверняка должен был уже слышать о Жуарезе Параизо. Нилса показывает присутствующего здесь художника, он окружен поздравляющими его поклонниками, это высокий бородатый мулат, стоящий у фотографии голой женской задницы, черт-те что!

Она провожает Асканио до отеля, около подъезда вдруг повисает у него на шее, прощается, целуя:

— Я не остаюсь потому, что не могу поздно возвращаться домой, а сейчас уже больше десяти. Мои родители очень строгие, у меня трудное положение.

Трудное положение. Слова тут имеют другое значение, убедился Асканио. Строгость, искусство, помолвка. Другие значения, другой мир, на пороге которого он находится, готовясь переступить. Откуда у него неприятное ощущение, смутное чувство, которое все время мучает? Будто он не по собственной воле здесь. В пустом номере он сожалеет об отсутствии Нилсы, ее пышный бюст придал бы ему уверенности.

И неожиданно телефонный звонок — томный голос Бети:

— Говорю из холла. Сейчас поднимусь. Оставь дверь открытой...

Постоянно зарезервированный за доктором Мирко Стефано номер в отеле — даже и в то время, когда тот задерживается на юге страны,— отнюдь не казенный апартамент, безликое жилище для короткого пребывания. Во всем, в каждом уголке чувствуется присутствие человека радушного, цивилизованного — bon vivant[1], как он сам себя определяет.

Точно в девять Асканио, толкнув полуоткрытую дверь, слышит конец фразы, произнесенной подчеркнутым тоном Милейшим Доктором:

— ...вина твоя, я предупреждал тебя, что человек этот кичлив.

С озабоченным видом ответственный в «Бразтанио» по связям с общественностью, одетый лишь в черный шелковый халат восточного покроя, напоминающий кимоно чемпиона дзюдо, беседует с доктором Розалво Лусеной за столиком, на котором стоит поднос с остатками кофе, плодов дынного дерева, сока грейпфрута. Серьезные лица меняют выражение, расплываются в улыбках.

— Извините, что я вошел не постучав, дверь была открыта.

Короткий момент замешательства — Асканио смог увидеть вместе и сравнить двух заправил «Бразтанио». Доктор Розалво Лусена, приготовившийся к утомительному утру в конторе, одет со спортивной элегантностью, как требует его положение: синие брюки, синяя куртка, сорочка и в тон ей галстук веселой расцветки. Он еще не дошел до серьезных костюмов доктора Барди, соответствующих положению магната. Чувствуя себя свободно в японском одеянии, в мягких

[1] Весельчак, бонвиван *(франц.)*.

туфлях, доктор Мирко Стефано выглядит не деловым человеком, а звездой телевидения, из тех, в кого влюбляются девчонки. Оба они с положением, оценивает Асканио, он симпатизирует Мирко, а походить хочет на Розалво.

— Вы правильно поступили, что вошли, я нарочно оставил дверь открытой.— Мирко указывает на кресло.— Нужно требовать от официанта, чтобы тот закрывал за собой дверь, когда входит и выходит, сервис в этих новых отелях оставляет желать лучшего.

Розалво Лусена, прежде чем уйти, повторяет для Асканио, упивающегося его словами, доводы, безрезультатно приведенные им вчера на завтраке с важными представителями администрации штата. Вся зона получила бы выгоды от сооружения завода — асфальтированные дороги с двухрядным движением, рынок труда, специализация рабочей силы, возникновение новых профессий, школа для детей рабочих, медицинская помощь, жилье, торговля, высокооплачиваемые должности для специалистов.

Все это появится на территории, используемой сейчас лишь для досуга немногих привилегированных, она будет превращена в жизненно важный для экономики района центр. Он опустил, конечно, какое бы то ни было упоминание о провале проекта расположить завод вблизи столицы штата — незачем говорить представителю далекого Агресте о пункте, столь взволновавшем сиятельного сотрапезника, который проявил несокрушимую непреклонность: «Здесь? Никогда!..» Вместо этого он подчеркнул проблему отсутствия инфраструктуры в зоне Манге-Сэко, что вызовет, конечно, огромные расходы, но «Бразтанио» возьмет их на себя с легким сердцем, выполняя патриотический долг.

— Вчера я говорил о вас с одной важной персоной из администрации штата, человеком, обладающим большим политическим весом. Сказал ему, чего вы стóите.

Он прощается, ведь ему известно, что Асканио уезжает вечером.

— Полагаю, что теперь мы увидимся только в Агресте. Счастливого пути, желаю вам победить на выборах. Дата уже назначена, Мирко?

— Будет назначена только через неделю. Председатель избирательного трибунала скоропостижно скончался — инфаркт. Я был вчера на похоронах.

Любезная улыбка Розалво Лусены сменяется ироническим смешком:

— Каждый несет свой крест, старина.

Он машет с порога рукою, резко хлопает дверью, чтобы плотно закрыть ее, а тем самым напомнить Мирко, что оставлять ее открытой неосторожно.

— Что будете пить? — спрашивает Милейший Доктор.

— Я только что пил кофе, ничего не хочется, спасибо.

— Я тоже выпил кофе. Но после кофе, чтобы хорошо начать день, nous allons prendre une goutte de «Napoléon», une fine, mon cher [1].

Отведав коньяку, доктор Мирко продолжал:

— Послушайте, Асканио, по долгу службы мне приходится общаться со множеством людей иной раз со всяким сбродом. Я со всеми хорошо лажу, это соответствует моему темпераменту и моей профессии. Но среди этой массы время от времени я сталкиваюсь с кем-то, кто обращает на себя внимание талантом, внутренней силой, характером, твердостью. Я знаю людей, не ошибаюсь, умею отметить заслуживающих внимания даже при коротком общении. С тех пор как мы поговорили в первый раз в префектуре Агресте, я остановился на вашей личности: вот это настоящий человек, un vrai homme [2], сказал я себе. В то время еще не было определенного решения относительно

[1] Мы выпьем капельку «Наполеона», покрепче, мой дорогой *(франц.)*.

[2] Настоящий человек *(франц.)*.

Агресте, наоборот, наши взгляды обращались на юг страны, на территорию между Ильеусом и Итабуной на реке Кашоэйра — там дорога, морской порт, льготы, местные власти сулят золотые горы. Я принял решение — если мы не обоснуемся в Агресте, я приглашу этого молодого человека работать в «Бразтанио». Он обладает характером и компетенцией.

Доктор вдыхает аромат коньяка, получая дополнительное удовольствие. Асканио благодарит со скромным видом:

— Вы очень добры.

— Я сказал себе: если он останется здесь, в этом забытом богом краю, его пламя угаснет, он зачахнет. Я не могу допустить этого, приглашу сотрудничать с нами, где бы мы ни находились. Но, поскольку мы, к счастью, решили остановить свой выбор на Манге-Сэко, я думаю, что префектура мощного и богатого промышленного муниципия может стать первым шагом к блестящей политической карьере молодого общественного деятеля.

Наслаждаясь «букетом» коньяка, Асканио упивается вдохновляющими речами. Милейший Доктор берет снова бутылку, час для спиртного не очень подходящий, но обстоятельства вынуждают. Он продолжает говорить, пробуждая амбицию слушателя. Политическая или предпринимательская карьера — после того как Асканио возглавит префектуру в Агресте, он сам предпочтет сменить государственное учреждение на частное предприятие; предложение это не сегодняшнего дня, но оно останется в силе: для Асканио всегда найдется командный пост в «Бразтанио». Интеллигентных и работящих людей много, людей, способных руководить, мало.

Поскольку ему кажется, что настал подходящий момент, Мирко предлагает:

— Именно поэтому уверяю вас: я, мы — к вашим услугам. Если что-нибудь понадобится, скажите не скрывая, без стеснения, мы же друзья.

— Достаточно доверия, которое вы мне оказываете. Надеюсь его оправдать.

— А как с выборами? И с избирательной кампанией? «Бразтанио» охотно приняла бы участие в расходах, связанных с избирательной кампанией.

— Благодарю, но в этом нет необходимости.— В конце концов он находит чем похвастать.— Избирательной кампании не будет. Я являюсь единственным кандидатом, это установлено. Мой крестный, полковник Артур де Фигейредо, уже принял решение, и весь народ согласен. Могу сказать без ложной скромности: я буду избран единогласно. Мне не нужна помощь, спасибо. И так даже лучше, по крайней мере никому в голову не придет, что я поддерживаю «Бразтанио» по личной заинтересованности. Потом, если все получится, если моя мечта осуществится, возможно, мне понадобится ваша помощь. Сейчас нет.

Этот последний разговор, самый долгий и интимный, вышел за рамки проблем промышленности и муниципия — оказалась вовлеченной и личная жизнь Асканио.

— Вы упомянули как-то про мечту. Я тоже обожаю мечтать, какова же ваша мечта?

Мало привыкший к спиртному, немного захмелев не только от коньяка, но и от проявлений уважения и восхищения Милейшего Доктора, Асканио пускается на откровения, упоминает имя Леоноры, восторгается ее красотой, сожалеет о том, что она богата, поскольку это было до сих пор непреодолимым препятствием. Теперь, как префект процветающего промышленного муниципия с открывающейся перед ним перспективой, он обретет мужество, чтобы поговорить с ней.

Доктор Мирко Стефано кажется растроганным, он наливает еще немного коньяка, чтобы провозгласить тост:

— Асканио, дорогой, помимо всего прочего, вы хороший человек. Обещайте мне — по возвращении в Агресте вы первым делом попросите руки у этой девушки. Правда, просить руки в наше время уже не принято. Сообщите ей просто, что вы поженитесь. Почему бы не в день вступления на пост префекта? — Он поднимает пузатый бокал, где поблескивает коньяк — золото и раскаленный уголь: — Пью за счастье молодых!

Они пьют еще за здоровье жениха и невесты, когда раздается телефонный звонок. Доктор подходит:

— Он готов, конечно. Через пять минут привезем его к вам.

Кладет трубку и объясняет Асканио:

— Это наш друг, журналист, тот, что сделал в свое время интервью с доктором Лусеной, которое вам так понравилось. Ему хотелось бы выслушать ваше мнение относительно Агресте и видов на будущее, которые по проекту «Бразтанио» открываются для зоны. Если вы не считаете это неподходящим, то с нашей стороны не будет никаких возражений. Так вы начнете приобретать известность.

— Не нахожу ничего неподходящего. С удовольствием.

— Я велю отвезти вас в редакцию газеты. По возвращении найдете меня в бассейне. Позавтракаем вместе.

Асканио уже выходит из номера, когда Милейший Доктор напоминает ему:

— Не забудьте повторить ту вчерашнюю фразу, она звучит красиво: «Бразтанио» — это возрождение Агресте! Мне даже завидно, mon vieux.

В редакции журналист, тот же одноглазый журналист, который в первый день хотел во что бы то ни стало получить информацию, услышав фразу, спросил:

— Это Мирко вам подсказал, верно?

Асканио не обижается, даже чувствует себя гордым:

— Фраза эта моя, но он уверяет, что был бы доволен, если б придумал ее сам.

— Никто не сравнится с мошенником Мирко. В тот день он запутал меня и моих коллег, скрыл приезд немца, но «Тарде» напала на след и произвела сенсацию.— Он пожал плечами:— К тому же ничего не изменилось бы, если б даже он мне сказал. Он поговорил с человеком там,— репортер указал на дверь кабинета с табличкой «Дирекция»,— и то ничего не вышло. Кто может, тот может.

Все это было темным лесом для Асканио, и он не стал говорить на данную тему. Пока они беседовали, фотограф сделал несколько снимков. Асканио ответил на два-три вопроса, в один из ответов он включил ту фразу, газетчик был удовлетворен:

— Я уже имею достаточно данных, остальное предоставьте мне. Воспользуюсь вашей машиной, взгляну на девчонок в бассейне и выпью виски с этим подлецом Мирко.

В машине он не удерживается от вопроса:

— А что, женщины на пляже в вашем краю — стоящие? Много там санпауловок? — Единственный глаз его алчно блестит.— Туристки из Сан-Пауло, как только высаживаются с самолета, уже помахивают хвостиками.

Асканио захотелось дать ему по морде.

— Повсюду, насколько мне известно, есть и шлюхи, и порядочные женщины. Санпауловки, которых я знаю,— женщины честные и порядочные.

Возмущенный тон, почти агрессивный, встревожил журналиста:

— Что с вами, дружище? Я не хотел обидеть вашу родню. Я имею в виду некоторых потаскушек, которые появляются здесь, чтобы подзаработать. Не сердитесь на меня.

После завтрака Милейший Доктор и Бети поехали в одном из больших черных лимузинов проводить Асканио на автобусную станцию. Тому предстоит переночевать в Эспланаде, и если «маринети» Жаиро в исправности, то завтра не позднее часа пополудни он увидит Леонору и скажет ей: «Я тебя люблю и хочу на тебе жениться». Взяв Асканио под руку по пути к автобусу, Бети ласково прижимается к нему.

Перед тем как обняться на прощанье, доктор Мирко Стефано, ответственный по связям с общественностью акционерного общества «Бразильская индустрия титана», достал из кармана черный бархатный мешочек, на котором золочеными буквами воспроизведено название фирмы «Каза Морейра» — фирмы ювелиров и антикваров, пользующихся широкой известностью, славящейся высокими ценами:

— «Бразтанио» просит позволения преподнести вам кольцо, завтра вы при помолвке наденете его на пальчик своей невесты, с которой я надеюсь познакомиться через несколько дней, когда приеду снова в Агресте.

В автобусе Асканио не может удержаться, развязывает шнурок, открывает мешочек, вынимает маленький футляр, в нем старинное золотое кольцо с розочкой из брильянтов, на внутренней стороне его выгравированы буквы «Л» и «А», тонкая работа, вещь, сделанная со вкусом и большой ценности, достойная Леоноры.

В кабинете доктора Розалво Лусены, в правлении «Бразтанио», старший бригады, посланной в Манге-Сэко, отчитавшись, угрожает подать заявление об увольнении. Прозванный Невозмутимым из-за спокойствия, с которым всегда относился к самым трудным профессиональным проблемам и к бурной ревности жены, восхваляемый за простоту в обращении, он сейчас уже не был таковым, утратил прославленную сдержанность, руки у него дрожали, а голос срывался, когда описывал случившееся:

— Во главе шайки убийц примчалась какая-то разъяренная сумасшедшая, размахивавшая палкой. Это она взяла под свой присмотр женщин в лодке. Клянусь, доктор Лусена, я решил, что они собираются нас убить, и приготовился к смерти.

— А что собой представляет эта мегера?

— На вид она даже не была безобразной, но бежала, крича: «Прочь! Долой отравителей!» Она, священник и бородач. Падре — совсем молодой, наверное, еще не служит мессу самостоятельно. Бородач мне напомнил одного знакомого инженера, но, поскольку он остался на берегу, я не смог выяснить, кто он; я мог и ошибиться, и это был не тот, на кого я подумал. Остальные в отрепье — просто банда преступников.

— Сколько их было? Много?

— Сколько? Не знаю. Человек тридцать, а то и больше, если считать мальчишек. Они выглядели людьми из каменного века. Нас загнали на капитанский мостик... ужас что было! От одного воспоминания мне не по себе.

У бассейна одна из секретарш, наслаждающаяся недельным отпуском — премией после того, как она оправилась от испуга,— признается по секрету Милейшему Доктору:

— Там был один, тот, что схватил Марио Жозе и толкнул его,— она имела в виду Будиана,— он выглядел даже мило. Мне помогло то, что я попыталась подшутить над ним, он, видимо, собирался прикончить нас. Убить.— При воспоминании ее охватывает дрожь:— Женщина, та указывала палкой на акул. Я закрыла глаза, не могла видеть.

Несмотря на потрясение, старший бригады признает:

— Они не хотели нас убивать, в конце концов я это понял. Только постращать. Но мне стало ясно и то, что в другой раз они не ограни-

чатся угрозой. По-моему, доктор Лусена, там трудно что-либо соору дить. Разве только послать сначала полицию... а может быть, и солда чтобы покончить с бандитами, со всеми до единого. Они угрожал бросить нас акулам. Катиа потеряла сознание, она и сейчас еще в по стели, говорит, что никогда больше не станет купаться в море.

Другая секретарша, бедненькая, трепещущая красотка, пучок нер вов, огонь в постели, провела три ночи без сна — как только засыпала снова видела акул, шныряющих вокруг лодки.

Старший бригады заключил:

— Если понадобится вернуться в Манге-Сэко, то я, доктор Лусена предпочту тотчас же уволиться.

Доктор Розалво Лусена и доктор Мирко Стефано выслушал страшный рассказ, жалобы и угрозы, сохраняя хладнокровие,— недаром они занимают руководящие посты в такой солидной Компании как «Бразтанио». Негативные реакции не удивляют их, пусть они первые, но, несомненно, не последние. Администраторы просят участников ужасного происшествия поменьше рассказывать о нем, побольше молчать, держать эту историю в тайне. И все же весть распространилась, даже нашла отражение в печати.

В газете «Тарде» она была представлена в благоприятном свете: гневный и мощный ответ народа на угрозу загрязнения побережья Манге-Сэко, которое по красоте пейзажа и целебности климата является достоянием, подлежащим защите, сохранению любой ценой. Заметка была составлена самим Джованни Гимараэнсом. Не удовлетворившись комментарием, он отправил телеграмму с поздравлениями поэту Матосу Барбозе. В другой газете факты были оценены как доказательство расширения опасной подрывной деятельности нежелательных элементов, направляемых иностранными агентами, проникшими в самые отдаленные уголки страны, чтобы воспрепятствовать ее прогрессу.

Под крупной «шапкой» появилась редакционная статья в пользующемся поддержкой влиятельных кругов еженедельнике, руководимом известным политиканом, воинствующим Леонелом Виейрой. Он коснулся значения производства того самого диоксида титана, но отметил и некоторые отрицательные стороны, в частности, высокий уровень загрязнения окружающей среды, обещав вернуться к этому вопросу в следующем номере с новыми сообщениями непосредственно из Агреста, куда выезжает репортер популярного еженедельника.

Но отправлять репортера к границам сертана не понадобилось, так как Милейший Доктор предоставил достопочтенному и симпатичному Леонелу Виейре всю необходимую информацию насчет производства химического вещества а также чек, виски и сеньорит. Доктор отмел и его опасения идейного характера — когда это выгодно, бесстрашный Виейра может блеснуть даже радикальнейшей левизной. К этому вопросу он вернулся, как и обещал, проявив замечательный пример журналистского уважения к своим немногочисленным читателям. Обогатившись новыми сведениями, редактор с гражданским мужеством признал совершенную ошибку и опроверг клеветнические измышления направленные против «Бразтанио», против размещения в штате производства, которое будет только способствовать прогрессу, экономической независимости Бразилии и возникновению в Баие рабочего класса.

Доктора Мирко Стефано и Розалво Лусена подводят итоги. Из Сан-Пауло многократными телефонными звонками президент Анжело Барди сообщает о затруднениях, возникших у него в федеральной столице — в городе Бразилиа. Сопротивление оказывают преимущественно баиянские власти, готовые охотно пойти на уступки, когда речь идет об Агресте и Манге-Сэко, но непреклонные, когда упоминается близкий им Аремберепе. В защиту Агресте помимо Джованни Гимараэнса поднимаются лишь малоизвестный поэт да полдюжины

рыбаков, В Аремберне боевые позиции занимают известные во всей стране художники и писатели, да туристы и хиппи; гораздо большее, несравнимое давление оказывают мультимиллионеры-латифундисты, владеющие необъятными, лучшими земельными наделами, которые они начали разбивать на участки и зачастую распродавать; с появлением же «Бразтанио», распространяющей в округе свои ядовитые отходы, непомерно высокие цены на земли будут сведены к нулю.

Несмотря на то, что президент возлагает надежды на благотворное влияние новой денежной субсидии, предоставленной в распоряжение Старого Парламентария, он в срочном телефонном разговоре одобряет меры предосторожности, принятые на последнем заседании по предложению Мирко. Они полезны, поскольку отвлекают внимание газет и публики, к тому же пригодятся — вдруг у них не останется в конце концов иного выбора, кроме Манге-Сэко. Именно поэтому он советует отправить в Агресте способного адвоката, чтобы изучить положение с землями, на которых, если действительно не будет иного выхода, придется сооружать заводы. По-видимому, пора выяснить, кому принадлежит кокосовая роща.

Доктор Мирко Стефано напоминает доктору Лусене имя профессора факультета права — доктора Элио Коломбо. Преподаватель высшего учебного заведения, шеф крупной адвокатской конторы, согласится ли он поехать в Агресте, совершить такое неприятное и утомительное путешествие? Розалво выражает опасение, как бы он не послал какого-нибудь своего помощника. Мирко поясняет: за деньги доктор Коломбо отправится хоть к черту на рога, а тем более в Агресте. Он предоставит в его распоряжение машину и, чтобы придать поездке известное очарование, секретаршу, которая сопровождала бы его и развлекала. Пока все внимание сосредоточено на Манге-Сэко, о существовании Аремберне забывают.

В одном единодушны они — директора и перепуганный старший бригады: если им придется основать производство в Манге-Сэко, то прежде всего надо будет очистить территорию от грязного сброда, который ее занимает, покончив раз навсегда с логовом контрабандистов, заповедником бандитов. Понадобится операция тщательного прочесывания, в ходе которого не ускользнет ни один деклассированный или подрывной элемент, начиная с юного падре; церковь превращается в питомник террористов, сеу Мирко! Розалво Лусена подытоживает:

— Не забыть о мальчишках. Априжио мне рассказал, что мальчишки хуже всех, дразнили акул. К тому же они были голые, а ведь верзилы — и все у них напоказ.

Милейший Доктор улыбнулся своей доброй, любезной и открытой улыбкой:

— Не беспокойся, мой дорогой Розалво, если мы обоснуемся в Манге-Сэко, мальчишки и акулы просуществуют недолго...

(Окончание следует)

КОНСТАН БЮРНИО

Перевод с французского и вступление М. КУДИНОВА

Констан Бюрнио родился в Брюсселе, в скромной трудовой семье. Когда разразилась первая мировая война, он уже два года учительствовал в одной из городских школ, где на его долю достался класс умственно отсталых детей. На фронте Бюрнио был санитаром и четыре года провел в траншеях и разоренных селениях западной Фландрии. После демобилизации в 1919 году он снова вернулся в школу, в свой «трудный класс», и хотя в следующем году состоялся его литературный дебют и его книги вскоре принесли ему известность, Бюрнио еще долгие годы (до 1937 года) оставался на преподавательской работе. Впечатления детства и юности, опыт фронтовика, тесное общение с трудовым людом Бельгии дали богатый материал Бюрнио — романисту и автору повестей и рассказов.

В 1923 году его роман «Фильм в пламени» заинтересовал Жана Ришара Блока, занимавшего в то время пост одного из руководителей парижского издательства «Ридер». Блок предложил молодому бельгийскому литератору присылать ему свои новые рукописи и в 1925 году издал «школьный роман» Бюрнио «Глупость». Сотрудничество с популярным и авторитетным французским издательством продолжалось до начала второй мировой войны, что значительно расширило круг читательской аудитории бельгийского писателя.

В годы фашистской оккупации Бюрнио не публиковал своих произведений, так как не желал входить в какой-либо контакт с оккупационными властями: для публикации требовалось получить разрешение. В 1945 году Бюрнио был избран в бельгийскую Королевскую академию. В послевоенные годы он продолжал писать романы и рассказы, часто выступал в печати как литературный критик.

В количественном отношении поэтические сборники Бюрнио занимают весьма скромное место по сравнению с его прозой, однако поэзия для него отнюдь не была временным увлечением: она сопутствовала ему на протяжении всей его жизни. Первая книга стихов вышла в Брюсселе в 1927 году. За нею в разные годы последовали еще четыре сборника стихотворений. Наиболее полно его стихи представлены в объемистой книге, изданной в 1965 году «Университетским издательством» в Париже («Стихи, 1922—1963»). Предисловие к этой книге написано одним из ведущих французских критиков Ивом Гандоном, чье имя хорошо известно в нашей стране. «Стихи Бюрнио,— говорит автор предисловия,— поэтизируют обыденное, стремятся с наибольшей ясностью отразить помыслы и страсти простой человеческой души». И далее: «Я задаю себе вопрос, чье влияние он мог на себе испытать, и не обнаруживаю этого влияния».

КОНСТАН БЮРНИО — CONSTANT BURNIAUX (1892—1975).

Бельгийский поэт, романист, литературный критик. Основные сборники его стихотворений: «Стихотворения в прозе 1918—1926» («Poèmes en prose 1918—1926»), «Стихотворения в прозе 1927—1929» («Poèmes en prose 1927—1929»), «Короткие волны» («Ondes courtes», 1951), «Путешествия» («Voyages», 1962).

В русском переводе его стихи печатались в антологиях «Из современной бельгийской поэзии» («Прогресс», 1965), «Европейская поэзия XX в.» (БВЛ, 1977).

Публикуемая подборка составлена из стихотворений сборника «Стихи» («Poèmes 1922—1963». Paris, Editions universitaires, 1965).

Видный бельгийский поэт и литературный критик Альбер Эгпарс писал о поэзии Бюрнио: «До Превера и Десноса он первый, быть может, из тех, кто вернул народному языку его блеск и поэтическое значение».

Упоминание Жака Превера здесь не случайно: по форме, а порою и по интонации стихи Бюрнио чем-то напоминают поэзию Превера; между тем Бюрнио выступил в печати значительно раньше французского поэта, а Превер вряд ли был знаком со стихами Бюрнио, когда в 1946 году опубликовал свой первый поэтический сборник. Видимо, можно найти объяснение подобному сходству, но главное другое: Констан Бюрнио сумел найти свой путь в поэзии.

Ветер

Ветер,
запомните, дети,
всех больше на свете:
он великан, что нетвердой походкой
шагает по нашей планете.

Ветер —
небесный торговый агент,
и Фландрию даже,
когда б в распродажу
пустили ее,
он бы продал в момент.

Ветер —
любовник стихии морской:
ее он ласкает,
пьянит, постигает,
сплетает ей космы
и расплетает,
лишает покоя,
дарует покой.

Ветер
имеет великое множество рук,
и что бы ни встретил
на белом свете
ветер,
что ни заметил бы вдруг —
будь это юбки,
ветки, прически,
будь это знамена,
наряды, обноски,—
он ищет тайну,
тайну Планеты,
которая кружит, кружит без света,
во мраке времени кружит,
свершая
свой путь в пространстве,
за кругом круг.

Осень

Вот и осень,
чуть-чуть постаревшая осень.
И все же она
еще переменчива,
очень красива
и безрассудства полна.
Вот и осень, чье призрачно время
и обманчива тишина.

Вот и осень.
Ее вечера надушились
ароматами леса, пожелтевшего вдруг,
ароматами, что подо мхом притаились
и порой остаются на пальцах рук.

Вот и осень, друзья!
Редкие краски
и белые длинные ленты
солнце на небеса надевает,
а потом
на пруды их роняет.

Все чувства людские
в смятенье: ведь это...
осень,
романтичная и беспокойная осень,
что умереть бы хотела
и хотела бы жить
и все краски свои сохранить,
все плоды
и всю пылкость минувшего лета.
Это осень.
Она надевает
старые платья желтого цвета,
а потом на ветру их срывает
и сетует горько о том,
что жизнь безвозвратно теряет —
листок за листком,
мечту за мечтой,
покуда не станет
деревом голым
возле пруда,
куда
никогда
никто не придет...
Это осень.

Еще о самоубийстве

Вечное одиночество
и вечные страхи вокруг:
страх перед этим,
страх перед тем,
страх перед всем,
что случается вдруг.

Тот, кто себе на уме,
одиночества не отвергает:
он уходит в него,
укрывается в нем,
в глубине его пребывает.
Там, за ширмами,
там, позади декораций,
есть возможность с самим собой повстречаться,
самого себя похвалить
и, не покидая стула,
перечитать Верлена или Катулла...
Это верное средство.

Или можно молчать,
слушать жизнь, что мимо проходит,
смотреть на нее,
насмехаться над ней,
всех людей презирать
и затем начать погружаться все глубже и глубже
в одиночество,
к самому дну устремляясь...
Песок там? А может быть, тина?
Это медленное самоубийство.
Остается одно только «я».
Остается в конечном итоге ничто.
Восхитительная картина!

Радость

Радость в те годы девчонкой была,
девчонкой, никогда не ходившей в школу.
Она умела только смеяться,
и она по жизни порхала
подобно желанью,
желанью все совершить
и потом начать все сначала.

Радость в те годы девчонкой была,
у нее были ярко-красные губы,
белые зубы
и кожа
тоже
очень бела;
так бела, что волки,
черные волки
(те, что нарисованы на картинке, конечно),
волки, выходившие из лесу ночью,
рассердились очень
и загнали радость
в лесную чащу.

Начался переполох настоящий.
Принялись радость искать.
«Радость! Радость!
Куда ты девалась?» —
стали громко кричать.
В самом деле,
неужто в лесу ее съели,
как Красную Шапочку
и старушку-бабушку?

Люди,
слыхавшие всякие толки
о том, как ведут себя волки,
убили их всех,
чтобы радость найти.

Однако радость хорошо укрылась,
не была она съедена
и не сбилась с пути.

Она возвратилась
вполне удачно
и в пляс пустилась,
но с видом мрачным,
пустилась в пляс,
но была грустна,
потому что страх испытала она,
и страх оставил в ней привкус горя;
она истеричною стала
и вскоре,
хотя совсем еще юной была,
в один прескверный день умерла.

Зимняя песня

Постоянно картина одна и та же:
голые деревья,
дома на страже;
постоянно острие колокольни,
постоянно голуби те же,
которые крыльями режут
серый воздух;
и постоянно
в глубине души,
где дороги просты и цветы хороши,
задыхающиеся желанья,
неизменные эти желанья,
что волнуют и дразнят кровь
жаром
своего
дыханья.

Безрассудство!
Когда б ты явилось сюда,
босоногое, пылкое,
дверь я открыл бы тебе
и тогда
ничего вокруг бы не видел,
кроме глаз влекущих твоих.
Безрассудство!
Когда б ты проникло сюда,
здесь бы все засверкало,
все бы новым и светлым стало...
Но сюда не являлось ты никогда.

Не пейзаж ли унылый
встал у тебя на дороге,
пейзаж геометрический
строгий,
узкие улицы,
по которым тебе
пришлось бы идти,
номера на домах,
неживые глазницы окон —
все, что нас окружает на нашем пути?

Нет!
Я чувствую, ты не придешь!
К нам дороги тебе не найти.
Далека та страна,
где ты обитаешь,
и долго
путешествие длится: визы, границы...
Слишком трудно добраться сюда,
чтоб нарушить семейный покой.

Вечер встал на колени

На земле, где сгущаются тени,
вечер встал на колени
и начал молиться за тех,
кто не знает утех,
за усталых,
бездомных,
за всех,
кто согнулся под бременем вечных лишений.
Вечер встал на колени
и начал молиться
за матерей, потерявших надежду,
за отцов, что не могут семью прокормить,
и за тех, кто рваную носит одежду,
не способную их от холодного ветра укрыть.
Вечер начал молиться за тех,
кто так тяжко трудился,
кто усталым домой возвратился,
кто знакомой дорогой бредет
к богоматери вечных тревог и забот,
к богоматери скорбной,
с увядшим лицом,
что сама защиты и помощи ждет.
Добрый вечер,
молитесь за них
и молитесь за нас!
Тихий вечер, покуда последний огонь не погас,
за несчастных молитесь, встав на колени,
на земле, где сгущаются тени.

■

КУДИНОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ (род. в 1922 г.).

Советский поэт и переводчик. Автор трех книг стихов для детей. В его переводе опубликованы сборники стихов французских и бельгийских поэтов: Гийома Аполлинера, Блэза Сандрара, Жака Превера, Робера Десноса, Рэмона Кено, Жана Тардье, Андре Френо, Мориса Карема. «Иностранная литература» публиковала его переводы из Жерара де Нерваля (№ 1, 1974), Тристана Корбьера (№ 8, 1976), Норжа (№ 9, 1978).

ИРВИН ШОУ

Богач, бедняк...

РОМАН

Перевод с английского ИДЫ БАСАВИНОЙ

Глава 9

I

Дом Бойлана высился темной громадой, зато внизу, под холмом, Порт-Филип светился огнями, в небо взмывали ракеты фейерверка — сегодня утром немцы капитулировали.

Томас и Клод уже успели побродить по заполненному ликующей толпой городу, они видели, как на улицах девушки целуют солдат и матросов и люди выносят из домов бутылки виски, распивают их прямо на мостовой. В Томасе нарастало чувство отвращения: мужчины, в течение четырех лет всячески увиливавшие от призыва в армию, клерки, носившие военную форму, но при этом ни разу не уезжавшие дальше ста миль от собственного дома, торгаши, за время войны нажившие на черном рынке целое состояние,— все целовались, орали и радостно дули виски, точно именно они собственноручно убили Гитлера.

— Скоты,— сказал он Клоду, глядя на толпу.— Ох, я бы им показал!..

— Верно,— согласился Клод.— Нам надо отпраздновать это событие по-своему, устроить маленький фейерверк.— Он снял очки и задумчиво покусывал дужку — верный признак того, что он вынашивал новую каверзную затею. Томас хорошо знал своего приятеля, но сегодня был не склонен идти на риск. Глупо в такой день затевать драки с солдатами, да и стычка со штатскими тоже будет не к месту.

Наконец Клод изложил свой план. И Томас согласился, что придумано неплохо.

И вот сейчас они шагали по поместью Бойлана. Том нес жестяную банку с бензином, а Клод — мешочек с гвоздями, молоток и охапку ветоши. Они дошли до полуразрушенной оранжереи, стоявшей на самой вершине холма. Из-за пыльных, зияющих дырами стеклянных стен тянуло гнилью. Рядом валялись длинные сухие доски и ржавая лопата — ребята приметили это еще раньше, во время одной из своих вылазок. Томас взял лопату и начал копать, а Клод выбрал две большие доски и, сколотив из них крест, полил его бензином. Затем они вдвоем вставили крест одним концом в выкопанное углубление. Том засыпал ямку и крепко утрамбовал землю, чтобы крест не шатался. Клод смочил ветошь остатками бензина и сложил ее в кучку у подножья креста.

Том двигался спокойно, неторопливо. Ему вовсе не казалось, что он совершает что-то значительное. Просто в очередной раз поиздевается над этими взрослыми идиотами, которые сейчас ликуют там внизу. Ну и, конечно, приятно, что этот аттракцион он устраивает на земле Бойлана — будет знать, наглец! Зато Клод был необычайно возбужден. Он прерывисто дышал, точно ему не хватало воздуха, сопел и брызгал слюной, то и дело протирал запотевшие очки. Для него эта затея была исполнена глубочайшего символического смысла — наплевать ему на дядю-священника и на отца, который заставляет его каждое воскресенье ходить к обедне, читает нравоучения о смертном грехе и советует держаться подальше от распущенных протестанток, дабы остаться чистым в глазах Иисуса Христа!

— Готово,— тихо сказал Томас, отходя в сторону.

Продолжение. Начало см. в № 8.

Дрожащими руками Клод зажег спичку и поднес ее к пропитанной бензином ветоши. Она тотчас вспыхнула. И вдруг, пронзительно вскрикнув, Клод бросился бежать. Одна рука у него пылала огнем, и он несся не разбирая дороги. Томас кинулся за ним с криком, чтобы он остановился, но Клод продолжал бежать как одержимый. Наконец Томас нагнал его, схватил, толкнул на землю и, жертвуя свитером, всей тяжестью навалился ему на руку.

Через минуту все было кончено. Клод лежал на спине и, придерживая обожженную руку, жалобно скулил, не в силах произнести ни слова.

Томас встал и посмотрел на своего друга, распростертого на земле. Во что бы то ни стало необходимо как можно скорее убраться с холма: с минуты на минуту сюда прибегут люди.

— Вставай, болван,— сказал он, но Клод с остановившимися от боли глазами только перекатывался с боку на бок. Том нагнулся, взвалил его себе на спину и, ломая на своем пути кусты, устремился по склону холма вниз, к садовой калитке.

— О господи, господи Иисусе! Матерь божья! — причитал Клод.

Томас бежал, спотыкаясь под тяжестью своего друга. Его преследовал неприятный, тяжелый запах. Это же пахнет горелым мясом, сообразил он.

II

Аксель Джордах, преодолевая течение, греб к середине реки. Сегодня он вышел на лодке не для того, чтобы поупражняться, а чтобы не видеть людей. Он решил в эту ночь устроить себе выходной — первый выходной с двадцать четвертого года. Пусть его покупатели едят завтра хлеб фабричной выпечки. Что ни говори, а немецкая армия не каждый день терпит поражения — последний раз такое случилось целых двадцать семь лет назад.

На реке было прохладно, но Акселю было тепло в старом толстом синем свитере, сохранившемся еще с тех времен, когда он служил палубным матросом. Кроме того, он захватил с собой бутылку виски, чтобы согреться и заодно выпить за здоровье идиотов, которые вновь превратили Германию в руины. Джордах не был патриотом ни одной страны, а уж ту землю, на которой родился, он просто ненавидел: это она сделала его на всю жизнь хромым, отняла возможность получить образование, изгнала на чужбину и вызвала в нем крайнее отвращение к любой политике, ко всем политиканам, генералам, священникам, министрам, президентам, королям и диктаторам, к любым завоеваниям и поражениям, любым кандидатам и любым партиям. Он был доволен, что Германия проиграла войну, но его отнюдь не радовало, что ее выиграла Америка.

Аксель думал о своем отце, богобоязненном семейном деспоте, мелком заводском служащем, который, воткнув в дуло ружья пучок цветов и горланя песни, отправился — «шагом марш!» — на фронт, бодрый тупой баран, пушечное мясо, чтобы погибнуть в Таннеберге, с гордостью сознавая, что у него остались двое сыновей, которые тоже скоро отправятся сражаться за «фатерланд», и жена! Впрочем, жена его вдовела меньше года. У нее хватило ума вскоре выйти замуж за какого-то адвоката, во время войны управлявшего доходными домами за Александерплац в Берлине.

Джордах поднес ко рту бутылку и выпил за ту огромную ненависть к Германии, которая вынудила его, тогда еще совсем молодого человека, демобилизованного калеку, покинуть родину и уехать за океан. Конечно, Америка тоже не рай, но здесь, по крайней мере; он и его сыновья остались живы и их дом пока не разрушен.

До него доносились отдаленные залпы маленькой пушки. В воде отражались вспышки ракет. Дураки, думал Джордах, чему радуются? Они никогда еще не жили так хорошо, как сейчас. Через пять лет им придется торговать яблоками на углах и рвать друг друга на части, стоя перед фабриками в очередях безработных. Если бы они хоть немного соображали, им сейчас следовало бы идти в церковь и молиться, чтобы японцы продержались еще лет десять.

Внезапно высоко на холме вспыхнул огонь, быстро принявший форму креста. Джордах расхохотался. Ничего не меняется! К черту победу! Веселись сегодня, а завтра — гори все синим пламенем! Америка есть Америка. Мы здесь, чтобы напомнить вам об истинном положении вещей.

Он снова отхлебнул виски, с удовольствием глядя на горящий над городом крест.

Я бы с радостью пожал руку тому, кто это устроил, подумал он.

III

На лужайке у школы толпились сотни девушек и парней. Они кричали, пели, целовались. Рудольф приложил трубу к губам и заиграл «Америку». Все на мгновенье притихли, затем хором запели. Не в силах стоять на месте, Рудольф зашагал, огибая лужайку по кругу. Ребята двинулись следом. Вскоре за ним маршировала целая процессия. Они вышли на улицу. Рудольф, продолжая играть, повел их за собой к Вандерхоф-стрит и остановился перед булочной. В честь своей матери он играл «Когда улыбаются глаза ирландки». Мать выглянула из окна спальни и, вытирая платком слезы, помахала ему. Хоть бы причесалась, огорченно подумал он. И, конечно же, как всегда, с сигаретой! В подвале свет не горел — значит, отца там нет. Впрочем, оно и к лучшему: он не смог бы выбрать подходящую мелодию для отца — действительно, что сыграть ветерану немецкой армии в такой день, как этот?

Закончив затейливой каденцией мелодию в честь матери, Рудольф повел процессию в центр города и сам не заметил, как оказался на улице, где жила мисс Лено. Он остановился и заиграл «Марсельезу», но мисс Лено не показалась. Из соседнего дома выбежала какая-то девушка с русой косичкой и, став рядом с Рудольфом, молча слушала.

Он сыграл второй раз, импровизируя, меняя ритм, добавляя собственные вариации. Труба то звучала победно громко, то нежно затихала. Наконец окно открылось, и оттуда выглянула мисс Лено в домашнем халате. Она посмотрела вниз, на улицу, Рудольф не мог различить выражение ее лица. Он шагнул поближе к фонарю, чтобы его самого было лучше видно, и, нацелив трубу прямо на мисс Лено, заиграл громко и звонко. Она не могла не узнать его. Несколько секунд она молча слушала, потом захлопнула окно и опустила жалюзи.

Французская шлюха, подумал он и закончил «Марсельезу» комичным плаксивым визгом. Когда он отнял трубу от губ, стоявшая рядом девушка обняла его и поцеловала. Вокруг закричали «Ура!», Рудольф улыбнулся. Поцелуй был прекрасен! Кстати, он ведь теперь знает, где эта девушка живет. Он снова приложил трубу к губам, и процессия, пританцовывая в такт музыке, двинулась дальше.

IV

Она закурила очередную сигарету. Одна в пустом доме, подумала она и плотно закрыла все окна, чтобы не слышать веселых криков, музыки и залпов фейерверка, доносившихся с улицы.

Ей нечего было праздновать. В этот день, когда мужья улыбались женам, дети — родителям, друзья — друзьям, когда даже вовсе незнакомые люди обнимались на улицах, никто ей не улыбнулся, никто ее не обнял.

Она поднялась в комнату дочери и зажгла свет. Все здесь было безукоризненно чистым, кровать заправлена тщательно выглаженным покрывалом, медная настольная лампа начищена до блеска, а на ярко-розовом туалетном столике аккуратно расставлены баночки и флакончики — средства для наведения красоты. Профессиональные ухищрения, с горечью подумала Мэри Джордах.

Она подошла к небольшому книжному шкафу и взяла толстый томик Шекспира. Конверт с деньгами лежал между теми же страницами «Макбета», куда Мэри их положила: ее дочь даже не удосужилась перепрятать деньги, хотя уже поняла, что матери все известно. Сняв с полки первую попавшуюся под руку книгу — антологию английской поэзии,— Мэри спрятала конверт с деньгами туда. Пусть немного поволнуется.

Она прошла в кухню. В раковине лежала грязная посуда, оставшаяся после ее одинокого ужина. Мэри открыла газ в духовке, потом подставила к плите стул, села, нагнувшись, и сунула голову в духовку. У газа был неприятный запах.

Прошло несколько минут. Голова у нее закружилась. Она отодвинулась от духовки и закрыла газ. Торопиться некуда.

Вошла в гостиную. В маленькой комнате пахло газом. Посредине на потертом рыжеватом ковре стоял квадратный дубовый стол с аккуратно приставленными к

нему четырьмя деревянными стульями. Она села за стол, вынула из кармана карандаш и, вырвав несколько листков из ученической тетради, в которой вела учет торговли в булочной, начала писать.

«Дорогая Гретхен! — написала она.— Я решила покончить с собой. Знаю — это смертный грех, но больше жить не могу. Это письмо пишет одна грешница другой. Пояснять, думаю, не требуется. Ты знаешь, о чем я говорю.

На нашей семье лежит проклятье — на мне, на тебе, на твоем отце и на твоем брате Томе. Только Рудольф как будто бы избежал его. А может, оно скажется на нем позже, но, слава Богу, я не доживу до того дня. До сих пор я скрывала от тебя, что я незаконнорожденная. Я никогда не видела ни своего отца, ни своей матери. Мне даже страшно подумать, какую жизнь, должно быть, вела моя мать и как низко она пала.

Меня не удивит, если ты пойдешь по ее стопам и кончишь жизнь в канаве. Твой отец — животное. Ты спишь в соседней с нами комнате и поэтому понимаешь, что я имею в виду. Он — зверь. Были случаи, когда я думала, он убьет меня. А однажды я собственными глазами видела, как он чуть не до смерти избил человека, который задолжал в булочной восемь долларов. Твой брат Томас — воистину сын своего отца. Не удивляйся, если он когда-нибудь попадет в тюрьму или с ним случится что-нибудь еще хуже. Я живу в клетке с тиграми.

Наверное, я тоже виновата. Я оказалась слишком слабой, позволила отцу отвратить меня от церкви и сделать из моих детей безбожников. Я страшно уставала, и у меня не хватало сил любить тебя и защитить от отца и его влияния. Ты же всегда была такой чистой, аккуратной и так хорошо вела себя, что это усыпило мои страхи. А в результате случилось то, о чем ты знаешь лучше меня. В жилах твоих течет дурная кровь, и ты грешна по природе. В комнате у тебя чистота и порядок, но душа твоя грязна, как конюшня. Отцу следовало бы жениться на такой, как ты, потому что вы с ним два сапога—пара. Последнее мое желание: уезжай поскорее из дома, чтобы своим примером не испортить Рудольфа. Если из этой ужасной семьи выйдет хоть один порядочный человек, быть может, Господь простит прегрешения остальных».

Музыка и радостные крики на улице звучали все громче. Потом Мэри услышала звуки трубы и узнала их. Под окном играл Рудольф. Она встала из-за стола, подошла к окну и открыла его. Да, это был он, ее сын, а за ним, казалось, толпились тысячи парней и девушек. Сын играл для нее «Когда улыбаются глаза ирландки».

Она помахала ему рукой, чувствуя, как по ее щекам катятся слезы. Помахав ей в ответ, Рудольф доиграл мелодию и повел свою процессию дальше.

Рыдая, Мэри снова опустилась на стул. Он спас мне жизнь, подумала она, мой чудесный сын спас мне жизнь!

Она разорвала письмо на мелкие клочки, прошла в кухню и, сложив обрывки бумаги в кастрюлю, сожгла их.

V

Как только по радио сообщили о капитуляции Германии, все ходячие раненые, не дожидаясь разрешения, надели форму и ушли из госпиталя. Однако вскоре многие вернулись с бутылками, и в общей комнате сейчас пахло, как в кабаке. Почачиваясь, они бродили по коридорам на костылях или ездили в инвалидных колясках и горланили песни. После ужина праздник переродился в пьяный дебош: они били палками окна, срывали со стен плакаты, рвали книги и журналы, превращая их в горсти конфетти.

Одна из сестер подошла к двери и кивком головы подозвала Гретхен.

— Тебе, пожалуй, лучше уйти отсюда,— посоветовала она тихим встревоженным голосом.— Скоро они совсем распоясутся.

Из комнаты послышался звон разбитого стекла. Какой-то солдат бросил в окно пустую бутылку. Потом схватил металлическую корзину для мусора и вышвырнул ее в другое окно.

— Хорошо еще, что у них нет оружия,— заметила сестра.— Иди домой, а завтра утром придешь, поможешь здесь убрать.

Перед тем как уйти, Гретхен зашла в палату для тяжелораненых. В слабо освещенной комнате было тихо. Большинство коек пустовало. Она подошла к послед-

ней в ряду койке, где лежал Толбет Хьюз. Рядом с кроватью стояла капельница с глюкозой. На его изможденном лице лихорадочно горели широко открытые, огромные глаза. Он узнал ее и улыбнулся. Гретхен тоже улыбнулась и присела на край кровати. За последние сутки он заметно похудел. Врач сказал Гретхен, что парню не протянуть больше недели.

— Хочешь, я тебе почитаю? — спросила она.

Толбет отрицательно покачал головой и взял ее за руку. Ладонь у него была хрупкая, как птичья лапка. Он снова улыбнулся и закрыл глаза. Гретхен сидела не шевелясь, пока он не заснул. Затем потихоньку вышла из палаты.

Чувствуя себя совсем разбитой, она устало направилась к автобусной остановке. Она стояла под фонарем и, поглядывая на часы, ждала. Может, шоферы автобусов тоже сейчас празднуют победу? Чуть подальше в тени дерева укрылась какая-то машина. Внезапно она тронулась с места и подъехала к остановке. Гретхен узнала «бьюик» Бойлана. У нее мелькнула тревожная мысль: а не вернуться ли в госпиталь?

— Могу я вас подвести, мадам? — Бойлан открыл дверцу.

— Нет, спасибо.

Они не виделись почти целый месяц с того вечера, когда ездили в Нью-Йорк. За это время она получила от него два письма с просьбой о встрече, но ни на одно не ответила.

Она ринулась прочь от машины. Бойлан вылез и догнал ее.

— Поехали ко мне,— глухо сказал он, беря ее за руку.— Сейчас же.

— Пусти.— Она резко выдернула руку.

— Хорошо, тогда я скажу то, что собирался. Я хочу на тебе жениться.

Гретхен громко расхохоталась. Она сама не знала почему. Может, от неожиданности.

— Я серьезно говорю, я хочу на тебе жениться,— повторил Бойлан.

— Знаешь, поезжай-ка ты лучше на свою Ямайку, а я буду тебе писать. Адрес можешь оставить у моего секретаря. Извини, это мой автобус.

Едва дверь автобуса открылась, она вскочила в него. Ее била дрожь. Если бы не подошел автобус, она сказала бы Бойлану «да», она бы вышла за него замуж.

VI

Клод сидел сзади, держась за Тома здоровой рукой, а Том вел мотоцикл по узкой проселочной дороге. Конечно, Том не мог определить, насколько серьезно обгорел Клод, но понимал, что надо немедленно предпринять какие-то меры. Конечно, в больницу его везти нельзя: сразу начнут расспрашивать, как это произошло, и не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы установить связь между его обожженной рукой и крестом, горящим в усадьбе Бойлана. И, уж конечно, Клод не возьмет всю вину на себя. Он не из тех героев, что умирают под пытками, но не выдают тайны.

— Послушай,— сказал Том, притормозив,— у вашей семьи есть домашний доктор?

— Да,— ответил Клод.— Мой дядя.

— Где он живет?

Клод еле слышно пробормотал адрес. Он был так испуган, что с трудом говорил. Стараясь держаться подальше от основных дорог, Том подъехал к большому дому на окраине города. На воротах была табличка «Доктор Роберт Тинкер»; Том остановил мотоцикл и помог Клоду слезть.

— Вот что, ты пойдешь туда один. Понял? Можешь говорить своему дяде что угодно, но обо мне ни слова, ясно? И лучше, если утром твой отец отправит тебя подальше от Порт-Филипа, потому что завтра в городе такое будет твориться!.. Стоит кому-нибудь увидеть тебя с забинтованной рукой, через десять секунд от тебя мокрое место останется.

Вместо ответа Клод застонал и привалился к плечу Тома.

Том оттолкнул его.

— Стой на ногах, будь мужчиной,— сказал он.— А сейчас иди и постарайся, чтобы, кроме дяди, тебя никто не видел. Если я узнаю, что ты продал меня, убью.

— Том! — захныкал Клод.

— Ты меня слышал. Я убью тебя, ты прекрасно знаешь, что я не шучу.— Он подтолкнул Клода к дому.

Клод, спотыкаясь, вошел во двор и поднялся на крыльцо. Том, не дожидаясь, когда он войдет, сел на мотоцикл и уехал. Над городом все еще полыхал крест.

Том спустился к реке и снял свитер, от которого тошнотворно пахло паленой шерстью. Он нашел камень, завернул его в свитер и швырнул узел в воду. Было жаль расставаться со свитером — он приносил Тому удачу. Однако бывают такие случаи, как сейчас, когда лучше отделаться от любимых вещей.

Глава 6

I

Немецкая еда, подумала Мэри Джордах, глядя, как Аксель выносит из кухни блюдо с жареным гусем, красной капустой и клецками. Иммигрант!

Она не помнила, когда еще видела мужа в таком хорошем настроении. Падение третьего рейха сделало его веселым и щедрым. Он жадно проглядывал газеты и фыркал от смеха над фотографиями немецких генералов, подписывавших в Реймсе документы о капитуляции. Сегодня было воскресенье и день рождения Рудольфа — ему исполнилось семнадцать лет. Джордах объявил, что они будут праздновать это событие. Ничьи дни рождения в семье никогда не отмечались. Он подарил Рудольфу прекрасный спиннинг. Бог знает сколько эта штука стоит! И Гретхен разрешил впредь оставлять себе половину жалованья, а не четверть, как раньше. Даже Томасу дал денег на новый свитер взамен старого, который, по его словам, Томас потерял. Если бы Германия терпела поражение каждую неделю, жизнь в доме Акселя Джордаха могла бы быть вполне сносной.

И вот они собрались за столом. Рудольф, смущенный виновник торжества, сидел очень прямо, на нем была белая рубашка с галстуком. Гретхен, в белой английской кружевной блузке с длинными рукавами, выглядела воплощением целомудрия. Блудница! Томас, со своей обычной плутовской ухмылкой, по случаю такого события был тщательно умыт и причесан. Со дня победы он поразительно изменился: приходил домой сразу после школы, все вечера сидел в своей комнате за уроками и даже, чего раньше никогда не бывало, помогал в булочной. У матери впервые появилась робкая надежда, что, возможно, замолкшие в Европе орудия каким-то чудом превратят Джордахов в нормальную семью.

II

Аксель с удовлетворением поставил на стол блюдо с гусем. Он готовил обед все утро, не разрешая жене появляться на кухне, но обходился без обычных в таких случаях оскорбительных замечаний о ее кулинарных способностях. Гуся он разделал довольно грубо, но со знанием дела и положил всем по здоровенному куску. Первую тарелку он поставил перед женой, чем весьма ее удивил. Вытащив две бутылки калифорнийского рислинга, он торжественно наполнил бокалы.

— За моего сына Рудольфа, за его день рождения,— хрипло провозгласил он.— Пусть он оправдает наши надежды, поднимется на вершину и не забудет нас.

Все выпили с серьезными лицами, хотя мать заметила, как Томас поморщился. Возможно, просто вино показалось ему слишком кислым.

Джордах не стал уточнять, на какую вершину должен подняться его сын. В этом не было необходимости. Вершина — это место для избранных, со своими ограничениями и привилегиями. Когда человек достигает вершины, он сразу это понимает — его славят те, чьи «кадиллаки» подкатили туда раньше.

III

Рудольф ел мало. На его вкус гусь был жирноват, а он знал, что от жирной пищи у него появляются прыщи. Капусту он тоже ел умеренно — сегодня сразу после обеда ему предстояло свидание с той девушкой, которая в день победы поцеловала его перед домом мисс Лено, и ему не хотелось, чтобы от него пахло капустой. И вино он лишь пригубил. Он давно решил, что никогда в жизни не позволит себе напиться. Он был намерен всегда держать себя в руках — и тело и разум.

А еще он решил, что никогда не женится,— пример его родителей был веским доводом в пользу такого решения.

На следующий день после победы он пошел на ту улицу, где жила поцеловавшая его девушка с русой косичкой, и стал прохаживаться перед ее домом. Как он и ожидал, через десять минут она вышла и помахала ему рукой. Она была приблизительно его возраста, с ясными голубыми глазами и открытой дружелюбной улыбкой человека, с которым никогда не случалось ничего плохого. Они прошлись немного, и через полчаса Рудольфу уже казалось, будто они знакомы всю жизнь. Она переехала в Порт-Филип из Коннектикута. Ее звали Джули. Отец ее имел какое-то отношение к электрокомпании, а старший брат служил в армии во Франции. Поэтому-то она и поцеловала Рудольфа в тот день — от радости, что война кончилась и брат остался жив. Ей нравились серьезные мальчики, а Рудольф, вне всякого сомнения, относился именно к таковым.

Рудольфу хотелось разделить родительскую уверенность в том, что он достигнет вершины. Он был умен, достаточно умен, чтобы понимать: ум сам по себе еще ничего не гарантирует. Для такого успеха, какого ждут от него отец и мать, нужно еще что-то — удача, происхождение, талант... Он пока не знал, удачлив ли он. Естественно, рассчитывать, что ему поможет происхождение, не приходилось. И он не знал, есть ли у него какой-нибудь талант.

Многое давалось ему легко. Например, он неплохо играл на трубе, но не обольщался, признавая, что двое ребят из их оркестра играют лучше. Он лучше всех в школе бегал на короткую дистанцию с препятствиями, но, пожалуй, учись он в хорошем колледже в большом городе, его могли бы не принять в команду. Сочинения он писал лучше Сэнди Хоупервуда, редактора их школьной газеты. И все же стоило прочитать хоть одну статью Сэнди, как сразу становилось ясно — рано или поздно он обязательно станет настоящим писателем.

У Рудольфа был единственный талант — всем нравиться. Он знал это и знал, что именно поэтому его три года подряд выбирали старостой класса. Он чувствовал, что это — не настоящий талант. Он сознательно старался нравиться, ему приходилось прилагать много усилий, чтобы ладить с людьми, делать вид, будто они его интересуют. Нет, умение нравиться — это не настоящий талант, думал он, потому что у него нет близких друзей и вообще, если честно признаться, он не очень-то любит людей. Даже его обычай утром и вечером целовать мать, а по воскресеньям ходить с ней на прогулки тоже был продуман: он делал это, чтобы вызывать у нее чувство благодарности и поддерживать впечатление о себе как о заботливом, любящем сыне. На самом же деле воскресные прогулки тяготили его, и он с трудом переносил, когда мать в ответ на его поцелуй гладила его,— хотя, конечно, он не подавал виду. В нем жило два человека: о существовании одного знал только он, а другого видели все.

Ему было известно, что мать, сестра и даже некоторые учителя считают его красивым, но сам он не был в этом уверен. Ему казалось, кожа у него чересчур смуглая, нос слишком длинный, скулы плоские, глаза недостаточно большие и излишне светлые для оливкового цвета кожи, а волосы черные, как у простолюдина. Он регулярно проглядывал фотографии в газетах и журналах, чтобы знать, как одеваются ребята из хороших школ, а также студенты колледжей, таких, как Гарвард и Принстон. Пытался им подражать, конечно насколько позволял его бюджет, но понимал: пригласи его на вечеринку студенты-первокурсники, сразу станет ясно, что он просто провинциал, корчащий из себя бог знает что.

С девушками он был застенчив и еще ни разу не влюблялся, если, конечно, не считать глупой истории с мисс Лено. Он делал вид, будто девушки его не интересуют: у него, мол, есть дело поважнее, чем вся эта детская ерунда вроде свиданий, флирта и поцелуев. В действительности же он просто боялся, вдруг какая-нибудь из них догадается, что, несмотря на все его высокомерие и светские манеры, он просто неопытный и смешной мальчик.

В какой-то степени он завидовал своему брату. Томас жил как ему хотелось, не считаясь ни с чьим мнением. У него был настоящий талант — жестокость. Одни его боялись, другие ненавидели, и уж конечно никто не любил, но зато его не мучили сомнения, какой надеть галстук или как отвечать на уроке английского языка. Он был цельной натурой и если уж что-либо делал, то предварительно не занимался скрупулезным самокопанием, взвешивая каждый шаг.

— Гусь замечательный, пап,— сказал Рудольф, зная, что отец ждет от него комплимента.— Удался на славу.— И хотя он съел уже больше, чем хотел, все же протянул тарелку за добавкой.

IV

Гретхен ела молча. «Когда сказать им, как выбрать самый подходящий момент?» — думала она.

В пятницу ее вызвал к себе начальник отдела мистер Хатченс и после небольшой вступительной речи о том, какой она хороший и добросовестный работник, сообщил, что получил приказ уволить ее и еще одну девушку. Он сказал, что ходил к управляющему и протестовал, но, к сожалению, это ничего не дало. Управляющий сказал, что в связи с окончанием войны в Европе в производстве ожидается спад, и они вынуждены экономить, сокращая штаты. Гретхен и та, другая девушка были приняты на работу последними и, естественно, первыми подлежали увольнению. Мистер Хатченс очень волновался, говоря ей все это. Даже достал платок и трубно высморкался, как бы доказывая, что он тут ни при чем.

Гретхен пришлось утешить мистера Хатченса. Она сказала ему, что и не собиралась всю жизнь работать на «Кирпич и черепицу Бойлана» и понимает, почему ее увольняют в первую очередь. Но она не сказала мистеру Хатченсу об истинной причине увольнения и чувствовала себя виноватой перед другой девушкой, которую принесли в жертву, чтобы замаскировать этот акт мести Тедди Бойлана.

V

Ко дню рождения сына Джордах испек торт. На сахарной глазури горело восемнадцать свечей — семнадцать и еще одна, чтобы Рудольф продолжал расти. Когда Аксель внес торт в комнату и все уже начали петь «С днем рождения», в дверь позвонили. Пение прервалось на полуслове. Звонок в доме Джордахов почти никогда не звенел. Никто не приходил к ним в гости, а почтальон опускал почту в прорезь в дверях.

— Что за черт? — недовольно проворчал Джордах. Он враждебно реагировал на любые неожиданности, словно за ними обязательно крылись неприятности.

— Пойду посмотрю,— сказала Гретхен, уверенная, что это Бойлан: от него всего можно ожидать.

Открыв дверь, она увидела двоих мужчин. Она знала обоих. Мистер Тинкер работал на фабрике Бойлана, а его брата — священника, краснолицего толстяка, похожего на портового грузчика, по ошибке выбравшего не ту профессию, знал весь город.

— Добрый день, мисс Джордах,— сказал Тинкер, приподнимая шляпу.

— Здравствуйте, мистер Тинкер. Здравствуйте, святой отец, — поздоровалась Гретхен.

— Надеюсь, мы вам не помешаем? — Голос Тинкера звучал торжественно и солидно, солиднее, чем голос его посвященного в духовный сан брата. — Нам необходимо поговорить с вашим отцом по очень важному делу. Он дома?

— Да, проходите, я сейчас его позову,— сказала Гретхен. Мужчины вошли в темный коридор и быстро закрыли за собой дверь, словно боялись, что их увидят с улицы. Гретхен зажгла свет и поднялась в гостиную.

Рудольф разрезал торт. Все вопросительно взглянули на Гретхен.

— Это мистер Тинкер и его брат, священник. Они хотят с тобой поговорить, папа.

Томас причмокнул языком, словно у него между зубами застрял кусочек пищи.

— Только священника нам и не хватало, — раздраженно сказал Джордах, отодвигаясь от стола. — Эти сволочи даже в воскресенье не могут оставить человека в покое.— Но все же он встал и вышел из комнаты. Они слышали, как он, прихрамывая, тяжелыми шагами спускается с лестницы. — Ну, джентльмены,— не здороваясь, обратился он к мужчинам, стоявшим в коридоре, тускло освещенном сорокасвечовой лампочкой, — какое это у вас такое срочное дело, что вам обязательно надо оторвать рабочего человека от воскресного обеда?

— Мистер Джордах,— сказал Тинкер,— могли бы мы поговорить с глазу на глаз?

— А чем здесь плохо? — ответил Джордах, стоя на ступеньке и продолжая жевать торт. В коридоре пахло жареным гусем.

Тинкер взглянул наверх:

— Мне бы не хотелось, чтобы нас слышали.

— Насколько мне известно, у нас с вами нет никаких секретов — пусть слушает хоть весь этот чертов город. Я вам денег не должен, вы мне — тоже.— Тем не менее он открыл дверь на улицу и провел мистера Тинкера и его брата за собой в булочную.

VI

Мэри Джордах ждала, когда закипит кофе. Рудольф то и дело поглядывал на часы, боясь опоздать на свидание. Томас, откинувшись на спинку стула, мурлыкал себе под нос что-то невразумительное и отбивал навязчивый ритм вилкой по стакану.

— Перестань, пожалуйста,— попросила мать.— У меня от твоего стука голова разболелась.

— Извини,— ответил Томас,— к следующему своему концерту я научусь играть на трубе.

Хоть бы раз ответил вежливо, подумала Мэри, а вслух раздраженно сказала:

— Что они там внизу застряли? В кои-то веки у нас нормальный семейный обед... — Она укоризненно поглядела на Гретхен. — Ты ведь работаешь вместе с мистером Тинкером. Что-нибудь натворила?

— Вероятно, они обнаружили, что я украла кирпич,— сказала Гретхен.

— В этом доме даже один день не могут вести себя вежливо, — проговорила мать и с видом мученицы удалилась на кухню.

В комнату вошел Джордах. Лицо его ничего не выражало.

— Том, спустись вниз,— сказал он.

VII

— Добрый день, мистер Тинкер. Добрый день, святой отец,— с открытой мальчишеской улыбкой поздоровался Томас, входя в булочную.

— Скажите ему то, что вы сказали мне,— потребовал Джордах.

— Сын мой,— повернулся к Тому священник,— нам все известно. Клод во всем признался своему дяде, и он поступил совершенно правильно. Признание ведет к раскаянию, а раскаяние — к прощению...

— Оставьте всю эту ерунду для воскресной школы, — оборвал его Джордах. Он стоял, прислонясь спиной к двери, точно боялся, как бы кто из них не убежал.

Том слушал молча. На губах его играла улыбка, как перед дракой.

— Говори, это ты сделал? — обратился к нему Аксель.

— Я,— ответил тот. «Ну попадись мне только эта трусливая сволочь Клод»,— думал он.

— Ты представляешь себе, сын мой, — продолжал священник, — что будет с твоей семьей и семьей Клода, если станет известно, кто поджег крест в такой день?

— Вас выдворят из города, вот что будет! — возбужденно вмешался мистер Тинкер. — Твой отец не сможет даже бесплатно сбыть ни буханки хлеба. В городе помнят, что вы иностранцы. Немцы!

— Ну, началось,— сказал Джордах.— Звездно-полосатый флаг, самый лучший!..

— Факты есть факты, — заметил мистер Тинкер, — и от них никуда не денешься. Больше того, если Бойлан узнает, кто поджег его оранжерею, он нас всех засудит. Наймет ловкого адвоката, и тот докажет, что эта старая оранжерея была ценнейшей недвижимой собственностью. — Он потряс кулаком. — Вам с Клодом что, вы несовершеннолетние. Это мы с твоим отцом будем расплачиваться за все! Сбережения всей нашей жизни...

Томас видел, как отец судорожно сжимает кулаки, точно хочет схватить его за горло и задушить.

— Успокойся, Джон, — сказал священник Тинкеру. — Зачем расстраивать мальчика еще больше? Будем надеяться, что его здравый смысл спасет нас всех, — и, повернувшись к Тому, добавил: — Я не стану тебя спрашивать, какой нечистый тебя попутал подбить нашего Клода на это богомерзкое дело...

— Он сказал, что это я придумал? — удивился Том.

— Такому мальчику, как Клод, — ответил священник, — воспитанному в христианской семье, каждое воскресенье ходившему в церковь, никогда бы и в голову не пришла столь отвратительная затея.

— Ладно, — буркнул Томас. Черт возьми, он еще доберется до Клода.

— К счастью, — продолжал священник, — когда в тот ужасный вечер он пришел с покалеченной рукой к своему дяде, доктору Роберту Тинкеру, в доме больше никого не было. Доктор Тинкер оказал мальчику необходимую медицинскую помощь и заставил рассказать, как все случилось, а потом отвез его домой на своей машине. Слава всевышнему, их никто не видел. Но у Клода очень сильные ожоги, и ему придется ходить с повязкой по крайней мере недели три. Дома ему на это время оставаться, естественно, нельзя: горничная может что-нибудь заподозрить, или зайдет навестить кто-нибудь из его сердобольных школьных товарищей...

— О господи, Энтони, перестань читать проповедь, — прервал брата мистер Тинкер. Его побледневшее лицо дергалось, а глаза налились кровью. Он шагнул к Томасу. — Вчера вечером мы отвезли этого мерзавца в Нью-Йорк, а сегодня утром посадили на калифорнийский самолет. В Сан-Франциско живет его тетя. Он побудет у нее, пока не поправится, а потом уедет учиться в военное училище и, по мне, пускай хоть до самой смерти не появляется в Порт-Филипе. Твоему отцу, если у него есть голова на плечах, тоже следует немедленно отправить тебя из города и как можно дальше, где никто тебя не знает и не будет задавать никаких вопросов.

— Пусть это вас не беспокоит, — сказал Джордах. — Сегодня к вечеру его здесь уже не будет. А теперь проваливайте отсюда. Вы мне оба порядком надоели.

Он захлопнул за ними дверь и обернулся к Томасу:

— Что, достукался, подлец? Ну, я научу тебя уму-разуму, чтобы это дошло до твоего сознания. — Прихрамывая, он подошел к нему и замахнулся кулаком. Удар пришелся Томасу по макушке. Он пошатнулся, но тут же инстинктивно сделал выпад и правой рукой молниеносно нанес отцу сильнейший удар в висок. Аксель покачнулся, выставил вперед руку, но не упал. Он с изумлением смотрел на сына, голубые глаза которого горели лютой ненавистью.

— Ну давай, бей, — презрительно сказал Томас. — Сыночек больше не ударит своего храброго папочку.

Джордах размахнулся и ударил его еще раз. Левая щека у Томаса тут же вздулась и побагровела, но он продолжал улыбаться.

Аксель уронил руки. Этот удар был символическим и только. Бессмысленно, подумал он как в тумане. Ох, сыновья...

— Ладно, — сказал он. — Кончено. Рудольф проводит тебя до вокзала и посадит в первый поезд до Олбани. Там ты пересядешь и поедешь в Огайо к моему брату. Я позвоню ему, и он будет тебя ждать. Поедешь без вещей. Я не хочу, чтобы тебя видели с чемоданом.

Они вышли из булочной. Томас заморгал, ослепленный солнцем.

— Подожди здесь. Я скажу Рудольфу, чтобы он спустился. У меня нет ни малейшего желания устраивать тебе прощание с матерью. — Джордах запер дверь булочной и проковылял в дом.

VIII

Через десять минут Аксель вернулся вместе с Рудольфом, который нес зеленоватый в полоску пиджак от единственного костюма Томаса, купленного два года назад. Костюм был ему уже мал. Томас не мог в нем свободно двигаться, а руки торчали из узких рукавов.

Рудольф расширенными от удивления глазами взглянул на вздувшуюся щеку брата. У отца был больной вид, смуглое лицо приобрело тускло-зеленый оттенок, веки припухли. И это всего лишь после одного удара, подумал Томас.

— Рудольф знает, что надо делать, — сказал Аксель. — Я дал ему денег. Вот адрес твоего дяди. — Он протянул Томасу клочок бумаги. — А теперь уходи, и чтобы я больше о тебе никогда не слышал.

— Что произошло, черт возьми? — спросил Рудольф, как только они завернули за угол.

— Ничего.

— Он тебя ударил. Ты бы видел, на кого ты сейчас похож.

— Да, это был потрясающий удар,— с издевкой заметил Том.— Он у нас первый претендент на титул чемпиона.

— Когда он поднялся наверх, у него был совсем больной вид.

— Я разочек ему врезал.— Томас ухмыльнулся, вспоминая недавний эпизод.

— Ты *ударил* его?

— А почему бы и нет? Для чего тогда вообще существуют отцы?

— Господи! И после этого ты еще жив?

— Как видишь.

— Теперь понятно, почему он хочет от тебя отделаться,— покачал головой Рудольф. Он был зол на брата: из-за него приходилось пропустить свидание с Джули.— Видимо, ты действительно наделал дел, если уж отец раскошелился на пятьдесят долларов тебе на дорогу.

— Я попался на шпионаже в пользу японцев,— безмятежно ответил Томас.

— Ну, ты даешь!

До автобусной остановки они дошли молча. Когда приехали на вокзал, Рудольф пошел за билетом. Отец предупредил, что никто не должен знать, куда отправляется Томас, поэтому билет надо брать только до Олбани, а там Том купит себе билет сам.

Когда Рудольф получал в кассе сдачу, у него мелькнула мысль взять билет и себе, но в противоположную сторону, до Нью-Йорка. Почему Томас должен первым уехать из дома? Но, конечно, никакого билета в Нью-Йорк Рудольф не купил.

Томас сидел на скамейке под деревом, вытянув перед собой широко расставленные ноги. Выглядел он совершенно спокойным, словно ничего особенного с ним не произошло. Рудольф огляделся вокруг и, убедившись, что на них никто не смотрит, протянул брату билет. Тот лениво взглянул на него.

— Спрячь, спрячь его,— быстро сказал Рудольф.— Вот тебе сдача — сорок два доллара пятьдесят центов. Насколько я понимаю, у тебя еще порядком останется после того, как ты купишь билет в Олбани.

Томас, не считая, сунул деньги в карман.

— У старика, наверное, кровь почернела, когда он доставал их из своего тайника. Ты случаем не видел, где он их прячет?

— Нет.

— Жаль. А то я мог бы как-нибудь темной ночкой вернуться и грабануть. Впрочем, если бы ты и знал, все равно бы не сказал. Не такой человек мой братец Рудольф!

Недалеко от них остановилась маленькая двухместная машина. Из нее вышла девушка в голубом платье и высокий загорелый лейтенант военно-воздушных сил. Они поднялись на платформу, остановились и поцеловались.

— Поцелуй меня, дорогая, я бомбил Токио! — воскликнул Том.

— Чего ради ты паясничаешь?

— Послушай, ты уже с кем-нибудь переспал? — поинтересовался Томас. В словах брата Рудольф услышал эхо вопроса, заданного отцом в тот день, когда он ударил мисс Лено, и это возмутило его.

— А тебе какое дело?

— Никакого,— пожал плечами брат.— Просто я подумал, что раз уж уезжаю надолго, может, нам не мешает поговорить по душам.

— Ну, если это тебя так интересует — нет, — натянуто ответил Рудольф.

— Я так и знал,— сказал Том.— На Маккинли-стрит есть одно заведение. Называется «У Алисы». Там можно взять за пять долларов приличную девчонку. Скажешь, тебя брат послал.

— Я о себе как-нибудь сам позабочусь, — ответил Рудольф. Он был на год старше Томаса, но тот вел себя так, что Рудольф чувствовал себя рядом с ним просто ребенком.

— А вот наша любимая сестрица занимается этим регулярно,— сказал Томас.— Ты это знаешь?

— Ее дело.— Но Рудольф был потрясен: Гретхен... такая чистая, аккуратная, вежливая...

— И догадайся с кем? — продолжал Томас. — С Теодором Бойланом.

— Откуда ты знаешь? — Рудольф был уверен, что Том врет.

— Я стоял у его дома и видел в окно, как он вошел в гостиную совсем голый, налил виски в два стакана и крикнул наверх, в спальню: «Гретхен, ты спустишься вниз или тебе принести виски наверх?» — Томас жеманно улыбался, подражая манере Бойлана.

— Но ты же не видел ее, — встал на защиту сестры Рудольф. — Может, это была не она.

— Сколько Гретхен ты знаешь в Порт-Филипе? — спросил Томас. — Кроме того, Клод Тинкер видел, как они ехали вдвоем на «бьюике» к Бойлану домой. Она встречается с ним у магазина Бернстайна в те часы, когда ей полагается ухаживать за ранеными в госпитале. Может, правда, Бойлана тоже ранило. Во время испано-американской войны.

— Боже мой, — прошептал Рудольф. — С таким страшилищем.

— Наверно, она что-то в этом находит? Это ей выгодно? — беззаботно сказал Томас. — Попробуй спроси ее.

— Ты говорил ей, что знаешь?

— Очень надо! Пусть себе получает удовольствие! Я подсматривал только ради смеха. Она для меня пустое место. — И он запел: — Тра-ля-ля, тра-ля-ля... Откуда берутся дети, мамочка?

Рудольф с недоумением смотрел на брата: откуда в нем так рано эта зрелая ненависть?

— Ну, мне пора. — Том встал. Они прошли на платформу, и, как только поезд остановился, Том вскочил на подножку.

— Послушай, — сказал Рудольф, — если тебе надо будет что-нибудь из дома, напиши. Я найду способ переслать.

— Мне отсюда ничего не надо, — отрезал Томас. Его бунт был окончательным и бескомпромиссным. По-детски круглое лицо сияло радостью, точно он ехал в цирк.

— Ну что ж, в таком случае желаю удачи, — неловко сказал Рудольф. Как бы там ни было, он все же его брат, и бог знает, когда они теперь увидятся.

— Кстати, я тебя поздравляю — теперь вся кровать в полном твоем распоряжении. Тебе больше не придется мириться с тем, что от меня несет, как от лесной зверюги. Смотри, не забывай надевать на ночь пижамку. — Он повернулся и, не оглядываясь, прошел в вагон. Поезд тронулся.

IX

Гретхен упаковывала чемодан. Старый потрепанный фибровый чемодан, в котором еще ее мать, приехав невестой в Порт-Филип, привезла свое приданое.

Напряженная атмосфера, воцарившаяся в доме и предвещавшая скандал, странное выражение в глазах отца, когда он вошел в гостиную и приказал Рудольфу идти с ним, — все это в конце концов подтолкнуло ее. Другого такого воскресенья, может, и не будет. Если уж уезжать, то лучше всего сегодня.

Она торопилась уйти до возвращения отца, хотя была готова к встрече с ним и знала, что сумеет сказать ему о том, что ее уволили и она едет в Нью-Йорк искать другую работу. Впрочем, сегодня его, пожалуй, можно не опасаться: когда он пришел и увидел Рудольфа, у него был такой покорный, растерянный вид.

Ей пришлось перелистать почти все книги, прежде чем она нашла конверт с деньгами. Что за ненормальную игру затеяла с ней мать?! Когда-нибудь уж точно загремит в сумасшедший дом. Гретхен надеялась, что постепенно приучит себя жалеть мать.

Она вынесла чемодан в коридор. Ей было отсюда видно, как мать сидит за столом и курит. На столе стояла грязная посуда с остатками обеда, а мать сидела, уставившись на стену, и курила.

— Мам, я собрала вещи и уезжаю, — сказала Гретхен, входя в комнату. Мэри медленно повернула голову, взглянула на нее мутными глазами и глухо спросила:

— К своему греховоднику уходишь? — Ее словарь оскорблений был довольно архаичен. Она выпила все оставшееся вино и была пьяна.

— Ни к кому я не ухожу. Меня уволили, и я еду в Нью-Йорк искать другую работу. Когда устроюсь, напишу.

— Блудница, — сказала мать.

Гретхен поморщилась — кто в тысяча девятьсот сорок пятом году еще помнит такие слова, как «блудница»? Но потом сделала над собой усилие и поцеловала ее в щеку. Кожа у матери была грубая, шершавая.

— Фальшивые поцелуи, — сказала мать, тупо глядя прямо перед собой. — Кинжал в букете.

Боже, какие книги она читала в молодости, подумала Гретхен, и вдруг ей пришло в голову, что мать родилась уже усталой и измученной и потому многое надо прощать ей. Она чуть помедлила, пытаясь отыскать в себе хоть каплю симпатии к этой пьяной женщине, сидевшей в клубах табачного дыма за неубранным столом.

— Гусь! — презрительно сказала мать. — Кто нынче ест гусей?

Гретхен беспомощно покачала головой, вышла в коридор, взяла чемодан и стала спускаться по лестнице.

На улице она увидела спешившего домой Рудольфа. Заметив сестру, он подбежал к ней:

— А ты куда?

— В Нью-Йорк, — беспечно ответила Гретхен.

Через два квартала от своего дома они поймали такси и поехали на вокзал. Гретхен пошла за билетом, а Рудольф уселся на ее старомодный чемодан и задумался. Ему было обидно видеть радость в глазах сестры — ведь как ни говори, а она покидала не только дом, но и его.

— Поезд придет только через полчаса, — сказала Гретхен, дотрагиваясь до его рукава. — Я бы чего-нибудь выпила. Давай отпразднуем это событие. Чемодан сдай пока в камеру хранения.

— Я понесу его с собой. За хранение нужно заплатить десять центов.

— Раз в жизни можно и пошиковать, — рассмеялась Гретхен. — Давай промотаем наше наследство. Пусть деньги летят направо и налево!

В баре, кроме двух солдат, угрюмо пивших за стойкой пиво, никого не было. Гретхен уверенно заказала виски, точно всю свою жизнь только и делала, что пила в барах.

— Ну, чего ты так насупился? — она шутливо ткнула брата пальцем в щеку. — Ведь сегодня твой день рождения.

— Да-а, — протянул Рудольф.

— Ты не знаешь, почему папа отослал Томаса?

— Не знаю. Ни тот ни другой ничего мне не сказали. Это как-то связано с Тинкерами. Томми ударил отца, вот это я знаю.

— Ну и ну-у, — изумилась Гретхен. — Можно сказать, великий день.

— Уж это точно, — согласился Рудольф и, вспоминая, что ему рассказал Том про сестру, подумал, что день этот гораздо значительней, чем ей кажется.

Бармен принес виски. Гретхен подняла свой стакан:

— За семью Джордахов — украшение общества Порт-Филипа, — и отпила несколько глотков сразу, словно ее мучила жажда, словно она хотела скорее допить первую порцию, чтобы осталось время повторить. — Ничего себе семейка, — продолжала она, качая головой. — Поехали со мной. Будем жить в Нью-Йорке.

— Ты хорошо знаешь, я не могу этого сделать.

— Я тоже так думала, а вот ведь делаю.

— Почему ты уезжаешь? Что случилось?

— Много чего, — уклончиво ответила Гретхен и снова сделала большой глоток виски. — В основном я уезжаю из-за одного мужчины. — Она посмотрела на брата вызывающе. — Он хочет на мне жениться.

— Кто? Бойлан?

— А ты откуда знаешь? — Зрачки ее расширились и потемнели.

— Мне Томми сказал.

— А ему откуда известно?

Почему бы и не сказать, подумал он. Сама напрашивается. От стыда и ревности ему хотелось сделать ей больно.

— Он был возле дома Бойлана и заглянул в окно.

— И что же он увидел? — холодно спросила Гретхен.

— Бойлана. Голого.

— Бедный Томми, — рассмеялась Гретхен. В ее смехе звенел металл. — Голый Тедди Бойлан не такое уж привлекательное зрелище. Он и меня видел голой?

— Нет.

— Жаль. А то по крайней мере не зря перся бы в такую даль. — Она сказала это безжалостно, словно намеренно мучила себя. Раньше Рудольф ничего подобного за ней не замечал. — А почему он решил, что там была именно я?

— Бойлан громко спросил, спустишься ли ты или тебе принести виски наверх.

— О, так это было как раз в ту ночь. Незабываемая ночь. Как-нибудь я расскажу тебе подробно. — Гретхен внимательно поглядела на него. — Не смотри на меня так грозно. Сестры имеют обыкновение становиться взрослыми и гулять с мужчинами.

— Да, но Бойлан... — горько сказал он. — Этот хилый старик.

— Между прочим, он не такой уж старый и не такой уж хилый.

— Тогда почему ты сбегаешь?

— Понимаешь, если я останусь, рано или поздно я выйду за него замуж, а Тедди Бойлан не годится в мужья твоей чистой, красивой сестренке. Сложно, не правда ли? — Она жестом подозвала бармена: — Еще виски, пожалуйста. — И продолжала: — Кстати, когда я уходила, мама была совершенно пьяна. Она допила все вино, купленное в честь твоего дня рождения. Пьяная сумасшедшая старуха. Обозвала меня блудницей. — Гретхен хихикнула. — Последнее ласковое напутствие девочке, уезжающей в большой город... Беги отсюда,— хрипло сказала она.— Уезжай, пока они окончательно тебя не искалечили. Беги из этого дома, где ни у кого нет друзей и где никогда не звенит дверной звонок.

— Никто меня не калечит, — сказал Рудольф.

— Ты неискренний, братик.— Теперь ее враждебность была ничем не прикрыта. — Меня не обманешь. Тебя все обожают, но самому тебе абсолютно наплевать на всех и вся. Если, по-твоему, такой человек не калека, можешь хоть сейчас посадить меня в инвалидную коляску.

— Какого черта! — Рудольф поднялся из-за стола. — Если ты обо мне такого мнения, чего я тут торчу с тобой? Я тебе вовсе не нужен.

— Верно, не нужен, — согласилась она.

— Вот твоя квитанция на чемодан. — Он протянул ей клочок бумаги.

— Спасибо, — невозмутимо сказала она. — Сегодня каждый из нас сделал положенное ему доброе дело.

Рудольф вышел из бара. Гретхен осталась сидеть, допивая вторую порцию виски. Ее миловидное лицо разрумянилось, глаза сияли. Мысленно она уже была за тысячи миль от замызганной квартиры над булочной, от отца и матери, от братьев и от любовника, на пути в большой город, пожиравший каждый год миллион девушек.

Рудольф медленно брел домой. В глазах его стояли слезы. Ему было жаль самого себя. Сестра и брат правы. Они раскусили его сущность. Ему надо измениться. Но как? Что должен изменить в себе человек, чтобы стать другим? Гены? Хромосомы? Знак зодиака?

Он чувствовал себя опустошенным и разбитым наголову. Я запомню этот день рождения, думал он.

Глава 7

I

Томас был в гараже один. Механик Койн болел, а второй подручный уехал на вызов. Было два часа дня. Хэролд Джордах еще сидел дома за обедом. Sauerbraten mit Spetzl'[1], три бутылки светлого пива, а потом полчасика всхрапнуть на широкой кровати рядом с толстухой женой — главное, не перерабатывать, а то получишь раньше времени инфаркт.

Ежедневно горничная давала Тому с собой бутерброды и фрукты, и Том был вполне доволен таким обедом и тем, что ел в гараже: лишь бы поменьше видеть своего дядю и его семью. Достаточно того, что ему приходилось жить с ними в одном доме в крохотной каморке на чердаке, где он всю ночь обливался потом: за день крыша накалялась от солнца, и жара была невыносимая. Получал он пят-

[1] Жаркое с мучными клецками *(нем.)*.

надцать долларов в неделю. Дядя Хэролд сумел извлечь выгоду из пожара в Порт Филипе.

Томас сменил масло в «форде», и пока ему было нечего делать. Конечно, будь дядя в гараже, он тут же нашел бы работу племяннику. Например, заставил бы вымыть туалеты или навести блеск на хромированные бамперы старых машин, стоявших в углу двора под вывеской «Продается». Том лениво подумал: может, очистить кассу и смыться? Он выдвинул ящичек кассы — там оказалось всего десять долларов и тридцать центов. Дядя Хэролд, уходя обедать, забирал утреннюю выручку с собой и оставлял в кассе только мелочь на случай, если понадобится дать сдачу кому-нибудь из клиентов. Он не стал бы владельцем гаража, заправочной станции, стоянки подержанных автомашин и городского автомобильного агентства, если бы относился к деньгам легкомысленно.

Взяв сверток с бутербродами, Томас вышел на улицу, приставил расшатанный деревянный стул к стене гаража и, усевшись в тени, стал глядеть на проезжавшие мимо машины.

В общем-то ему неплохо жилось в этом городке. Элизиум в штате Огайо был не меньше Порт-Филипа, но гораздо богаче. Здесь не было трущоб и других признаков упадка, которые дома Томас принимал как нечто само собой разумеющееся. Неподалеку находилось небольшое озеро. На берегу стояли две летние гостиницы и коттеджи, куда летом приезжали их владельцы, зимой живущие в Кливленде. Элизиум походил на небольшой курорт: здесь были хорошие магазины, рестораны, устраивались конные аукционы и парусные регаты. А главное, казалось, что в Элизиуме у всех есть деньги, — этим-то городок и отличался от Порт-Филипа в первую очередь.

Томас вытащил из пакета бутерброд, аккуратно завернутый в вощеную бумагу. На тонком кусочке свежего ржаного хлеба лежали бекон, листочки салата и ломтики помидора, обильно сдобренные майонезом. С недавних пор горничная Джордахов Клотильда начала готовить ему каждый раз новые, затейливые бутерброды. Она была милая, эта Клотильда. Француженка из Канады, тихая женщина лет двадцати пяти. В доме Джордахов она работала ежедневно с семи утра до девяти вечера, выходной ей давали раз в две недели по воскресеньям, да и то только со второй половины дня. У нее были печальные темные глаза и черные волосы.

Вечерами, возвращаясь поздно из города — дядя Хэролд и тетя Эльза, как и родители Томаса, не могли удержать его дома, — он всегда находил на столе в кухне оставленный ею для него кусок пирога.

Чтобы избежать ненужных расспросов о Порт-Филипе, он не заводил друзей, со всеми старался быть вежливым и за все время пребывания в Элизиуме пока не подрался ни разу — еще жива была память о недавних неприятностях. Он не чувствовал себя несчастным. Он радовался избавлению от гнета родителей, радовался, что ему больше не приходится жить в одном доме и спать в одной кровати с братом. А то, что можно не ходить в школу, вообще было здорово. Работа в гараже ему не претила, хотя дядя Хэролд был порядочным занудой, вечно суетился и о чем-нибудь тревожился. Тетя Эльза кудахтала над Томом, как наседка, и поила апельсиновым соком, считая, что его мускулистая худоба — следствие недоедания. В общем-то, и дядя и его жена, хоть и гады, желали ему добра. Обе девочки, двоюродные сестры Тома, не докучали ему.

Никто в этой семье не знал, почему его выгнали из дома. Дядя Хэролд пытался расспрашивать Тома, но тот уклончиво ответил, что просто у него плохо шли дела в школе — кстати, это вполне соответствовало истине — и отец решил, что для него же будет лучше, если он уедет из дома и сам начнет зарабатывать себе на жизнь. Дядя Хэролд был не из тех, кто недооценивает влияние самостоятельной жизни на формирование моральных устоев, но тем не менее его удивляло, почему за все время Томас не получил из дома ни одного письма и после звонка Акселя, сообщившего о приезде Тома, всякая связь с Порт-Филипом прекратилась. Сам Хэролд Джордах был примерным семьянином, обожал своих дочерей и не скупился на подарки жене, чей капитал, как ни говори, помог ему зажить в Элизиуме припеваючи.

Во всем отличаясь от брата, Хэролд Джордах тем не менее в одном соглашался с ним целиком: немцы по натуре своей дети, и ничего не стоит подбить их на войну. «Только начнет играть оркестр, они уже маршируют, — говорил он. — А что

хорошего в этой войне? Сержант кричит, а ты топаешь под дождем, спишь в грязи, а не в чистой, теплой постели рядом с женой, подставляешь себя под пули совершенно незнакомых людей, а затем, если тебе повезло и ты выжил, остаешься в старой солдатской форме, не имея даже собственного ночного горшка! Война выгодна для крупных промышленников вроде Круппа, поставляющих армии пушки и военные корабли, а для простого человека... — Он пожимал плечами. — Сталинград! Кому это надо?» Несмотря на это Хэролд Джордах был немцем до мозга костей, он не принимал никакого участия в общественных движениях американских немцев. Ему нравилось жить там, где он жил, быть тем, что он есть, и ни под каким видом он не стал бы вступать в какую-нибудь организацию, которая могла бы его скомпрометировать. «Я ни с кем не враждую» — таков был один из основополагающих принципов его жизни. Поляк, француз, англичанин, еврей, кто угодно... Да хоть даже русский! Любой может купить у меня машину или десять галлонов бензина, и если заплатит настоящими американскими долларами — он мой друг.

Томасу жилось в доме дяди довольно спокойно, но он знал: пристанище это временное, рано или поздно он уйдет отсюда. Пока же торопиться некуда.

Он только собрался достать из пакета второй бутерброд, как к гаражу подъехал «шевроле» выпуска тридцать восьмого года, принадлежавший двум сестрам-близнецам. Том увидел, что в машине сидит только одна из них. Он не знал которая — Этель или Эдна. Как и большинство городских парней, он уже переспал и с той и с другой, но по-прежнему не различал их.

— Привет, двойняшка, — сказал он, чтобы не попасть впросак.

— Привет, Том.

Шестнадцатилетние, загорелые, с прямыми каштановыми волосами, близнецы были миловидными девушками, и если не знать, что они переспали со всем мужским населением города, любому было бы приятно показаться с ними на людях.

— А ну скажи, как меня зовут, — потребовала девушка.

— Отстань.

— Если не скажешь, я заправлюсь у кого-нибудь другого.

— Валяй. Деньги идут не мне, а дяде.

— Я собиралась пригласить тебя на пикник, — сказала она. — На озеро. Вечером. Жареные сосиски, целых три ящика пива. Но я тебя не приглашу, если не скажешь, как меня зовут.

Том с улыбкой глядел на нее, стараясь выиграть время. На сиденье рядом с ней он увидел белый купальник.

— Мне просто хотелось тебя подразнить, Этель, — сказал он. У Этель был белый купальник, а у Эдны синий.— Я тебя сразу узнал.

— Налей мне три галлона за то, что правильно угадал.

— Я не угадал, а знал с самого начала. Ты мне запомнилась.

— Еще бы. — Этель огляделась вокруг и сморщила носик: — Как можно работать в этом жутком месте? Такой парень, как ты, мог бы найти что-нибудь получше. Например, где-нибудь в конторе.

Когда они познакомились, Томас сказал, что ему уже девятнадцать и он окончил среднюю школу.

— Мне здесь нравится. Я люблю работу на воздухе. А сейчас уезжай поскорее, пока не пришел дядя и не потребовал от меня твой талон на бензин.

— Где мы сегодня встретимся? — спросила Этель, включая мотор.

— У библиотеки в восемь тридцать. Тебя устраивает?

— Ладно, в восемь тридцать, красавчик. Я весь день буду загорать, думать о тебе и вздыхать.— И, помахав ему рукой, она уехала.

Томас снова уселся в тени на расшатанный стул и достал второй бутерброд. На нем лежал листок бумаги, сложенный вдвое. Он развернул его. По-детски аккуратными буквами карандашом было выведено: «Я тебя люблю». Том прищурился. Он сразу же узнал почерк — в кухне на полке всегда лежал блокнот, где Клотильда ежедневно записывала, что надо купить.

Том тихонько присвистнул и вслух прочел: «Я тебя люблю». Ему только что исполнилось шестнадцать, но голос у него был еще по-мальчишески высоким. Двадцатипятилетняя женщина, с которой он разве что перекинулся парой слов!

Ни на какой пикник он не поедет, это точно!

II

Рудольф окрестил свою джаз-группу «Пятеро с реки», так как все они жили в Порт-Филипе, на Гудзоне. К тому же ему казалось, что название звучит вполне артистично и намекает на профессионализм.

С ними заключили трехнедельный контракт, и каждый вечер, за исключением воскресенья, они играли в придорожном дансинге «Джек и Джилл» на окраине города. Огромный дощатый барак сотрясался от топота танцующих. Вдоль стены тянулась длинная стойка бара, половина зала была заставлена маленькими столиками, за которыми посетители пили пиво. Парни приходили в теннисках, многие девушки — в брюках. Приходили и девушки без кавалеров. Они стояли у стены, ожидая, когда кто-нибудь пригласит их танцевать, или танцевали друг с дружкой. Одним словом, заведение было не из шикарных, но джазу Рудольфа платили неплохо.

Играя, Рудольф с удовлетворением заметил, как Джули отказала пригласившему ее парню в пиджаке и галстуке — явно студенту-первокурснику.

Родители Джули разрешали ей проводить субботние вечера с Рудольфом и приходить домой поздно — они доверяли Рудольфу. Он всегда нравился родителям девушек. И не без оснований.

Проиграв три такта музыкального автографа оркестра и тем самым объявив пятнадцатиминутный перерыв, Рудольф подал Джули знак выйти подышать свежим воздухом: несмотря на открытые окна, в бараке было жарко и сыро, как в долине Конго.

Когда они оказались под деревьями, где стояли машины, Джули взяла его за руку. Ладонь ее была сухой, теплой, мягкой и такой родной. Удивительно, какие сложные чувства может испытывать человек, просто держа девушку за руку. Они прошли в конец автостоянки подальше от выхода из дансинга, где на крыльце стояли танцоры, вышедшие подышать свежим воздухом, открыли дверцу какой-то машины, забрались в нее и начали целоваться в темноте. Они целовались везде, где могли, но больше ничего себе не позволяли. Она запрокинула голову, и он поцеловал ее в шею.

— Я люблю тебя, — прошептал он, потрясенный охватившей его необыкновенной радостью, которую подарили ему эти впервые произнесенные слова. Она прижала его к себе. От ее гладких, сильных рук пахло летом, абрикосами.

Неожиданно дверца открылась, и мужской голос спросил:

— Какого дьявола вы тут делаете?

Рудольф выпрямился и жестом защитника положил руку на плечо Джули.

— Обсуждаем взрыв атомной бомбы, — хладнокровно ответил он. — Зачем еще, по-вашему, мы бы сюда залезли? — Он скорее умер бы, чем обнаружил перед Джули свою растерянность.

Неожиданно мужчина рассмеялся.

— Задай глупый вопрос и получишь глупый ответ, — заметил он, отступая в сторону. В слабом свете фонаря, висевшего на дереве, Рудольф узнал его — гладко зачесанные желтоватые волосы, кустистые светлые брови.

— Извини, Джордах, — сказал Бойлан. В его голосе звучало смешливое удивление.

Он меня знает, подумал Рудольф. Но откуда?

— Так уж получилось, что это моя машина,— продолжал Бойлан,— но, пожалуйста, чувствуйте себя как дома. Не буду мешать артисту во время его короткого отдыха. Все равно я еще не собирался уезжать. Пойду чего-нибудь выпью. Вы с дамой окажете мне честь, если после вечера присоединитесь ко мне и выпьете по стаканчику на сон грядущий. — С легким поклоном он осторожно закрыл дверцу и удалился.

Джули сидела неподвижно, сгорая от стыда.

— Он знает нас, — прошептала она.

— Меня, — поправил ее Рудольф.

— Кто это?

— Человек по фамилии Бойлан. Из всем известного святого семейства.

Они молча вышли из машины и вернулись в дансинг. Рудольф усадил Джули за ее столик, заказал ей еще бутылку лимонада, а сам вернулся на эстраду.

Когда в два часа ночи ребята сыграли «Спокойной ночи, дамы» и начали собирать свои инструменты, Бойлан все еще сидел за стойкой бара. Самоуверенный че-

ловек среднего роста, в серых брюках из тонкой шерсти и шуршащем полотняном пиджаке, он резко выделялся из толпы парней в теннисках, рыжевато-коричневой солдатской форме и в дешевых синих выходных костюмах. Заметив, что Рудольф с Джули собираются уходить, он неторопливо подошел к ним и спросил:

— Вам, детки, есть на чем доехать домой?

— В общем-то да, — ответил Рудольф. Что еще за «детки», с неприязнью подумал он. — У одного из наших ребят есть машина, и мы обычно все в нее набиваемся.

— В моей машине будет удобнее, — сказал Бойлан, взял Джули под руку и направился к выходу.

Рудольф почувствовал облегчение, когда Бойлан спросил адрес Джули, чтобы вначале завезти ее,— не придется потом устраивать сцену ревности. Джули, подавленная и необычно молчаливая, сидела между ними на переднем сиденье, глядя прямо перед собой.

Бойлан вел машину быстро и уверенно. Стремительными рывками, как гонщик-профессионал, он обгонял идущие впереди машины.

Рудольф не мог не восхищаться тем, как Бойлан держится за рулем, и ему стало не по себе — он не имел права восхищаться Бойланом: это было бы предательством.

— Ваш джаз хорошо держит ритм, — заметил Бойлан. — Я даже пожалел, что уже слишком стар для танцев.

Рудольф мысленно одобрил это признание. Ему казалось нелепым и даже неприличным, когда люди старше тридцати танцевали. И снова почувствовал себя виноватым: опять ему что-то понравилось в Бойлане. Он был рад, что Бойлан по крайней мере не танцевал с Гретхен, не превратил себя и ее в посмешище. Когда старики танцуют с молоденькими, это уж совсем отвратительно.

— Вы очень милы, Джули,— сказал Бойлан, посмотрев на девушку. — Глядя на вас, я радуюсь, что хотя бы еще не слишком стар, чтобы целоваться.

Старый грязный бабник, подумал Рудольф, нервно сжимая футляр с трубой. Ему хотелось попросить Бойлана остановить машину, но пешком они с Джули доберутся до города не раньше четырех часов утра. Он с горечью отметил про себя, что практичен даже тогда, когда дело касается его чести.

— Э-э... Рудольф... Тебя ведь зовут Рудольфом, — повернулся к нему Бойлан.

— Да. — У его сестрицы вода во рту не удержится!

— Ты собираешься стать профессиональным трубачом? — Бойлан задал этот вопрос тоном доброжелательного пожилого наставника.

— Нет. Я для этого не настолько хорошо играю.

— Что ж, разумно,— согласился Бойлан.— У музыкантов собачья жизнь. К тому же приходится якшаться со всякими подонками.

— Ну, в этом я не уверен, — возразил Рудольф. Он не мог допустить, чтобы Бойлану все сходило с рук. — Не думаю, что такие люди, как Бенни Гудман, Пол Уайтмен и Луис Армстронг,— подонки.

— Кто знает.

— Они артисты, — сухо сказала Джули.

— Одно другому не мешает, детка, — тихо рассмеялся Бойлан и снова обратился к Рудольфу: — Какие же у тебя планы на будущее?

— Пока не знаю. Вначале надо поступить в колледж.

— Вон как? Ты собираешься в колледж? — В голосе Бойлана послышалось удивление. Снисходительное удивление.

— А почему он не может поступить в колледж? — запальчиво спросила Джули. — Он круглый отличник, и недавно его приняли в Аристу.

— Правда? Прошу простить мое невежество, но что такое Ариста?

— Это почетное школьное научное общество, — быстро ответил Рудольф, пытаясь вызволить Джули из неловкой ситуации: ему не хотелось, чтобы его защищали так по-детски. — В общем-то ничего особенного. Практически всякий, кто умеет читать и писать...

— Ты великолепно знаешь, что это не так,— возмутилась Джули.— Члены Аристы — самые способные ученики школы. Если бы меня приняли в Аристу, я бы не стала так прибедняться.

— Конечно, это большая честь. Он просто скромничает. Обычное мужское

кокетство, — примирительно сказал Бойлан. — И в какой же колледж ты собираешься поступать, Рудольф?

— Я еще не решил.

— Да, это очень серьезный вопрос. Люди, с которыми ты там познакомишься, могут повлиять на всю твою дальнейшую жизнь. Хочешь, я замолвлю за тебя словечко в моей Alma Mater? Сейчас, когда все наши герои возвращаются с войны домой, ребятам твоего возраста нелегко будет поступить в колледж.

— Спасибо, — поблагодарил Рудольф. Только этого ему недоставало! — У меня еще достаточно времени впереди.

Они подъехали к дому Джули.

— Ну вот мы и на месте, детка, — сказал Бойлан. Рудольф открыл свою дверцу и вышел из машины.

— Спасибо, что подвезли, — сухо поблагодарила Джули, вылезла из машины и прошла мимо Рудольфа к крыльцу. Рудольф последовал за ней. Пока она, наклонив голову, рылась в сумочке, ища ключ, он попытался взять ее за подбородок, чтобы поцеловать на прощанье, но она сердито отстранилась.

— Подхалим, — и зло передразнила: — «Ничего особенного. Практически всякий, кто умеет читать и писать...»

— Джули!

— Валяй, подлизывайся к богачам! — Рудольф никогда не видел ее такой бледной и отчужденной. — Гадкий старик. Он красит волосы. И даже брови! Подумать только, что некоторые готовы на все, лишь бы их покатали на машине.

— Джули, ты несправедлива. — Если бы она знала о Бойлане всю правду, Рудольф еще мог бы понять ее гнев. Но только потому, что он старался быть просто вежливым... — Я зайду к тебе завтра часа в четыре...

— Всю жизнь мечтала! — оборвала его Джули. — Подожди, пока я заведу себе «бьюик», тогда и приходи. — Она наконец нашла ключ и вошла в дом, захлопнув за собой дверь.

Рудольф медленно двинулся обратно. Если это называется любовь, то на черта она нужна? Он сел в машину.

— Очаровательная девушка эта Джули, — сказал Бойлан. — Вы с ней только целуетесь и ничего больше?

— Это мое личное дело, сэр, — ответил Рудольф. Даже сквозь гнев на этого человека он восхищался собой, тем, как холодно и отточенно звучат его слова. Рудольф Джордах никому не позволит обращаться с собой, как с плебеем.

— Конечно, — вздохнув, согласился Бойлан. — Но искушение, должно быть, велико. В твоем возрасте... — Он замолчал, словно вспоминая череду девушек, прошедших через его постель. — Кстати, — продолжал он равнодушным, вежливым тоном, — ты получаешь письма от своей сестры?

— Иногда, — настороженно ответил Рудольф.

Гретхен жила в Нью-Йорке в общежитии христианской ассоциации молодых женщин и обивала пороги театров, пытаясь устроиться в какую-нибудь труппу. Однако продюсеры не горели желанием нанимать девушек, игравших на школьной сцене роль Розалинды, поэтому работы она до сих пор не нашла, зато уже успела влюбиться в Нью-Йорк. В первом письме она извинялась перед Рудольфом за то, что нехорошо вела себя с ним в день отъезда из Порт-Филипа — она была тогда слишком взвинчена и сама не понимала, что говорит. Но она по-прежнему считала, что ему вредно надолго задерживаться в Порт-Филипе. Семья Джордахов — это трясина, писала она, и тут ничто не может ее разубедить.

— По-видимому, тебе известно, что мы с ней знакомы, — вяло сказал Бойлан.

— Да.

— Она тебе говорила обо мне?

— Не припомню.

— Ах-ха. — Что хотел Бойлан сказать этим междометием, было неясно. — У тебя есть ее адрес? Иногда я бываю в Нью-Йорке и мог бы как-нибудь угостить девочку хорошим ужином.

— К сожалению, адреса у меня нет, — соврал Рудольф. — Она все время переезжает с места на место.

— Понимаю. — Бойлан, конечно, видел его насквозь, но не настаивал. — Когда узнаешь, сообщи, пожалуйста. У меня осталась одна ее вещь, и, может быть, она хочет получить ее обратно.

— Хорошо.

Бойлан свернул на Вандерхоф-стрит и затормозил перед булочной.

— Вот мы и приехали,— сказал он.— Дом честного труженика.— Издевка была очевидна. — Что ж, спокойной ночи, молодой человек. Благодарю за приятный вечер.

— Спокойной ночи.— Рудольф вышел из машины.— Спасибо.

— Да, вот еще что. Твоя сестра говорила мне, что ты заядлый рыболов. У меня в имении отличный ручей, там полно форели. Если хочешь, приходи в любое время.

— Спасибо.— Его подкупают. Но он знал, что поддастся.— Как-нибудь зайду.

III

— Да, я намерена торговать своим телом. И заявляю об этом во всеуслышание! — сказала Мэри-Джейн Хэккет, приехавшая из штата Кентукки. — На талант спроса уже нет. Им подавай просто тело. Молодое и аппетитное.

Гретхен и Мэри-Джейн Хэккет сидели в узкой, обклеенной старыми афишами приемной Николса, дожидаясь вместе с другими девушками и молодыми людьми приема: прошел слух, будто Байард Николс собирается ставить новую пьесу и ему требуются артисты — четверо мужчин и две женщины.

Мэри-Джейн, высокая стройная девушка с плоской грудью, зарабатывала себе на хлеб, служа манекенщицей. Она сыграла на Бродвее в двух провалившихся пьесах и проработала половину сезона в захудалой труппе, сколоченной на одно лето,— все это давало ей основание держаться с достоинством ветерана сцены. Оглядев кучку актеров, грациозно прислонявшихся к афишам некогда поставленных Байардом Николсом пьес, она громко заметила:

— Только посмотри на этих молодых людей. Они едва доходят мне до плеча. Пока не начнут писать пьесы, где героини все три акта стоят на коленях, мне нечего рассчитывать на роль. Боже мой, что стало с американским театром?! Мужчины — лилипуты, а если попадется кто выше пяти футов — непременно гомик.

— Фи, фи, Мэри-Джейн, — сказал высокий молодой человек.

— А когда, интересно, ты в последний раз целовал девушку? — требовательно спросила она.

— В двадцать восьмом году, в честь избрания президентом Герберта Гувера,— не задумываясь ответил тот.

Все в приемной добродушно рассмеялись.

Гретхен нравилась атмосфера этого нового мира, в который она окунулась. Здесь все говорили друг с другом просто, обращались по имени и старались помочь друг другу. Если какая-нибудь девушка слышала, что где-то ищут исполнительницу на оставшуюся незанятой роль, она немедленно сообщала об этом всем своим подругам и даже могла одолжить подходящее для просмотра платье. Гретхен ощущала себя членом большого гостеприимного клуба, право на вход в который давали не происхождение и не деньги, а молодость, честолюбие и вера в талант друг друга.

Теперь она спала до десяти утра, не испытывая угрызений совести. Она ходила в квартиры к молодым неженатым мужчинам и просиживала там до рассвета, репетируя, — ее нисколько не волновало, кто что может подумать. Три раза в неделю посещала балетный класс, чтобы научиться грациозно двигаться на сцене. Ловя на себе взгляды прохожих, Гретхен чувствовала: они уверены, что она и родилась в Нью-Йорке. Ей казалось, что она уже полностью избавилась от былой застенчивости. Она часто ужинала с молодыми актерами и будущими режиссерами и платила за себя сама. Но любовников у нее не было: не все сразу, прежде надо найти работу.

Дверь кабинета открылась, и вышел Байард Николс, а с ним невысокий худощавый человек в бежевой форме капитана авиации.

— ...Если что-нибудь подвернется, Вилли, — говорил на ходу Николс, — я дам тебе знать. — Голос у него был отрешенный, печальный. Николс помнил только о своих неудачах. Он скользнул пустым взглядом по людям, собравшимся в его приемной.

— Я загляну на следующей неделе и выставлю тебя на обед, — сказал капитан. У него был низкий голос, почти баритон, что никак не вязалось с его хрупко-

стью и малым ростом. Держался он очень прямо, словно до сих пор оставался курсантом. Но лицо его не было лицом военного. Каштановые волосы слишком длинны и взлохмачены, лоб высокий, массивный, придававший капитану отдаленное сходство с Бетховеном, глаза ярко-голубые.

— Мистер Николс... — вперед шагнул молодой человек, недавно болтавший с Мэри-Джейн.

— На следующей неделе, Берни, — отмахнулся Николс и снова без всякого выражения обвел глазами приемную.

— Мисс Саундерс, — обратился он к секретарше, — зайдите ко мне на минутку. — Слабый, скорбный взмах руки, и Николс скрылся за дверью своего кабинета.

— Леди и джентльмены, — торжественно объявил капитан, — все мы занимаемся не тем делом. Я предлагаю открыть комиссионный магазин армейского имущества. Спрос на бывшие в употреблении базуки — огромный! — И, взглянув на возвышавшуюся над ним, как башня, Мэри-Джейн, добавил: — Привет, малютка.

— Рада видеть тебя живым после той вечеринки, Вилли, — сказала Мэри-Джейн, целуя его в щеку, для чего ей пришлось нагнуться.

— Признаться, все слегка перебрали, — согласился капитан. — Мы смывали с наших душ мрачные воспоминания о боевых днях.

— Вернее, заливали их, — заметила Мэри-Джейн.

— Не жури нас за наши маленькие радости. Не забывай, вы рекламировали пояса для чулок, а мы в это время под зенитным огнем летали в зловещем поднебесье над Берлином.

— Ты что, действительно летал над Берлином? — удивилась Мэри-Джейн.

— Конечно нет, — он улыбнулся Гретхен, развенчивая миф о своем героизме, и снова поглядел на Мэри-Джейн: — Я терпеливо жду, малютка.

— Ах да,— сказала она.— Познакомьтесь. Гретхен Джордах — Вилли Эббот.

— Я просто счастлив, что судьба завела меня сегодня в приемную Николса,— сказал Эббот.

— Здравствуйте. — Гретхен привстала со стула. Все-таки он капитан.

— Вы, наверное, тоже актриса.

— Пытаюсь ею стать.

— Ужасная профессия, — заметил Эббот. — Играть Шекспира за кусок хлеба!

— Не кокетничай, Вилли, — сказала Мэри-Джейн.

— Из вас получится великолепная жена и отличная мать, мисс Джордах. Помните мои слова. Но почему я раньше нигде вас не встречал?

— Она в Нью-Йорке недавно,— ответила за нее Мэри-Джейн. Это прозвучало предупреждением: не лезь, куда не просят. Ревность?

— О, эти девушки, недавно приехавшие в Нью-Йорк! — воскликнул Эббот.— Можно я посижу у вас на коленях?

— Вилли! — возмутилась Мэри-Джейн.

Гретхен рассмеялась, а за ней и Эббот. У него были очень белые, ровные, мелкие зубы.

— Я в детстве мало видел материнской ласки.

Из кабинета вышла секретарша Николса и объявила:

— Мисс Джордах, мистер Николс просит вас зайти. Остальные могут расходиться.

Гретхен встала, нервно разглаживая складки на юбке.

Кабинет Николса был ненамного больше приемной. Голые стены, письменный стол завален рукописями пьес в папках из искусственной кожи, возле стола — деревянные кресла. Окна покрыты пылью. И вообще вся комната производила унылое впечатление: казалось, у ее владельца дела идут из рук вон плохо и первого числа каждого месяца он с трудом наскребает денег, чтобы заплатить за аренду помещения.

Когда Гретхен вошла, Николс встал, жестом пригласил ее сесть, затем сел сам и долго молча изучал ее с кислым выражением лица, точно ему предложили картину, в подлинности которой можно усомниться. Гретхен так нервничала, что ей казалось, у нее дрожали колени.

— Вероятно, вы хотите знать, есть ли у меня опыт работы в театре,— начала она. — Мне особенно нечем похвастаться, но...

— Нет, — прервал он ее. — В данном случае это не важно. Мисс Джордах, роль, на которую я хочу вас попробовать, честно говоря, абсурдна. — Он печально

покачал головой, словно ему было прискорбно сознавать, на какие нелепые поступки толкает его выбранная им профессия. — Вы согласились бы играть в купальнике? Вернее, в трех купальниках.

— Ну, видите ли... — она неопределенно улыбнулась. — Это зависит от ряда причин.— Идиотка! От чего это зависит?! От размера купальника? От размера роли? От размера ее бюста? Она подумала о своей матери. Та ни разу не была в театре. Счастливица!

— К сожалению, эта роль без слов. Девушка просто проходит по сцене три раза, по разу в каждом акте, и каждый раз в другом купальнике.

— Понимаю, — сказала Гретхен. Она злилась на Николса. Из-за него Вилли Эббот ушел с Мэри-Джейн. Попробуй найди его теперь. Капитан, капитан... В городе шесть миллионов жителей! Человек закрывает за собой дверь лифта, и он уже потерялся навсегда. А тут — пройтись по сцене! К тому же почти голой.

— В пьесе эта девушка — символ. Так, по крайней мере, утверждает драматург. Она символизирует молодость, красоту и чувственность, — продолжал Николс заупокойным голосом. — Извечная женская тайна. Я цитирую автора. Каждый мужчина в зале должен почувствовать все это, когда она проходит по сцене, и подумать: «Боже, зачем я женился?» Я опять цитирую. У вас есть купальник?

— Да... кажется.

— Вы можете прийти в театр «Беласко» в пять часов с купальником? Там будут режиссер и автор.

— Хорошо, в пять, — кивнула Гретхен. Прощай, Станиславский! Она почувствовала, что краснеет. Ханжа. Работа есть работа.

Выйдя из подъезда, она сразу увидела Эббота и Мэри-Джейн. Гретхен улыбнулась. Пусть в городе живет шесть миллионов, но эти двое все-таки ждали ее!

— Как насчет того, чтобы пообедать вместе? — спросил Вилли.

— Я просто умираю с голоду, — ответила Гретхен

Она стояла в театральной уборной в черном купальнике, критически разглядывая себя в зеркало. В дверь постучали, и раздался голос помощника режиссера:

— Мисс Джордах, если вы готовы, мы вас ждем.

Зардевшись, Гретхен открыла дверь. К счастью, света на сцене было мало, и никто не заметил, что она покраснела.

— Просто пройдитесь туда и обратно несколько раз, — сказал помощник режиссера.

В неосвещенном зале примерно в десятом ряду темнели чьи-то фигуры.

Пол на сцене был не подметен, голые кирпичи задней стены навевали мысли о римских руинах.

— Мисс Гретхен Джордах, — выкрикнул помощник режиссера в темную бездну зала, словно бросил бутылку с запиской в полночные волны моря. *Вот я и поплыла.* Ей захотелось убежать.

Гретхен прошла через всю сцену. Ей показалось, будто она взбирается на гору. Привидение в купальнике.

В зале стояла тишина. Гретхен прошла обратно. Ни звука. Она прошла туда и обратно еще два раза, боясь, что занозит босые ноги.

— Благодарю вас, мисс Джордах, — послышался унылый голос Николса.— Прекрасно. Завтра зайдете ко мне, и мы заключим контракт.

Оказывается, все так просто. Она сразу же перестала краснеть.

Вилли сидел один за стойкой в маленьком полутемном баре «Алгонквин» и пил виски. Он сразу заметил ее и повернулся на крутящемся табурете.

— Наша красавица похожа на красавицу, только что получившую в театре «Беласко» роль, раскрывающую извечную женскую тайну. Я цитирую. — За обедом он и Мэри-Джейн долго хохотали, когда Гретхен пересказала им свой разговор с Николсом.

Она села на соседнюю табуретку.

— Ты угадал. Перед тобой будущая Сара Бернар.

— Она бы никогда не справилась с такой ролью. У нее была деревянная нога. Будем пить шампанское?

— А где Мэри-Джейн?

— Ушла. У нее свидание.

— В таком случае пьем шампанское.— И они оба рассмеялись.

— У нас сегодня большой выбор, — сказал Вилли. — Мы можем остаться здесь и пить всю ночь. Можем где-нибудь поужинать. Можем заняться любовью. Можем пойти в компанию. Ты любишь вечеринки?

— Не знаю. Мне редко приходилось на них бывать, — ответила Гретхен, пропуская мимо ушей предложение заняться любовью. Вилли все обращал в шутку, и трудно было сказать, когда он говорит серьезно. Наверное, даже во время войны он умудрялся находить что-то смешное в рвущихся снарядах и самолетах, падающих вниз с горящими крыльями.

— В таком случае решено. Идем в компанию,— заявил Вилли.— Но торопиться некуда. Там будут гулять всю ночь, поэтому, прежде чем ринемся в безумный водоворот удовольствий, я бы хотел кое-что о тебе узнать.— Он налил себе еще шампанского. Рука у него слегка дрожала, и бутылка, стукаясь о край бокала, выбивала мелодичную дробь.

— Что именно ты хочешь узнать?

— Начнем с самого начала. Место жительства?

— Общежитие христианской ассоциации молодых женщин.

— Боже мой, — простонал он. — Как ты думаешь, если я надену женское платье, у меня есть шанс сойти за юную христианку и снять комнату рядом с твоей? Я ведь маленький и к тому же блондин — когда небрит, щетина почти незаметна. А мой отец всегда мечтал о дочери.

— Боюсь, ничего не выйдет. Старуха, которая выдает нам ключи, может за милю отличить парня от девушки.

— Так. Пойдем дальше. Как у тебя с мужчинами?

— В настоящий момент я одна, — после некоторого колебания ответила Гретхен. — А ты?

— По Женевской конвенции военнопленный обязан сообщить только свою фамилию, ранг и личный номер.— Он улыбнулся и положил свою руку на ее.— Но я скажу тебе все. Я обнажу свою душу. Я расскажу тебе о том, как еще в колыбели хотел убить своего отца; как до трех лет меня не отнимали от материнской груди; расскажу, что мы с мальчишками вытворяли за амбаром с дочкой соседа. — Неожиданно лицо его посерьезнело. Он откинул волосы с высокого выпуклого лба.— И кстати, уж лучше тебе об этом узнать сейчас, чем потом. Я женат.

Шампанское обожгло ей горло.

— Пока ты шутил, ты мне больше нравился.

— И самому себе тоже, — серьезно сказал он. — Но все не так безнадежно. Я сейчас пытаюсь с ней развестись. Мамочка нашла себе другие развлечения, пока папочка играл в солдаты.

— А где она... твоя жена? — Ей было трудно произнести это. Как нелепо, подумала она. Я знакома с ним всего несколько часов.

— В Калифорнии, в Голливуде. Похоже, я неравнодушен к актрисам.

— И давно ты женат?

— Пятый год.

— Кстати, а сколько тебе лет? — спросила она.

— А ты обещаешь, что не бросишь меня, если я скажу тебе правду?

— Какие глупости. Ну, сколько?

— Целых двадцать девять. О, господи!

— При дневном свете я дала бы тебе года двадцать три, — удивленно покачала головой Гретхен. — А чем ты занимался до войны? Откуда ты знаешь Николса?

— Помогал ему в двух постановках. Я — зенитная артиллерия. Занимаюсь рекламой. Самое противное занятие в мире. Хочешь, чтобы твой портрет попал в газету, девочка? — Отвращение в его голосе было неподдельным. — Уходя в армию, я надеялся наконец-то отделаться от этой работы, но начальство ознакомилось с моим личным делом и определило меня в службу информации. Меня следует арестовать за то, что я ношу офицерское звание. Хочешь еще шампанского? — Вилли налил им обоим. Горлышко бутылки жалобно зазвенело льдинкой о бокалы. Пожелтевшие от никотина пальцы дрожали.

— Но ты же был за границей... Ты же летал, — настаивала Гретхен. За обедом он рассказывал о своих полетах в Англию.

— Всего несколько вылетов, достаточных для того, чтобы получить медаль, благодаря которой я не чувствовал себя в Лондоне раздетым. Я летал пассажиром и восхищался тем, как воюют другие.

— Но как бы там ни было, тебя тоже могли убить. — Гретхен хотелось вывести его из этого мрачного состояния.— Когда ты собираешься увольняться из армии?

— А я и так уже в бессрочном отпуске. Форму ношу просто потому, что в ней бесплатно пускают на спектакли. Кроме того, мне надо два раза в неделю ездить в госпиталь лечить спину, а без формы никто не поверит, что я капитан.

— Лечить спину? Ты был ранен?

— Не совсем. Мы слишком энергично приземлились, и нас тряхнуло. Пришлось потом перенести небольшую операцию. Лет через двадцать я буду всем рассказывать, что этот шрам у меня от шрапнели.

Вилли расплатился, и они вышли из бара.

Стоявшая весь день невыносимая жара спала. Дул слабый ветерок. Над небоскребами высоко в угасающем небе плыл бледный фарфоровый месяц. Они шли по улицам, держась за руки.

Остановились перед книжным магазином. На витрине были выставлены новые пьесы. Одетс, Хеллман, Шервуд, Кауфман и Гарт.

— Литературная жизнь,— вздохнул Вилли.— Должен признаться в одном грехе. Я пишу пьесу. Как и все остальные зенитчики-рекламщики.

— И когда-нибудь твоя пьеса будет лежать на витрине, — сказала она.

— Дай-то бог! А ты хорошая актриса?

— Я актриса одной роли... Извечная женская тайна.

— Цитирую, — подхватил он, и оба рассмеялись.

Вечеринка устраивалась на Пятьдесят пятой улице между Лексингтон и Парк авеню. Когда они проходили через Парк авеню, из-за угла выскочило такси. Из него вышла Мэри-Джейн и бегом устремилась к стоящему неподалеку пятиэтажному дому.

— Мэри-Джейн, — сказал Вилли. — Ты видела?

— Ага.

Они замедлили шаг. Вилли внимательно посмотрел на Гретхен.

— Знаешь, у меня идея. Давай не пойдем ни в какую компанию, а устроим свою собственную вечеринку.

— Я ждала, когда ты это предложишь, — призналась Гретхен.

— Рота, кру-у-гом! — скомандовал он, ловко повернулся и щелкнул каблуками. Они зашагали обратно в сторону Пятой авеню.

В баре «Дубовый зал» они выпили мятного джулепа[1] из холодных оловянных кружек. Потом вышли на улицу и сели в двухэтажный автобус, идущий в центр. Они устроились на верхнем этаже. Вилли снял пилотку. Ветер тут же растрепал ему волосы, и он стал выглядеть еще моложе. Гретхен хотелось притянуть его, положить его голову себе на грудь и поцеловать в макушку, но вокруг было слишком много людей.

Сойдя на Восьмой улице, зашли в ресторан «Бревурт» и уселись за столик на открытой веранде. Вилли заказал мартини. «Для аппетита»,— пояснил он, потом они ели дыню, жареного цыпленка и пили калифорнийское красное вино. Почти всю бутылку он выпил сам. Он много выпил за этот день, но казалось, выпитое никак на него не действует. Глаза у него оставались такими же ясными, язык не заплетался.

Они молчали и глядели друг на друга. Если я его срочно не поцелую, думала Гретхен, меня увезут в сумасшедший дом.

После кофе Вилли заказал по рюмке коньяку. Сколько же он истратил за сегодняшний день? Гретхен прикинула в уме — никак не меньше пятидесяти долларов!

[1] Джулеп — напиток из коньяка или виски с водой, сахаром и льдом.

— Ты богатый? — спросила она, когда он расплачивался.

— Духовно,— Вилли перевернул бумажник дном вверх. На стол выпали шесть бумажек — две по сто долларов и четыре по пять. — Все состояние Вилли Эббота, — сказал он. — Хочешь, чтобы я не забыл о тебе в своем завещании?

Двести двадцать долларов! Гретхен была потрясена. Даже у нее самой на счету в банке лежало больше — то, что осталось от бойлановских восьмисот долларов,— и тем не менее она никогда не позволяла себе пообедать больше чем на девяносто пять центов. Неужто она вся в отца? От этой мысли ей стало не по себе. Вилли собрал деньги и небрежно сунул их в карман.

— Война показала мне, чего они стоят.

— А родители у тебя богаты? — снова спросила Гретхен.

— Отец служил таможенником на канадской границе, — ответил Вилли. — К тому же он был честным. Нас было шестеро детей. Мы жили как короли. Мясо три раза в неделю!

— А меня деньги волнуют, — призналась Гретхен. — Я видела, во что бедность превратила мою мать.

— Пей спокойно. Ты не пойдешь по ее стопам, — успокоил ее Вилли. — Скоро я снова начну строчить на своей золотоносной пишущей машинке...

Они допили коньяк. У Гретхен слегка кружилась голова, но пьяной она себя не чувствовала. Нет, нет, она ничуть не пьяна.

Они спустились с веранды. Вилли остановил такси и открыл ей дверцу.

— Отель «Стэнли», Седьмая авеню, — сказал он шоферу, усаживаясь в машину.

Они поцеловались. Шампанское, виски из Шотландии, мята джулепа из Кентукки, красное вино из долины Напа в испанской Калифорнии, коньяк — дар Франции... Гретхен прижала его голову к своей груди и уткнулась лицом в густые шелковистые волосы.

— Мне весь день хотелось это сделать, — шепнула она.

Фасад отеля «Стэнли» производил внушительное впечатление. Архитектор, по-видимому, бывал в Италии или видел Дворец Дожей на фотографиях.

Вилли пошел за ключом, а Гретхен осталась ждать в вестибюле. Пальмы в кадках. Темные деревянные стулья в псевдоитальянском стиле. Снующие мимо женщины с лицами сержантов полиции и с крашеными светлыми кудряшками, как у дешевых кукол. По углам кучки мужчин, обсуждающих, на какую лошадь поставить на следующих скачках. Приехавшие по делам военные. Две длинноногие девицы — статистки с наклеенными ресницами, какая-то старуха в мужских рабочих ботинках, коммивояжеры, недовольные неудачным днем, детективы, бдительно глядящие в оба, чтобы вовремя разоблачить порок...

Гретхен с независимым видом подошла к лифту и даже не взглянула на Вилли, когда он появился с ключом в руке.

— Седьмой, — сказал Вилли лифтеру.

На седьмом этаже в интерьерах уже не чувствовалось и намека на любовь архитектора к Италии. Вдохновенье зодчего, вероятно, иссякло шестью этажами ниже. Узкие коридоры, металлические двери — темно-коричневая краска на них облупилась, некогда белые кафельные полы без ковров. *Простите, ребята, мы больше не можем вас дурачить. Лучше уж вам знать правду: вы в Америке.*

Вилли открыл дверь, и они вошли в номер.

— Я не буду зажигать свет — так тебе будет здесь уютнее, — сказал он. — Комната жуткая, но это единственное, что мне удалось найти. Да и то разрешили остановиться всего на пять дней. Гостиницы в городе переполнены.

Но сквозь облезлые жалюзи сияющий электричеством Нью-Йорк достаточно освещал номер, чтобы Гретхен поняла, где она оказалась. Крохотная комнатушка, узкая односпальная кровать, жесткий деревянный стул, раковина, ванной нет, на бюро темнеет груда офицерских рубашек.

Он начал неторопливо раздевать ее. Сначала развязал красный пояс, потом расстегнул верхнюю пуговку на платье, потом вторую, третью... Она считала их, следя за движениями его пальцев. Он стоял на коленях. Седьмая, восьмая... одиннадцатая!

— Здесь работы на целый день, — сказал Вилли. Он снял с нее платье и аккуратно повесил на спинку стула. Сбросив туфли, Гретхен подошла к кровати и откинула покрывало вместе с одеялом и верхней простыней. Белье было далеко не

первой свежести. Она легла, наблюдая, как он развязывает галстук и расстегивает пуговицы. Когда Вилли снял рубашку, она увидела, что на нем высокий медицинский корсет, с крючками и шнурками. Так вот почему так прямо держится этот молодой капитан! «Мы слишком энергично приземлились, и нас тряхнуло», — вспомнила она его слова.

— Это временно. Еще пару месяцев, и все. По крайней мере, так уверяет мой врач, — смущенно сказал Вилли, возясь со шнурками.

— Включить свет?

— Ни в коем случае.

На тумбочке у кровати зазвенел телефон. Они замерли. Снова звонок. Вилли снял трубку.

— Алло!

— Капитан Эббот? — спросил удрученный мужской голос. Вилли держал трубку далеко от уха, и Гретхен было все слышно.— Насколько нам известно, в вашей комнате находится молодая дама, а у вас номер на одного человека.

— Хорошо, дайте мне двойной номер.

— К сожалению, все номера заняты. Свободных не будет до ноября.

— Тогда давайте сделаем вид, будто он двойной. Впишите это в мой счет.

— К сожалению, я не могу этого сделать, — ответил голос. — Боюсь, что даме придется покинуть отель.

— Дама здесь не живет. Она просто пришла ко мне в гости, — сказал Вилли.— К тому же она моя жена.

— У вас есть брачное свидетельство, капитан?

— Дорогая, — громко сказал Вилли, держа трубку над головой Гретхен, — ты захватила с собой брачное свидетельство?

— Нет, оно дома, — почти в трубку ответила Гретхен.

— Я же тебя предупреждал, чтоб ты никуда без него не ездила! — сказал Вилли тоном раздраженного супруга.

— Прости, дорогой,— кротко ответила Гретхен.

— Она оставила его дома, — сказал он в трубку. — Завтра мы его вам предъявим. Я попрошу срочно его прислать.

— Капитан, в нашем отеле не разрешаются визиты женщин к мужчинам,— заявил голос.

— С каких это пор? — разозлился Вилли. — Эта дыра известна до самого Бангкока именно как притон сутенеров, букмекеров, карманников, торговцев наркотиками и скупщиков краденого. Один честный полицейский мог бы заполнить вашими постояльцами всю Нью-Йоркскую тюрьму.

— У нас сменилась администрация, — настаивал голос. — Теперь мы входим в число респектабельных отелей и хотим создать нашей гостинице другую репутацию. Так что, капитан, если через пять минут дама не покинет ваш номер, мне придется к вам подняться.

— Иди ты к черту, — огрызнулся Вилли, бросил трубку и начал свирепо зашнуровывать корсет. — Вот так, воюй за этих гадов! И ведь в этом проклятом городе сейчас ни за какие деньги не найдешь ни одного свободного номера.

Гретхен рассмеялась. Вилли уставился на нее, затем тоже расхохотался.

— В следующий раз, ради бога, не забудь захватить брачное свидетельство.

Глава 8

I

Клотильда мыла ему голову. Окутанный паром, он сидел в большой ванне дяди Хэролда и тети Эльзы, глаза его были закрыты, и он дремал, словно разомлевшая на солнце ящерица. Дядя Хэролд, тетя Эльза и обе их дочери уехали отдыхать в Саратогу, где они обычно каждый год проводили две недели, и Том с Клотильдой остались одни в целом доме. Было воскресенье, и гараж был закрыт.

— Теперь руки.

Клотильда опустилась на колени рядом с ванной и начала щеткой отчищать черную въевшуюся в кожу грязь на ладонях и под ногтями. Волосы Клотильды были распущены и свободно падали вниз, закрывая ее полную, крепкую грудь. Даже стоя на коленях, Клотильда не походила на служанку.

— Встань.

Он поднялся на ноги, и она начала намыливать ему плечи.

Смуглая, со слегка приплюснутым носом, высокими скулами и длинными прямыми черными волосами, она напоминала ему картинку из школьного учебника, на которой индейские девушки приветствовали в лесу первых белых поселенцев. На правой руке у нее белел шрам — полумесяц с рваными краями. Это еще давно, в Канаде, муж ударил ее горящим поленом. Она не любила говорить о муже. Когда Томас смотрел на нее, в горле у него что-то сжималось и он сам не понимал, хочется ли ему смеяться или плакать.

— Теперь ноги, — сказала Клотильда.

Кончив мыть ему ноги, она оценивающе посмотрела на его порозовевшее, блестевшее от пара тело и серьезно заметила — она никогда не шутила:

— Ты похож на святого Себастьяна, только без стрел.

Для него было новостью, что его тело может представлять собой какую-то ценность, помимо его прямого предназначения. Он был сильным, ловким, хорошо играл во все игры и дрался, но ему и в голову никогда не приходило, что кому-нибудь приятно просто смотреть на него.

Клотильда принялась мыть ванну, а Томас прошел в спальню Джордахов и лег на чистые накрахмаленные простыни. За один такой день он сжег бы тысячу крестов.

Она вошла, шлепая босыми пятками по полу. На ее лице застыло то мягкое, отстраненное и сосредоточенное выражение, которое он так любил и ждал. Она легла рядом с ним.

Он овладел ею нежно, ласково. Между оконными стеклами с жужжанием возились пчелы. Он думал, что ради нее готов на что угодно. Он сделает все, что она попросит.

— Полежи пока,— сказала она, целуя его в шею.— Я позову, когда все будет готово, — и ушла на кухню.

Том лежал и глядел на потолок. Он испытывал чувство огромной благодарности, но ему было невыносимо горько. Он ненавидел себя за то, что ему всего шестнадцать лет и он ничего не в силах для нее сделать. Она щедро дарила ему себя, по ночам он незаметно проскальзывал в ее комнатушку, но не мог даже пойти с ней погулять в парк или подарить хотя бы косынку, потому что тут же начались бы сплетни, а острый глаз тети Эльзы сразу заметил бы новое яркое пятно в ящике старого комода в каморке за кухней. Не мог увезти ее из этого ужасного дома, где она жила в рабстве. Было бы ему двадцать лет...

На кухонном столе между двумя приборами стояли цветы. Флоксы. Темно-голубые. В этом доме она работала и за садовника. Она знала, как ухаживать за цветами.

«Наша Клотильда — чистое золото, — говорила тетя Эльза. — В этом году розы у нас в два раза крупнее, чем в прошлом».

— Тебе бы иметь свой сад, — сказал Том, садясь за стол. Пусть он сделает ей подарок хоть в мечтах. Линолеум приятно холодил его босые ступни. Темно поблескивали еще влажные, тщательно зачесанные тугие кудри. Клотильда любила, чтобы все вокруг было чистым, аккуратным и начищенным до блеска, будь то кастрюли, сковородки, стол, прихожая или парни. Хотя бы в этом он мог доставить ей радость.

Она поставила перед ним большую тарелку густой рыбной похлебки, а сама села напротив.

За рыбой последовала нежная баранья ножка с молодым жареным картофелем, посыпанным свежей петрушкой, миска молодого горошка в масле, хрустящий салат со свежими помидорами. Сбоку на столе стояло блюдо с только что испеченными горячими булочками и большим куском сливочного масла, а рядом — кувшин холодного молока.

Клотильда сосредоточенно наблюдала за ним и улыбалась, когда он протягивал тарелку для добавки. Пока Джордахи всей семьей отдыхали в Саратоге, она каждое утро ездила на автобусе за продуктами в соседний город. Продавцы в Элизиуме наверняка немедленно доложили бы миссис Джордах, что в ее отсутствие служанка покупала лучшие куски мяса и отборные фрукты.

— Клотильда, почему ты здесь работаешь? — спросил Том.

— А где же мне работать? — удивилась она.

— Да где угодно. В магазине или на фабрике. Но не прислугой.

— Мне нравится домашняя работа. Нравится готовить, — ответила она. — Твоя тетя хорошо со мной обращается. Она меня ценит. И спасибо ей, что она взяла меня к себе, когда я приехала сюда два года назад. Я ведь тогда никого в городе не знала, и у меня за душой не было ни цента. Что мне делать в магазине или на фабрике? Считаю я медленно, а станков просто боюсь. Мне нравится работать по дому.

— Но это чужой дом, — Том приходил в бешенство от мысли, что две эти жирные свиньи помыкают ею как хотят.

— На эту неделю — это наш дом,— сказала Клотильда, ласково касаясь его руки.

Следующим вечером, проезжая после работы мимо библиотеки, он неожиданно для себя остановился, прислонил велосипед к решетке и вошел в здание. Он почти никогда ничего не читал, даже спортивные новости в газетах. Возможно, это было своего рода протестом — его брат и сестра вечно сидели уткнувшись носом в книгу, и головы у них были забиты смехотворными возвышенными идеями.

Тишина в читальном зале и негостеприимный изучающий взгляд, которым библиотекарша окинула его грязную, засаленную одежду, смутили Тома. Оробев, он неуверенно бродил между полками, заставленными тысячами книг, и не знал, какая из них содержит нужные ему сведения. В конце концов все же пришлось обратиться к библиотекарше:

— Извините, мэм, мне хотелось бы найти что-нибудь о святом Себастьяне.

— А что вас о нем интересует?

— Да так, вообще,— сказал он, жалея, что пришел сюда.

— Посмотрите в Британской энциклопедии в справочном зале.

— Большое спасибо, мэм.

Он решил, что с завтрашнего дня после работы будет переодеваться в чистое прямо в гараже и постарается отмывать хотя бы верхний слой грязи, въедающейся в кожу. Сейчас к тебе относятся как к собаке, а ведь можно этого избежать. Да и Клотильде будет приятно.

Ему потребовалось целых десять минут, чтобы разыскать нужный том энциклопедии. Он положил его перед собой на стол и начал листать. Вот оно. Себастьян, св. — христианский мученик. Всего один абзац. Значит, он не такая уж важная птица.

«Когда лучники оставили его умирать,— читал Том,— набожная женщина Ирина пришла ночью и забрала его тело, чтобы похоронить, но, увидев, что он еще жив, принесла к себе домой и стала врачевать его раны. Еще не успев выздороветь, Себастьян поспешил вновь предстать перед императором. Тот велел тут же схватить его и запороть насмерть.— Дважды! О господи,— подумал Том,— эти католики — ненормальные! — Молодой красивый воин, святой Себастьян — излюбленный образ религиозной живописи. Как правило, его изображают нагим и пронзенным стрелами. Он истекает кровью от тяжелых, но не смертельных ран».

Том задумчиво закрыл книгу. Молодой красивый воин... его изображают нагим... Теперь все ясно. Клотильда. Удивительная женщина. Она не умела говорить о своей любви словами, но ее любовь находила выражение в образах ее религии, в том, как она для него стряпала, в том, как ласкала его.

Он поставил книгу на место и собрался уже уходить, как вдруг ему пришло в голову, что имя Клотильды тоже принадлежит какой-то из святых. Имея уже некоторый опыт, он быстро нашел нужный том энциклопедии. «Клотильда. св. — дочь бургундского короля Хильперика, супруга Хлодвига, короля франков».

Том вспомнил, как Клотильда, обливаясь потом, стоит у духовки в кухне или стирает грязное белье дяди Хэролда, и помрачнел. Дочь бургундского короля Хильперика, супруга Хлодвига, короля франков... Родители определенно не думают о будущем, давая ребенку имя.

Проходя мимо стола библиотекарши, он остановился.

— Спасибо, мэм, — а затем неожиданно спросил: — Скажите, пожалуйста, я могу записаться в эту библиотеку?

Она удивленно взглянула на него, но все же достала карточку и вписала в нее фамилию, возраст и адрес Тома.

Они ужинали на кухне, изредка перебрасываясь словом. Когда Клотильда начала убирать со стола, он подошел к ней, обнял и сказал:

— Клотильда — дочь бургундского короля Хильперика, супруга Хлодвига, короля франков.

— Что, что? — спросила она, взглянула на него расширившимися от удивления глазами.

— Мне захотелось узнать, откуда произошло твое имя, — сказал он. — Я зашел в библиотеку и посмотрел в энциклопедии. Ты королевская дочь и жена короля.

Клотильда долго смотрела на него, потом поцеловала в лоб. Словно благодарила за подарок.

II

В соломенной корзинке уже пестрели на мокром папоротнике две рыбины. Как и говорил Бойлан, форель в ручье действительно водилась в изобилии.

Рудольф был в старых вельветовых брюках и резиновых сапогах, какие носят пожарные. Сапоги он купил уже поношенными, к тому же они были ему здорово велики.

Накануне всю ночь лил дождь, и даже сейчас, в конце дня, серый воздух был по-прежнему насыщен влагой. В мутной воде форель клевала плохо, но уже одно то, что вокруг ни души и ни звука — только плеск воды о камни,— доставляло ему наслаждение.

Он стоял у одного из двух декоративных мостиков, перекинутых через ручей. Послышались чьи-то шаги. Намотав леску на катушку спиннинга, он замер в ожидании. На мостике появился Бойлан без шляпы, в замшевой куртке, с пестрым шарфом и в брюках для верховой езды.

— Добрый день, мистер Бойлан, — поздоровался Рудольф, чувствуя себя немного неловко и волнуясь, что вдруг тот уже забыл о своем приглашении или сказал это тогда просто из вежливости.

— Ну, как успехи?

— Да вот, пока только две.

— Не так уж плохо для такого денька, как сегодня,— заметил Бойлан, вглядываясь в мутную воду. — Не буду тебе мешать. Я просто вышел прогуляться. Обратно пойду этой же дорогой, и если ты будешь еще здесь, надеюсь, не откажешься выпить рюмочку в моем доме.

И, помахав ему рукой, пошел дальше.

Рудольф сменил блесну. Ему пришлось забрасывать удочку трижды, прежде чем рыба клюнула. Он осторожно подтягивал леску, стараясь обойти камни и водоросли. Дважды рыба чуть не сорвалась. Наконец, когда она устала, Рудольф взял сачок и вошел в ручей. Ледяная вода тут же хлынула ему за голенища. Только когда рыба была уже в сачке, он заметил, что Бойлан вернулся и снова стоит на мостике, внимательно за ним наблюдая.

— Браво, — сказал он, когда, хлюпая сапогами, Рудольф вышел на берег.— Чистая работа.

Рудольф прикончил форель и положил ее в корзинку.

— Я никогда не мог бы это сделать, — заметил Бойлан. — Убить собственными руками...— Он был в перчатках.

Рудольф с удовольствием снял бы сапоги и вылил из них воду, но носки у него были заштопаны, и ему совсем не хотелось демонстрировать Бойлану грубые толстые стежки — материнское рукоделие.

Словно читая его мысли, Бойлан сказал:

— Мне кажется, тебе следует разуться и вылить воду из сапог. Вода, должно быть, холодная.

— Это точно, — согласился Рудольф, стягивая сапоги. Бойлан, казалось, ничего не заметил. Он оглядывал густой лес, который стал собственностью его семьи сразу после окончания Гражданской войны.

— Раньше отсюда просматривался дом. Этих зарослей тогда не было. Круглый год здесь работало десять садовников, а сейчас не нанять ни одного... Впрочем, в этом нет и смысла... Да, кстати, у меня, кажется, где-то валяются болотные сапоги. Не помню уж, когда я их купил. Если они тебе как раз, можешь взять. Зайдем в дом, ты их померяешь.

Рудольф хотел прямо с ручья вернуться домой. До автобусной остановки было далеко, и нужно было спешить: родители Джули пригласили его на ужин, а потом

они с Джули собирались пойти в кино. Но болотные сапоги... Новые они стоят не меньше двадцати долларов.

— Спасибо, сэр,— сказал он.

— Не называй меня «сэр». Я и без того чувствую себя достаточно старым. Давай я понесу корзинку.

— Она не тяжелая.

— Позволь. Может, хоть тогда мне будет казаться, что я сегодня сделал что-то полезное.

А ведь он несчастный, удивленно подумал Рудольф. Такой же несчастный, как моя мать. Он отдал Бойлану корзинку, и тот повесил ее себе на плечо.

Огромный дом на холме весь зарос плющом — бесполезная крепость из неотесанного камня, призванная защищать ее обитателей от рыцарей в доспехах и колебаний на бирже.

— Смехотворно, не правда ли? — пробормотал Бойлан.

— Да.

— А ты словоохотливый собеседник, — рассмеялся Бойлан, открывая массивную дубовую дверь. — Входи.

В эту дверь проходила моя сестра, подумал Рудольф; мне следует повернуться и уйти.

Но он не ушел.

Они оказались в большом темном холле с мраморным полом и широкой винтовой лестницей, ведущей наверх. Тотчас появился пожилой слуга в сером шерстяном пиджаке и галстуке бабочкой.

— Добрый вечер, Перкинс, — сказал Бойлан. — Это мистер Джордах, наш молодой друг.

Перкинс едва заметно поклонился. Он чем-то походил на англичанина. У него было лицо преданного королю и отчизне вассала. Он взял у Рудольфа его потрепанную фетровую шляпу и возложил ее на длинный стол у стены, как венок на королевскую могилу.

— Перкинс, вы не будете так любезны сходить в оружейную и поискать там мои старые болотные сапоги? Мистер Джордах — рыбак. Вот, полюбуйтесь, — и он открыл корзинку. — Отнесите поварихе. Может, она из них что-нибудь приготовит на ужин. Ты ведь останешься поужинать, Рудольф, не так ли?

Рудольф заколебался. Ему придется пропустить свидание с Джули. Но ведь он ловил рыбу в ручье Бойлана да еще получит сапоги.

— А можно мне от вас позвонить? — спросил он.

— Конечно, — и Бойлан снова повернулся к Перкинсу: — Принесите, пожалуйста, мистеру Джордаху пару приличных теплых носков и полотенце. Он промочил ноги. Сейчас он молод и не обращает на это внимания, но когда лет через сорок будет, как мы с вами, страдать от ревматизма и с трудом добираться до камина, он еще вспомнит этот день.

— Слушаюсь, сэр, — ответил Перкинс и вышел. То ли в кухню, то ли в эту таинственную оружейную.

— Тебе, пожалуй, лучше снять сапоги здесь. Ты будешь чувствовать себя удобнее, — заметил Бойлан, вежливо намекая этим, что будет не в восторге, если Рудольф наследит по всему дому. Рудольф стянул сапоги; штопаные носки — немой укор самолюбию.

Из холла они прошли в гостиную. Рудольфу никогда в жизни не приходилось бывать в такой огромной комнате. Высокие окна наглухо закрыты бордовыми бархатными занавесями. На стенах ряды полок с книгами. Много картин: нарумяненные дамы в нарядах девятнадцатого столетия, внушительного вида бородатые пожилые мужчины, большие, писанные маслом пейзажи в паутине трещин. На рояле разбросаны переплетенные в альбомы ноты, у соседней стены — бар. Просторный мягкий диван, несколько кожаных кресел, столик с кипой журналов. Неимоверных размеров светлый персидский ковер, очевидно, сотканный сотни лет назад, неискушенному глазу Рудольфа показался просто выцветшим и потертым. К их приходу Перкинс разжег огонь в большом камине. Поленья на толстой железной решетке уютно потрескивали, лампы — их в гостиной было шесть или семь — струили мягкий вечерний свет. Рудольф немедленно решил, что когда-нибудь и он будет жить в такой вот комнате.

— Замечательная комната, — искренне восхитился он вслух.

— Слишком велика для одного человека, — сказал Бойлан. — Я налью нам обоим виски.

— Спасибо. — Его сестра в баре на вокзале заказывала тоже виски. Сейчас она в Нью-Йорке из-за этого человека. Может, это и к лучшему? Она написала, что наконец-то нашла работу. Играет в театре. Ей платят шестьдесят долларов в неделю.

— Ты хотел позвонить, — напомнил Бойлан, наливая виски. — Телефон на столе у окна.

Рудольф снял трубку.

Он надеялся, что Джули не будет дома, но она сама подошла к телефону.

— Руди! — радостно воскликнула она. Рудольф почувствовал угрызения совести.

— Джули... я насчет сегодняшнего вечера... Кое-что изменилось.

— Что изменилось? — спросила Джули ледяным тоном. Удивительно, как такая симпатичная девушка, умеющая петь, словно жаворонок, в то же время могла говорить таким металлическим, скрипучим голосом.

— Я не могу сейчас тебе объяснить, но...

— Почему же ты не можешь сейчас объяснить?

— Не могу, и все, — Рудольф взглянул на Бойлана, но тот стоял к нему спиной. — В общем, давай отложим на завтра. В кино будет та же картина, и...

— А ну тебя к черту! — и она бросила трубку.

С минуту Рудольф стоял молча, потрясенный. Как девушка могла быть такой... такой решительной?

— Вот и хорошо, Джули, — сказал он в немую трубку, — значит, до завтра. Пока. — Сыграно неплохо. Он повесил трубку.

— Вот твое виски, — подал голос Бойлан из другого конца комнаты, никак не отреагировав на телефонный разговор.

Рудольф подошел к нему и взял стакан.

— Твое здоровье! — сказал Бойлан, поднося виски к губам.

Рудольф не мог заставить себя сказать за ним «Ваше здоровье», но от выпитого ему сразу стало тепло, и виски не показалось ему таким уж противным.

— Спасибо, что остался. Не люблю пить один, а сейчас мне было просто необходимо выпить. У меня сегодня был ужасно скучный день. Да ты садись, — он указал на большое кресло возле камина. Рудольф сел, а он встал напротив, облокотившись на каминную доску. — Приходили страховые агенты по поводу этого нелепого пожара в день победы. Ты видел, как горел крест?

— Я слышал об этом.

— Странно, почему они выбрали именно мое имение? Я не католик, не негр и не еврей. Куклускланов цев явно ввели в заблуждение. Страховые агенты интересовались, нет ли у меня врагов. Наверняка есть, только они себя не афишируют. Им следовало бы поставить крест ближе к дому, чтобы этот мавзолей тоже сгорел,— я был бы счастлив. Мой дед строил его на века, и я теперь вынужден здесь жить,— Бойлан рассмеялся. — Извини, я слишком разговорчив. Но так редко выпадает возможность поговорить с кем-нибудь, кто бы хоть чуть-чуть понимал, о чем ты говоришь.

— Тогда почему вы здесь живете? — с юношеской логикой спросил Рудольф.

— Я обречен, — ответил Бойлан мелодраматическим тоном. — Я прикован к этой скале, и орел клюет мою печень. Ты знаешь, откуда этот образ?

— Прометей.

— Скажите пожалуйста! Вы что, проходили это в школе?

— Да. — Ему хотелось добавить: «Я еще и не то знаю, мистер».

— Бойтесь семейного могущества! — воскликнул Бойлан. Он уже допил свое виски и подошел к бару налить себе еще. — На тебя давит бремя обязательств перед семьей, Рудольф? У тебя есть предки, чаяния которых ты не смеешь не оправдать?

— У меня нет предков.

— Настоящий американец, — заметил Бойлан. — А вот и сапоги.

В комнату вошел Перкинс, неся высокие болотные сапоги, полотенце и пару светло-голубых шерстяных носков. Он поставил сапоги возле Рудольфа, полотенце повесил на ручку кресла, а носки положил рядом на край стола.

Рудольф снял свои мокрые заштопанные носки и хотел сунуть их в карман, но Перкинс тут же забрал их у него. Вытерев ноги полотенцем, пахнувшим лавандой, Рудольф надел принесенные ему носки. Мягкая шерсть. Он встал и натянул сапоги. На одном колене зияла треугольная дырка.

— Точно по мне. — Пятьдесят долларов, подумал он. Не меньше. В этих сапогах он чувствовал себя почти д'Артаньяном.

— Я купил их, кажется, еще до войны,— сказал Бойлан.— Когда от меня ушла жена. Я думал, что начну рыбачить... Для компании завел собаку, огромного ирландского волкодава. Отличный пес. Он у меня пять лет был. Мы друг к другу необыкновенно привязались. А потом кто-то его отравил. Да, у меня, должно быть, есть враги. А может, он просто гонялся за чьими-нибудь курами.

Рудольф снял сапоги и держал их, словно не зная, что с ними делать.

— Боже, да они, кажется, порваны, — заметил Бойлан.

— Ничего, я отдам их в починку, — поспешно сказал Рудольф.

— Нет, я попрошу Перкинса, и он сам приведет их в порядок.— Бойлан подошел к столу и добавил себе виски. — Хочешь посмотреть дом?

— Да, — ответил Рудольф. Ему было любопытно, что Бойлан называет оружейной.

— Идем. Это поможет тебе, когда ты сам станешь предком. Будешь знать, как досадить своим потомкам.

В холле стояла большая бронзовая скульптура: тигрица, вцепившаяся когтями в спину буйвола.

— Искусство, — задумчиво сказал Бойлан. — Будь я патриотом, мне следовало бы отдать ее переплавить на пушку. — Он распахнул створки огромной двери, украшенной резными купидонами и гирляндами.— Бальный зал.— И он включил там свет.

Комната была, пожалуй, не меньше гимнастического зала в их школе. С высокого потолка свисала закутанная в простыню огромная хрустальная люстра. Вдоль отделанных темными деревянными панелями стен стояли ряды стульев, накрытых чехлами.

— Отец мне рассказывал, что мать однажды пригласила сюда на бал семьсот человек. Оркестр играл вальсы. Двадцать пять вальсов подряд. Ничего себе, правда? — Он погасил свет, и они прошли в глубь дома. Бойлан приоткрыл дверь в громадную комнату с множеством книг. Здесь пахло кожей и пылью. — Библиотека, Вольтер и так далее. Киплинг... А вот оружейная. — Бойлан распахнул следующую дверь и включил свет.

В застекленных витринах красного дерева стояли дробовики и охотничьи ружья. Стены увешаны трофеями — оленьи рога, чучела фазанов с длинными яркими хвостами. Ружья поблескивали свежей смазкой. Чистота необыкновенная, нигде не пылинки.

— Ты умеешь стрелять? — спросил Бойлан, усаживаясь верхом на кожаный стул в форме седла.

— Нет. — У Рудольфа чесались руки от желания потрогать эти изумительные ружья.

— Если хочешь, я тебя научу. У меня где-то валяется старый учебный стенд для стрельбы по тарелкам. Сейчас, правда, здесь уже не на что охотиться. Разве на кроликов, да иногда попадется олень.— Он обвел комнату взглядом.— Подходящее место для самоубийства. Да, когда-то в этом имении устраивали отличную охоту. Перепела, куропатки, олени. Но это было так давно! Я уж и не помню, когда последний раз выстрелил из ружья. Может, если буду учить тебя, и сам вспомню молодость. Это мужской спорт. Мужчина по природе своей — охотник. Может быть, когда-нибудь в будущем тебе поможет репутация хорошего стрелка. В колледже я учился с парнем, который женился на одной из самых богатых наследниц в Северной Каролине и только потому, что у него был меткий глаз и твердая рука. Его звали Ривз. Из бедной семьи, но с прекрасными манерами. Это и помогло. А тебе хотелось бы быть богатым?

— Да.

— Чем ты намерен заняться после колледжа?

— Пока не знаю. Там видно будет.

— Я бы посоветовал тебе стать юристом, — сказал Бойлан. — Америка — страна юристов. И год от года потребность в них растет. По-моему, твоя сестра

говорила мне, что ты капитан команды в школьном дискуссионном клубе. Это так?

— Так. — Упоминание о сестре насторожило его.

— Мы с тобой могли бы как-нибудь съездить в Нью-Йорк и навестить твою сестру. — Они вышли из оружейной. — Я прикажу Перкинсу отыскать на этой неделе учебный стенд и купить нескольких голубей. Когда все будет готово, я тебе позвоню.

— У нас нет телефона.

— Ах, да. Помню, я как-то раз пытался найти его в телефонной книге и не нашел. В таком случае напишу. Кажется, я помню твой адрес. — Он задумчиво скользнул взглядом по ступенькам мраморной лестницы. — Там, наверху, ничего интересного. Гостиная моей матери и спальни. Большинство комнат закрыто... Если ты не возражаешь, я на минуту поднимусь переодеться к ужину. Чувствуй себя как дома. — И он стал подниматься на второй этаж, который не мог представлять никакого интереса для его молодого гостя, разве что тому было любопытно увидеть кровать, на которой его сестра потеряла невинность.

III

Рудольф вернулся в гостиную и наблюдал, как Перкинс накрывает к ужину стол у камина.

— Я позвонил насчет сапог, сэр, — сказал Перкинс. — Их починят к среде.

— Спасибо, мистер Перкинс.

— Рад быть вам полезным, сэр.

Сэр! И два раза подряд!

Рудольф потягивал виски, чувствуя, что алкоголь уже действует на него. Может быть, в один прекрасный день он вернется сюда и купит этот дом вместе с Перкинсом и всем остальным. В конце концов, он живет в Америке!

Вошел Бойлан. Он всего лишь сменил замшевую куртку на вельветовый пиджак.

— Я уж не стал принимать ванну, чтобы не заставлять тебя ждать. Надеюсь, ты меня извинишь, — сказал он, подходя к бару. От Бойлана пахло каким-то одеколоном. — В столовой было бы холодно, — заметил он, глядя на стол перед камином.— Когда-то там ужинал президент Тафт. Стол был накрыт на шестьдесят персон — все высокопоставленные лица.— Он подошел к роялю, сел на табурет, поставил стакан рядом с собой и взял несколько аккордов. — Ты случайно не играешь на скрипке?

— Нет.

— Ни на чем, кроме трубы?

— В общем-то нет. Могу, конечно, что-нибудь подобрать на рояле.

— Обидно. Мы могли бы разучить с тобой какие-нибудь дуэты. К сожалению, я ни разу не слышал о дуэтах для фортепьяно и трубы.

Бойлан начал играть. Рудольфу пришлось признать, что играет он хорошо.

— Узнаешь, что это такое?

— Нет.

— Шопен. Ноктюрн ре-бемоль-мажор.

В комнату вошел Перкинс.

— Ужин подан, сэр.

Рудольф пожалел, что остался. У него было ощущение, что Бойлан пытается заманить его в ловушку.

Сложный он, этот Бойлан. И тебе Шопен, и болотные сапоги, и виски, и философия, и оружейная, и сожженный крест, и отравленная собака... Рудольф чувствовал, что не подготовлен ко всему этому и с Бойланом ему не справиться. Теперь он понимал, почему Гретхен решила, что ей необходимо сбежать от этого человека.

Бойлан перестал играть, встал, вежливо взял Рудольфа за локоть и повел к столу. Перкинс наполнял бокалы белым вином. В центре стола в глубоком медном блюде лежала отварная форель в каком-то соусе. Рудольф был разочарован — он предпочитал форель жареную.

Они сели друг против друга. Перед каждым три разных бокала и целый набор ножей и вилок. Перкинс переложил форель на серебряное блюдо с отварным молодым картофелем и, подойдя к Рудольфу, остановился сбоку. Рудольф осторожно взял с блюда кусок форели и пару картофелин. Он растерялся от обилия столового серебра, но старался не выказывать своего замешательства. Некоторое время они

ели молча. Рудольф внимательно следил, как Бойлан действует ножом и вилкой. Меткий стрелок, прекрасные манеры...

— Она уже нашла работу? — спросил Бойлан, словно они и не прерывали начатый разговор. — Она говорила мне, что хочет стать актрисой.

— Не знаю. Я давно не получал от нее писем,— соврал Рудольф, не желая делиться с Бойланом своими сведениями.

— Ты считаешь, она может иметь успех? — продолжал Бойлан. — По-твоему, у нее талант?

— Думаю, да. *Что-то* в ней есть. Когда в школе она выходила на сцену, все сразу прекращали кашлять. — Бойлан рассмеялся, и Рудольф сообразил, что сказал это по-детски. — Я хочу сказать, чувствовалось, что зрители начинали смотреть только на нее, следить за ней — не так, как за другими актерами. Наверное, это и есть талант.

— Согласен. — Бойлан утвердительно кивнул. — Она необыкновенно красивая девушка. Но ты, как брат, вероятно, не сознавал этого.

— Почему же, сознавал.

— Правда? — безразличным тоном сказал Бойлан. Казалось, он уже утратил интерес к разговору. Махнув Перкинсу, чтобы тот убрал грязные тарелки, он встал, подошел к большой радиоле и поставил Второй фортепьянный концерт Брамса. Музыка звучала так громко, что десерт они ели в полном молчании.

Ужин кончился, Бойлан налил себе рюмку коньяку и поставил пластинку с какой-то симфонией. Рудольф устал после целого дня рыбалки. От двух бокалов вина в глазах у него зарябило, и он чувствовал, что его клонит ко сну. Бойлан держался вежливо, но отчужденно. Рудольф догадывался, что он разочаровал Бойлана, ничего не рассказав про Гретхен.

Погрузившись в кресло, прикрыв глаза и потягивая коньяк, Бойлан весь ушел в музыку. С таким же успехом он мог бы сидеть один или со своим ирландским волкодавом. «Может, он собирается предложить мне должность своей собаки»,— обиженно подумал Рудольф.

На пластинке была царапина, и когда послышалось щелканье, Бойлан раздраженно поморщился, встал и выключил радиолу.

— Ты хочешь, чтобы я отвез тебя домой сейчас?

— Да, пожалуйста, — вставая, с облегчением сказал Рудольф.

Бойлан взглянул на его ноги.

— Но ты же не можешь так идти. А сапоги у тебя наверняка еще сырые. Подожди, я что-нибудь тебе найду. — Он вышел из гостиной и поднялся по лестнице. Вскоре он вернулся, неся в руках небольшую дорожную сумку и пару темно-бордовых мокасин. — Померяй, — предложил он.

Мокасины были старые, но идеально вычищенные. С кожаной бахромой, подошва толстая. Рудольфу они пришлись точно по ноге.

— Дня через два я завезу их, — пообещал он.

— Можешь не беспокоиться, — ответил Бойлан. — Им сто лет. Я их давно не ношу.

Удочка, корзинка и сачок уже лежали на заднем сиденье «бьюика», а на полу стояли мокрые сапоги Рудольфа. Бойлан небрежно бросил сумку рядом с рыболовным снаряжением, сел в машину и включил радио. Полились звуки джаза. Всю дорогу до Вандерхоф-стрит они молчали.

— Ну, вот мы и приехали,— сказал Бойлан, остановив машину перед булочной.

— Большое спасибо за все, — поблагодарил Рудольф.

— Это тебе спасибо,— ответил Бойлан.— Я получил истинное удовольствие.

Когда Рудольф взялся за ручку дверцы, собираясь выйти, Бойлан дотронулся до его локтя.

— Извини, я могу попросить тебя об одном одолжении?

— Конечно.

— В этой сумке.... — Бойлан кивнул через плечо на заднее сиденье, — кое-что для твоей сестры. Мне бы очень хотелось, чтобы она это получила. Не мог бы ты как-нибудь передать ей сумку?

— Откровенно говоря, я не знаю, когда ее увижу, но при первой же возможности обязательно выполню вашу просьбу, — пообещал Рудольф.

— Очень любезно с твоей стороны,— Бойлан взглянул на часы.— Еще не так поздно. Может, мы зайдем куда-нибудь выпьем? Ужасно не хочется возвращаться в мой мрачный дом.

— К сожалению, завтра мне очень рано вставать, — сказал Рудольф. Ему хотелось побыть одному, разобраться в своих впечатлениях и определить, к чему может привести знакомство с этим человеком.

— Рано — это во сколько? — спросил Бойлан.

— В пять утра.

— В пять утра? Невероятно! Интересно, что может делать человек в такую рань.

— Я развожу на велосипеде булочки отцовским покупателям,— ответил Рудольф.

— Понимаю,— кивнул Бойлан.— Действительно, кто-то же *должен* доставлять булочки.— Он рассмеялся.— Просто ты совсем *не похож* на доставщика булочек.

— Это не основное мое предназначение, — заметил Рудольф.

— А какое основное? — Бойлан рассеянно включил фары. В подвале булочной свет не горел — отец еще не приступил к ночной выпечке. Интересно, если бы задать этот вопрос ему, что бы он ответил? Что его основное предназначение — печь булочки?

— Пока не знаю, — сказал Рудольф и в свою очередь агрессивно спросил:— А ваше?

— Тоже не знаю. Пока. А как тебе кажется?

— Трудно сказать, — неуверенно ответил Рудольф. Этот человек — беспорядочно рассыпанная мозаика. Будь Рудольф постарше, возможно, он сумел бы сложить из разрозненных квадратиков целостную картину.

— Жаль. А я думал, острый глаз юности разглядит во мне нечто такое, чего сам я увидеть не способен.

— Между прочим, а сколько вам лет? — спросил Рудольф. Бойлан так много говорил о прошлом, точно жил еще во времена индейцев и президента Тафта, и Рудольфу только сейчас пришло в голову, что он не столько стар, сколько старомоден.

— Попробуй угадать, — весело предложил тот.

— Не знаю... — Рудольф заколебался. Все мужчины старше тридцати пяти лет казались ему одного возраста, за исключением, конечно, явно дряхлых седобородых старцев, которые ковыляли, опираясь на палки. И он никогда не испытывал удивления, натыкаясь в газетах на сообщения о смерти тридцатипятилетних.

— Пятьдесят?

— Твоя сестра была добрее, — рассмеялся Бойлан. — Гораздо добрее. Мне недавно исполнилось сорок. У меня еще вся жизнь впереди. — И иронически добавил: — Увы.

Нужно быть чертовски самонадеянным, подумал Рудольф, чтобы позволить себе это «увы».

— А каким ты будешь в сорок? Таким, как я?

— Нет, — твердо ответил Рудольф.

— Очень мудро. Насколько я понял, ты не хочешь походить на меня. Интересно, почему?

— Мне хочется жить в такой же комнате, как у вас. Иметь столько же денег, книг и такую же машину. Так же хорошо говорить, как вы, столько же знать, ездить в Европу...

— Но...

— Но вы одинокий. И несчастный.

— Значит, по-твоему, когда тебе исполнится сорок, ты не будешь чувствовать себя одиноким и разочарованным? У тебя будет красивая любящая жена, симпатичные умные дети, которые тоже будут любить тебя и которых ты проводишь на следующую войну ..— Бойлан говорил таким тоном, словно рассказывал сказку малышам.

— Я не собираюсь жениться,— прервал его Рудольф.

— Вот как? Ты успел прийти к каким-то собственным выводам о браке? Я в твоем возрасте был другим. Знал, что женюсь. И женился. Мечтал, что мой пустынный замок наполнится детским смехом... Но, как ты, вероятно, заметил, я не женат, и в моем доме почти никогда не слышно смеха. Впрочем, еще не все потеряно.— Он достал из золотого портсигара сигарету и щелкнул зажигалкой. В свете пламени волосы его казались

совсем седыми, а тени легли на лицо глубокими складками.— Я делал твоей сестре предложение. Она тебе говорила об этом?

— Да.

— А она объяснила, почему мне отказала?

— Нет.

— Она сказала тебе, что была моей любовницей?

— Да, сказала.

— Ты меня осуждаешь?

— Да.

— Почему?

— Вы для нее слишком старый.

— Отказав мне, она ничего не потеряла. А я — потерял... Когда увидишь ее, скажи, что мое предложение остается в силе. Скажешь?

— Нет.

Бойлан, казалось, пропустил его «нет» мимо ушей.

— Открою тебе секрет. В тот вечер я не случайно оказался в «Джек и Джилл». Сам понимаешь, такие места не для меня. Но я решил, что непременно узнаю, где ты играешь. Когда вы с Джули вышли из дансинга, я специально пошел следом. Возможно, подсознательно я надеялся найти в брате что-нибудь от его сестры...

— Ну, мне пора спать,— жестко сказал Рудольф и вышел из машины.

— Не забудь сумку,— напомнил Бойлан.

Рудольф взял свою удочку, корзинку и сумку. Она была совсем легкая, как будто пустая.

— Еще раз спасибо за прекрасный вечер,— сказал Бойлан.— Боюсь, я один получил от него удовольствие. И всего лишь за пару старых рваных сапог, которые мне все равно не нужны. Я дам тебе знать, когда стенд для стрельбы будет установлен. А теперь иди, молодой неженатый доставщик булочек. Я буду думать о тебе в пять часов утра.

Он включил мотор, и машина рванула с места.

IV

Клотильда лежала, укрывшись одеялом, волосы ее разметались по подушке, лицо светилось нежной улыбкой. Томас поцеловал ее, пожелал спокойной ночи и вышел, бесшумно закрыв за собой дверь.

По узкой лестнице он неслышно поднялся на чердак, открыл дверь в свою комнату и зажег свет. На его кровати сидел в полосатой пижаме дядя Хэролд.

Щурясь от яркого света, дядя Хэролд улыбался беззубым ртом — у него были вставные зубы, и на ночь он их вынимал.

— Добрый вечер, Томми,— прошепелявил он.— Уже довольно поздно. Почти час ночи. Интересно, какие развлечения задержали тебя?

— Я просто бродил по городу,— ответил Томас.

— Томми, тебе ведь хорошо у нас живется, верно? — брызгая слюной, спросил дядя Хэролд.

— Конечно.

— И кормим мы тебя хорошо, как своего, да?

— Конечно.— Томас старался говорить тихо, чтобы не разбудить тетю Эльзу. Не хватало еще, чтобы она присутствовала при этом разговоре.

— Ты живешь в чистоте, в порядочном доме. Мы относимся к тебе как к члену семьи,— не унимался дядя Хэролд.— У тебя есть свой велосипед.

— Я ни на что не жалуюсь.

— У тебя хорошая работа, и ты получаешь столько же, сколько взрослые. Когда позвонил твой отец и попросил меня взять тебя к себе, я сделал это без всяких разговоров. Ведь в Порт-Филипе у тебя были какие-то неприятности, да? Но дядя Хэролд никогда не задавал тебе вопросов, мы с тетей Эльзой просто взяли тебя к себе.— Его пижамная куртка расстегнулась, обнажив толстые розовые складки выпирающего живота.— Разве я требую за все это чего-то невозможного? Благодарности? Нет. Совсем немногого: молодой человек должен хорошо себя вести и вовремя ложиться спать. В свою собственную постель, Томми.

Вот оно что, подумал Томас. Этот гад все знает!

— Мы порядочные люди, Томми. Нашу семью уважают. Твою тетю принимают в лучших домах. Ты бы удивился, если б я сказал тебе, какой мне предоставлен в банке кредит. Мне даже предлагали баллотироваться от республиканской партии в Законодательную Ассамблею штата Огайо, хотя я родился не в Америке. Мои дочери одеваются... Лучше их, пожалуй, ни одна девушка не одевается. Они примерные ученицы. Каждую неделю я сам отвожу их на машине в воскресную церковную школу. И эти два чистых невинных ангела спят сейчас в этом самом доме прямо под твоей комнатой.

— Все ясно,— сказал Томас. Пусть старый дурак выговорится.

— Ты не бродил по городу до часу ночи, Томми,— скорбно продолжал дядя Хэролд.— Я знаю, где ты был. Мне захотелось пить, я пошел на кухню взять из холодильника бутылку пива и услышал шум. Мне даже стыдно об этом говорить, Томми. В твои-то годы, в доме, где живут мои дочери...

— Ну и что? — угрюмо буркнул Томас. Он представил себе, как дядя Хэролд подслушивал за дверью, и его затошнило от этой мысли.

— Ну и что! — повторил за ним дядя Хэролд.— И это все, что ты можешь мне сказать? Ну и что?!

— А что я должен вам сказать? — Ему хотелось крикнуть: «Я люблю Клотильду! Это самое замечательное, что произошло за всю мою поганую жизнь. Клотильда тоже меня любит. Будь я постарше, я забрал бы ее из этого проклятого порядочного дома, из этой уважаемой семьи». Но, конечно, он не мог этого сказать. Он вообще не мог сказать ничего. Он задыхался от бессилия.

— Я хочу, чтобы ты сказал, что тебе стыдно за грязную связь, в которую ты позволил себя втянуть этой невежественной хитрой крестьянке,— прошипел дядя Хэролд.— Ты должен обещать мне никогда больше не дотрагиваться до нее. Ни в этом доме, ни где-нибудь еще.

— Я ничего не обещаю.

— Хорошо. Ты ничего не обещаешь,— подхватил дядя Хэролд.— И не надо. Когда я уйду от тебя, я спущусь к ней, уж она-то пообещает многое, уверяю тебя.

— Это вы так думаете,— возразил Том, но даже ему самому слова эти показались пустыми, детскими.

— Я не думаю, я знаю, Томми,— шепотом сказал дядя Хэролд.— Она пообещает все, чего я захочу. Ей некуда деваться. Если я ее уволю, куда она пойдет? Вернется в Канаду к своему пьянице мужу, который уже два года ее разыскивает, чтобы избить до смерти?

— Она найдет себе другую работу. Ей совсем не обязательно возвращаться в Канаду.

— Это ты так считаешь. Ишь какой специалист по международному праву! Тебе кажется, все так просто? Ты думаешь, я не обращусь в полицию?

— А при чем тут полиция?

— Ты еще ребенок, Томми. Она развратила малолетнего. Тебе всего шестнадцать. Это преступление, Томми. Серьезное преступление. Америка — цивилизованная страна, и дети здесь оберегаются законом. Если ее и не посадят в тюрьму, то, конечно, вышлют как иностранку, которая в чужой стране развращает малолетних. У нее нет гражданства, и ей придется вернуться в Канаду. Об этом напечатают в газетах, и муж будет поджидать ее. О да, она пообещает все,— повторил дядя Хэролд, вставая.— Мне жаль тебя, Томми. Ты не виноват. Это у тебя в крови. Твой отец всегда шлялся по проституткам. Мне было стыдно здороваться с ним на улице. А твоя мать, если ты этого еще не знаешь, незаконнорожденная. Ее воспитали монахини в сиротском приюте. Спроси как-нибудь, знает ли она, кто ее родители. А теперь ложись спать,— он похлопал Томаса по плечу.— Ты неплохой парень, я был бы рад сделать из тебя человека, которым гордилась бы семья. Я хочу тебе добра. Ладно, спи.— И дядя Хэролд, пивная бочка в бесформенной полосатой пижаме, сознавая свою власть, вышел из комнаты, неслышно ступая босыми ногами.

Томас погасил свет, лег на кровать и изо всей силы ткнул кулаком в подушку.

На следующее утро он встал пораньше, чтобы до завтрака успеть поговорить с Клотильдой, но когда спустился вниз, дядя Хэролд уже сидел за обеденным столом и читал газету.

— Доброе утро, Томми,— поздоровался он, шумно прихлебывая кофе.

В комнату вошла Клотильда со стаканом апельсинового сока для Томаса. Она даже не взглянула на него. Лицо ее было хмурым и замкнутым.

После завтрака Том, как всегда, ушел на работу, решив вернуться днем, когда дома никого, кроме Клотильды, не будет.

Ему удалось уйти из гаража только в четыре часа. Тетя Эльза в этот день ездила с дочерьми к зубному врачу. Обе девочки носили шины. Дядя Хэролд — Том знал это наверняка — сейчас находился в демонстрационном зале. Клотильда должна быть дома одна.

Когда он подъехал на велосипеде к дому, Клотильда поливала из шланга лужайку под окнами. На Клотильде был белоснежный халат. Тете Эльзе нравилось, чтобы ее прислуга походила на медсестер. Это было своего рода рекламой идеальной чистоты. Мол, в моем доме можно хоть с пола есть.

— Клотильда, зайдем в дом, надо поговорить,— сказал Томас.

— Мне некогда.— Она направила струю на клумбу с петуньями.

— Он вчера ночью приходил к тебе?.. Дядя?

— Ну, заходил.

— Ты его впустила?

— Он в доме хозяин,— мрачно ответила Клотильда.

— Ты обещала ему что-нибудь? — Он почти кричал, но ничего не мог с собой поделать.

— Я обещала никогда больше не оставаться с тобой наедине,— отрезала она.

— Но это, конечно, несерьезно? — взмолился Томас.

— Нет, серьезно.— Она вертела в руках наконечник шланга. На пальце поблескивало обручальное кольцо.— Между нами все кончено.

— Нет! — Томасу хотелось схватить ее и встряхнуть.— К черту этот дом! Найди другую работу. Я тоже уйду и...

— Не говори глупости,— резко оборвала его Клотильда.— Ты же знаешь о моем *преступлении,*— передразнила она дядю Хэролда.— Он добьется, чтобы меня выслали из страны,— и грустно добавила: — Мы не Ромео и Джульетта. Ты школьник, а я кухарка. Возвращайся в гараж.

— Неужели ты ничего не могла ему сказать? — Томас был в отчаянии. Он боялся, что разрыдается прямо здесь, на глазах у Клотильды.

— А чего говорить? Он дикий человек. Он ревнует, а когда мужчина ревнует, говорить с ним — все равно что со стеной или с деревом.

— Ревнует?..— не понял Томас.

— Он уже два года меня домогается,— спокойно сказала Клотильда.— Каждую ночь, как только его жена заснет, приходит и скребется у меня под дверью, словно кот.

— Жирная сволочь! В следующий раз я его подкараулю.

— Нет, ты не сделаешь этого,— возразила Клотильда.— В следующий раз я впущу Уж лучше тебе знать об этом.

— Впустишь его? Его?!

— Я — служанка,— сказала она.— И живу, как положено служанке. Я не хочу потерять работу, оказаться в тюрьме или вернуться в Канаду. Забудь обо всем. Alles Kaput![1] Это были славные две недели. Ты славный мальчик. Извини, что я втянула тебя в неприятности...

— Хватит! Хватит! — закричал он.— Теперь я больше не дотронусь ни до одной женщины, пока не...

У него сдавило горло, и, не договорив, он вскочил на велосипед и поехал не разбирая дороги. Он ни разу не обернулся и поэтому не видел отчаяния и слез на смуглом лице Клотильды.

Глава 9

Выйдя из метро на Восьмой улице, Гретхен вначале купила шесть бутылок пива, а потом зашла в химчистку за костюмом Вилли. На землю опустились сумерки, ранние ноябрьские сумерки, воздух дышал морозцем. Люди были одеты в пальто и шагали

[1] Всему конец! *(Нем.)*

торопливо. Впереди Гретхен шла, зябко нахохлившись, девушка в брюках и шинели. Голова у нее была покрыта шарфом. У девушки был такой вид, словно она только что встала с постели, хотя был шестой час утра. Впрочем, в этом и заключалась прелесть Гринвич-Вилледж: люди здесь поднимались с постели в любое время дня и ночи. И другая приятная особенность — в этой части города основную массу населения составляла молодежь.

Девушка в шинели зашла в гриль-бар «Коркорач», хорошо знакомый Гретхен, как и десяток других баров по соседству: сейчас значительная часть ее жизни проходила в барах.

Она прибавила шагу. Бумажная сумка с бутылками тяжело оттягивала руку. Гретхен возвращалась с только что закончившейся репетиции, а к восьми часам ей надо было снова быть в театре. Пьеса пользовалась скромным успехом, но, без сомнения, должна была продержаться до июня. Каждый вечер Гретхен трижды проходила в купальнике через всю сцену. Ей несколько раз приносили странные письма и телеграммы с приглашением на ужин, а два раза она даже получила от кого-то розы.

Гретхен взбежала по лестнице на третий этаж. Дверь квартиры открывалась прямо в гостиную.

— Вилли! — крикнула она. Квартирка была маленькая, всего две комнаты, и кричать не имело смысла. Но Гретхен нравилось произносить вслух его имя.

На ободранном диване сидел Рудольф со стаканом пива в руке.

— Привет.— Он встал и поцеловал ее в щеку.

— Руди! Что ты здесь делаешь? — воскликнула она, ставя сумку с пивом на пол и вешая костюм Вилли на спинку стула.

— Я позвонил, и твой друг впустил меня,— ответил тот.

— Твой друг одевается,— крикнул Вилли из соседней комнаты. Он часто целыми днями ходил по комнате в халате.

— Я так рада тебя видеть.— Гретхен сняла пальто и крепко обняла брата. Затем отступила на шаг назад, чтобы как следует разглядеть его. Раньше, видя его каждый день, она не сознавала, насколько он красив — смуглый, стройный, в голубой рубашке и спортивном пиджаке, подаренном ею в день его рождения. Задумчивые ясные зеленоватые глаза.— Ну, садись,— потянула она его за рукав,— рассказывай, как там дома. Господи, до чего же я рада тебя видеть! — Ей показалось, что голос ее звучит несколько неестественно. Если бы она знала, что он приедет, она сообщила бы ему о Вилли. Как ни говори, парню всего семнадцать... Ни о чем не подозревая, приехал навестить сестру и вдруг узнает, что она живет с каким-то мужчиной.

— Дома все по-прежнему,— сказал Рудольф. Если он и был смущен, то не показал виду. Ей стоило поучиться у него выдержке.— Сейчас, оставшись один, я несу бремя всеобщей любви.

Гретхен рассмеялась. Глупо волноваться. Она просто его недооценивала — он же совсем взрослый.

— Как мама?

— По-прежнему читает «Унесенных ветром»,— ответил он.— Болеет. Врачи сказали ей, что у нее флебит.

— А кто же работает в булочной?

— Некая миссис Кудэхи. Вдова. Мы платим ей тридцать долларов в неделю.

— Папа, конечно, от этого в восторге,— заметила Гретхен.

— Да, это его не очень радует.

— А как он сам?

— Сказать по правде, меня не удивит, если окажется, что он болен гораздо серьезнее, чем мама. С тех пор как ты уехала, он даже на реку ни разу не ходил.

— А что с ним? — Гретхен с удивлением почувствовала, что ее это и в самом деле волнует.

— Трудно сказать. Ты же его знаешь. Он никогда ничего не говорит.

— Они хоть вспоминают обо мне?

— Нет, ни словом.

— А о Томасе?

— И думать позабыли. Я так и не имею представления, что же все-таки тогда произошло. Он, разумеется, не пишет.

— Ну и семейка,— сказала Гретхен. Оба затихли, словно почтив минутой молчания клан Джордахов.

— Ладно,— стряхнула с себя оцепенение Гретхен.— Как тебе нравится наше жилище?

Они с Вилли сняли эту квартирку уже обставленной. Мебель выглядела так, точно ее притащили с чердака, но Гретхен купила несколько горшков с цветами, а на стены наклеила вырезки из журналов и рекламные плакаты туристических агентств. Индеец в сомбреро на фоне живописной деревеньки. Посетите Нью-Мексико!

— Очень мило,— мрачно ответил Рудольф.

— Ужасно убого, конечно, но есть одно потрясающее преимущество — это не Порт-Филип.

В комнату, причесываясь на ходу, вошел Вилли. Гретхен не видела его всего пять часов, но, если бы они были одни, бросилась бы к нему на шею, словно они не виделись несколько лет. Вилли склонился над диваном и поцеловал Гретхен в щеку. Рудольф вежливо встал.

— Садись, садись, Руди. Я для тебя не старший по званию. А-а! — он увидел пиво и принесенный из чистки костюм.— Знаешь, в первый же день, как мы познакомились с твоей сестрой, я предсказал ей, что она будет великолепной женой и отличной матерью,— и, с улыбкой обращаясь к Гретхен, продолжал: — Мы можем ничего не скрывать. Я уже все ему объяснил. Руди знает, что мы только формально живем во грехе. Я сказал ему, что сделал тебе предложение, но ты отказала, хотя, надеюсь, не окончательно.

Это было правдой. Он делал ей предложение несколько раз. И она была почти уверена, что у него действительно вполне серьезные намерения.

— А ты сказал, что ты женат? — спросила Гретхен. Ей не хотелось, чтобы у Руди оставались какие-либо сомнения.

— Конечно. Я никогда ничего не скрываю от братьев моих возлюбленных. Моя женитьба — мальчишество. Мимолетность. Облачко, растаявшее от первого дуновения ветра. Руди — умный парень и все понимает. Он далеко пойдет. Он еще попляшет на нашей свадьбе. И будет заботиться о нас в старости. Как ты думаешь, Руди, я гожусь тебе в шурины?

— Трудно сказать,— серьезно изучая его своими задумчивыми зеленоватыми глазами, ответил Рудольф.— Я вас совсем не знаю.

— Правильно, Руди, никогда не открывайся полностью. В этом моя беда: я слишком откровенный. Что у меня на уме, то и на языке.— И снова повернулся к Гретхен: — Да, я обещал взять его сегодня в театр на твой спектакль, а после пойдем в ресторан и вместе поужинаем.

— К сожалению, сегодня я занят. Как-нибудь в другой раз,— ответил Рудольф.— Гретхен, в этой сумке кое-что для тебя. Меня просили передать.

— Что это? От кого?

— От человека по имени Бойлан.

— О! — Она встала с дивана и подошла к сумке.— Подарок? Как мило! — Подняв сумку, она поставила ее на стол и открыла. Увидев, что внутри, она поняла, что догадалась с самого начала.— Боже, я совсем забыла, какое оно красное,— спокойно заметила она, приложив к себе платье.

— Ну и ну!..— восхищенно воскликнул Вилли.

Рудольф внимательно наблюдал за ними.

— Напоминание о моей развратной юности,— сказала Гретхен и похлопала Рудольфа по руке.— Не беспокойся, Вилли все знает о мистере Бойлане.

— О, я пристрелю его как собаку. Как только увижу. Жаль, что я уже сдал свой пистолет.

— Мне его оставить, Вилли? — с сомнением спросила Гретхен.

— Разумеется. Если, конечно, на тебе оно сидит лучше, чем на Бойлане.

— А каким образом и почему он передал его через тебя? — спросила она, кладя платье на стол.

— Мы с ним случайно познакомились и с тех пор иногда встречаемся,— ответил Рудольф.— Он просил меня дать ему твой адрес, но я не дал.

— Передай, я очень ему благодарна и каждый раз, надевая это платье, буду его вспоминать.

— Если хочешь, можешь сама сказать ему об этом. Он меня сюда привез и сейчас ждет в баре на Восьмой улице.

— Действительно, почему бы нам всем вместе не пойти туда и не выпить с этим типом? — сказал Вилли.

— Я не хочу с ним пить,— сказала Гретхен.

— Так ему и передать? — спросил Рудольф.

— Да, так и передай.

Рудольф встал.

— Пожалуй, мне пора.

— Не забудь сумку,— напомнила Гретхен и с любопытством посмотрела на брата.— Руди, ты часто с ним встречаешься?

— Раза два в неделю.

— Он тебе нравится?

— Не знаю. Я многому у него научился.

— Будь осторожен,— предупредила она.

— Не волнуйся.— Рудольф протянул Вилли руку.— До свиданья. Спасибо за пиво.

— Ну, теперь ты знаешь к нам дорогу. Приезжай в любое время. Буду рад тебя видеть.— Вилли тепло пожал ему руку.

Гретхен открыла ему дверь. Он замешкался, словно хотел сказать что-то еще, но потом просто помахал им и ушел.

— У тебя славный брат. Мне бы хотелось быть на него похожим,— сказал Вилли.

— Ты и так ничего.

— Для своего возраста он ужасно взрослый.

— Пожалуй, даже слишком,— сказала Гретхен.— Он чересчур расчетливый... О чем вы говорили до моего прихода?

— Он интересовался моей работой. Полагаю, ему показалось странным, что приятель его сестры сидит днем дома, а сестра в это время зарабатывает на хлеб насущный. Надеюсь, я сумел его успокоить.

Вилли работал в новом журнале, который недавно организовал один его знакомый. Журнал публиковал материалы, посвященные радио, основная работа Вилли заключалась в том, чтобы слушать дневные передачи, и он предпочитал делать это дома, а не в маленькой прокуренной редакции, битком набитой народом. Ему платили девяносто долларов в неделю, и с теми шестьюдесятью, которые зарабатывала Гретхен, им в общем-то вполне хватало, однако к концу недели они неизменно оставались без гроша, так как Вилли любил рестораны и допоздна засиживался в барах.

— Ты сказал ему, что ты еще и драматург? — спросила Гретхен.

— Нет. Пусть потом сам узнает.

Вилли до сих пор не показал ей свою пьесу. У него было пока написано всего полтора акта, и он собирался все переделывать заново.

— Надень платье. Давай посмотрим, как оно на тебе выглядит,— предложил он, подавая ей платье. Гретхен пошла в спальню. Уходя на работу, она аккуратно убирала кровать, но сейчас постель была в беспорядке: Вилли любил поспать после обеда. Они жили вместе немногим больше двух месяцев, но Гретхен успела досконально изучить его привычки. Его вещи были разбросаны по всей комнате, а корсет валялся на полу у окна. Гретхен улыбнулась. Детская неряшливость Вилли была ей симпатична. Она получала удовольствие, убирая за ним.

С трудом застегнув молнию на платье, она критически оглядела себя в зеркале. Вырез на груди, пожалуй, был слишком глубоким. Женщина в красном платье, смотревшая на нее из зеркала, казалась старше, чем она,— настоящая жительница Нью-Йорка, уверенная в своей привлекательности, женщина, которая, не боясь конкуренции, может войти в любую дверь. Когда она вернулась в гостиную, Вилли, открывавший следующую бутылку пива, восхищенно присвистнул:

— Ты разишь наповал!

— Я в нем не слишком голая?

— Любой мужчина, увидев на тебе это платье, захочет немедленно его с тебя снять.— Он подошел и расстегнул молнию у нее на спине.— А что, собственно, мы делаем в этой комнате?

Они прошли в спальню и быстро разделись. В тот единственный раз — когда она мерила это платье при Бойлане — получилось точно так же. Но близость с Вилли была

совсем другой: нежной, ласковой, безгрешной — естественной и неотделимой частью их совместной жизни.

Вилли осторожно перекатился на спину, и они лежали молча, держась за руки, как дети. В комнате было темно. Свет пробивался лишь из открытой двери гостиной.

— А теперь, когда ты испытала на мне свою власть, может, поговорим? Как у тебя прошел сегодня день? — закуривая, спросил он.

Гретхен заколебалась. Не сейчас, потом, подумала она.

— Как обычно. Гаспар снова ко мне приставал.— Гаспар играл в пьесе главную роль.— Тебе не кажется, что ты должен поговорить с ним? Сказать, чтобы он оставил твою девушку в покое. А может, просто дать ему по морде.

— Он меня убьет! — нисколько не стесняясь, сказал Вилли.— Он здоровый, как бык.

— Я полюбила труса.— Гретхен поцеловала его в ухо.— Если бы кто-нибудь к тебе приставал, я бы ее тут же убила.

— Это уж точно,— рассмеялся Вилли.

— Сегодня в театр приходил Николс. Он обещал в следующем году дать мне роль в новой пьесе. Большую роль.

— Ты станешь звездой,— сказал Вилли.— Твое имя будет светиться на афишах, и ты выбросишь меня, как старый башмак.

Не все ли равно, когда он об этом узнает — сейчас или потом, подумала она.

— В следующем сезоне, я, по-видимому, вообще не смогу работать.

— Как так? — приподнявшись на локте, он с удивлением посмотрел на нее.

— Я была сегодня утром у врача,— сказала она.— Я беременна.

Вилли сел и потушил сигарету в пепельнице.

— Схожу попью,— он неловко поднялся с кровати и, накинув старый халат, прошел в гостиную. Гретхен услышала, как он наливает себе пива. Она лежала в темноте и чувствовала себя брошенной. Не надо было говорить ему, подумала она. Теперь все кончено. И тут же решила: если начнет возражать, скажу, что сделаю аборт. Она знала, что никогда не решится на аборт, но сказать — скажет.

Вилли вернулся в спальню. Она включила свет у кровати. Этот разговор должен состояться при свете: выражение его глаз скажет ей больше, чем слова.

— Слушай. Слушай очень внимательно,— садясь на край кровати, сказал Вилли.— Я или получу развод, или убью эту стерву. Потом мы поженимся, и я поступлю на курсы молодых матерей, научусь пеленать и кормить младенцев. Вы меня поняли, мисс Джордах?

Гретхен внимательно посмотрела ему в лицо. Он не шутил.

— Я поняла тебя,— тихо ответила она.

Когда с сумкой в руке Рудольф вошел в бар, Бойлан в твидовом пальто стоял у стойки, глядя в свой стакан.

— Почему ты с сумкой? — спросил он.

— Она ее не взяла.

— А платье?

— Платье взяла.

— Что будешь пить?

— Пиво.

— Пожалуйста, одно пиво,— подозвал Бойлан бармена.— А мне еще виски.— Бойлан кинул взгляд на свое отражение в зеркале на стене. Брови у него стали еще светлее, чем на прошлой неделе. Лицо было покрыто густым загаром, точно он несколько месяцев провел на пляже где-нибудь на юге. Рудольф уже знал, что этот загар достигается с помощью кварцевой лампы. «Я слежу за тем, чтобы всегда выглядеть как можно лучше, даже если ни с кем не встречаюсь по нескольку недель. Из своего рода самоуважения»,— как-то объяснил ему Бойлан. Рудольф и так был очень смуглым, поэтому он считал, что может уважать себя, даже не пользуясь кварцем.

Бармен поставил перед ними пиво и виски. Когда Бойлан взял свой бокал, пальцы его слегка дрожали. Интересно, сколько же он успел выпить? — подумал Рудольф.

— Ты сказал ей, что я здесь? — спросил Бойлан.

— Да.

— Она придет?

— Нет. Ее друг хотел пойти и познакомиться с вами, но она была против.— Скрывать правду не имело смысла.

— Они случайно не женаты?

— Нет. Он все еще женат на другой.

Бойлан снова посмотрел на свое отражение в зеркале.

— А что он за человек? Тебе понравился?

— Молодой, довольно симпатичный и все время шутит.

— Шутит...— повторил Бойлан.— Впрочем, почему бы ему и не шутить?.. У них хорошая квартира?

— Двухкомнатная меблированная в доме без лифта.

— У твоей сестры романтическое пренебрежение к богатству. Когда-нибудь она пожалеет об этом, как и о многом другом.

— Мне показалось, что она счастлива,— заметил Рудольф. Ему были неприятны предсказания Бойлана, и он не хотел, чтобы Гретхен о чем-нибудь пожалела.

— Ты передал ей, что мое предложение остается в силе?

— Нет. По-моему, вам лучше сделать это самому. Кроме того, не мог же я сказать ей это в присутствии ее парня.

— А почему бы и нет?

— Тедди, вы слишком много пьете.

— Да? Возможно. Значит, ты не хочешь сходить к ним еще раз? Со мной?

— Вы же знаете, я не могу этого сделать.

— Да, знаю. В вашей семье никто ни на что не способен.

— Вот что. Я могу сесть в поезд и вернуться домой. Прямо сейчас.

— Извини, Рудольф,— Бойлан слегка дотронулся до его руки.— Все это время я стоял здесь и думал: «Вот сейчас она войдет вместе с тобой». А она не пришла. Прости мне мою бестактность — я просто расстроился. Извини. Ты, конечно, никуда один не поедешь. Мы с тобой свободные люди, так давай воспользуемся этим и устроим себе веселую ночь в Нью-Йорке. Здесь недалеко есть неплохой ресторан. С него и начнем.

После ужина, который, как заметил Рудольф, поглядев на счет, стоил больше двенадцати долларов, они зашли в ночной клуб, расположенный в каком-то подвале. Там было полно молодежи, большей частью негров, но за приличные чаевые Бойлан немедленно получил столик, стоявший вплотную к маленькой танцевальной площадке. Музыка была оглушительна и прекрасна. В восторге от оркестра Рудольф, подавшись всем телом вперед, не спускал глаз с негра-трубача, а Бойлан откинулся на спинку стула, весь ушел в себя, курил и пил виски. Рудольф тоже заказал виски — надо же было что-то заказать,— но даже не притронулся к своему стакану: Бойлан столько выпил за сегодняшний день, что обратно машину придется вести ему, Рудольфу, и надо быть абсолютно трезвым.

— Тедди! — перед их столиком остановилась женщина в коротком вечернем платье с голыми руками и плечами.— Тедди Бойлан! А я думала, ты уже умер.

— Привет, Сисси,— ответил Бойлан, вставая.— Как видишь, я не умер.

Женщина обняла его за шею и поцеловала в губы. Бойлан с раздражением отвернулся. Рудольф нерешительно поднялся со стула.

— Где ты прятался все это время? — Она отступила на шаг, продолжая держать Бойлана за рукав. Драгоценности, которыми она была увешана, как новогодняя елка, сверкали и переливались. Рудольф не мог определить, настоящие они или подделка. То и дело поглядывая на Рудольфа, она улыбалась.— Я тебя *сто лет* не видела,— продолжала она, не дожидаясь ответа и по-прежнему беззастенчиво глядя на Рудольфа.— Ходили просто невероятные слухи! Идем за наш столик. Там собралась вся наша компания. Сузи, Джек, Карен... Они жаждут тебя увидеть. Ты выглядишь просто замечательно. Совсем не постарел. Идем, и захвати своего обворожительного приятеля. Я что-то не расслышала, как его зовут, дорогой.

— Разреши представить тебе мистера Рудольфа Джордаха,— сухо сказал Бойлан.— Рудольф — это миссис Сайкс.

— Друзья зовут меня просто Сисси,— вставила женщина и снова повернулась к Бойлану.— Он само очарование! Теперь понятно, почему ты нам изменил.

— Не будь бóльшей идиоткой, чем тебя создал бог, Сисси,— раздраженно сказал Бойлан.

— А ты все такой же противный, Тедди,— хихикнула женщина.— Обязательно подойди к нашей компании.— Игриво помахав рукой, она повернулась и сквозь лабиринт столиков направилась в конец зала.

Бойлан опустился на стул и показал Рудольфу, чтобы тот тоже сел. Щеки Рудольфа пылали, но, к счастью, в зале было темно.

— Глупая женщина,— сказал Бойлан, допивая виски.— У меня с ней был роман до войны. Она очень постарела.— И, не глядя на Рудольфа, предложил: — Давай уйдем отсюда. Здесь очень шумно и слишком много чернокожих братьев. Все это напоминает мне рабовладельческое судно после успешного бунта рабов.

Миссис Сайкс была единственной из знакомых Бойлана, кому он представил Рудольфа, и, если все его знакомые походили на нее, неудивительно, что он предпочитал жить на холме в полном одиночестве.

Выйдя на Четвертую улицу, они зашагали туда, где Бойлан оставил машину. Шли мимо темных витрин магазинов, мимо баров, откуда доносились музыка и громкие голоса.

— Нью-Йорк истеричен,— сказал Бойлан.— Он похож на неудовлетворенную психопатку. Боже, сколько времени я потерял здесь зря... Извини за эту ведьму.— Встреча в баре явно вывела его из равновесия.— Люди — скоты... Когда в следующий раз поедем в Нью-Йорк, захвати свою девушку. Ты слишком впечатлительный, чтобы окунаться в такую грязь.

— Хорошо, я приглашу ее,— ответил Рудольф, хотя знал, что Джули никогда не согласится. Она не желала поддерживать с Бойланом дружеских отношений, называла его хищником и «пергидролевым блондином».

III

Прислонясь спиной к стене гаража и жуя травинку, Томас сидел на расшатанном стуле и глядел на склад древесины напротив. День был ясный, солнечный, и осенние листья отливали медью. До двух часов нужно было успеть сменить масло в машине одного клиента. Но Томас не торопился. Накануне вечером он подрался на школьном балу. Тело у него ныло, руки распухли.

Дядя Хэролд вышел из своей маленькой конторы позади заправочной станции. Томас знал, что дяде неоднократно жаловались на него и доносили про драки, но дядя Хэролд ни разу не говорил с ним об этом. С некоторых пор он вообще не делал Томасу никаких замечаний. Последние дни дядя Хэролд выглядел плохо. Пухлое розовое лицо его пожелтело и обвисло, и на нем застыло опасливое выражение, словно он в любую минуту ждал взрыва бомбы. Этой бомбой был Томас. Ему достаточно было лишь намекнуть тете Элъзе об отношениях между дядей и Клотильдой, и в доме Джордахов надолго замолкли бы дуэты Тристана и Изольды. Томас, конечно, не собирался ничего сообщать тетке, но и не посвящал дядю Хэролда в свои намерения. Пусть помучается.

Томас перестал брать с собой завтраки из дома. Три дня подряд он оставлял лежать на кухонном столе пакет с фруктами и бутербродами, приготовленными Клотильдой. Она ничего ему не говорила, но через три дня поняла, в чем дело, и пакет с завтраком больше на столе не появлялся. Теперь Томас ел в столовой недалеко от гаража. Это было ему по средствам: дядя Хэролд повысил ему зарплату на десять долларов. Скотина.

— Если меня спросят, я в демонстрационном зале,— сказал дядя Хэролд. Томас продолжал молча глядеть через дорогу. Дядя Хэролд вздохнул, сел в машину и уехал.

Вскоре к бензоколонке подкатил «форд» миссис Дорнфилд. Томас нехотя подошел к нему.

— Привет, Томми, полный бак, пожалуйста,— попросила миссис Дорнфилд, пухленькая блондинка лет тридцати с разочарованными, по-детски голубыми глазами. Ее муж работал кассиром в банке, и это было очень удобно, потому что миссис Дорнфилд всегда знала наверняка, где он в рабочее время.— Было бы очень мило, если бы ты нанес мне сегодня визит.— Она неизменно именовала это визитом. Говорила она очень жеманно.

— Если я смогу освободиться,— ответил Томас, не зная, какое у него будет настроение после обеда. Иногда за такие «визиты» он получал от нее десять долларов. По-видимому, мистер Дорнфилд почти совсем не давал жене денег.

После «визитов» к миссис Дорнфилд на воротничке у него всегда оставались следы губной помады, и он нарочно не отмывал их, чтобы Клотильда, собирая белье в стирку, увидела. Но это не помогало. И вообще — ничто не помогало. Ни миссис Дорнфилд, ни миссис Берримэн, ни близнецы... Свиньи они все, и больше ничего. Ни одна из них не могла заставить его забыть Клотильду. Том был уверен: Клотильде известно о его похождениях — в этом вонючем городке ничего не скроешь,— и надеялся, что она страдает так же, как и он. Но если она и страдала, то виду не показывала.

Томас куском хлеба подбирал соус с тарелки, когда в столовую вошел полицейский Джо Кунц.

— Томас Джордах? — спросил он, подойдя к Томасу.

— Привет, Джо,— ответил Томас. Раза два в неделю Кунц обязательно заглядывал в гараж. Он вечно грозился, что уйдет из полиции — там очень мало платили.

— Ты признаешь, что ты Томас Джордах? — официальным тоном спросил Кунц.

— Ты, по-моему, знаешь, как меня зовут. Что за шутки?

— Идем со мной, сынок. У меня ордер на твой арест.— Он взял Томаса за локоть.

— У меня еще заказан пирог и кофе. Убери лапы, Джо,— огрызнулся Том.

— Заплати, сынок, и не поднимай шум.

— Ладно, ладно.— Томас положил на стойку восемьдесят пять центов и встал.— Черт побери, Джо, ты мне так руку сломаешь!

— Ты обвиняешься в изнасиловании несовершеннолетних,— сказал сержант Хорвас.— Я сообщу твоему дяде. Он может нанять тебе адвоката. Уведите его.

Кунц, подталкивая Томаса в спину, вывел его в коридор и затолкал в камеру. Там уже был один заключенный — заросший недельной щетиной худой мужчина лет пятидесяти, в лохмотьях. Его арестовали за браконьерство. Он подстрелил оленя. Его двадцать третий раз за это сажают, сказал он Томасу.

IV

Хэролд Джордах нервно расхаживал по платформе. Как назло именно сегодня поезд опаздывал. Всю ночь Хэролд не сомкнул глаз. Эльза плакала и твердила, что они опозорены на всю жизнь, что ей теперь стыдно будет показаться в городе, что он был круглым дураком, согласившись взять в дом этого скота.

Она права. Он действительно идиот. А все потому, что доброе сердце. Ну и что из того, что они родственники,— в тот день, когда Аксель позвонил, ему следовало отказаться. Хэролд вспомнил о том, что Томас там, в тюрьме, точно обезумев, без всякого стыда и совести признавался во всем и называл фамилии. Кто знает, что он еще расскажет? Этот маленький негодяй ненавидит его. Как можно поручиться, что он не разболтает о покупке талонов на бензин на черном рынке, о продаже подержанных автомашин с коробками передач, которые не выдержат больше ста миль, о спекуляции новыми машинами в обход закона о контроле цен и о «ремонте» поршней и клапанов в автомобилях, где всего лишь засорился бензопровод? А если он и про Клотильду расскажет? Стоит впустить такого парня в дом, и ты у него в руках. Хэролд даже вспотел, хотя на вокзале было холодно и дул сильный ветер.

Он надеялся, что Аксель привезет с собой достаточно денег. И метрику Томаса. Он послал Акселю телеграмму с просьбой позвонить ему — у Акселя телефона не было. Для пущей уверенности составил телеграмму так, чтобы она звучала как можно тревожнее, и все же почти удивился, когда его телефон зазвонил и на другом конце провода раздался голос брата.

Наконец поезд прибыл, из вагонов вышли несколько человек и торопливо зашагали прочь. Хэролда на мгновенье охватила паника. Акселя нигде не было видно. Это вполне в духе Акселя — взвалить все сложности на него одного. Вообще Аксель странный отец: он ни разу не написал ни Томасу, ни ему. И мать Томаса, эта тощая высокомерная кляча, шлюхино отродье, тоже не написала сыну ни строчки, как, впрочем, и двое других ее детей. От такой семейки всего можно ожидать.

И вдруг он увидел Акселя: крупный мужчина в драповом пальто и кепке, прихрамывая, шагал к нему по платформе. Не мог одеться получше, подумал Хэролд. Он был рад, что уже стемнело и вокруг мало народу.

— Ну вот. Я приехал,— сказал Аксель. Он даже не протянул брату руку.

— Здравствуй. Я уже боялся, ты не приедешь. Привез деньги?

— Пять тысяч.

— Надеюсь, этого хватит.

— В любом случае больше у меня нет,— отрезал Аксель. Он очень постарел и выглядел больным, а его хромота стала еще заметнее.

— Ты ужинал? У Эльзы найдется что-нибудь в холодильнике.

— Не будем терять времени,— сказал Аксель.— Кому я должен отдать деньги?

— Отцу. Абрахаму Чейсу. Он один из самых влиятельных людей в городе. Надо же было твоему сыну так влипнуть. Фабричные девчонки ему, видите ли, не по вкусу,— сокрушенно покачал головой Хэролд.— Чейсы — одна из старейших семей в городе. Практически все здесь принадлежит им. Тебе повезет, если он возьмет у тебя деньги.

— Это точно.

Они сели в машину и поехали к дому Чейса.

— Я звонил ему,— продолжал Хэролд.— Сказал, что ты приедешь. Он буквально вне себя. И его можно понять. Когда человек приходит домой и вдруг узнает, что его дочь беременна, уже мало хорошего, но когда беременны сразу *обе!*.. А они у него к тому же близнецы... Но это еще не все. Томас успел избить в Элизиуме человек десять.— Слухи о драках Томаса докатились до Хэролда уже в несколько преувеличенном виде.— Странно, что его до сих пор не сажали. Все его боятся. И вполне понятно, что, когда случился этот скандал, все свалили на него. А кто из-за этого пострадал? Я и Эльза.

— Откуда известно, что виноват именно мой сын? — спросил Аксель, пропуская мимо ушей последнюю реплику брата.

— Близнецы сами сказали об этом своему отцу. Вообще-то они переспали почти со всеми парнями в городе, даже взрослых мужчин не пропускали. Всем это известно. Но когда нужно было решить, кто виноват, естественно, первым всплыло имя твоего сына. Никто ведь не скажет, что виноват симпатичный сынок соседа, или полицейский Кунц, или парнишка из Гарвардского университета, чьи родители два раза в неделю играют с Чейсами в бридж. Они хитрые, эти две сучки. А твой Томас, чтобы пустить девчонкам пыль в глаза, сказал, что ему девятнадцать. Мой адвокат говорит, что парня младше восемнадцати не могут посадить за изнасилование несовершеннолетних.

— Тогда в чем же дело? Я привез его свидетельство о рождении.

— К сожалению, все не так просто,— сказал Хэролд.— Мистер Чейс клянется, что упечет его в тюрьму как малолетнего преступника и он будет там сидеть, пока ему не исполнится двадцать один год. И это в его силах. А Томас к тому же все себе портит, утверждая, будто лично знает по крайней мере человек двадцать, которые спали с этими девицами, да еще называет фамилии. Это всех только злит. Он ославил весь город, и даром ему это не пройдет...

— У тебя хорошие отношения с этим Абрахамом? — прервал его Аксель.

— Чисто деловые. Он купил у меня «линкольн». Но в общем-то мы вращаемся в разных кругах... Проклятая война. Если бы ты знал, чего мне стоило эти четыре года удержаться на поверхности. И вот сейчас, когда я наконец-то вздохнул спокойнее, надо же было такому случиться.

— Похоже, дела у тебя идут не так уж плохо,— заметил Аксель.

— Одна видимость,— ответил Хэролд. Если брат собирается занять у него денег, то он обратился не по адресу.

— А где гарантия, что Абрахам, взяв у меня деньги, не отправит парня в тюрьму? — спросил Аксель.

— Мистер Чейс — человек слова. Перед ним весь город на цыпочках ходит — и полицейские, и судьи, и мэр. Если он тебе скажет, что дело замнут, значит, так и будет.

Братья подъехали к белому дому с большими колоннами и вылезли из машины, Хэролд позвонил в дверь. Он снял шляпу и прижал ее к груди, точно присутствовал при торжественном поднятии флага. Аксель остался в кепке.

Дверь открылась. На пороге стояла горничная.

— Мистер Чейс ждет вас,— сказала она.

V

В дверях камеры появился Кунц.

— Выходи, Джордах,— сказал он. С тех пор как Томас рассказал адвокату, нанятому дядей Хэролдом, что Кунц тоже был в числе тех, кто спал с сестрами-близнецами, полицейский не проявлял к Томасу особого дружелюбия. Кунц был женат и имел троих детей.

Аксель, дядя Хэролд и адвокат ожидали его в кабинете Хорваса. Том сразу заметил, какой больной вид у отца. Даже в тот день, когда отец его ударил, Аксель выглядел лучше.

— Томас,— обратился к нему адвокат,— я рад сообщить тебе хорошую новость. Все решилось как нельзя лучше. Ты свободен.

— Вы хотите сказать, что никто меня здесь не держит? — спросил Томас, с сомнением оглядев сидящих в кабинете мужчин. Лица у всех них были отнюдь не радостными.

— Совершенно верно,— ответил адвокат.

— Пошли. Я уже и без того потерял достаточно времени в этом вонючем городе.— Аксель резко повернулся и, прихрамывая, вышел.

На улице ярко светило солнце. В камере окон не было, и, сидя там, невозможно было определить, какая на улице погода. Отец и дядя Хэролд шли по обе стороны от Томаса, и он по-прежнему чувствовал себя под арестом.

В машине Аксель уселся спереди рядом с братом, Томас в одиночестве сидел на заднем сиденье. Он ни о чем не спрашивал.

— Если тебе интересно знать, я тебя выкупил,— сказал Аксель. Он даже не повернулся к Томасу и говорил, уставившись прямо перед собой.— Отдал этому Шейлоку пять тысяч за его фунт мяса. Наверно, еще никто не платил таких денег за полчаса с девкой. Надеюсь, по крайней мере, ты получил тогда удовольствие.

Томасу хотелось сказать отцу, что он жалеет о случившемся и когда-нибудь постарается вернуть отцу эти деньги, но у него не поворачивался язык.

— Только не думай, что я сделал это ради тебя или ради Хэролда...— продолжал Аксель.— Помри вы оба хоть сегодня, у меня бы даже аппетит не испортился. Я сделал это ради единственного стоящего человека в семье — ради твоего брата Рудольфа. Я не хочу, чтобы он начинал взрослую жизнь, имея вместо приданого брата-каторжника. Мы с тобой сегодня видимся последний раз. Я не желаю больше тебя знать. Сейчас я сяду на поезд, уеду домой, и между нами все кончено. Ясно?

— Ясно,— ответил Томас.

— Ты тоже сегодня же уедешь из города,— дрожащим голосом подхватил дядя Хэролд.— Это условие мистера Чейса, и я с ним полностью согласен. Я отвезу тебя сейчас домой, ты соберешь свои вещи и больше ни одной ночи не останешься под моей крышей. Это тебе тоже ясно?

— Да, да,— раздраженно сказал Томас. Пусть он катится вместе со своим городом ко всем чертям. Кому нужна эта дыра?

Больше они не разговаривали. Дядя Хэролд подвез Акселя к вокзалу, где тот вышел и, не сказав ни слова и даже не закрыв за собой дверцу, захромал прочь.

В комнатке на чердаке на его кровати лежал старый потрепанный чемодан. Томас узнал его. Чемодан принадлежал Клотильде. Простыни с кровати были сняты, а матрас скатан, точно тетя Эльза боялась, что племянник решит вздремнуть несколько минут перед отъездом.

Томас быстро побросал в чемодан свои немногочисленные вещи: несколько рубашек, нижнее белье, носки, вторую пару туфель и свитер. Затем снял рабочий комбинезон, в котором его арестовали, и переоделся в новый серый костюм, купленный ему тетей Эльзой на день рождения. Закрыв чемодан, он спустился вниз и пошел на кухню — ему хотелось поблагодарить Клотильду за чемодан, но ее в кухне не было.

В столовой стоял дядя Хэролд и доедал большой кусок яблочного пирога, запихивая его в рот дрожащими пальцами. Он всегда ел, когда нервничал.

— Если ты ищешь Клотильду, не трать силы попусту,— сказал дядя Хэролд.— Я отправил ее в кино вместе с девочками и Эльзой.

Что ж, подумал Томас, по крайней мере, она хоть кино посмотрит. Нет худа без добра.

— У тебя есть деньги? — спросил дядя Хэролд, с жадностью глотая пирог.— Я не хочу, чтобы тебя арестовали за бродяжничество и все началось сначала.

— Есть,— сказал Томас. У него был двадцать один доллар и мелочь.

— Прекрасно. Давай сюда ключи.

Томас достал из кармана ключи и положил их на стол. Ему хотелось бросить остатки пирога в физиономию дяде Хэролду. Но что бы это изменило?

Они глядели друг на друга в упор. На подбородке у Хэролда повисли крошки пирога.

— Поцелуйте за меня Клотильду,— сказал он и вышел из дома.

На вокзале он купил билет за двадцать долларов, чтобы уехать от Элизиума как можно дальше.

Глава 10

Всю ночь кошка смотрела на него злыми немигающими глазами. Ее холодный взгляд смущал Рудольфа: он чувствовал себя неуверенно, когда кому-то не нравился, пусть даже кошке.

Он пытался завоевать ее расположение: лишний раз подливал в миску молока, гладил, приговаривал: «Хорошая киса, хорошая»,— но кошка знала, что все это притворство, и, свернувшись в клубочек, обдумывала план убийства.

Отец уехал три дня назад. Из Элизиума не поступало никаких известий, и Рудольф не знал, сколько еще ночей ему придется спускаться в подвал, стоять у раскаленной печи в мучной пыли и ворочать немеющими руками тяжеленные противни с булочками. Он не понимал, как отец мог выносить это всю свою жизнь год за годом. Уже после трех ночей в пекарне Рудольф совершенно обессилел, лицо у него осунулось, под глазами появились синяки. Утром ему по-прежнему приходилось вставать в пять часов и на велосипеде развозить булочки покупателям. А после этого еще школа... Завтра экзамен по математике, а у него даже не было времени к нему подготовиться.

Весь потный, в муке, сражаясь с огромными жирными противнями, Рудольф превратился в призрачное подобие собственного отца, он шатался под бременем наказания, которое его отец покорно сносил шесть тысяч ночей. Хороший, преданный сын... Плевать ему на это. Он горько сожалел, что по праздникам, когда работы в пекарне бывало особенно много, помогал отцу и почти выучился его профессии. Томас куда умнее — пусть семья катится ко всем чертям. И какие бы у него ни были неприятности — получив телеграмму из Элизиума, Аксель ничего не объяснил Рудольфу,— Томасу все-таки сейчас лучше, чем его брату, покорно выполняющему сыновний долг в пышущем жаром подвале.

А уж про Гретхен и говорить нечего — шестьдесят долларов за то, чтобы просто пройтись по сцене три раза в неделю...

Рудольф подсчитал, какой приблизительно доход приносила Джордаху пекарня, и оказалось, что за вычетом арендной платы и прочих расходов, включая тридцать долларов вдове, торговавшей сейчас в булочной вместо заболевшей матери, прибыль составляла всего шестьдесят долларов в неделю. Он тут же вспомнил, как в Нью-Йорке Бойлан только за один их ужин в ресторане заплатил двенадцать долларов. А сколько еще за выпитое ими в тот день!

С остервенением он сунул в духовку следующий противень.

Его разбудили голоса. Он застонал. Неужели уже пять часов? Так быстро? Машинально поднялся с кровати и с удивлением заметил, что одет. Он тупо потряс головой — как это так? Мутными глазами взглянул на часы — четверть шестого. Только теперь до него дошло — сейчас не утро, а вечер. Вернувшись из школы, он бросился на кровать, чтобы немного отдохнуть перед ночной работой, и не заметил, как уснул. Послышался голос отца. Значит, тот вернулся, пока он спал. У него тотчас мелькнула эгоистическая мысль: сегодня ночью работать не придется. Он снова лег.

Снизу доносились голоса. Один высокий, возбужденный, другой низкий, пытающийся что-то объяснить. Мать с отцом ругались. Он слишком устал, и ему все было безразлично, но заснуть он уже не мог и невольно стал прислушиваться.

Мэри Пейс Джордах перебиралась в комнату Гретхен. С трудом переставляя больные ноги, она выносила из спальни, которую ненавидела двадцать лет, все свои вещи и сваливала их на кровать, где когда-то спала Гретхен.

— Хватит,— бубнила она свой нескончаемый монолог,— с этой комнатой покончено. Я, конечно, опоздала на двадцать лет, но теперь уж, наконец, избавилась. Никому нет до меня никакого дела. С сегодняшнего дня буду жить как захочу. Больше не собираюсь плясать под дудку дурака, который — подумать только! — ездил через всю страну, чтобы отдать совершенно незнакомому человеку пять тысяч долларов! Сбережения всей жизни! *Моей жизни.* Я гнула спину день и ночь. Во всем себе отказывала. Чтобы скопить эти деньги, состарилась раньше времени. Мой сын собирался поступать в колледж, стать джентльменом. А теперь он никуда не поступит и никем не станет, потому что моему распрекрасному муженьку приспичило показать свое благородство и отдать миллионерам в Огайо тысячи долларов, чтобы его драгоценный братец с толстухой женой не краснели, отправляясь в оперу на своем «линкольне».

— Я сделал это не ради своего брата и не ради его толстухи,— сказал Аксель Джордах. Он сидел на кровати, бессильно свесив руки между колен.— Я уже объяснял тебе, я сделал это для Руди. Какой ему смысл поступать в колледж, если потом вдруг выяснится, что у него брат в тюрьме?

— А ему там самое место. Если ты намерен отдавать по пять тысяч долларов каждый раз, когда его хотят посадить в тюрьму, бросай пекарню и займись лучше нефтяным бизнесом или стань банкиром. Ты наверняка думал, что делаешь *доброе дело,* когда отдал этому человеку деньги! Небось еще и *гордился!* Как же! Твой сын. Яблочко от яблони... Весь в отца. Одной девушки ему мало! Нет, он же сын Акселя Джордаха! Ему подавай сразу двоих! Что ж, если Аксель Джордах хочет показать, что он великолепный мужчина в постели, пусть лучше подыщет себе пару девочек-близнецов. В этом доме ему больше ничего не перепадет. Моя Голгофа кончилась.

— Господи,— вздохнул Рудольф.— Голгофа?

— Мерзость! Скотство! — взвизгнула Мэри.— Из поколения в поколение. Твоя дочь тоже хороша — шлюха! Я видела деньги, которые она получила от мужчины за свои услуги. *Восемьсот долларов!* Я их видела собственными глазами. Она прятала их в книге. Восемьсот долларов! Твои дети продают себя задорого! Ничего, я теперь тоже назначу себе цену. Если тебе от меня что-нибудь нужно, если хочешь, чтоб я торговала в булочной или пускала тебя к себе в постель,— плати! Мы платим этой вдове тридцать долларов в неделю, а она выполняет только половину моей работы — ночью она спит у себя дома. Так вот, моя цена — тридцать долларов в неделю! И это еще по-божески. Но только сначала верни мне то, что ты уже задолжал. По тридцать долларов в неделю за двадцать лет — это тридцать тысяч. Когда положишь эти тридцать тысяч мне на стол, тогда и буду с тобой разговаривать, не раньше.— Она схватила последние узлы со своими вещами, стремительно вошла в комнату Гретхен и с шумом захлопнула за собой дверь.

Джордах покачал головой, встал и, хромая, поднялся к сыну. Тот лежал на кровати, глядя в потолок.

— Ты, наверно, все слышал? — спросил Джордах.

— Да.

— Извини,— не глядя на него, сказал отец.— Ну, ладно. Я схожу в булочную, посмотрю, как там дела.

— Я вечером спущусь тебе помочь,— сказал Рудольф.

— Не надо, спи. Там тебе делать нечего.— И он вышел из комнаты.

(Продолжение следует)

Литературные иллюстрации

РОБЕРТ МУЗИЛЬ

Рассказы

С немецкого

Роберт Музиль при жизни много страдал от того, что ощущал себя не оцененным по достоинству. Это ощущение не было выдуманным. Слава одного из крупнейших художников австрийской — да и всей немецкоязычной — литературы XX века пришла к нему только посмертно; а умер он в безвестности и нужде, в эмиграции, где жил с 1938 года — после гитлеровского аншлюса Австрии, ценимый лишь весьма ограниченным кругом знатоков. Правда, среди этих ценителей — авторитеты очень весомые: Томас Манн, Герман Брох, Арнольд Цвейг.

Надо сказать, что, сетуя на своих современников, Музиль в то же время не облегчал им задачу установления живого контакта с его художественным миром. Мир этот непрост для восприятия. Музиль если и мог рассчитывать на читателя, то лишь на достаточно подготовленного; но зато усилия, затраченные на приобщение к этому миру, окупаются с лихвой. Тогда-то и обнаруживается, что перед нами один из весьма прозорливых художественных аналитиков своей эпохи в неких глубинных направлениях ее развития. Тогда и раскрывается во всей своей необычности его редкий, изысканный поэтический дар.

Публикуемые ниже две новеллы этот дар являют, конечно, и неискушенному глазу — хотя бы в форме пресловутой «магии слова». Но чтобы непосредственное эмоциональное ощущение подкрепилось и более основательным интеллектуальным проникновением, необходимо учесть некоторые общие предпосылки, исходные условия той задачи-загадки, которая предлагается нам в сюжетах этих новелл — безусловно, интригующих, «странно мерцающих», если воспользоваться одним из излюбленных эпитетов самого Музиля.

Вкратце предпосылки таковы. На протяжении всего своего творческого пути, начавшегося вместе с веком, Музиль был одним из самых радикальных критиков современной буржуазной цивилизации, которой он вменял в вину необратимое иска-

---

РОБЕРТ МУЗИЛЬ — ROBERT MUSIL (1880—1942).

Австрийский писатель. Окончил кадетское училище и Высшую техническую школу в в Штутгарте; изучал философию и психологию в Берлинском университете. Участник первой мировой войны. Был журналистом и театральным критиком. В 1938 г. эмигрировал в Швейцарию. При фашизме книги Музиля были запрещены в Германии и Австрии. Автор автобиографического романа «Тяготы воспитанника Тёрлеса» («Die Verwirrungen des Zöglings Törless», 1906), сборников новелл «Объединения» («Die Vereinigungen», 1911), «Три женщины» («Drei Frauen», 1924), драмы «Мечтатели» («Die Schwärmer», 1921). Основное произведение — неоконченный философско-сатирический роман «Человек без свойств» («Der Mann ohne Eigenschaften», Bd. 1—3, 1930—1943).

Переводы предлагаемых рассказов сделаны по текстам сборника произведений Р. Музиля, выпущенного издательством «Фольк унд Вельт», Берлин, 1976.

жение духовного облика и назначения человека. Но истоки ложного развития этой цивилизации он искал — как, скажем, и Томас Манн — прежде всего в духовных ее основах, в ее **сознании.** Более конкретные определители кризиса лишь постепенно входили в круг его писательского внимания — по мере работы над главной книгой его жизни, романом «Человек без свойств». Изначально же Музиль был убежден в исчерпанности традиционно-буржуазного миропорядка по всем фронтам: выхолощенной, окостенелой и лицемерной видел он буржуазную мораль; плоским, механистическим, ориентированным лишь на материальную выгоду — буржуазный разум; пустым, суесловным и сусально-мещанским — буржуазное представление о душе и чувстве. Подобно Ницше, чье влияние он испытал в юности и потом вытравливал медленно и небезболезненно, он вознамерился прежде всего «разбить старые скрижали» и если уж и строить какие-либо утопии (одна из центральных категорий его мышления), то лишь на условиях тотального отрицания всего наличного буржуазного порядка, его идеологии и морали.

Эту исходную позицию чрезвычайно важно осознать. Она, как легко увидеть, анархически-индивидуалистична по сути. И есть в ней немало мессианства, честолюбивого притязания на единоличное решение судеб мира.

Притязание это подкреплялось у Музиля особыми биографическими обстоятельствами. Инженер по образованию и поэт по призванию, он колебался поначалу между обоими принципами — строго-рационалистическим и вдохновенно-интуитивным,— пока не счел себя, именно в силу этого сочетания, особо призванным сконструировать схему идеальной утопии. Прежние, общеизвестные принципы разума и чувства, ratio и intuitio, скомпрометированы, профанированы буржуазным веком; но если рационалистический принцип будет одухотворен поэтом, а чувственный, нерациональный выверен «математиком», они могут быть очищены от ложных наслоений и затем в этом незамутненном виде соединены в новый, обнадеживающий синтез. Именно так: переделать самые общие, беспримесно-чистые духовные принципы; подобно древнему математику, Музиль мечтает о точке опоры, чтобы перевернуть землю и мир; частные, ближайшие, посильные задачи — не его стихия.

Таковы «положительные» основания музилевского утопизма.

Но здание возвышенной утопии, напомним, строится на абсолютном отрицании всего данного мира, мыслящегося писателем как сугубо буржуазный — и только. К иному миру, возникавшему в это время на глазах Европы, Музиль присматривался, но лишь эпизодически, с выжидательным любопытством (в «Черном дрозде» глухо, намеренно «размыто» упоминается этот мир, знакомство с ним — это только эпизод в прошлой жизни героя, который, иронизируя над индивидуализмом буржуазной Европы, все-таки возвращается в его привычное лоно). И в результате такой позиции тотального отрицания утопические построения писателя, помимо их абстрактной беспочвенности, сразу оказываются в плену крайне резких противоречий.

Возникает роковой круг: мечтая об «ином состоянии» человека и человечества, Музиль непременным условием морали более высокой, истинно гуманной считает ниспровержение всей прежней морали (она ведь для него — лишь система буржуазных шаблонов) — и в результате его бунтующий герой постоянно оказывается перед соблазном имморализма, «искушения злом». Отрицая иррационализм новомодных направлений буржуазной философии (например, учения Фрейда или Клагеса), Музиль, оглядываясь на другого врага — на плоский механистический рационализм, бьется над созданием **своей** формулы синтеза ratio и intuitio и кружным путем возвращается к иррационализму, лишь более утонченному и опоэтизированному, восходящему к последовательно-романтическим теориям Иенской школы, к учениям средневековых мистиков.

Все эти противоречия Музиль осознавал сам — и осознавал остро, болезненно, трагически. В этом смысле он и себе не облегчал жизнь. Неспроста же, конечно, этот талантливый художник и искушенный мыслитель, по сути, всю жизнь работал над «главным» романом и так и не довел его до конца. Дело в том, что чем пристальней вглядывался Музиль в окружающий мир, тем обреченней представлялась ему его утопия, основанная на индивидуалистически-анархических посылках. Тогда оказывалось, что трудно противопоставить «дурному» иррационализму «хороший», ибо пока Музиль и его герой бились над системой возвышенного синтеза разума и чувства и высокомерно отрицали все наличное, буржуазный мир, нимало не смущаясь этим отрицанием, ввергал человечество из одной мировой войны в другую, рождал чудовище фашизма, грозил концом всему. И Музиль, из десятилетия в десятилетие работая над своим романом, все это наблюдал, осмыслял — и насыщал роман актуальным политическим содержанием, острейшей социальной критикой, разоблачением уже не только духовных, но и общественно-политических оснований буржуазного мира. И рука об руку с этим шло прогрессирующее, горькое для утописта Музиля сознание того, что его индивидуалистическая утопия в таких условиях и несостоятельна, и невозможна.

На этом общем фоне и следует воспринимать проблематику «Гриджии» и «Черного дрозда». «Гриджия» была впервые опубликована в 1921 г. и вошла затем в новеллистический триптих «Три женщины» (1924)[1]. «Черный дрозд» появился в 1928 г. и был потом включен писателем в сборник «Прижизненное наследие» (1936)[2].

---

[1] Повесть «Тонка» из этого триптиха была напечатана в журнале «Иностранная литература» № 3, 1970 (перевод А. Карельского, вступление Ю. Архипова).

[2] Цикл «Угрюмые размышления» из этого сборника был опубликован в журнале «Вопросы литературы» № 11, 1972, (перевод Е. Кацевой, предисловие Д. Затонского).

Образная и стилистическая фактура «Гриджии» прежде всего бьет в глаза яркой чувственностью — зримой роскошью красок, осязаемой плотскостью форм. Но это впечатление осязаемости, реальности обманчиво: приглядевшись, мы заметим постоянные странные смещения; например, одно из первых: когда вслед за описанием ранней («около шести утра») переправы через горный ручей и редкостного хора («грома») «если не сотни, то по крайней мере дюжины соловьев» следует невинно-итоговое, а на самом деле вызывающе-алогичное завершение этой идиллической пейзажной зарисовки: «сиял ясный день».

Это — лишь модель для примера. Весь внутренний мир новеллы вот так сдвинут и зыбок; все в нем — реальность и мираж одновременно. Эта установка принципиальна, ибо идиллия здесь строится на иллюзии.

Перед нами, таким образом, притча, легенда, символическое иносказание о том, как современный человек (неспроста ему дано обобщающее имя Гомо, ведущее начало от Гомо сапиенс) попытался «отринуть» всю свою прошлую буржуазную жизнь и обрести «иное состояние». Волею случая оказавшись в отрешенном мире альпийского горного селения, далекого от «цивилизации», Гомо переживает приступ мистического экстаза, искус обновления. Но это именно искус. Во-первых, «безнадзорная душа» героя оказывается в плену иррациональной стихии; во-вторых, на этот духовный плен накладывается еще и чувственный соблазн: Гомо, семейный человек, любящий жену и сына, становится неожиданно для самого себя любовником крестьянки Гриджии.

Очень характерный для музилевского принципа «инобытия» парадокс здесь в том, что герой не видит никакого противоречия между этой случайной интрижкой и любовью к жене, «истинной возлюбленной». Напротив. В неожиданно распахнувшемся перед ним новом мире он надеется наконец-то подстегнуть, стимулировать все эмоциональные ресурсы своей души, освободившиеся из-под контроля разума. Гриджия — только предлог, стимулятор. Вызванные ею всплеск чувства, состояние перманентного экстаза пойдут лишь на пользу «вечной» любви к той, к жене, оставшейся в долине. Вот оно, отпадение от традиционной «прописной» морали!

Но реальная жизнь жестоко наказывает логику иррационализма — по сути же софистику инстинкта. Сама природа ополчается против героя, путающего утопию с авантюрой, ищущего цельности чувства в бесконтрольном подчинении иррациональной стихии. Такой путь самоубийствен, он ведет в безысходный тупик — символом этого является смерть героя в штольне, в чреве горы.

Здесь уже намечен прообраз того грандиозного крушения, к которому идет и иррационалистическая утопия Ульриха, героя романа «Человек без свойств». Там это соединяется, в частности, и с резкой критикой ницшеанства. Проблематика творчества Музиля тут прямо перекликается с проблематикой творчества Томаса Манна — от «Смерти в Венеции» и «Волшебной горы» до «Доктора Фаустуса». Оба писателя заняты решительной переоценкой традиции иррациональной мысли, поскольку она, по их убеждению, сыграла роковую роль в подготовке трагических катаклизмов европейской истории XX века — мировых войн и фашизма.

«Черный дрозд» — попытка взвесить более обнадеживающий вариант. Три озарения в жизни героя новеллы, конечно же, сродни тому соприкосновению с иррациональным, которое решило судьбу Гомо. Здесь, однако, опыт такого соприкосновения удается. Герой не только выживает, но и «становится лучше».

Однако, если и здесь внимательней вглядеться в сюжет, в механику мистических чудес, предлагаемую писателем, мы тоже увидим «двусмысленность», но уже иного характера. Энергия писательского художественного дара сосредоточена здесь на другом. Если в «Гриджии» создавался эффект осязаемости **реального** фона, а «экстазы» Гомо в общем-то оформлялись как чисто субъективные лирические фантазии (например, в лесной сцене после получения письма от сына), то в «Черном дрозде» писатель всеми имеющимися в его распоряжении средствами внушает впечатление естественности, объективности **чудесных** событий — так что, когда в третьем эпизоде птица вдруг начинает говорить, нам стоит усилий переключиться из мира реальных житейских воспоминаний в мир фантастики. Но в том-то и дело, что это, собственно, уже не столько мир мистических чувств, сколько мир художественной символики, точнее же — **аллегории**. Внешне будто бы сохраняя модус «иного состояния» (отключение от реального мира в результате иррационального озарения), даже заостряя его полемическим выпадом против материализма, Музиль в то же время тщательно устраняет все этически негативные моменты, которые сопровождали соответствующее приключение Гомо; а главное — здесь, по сути, сняты все прежние притязания на общеобязательность иррационального опыта, на его необходимость для **каждого** человека и для человечества вообще. Напротив, перед нами здесь достаточно частный случай — аллегории. Это просто притча о рождении поэта — и не поэта-мессии, переворачивающего мир, а поэта-человека, с обостренным даром и вчувствования, и сочувствия (так появляется в конце пронзительно автобиографический мотив: герой искупает хотя бы перед памятью матери свою сыновнюю вину). Чудеса озарения в «Черном дрозде» — это метафоры поэтического призвания; отсюда и сквозной мотив зова, воплощенный и в голосе птицы, и в «нежном пении» стрелы, и в последней фразе: «ты слышишь не то шепот, не то просто неясный лепет» (а в «Тонке» в конце было: «что-то окликнуло и позвало его»).

Наверное, «Черный дрозд» дает основания сказать: как бы ни «мудрил» Музиль-философ и Музиль-математик, как бы ни бился он над решением проблем мироустройства, в минуты своих озарений он сознавал, что если ему в одиночку этих

проблем не решить, то все-таки однажды не зря «что-то окликнуло и позвало его». Это «что-то», по крайней мере, дало ему дар рассказать о сумеречном периоде буржуазной цивилизации, ее вырождении и упадке, столь ясно проявившемся после первой мировой войны, о болезнях, заблуждениях и надеждах своего поколения, своего времени.

А. КАРЕЛЬСКИЙ

Гриджия

В жизни наступает однажды срок, когда она резко замедляет ход, будто не решается идти дальше или хочет переменить направление. Может статься, в такую пору человек легче подвержен несчастью.

У Гомо разболелся маленький сын; тянулось это уже год, без видимых улучшений, хотя и не грозило особой опасностью; врач настаивал на длительном курортном лечении, а Гомо никак не мог решиться уехать с семьей. Ему казалось, что такое путешествие слишком надолго оторвет его от него самого, от его книг, планов, от всей его жизни. Он воспринимал это свое нежелание как признак крайней самовлюбленности, но, может быть, здесь выразилось скорее некое самоотрешение — ведь до сих пор он ни разу на единый даже день не разлучался с женой; он очень любил ее, любил и сейчас, но с появлением ребенка вдруг оказалось, что эта любовь способна дать трещину — как камень, который просочившаяся в него вода расщепляет все упорней. Этому новому свойству — геологи называют его **отдельностью** — Гомо не переставал удивляться, тем более что вовсе не ощущал, чтобы самой его любви за минувшее время сколько-нибудь убыло, и в продолжение всех бесконечно затянувшихся сборов семейства к отъезду он тщетно пытался представить себе, как проведет один наступающее лето. Но он испытывал решительное отвращение ко всякого рода морским и горным курортам. Он остался один и назавтра получил письмо, в котором ему предлагали стать компаньоном общества по разработке старых венецианских золотых рудников в Ферзенской долине. Письмо было от некоего господина Моцарта Амадео Хоффенготта, с которым он познакомился однажды в поездке и был дружен в течение нескольких дней.

Тем не менее Гомо нисколько не усомнился в том, что речь идет о вполне солидном, достойном начинании. Он послал две телеграммы: одной он извещал жену, что срочно уезжает и сообщит о своем местопребывании позже; в другой изъявлял согласие принять участие в разведочных работах в качестве геолога и, возможно, внести в предприятие определенный денежный пай.

В П., неприступно зажиточном итальянском городке, богатевшем на виноделии и шелководстве, он встретился с Хоффенготтом, крупным, красивым, деятельным брюнетом одних с ним лет. Компания, как ему было сообщено, располагает внушительными средствами из американских источников, и дело будет поставлено на широкую ногу. Пока же велись приготовления к экспедиции, которая — в составе их двоих и еще трех пайщиков — снаряжалась в глубь долины: покупались лошади, ожидались инструменты, вербовалась подсобная сила.

Гомо остановился не в гостинице, а, сам не зная почему, у одного итальянского знакомого Хоффенготта. Там ему бросились в глаза три вещи. Мягкие постели, несказанно прохладные, в красивом обрамлении красного дерева; обои с несказанно сумбурным, безвкусным, но на свой лад неповторимым и диковинным рисунком; и качалка из тростника; раскачиваясь в ней и неотрывно глядя на обои, человек постепенно будто растворяется в этих мерно вздымающихся и опадающих дебрях, которые за какие-нибудь две секунды из ничего вырастают до натуральных размеров и затем снова сходят почти на нет.

А на улицах воздух был смесью снега и юга. Стояла середина мая. По вечерам городок освещался большими дуговыми лампами, так высоко висевшими на протянутых поперек проезжей части проводах, что улицы лежали внизу как глубокие синие ущелья, по темному дну которых приходилось пробираться людям, в то время как бездна пространства над ними была наполнена шипеньем раскачивающихся белых солнц. Днем открывался вид на виноградники и леса. Это все перезимовало в багрянце, охре и зелени; поскольку деревья не сбрасывали листву, тлен и свежесть переплетались в их убранстве, как в кладбищенских венках, и крохотные, но отчетливо различимые среди них красные, голубые и розовые домики были рассыпаны там и сям

как разноцветные игральные кости, бесстрастно являя миру неведомый им самим, причудливый формальный закон. В вышине же лес был темным, и гора называлась Сельвот. Поверх леса ее одевали снежные альпийские луга; размеренными волнами они набегали на соседние горы, сопровождая узкую, круто уходящую ввысь лощину, в которую предстояло углубиться экспедиции. Случалось, что пастухи, спускавшиеся с этих гор, чтобы доставить молоко и купить поленту, приносили огромные друзы горного хрусталя или аметиста, которые, по их словам, росли в многочисленных расщелинах так буйно, точно цветы на лугу, и эти пугающе-великолепные сказочные образования еще усиливали впечатление, что под видимой оболочкой этого края, мерцающей странно знакомо, будто звезды в иную ночь, скрывается что-то томительно желанное. Когда они въехали в лощину и около шести утра миновали Сан-Орсолу, у маленького каменного моста, перекинутого через заросший кустарником горный ручей, гремела если не сотня, то уж по крайней мере дюжина соловьев — сиял ясный день.

Проехав дальше вглубь, они очутились в удивительном месте. Селение прилепилось на склоне холма; ведшая к нему горная тропинка под конец буквально перескакивала с одного плоского камня на другой, а от образованной таким образом улицы сбегали по склону к лугам, подобно извилистым ручьям, несколько коротеньких, почти отвесных проулков. Стоя на тропе, вы видели перед собой лишь ветхие, убогие крестьянские домишки, но глядя на них снизу, с лугов, вы словно переносились через века в первобытную деревню на сваях, потому что стороной, обращенной к долине, дома стояли на высоких столбах, а нужники парили над обрывом чуть поодаль, как палаточки, на четырех тонких, высотою с дерево, жердях. И ландшафт вокруг деревушки был тоже не без примечательных странностей. Его образовывала раскинувшаяся обширным полукружием и унизанная зубцами утесов громада высоких гор, отвесно ниспадавших к пологому скату, который опоясывал возвышавшийся в центре лесистый конус меньшего размера, благодаря чему все это напоминало пустую пирожницу с коническим выступом в середине, а так как краешек ее был отрезан бегущим в теснине ручьем, она в этом месте как бы кренилась над ущельем в сторону высокого противоположного берега, спускавшегося вместе с ручьем к лощине и приютившего на себе деревушку. Кое-где виднелись заснеженные кары с низкорослыми горными соснами, меж которых мелькали одинокие косули, на лесистой вершине конуса уже токовал тетерев, а на лугах с солнечной стороны цвели цветы, высыпав желтыми, синими и белыми звездами, такими крупными, будто кто-то вытряхнул мешок с талерами в траву. Стоило же подняться за деревушкой еще футов на сто, как вы попадали на ровную, сравнительно неширокую площадку, на которой располагались огороды, выгоны, сеновалы и редкие домишки, а на выдававшемся в лощину уступе примостилась скромная церковка и глядела оттуда на мир, что открывался в ясные дни перед лощиной, как море перед устьем реки; лишь с трудом различал глаз, где еще была золотисто-палевая даль благословенного прибрежья, а где уже начинались неверные облачные угодья небес.

Прекрасной обещала быть жизнь, бравшая здесь начало. Дни напролет в горах, где они расчищали засыпанные входы в старые штольни и копали новые шурфы, или на спусках к лощине, где прокладывали широкое шоссе,— в этом необъятном воздухе, уже мягком и влажном, уже чреватом близким таянием снегов. Они швыряли деньги направо и налево и распоряжались здесь как боги. Нашли дело для всех — и для мужчин, и для женщин. Из мужчин составляли поисковые отряды и засылали их в горы, где те пропадали по целым неделям, из женщин формировали колонны носильщиков, доставлявших инструменты и провизию по едва проходимым тропам. Каменное здание школы было приспособлено под факторию — для хранения продуктов и других товаров; там повелительный хозяйский голос поименно выкликал судачивших в ожидании своей очереди крестьянок, и объемистые заплечные корзины нагружались каждый раз до тех пор, пока не подгибались колени и не вздувались жилы на шее. Навьючат вот такую крепкую красивую молодку — и глаза у нее вылезают из орбит, и рот уже не закрывается; она встает в ряд, и по сигналу хозяина все эти притихшие животные одно за другим начинают медленно переставлять ноги, поднимаясь в гору по длинным змеистым тропинкам. Но несли они драгоценный, редкий груз: хлеб, мясо, вино, а железные инструменты никто особенно не учитывал, так что, кроме платы наличными, перепадало и немало из того, что могло пригодиться в хозяйстве, поэтому они тащили нелегкий груз охотно и еще благодарили чужаков, принесших благословение в горы. И это было великолепное чувство: здесь пришельца никто не оценивал, как всюду в

мире — что он за человек, солиден ли, влиятелен и опасен или хрупок и красив,— здесь, каким бы человеком он ни был и какое бы понятие не имел о делах жизни, его встречала любовь, потому что с ним пришло благословение; любовь опережала его, как герольд, повсюду была для него наготове, как свежепостланная постель, и человек в самом взгляде нес дары гостеприимства. У женщин эти чувства изливались непринужденнее, но иногда на какой-нибудь луговине вдруг вырастал древний старик, крестьянин, и приветственно взмахивал косой, как сама смерть во плоти.

Вообще в этом конце долины жили своеобразные люди. Их предки — рудокопы прибыли сюда из Германии еще во времена Тридентского собора и с тех пор продырявленным ветрами немецким камнем вросли меж итальянцев в здешнюю землю. Обычаи своей прежней жизни они наполовину сохранили, наполовину забыли, а то, что сохранили, уже, похоже, и сами не понимали. Весной бурные ручьи с гор вымывали у них почву из-под ног, некоторые дома, стоявшие прежде на холме, повисали на краю пропасти, а их это ничуть не беспокоило; с другой же стороны, мутные волны новых времен прибивали к ним в дома самый невообразимый мусор. Тут можно было увидеть и дешевые полированные шкафы, и потешные открытки, и олеографии; однако же иной раз на глаза попадалась посуда, из которой, возможно, ели еще во времена Лютера. Они, эти люди, были протестантами, но хотя, судя по всему, единственно эта цепкая приверженность к своей вере уберегала их породу от итальянской примеси, хорошими христианами они не были. Поскольку они прозябали в бедности, почти все мужчины вскоре после свадьбы покидали своих жен и на долгие годы уезжали в Америку; оттуда они привозили домой скудные накопления, обычаи городских борделей и безбожие, но отнюдь не острый ум цивилизации.

Сразу по прибытии Гомо услышал здесь историю, надолго занявшую его воображение. История случилась не так давно, в последние десять — пятнадцать лет: один крестьянин, находившийся в отлучке немалый срок, вернулся из Америки и снова улегся к жене в постель. Некоторое время они радовались тому, что они опять вместе, и жизнь их шла своим чередом, пока не растаяли последние сбережения. Тщетно прождав новых сбережений, как назло застрявших где-то на пути из Америки, крестьянин наново снарядился в дорогу, чтобы, по примеру других земляков, подзаработать себе на жизнь ремеслом лоточника, а жена осталась вести дальше убыточное хозяйство. Но назад он уже не вернулся. Зато несколькими днями позже на одном из дальних хуторов объявился еще один крестьянин, вернувшийся из Америки, с редкостной точностью высчитал, как давно они не виделись, потребовал на стол ту же еду, что они ели тогда, на прощанье, все знал, даже про корову, которой давно уже и в помине не было на дворе, и сумел по-отечески поладить с детьми, которых послало ему иное небо, нежели то, которое сияло все эти годы над его головою. Однако и этот крестьянин, пожив некоторое время в свое удовольствие, отправился в путь-дорогу с коробом всякого добра и больше не вернулся. История повторилась в округе и в третий, и в четвертый раз, пока кто-то не сообразил, что это был авантюрист, работавший вместе с их мужчинами за океаном и все у них выспросивший. В конце концов его забрали и посадили, и больше он не появлялся. Все женщины об этом очень жалели, потому что каждой хотелось заполучить его еще денька на два и свериться поточнее со своей памятью, чтобы не подвергаться насмешкам зря; каждая, как теперь оказалось, сразу же почуяла тут что-то неладное, но ни одна не была настолько уверена в своих подозрениях, чтобы поднимать из-за этого шум и ущемлять вернувшегося хозяина в его законных правах.

Вот такие это были женщины. Их ноги выглядывали из-под коричневых шерстяных юбок с широкой, в ладонь, красной, голубой или оранжевой каймой, а платки, что они носили на голове и перетягивали крест-накрест на груди, были из дешевого набивного ситца с современным фабричным рисунком, но что-то в расцветке или в расположении узора вдруг отсылало к столетиям назад. И дело тут было не просто в старинном крестьянском уборе, а в самом их взгляде: стародавний, прокочевавший сквозь даль веков, он до сегодняшнего дня дошел уже замутившимся и стертым, но собеседник все еще явственно ощущал его на себе, когда глядел им в глаза. Обуты они были в башмаки, выдолбленные, как челны, из сплошного куска дерева, а поперек подошв, из-за плохих дорог, приделаны были железные пластинки, и на этих котурнах они выступали в своих синих и коричневых чулках, как японки. Приходилось им ждать кого-нибудь — они усаживались не на обочине, а на утоптанной земле посредине тропы и высоко подтягивали колени, как негры. Когда же они верхом на ослах под-

нимались в горы, то сидели не боком, свесив юбку, а по-мужски, зажав голыми ляжками острые края деревянных вьючных седел, опять-таки без всякого смущения задрав колени, и будто плыли вперед, чуть покачиваясь всем корпусом.

В то же время их радушие и любезность были столь непринужденны, что иной раз ставили в тупик. «Входите, пожалуйста»,— говорили они, выпрямившись, как герцогини, когда слышали стук в дверь своих крестьянских хором; или, к примеру, остановишься на минутку с ними поболтать, а одна вдруг и предложит с отменнейшей учтивостью и степенностью: «Не подержать ли вам пальто?» Когда доктор Гомо сказал как-то раз смазливой четырнадцатилетней крестьяночке: «Пошли в сено», сказал просто так, оттого что ему вдруг представилось в эту минуту столь же естественным улечься в сено, как животному — уткнуться носом в кормушку,— детское личико под острым клинышком унаследованного от древних прабабок платка нимало не испугалось, а только весело прыснуло носом и глазами, маленькие башмаки-лодочки, развернувшись на пятках, запрокинулись, и девчонка, казалось, вот-вот плюхнется вместе с граблями оттопыренным задом на жнивье; но все это лишь должно было, как в комической опере, выразить трогательно-неуклюжее изумление по поводу мужской похотливости. В другой раз он спросил рослую крестьянку, похожую на германскую вдовицу из трагедии: «Ты еще девушка, да?» — и взял ее за подбородок, опять просто так, оттого что вроде бы полагалось отпускать шуточки с этаким мужским душком; а она, даже не попытавшись высвободить подбородок из его руки, серьезно ответила: «Конечно». Гомо оторопел. «Ты еще девушка?» — всерьез удивился он и засмеялся. Она хихикнула. «Да?!» — приступил он к ней уже настойчивей и игриво потрепал ее за подбородок. Тогда она дунула ему в лицо и тоже засмеялась: «Была!»

— Если я приду к тебе, что я получу? — последовал вопрос.

— Что хотите.

— Все, что хочу?

— Все.

— В самом деле все?

— Все! Все! — И страстность ответа была ею так великолепно и страстно сыграна, что эта театральная подлинность на высоте тысячи шестисот метров над уровнем моря опять поставила его в тупик. С тех пор его неотвязно преследовало ощущение, что здешняя жизнь, ясная и пряная не в пример любой прежней, вовсе не реальность, а легкая, воздушная игра.

Тем временем наступило лето. Когда он в первый раз увидел почерк больного сына в письме, он будто испугался — дрожь счастья и потаенного владения пронизала его: то, что они знали теперь, где он находится, представилось ему неимоверным подкреплением и утверждением. Он здесь, о, теперь они все знают и ему ничего не надо им объяснять. В белом и фиолетовом, в палевом и зеленом стояли луга. Он не призрак, нет. Сказочный лес из древних лиственниц в нежно-зеленом покрове высился на изумрудном склоне. Внизу, подо мхом, возможно, прятались фиолетовые и белые кристаллы. В одном из уголков леса ручей падал на камень так, что разбивавшаяся струя напоминала огромный серебряный гребень. Гомо больше не отвечал на письма жены. Среди тайн этой природы есть и тайна предназначенности. Есть сокровенный нежно-алый цветок, он существует лишь для одного-единственного мужчины на свете — для него, так уж устроил господь, и разве это не чудо? Есть потаенное место на теле, его никому не дозволено видеть под страхом неминуемой смерти — кроме него одного. Все это показалось ему вдруг таким чудесно бессмысленным и непрактичным, как, может быть, только самая истовая религия. И он лишь сейчас осознал, что он сделал, отъединившись от всего на это лето и дав себя увлечь своему собственному течению, его захлестнувшему. Меж деревьев с ядовито-зелеными бородами опустился он на колени, раскинул руки, чего никогда не делал прежде в своей жизни, и на душе у него было так, будто в это мгновение у него из рук взяли его самого. Он ощущал ладонь любимой в своей ладони, ее голос звучал в его ушах, все клетки тела его словно еще трепетали от недавнего прикосновения, он воспринимал себя как некую другим телом образованную форму. Но он уже отринул свою жизнь. Сердце его поверглось во прах перед любимой, стало бедней последнего нищего, и в душе поднялись, готовые излиться, клятвы и слезы. Но все же ему ясно было, что назад он не вернется, и странным образом с этим его возбуждением нерасторжимо связался образ цветущих вокруг леса лугов, и еще — вопреки томительному ожиданию грядущего — предчувствие того, что именно здесь, среди анемонов, незабудок, орхидей, горечавок и великолепного

буро-зеленого щавеля ему суждено лежать мертвым. Он распростерся навзничь во мху. «Как взять тебя с собой?» — спрашивал Гомо. И его тело было полно странной усталости, как застывшее лицо, вдруг расслабляющееся в улыбке. Вот он полагал всегда, что живет реальной жизнью, но могло ли быть что-либо нереальнее того, что один человек был для него чем-то иным, нежели все остальные люди? Что среди бесчисленных тел есть одно, от которого его внутреннее «я» зависит почти так же, как от собственного тела? Чужие голод и усталость, зрение и слух неразделимо переплелись с его собственными. С подрастанием ребенка это чувство врастало в череду земных забот и удобств, как тайны почвы врастают в деревце. Ребенка он любил, но, как не подлежало сомнению то, что сын переживет их, так же очевидно было, что своим появлением на свет он умертвил ту, иную часть бытия Гомо. И его вдруг бросило в жар от новой мысли. Он отнюдь не был человеком религиозным, но сейчас его словно озарило изнутри. В этой беспредельной ясности чувства мысли еле теплились, как чадные свечи, и непреложным было одно только великолепное, омытое живою водою юности слово: воссоединение. Он на веки вечные возьмет ее с собой — и в тот миг, когда он обратился к этой мысли, исчезли все мелкие искажения, привнесенные временем в облик любимой, и будто настал вечный первый день. Канули в небытие все будничные расчеты, всякая возможность пресыщения и измены (ибо кто же пожертвует вечностью ради легкомыслия минуты?) — и впервые в жизни он безусловно и неопровержимо познал любовь как таинство небес. Он прозрел свое личное, ему одному благоволящее провидение, направившее его жизнь в эту пустыню одиночества, и уже не как земное только богатство, а как ему одному уготованный волшебный мир ощутил он полную золота и драгоценных камней почву под своими ногами.

С этого дня его не оставляло чувство, что он, как от ломоты в колене или от громоздкого рюкзака, избавился от тяготившей его зависимости — от желания быть живым, от боязни смерти. Случилось не так, как он всегда думал, а именно: если человек в расцвете сил чувствует приближение конца, он наслаждается жизнью тем безудержней и ненасытней,— нет, он просто ощутил вдруг полную свою раскованность, божественную легкость, делавшую его султаном собственного существования.

Хотя буровые работы не дали пока обнадеживающих результатов, люди в лагере жили жизнью настоящих золотоискателей. Один парень повадился украдкой прикладываться к вину, это было преступлением против общих интересов, суровое наказание тут встретило бы всеобщую поддержку, и парня приволокли со связанными руками. Моцарт Амадео Хоффенготт распорядился для пущего устрашения привязать его на сутки к стволу дерева. Когда десятник принес веревку, шутливо-многозначительно помахал ею и повесил сначала на гвоздь, малый задрожал всем телом, решив, что его не иначе как собираются вздернуть. Точно так же — хотя это уже труднее объяснить — дрожали лошади, которых им присылали в качестве вспомогательной тягловой силы или пригоняли на несколько дней с гор для ухода и подкормки: они сбивались в кучки на луговине или ложились на траву, но располагались они, хоть на первый взгляд и беспорядочно, всегда как бы вглубь, так что создавалось впечатление некоего тайно соблюдаемого эстетического закона наподобие того, что был в расположении крохотных зеленых, голубых и розовых домиков на склоне Сельвота. Когда же их наверху, в одной из горных котловин, привязывали на ночь по две — по три к поваленному дереву, то стоило кому-нибудь, вставши в три часа, еще при луне, отправиться в путь и в полпятого пройти мимо них, они провожали его взглядом, и в бестелесном свете раннего утра человек чувствовал себя мыслью, проплывающей в их медленном сознании. Поскольку воровство и вообще некоторые странности продолжались, участники экспедиции скупили всех собак в округе, чтобы использовать их для охраны. Специально устраивали рейды и притаскивали их прямо сворами, по две — по три на одной веревке, без ошейников. В конце концов в лагере оказалось столько же собак, сколько и людей, и уже неясно было, какая из этих групп чувствует себя здесь хозяином, а какая — всего лишь пригретым из милости нахлебником. Среди собак были и благородные гончие, и венецианские ищейки, которых кое-где еще держали в этих местах, и задиристые дворняги, кусавшиеся, как злобные обезьянки. Они тоже объединялись в группы неизвестно по какому принципу и держались весьма сплоченно, но время от времени в каждой группе остервенело набрасывались друг на друга. Некоторые были совсем заморенные, другие отказывались от еды; одна крохотная белая собачонка вцепилась повару в руку, когда он ставил перед ней миску с мясом и супом, и откусила ему палец.

В полчетвертого утра было уже светло, но солнце еще не вставало. Проходя в горах мимо пастушьих хижин — их называли здесь *мальгами*,— можно было видеть коров, лежавших в полудреме на ближних лугах. Поджав ноги и слегка свалив крестец в сторону, они лежали огромными матово-белыми, будто каменными, глыбами и не смотрели ни на проходящего, ни вслед ему, а устремляли недвижный взор навстречу ожидаемому рассвету, и их однообразно-медленно перемалывавшие жвачку губы словно творили молитву. Человек шел сквозь них, как сквозь круг некоего сумеречного, отрешенного существования, а когда, пройдя, оглядывался сверху, они казались небрежно разбросанными безмолвными скрипичными ключами — линия хребта, задние ноги и хвост. Вообще жизнь здесь не лишена была разнообразия. То кто-нибудь ломал ногу и двое сотоварищей приносили его на руках. Или вдруг раздавался крик: «О-го-онь!» — и все бежали искать укрытия, потому что это взрывали большой камень, мешавший прокладке шоссе. Начинающийся дождь только что успел первым влажным касанием пройтись по траве. У куста на другом берегу ручья горел костер, забытый за новыми хлопотами, хотя до этого ему придавалось важное значение; теперь в качестве единственного зрителя при нем оставалась молоденькая березка. На этой березке висела подвешенная за ногу черная свинья; костер, березка и свинья были теперь одни. Свинья эта начала верещать еще тогда, когда один из мужчин просто тащил ее на веревке, всячески увещевая не упираться. Потом она заверещала громче, увидев радостно мчавшихся к ней двух других мужчин. Верещала жалобно, когда ее схватили за уши и уже без всяких церемоний поволокли дальше. Упиралась всеми четырьмя ногами, но боль в ушах вынуждала ее короткими прыжками продвигаться вперед. На другом конце моста стоял наготове еще один, с мотыгой, и острым лезвием саданул животное по темени. С этого момента все пошло значительно спокойнее. Передние ноги разом подломились, и свинья завизжала снова, только когда нож вошел ей в горло; хотя визг этот взвился истошной, захлебывающейся трубной нотой, он сразу упал до хрипа и тут же перешел в короткий патетический храп. Все это Гомо отметил для себя впервые в жизни.

С наступлением вечера все собирались в домике приходского пастора, где они сняли одну из комнат, устроив в ней казино. Надо сказать, что мясо, которое им доставляли дважды в неделю, за время пути успевало иной раз подпортиться, и нередки были случаи легкого желудочного отравления. Тем не менее, как только начинало смеркаться, все тащились сюда с фонариками, спотыкаясь на невидимых тропинках. Ибо, хотя кругом и было такое великолепие, они еще больше, чем от желудочного отравления, страдали от опустошенности и печали. И заливали эту пустоту вином. Через какой-нибудь час пасторскую комнату заволакивало дымом тоски и джаза. Граммофон громыхал в ней, как позолоченная телега на мягкой, усыпанной сказочными звездами поляне. Они уже ни о чем не разговаривали — они просто говорили. Что они могли сказать друг другу — ученый-геолог, предприниматель, бывший инспектор исправительных заведений, горный инженер, отставной майор? Они общались посредством знаков — даже если это и были слова: слова неудовлетворенности, относительной удовлетворенности, тоски — звериный язык. Часто они с ненужной горячностью принимались спорить по какому-нибудь вопросу, никого непосредственно не касавшемуся, доходили даже до взаимных оскорблений, а на следующий день от одного к другому бегали секунданты. Тогда выяснялось, что, собственно говоря, никто ни при чем вообще не присутствовал. Они это делали просто для того, чтобы убить время, и хотя никому из них и неведомо было, что значит провести время с толком, они сетовали, что их окружают грубияны, мясники, и ожесточались друг против друга.

То был все тот же, что и повсюду, стандарт душевной массы — Европа. Безделье столь же неопределенное, сколь неопределенны были их дела. Тоска по женщинам по ребенку, по уюту. Все это вперемешку с граммофоном: «Роза, уедем в Лодзь, Лодзь, Лодзь...» или «Приходи ко мне в беседку». Астральный запах пудры, газа, туман далеких варьете и европейского секса. Непристойные анекдоты взрывались каскадами хохота и начинались одной и той же фразой: «Едет еврей в поезде...»; только однажды кто-то спросил: «А сколько крысиных хвостов уложится от Земли до Луны?» Все даже притихли, а майор поставил арию из «Тоски» и, пока граммофон шипел для разгона, меланхолически сказал: «Когда-то я чуть было не женился на Джеральдине Фаррар». Тут из трубы выплеснулся в комнату ее голос и будто на лифте взлетел ввысь, этот разволновавший осоловелых мужчин женский голос, и лифт стрелой взмывал все выше и, не достигнув цели, опускался снова и пружинил в воздухе. Ее юбки раздувало

воздушной волной, и тебя будто бросало вверх-вниз, на мгновенье ты замирал, безгласно приникнув к протяженному тону, снова взмывал и падал вместе с ним, словно уже изнемогал, и все-таки еще трепетал, охваченный новой дрожью, и извивался снова: оргия похоти. Гомо чувствовал, что это была все та же голая похоть, пропитавшая и все сферы городского существования и уже неотличимая от убийства, ревности, бизнеса, автомобильных гонок,— о, это была уже и не похоть, а дух азарта,— нет, и не дух азарта, а, наверное, меч карающий, ангел смерти, безумие небес, война? С одной из многочисленных липучек, подвешенных к потолку, перед ним на стол упала муха и, парализованная ядом, лежала на спине в одной из тех лужиц, которые образует стекающийся по еле заметным складкам клеенки свет керосиновых ламп; от этих лужиц веяло такой предвесенней печалью, будто свежий ветер прошумел после дождя. Муха делала судорожные усилия, чтобы перевернуться, но с каждым усилием все больше ослабевала, а другая, шмыгавшая по клеенке, время от времени подбегала к ней справиться, как обстоят дела. Гомо тоже внимательно наблюдал эту картину, потому что мухи были здесь чистым наказанием. Но когда подошла смерть, умирающая сложила заостренной пирамидкой все свои шесть лапок, молитвенно воздела их ввысь и так умерла на тусклом световом пятне клеенки, будто на тихом кладбище, которое, хоть и неисчислимо в сантиметрах и невоспринимаемо слухом, все-таки было здесь в этот момент. Кто-то как раз заметил: «Между прочим, уже подсчитано, что во всем банкирском доме Ротшильда не найдется столько денег, чтобы оплатить билет третьего класса до Луны». Гомо тихо произнес про себя: «Убивать — и все-таки чувствовать бога; чувствовать бога — и все-таки убивать?» — и щелчком указательного пальца направил муху прямо в лицо сидевшему напротив майору, что опять привело к инциденту, не затухавшему до следующего вечера.

К этому времени он уже давно был знаком с Гриджией, и, возможно, майор ее тоже знал. Ее звали Лена-Мария Ленци; это имя звучало как Сельвот и Гронлейт или как Мальга Мендана и приводило на память аметистовые кристаллы и горные цветы, но Гомо предпочитал называть ее «Гриджия», растягивая «и» и придыхая на «дж»,— по кличке коровы, которую она прозвала Гриджией [1]. Она пасла ее, сидя обычно на краю луговины, в фиолетовой с коричневым юбке и платочке в крапинку, задрав кверху носки деревянных башмаков и скрестив руки на цветастом фартуке; она была при этом так естественно мила — ни дать ни взять изящный ядовитый грибок; время от времени она отдавала распоряжения корове, пасшейся ниже по склону. Собственно говоря, эти распоряжения сводились к пяти словам: «А ну, куда!» и «Я тебя!», что явно означало: «Поднимайся наверх!» — когда корова слишком далеко забредала в лощину; если же дрессировка не действовала, то следовал еще более негодующий оклик: «Ну, сатана, вот я тебя!», а уж в качестве последней инстанции она сама, как камушек, скатывалась вниз по лугу, вооруженная первой подвернувшейся под руку палкой, которую и посылала вслед Гриджии, подбежав на расстояние броска. А так как Гриджия выказывала решительную наклонность снова и снова устремляться по направлению к лощине, эта процедура повторялась во всех своих частях с равномерностью опускающейся и подтягиваемой заново гири на ходиках. Все это восхищало Гомо своей божественной бессмысленностью, и он, поддразнивая, стал звать ее Гриджией. Он не мог не сознаться себе, что его сердце начинало биться сильнее, когда он приближался к сидевшей на лугу фигурке,— так обычно бьется оно, когда человек вступает в благоухающий ельник или в марево пряных испарений, поднимающихся от лесной почвы, пропитанной грибными спорами. В глубине этого ощущения всегда присутствовал и затаенный страх перед природой, ибо не стоит обманываться насчет природы, естества: они на самом деле менее всего естественны; природа землиста, жестка, ядовита и бесчеловечна везде, где человек еще не наложил на нее своего ярма. Возможно, именно это и привязывало его к крестьянке, а наполовину здесь было и неослабевающее изумление по поводу того, что она так во всем похожа на женщину. Ведь каждый бы удивился, увидев посреди лесной чащи даму, сидящую с чайной чашечкой в руках.

Она тоже сказала: «Входите, пожалуйста!» — когда он впервые постучался к ней в дверь. Стоя у плиты, она помешивала ложкой в кипящем на огне горшке; так как отойти она не могла, она просто вежливо указала на кухонную лавку и лишь несколько позже, улыбнувшись, вытерла руку о фартук и подала ее гостям; у нее была крепкая, ладная рука, бархатисто-жесткая, как тончайшая наждачная бумага или как садовая земля, струящаяся меж пальцев. А лицо, принадлежавшее хозяйке руки, было

[1] Grigia — серая, Серка *(итал.)*.

чуть ироничным, тонкого, изящного рисунка, если глядеть со стороны; особенно же он отметил для себя ее рот. Этот рот был изогнут как лук Купидона, но, кроме того, еще и плотно сжат, как бывает, когда сглатывают слюну, что при его тонкости сообщало ему черту жесткой решимости, а этой решимости, в свою очередь, еле уловимый налет смешливости, великолепно гармонировавшей с башмаками, из которых вся ее фигурка вырастала, будто из диких корней. Им надо было уладить с нею какое-то дело, а когда они стали прощаться, на лице ее снова возникла улыбка, и ему показалось, что ее рука задержалась в его ладони чуть дольше, чем вначале. Эти впечатления, в городе столь мало значащие, были здесь, в глуши, потрясениями,— скажем, как если бы дерево вдруг вздумало закачать ветвями по-иному, нежели это бывает при порыве ветра или при взлете птицы.

Вскоре после этого он стал ее любовником — любовником крестьянки; эта происшедшая с ним перемена очень его занимала, так как здесь с ним явно что-то произошло не по его воле, а помимо нее. Когда он пришел во второй раз, Гриджия сразу подсела к нему на скамейку, и когда он — чтобы проверить, насколько далеко ему уже позволяется зайти,— положил руку ей на колено и сказал: «Ты тут самая красивая», она руки не отвела, а просто положила на нее свою, и они будто тем самым и сговорились. Тогда он, для закрепления, поцеловал ее, и она после этого слегка причмокнула — так удовлетворенно отрываются губы от сосуда с водой, к краям которого они с жадностью припадали. Он сначала даже несколько испугался такой вульгарности и вовсе не рассердился, когда она пресекла дальнейшие поползновения: он не понимал, почему она это сделала, он вообще ничего не понимал в здешних обычаях и опасениях и даже с некоторым любопытством утешился тем, что его обнадежили на будущее. «На сеновале»,— сказала Гриджия, и, когда он уже стоял в дверях и говорил: «До свидания», она добавила: «До скорого» — и улыбнулась.

Он еще не успел дойти до дома, как уже почувствовал, что счастлив происшедшим,— так горячительный напиток начинает действовать лишь спустя некоторое время. Идее пойти вместе на сеновал он радовался, как детской хитрости: открываешь тяжелую дубовую дверь, притворяешь ее за собой, и с каждым градусом ее поворота в петлях мрак кругом сгущается, пока совсем не спустишься на дно этой вертикально стоящей коричневой тьмы. Он вспоминал об их поцелуе, снова услышал ее причмокиванье — ему будто стянуло голову колдовским обручем. Он попытался мысленно вообразить себе предстоящее свидание, и ему опять вспомнилась крестьянская манера есть: они жуют медленно, чавкая, смакуя каждый кусок; и танцуют они так же, шаг за шагом, и, наверное, так же делают все остальное; при этой мысли у него даже ноги онемели от возбуждения — как будто ботинки уже понемногу начали врастать в землю. Женщины опускают веки и делают совершенно окаменелое лицо — защитная маска, чтобы им не мешали неуместными проявлениями любопытства; едва ли единый стон сорвется с их губ — замерев в неподвижности, как жуки, прикинувшиеся мертвыми, они всем своим существом сосредоточиваются на том, что с ними происходит. Так оно и случилось: Гриджия краем подошвы соскребла в кучу немного сена, оставшегося еще с зимы, и, нагибаясь, чтобы поднять подол юбки, в последний раз улыбнулась, будто дама, поправляющая подвязку.

Все вышло так же просто и было столь же колдовским, как лошади, коровы и заколотая свинья. Когда они лежали за балками на сеновале и снаружи раздавался стук тяжелых башмаков, у Гомо, пока этот стук приближался по каменистой тропе, прогромыхивал мимо и затихал вдали, кровь приливала к сердцу; а Гриджия, казалось, уже с третьего шага распознавала, к ним движутся башмаки или нет. И она знала колдовские слова. Например, говорила «подбрудок» или «виски» вместо «волосы». «Исподница» означало «рубашка». «Вишь какой тороватый,— удивлялась она, сама придя полусонная.— А я привалилась малость, да и заспала». Когда он однажды пригрозил ей, что больше не придет, она засмеялась: «Уж как-нибудь заманю!» — и он не то испугался, не то обрадовался, а она, видно, это подметила, потому что спросила: «Жалковать стал, да? Здорово жалковать-то стал?» Все эти слова были под стать узорам на их фартуках и платках или цветным каемкам на подолах — немного уже приладившиеся к современности, благо проделали долгий путь, но все-таки оставшиеся таинственными пришельцами. Они так и сыпались с ее губ, и, целуя эти губы, он тщетно пытался разобраться, любит ли он эту женщину или просто ему явлено чудо и Гриджия всего лишь частица ниспосланного ему озарения, отныне и навеки связавшего его с той, истинно любимой. Однажды Гриджия сказала ему прямо в лоб: «А мыс-

ли-то у тебя про другое, оно по глазам видать» — и, когда он наспех сочинил оттоворку, снисходительно отмахнулась: «Ах, это только скюз». Он спросил, что это еще такое, но она объяснять отказалась, и ему пришлось потом долго соображать самому, прежде чем он выудил из нее скудные сведения, позволившие догадаться, что лет двести назад здесь жили еще и французские рудокопы и что скорее всего это когда-то означало «экскюз» [1]. Но не исключено, что и тут таилось нечто более замысловатое.

Все это можно чувствовать глубоко или не очень. Можно иметь принципы, и тогда это предстанет всего лишь невинной эстетической забавой, о которой приятно вспомнить. А может быть, у человека нет принципов или просто они несколько ослабли, как случилось с Гомо перед отъездом, и тогда, не ровен час, эти чуждые, странные впечатления всецело завладеют безнадзорной душой. Но какого-либо нового, счастливо-тщеславного и устойчивого ощущения своего «я» они ему не давали, а лишь оседали бессвязно-красивыми пятнами внутри того воздушного очерка, который прежде был его телом. По неуловимым признакам Гомо чувствовал, что скоро умрет, он только не знал еще, как и когда. Его прежняя жизнь лишилась силы; она стала как мотылек, что к осени слабеет все больше и больше.

Иногда он говорил об этих своих ощущениях с Гриджией, всякий раз удивляясь ее манере справляться о них деликатно-уважительно, как о чем-то ей доверенном, и без малейшей обиды. Она словно бы находила вполне естественным, что где-то за ее горами жили люди, которых он любил больше, чем ее, Гриджию,— которых он любил всей душой. И он чувствовал, что эта его любовь не слабеет, а, напротив, становится сильней и будто новей; она не бледнела, не меркла, но чем в более глубокие окрашивалась тона, тем явственней утрачивала способность направлять его к чему-либо или от чего-либо удерживать. В ней была та граничащая с чудом невесомость и свобода от всего земного, какую знает лишь тот, кому пришлось закончить счеты с жизнью и осталось только уповать на близкую смерть; и хотя он всегда был совершенно здоров, сейчас его будто пронзило и выпрямило что-то, как калеку, который вдруг отбрасывает костыли и идет на своих ногах.

Все это еще усилилось, когда подошла пора сенокоса. Трава была уже скошена и просохла, оставалось увязать ее и поднять наверх со склонов. Гомо смотрел вниз с ближайшего холма, далеко и высоко, будто взмахом качелей, взнесенный над лощиной. Молоденькая крестьянка, одна как перст на лугу,— яркая пестрая куколка под необозримым стеклянным колоколом неба,— тужилась связать огромную охапку. Становится на колени в кучу сена, обеими руками подгребает его к себе. Ложится — весьма чувственным манером — на кучу животом и обхватывает ее снизу. Переворачивается на бок и теперь орудует уже одной рукой, вытягивая ее насколько возможно. Заползает опять наверх — сначала одним коленом, потом обоими. Гомо снова чудится в этом что-то от того жука, которого прозвали пилильщиком. Наконец она вся подлезает под обхваченную бечевкой охапку и медленно поднимается вместе с ней. Охапка намного больше несущего ее пестрого хрупкого человечка — или это не Гриджия?

Когда Гомо, ища ее, проходил вдоль длинного ряда копен, сметанных крестьянками у ровной кромки откоса, женщины как раз устроились передохнуть; он едва смог оправиться от изумления: они возлежали на невысоких копешках, как статуи Микеланджело во флорентийской капелле Медичи — рука подпирает голову, и тело будто покоится в плавном потоке. А если им в разговорах с ним случалось сплюнуть, они делали это весьма церемонно: выдергивали тремя пальцами пучок сена, плевали в образовавшуюся воронку и засовывали сено обратно; тут немудрено расхохотаться, но тому, кто среди них уже как бы свой,— а таким и был Гомо, искавший Гриджию,— может иной раз стать не по себе от этой грубоватой чопорности. Впрочем, Гриджия редко бывала среди них, а когда он наконец ее нашел, она сидела на картофельном поле и встретила его задорным смехом. Он знал, что на ней всего лишь две юбки и что она сидит прямо на сухой земле, которую ссыпает сейчас меж тонких загрубелых пальцев. Но в этом представлении уже не было ничего для него необычного, все его существо странным образом свыклось с ощущением прикосновения земли к телу, и, возможно, он встретил Гриджию вовсе не на поле и не в пору сенокоса — просто так уж ему тут жилось, что все впечатления и дни перемешались.

Заполнились сеновалы. Меж балок, сквозь щели в пазах, струится серебряный свет. От сена струится зеленый свет. Под дверями легла широкая золотая кайма.

---

[1] Excuse — извинение, оттоворка *(франц.)*.

У сена кисловатый запах. Как у негритянских напитков, приготовляемых из мякоти плодов и человеческой слюны. Стоит только вспомнить, что ты живешь здесь среди дикарей, и уже одна эта мысль пьянит дурманом в духоте тесного, доверху набитого забродившим сеном пространства.

Нет опоры надежнее сена. Тонешь в нем по щиколотку, но ощущение устойчивости не покидает тебя. Лежишь в нем как на господней ладони и готов кататься по господней ладони, как щенок, как поросенок. Лежишь наклонно и лежишь почти отвесно, как святой, в зеленом облаке возносящийся на небо.

То были дни свадебных пиров, дни вознесенья.

Но однажды Гриджия объявила: дальше нельзя. Тщетно пытался он заставить ее сказать почему. Резкая складка у рта, вертикальная морщинка между глаз, обычно возникавшие, лишь когда она прикидывала, в какой риге лучше всего встретиться завтра, теперь, похоже, означали, что где-то рядом нависла гроза. Может быть, о них пошли пересуды? Но соседки, даже если и замечали что-то, всегда улыбались так, как улыбаются зрелищу, на которое приятно смотреть. Вытянуть же что-нибудь из Гриджии было невозможно. Она придумывала отговорки, реже стала попадаться ему на глаза и уж слова свои стерегла теперь пуще самого недоверчивого крестьянина.

Однажды его встревожил дурной знак. У него спустились гамаши, он прислонился к забору, чтобы их подтянуть, и тут проходившая мимо женщина дружелюбно сказала: «Да уж не поднимай чулки-то, все одно ночь на дворе». Это было неподалеку от дома Гриджии. Когда он ей об этом рассказал, она сделала надменное лицо и бросила: «В деревне молву, что в ручье волну — не остановишь», но при этом сглотнула слюну и мыслями была явно не здесь. А ему вдруг вспомнилась одна странная крестьянка, с вытянутым, как у женщин из племени ацтеков, черепом, с черными волосами, спускавшимися чуть ниже плеч; она всегда сидела перед дверьми своего дома с тремя здоровыми краснощекими ребятишками. Они с Гриджией всякий раз без опаски проходили мимо, это была единственная незнакомая ему тут женщина, и, странным образом, он ни разу не спросил о ней, хотя ее внешность сразу бросилась ему в глаза: такое было впечатление, словно здоровый вид ее детей и странное отсутствующее выражение ее лица взаимно исключали друг друга. Но сейчас у него вдруг возникла твердая уверенность, что опасность может исходить только отсюда. Он спросил Гриджию, кто эта женщина, но та лишь сердито передернула плечами и процедила сквозь зубы: «Ах, ее только слушай! Сболтнет слово — и уже ищи-свищи его за горами!» И она резко провела ладонью передо лбом, будто испытывала потребность немедленно и бесповоротно обесценить свидетельство этой особы.

Поскольку никакая сила не могла теперь подвигнуть Гриджию прийти снова в одну из расположенных вкруг селения риг, Гомо однажды предложил ей уйти в горы. Она не хотела, а когда наконец согласилась, то сказала с каким-то особенным выражением, показавшимся ему позже двусмысленным: «Ладно уж: уходить так уходить» Было прекрасное утро, еще раз объявшее все и вся окрест; далеко внизу лежало море облаков и людей. Гриджия опасливо сторонилась жилищ, а когда они вышли на ровное место, она, прежде восхитительно безалаберная во всех диспозициях своей любовной стратегии, вдруг начала выказывать тревогу, будто боялась чьих-то острых глаз. Его терпение иссякло; вспомнив, что они только что прошли мимо старой штольни, от расчистки которой его людям пришлось отказаться, он потащил туда Гриджию. Когда он оглянулся в последний раз, на одном из горных венцов лежал снег, внизу отливала золотом в лучах солнца крохотная делянка с копнами сена, а над тем и другим сияло бледно-голубое небо. Тут Гриджия снова сказала нечто такое, в чем ему почудился тайный смысл; перехватив его взгляд, она заметила ласково: «А синь небесную уж оставим наверху, пусть себе красуется»; но что она хотела этим сказать, он так и не успел выяснить, потому что они как раз начали осторожно, на ощупь пробираться во все сужавшуюся тьму. Гриджия шла первая, и, когда через некоторое время штольня расширилась, превратившись в небольшую сводчатую пещеру, они остановились и обнялись. Пол у них под ногами был как будто хороший, сухой, они легли на него, причем Гомо даже не ощутил привычной для цивилизованного человека потребности прежде осветить его зажженной спичкой. И еще раз Гриджия мягкой сухой землею проникла все его существо, и он чувствовал во тьме, как она каменеет, замирает от наслаждения, а потом они лежали рядом, не испытывая желания говорить, и глядели на далекий маленький прямоугольник, за которым сверкал белизною солнечный день. В представлении Гомо снова всплыл их путь сюда, он видел, как они встречаются

с Гриджией за деревушкой, поднимаются в гору, поворачивают, поднимаются снова, видел ее голубые чулки до самой оранжевой каемки под коленями, видел, как она упруго вышагивает в смешных своих башмаках, как они с ней останавливаются перед штольней, видел ландшафт с крохотной золотой делянкой, и тут в проеме входа он различил силуэт ее мужа.

Он никогда раньше не думал об этом человеке, которого использовали на подсобных работах; сейчас он увидел его скуластое лицо браконьера с темными, по-охотничьи цепкими глазками, и ему вдруг припомнился тот единственный раз, когда он слышал его речь; это было, когда тот выбрался из полуразрушенной штольни, куда заползал для осмотра — на что никто другой не отважился,— и это были слова: «Ну вот и повидал одну красоту заместо другой; только вертаться трудновато». Рука Гомо рванулась к пистолету, но в тот же миг муж Лены-Марии Ленци исчез, и мрак вокруг воздвигся плотной стеной. Гомо на ощупь добрался до выхода, Гриджия цеплялась за его одежду. Но ему сразу стало ясно, что обломок скалы, приваленный к отверстию, слишком тяжел и у него не хватит силы сдвинуть его; и он вдруг понял, почему этот человек дал им столько времени: оно было нужно ему самому, чтобы продумать свой план и подтащить бревно, послужившее рычагом.

Гриджия рухнула перед камнем на колени, скулила и бесновалась; это было отвратительно и бессмысленно. Она клялась, что ничего зазорного не сделала и в жизни больше не сделает, она вопила, как резаная свинья, и бестолково колотилась о камень, как обезумевшая кобылица. Гомо почувствовал в конце концов, что все так и должно быть, все в порядке вещей — просто ему, образованному человеку, трудно было сразу примириться с очевидностью того, что действительно произошло нечто бесповоротное. Он сидел, прислонясь к стене, и, засунув руки в карманы, слушал вопли Гриджии. А потом он прозрел свою судьбу: еще раз, будто в озарении, представилось ему, как она опускалась, нависала над ним — дни, недели, месяцы,— именно так, должно быть, начинается сон, которому суждено длиться долго. Он ласково обнял Гриджию и, оторвав от камня, притянул к себе. Потом лег возле нее и стал ждать. Раньше он, может быть, и подумал бы, что в такой наглухо захлопнувшейся тюрьме любовь должна быть остра и пронзительна, как уксус, но сейчас он и думать забыл о Гриджии. Она отдалилась от него — или он от нее, хоть он еще и чувствовал ее плечо; вся его жизнь отдалилась от него ровно настолько, чтобы знать еще, что она рядом, но уже никогда не дотронуться до нее рукою. Долгие часы, а может, долгие дни и ночи они лежали неподвижно, голод и жажда остались за ними, как беспокойный отрезок пути, и они становились все слабее, все легче и бессловесней; позади были необъятные моря забытья и случайные островки пробуждения. Однажды он встрепенулся, озаренный резким лучом такого вот мимолетного пробуждения: Гриджия исчезла; безошибочная уверенность подсказала ему, что это случилось только что, мгновение назад. Он усмехнулся: ему про выход ничего не сказала; оставила его здесь, мужу в доказательство!... Он с трудом приподнялся и огляделся вокруг и тоже заметил теперь слабый узкий просвет вдали. Он попробовал проползти туда, в глубь штольни,— они все время смотрели в другом направлении. И он различил узкую щель, которая, вероятно, вела в сторону и наружу. Гриджия была тоненькой и гибкой, но, возможно, и ему, если напрячь последние силы, следовало бы попробовать там протиснуться. Это был выход. Но он в этот момент был уже, вероятно, слишком слаб, чтобы возвращаться к жизни, уже не хотел или потерял сознание.

В тот же самый час внизу Моцарт Амадео Хоффенготт, поскольку стала очевидной безуспешность всех усилий и тщетность затеянного предприятия, отдавал распоряжения по свертыванию работ.

Перевод А. КАРЕЛЬСКОГО

Черный дрозд

Те двое, которых придется упомянуть, чтобы рассказать три маленькие истории (потому что важно, кто из них двоих повествует), были друзьями юности; назовем их Аодин и Адва. Юношеская дружба кажется тем удивительнее, чем старше мы сами. Ведь с годами люди меняются не только с ног до головы, но и вглубь — вплоть до сердца, а вот отношение их друг к другу

почему-то остается прежним и меняется так же мало, как чувство любого человека к тем разным людям, которых он по очереди на протяжении многих лет именует своим «я». Дело вовсе не в том, может ли он так же воспринимать мир, как тот светловолосый малыш с большой головой, которого запечатлела когда-то фотография; в сущности, вряд ли можно сказать, что он любит это маленькое глупое чучело собственного «я». Вот так же и с лучшими друзьями: не то чтобы ты был ими доволен или полностью согласен с ними; мало того, бывает, что друзья терпеть не могут друг друга. В известном смысле такая дружба самая глубокая и самая хорошая, в ней в чистом виде содержится стихия непостижимого.

В юности и Аодин, и Адва были абсолютно далеки от религии. Хотя оба они воспитывались в заведении, гордившемся тем, что религиозным принципам в нем отводилось должное место, воспитанники считали делом чести ни во что их не ставить. Например, церковь при этом заведении была по-настоящему большой и красивой, с каменной колокольней, и предназначалась исключительно для этой школы. Но во время службы (сюда никогда не проникал никто из посторонних) ученики собирались компаниями и играли в карты, спрятавшись за исповедальней, или курили сигареты на лестнице, ведущей к органу, а то и скрывались на колокольне, где под остроконечной крышей, словно тарелочка подсвечника, пролегал каменный балкон. На перилах балкона на головокружительной высоте выделывались всякие трюки, которые и не столь отягощенным грехами мальчишкам могли стоить жизни. (А в это время в самой церкви немногие другие воспитанники то опускались на колени, то поднимались, как того требуют церковные обряды.)

Один из вызовов богу состоял в том, чтобы, медленно напрягая мускулы, сделать на выступе балкона стойку на руках и, покачиваясь, постоять так, вверх ногами, глядя вниз. Каждый, кто проделывал этот акробатический трюк на земле, наверное, знает, какая нужна вера в себя, отвага и удачливость, чтобы повторить его на башенной высоте на полоске камня в ширину ступни. Надо сказать, что многие ловкие и удалые мальчишки не отваживались на это, хотя на земле умели даже разгуливать на руках. Аодин, например, на это не решался. Адва же как раз и изобрел в детстве это испытание силы духа, что может, кстати, послужить неплохой рекомендацией ему, как рассказчику этой истории. Трудно было найти мальчика с таким телосложением, как у него. Его тело было мускулистым не от спортивных занятий, как у других; казалось, он весь сплошь состоял из мускулов — без каких-либо усилий с его стороны, просто от природы. У него была продолговатая, довольно маленькая голова, в его бархатных глазах вспыхивали приглушенные молнии, а зубы скорее заставляли думать об оскале преследующего жертву зверя, чем о мистической кротости.

Позднее, будучи студентами, оба друга увлеклись материалистическим истолкованием жизни, которое, не прибегая к помощи души или бога, трактует человека как физиологическую или экономическую машину, чем он, наверное, действительно и является. Но не это было для них главным, потому что прелесть такой философии заключается не в ее истинности, а в ее демоническом, пессимистическом, устрашающе-интеллектуальном характере. Тогда их взаимоотношения были уже юношеской дружбой. Адва изучал лесное хозяйство и поговаривал о дальних поездках в Россию или Азию в качестве инженера-лесовода, как только закончит учение. А его друг избрал себе более солидную мечту по сравнению с этой юношеской: он тем временем проникся интересом к нарастающему рабочему движению. Когда они снова встретились незадолго до войны, оказалось, что Адва уже побывал в России. О своих тамошних перипетиях рассказывал он мало, сейчас работал в конторе какого-то большого общества, и создавалось впечатление, что в прошлом у него были крупные неудачи, хотя житейские его дела обстояли довольно сносно. А друг его юности из классового борца превратился в издателя газеты, которая много писала о социальном согласии и принадлежала одному биржевику. С тех пор, взаимно презирая друг друга, они нерасторжимо были связаны между собой. Но судьба их разлучила снова, а когда еще раз свела на короткое время, Адва и рассказал нижеследующие истории — так, словно вытряхивал перед другом мешок с грузом воспоминаний, чтобы потом пойти с пустым мешком дальше. При таких обстоятельствах неважно, что́ ему возражал Аодин, и их беседу можно передать как монолог. Важнее точно описать, как выглядел Адва в тот момент, потому что непосредственное впечатление от этого немаловажно для понимания его слов. Но описать его вид трудно. Можно сказать, что он напоминал сильный, упругий, тонкий хлыст, прислоненный к стене и упирающийся в свой мягкий конец. В таком

наполовину прямом, наполовину согнутом положении он, казалось, чувствовал себя нормально.

— К самым удивительным местам в мире,— начал Адва,— относятся те берлинские дворы, где два, три или четыре дома показывают друг другу свой задний фасад, а внутри за их стенами в четырехугольных дырах сидят и поют кухарки. По виду медно-красной посуды на полках угадывается, как она может дребезжать. А далеко внизу кто-то громко бранит какую-нибудь кухарку или тяжело ступают по гулкой мостовой деревянные башмаки. Взад-вперед. Медленно. Тяжело. Беспокойно. Бессмысленно. Беспрестанно. Так или нет?

Вот сюда-то и выходят окна кухонь и спален — в тесном соседстве друг с другом, как любовь и пищеварение в человеческом теле. Этажами громоздятся одно над другим супружеские ложа, потому что спальни в доме расположены одинаково, и стена с окнами, стена ванной, простенок для шкафа определяют место постели с точностью почти до полуметра. Совсем так же этажами нагромождены друг на друга столовые, белые кафельные ванные и балконы с красными абажурами. Любовь, сон, рождение, пищеварение, неожиданные встречи, полные забот и общения ночи наслаиваются в этих домах друг на друга, как стопки булочек в закусочной-автомате. Личная судьба в таких квартирах, где живет среднее сословие, предначертана уже при их заселении. Ты ведь не станешь отрицать, что человеческая свобода заключается главным образом в том, где и когда люди делают то или другое; делают же они почти всегда одно и то же. Поэтому есть свой дьявольский смысл в том, что эта схема дается в горизонтальной проекции, всегда одинаковой. Я однажды залез на шкаф только для того, чтобы воспользоваться вертикалью, и могу сказать, что неприятный разговор, который мне пришлось вести оттуда, прозвучал тогда совсем по-другому.

Адва рассмеялся сам себе и наполнил рюмку; Аодин же подумал о том, что они сидят сейчас на балконе с красным абажуром и этот балкон является частью его квартиры; но он промолчал, потому что слишком хорошо знал, что́ он может возразить.

— Впрочем, я и сейчас понимаю, что в этой закономерности есть что-то могущественное,— заметил Адва,— тогда же этот дух массовости и безысходности вообще представлялся мне необъятной пустыней или морем. Конечно, какая-нибудь бойня в Чикаго (хотя от одной мысли о ней у меня выворачивает наизнанку все внутренности) — это тебе не горшочек с цветами! Но самое удивительное, что, когда я жил в этой квартире, я необычайно часто думал о своих родителях. Ты ведь помнишь, что я потерял с ними всякую связь. Но однажды у меня вдруг мелькнула мысль: «Они подарили тебе жизнь». И эта смешная фраза возвращалась ко мне, как назойливая муха, которую никак нельзя отогнать. Что можно сказать об этой ханжеской мысли, которую внушают нам с детства? Но когда я смотрел на свою квартиру, я говорил себе: «Теперь ты купил себе жизнь; за столько-то марок ежегодной квартирной платы». Иногда я, наверное, говорил и так: «Ты устроил себе жизнь собственными силами». В общем, нечто среднее между универмагом, пожизненной страховкой и чувством гордости. И вот тогда мне показалось необыкновенно удивительным — прямо как тайна,— что мне подарили что-то независимо от того, хотел я этого или не хотел, и это что-то — основа всего. Я думаю, эта мысль таила в себе целый клад непредвиденного и неупорядоченного — клад, который я глубоко зарыл. И вот тогда-то произошла история с соловьем.

Она началась с одного вечера, похожего на все другие. Я остался дома и после того, как жена улеглась спать, расположился в своей комнате. Единственное, что отличало этот вечер от других, было, наверное, то, что я не взялся ни за книгу, ни за что другое, но такое случалось и раньше. После часа ночи улица начинает успокаиваться, редко-редко донесется случайный разговор; так приятно вслушиваться, как продвигается вперед ночь. Если в два часа услышишь шум или смех внизу, то это уже явно полуночники и пьянчуги До моего сознания дошло, что я чего-то жду, но я не догадывался чего. Около трех часов — это было в мае — начало светать; я на ощупь пробрался по темной квартире в спальню и бесшумно лег в постель. Я ничего не ждал больше, кроме сна и следующего дня, такого же, как тот, который прошел. Вскоре я впал в некое полузабытье. Между занавесками и просветами в жалюзи все явственней обрисовывалась темная зелень, в комнату вползали тонкие ленты матового утреннего света. Это могло быть и последним впечатлением еще бодрствующего ума, и спокойным сновиденьем. Вскоре меня разбудило что-то, что явно приближалось; это были звуки. Раз, другой — я воспринял их еще в полусне. Потом они уже сидели на коньке крыши соседнего дома и подпрыгивали там в воздухе, как дельфины. Я бы даже сказал: как

ракеты во время фейерверка; потому что осталось впечатление от ракет; падая, они мягко разбивались о стекла окон и, как большие серебряные звезды, тонули в глубине. Теперь я был в каком-то зачарованном состоянии; я лежал в своей постели, словно фигура на надгробной плите, и не спал, но не спал иначе — не так, как днем. Это очень трудно описать, но я помню свое состояние: будто меня опрокинули вовнутрь; я не был уже скульптурой — я весь был погружен внутрь себя. И комната была не полой, а состояла из какого-то вещества, которого не существует среди дневных веществ, какого-то черно-прозрачного, черного даже на ощупь,— вещества, из которого состоял и я сам. Время шло частыми маленькими ударами пульса. Почему бы сейчас не случиться тому, что не случается вообще? «Это поет соловей!» — сказал я себе вполголоса.

Может быть, в Берлине и в самом деле соловьев больше, чем я полагал. Но тогда-то я подумал, что в этих каменных джунглях не сыщется ни одного, а этот прилетел ко мне издалека. Ко мне!.. Я ощутил это всем своим существом и, улыбаясь, приподнялся... Птичка небесная! Значит, она действительно существует!.. Дело в том, что в такой момент ты самым естественным образом готов поверить в сверхъестественное и возникает чувство, будто все свое детство ты провел в заколдованном мире. Я тотчас же подумал: «Я последую за соловьем. Прощай, любимая! Прощайте, любимая, дом, город!..» Но прежде чем я встал с постели и прежде чем уяснил себе, хочу ли я подняться к соловью на крышу или пойти за ним по улицам, певец смолк; он явно полетел куда-то дальше.

И вот он пел на какой-то другой крыше кому-то другому, кто тоже спал.— Адва задумался.— Ты полагаешь, что на этом история и закончилась? В том-то и дело, что она только началась, и я не знаю, чем ей суждено кончиться!

Я почувствовал себя осиротевшим и впал в тяжелое уныние. Это был вовсе не соловей, это был черный дрозд, сказал я себе точно так же, как сказал бы это ты. Черные дрозды подделываются под других птиц. Я полностью проснулся, и тишина наводила на меня тоску. Я зажег свечу и стал рассматривать жену, спавшую рядом. Ее тело было бледно-смуглое. Белый край одеяла лежал поверх, как полоса снега. По телу змеились широкие полосы тени, происхождение которых трудно было понять, хотя они, безусловно, были как-то связаны со свечой и с положением моей руки. «Что из того, если это и вправду был всего лишь черный дрозд! — думал я.— Тем более!» Как раз то, что совершенно обыкновенный черный дрозд мог довести меня до сумасшествия,— в этом-то все и дело! Ты знаешь, плачут только при обыкновенном разочаровании, при двойном же человек снова способен на улыбку. А я тем временем все смотрел на свою жену. Между всем этим существовала какая-то взаимосвязь — не знаю, только какая. «Много лет я любил тебя, как никого в мире,— думалось мне,— и вот ты лежишь, словно гильза любви. Ты стала мне совсем чужой. Я оказался как бы на другом конце любви». Было ли это пресыщением? Я не припомню случая, чтобы когда-нибудь испытывал чувство пресыщения. Как бы тебе это объяснить? Представь себе, будто чувство просверлило сердце, как гору, а на другой стороне оказался другой мир с такой же долиной, такими же домами и маленькими мостами. Но я не знал тогда, что это было за чувство. Я не знаю этого и теперь. Возможно, я поступаю неправильно, что рассказываю тебе эту историю, связывая ее с двумя другими, последовавшими за ней. Могу только сказать вот что: когда это со мной случилось, мне словно был подан откуда-то знак — такое у меня было впечатление.

Я положил свою голову рядом с женою — она спокойно спала, безучастная ко всему. А мне показалось, что ее грудь вздымается и опускается слишком бурно, и стены комнаты вздымались и опускались вокруг этого спящего тела, как море вокруг корабля, который уже долгое время находится в пути. Я, наверное, никогда бы не решился разбудить ее и попрощаться, но тогда мне пришло в голову: если я сейчас тайком уйду от нее, то я буду маленькой, покинутой в одиночестве шлюпкой, и, значит, большое надежное судно равнодушно проплыло мимо. Я поцеловал спящую — она этого не почувствовала. Я что-то шепнул ей на ухо и, наверное, сделал это так осторожно, что она не услышала. Тут я посмеялся над собой, поиздевался над соловьем, но все-таки тихонько оделся. Думаю, что я тогда всхлипнул, но я действительно ушел. Я ощущал головокружительную легкость, хотя и пытался убедить себя в том, что ни один порядочный человек не имеет права так поступать. Я помню, что был как пьяный, который бранит улицу, чтобы убедить себя в своей трезвости.

Я, конечно, часто думал о том, чтобы вернуться; иногда готов был пройти полсвета, чтобы вернуться, но не сделал этого. Короче говоря, она стала для меня недосягаемой. Не знаю, поймешь ли ты меня. Кто очень остро чувствует, что поступил несправедливо, тот не может себя пересилить, чтобы загладить содеянное. Я, собственно, не прошу у тебя отпущения грехов. Я хочу рассказать тебе о приключившихся со мной историях, чтобы понять, были ли они на самом деле; в течение многих лет мне было не с кем поговорить по душам, а если бы я заговорил об этом с самим собой, честно говоря, мне стало бы жутко.

Итак, запомни: мой рассудок ни в чем не уступает твоей просвещенности.

Но двумя годами позже я оказался в западне, в мертвом пространстве между фронтами в южном Тироле — здесь линия фронта сворачивала от кровавых окопов Чима ди Веццена к озеру Гольдонаццо. Там она убегала в долину, как солнечная волна по двум холмам с красивыми именами, затем снова поднималась с другой стороны долины и терялась, наконец, в тихих горах. Это было в октябре; слабо укрепленные окопы засыпало листвою, безмолвное озеро отливало голубизной, холмы лежали как большие увядшие венки — как венки на могилах, часто думал я, не испытывая перед ними страха. Нерешительно разветвляясь, обтекала их долина; но по ту сторону занятой нами линии она уже утрачивала всю свою трогательную робость и устремлялась как звук трубы — бурная, широкая и героическая — во вражескую даль.

Ночью мы заняли позицию на передовой. Место было совсем открытое, так что можно было всех перебить сверху камнями, но нас поджаривали на медленном артиллерийском огне. И утром после каждой такой ночи у всех у нас появлялось на лице какое-то особое выражение, которое исчезало только через несколько часов: расширенные глаза, понурые головы, поднимавшиеся лишь там и сям, беспорядочно, как смятая трава. Тем не менее каждую такую ночь я часто высовывал голову из окопа и осторожно осматривался, как влюбленный, и видел тогда в ночи горную цепь Брента [1], светлую, небесно-голубую, словно собранную в жесткие стеклянные складки. В такие ночи звезды были большими и будто вырезанными из золотой бумаги. Они сверкали густым масляным блеском, словно выпеченные из теста, а юношески-тонкий серп луны — совсем серебряный или совсем золотой — лежал навзничь посреди неба и купался в блаженстве. Попытайся представить себе, как это прекрасно; ничто не бывает таким прекрасным в безопасной жизни. Иногда я не выдерживал этого наплыва счастья и тоски и выползал ночью погулять — до золотисто-зеленых темных деревьев, между которыми я распрямлялся, как маленькое буро-зеленое перышко в оперении спокойно сидящей остроклювой птицы по имени Смерть, которую ты никогда еще не видел такой магически пестрой и черной.

Зато днем на главной позиции можно было прямо-таки прогуливаться верхом. Именно в таких местах, где есть время для размышлений и для страха, только и узнают по-настоящему, что такое опасность. Каждый день она забирает себе жертвы — твердую средненедельную норму, такой-то и такой-то процент, и уже начиная с офицеров генерального штаба люди на фронте относятся к этому так же безразлично, как страховое общество. Впрочем, и ты сам тоже. Ты инстинктивно знаешь свои шансы и чувствуешь себя застрахованным, хотя и не на очень выгодных условиях. Такое же странное спокойствие ты ощущаешь, когда долгое время живешь в зоне обстрела. Об этом я должен сказать тебе заранее, чтобы у тебя не сложилось неправильного представления о моем состоянии. Правда, иной раз вдруг будто спохватываешься и начинаешь искать какое-нибудь знакомое лицо, которое видел еще несколько дней назад; но его уже нет. И это лицо может тогда потрясти больше, чем допускает разум, оно еще долго стоит перед тобой в воздухе, как слабый отсвет свечи. Таким образом, ты испытываешь меньше страха перед смертью, чем обычно, но зато более подвержен всякого рода раздражениям. Словно страх перед концом — этот камень, который постоянно давит на человека,— откатили в сторону и где-то совсем поблизости от смерти распускается, как цветок, некая удивительная внутренняя свобода.

Над нашей спокойной позицией появился однажды вражеский летчик. Это случалось не часто, потому что для этого надо было перелетать высоко над грядой гор: слишком узки были воздушные коридоры между укрепленными плато. Мы стояли как раз на одном из могильных венков, и в мгновение ока небо покрылось белыми облач-

[1] Известняковая горная цепь в южном Тироле. Светлый известняк резко выделяется в темноте.

ками от разрывов шрапнели, будто по нему прошлась чья-то проворная рука с пуховкой. Это выглядело забавно и почти идиллически. К тому же сквозь трехцветные крылья аэроплана, когда он пролетал высоко над нашими головами, просвечивало солнце — как сквозь церковное окно или разноцветную папиросную бумагу; в этот момент не хватало только музыки Моцарта. Правда, у меня промелькнуло в голове, что мы стоим тут как зрители на гонках и представляем собой прекрасную мишень. Кто-то и сказал: надо бы укрыться! Но, видимо, никому не хотелось спешить, точно полевой мыши в свою нору, несмотря на опасность. И сразу я услышал какой-то слабый звук, приближавшийся к моему обращенному вверх лицу. Возможно, было и наоборот: сначала я услышал звук, а потом только понял, что приближается опасность. Но в ту же секунду я уже знал: это — авиационная стрела! Были тогда такие острые металлические стержни, не толще плотничьего отвеса, которые самолеты сбрасывали с высоты; попадая в череп, они, наверное, пронзали человека до самых подошв, но они не часто достигали цели, и от них вскоре отказались. Поэтому-то я впервые и столкнулся с такой стрелой; но поскольку от бомб и пулеметных выстрелов совсем другой звук, я тотчас понял, что это такое. Я весь напрягся, и в следующее мгновение у меня возникло удивительное, ни на чем реальном не основанное чувство: она попадет!

И знаешь, как это было? Не как ужасное предчувствие, а как счастье, которого раньше я не мог и вообразить. Я удивился сначала, что один услышал этот звук. Потом подумал, что звук вот-вот исчезнет. Но он не исчез. Он приближался ко мне, хотя был еще очень далеко и как бы разрастался в перспективе. Я осторожно посмотрел на лица других, но никто его не слышал. И в ту минуту, когда я понял, что один слышу это нежное пение, из меня поднялось что-то навстречу ему — луч жизни; столь же бесконечный, как летящий сверху луч смерти. Я не выдумываю, я стараюсь описать это как можно проще; я убежден, что выразился с безупречной трезвостью физика; я, конечно, понимаю, что это в какой-то мере похоже на сон, когда воображаешь, что говоришь абсолютно ясно, а для других твои слова звучат бессвязно.

В течение довольно длительного времени только я один слышал приближение этого звука. Звук был простой, тонкий, напевный, высокий — так звенит краешек стакана, когда по нему стучат; но было в нем что-то нереальное; такого ты еще не слышал, сказал я себе. И этот звук был направлен на меня; я был связан с ним и ни капли не сомневался, что со мной должно произойти что-то очень важное. Ни одна моя мысль не была похожа на те, какие должны возникать в минуты прощания с жизнью,— напротив, все, что я испытывал, было направлено в будущее. И по правде сказать, я был уверен, что в следующую минуту почувствую близость бога. Согласись, это немало для человека, который с восьми лет не верил в него.

Между тем звук, приближавшийся сверху, обретал плоть, нарастал и угрожал. Я спрашивал себя несколько раз, не следует ли мне предостеречь других; но независимо от того, угодила бы стрела в меня или в другого, я не хотел этого делать! Наверное, от проклятого тщеславия, заставившего меня вообразить, что там, высоко над полем боя, какой-то голос пел для меня. Возможно, бог и есть то чувство тщеславной спеси, которое мы, бедняги, испытываем в скудости нашего бытия, считая, что имеем на небе богатого родственника. Не знаю. Но постепенно воздух, вне всякого сомнения, начал звенеть и для других; я увидел, как на их лицах замелькало беспокойство, и заметь: ни один из них тоже не проронил ни слова. Я еще раз посмотрел на лица: парни, совсем далекие от подобных мыслей, стояли, не сознавая этого, как группа апостолов, ожидающих послания. И вдруг пение стало земным звуком — в ста, десяти шагах над нами — и умерло. Он, оно было здесь. Среди нас, но ближе всего ко мне что-то умолкло, было проглочено землей, растворилось в каком-то нереальном безмолвии. Мое сердце билось спокойно и ровно; я, кажется, не испытывал страха даже доли секунды; мое сознание не отключалось ни на миг. Но первое, что я осознал,— это то, что все смотрели на меня. Я стоял на том же месте, но мое тело было неестественно развернуто и будто застыло в нелепом низком поклоне. Я чувствовал, что словно пробуждаюсь от забытья, и не знал, как долго был отключен от происходящего. Никто не заговаривал со мной; наконец кто-то сказал: стрела! И все стали искать ее, но она на метр ушла в землю. В это мгновение меня захлестнуло горячее чувство благодарности, и я покраснел, наверное, весь, с головы до ног. Если бы тогда кто-нибудь сказал, что в меня вселился бог, я бы не засмеялся. Но и не поверил бы. Не поверил бы даже тому, что унес с собой хотя бы частицу его. И все-таки, когда я вспоминаю этот случай, мне хочется пережить что-нибудь в этом роде еще раз, только гораздо отчетливее!

Впрочем, мне довелось пережить это еще раз, но все было так же неясно,— начал Адва рассказ о последнем происшедшем с ним случае. На этот раз он говорил как-то неуверенно, но по его лицу легко было заметить, что как раз поэтому ему особенно нужно услышать собственный рассказ. Речь шла о его матери, которую Адва не очень баловал любовью, хотя утверждал, что дело обстояло не так.

— На первый взгляд могло показаться, что мы плохо уживаемся друг с другом,— сказал он,— но ведь это в конце концов естественно, когда старая женщина десятки лет живет в одном и том же маленьком городе, а сын, по ее понятиям, ничего не достиг в большом мире. Она вызывала во мне беспокойство, как общение с зеркалом, которое чуть-чуть растягивает изображение в ширину; и я обижал ее тем, что годами не приезжал домой. Но раз в месяц я обязательно получал от нее озабоченное письмо с многочисленными вопросами. И хотя я обычно на ее письма не отвечал, было во всем этом что-то очень странное, необычное, и, несмотря ни на что, я все-таки чувствовал себя внутренне крепко связанным с ней, как выяснилось в конце концов.

Возможно, несколько десятков лет назад в ее пылкой душе навек запечатлелся образ маленького мальчика, на которого, надо думать, она возлагала бог знает сколько надежд и не могла их никак забыть; и так как я оставался для нее этим давно исчезнувшим мальчиком, она любила меня — вот так же все зашедшие с тех пор солнца висят еще где-то между светом и тьмою. Опять все то же таинственное тщеславие, которое нельзя назвать тщеславием. Ведь я с полным основанием могу сказать о себе, что не люблю заниматься собственной персоной и мне абсолютно непонятна та своеобразная сберегательная касса, которую люди устраивают для собственного «я», с удовольствием рассматривая фотографии, на которых они изображены в прошлом, или охотно вспоминая, что они делали тогда-то и тогда-то. Я не особенно поддаюсь настроениям и не живу минутой; но если что-то осталось позади, то я оставляю в прошлом и себя — такого, каким был; и если оказываюсь на какой-нибудь улице и вспоминаю, что ходил по ней до этого много раз, или если вижу дом, в котором однажды жил, то безотчетно, как боль, ощущаю сильную антипатию к себе, словно я вспомнил что-то постыдное. Раз ты меняешься, все, что было, исчезает; и мне кажется, какие бы ни происходили в нас перемены, мы бы вообще не стали их желать, если бы тот, кого мы при этом оставляем, был абсолютно безупречен. Но именно потому, что это мое обычное убежище, я был приятно удивлен, когда заметил, что вот один человек сохранил в своей душе какой-то постоянный мой образ — возможно, образ, которому я никогда не соответствовал, но который тем не менее в определенном смысле был моей родословной грамотой и напутствием, данным при моем сотворении. Поймешь ли ты меня, если я скажу, что моя мать, образно выражаясь, была титанической натурой, скованной бесчисленными ограничениями реальной жизни? Она не была умной по нашим понятиям, совершенно не могла мыслить отвлеченно и не умела устанавливать связь между вещами; ее нельзя было назвать и доброй, если судить по моим воспоминаниям детства, потому что она была вспыльчива и не владела собой; представь себе, что может получиться от соединения страсти с узким кругозором. Но я уверен, что существуют такое величие, такая сила характера, которые и в наше время так же непостижимо странно воплощаются в человеке, предстающем перед нами в обычной повседневности, как в легендарные времена боги перевоплощались в змей и рыб.

Очень скоро после истории со стрелой я в одном из боев в России попал в плен; там я, подобно многим другим, изменил свои взгляды и не так скоро возвратился назад, потому что новая жизнь мне довольно долго нравилась. Она восхищает меня еще и теперь; но однажды я обнаружил, что кое-какие догматы веры, считавшиеся безусловными, мне наскучили, и, избегая почудившейся мне в них опасности, спасся бегством в Германию, где индивидуализм как раз переживал предынфляционный бум. Я пустился во всяческие сомнительные предприятия, отчасти из-за нужды, а отчасти и от того, что рад был снова оказаться в стране со старыми традициями, где можно было совершать несправедливости, не испытывая при этом стыда. Мои дела между тем шли не очень хорошо, а иногда даже из рук вон плохо. У моих родителей все обстояло тоже не особенно хорошо. Иногда мать мне писала: «Мы не можем тебе помочь; но если бы я могла помочь тебе тем немногим, что ты получишь когда-нибудь в наследство, я хотела бы скорее умереть». Она писала так, хотя я не видел ее несколько лет и не выказывал никакой привязанности к ней. Должен признаться, что я счел эти ее слова преувеличением — ничего не значащими словами, которым я не придал значения, хотя и не сомневался в истинности чувства, которое она выразила так сентиментально. Но

произошло удивительное: моя мать действительно заболела, и можно было подумать, что впоследствии она забрала с собой и моего отца, который был очень ей предан.

Адва задумался.

— Она умерла от болезни, которую, видимо, носила в себе и о которой никто не догадывался. Можно было бы дать различные естественные объяснения тому, что ее письмо оказалось будто пророчеством, и я боюсь, что ты упрекнешь меня, если я этого не сделаю. Но опять-таки удивительными были побочные обстоятельства. Она совсем не хотела умирать; я знаю, что она сопротивлялась ранней смерти и все время жаловалась. Ее воля к жизни, ее намерения и желания восставали против смерти. Нельзя сказать также, что это было решением, которое принимает человек с характером, чтобы победить сиюминутное настроение,— ибо ей и раньше могла бы прийти в голову мысль о самоубийстве или о добровольной нищете, но этого не было и в помине. Она оказалась целиком и полностью жертвой. Ты, к примеру, никогда не замечал, что твое тело имеет еще и самостоятельную волю, а не только подчиняется твоей? Я думаю, все, что представляется нам волей или нашими чувствами, ощущениями и мыслями и вроде бы имеет над нами власть, может повелевать нами только в ограниченных рамках; что при тяжелых болезнях и трудных выздоровлениях, при запутанных конфликтах и вообще на всех поворотных пунктах судьбы включается что-то вроде бессознательной воли всего организма, в которой сосредоточена последняя сила и истина. Но как бы там ни было, несомненно одно: когда моя мать заболела, моя первая мысль была о том, что она сделала это по своей воле. И если ты считаешь, что все это моя фантазия, то все-таки факт остается фактом: когда я получил известие о болезни матери — хотя не было никаких оснований волноваться,— я полностью изменился: жесткость, владевшая мною, моментально исчезла. Я могу лишь сказать, что состояние, в котором я с этого момента находился, было очень похоже на то, когда я проснулся ночью и покинул дом, и на ожидание поющей стрелы, падавшей на меня с высоты. Я хотел сразу же поехать к матери, но она удерживала меня от этого, находя всякие предлоги. Сначала она говорила, что рада будет меня видеть, но лучше подождать, пока она поправится от своего недомогания, так как ей хочется встретить меня здоровой; потом передала мне, что мой приезд может слишком взволновать ее; наконец, когда я стал настаивать, она заявила, что предстоит кризис, после которого наступит выздоровление, и что надо подождать еще немного. Она словно боялась, что встреча со мной посеет в ней тревогу; а затем все так скоро разрешилось, что я успел только на похороны.

Я застал больным и отца и, как я уже говорил, сумел помочь ему только тем, что присутствовал при его последних минутах. Он был раньше добрым человеком, но в эти недели стал удивительно капризным и своенравным, как будто многое не мог мне простить и мое присутствие раздражало его. После его похорон мне надо было распродать имущество, и на это ушло еще несколько недель; я не торопился. Время от времени ко мне приходили по старой памяти люди из городка и рассказывали, где сидел отец, где мать, где они. Они все внимательно осматривали и предлагали купить у меня ту или иную вещь. Они такие основательные, эти провинциалы. Однажды один из них, подробно изучив все, сказал мне: «Все-таки ужасно, когда за несколько недель вымирает целая семья!» Меня, стало быть, никто не относил к ней. Когда я оставался один, я тихо сидел и читал детские книги — я нашел на чердаке целый сундук. Они все были в пыли и в копоти, частью отсыревшие, и когда я их начинал выбивать, поднимались облака серой мягкой пыли. Узорчатая бумага исчезла с картонных переплетов, оставив после себя лишь угловатые островки, но когда я вторгался внутрь, то осваивал содержимое, как мореплаватель, плывущий от опасности к опасности, и однажды я сделал удивительное открытие. Я заметил, что грязь вверху — там, где перевертывают страницы,— и с краю, внизу, была не такой, какая бывает от затхлости, затем я обнаружил всякие странные пятна и, наконец, увидел на титульном листе неуверенные выцветшие следы карандаша. И вдруг я, потрясенный, понял, что эта усердная замусоленность, эти карандашные каракули и в спешке оставленные пятна были следами детских пальцев, моих пальцев, тридцать и больше лет хранившимися в ящике на чердаке и забытыми всем миром! Ведь я говорил тебе, что для других, возможно, в порядке вещей вспоминать самих себя, а у меня получилось так, словно самое глубинное переместилось вдруг наверх. Я отыскал комнату, которая тридцать с лишним лет назад была моей детской; позднее там стояли шкафы для белья и тому подобное, но в основном она оставалась такой, какой была раньше, когда я просиживал там часами за ело-

вым столом с керосиновой лампой, украшенной тремя дельфинами, каждый из которых держал в пасти цепочку. Так и теперь я просидел здесь несколько часов и читал как ребенок, еще не достающий ногами до пола. Ведь мы привыкли к тому, что наша голова не закреплена и ни во что не упирается, потому что под ногами у нас твердая почва; но детство — это отсутствие опоры и сверху и снизу, это когда у тебя не цепкие клещи, а мягкие, как фланель, руки, и ты, сидя над книгой, словно плывешь на маленьком листке над пропастью. Я говорю тебе, я сидел и действительно не доставал ногами до пола под столом!

Я поставил себе в комнату кровать и с тех пор спал там. И вот тогда-то снова прилетел черный дрозд. Однажды после полуночи меня разбудило удивительное, прекрасное пение. Я не сразу проснулся, а долго прислушивался к нему во сне. Это было пение соловья; но он сидел не в кустах в саду, а на крыше соседнего дома. Я все еще спал, но уже с открытыми глазами. «Здесь нет соловьев,— подумал я,— это черный дрозд».

Не считай только, что я повторяюсь, что я об этом вроде бы уже рассказывал тебе сегодня! Но стоило мне подумать: «Здесь нет соловьев, это черный дрозд», как я проснулся, было четыре часа утра, яркий свет ударил мне в глаза, сон пропал с такой же быстротой, с какой впитывается след волны в сухой песок, а в открытом окне, вся в свете, который был словно нежный белый шерстяной платок, сидела черная птица! Она сидела там, это так же точно, как то, что я сижу здесь.

«Я твой черный дрозд,— сказала она,— ты не узнаешь меня?»

Я действительно не сразу вспомнил ее, но почувствовал себя необыкновенно счастливым, когда птица заговорила со мной. «На этом подоконнике я уже однажды сидела, ты не помнишь?» — продолжала она. И я ответил: «Да, ты сидела однажды там, где сидишь теперь, и я тогда быстро закрыл окно».

«Я — твоя мать»,— сказала она.

Видишь ли, вот это мне могло присниться. Но птица мне не приснилась: она сидела там, потом влетела в комнату, и я быстро закрыл окно. Я пошел на чердак и стал искать большую деревянную клетку, о которой вспомнил, потому что черный дрозд уже жил у меня однажды, в детстве; и тогда все было точно так, как я тебе только что рассказывал. Он и тогда сел на окно, а потом влетел в комнату, и мне потребовалась клетка, но он стал вскоре ручным, и я уже не держал его взаперти — он жил в моей комнате и влетал и вылетал когда хотел. Однажды он не вернулся, а теперь вот снова прилетел. Мне не хотелось ломать себе голову над вопросом, тот это дрозд или не тот; я нашел ту самую клетку и еще один ящик с книгами и могу сказать тебе только одно: никогда в жизни я не был таким хорошим, как в то время, когда у меня жил черный дрозд; но я не могу тебе сказать, что значит быть хорошим.

— И часто еще с тобой разговаривала эта птица? — лукаво спросил Аодин.

— Нет,— ответил Адва,— разговаривать она не разговаривала. Но мне пришлось заботиться о корме для нее, о червях. Конечно, то, что она питалась червями, уже составляло некоторое затруднение — ведь я же должен был обращаться с ней как с матерью, но все в конце концов обошлось, скажу я тебе, дело только в привычке, а к чему только не приходится привыкать даже в более повседневных вещах! С тех пор я не отпускал ее от себя, а больше ничего не могу тебе сказать: это — третья история; как она окончится, я не знаю.

— Но ты все-таки даешь понять, что все это связано каким-то общим смыслом? — осторожно спросил Аодин.

— О господи,— отозвался Адва,— просто все так вот и было; а если бы я знал, в чем тут смысл, мне не надо было бы об этом рассказывать. Но это похоже на ощущение, какое бывает, когда ты слышишь не то шепот, не то просто неясный лепет и не можешь понять, что это!

Перевод **Т. СВИТЕЛЬСКОЙ**

◆

Критика

И. ЗОРИНА

МОМЕНТ ПОСТИЖЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

О третьей советско-американской встрече писателей

«...Эти встречи проводились ежегодно. Первая — в 1977 году в Москве, в Союзе советских писателей, вторая—в 1978 году в Нью-Йорке, в Институте искусства и литературы при Американской академии; третья состоялась в Советской Грузии, в городе на Черном море — Батуми». (Из статьи Нормана Казинса в «Сатердей ревью»)

«Плодотворные дискуссии... вселяли уверенность в том... что конструктивная линия на развитие и углубление советско-американских литературных связей внесет значительную лепту в установление взаимопонимания и доверия между народами двух стран... Советскую литературу представляют Григол Абашидзе, Григорий Бакланов, Даниил Гранин, Нодар Думбадзе, Изабелла Зорина, Ясен Засурский, Виталий Коротич, Давид Кугультинов, Феликс Кузнецов, Александр Межиров, Иосиф Нонешвили, Миколас Слуцкис, Владимир Солоухин. Во встрече также принимают участие Георгий Жоржолиани, Роман Миминошвили, Фридон Халваши. В американскую делегацию входят Фрэнсин Грей, Джеймс Рид, Уильям Джей Смит, Фредерик Старр, Гаррисон Солсбери, Стэнли Кьюниц, Вера Данхем, Эйлин Рокфеллер. Руководят делегациями бессменные сопредседатели встреч: с советской стороны — главный редактор журнала «Иностранная литература», секретарь правления Союза писателей СССР Николай Федоренко, с американской — председатель совета редакторов журнала «Сатердей ревью» Норман Казинс». (Из статьи, опубликованной в «Заре Востока»)

С чего начать рассказ? Ему, очевидно, предстоит вместить и краткую, по необходимости, характеристику времени, в рамки которого было заключено событие, и описание места, где оно происходило, и попытку осмысления самого события. Кроме того, надо непременно учесть, что событие уже имеет свою историю [1], да и каждый иду-

[1] Статьи о первой и второй встречах советских и американских писателей «Момент узнавания» и «Момент сближения» см. в «ИЛ» № 2, 1978; № 2, 1979.

ЗОРИНА ИЗАБЕЛЛА ФАБИАНОВНА

Советский литературный критик, переводит с английского. Автор ряда статей по зарубежной литературе, в частности американской. В ее переводе издана книга американского писателя Альберта Кана «Заметки о национальном скандале».

щий на смену вчерашнему день заставляет по-новому оценить происшедшее.

И велико искушение как бы продолжить разговор с заокеанскими участниками встречи не только по вопросам, поднятым за столом заседаний,— ведь тебе удалось познакомиться с книгами, которые подарили их авторы во время дискуссии, с их выступлениями в американской печати, по радио; ко всему этому возник дополнительный интерес: ты делил с этими людьми хлеб-соль, вместе путешествовал, вместе смотрел на окружающий мир. И вдруг с еще большей ясностью увидел, что у вас не просто порой разное мировосприятие — само по себе это отнюдь не неожиданно и даже закономерно,— но вы в такой мере по-разному смотрите на многие явления, что хочется защитить свою точку зрения.

Однако, думается, еще будет возможность высказаться. Сейчас же прежде всего стоит остановиться не на том, что нас разъединяет, а на том, что объединяет, что может объединить.

Сегодня, когда из-за океана вновь столь ощутимо повеяло «холодом», когда отношения с Соединенными Штатами не по нашей вине осложнились, поучительно оглянуться на недавнее прошлое и вспомнить не только осень 1979 года в Батуми: участники конференции не раз обращались к образу другого города — он незримо присутствовал среди нас. Я имею в виду Вену, где Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев и президент США Дж. Картер подписали в высшей степени важный документ.

Так что же, главным образом, побуждало писателей Соединенных Штатов Америки и Советского Союза оставлять свою работу, пересекать океан и садиться за общий стол переговоров? Какова линия развития отношений?

Если попробовать охарактеризовать первые две встречи в самых кратких словах, то слова «момент узнавания» и «момент сближения» — разумеется, условно — могли бы выразить их суть.

Обсуждение проблем взаимосвязей и взаимовлияния русской, советской и американской литератур позволило участникам московской встречи познакомиться с состоянием литературных контактов, поставить вопрос об их возможном улучшении. В повестке дня нью-йоркской встречи были проблемы современного романа, советского и американского. Участники дискуссии почувствовали, что разговор профессиональный — о путях развития романа, тайнах творческого процесса — приводит к лучшему взаимопониманию, сближает их.

Как обозначить встречу третью? Уже сама ее тема таила в себе жгучую актуальность — возможность обсуждения широкого круга вопросов: «Литература в эпоху социального и научно-технического прогресса». Участники дискуссии воспользовались этой возможностью — диапазон обсуждения включал в себя и постановку проблем сугубо литературных, творческих, и проблем, заботящих человечество в целом. И, забегая вперед, не боясь упреков в преувеличении, третий «момент» в жизни этого своеобразного писательского сообщества хотелось бы назвать «моментом постижения ответственности».

«Метафора самой поэзии»

Вновь за столом заседаний собрались художники слова двух стран, и вновь можно было заметить: как бы далеко порой ни отлетала мысль оратора, как бы причудливо она ни развивалась — а писателю это свойственно,— он постоянно возвращался к раздумьям о своем деле, о том, насколько оно может стать для людей опорой, стать рычагом, приводящим «машину» в движение.

Не это ли имел в виду американский поэт У. Дж. Смит, когда сказал: «Вчера мы проезжали мимо горы, к которой был прикован Прометей, и я вспомнил другие горы, которые встретились на моем пути во время второй мировой войны. Я говорю о коралловых атоллах, образующихся вокруг подводного вулкана. Кораллы строят свои колонии до тех пор, пока не вырастут до поверхности моря или океана; они образуют замкнутую лагуну, похожую на великолепное озеро с тихой зеркальной водой. Когда я был морским офицером, я был на одном из таких коралловых островов... Они представляются мне метафорой самой поэзии, которая «строится» для защиты от нападения — против самого океана».

В теме, которая была внесена в повестку дня батумской встречи, есть, безусловно, некое противоречие. Писатель, по складу своего ума и характеру увлечений по большей части далекий от технических новшеств времени, должен был говорить о такой грани творческого начала нашего века, как научно-техническая революция. Впрочем, надо сказать, что он не уставал изумляться, когда век этот шел вперед, венчая свое поступательное шествие сотворением «чудес», которые служили человеку. Вспомним, чем явились для Льва Толстого железная дорога, аэроплан или даже столь скромное создание, как пишущая машинка...

И вот противоречие, о котором уже говорилось. Вся мощь технического прогресса, неизмеримо большая, чем это имело место во времена минувшие, может быть обращена на разрушение цивилизации, может породить оружие, несущее смерть. Какой гнев и какую ненависть должно это вызвать в сердце писателя, призванного помогать человеку жить, познавать самого себя, строить великую надежду. Не потому ли наш разговор — повторяю, он был широк по охвату тем и событий — неизменно касался судьбы человечества, вопросов войны и мира; едва ли не каждый из выступавших говорил о возрастании роли писателя в век научно-технической революции, о его гражданской ответственности.

Если привести хотя бы некоторые из высказываний, то и они многое объяснят из того, что относится к настроению участников встречи, к ее главному, на наш взгляд, содержанию.

Есть смысл начать со слов, которые хранит блокнот с записями московской дискуссии:

«На писателей возложена особая миссия в вопросе сохранения мира на земле...» (Норман Казинс).

«Все мы движимы верой в торжество человеческого гения, верой в возможности народов спасти мир от ядерной катастрофы — во имя созидания, творческого предназначения человека...» (Николай Федоренко).

Или блокноты с нью-йоркскими записями. Во многих выступлениях снова тот же мотив — осмысливают ли ораторы опыт войны минувшей или говорят о необходимости противостоять новой.

Эти мотивы зазвучали с еще большей силой на встрече в Батуми.

У. Дж. Смит: «Мы ответственны за то, что происходит на планете. Мы должны сделать нашу землю лучше...»

Г. Абашидзе: «Сегодня ответственность эта с особой тяжестью возложена на американских и советских писателей, влияние которых на свои народы и общественное мнение необычайно велико».

С. Кьюниц: «Мы приехали сюда как противники ужасающего наращивания ядерного вооружения, которое ставит под угрозу жизнь людей на нашей планете».

М. Слуцкис: «Иногда и впрямь начинает казаться, что техническая мощь мира намного сильнее его разума, способного взять эту мощь под контроль. По счастью, это не так, хотя здесь у нас много разочарований, негативного опыта».

И. Нонешвили: «Мы должны возродить надежду и беречь ее, как хрупкий побег молодого деревца,— его мы сбережем от ветра, мороза и зноя, и в будущем оно нам даст тень и прохладу.

Главная наша надежда на то, что человек разумен. Но разум должно проявить и человечество в целом».

Ф. Грей: «Мы искренне надеемся, что талантливые люди могут спасти нашу цивилизацию».

Мысль, которая стала стержнем состоявшейся в Батуми дискуссии, облек, как мне кажется, в строгие и выразительные слова *Григорий Бакланов:*

«И мир будет жить, и культура будет жить, если мы не бросим своих усилий — и каждый в отдельности, и все мы вместе».

Собравшиеся за «круглым столом» в Батуми понимали: в существе того, что делает писатель, вызывающий к жизни свое творение, скрыта уникальная возможность влиять на души людей, формировать их мысли и чувства. И о чем бы ни шла речь — о том ли, что нам нужно сберечь человечность, стать на защиту нравственности, морали (Г. Абашидзе, Д. Гранин, Ф. Грей, С. Кьюниц, Н. Казинс, Ф. Кузнецов, И. Нонешвили, Н. Федоренко); или о способности литературы отражать любые сферы жизни (В. Солоухин, У. Дж. Смит); о парадоксах НТР (М. Слуцкис); или о том, развиваются ли литература и НТР на параллельных путях (Д. Кугультинов, А. Межиров); о том, как использовать НТР в интересах культурного обмена (Д. Кугультинов, Я. Засурский, В. Коротич); о конкретных делах, которые ведут к лучшему взаимопониманию (В. Данхем, Я. Засурский, И. Зорина, В. Коротич, Ф. Старр); или о значении обмена мнениями, подобного тому, что происходит на советско-американских писательских встречах (Г. Бакланов, С. Кьюниц, Г. Солсбери, А. Межиров, М. Слуцкис и другие),— они помнили об этом. Участники встречи, по большей части оставляя за пределами обсуждения вопросы изменения форм искусства, судьбы жанров в эпоху НТР и даже художественного мастерства, с настойчивостью возвращались к размышлениям о смысле труда художника слова. Сколь ни велика техническая мощь века, писатель все так же уединенно склоняется над чистым листом бумаги, зовущим к чистой совести.

Ответ Уильяма Стайрона

Обсуждая вопрос о том, что может совершить литература и что по силам писателю в наш век, участники дискуссии не могли не обратить этот вопрос и к себе самим.

Как обратил к себе этот вопрос Уильям Стайрон, участник встреч в Москве и Нью-Йорке. Делясь мыслями о произведении, над которым работал, он рассказал о том удивительном и таинственном моменте, когда что-то произошло в нем, и он понял, что обязан написать о юной польке, пережившей Освенцим и после войны оказавшейся в США. А между тем писателя одолевали сомнения: может ли литература воссоздать столь страшное прошлое, имеет ли она право касаться его, не осквернит ли трагического величия страданий, выпавших на долю людей?

Эта проблема не давала покоя. И в исповедальной линии романа «Софи делает выбор» — одной из многих в этом сложно выстроенном произведении — она находит свое разрешение лишь где-то к середине книги, в девятой главе. Писатель горячо возражает критику Джорджу Стейнеру, в чьих эссе «Язык и молчание», вышедших в 1967 году, говорилось о риске впасть в тривиальность, связанном с освещением литературой таких тем, как фашизм, насилие, человеческая несправедливость. Стайрон одновременно разделяет сомнения Стейнера и отвергает их: «...И все же я не могу разделить предположения Стейнера, что молчание в данном случае является ответом, что самое лучшее, как он выразился, «не добавлять литературной тривиальности, разного рода социологических рассуждений к тому, что невозможно выразить словами» [1].

Ответом писателя, участника второй мировой войны, стал его роман «Софи делает выбор» — книга глубоко выстраданная, личная, обращенная к людям с надеждой, что они поймут необходимость извлечь уроки из горького прошлого.

[1] W. Styron. Sophie's Choice, N. Y., Random Hause, 1979, p. 218.

Когда люди заняты общим делом

Да, продолжая обсуждать вопрос о том, что может свершить литература, что по силам писателю в эпоху НТР, участники дискуссии должны были обратить этот вопрос к себе самим. Ведь можно сто раз сказать слово «разрядка», но, если оно не будет подкреплено конкретным делом, оно так и останется пустым словом.

И когда на одно из заседаний в Нью-Йорке Н. Казинс принес семь книг советских писателей, а У. Дж. Смит подарил нам замечательную книгу своих переводов — «Телефон» К. Чуковского,— которые недавно были изданы в США, это, думается, было дело, конкретное дело, которое пытаются делать американцы. И когда в маленьком особняке на Пятницкой, в «Иностранной литературе» собирается редакционная коллегия, чтобы обсудить вопрос о том, что представить на суд советскому читателю, какие, к примеру, произведения современной американской литературы опубликовать на своих страницах, думается, это тоже дело, которое работает на разрядку. Причем здесь, в стенах редакции, накапливается практический опыт сотрудничества между писателями разных стран. Нередко это происходит за небольшим журнальным столом — за ним идет творческая беседа сотрудников редакции со своими зарубежными гостями. В эти часы живого общения, когда люди заняты общим делом, и возникает понимание...

Читатель знает: результаты беседы — будь то новое произведение гостя или рассказ о его визите, о новых книгах, новом явлении в литературной жизни,— публикуются на страницах журнала. Так этот небольшой стол, за которым, можно сказать, сидели едва ли не все крупнейшие писатели мира, словно бы выносится за пределы редакции, к нему приглашаются многие тысячи людей. Кстати, материал для двухтомника переписки советских и американских литераторов, мысль об издании которого высказал однажды Фредерик Старр, мог бы без труда быть собран здесь, в этом доме.

Конечно, делать это дело, налаживать международное общение сложно,— у каждой из сторон своя специфика, и при ближайшем рассмотрении многое оказывается не таким простым. Об этом нельзя было не подумать во время выступления Я. Засурского, когда он рассказывал собравшимся о том, как в Советском Союзе идет работа над 45-томной библиотекой американской литературы (предложение об издании параллельных библиотек — американской литературы в СССР и советской в США — было внесено еще на первой встрече). Я. Засурский отметил, что ответной реакции американской стороны до сих пор, к сожалению, не последовало, и мы пока действуем без взаимности.

Озабоченность по этому поводу прозвучала в выступлениях Н. Казинса, Ф. Старра, Г. Солсбери. Последний, в частности, сказал: «Думаю, что от имени всех своих американских коллег могу выразить глубокое сожаление и даже чувство стыда в связи с тем, что так мало замечательных произведений советских авторов доступно читающей публике в США... От лица всех своих коллег я выражаю свое уважение и свое восхищение советской издательской программой публикации произведений писателей США... К сожалению, мы не в силах исправить положение в этом вопросе в течение ближайшего времени. Многие из нас проявляли инициативу. Ряд критиков, поэтов, романистов пытались направить ход событий по нужному руслу; они обращались к отдельным издателям в связи с отдельными произведениями советских авторов... Я понимаю, это мизерно мало по сравнению с возможностями и потенциалом, которыми обладает Союз писателей СССР, и влиянием, которым пользуются наши советские коллеги...»

Можно было бы ограничиться риторическим: «Нужны ли комментарии?» Однако удержаться от комментария трудно, слишком часто говорят и пишут в Америке о свободе их издательского дела, о свободе творчества, слишком часто говорят и пишут о разного рода регламентациях, якобы имеющих место в этой области у нас в стране,— отголоски этого были иногда слышны и во время дискуссий; к примеру — в Нью-Йорке, когда американцы на том основании, что у нас нет частных издательств, представляли дело таким образом, будто все издательства в СССР принадлежат правительству, а это автоматически предполагает вмешательство государства в их дела; слышны они были и в Батуми. Но, очевидно, критерием истины и здесь должна быть сама практика... в данном случае практика книгоиздания...

Кстати — в ряде выступлений советских и американских ораторов был затронут вопрос о том, в каких взаимоотношениях находятся писатели с государственными установлениями. Но обо всем этом несколько позже. Сейчас же вернемся к основной теме обсуждения.

Что есть цель и что средство

Помнится, еще на московской встрече Уильям Стайрон, касаясь новейших средств массовой информации — этого детища XX века, говорил об опасности распространения в США низкопробного искусства, которая в особенности угрожает молодежи.

Фрэнсин Грей — ее взволнованное выступление вызвало ответную реакцию у собравшихся — взглянула на проблему с иной стороны, с точки зрения американского писателя, которого «поглощают» новейшие средства массовой информации.

Тема обсуждения, призналась Ф. Грей, ей особенно близка: Ф. Грей приходилось работать на телевидении, а будучи политическим корреспондентом газеты «Нью-Йорк таймс», она должна была задумываться о влиянии века ядерной техники на художников слова. Ф. Грей не скрывала пессимистичности своего взгляда, когда говорила о том, что американская пресса, радио, телевидение (Ф. Грей употребила здесь сленговое выражение: «ящик для идиотов») вынуждают писателя стать «коммерческой вещью в системе других товаров, чтобы лучше продать свои книжки,

свое мастерство». По ее мнению, настоящий писатель, чтобы сберечь творческую энергию, «должен иметь в себе силы сказать «нет» этим средствам массовой информации».

Взявший слово после американской романистки Даниил Гранин (тема обсуждения также близка ему, он неоднократно думал о ней и сталкивался с ней в своем творчестве) отметил, что он будет исходить из известного ему опыта советской литературы, «которая тоже переживает ряд сложностей в эту эпоху». Ограничив себя рассмотрением роли литературы («Для чего мы пишем? Чего ради мучаемся, страдаем, завидуем, ищем единственное слово, отказываем себе в радостях, прикован себя к столу, точно галерники?»), Д. Гранин вместе с тем коснулся издержек научно-технической революции, которые ведут, например, к тому, что «механизированное производство стремится превратить человека в функцию». (Это же, кстати, отмечал потом и Норман Казинс, говоря о «деперсонализации личности», связанной с тем, что несет с собой «суверенитет механического интеллекта»). Однако в противоположность капиталистическому предприятию, подчеркнул Д. Гранин, для которого такой работник самый выгодный, НТР в социалистическом обществе, при всех сложностях, какие она несет с собой, остается «не целью, а средством. Средством развития личности, реализации личности — гармонической, социально активной, стремящейся раскрыть себя». Советский писатель подчеркнул, что «научно-технический прогресс придает новый, еще никогда не бывший смысл существованию художника в нашем мире. Художника-борца, художника, обличающего социальное зло, ищущего идеал и защищающего те ценности, которые составляют радость короткой человеческой жизни».

Так был поставлен немаловажный вопрос о том, что здесь есть цель и что средство. И если его не ставить, можно с легкостью оказаться среди тех, кто ругает цивилизацию, технический прогресс как таковые, видя именно в них угрозу духовным ценностям, человечности. Ибо на первый взгляд они не столь уж неправы — действительно существует, скажем, опасность поглощения человека «материальными» интересами, разрушения его личности средствами так называемого массового искусства, не говоря уже об угрозе среде обитания и термоядерной катастрофы.

Развивая мысли, высказанные Ф. Грей и Д. Граниным, советские участники встречи стремились обнажать социальные причины явления, показать, как проявляется НТР в различных исторических обстоятельствах, в различных общественных условиях.

И если Ф. Грей, С. Кьюниц, У. Дж. Смит сосредоточили внимание на условиях существования писателя в «постиндустриальном обществе», то многие советские литераторы делали акцент прежде всего на гуманистической ориентации литературы как необходимом условии ее жизнедеятельности в век НТР.

Они шли от того, что должно быть свойственно литературе, которая призвана пробуждать добрые чувства в человеке, человеке-созидателе, друге природы, борце за высокие истины века. Советские писатели решительно выступали против того, что мешает этой миссии художника слова, что приспосабливает его к служению корысти, выгоде, потребительству. Вместе с Ф. Грей они призывали сказать «нет» распространению всякого рода суррогатов культуры, которые известная категория читателей не только не отвергает — больше того, требует. Но в противоположность американской писательнице они призывали не бороться с НТР, не предавать ее проклятиям, а умело использовать, в частности, «находить пути для сотрудничества (В. Коротич) с новейшими средствами массовой информации, для пропаганды высоких гуманистических ценностей.

«Я не думаю,— сказал Н. Федоренко в этой связи,— что кто-нибудь будет возражать против научно-технического и социального прогресса. В основном речь шла об издержках, которые неизбежно сопутствуют процессу развития человечества. Мы озабочены тем, чтобы нас не сбило с правильного пути, чтобы все это вмещалось в русло исторического развития культуры и индустриализации».

И вот что интересно: во время дискуссии несколько раз отмечалось, что мироощущение советских участников встречи,— хотя они обращались к проблемам сложным, говорили о вещах серьезных, нередко внушающих тревогу,— окрашено в более оптимистические тона. Не потому ли, что мы при всех наших недочетах, промахах обладаем бо́льшими возможностями для преодоления несовершенств жизни, для использования достижений НТР в интересах людей?.. И когда Ф. Кузнецов, возражая Ф. Грей, подчеркнул, что «главный вопрос — кому и чему служит НТР: социальному и общественному прогрессу, интересам человека и человечности или же — социальной реакции, всепоглощающему и всеразрушающему духу наживы и частной собственности»,— он в конечном счете имел в виду и это.

Ф. Грей усмотрела в позиции советских участников встречи проявления исторически сложившейся традиции «обожествления государственности». Обращаясь к прецедентам, которые, по ее мнению, имели место в прошлом, она не принимала во внимание то принципиально новое, что есть в самой социальной природе Советского государства. Причем Ф. Грей, С. Кьюниц, Н. Казинс поставили меру гражданственности позиции писателя, степень его духовности в зависимость от его способности сказать «нет» государству,— в «этом подчас долг тех, кто владеет пером». Во всем этом нельзя было не уловить мысли о том, что американские писатели могут критиковать свое правительство и государство, а советские, дескать, с их «традициями» «более консервативны в политическом и философском плане» — если употребить вы-

---

И. ЗОРИНА
МОМЕНТ ПОСТИЖЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ражение Н. Казинса из его статьи, посвященной встрече в Батуми.

Круг обсуждаемых вопросов замкнулся, когда С. Кьюниц связал проблему отношения к государству с проблемой свободы творчества. Он подчеркнул, что, будучи лояльными гражданами своей страны, американские писатели «не испрашивают у государства одобрения на свои публикации».

Что хочется сказать по этому поводу прежде всего? Можно, конечно, спорить, какие общественные принципы развиваются в том или ином современном государстве, но люди, обладающие марксистским мировоззрением, никогда не забывают при этом о классовой сути явления — пусть даже в сфере художественного творчества. Так было и во время дискуссии в Батуми.

Но сначала небольшое отступление.

Воспоминание

Нью-Йорк, «Сенчури клаб». За массивными дверями этого респектабельного клуба осталось декабрьское ненастье. Одна из комнат второго этажа: высокие потолки — и книги, книги до самого верха. Кто-то пояснил: «Именно здесь бывали Твен и Хемингуэй». Несколько советских литераторов — каждый из них в силу разных причин оказался в те дни в Нью-Йорке — гости редактората журнала «Сатердей ревью». Речь, в частности, идет о писательских контактах двух стран: опыт московской встречи уже позади.

Беседа неторопliва и обстоятельна. И появляется ощущение, что надежда на добрососедство не так уж хрупка.

«Пью за советские и американские ракеты, которые уничтожат нас дотла»,— тонкая женская рука с бокалом словно бы в немом вопросе задержалась в воздухе. «Никто не хочет выпить со мной?» — в голосе чуть ли не слезы. Рука с полным бокалом опускается на стол.

Мелькает мысль: «Что это? Опасения, будто наша страна тоже стремится к мировому господству, которые уж не раз можно было здесь слышать?..».

В дни общения с американскими коллегами, во время встреч в Москве, Нью-Йорке, Батуми бывали споры, когда каждый с упорством отстаивал свою точку зрения, было удовлетворение от достигнутого, и, конечно же, звучало немало прекрасных тостов — их произносили художники слова, известные далеко за пределами своих стран. Но почему-то запомнились слова этой женщины, которую «Сатердей ревью» на правах хозяина сделал моим гидом по большому миру Нью-Йорка. Поначалу наши беседы с ней носили сравнительно отвлеченный характер и касались, к примеру, весьма своеобразной темы: «Сад в жизни писателя». Кажется, так должна была называться антология, которую она в то время составляла.

И вот аллегорический сад взорвался, и тост моей спутницы вверг нас в самую гущу страстей. Для советского литератора в этом тосте содержалось как бы приглашение к спору — и может быть, была своя закономерность в том, что он снова возник, вернее, получил продолжение за другим столом, в Батуми.

В чем заинтересована истина

В выступлениях некоторых американцев получила продолжение мысль, которая напоминала мнение, высказанное в полном боли и вызова тосте их соотечественницы. Но, как показалось, тут не было злонамеренности. Скорее напротив — ведь говорили о сокровенном, о предназначении художника слова в этом мире. Стэнли Кьюниц предложил даже передать бразды правления в обществе поэтам и прозаикам. «Трудно вообразить, что бы из этого вышло! — шутливо парировал Солоухин. — Хорошо еще, если б власть попала поэту, который рождается раз в сто лет. А то окажется стихоплет вместо поэта, здесь-то все и начнется!..».

Но шутки в сторону. Советские литераторы постарались уяснить, отчего их американские оппоненты склонны усматривать в институтах власти некую силу, которая во все времена противостоит поэту и человеку,— не исходят ли они в первую очередь из опыта своей страны?

Ф. Кузнецов: «Нет сомнения, что наши взгляды на наше государство отличаются от ваших взглядов на ваше государство. Та завербованность антигосударственными идеями, которая слышится у вас, вызывает у нас понимание и глубокую симпатию».

Я. Засурский: «Мы не считаем, что государство неизменяемо как институт. И в этой связи, мне кажется, проявляется и наше различное понимание роли писателя по отношению к государству. Маяковский, например, был искренним врагом государства царского, но о Советском государстве он говорил как о своем».

Побудительные мотивы гнева, направленного против ракетного оружия, несущего людям смерть, можно понять. Однако, сколь благородны они бы ни были, абстрактная постановка вопроса, лишенная анализа существа явления, в конечном счете к благородной цели не ведет. Напротив, говорить о советских и американских ракетах со знаком равенства — значит реабилитировать поджигателей войны. Истина, которая должна быть установлена, не заинтересована в этом уравнивании, ибо здесь говорится о государствах, разных по своей классовой сути.

В чем же заинтересована истина? Кому и чему, с учетом исторических обстоятельств, должен, на наш взгляд, сказать «нет» честный художник слова?

Для советских литераторов естественно отношение к первому в мире социалистическому государству как к своему, как к государству, призванному стоять на страже народных интересов и по самой своей природе являющемуся хранителем мира на земле. Конечно, наша демократия — это демократия нового общества, прокладывающего неизведанные дотоле пути, она непрерывно совершенствуется; однако мы твердо знаем: наша демократия служит трудовому народу, а не эксплуататорским классам. А что касается крити-

ки наших недостатков, то, как отметил Я. Засурский во время дискуссии, «несправедливо было бы думать, что советские писатели не сбращаются к своему правительству с критическими замечаниями. Иногда они выступают очень остро, и наше правительство к этому всегда прислушивается»...

Для американских литераторов, напротив, естествен глубочайший антагонизм, существующий между понятиями «поэт» и «власть»,— они настаивали на нем. Естествен, поскольку речь идет о поэте, который руководствуется своей совестью, своей гражданской убежденностью, поскольку речь идет о таком государстве, как Соединенные Штаты Америки, которое выражает интересы совершенно определенных классов и сил.

Теперь несколько слов по поводу работы наших издательств. Как ни странно может показаться, но от американских писателей действительно нередко приходилось слышать утверждения, будто советское правительство (в силу того, что ему якобы принадлежат все издательства) вмешивается в издательские дела. А одна студентка в Стэнфордском университете, не удовлетворенная ответом советского гостя на вопрос о том, кто на самом деле решает в Советском Союзе, что рекомендовать для печати, даже спросила: «А Политбюро? Разве не оно участвует в этих делах?» И приходилось объяснять, что ряд издательств у нас принадлежит общественным организациям и они подотчетны соответственно Союзу писателей, Академии наук, молодежным организациям. Если же издательство находится на государственном бюджете (например, издательство «Художественная литература»), то возглавляют это дело, как и в других случаях, редколлегии, состоящие из известных писателей, ученых — достаточно раскрыть книгу и посмотреть на оборотную сторону титульного листа. Причем решения принимаются коллегиально.

Завершая разговор по этому кругу вопросов, позволю себе вернуться к проблеме духовных ценностей в век НТР. Как подчеркивали некоторые участники дискуссии, сегодня, когда на Западе все упорнее говорят о кризисе духовных ценностей, когда все настойчивее встает вопрос о «необходимости наполнить НТР нравственным содержанием» (Д. Гранин), эта проблема настолько важна, что стоит ее обсудить особо. И было высказано предложение посвятить ближайшую встречу писателей обсуждению концепции духовных ценностей в американской и советской литературе, а следовательно, в американском и советском обществе.

Единодушие, проявленное в вопросе о защите духовных ценностей, о готовности отстаивать мир,— при всех разногласиях, которые имели место на встрече,— делали нас если не единомышленниками, то сподвижниками по общему делу. Однако, как мог увидеть читатель, разногласия были, и на них нельзя закрывать глаза.

Когда в споре рождается истина

Как были свои разногласия и во время совместной работы большого творческого коллектива советских и американских кинематографистов над знаменитой киноэпопеей «Великая Отечественная»,— обращаюсь к этому примеру потому, что среди участников нашей встречи был один из авторов сценария фильма. Я говорю о Гарисоне Солсбери, известном американском публицисте. Можно предположить, что он не мог не оценить тот интерес, который в период нашего пребывания в Грузии не раз проявляли к нему в связи с выходом фильма самые разные люди.

Этот уникальный фильм рождался в трудном споре. Как писал позже С. Ростоцкий, «на американцев давили некоторые устоявшиеся в западной историографии шаблоны... В спорах возникали и давно отжившие антисоветские стереотипы». Главный режиссер и художественный руководитель фильма Роман Кармен признавался, что спорили много и часто, порой до хрипоты. Но «когда за стол творческого обсуждения садятся не для конфронтации, а для того, чтобы сообща прийти к цели, когда речь идет о подлинном искусстве, тогда реализм побеждает...»— говорил он.

И вот результат. Двадцатисерийный фильм стал «двадцатью часами немыслимой правды о войне на полях России» (Р. Кармен); он стал документом огромной силы, объяснив людям, почему советский народ считает себя ответственным за мир на земле. А если посмотреть на дело словно бы изнутри — глазами создателей фильма,— фильм этот в известной степени стал примером того, как можно добраться до истины в споре.

Однажды Г. Солсбери в личной беседе с автором данной статьи заметил, что создание фильма — «очень редкий пример успешного сотрудничества». Эта реплика, разумеется, обнадеживала. Однако Солсбери сказал, что счел необходимым найти способ продолжить спор, возникший во время работы над фильмом, и выпустил фотодокументальную книгу «Неизвестная война» (как знает читатель, под таким названием фильм «Великая Отечественная» шел в США), в книге был утвержден, по словам Солсбери, «западный взгляд» по ряду моментов. «Моя точка зрения,— сказал он,— отличается от советской. Причем различия легко установить. Но мне кажется, что гораздо важнее было сделать общим достоянием факты, которые мы не должны предавать забвению,— ведь американцы зачастую даже не знают, что была война, что мы были в ней союзниками, что Россия понесла огромные жертвы ради победы».

Судя по тому, в каком виде фильм вышел на экраны, мы вправе предположить, что американцы, во всяком случае большинство из них, были согласны с главным направлением фильма, что Солсбери в своей «западной» позиции не был полностью

И. ЗОРИНА
МОМЕНТ ПОСТИЖЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

поддержан ими, и этой книгой, очевидно, стремился дать понять, что остался при своем мнении. Можно допустить, что есть взгляды, предполагающие если не согласие, то понимание, даже при том, что ты их не разделяешь. Тем более если это взгляды человека, который, будучи у нас в стране военным корреспондентом, своими глазами видел многое из того, о чем пишет.

Но вот берешь в руки книгу «Неизвестная война» и с первого же мгновения чувствуешь себя по меньшей мере озадаченным: на обложке словно на правах равенства соседствуют изображения золотой пятиконечной звезды и железного креста с фашистской свастикой. Дальше — больше. Сам вид обложки, которая тебя насторожила, прямо соответствует содержанию книги.

Категорического несогласия не может не вызвать у тебя, скажем, оценка советско-германского пакта о ненападении 1939 года — ибо полностью игнорируются, например, условия изоляции, в которые политика западных держав поставила Советский Союз; или анализ причин начала войны — создается впечатление, будто наша страна едва ли не сама против себя войну спровоцировала, и т. п.

Это достигается с помощью давно уже имеющей хождение на Западе методологии: причинно-следственная связь обычно нарушается, в поле зрения выносятся лишь следствия, причины отсутствуют; таким образом, явления рассматриваются вне исторического контекста и главенствующую роль приобретает «правда» изолированно взятого факта. С помощью такого «факта» можно исказить правду еще больше, чем с помощью вымысла. При условии, что читатель недостаточно осведомлен о действительном ходе событий (как в данном случае), «концепция» может показаться убедительной.

Но этого мало. Начиная с обложки и особого расположения фотодокументального материала, жертвы гитлеровской агрессии и гитлеровцы, радующиеся своим победам в начале войны, жертвы, понесенные нашей страной, и «жертвы» разгромленной гитлеровской армии даются параллельно. Словом, жертвы зла и его носители как бы уравниваются. Такое не укладывается в голове, тем более что делает это человек, который прошел по городам и селам, разрушенным фашистскими захватчиками, видел, как дрался наш народ, его самоотверженность. И трудно отделаться от мысли, что в те годы Г. Солсбери вряд ли приходило на ум в какой-либо форме отождествлять противостоящие друг другу стороны, игнорируя справедливость и несправедливость целей, что преследовали в войне каждая из них. Даже любопытно было бы проверить это по корреспонденциям Г. Солсбери тех лет. Их автору могло, разумеется, что-то у нас в стране не нравиться, а что-то нет, но само предположение о возможности появления корреспонденции с наших фронтов, где таким образом были бы смещены акценты, кажется просто немыслимым.

Конечно, можно допустить, что Г. Солсбери хотел подчеркнуть бесчеловечность войны, как таковой. Но в общем контексте книги, с характерным для нее нарушением исторической правды, это выглядит неубедительно. И вновь трудно отделаться от мысли, что Г. Солсбери, вероятно, и не заметил, как то, что входило составной частью в его мировоззрение в годы войны, уступило место чему-то такому, что порождено силами, к военному братству и благородным целям антифашистской борьбы не имеющими никакого отношения.

Между тем, как нам показалось, в выступлении за «круглым» батумским столом Г. Солсбери вдруг заспорил с самим собой, в нем «проглянул» словно бы товарищ по оружию военных лет. Так было, когда он отдал дань памяти недавно умершего Константина Симонова, которого знал в годы войны. Но нельзя не вспомнить, что не кто иной, как К. Симонов, спорил с «новым» Солсбери по вопросу о том, «чем была та война», которую вела наша страна против фашизма, и «как, кем и почему она была выиграна» [1]. Подчеркивая прямую противоположность своих идейных позиций позициям критика из-за океана, советский писатель спокойно и убедительно показал несостоятельность концепции оппонента, согласно которой наша страна, наш народ одолели фашистское нашествие вопреки советской власти, политике Коммунистической партии.

Вместе с тем Солсбери, выступая в Батуми и говоря о значении завязавшегося между советскими и американскими писателями диалога, отмечал, что установление доброжелательных отношений, несмотря на имеющуюся разницу во взглядах, может помочь нам «прийти к чему-то такому, что в известной степени хотелось бы сравнить с тем временем, когда две великих страны стояли друг к другу так близко, как никогда ранее».

Да, в проведении политики мирного сосуществования, к которой взывает наша страна, в непростом диалоге с Западом, который мы стремимся вести сегодня, очевидно, следует использовать опыт сотрудничества, накопленный в годы войны,— его зримым результатом, как известно, было создание антигитлеровской коалиции.

Могут спросить: а есть ли смысл в данный момент, на этих страницах столь подробно останавливаться на том, что можно условно назвать «проблемой одного американского литератора»? Отвечу: на этом примере, пусть не столь уж типичном, а возможно, именно в силу его весьма своеобразной нетипичности стоит попытаться ярче высветить еще одну из проблем — важнейших в наши дни,— которая прямо или косвенно возникала в течение всего времени, пока длилась дискуссия: диалог, сама возможность диалога,— уж очень разные, если не сказать диаметрально противоположные, позиции занимали нередко советские и американские писатели, собравшиеся за одним столом.

---

[1] См. статью К. Симонова «Вопреки здравому смыслу» по поводу рецензии Г. Солсбери на книгу «Живые и мертвые», вышедшую в США («ИЛ» № 6 за 1963 год).

учиться диалогу

Изречение о пользе спора участвует в названии предыдущей главки. Меж тем не идут из ума грустно-иронические и по-житейски верные слова Александра Межирова, который высказал в том сомнение: «Она бы, может быть, на миг возникла в споре. Но, к сожалению, спорящие озабочены личным торжеством чаще всего, а не истиной».

В ответ горячо запротестовал Давид Кугультинов: «На Востоке говорят — друг спорит, враг поддакивает. Но не следует спорить, когда в спорящем горит огонек своекорыстия...» Не это ли имел в виду и Межиров — он привел слова Пушкина: «Нет убедительности в поношениях и нет истины, где нет любви», особо оценив «умение видеть собеседника насквозь и притом желать ему добра».

Как нетрудно было заметить, мысль «о необходимости гармонических отношений между людьми и народами» (Г. Бакланов) явно или подспудно жила в сознании советских и американских литераторов, в той или иной мере оказывая влияние на самый ход дискуссий в Москве, Нью-Йорке, Батуми, нередко помогая стать выше сиюминутных осложнений. И не было неожиданности в том, что эта мысль с особой силой воспряла в дни пребывания в Грузии,— накопленный опыт общения был тому причиной. Ведь о чем бы ни шла речь, в конце концов говорили об одном: сегодня, когда перед человечеством стоят задачи, жизненно важные для судеб мира, когда неумение решать их — гибельно, люди должны настойчиво искать язык общения.

И, задаваясь вопросами: «Стал ли человек лучше понимать другого человека в эпоху новой техники?» (Н. Казинс), «Стал ли человек счастливей с развитием науки и техники?» (И. Нонешвили),— участники дискуссии были озабочены поисками наиболее верных путей сотрудничества, «которое было бы обращено на службу взаимным интересам наших народов в сложной международной обстановке» (Н. Федоренко).

...Листаю дальше свои записи: кто-то из участников дискуссии сказал об этом лаконично и емко. Пожалуй, этот лаконизм и эта емкость есть в словах Ф. Кузнецова, который, имея в виду советско-американский писательский обмен мнениями, с жаром произнес: «Будем учиться этому небывалому в человеческой истории диалогу, уважая суверенитет друг друга, и совместными усилиями искать пути к социальной истине XX века».

Встреча третья.
Степень ответственности

Как однажды было замечено в дни пребывания в Батуми, горы словно бы олицетворяют перспективы времени: если ты отдаляешься от них, перед тобой открываются новые вершины.

И сейчас, думая о том главном, что было добыто за нашим «круглым столом», приходишь к выводу: живое человеческое общение, которое возникло во время дискуссии, во время совместной поездки по стране, когда официальный церемониал отступал и шел откровенный разговор, появлялся интерес к творчеству друг друга,— все это вело к лучшему взаимопониманию.

Конечно, каждая дискуссия предполагает несовпадение точек зрения. Но если дискуссия ставит своей целью лучшее взаимопонимание, то столкновение мнений, спор к этой цели приближают.

Подводя итоги состоявшемуся диалогу, сопредседатели встречи, как в ходе самой дискуссии, так и в статьях, опубликованных ими позднее, недвусмысленно высказались по поводу ее результатов.

Н. Казинс: «Разумеется, в конечном счете литературные отношения между обеими странами обусловлены политическими реальностями. Вместе с тем встречи писателей могут способствовать оздоровлению общей атмосферы. А более широкий обмен книгами является эффективным средством устранения недопонимания между обществами... Батумская встреча завершилась единодушным признанием, что, как и предыдущие, она послужила стимулирующей и полезной цели и что литературный диалог следует расширять». *(Из статьи в «Сатердей ревью» от 24 ноября 1979 г.)*

Н. Федоренко: «Едва ли есть особая необходимость доказывать: мирное сосуществование — единственная разумная альтернатива термоядерной войне... Этим определяется подход советских и американских литераторов к культурному сотрудничеству. Мы считаем актуальным продолжение писательского диалога в любом случае, тем более в условиях обострения и осложнения международных отношений». *(Из статьи в «Литературной газете» от 16 апреля 1980 г.)*

Да, мы не можем не испытывать сегодня тревоги и огорчения по поводу того, что все, с таким трудом обретенное для налаживания сотрудничества между нашими странами, вновь ставится под угрозу противниками разрядки. И мы не можем в этой связи недооценивать значения активной жизненной позиции художника слова, сознающего степень своей ответственности.

◆

Заметки писателя

Слово «поэзия» неоднозначно: есть поэзия, которая выражается не только стихами, но и всеми другими видами искусств и черпается из самой жизни. Какими путями приходит она к поэту, должен ли он отдавать себе отчет в том, почему обращается к той или иной стихотворной форме? Об этом размышляет видный чешский поэт, знаток и переводчик советской поэзии Иржи Тауфер в выступлении на симпозиуме, посвященном поэзии, в Добржише,— мы предлагаем его вниманию читателей в несколько сокращенном виде.

Мы попросили советского поэта Давида Самойлова, который знает и любит произведения Иржи Тауфера, откликнуться на это выступление и также поделиться с нашим читателем мыслями о том, что же есть поэзия.

ИРЖИ ТАУФЕР

ЧТО ЕСТЬ ПОЭЗИЯ?

Я согласен со словами Неймана, сказанными более шестидесяти лет назад, о том, что «все хорошие поэты были теоретиками» и что переоценка божьего дара и недооценка серьезного теоретического интереса поэта к ремеслу — глубокое заблуждение и зло. Эту точку зрения разделял и Незвал. Он всю жизнь занимался теорией поэзии и искусства. И хотя исходил из своего личного понимания поэтического творчества, его выводы приобрели общезначимый характер. Однажды Незвал сказал, что не может понять поэта, утверждающего, будто он не в состоянии объяснить, как он создает поэзию и что о ней думает.

Настоящий поэт никогда не был «птичкой божией», и сегодня так воспринимать его могут только люди очень далекие от искусства.

Я с давнего времени люблю читать письма больших художников, наших и зарубежных,— живописцев, прозаиков, поэтов и музыкантов. В этих обширных и редкостных по ценности хранилищах мыслей о ремесле собраны наблюдения, которые во многом превосходят любые выкладки чистого теоретика. В чем тут дело? Видимо, в том, что в этих письмах анализу всегда предшествуют радости и разочарования художника, опыт его борьбы за освоение действительности и возвышение ее до художественного произведения. В них мы найдем множество мудрых советов, предостережений и, наконец, много удивительно ярких высказываний. Например, у Флобера: «Талант — это огромное терпение, а оригинальность — это воля, упорство и напряженное внимание».

ИРЖИ ТАУФЕР — JIŘI TAUFER (род. в 1911 г.).

Чешский поэт и общественный деятель, народный художник, лауреат Государственной премии ЧССР. Автор многих книг стихов, в том числе: «Вечерние глаза» («Večerní oči», 1928), «До свидания, СССР» («Na shledanou. СССР», 1935), «Рентгенограммы» («Rentgenogramy», 1938), «Сонет» («Znělec», 1961), «Годичные кольца» («Letokruhy», 1972), «Продолжение следует» («Pokračování přiště», 1979) и др. Переводил многие произведения В. Маяковского, выпустил книгу о нем и продолжает работать над изданием собрания сочинений поэта на чешском языке. Переводил стихи Хлебникова и других советских поэтов.

На русский язык переведена поэма И. Тауфера «Тема — память», поэтический сборник «Летопись», избранные «Стихи».

Публикуемое выступление И. Тауфера было напечатано в еженедельнике «Творба» (май, 1979).

Поэта характеризует не только его творчество, но и его привязанности в искусстве, симпатии и антипатии: почему он любит поэтов определенного типа и характера и что существенно близко ему в поэтах самых разных. С того момента, когда возникло первое стихотворение, которое, может быть, не было ни записано, ни даже произнесено вслух, а лишь почувствовано растревоженной душой, с того момента и до нашего дня поэзии — это стремление к познанию человека, правда, к познанию особого рода.

В докладе «Путь литературы к народу», с которым Незвал выступил на первом съезде чешских писателей (1946), говорилось, что не может быть более роковой ошибки, чем наметить «для поэтов некий общий художественный план... У каждого из них свой инструмент с особым резонансом, иначе настроенный, чем у других. Каждый из них на свой лад представляет себе дисциплину и свободу. У каждого — лишь ему присущие ритм движения и средства выразительности. И все они по-разному выразят наши сокровенные мечты, наше стремление к счастью...»

Незвал сказал: «Трудно представить себе заранее план художественного произведения. Далеко не всегда он осуществим, а порой становится даже тормозящим фактором. Мысли, образы, ситуации, сцены рождаются только в процессе творчества, в сложном процессе, который не всегда поддается точному анализу. Мысль рождается из мысли, образ из образа, ситуация из ситуации... Поэтическое произведение создается не в результате некоей специально поставленной задачи. Оно рождается, как рождаются в природе живые организмы. Самая малость может подорвать это начавшееся созревание, самая малость может его ускорить...»

Поэзия — совершенно особый вид искусства; она удивительна уже тем, что близка всем видам искусства своей эмоциональностью.

Если бы декламация эпоса (а первоначально вся поэзия создавалась для слушания) не подсказала человеку такую очевидную вещь, как постепенная замена декламирующего солиста-поэта ансамблем действующих лиц, не было бы театра. Десятая муза — кино — и немыслима без поэзии, без ее образности, без ее эмоциональной энергии. Фильмы, в которых нет поэзии,— скверные фильмы. Даже архитектура, со свойственным ей чередованием материи и пространства, света и тени, плоскостей и объемов, содержит в себе нечто от ритмического принципа поэзии.

Ван Гог, великий поэт красок и преобразователь действительности, написал в одном из писем своему брату Тео: «Всюду нас окружает поэзия, однако перенести ее на бумагу так же быстро, как увидеть, к сожалению, нельзя...»

В учебниках словесности литература для ясности делится на поэзию, прозу, драматургию. Но как и в драмах Шекспира, где царствует поэзия, словно стремясь еще раз доказать, что без нее не может быть театра, так не может отказаться от родства с поэзией и роман; от старого эпоса отделилось действие, и эпос, исчезая, на время ограничился эпической поэзией как неким затихающим эхом и разделил свои богатства между двумя наследниками: лиризм передал стихам, а действие — роману. Однако это сказано слишком упрощенно: лирические стихи и роман и, конечно, рассказ и повесть — в лучших произведениях сохраняют, хотя и в несколько измененном виде, все черты своего прародителя.

Из пренебрежения к этим чертам, из подчеркивания независимости прозы и поэзии вновь и вновь возникает множество недоразумений. Стихам присваивается исключительное право на поэтичность, а в прозе якобы не должно быть поэтичности.

В «Творбе» были опубликованы размышления Федора Солдана[1] о прозаизации современной чешской поэзии, размышления серьезные, хотя, на мой взгляд, недостаточно последовательные.

Не противоречит ли прозаизация поэзии ее поэтичности?

Что мы понимаем под прозаизацией? Может быть, форму стихотворения, которая не использует рифм и ритма правильной строфы, когда, отвергнув и то, и другое, поэт избирает принцип ритмической речи, не соответствующий ни одной из многочисленных известных правильных поэтических форм?

Если так, то надо сказать, что процесс расшатывания формы стихотворения происходит уже достаточно долго и вовсе не в ущерб поэтичности.

Еще в начале девяностых годов в работе «Синтетизм в новом искусстве» (1892) Шальда[2] обратил внимание на любопытную особенность развития современной поэзии: «форма начинает распадаться и исчезать», затем «продолжается, растет... точнее говоря, превращается в выразительность, значимость, конкретность... и т. д. Прежний дуализм формы и содержания превращается в идентичность, адекватность Выражения и Сущности», одно и то же «бывает то Выражением, то Сущностью, но всегда Выражение содержится лишь в Сущности, а Сущность только в Выражении». Или: «Выражение — это зримая Сущность, Сущность — интуитивное Выражение».

Через двадцать лет после Шальды вопросом о законности изменения формальных сторон стиха занимался С. К. Нейман. Он пишет, что возникновение свободного стиха шло двумя путями: «Сначала неорганично, из беспредельного индивидуализма, который... в ущерб сознательным усилиям в области формы выражался в случайных проявлениях поэтического дара, полностью предоставленного самому себе. Совершенно иной характер имеет свободный стих, возникший органично, из формальной необходимости, постепенно, ско-

[1] Федор Солдан — современный чешский критик и литературовед. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Франтишек Ксавер Шальда (1867—1937) — чешский литературный критик, писатель. В начале 20-х годов поддерживал пролетарское искусство.

рее расширением, чем расшатыванием старых форм... Это стих неправильный, но вовсе не необузданный. В стремлении к совершенству он подчиняется строгой дисциплине. Такая форма равноценна любому правильному стиху».

Короче говоря, при той же ритмической чистоте независимо от правильности стих тем ценнее, чем меньше в нем слов случайных или «чем он более замкнут, дисциплинирован, точен... Поэтическая мысль диктует здесь свою форму постепенно и только для необходимой выразительности».

Нейман подчеркивает закономерность такого изменения, вызванного стремлением отразить современную жизнь, ее ускоренный темп и прерывистый ритм, ее новые предметы и явления, прежде исключавшиеся из поэзии, ее новые слова, имена и звуки, сливающиеся в некое симфоническое единство, которое уже нельзя втиснуть в правильные формы, не нарушив его цельности и выразительности. Существенная черта такой поэзии — объективизация действительности.

Эта закономерность весьма убедительно доказывается тем, что уже александрийский стих Бодлера, так сказать, прогибался под тяжестью словесной насыщенности, александрийский стих Верхарна распался под ней, и возникла необходимость создать новые поэтические формы на основе неправильного стиха. «Такую необходимость доказала, наконец, и поэзия Уитмена», стих которого, правда, занимает особое место между стихом субъективно расчлененным, то есть правильным, и стихом объективно организованным, неправильным, но не является наиболее свободным, хотя его буйную образность нельзя представить себе втиснутой в правильные формы, где «...она была бы подобна сатиру, облагороженному парикмахером».

Следовательно: вовсе не неправильность стиха, напоминающего прозу, а прозаическая мысль лишает стих поэтичности, разрушает образность, ритмические колебания и дыхание стиха. Прозаическая мысль не имеет ничего общего с прозой, это просто сухое, серое мышление, лишенное красок, тепла, взволнованности. Такая прозаическая мысль губит и прозу.

Приведу три примера из прозы, которые звучат как стихи с неправильным размером, прозу, где движущей силой становится поэтическая мысль.

Первый пример.

Случается иногда,
Что чернь,
Великая бунтовщица,
Восстает даже против высоких принципов,
Против свободы, равенства и братства,
Против избирательного права,
Против верховной власти народа,
Восстает из бездны своего отчаяния,
Своих скорбей,
Разочарований,
Тревог,
Лишений,
Смрада,
Невежества,
Темноты;
Случается, что чернь объявляет войну народу[1].

Второй пример.

Разве мы не знаем,
что наиболее уродливые и отвратительные черты рабства
являются одновременно и причиной и следствием
беззастенчивого самоуправства этих рожденных на свободе
беззаконников?
Разве мы не знаем,
что человек, родившийся и выросший
среди несправедливости рабовладельческой системы,
с детства привыкший видеть, как мужья по слову команды
должны пороть своих жен...
...как грубые надсмотрщики преследуют и мучают их
чуть ли не до самых родов
и как они рожают детей там же, где работают,
под занесенным над ними кнутом;
кто сам читал в детстве и видел,
как его невинные сестры
читали приметы сбежавших мужчин и женщин
и описания их изуродованных тел,
описания, которые публикуются не иначе
как рядом с описью скота на той или иной ферме
или же на выставке животных,—
такой человек при малейшей вспышке гнева
превращается в жестокого дикаря...?[2]

Третий пример.

Поэзия приходит к человеку,
чтобы привести в движение его сложный эмоциональный
духовный механизм,
чтобы с помощью знакомых слов и знакомых представлений
поведать ему неведомое о людях,
чтобы разделить его печаль,
его радость,
его нежность,
его тоску,

[1] Перевод с французского под редакцией С. Рошаль. М., ГИХЛ, 1948.
[2] Чарльз Диккенс. Американские заметки. Перев. Т. Кудрявцевой. Собрание сочинений в 30 томах, т. 9, М., «Художественная литература», 1958.

его страсть,
его мужество,
его ностальгию,
его воспоминания,
его молодость и старость,
чтобы замедлить или ускорить его дыхание,
чтобы слова его родного языка,
если у него есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать,
принесли ему глубокий восторг,
глубокую гармонию
и счастье.

Первый текст взят из 1-й главы 5-й части «Отверженных» Гюго, второй — из заключительной главы острополемической книги Диккенса «Американские заметки» (1842), а третий — это последнее предложение из доклада Незвала «Путь литературы к народу».

Эти примеры — а их можно привести сотни — доказывают, что современная проза поэтична только в том случае, если поэтична ее ведущая мысль, то есть мысль, родившаяся в страстном сердце поэта и передающая его взволнованное биение. Они подтверждают также, что сознательное использование поэзией формальных сторон такой прозы совсем не снижает ее чисто поэтических качеств, что оно, наоборот, даже дает словам и ритму наибольший простор.

Английский марксист, классический филолог Джордж Томсон в книге «О древнегреческом обществе» прекрасно показывает, что понятие в д о х н о в е н и е связано с понятием д ы х а н и я, отражающим ритм сердца и волнение человека.

Томсон упоминает об Ирландии, где до сих пор, как у древних греков, поэзия «связана с музыкой» и «не имеет ничего общего с книгами», живет у всех н а у с т а х, постоянно пронизывая даже повседневные разговоры. Он рассказывает, как встретился с одной старой ирландской крестьянкой у колодца:

«Она только что наполнила свои ведра и стала смотреть на море. Ее муж умер, а семеро сыновей уехали «за хлебом», как она выразилась, в Шпрингфельд и Массачусетс... Она подробно описывала мне свою жизнь, рассказывала, как таскала на гору торф, как выглядит ее темная, закопченная комнатенка... В ходе рассказа,— продолжает Томсон,— росло ее волнение, речь становилась более плавной, цветистой, ритмичной, мелодичной и тело мечтательно покачивалось в такт словам. Потом она со смехом подхватила свои ведра, пожелала мне доброй ночи и пошла домой... Это спонтанное проявление поэтичности у необразованной старой женщины, не претендующее на художественность,— пишет в заключение автор,— было подлинной поэзией. Оно возникло из мгновенного вдохновения. Что же такое поэтическое вдохновение? Для ответа мы должны обратиться к примитивной поэзии, которая все еще жива... Поэзия — это особая форма речи...».

Я считаю, что недостаток многих сегодняшних стихотворений, написанных свободным стихом,— прозаическая мысль, окутанная — чтобы выглядеть несколько привлекательней — бессодержательным многословием.

Нейман заметил однажды, что есть стихи, строгая форма которых вымучена и лишь вредит поэтической выразительности, образности, ибо ради сохранения формы в них были втиснуты слова ничего не значащие, а другие слова, возможно и более важные для смысла стихотворения, отброшены. Нейман сравнивает такие стихи со статуей из металла, изъеденной коррозией, дыры в которой «заткнуты бумагой и тряпьем».

Бедный словарь умерщвляет образность, и, наоборот, бедная образность нисколько не стремится к словесному богатству, не ведая, что с ним делать. Свободный, неправильный стих в этом случае — чисто внешний признак, просто изложница, которая наполняется содержанием, а не закономерное изменение формы, вызванное причинами внутреннего характера. Вольность стиха превращается в неоправданное своеволие, или — если вернуться к уже цитировавшейся работе Шальды — ничтожная Сущность соответствует ничтожности Выражения.

В прозаических примерах, которые я привел, мы чувствуем, как сложное предложение дробится на стихотворные строки, так что можно записать его в форме неправильного стиха. Читая же некоторые неудачные стихи, мы, наоборот, чувствуем только побуждение организовать их в ясную и четкую прозу.

Одна из причин неоправданного своеволия в стихе состоит, вероятно, в том, что мы переживаем сейчас довольно глубокое падение всеобщего чувства языка, общее понижение культуры речи.

Я вовсе не пурист и не стремлюсь к рабскому следованию нормам. Красота языка вытекает из его логики и цели. Все остальное — грим и кремы, скрывающие теплый цвет живого лица. Я согласен с требованиями Шальды к языку как к инструменту литературного творчества: «...Будем же стремиться к силе выразительности и красоте, а не к правильности», согласен со словами Незвала: «Поэзия — это кульминация красоты и ценности языка» и с афористичным определением Николая Асеева: «Поэтическое искусство — это использование языка в лучшем смысле слова».

Я не любитель старины, не архаист, но понимаю ностальгию, о которой когда-то в 1930 году говорил Петр Безруч,— он был поэтом, обладавшим богатейшей языковой палитрой. Его чувство языка было почти физическим. Так в старину крестьянин знал и любил свои сады и луга. Безруч жаловался, что исчезают слова, «корни которых скрыты в родной почве нашей истории», слова «ясные и зримые, как белый день,— неясные и невидимые лишь людям городским, утратившим свои корни». Безруч пишет о том, что языковые идиомы исчезают и гибнут, «как исчезли один из видов бабочки из окрестностей Котуче, беркут на Моравце под Фридеком, орел-крикун из

округа Старые Гамры, волчье лыко близ реки Врбовце и волчник ароматный из писарецких лесов...»

К сожалению, наша современная критика редко уделяет внимание структуре рецензируемого произведения, его стилю, образности, работе писателя над языком, а если и делает это, то весьма бегло, говоря главным образом о сюжетах книг, их фабуле и идейной направленности.

Каждый художник слова, создавая произведение, может оказаться в положении художника Френгофера из «Неведомого шедевра» Бальзака. Стремясь улучшить свое детище, сделать его более выразительным, он скрывает поэтическую мысль под все новыми и новыми пластами слов. А это все равно что наносить на легкую прозрачность акварели тяжелые слои масла. В какой мере ему удается избежать катастрофы, зависит от его творческого опыта.

Но есть литераторы, которые рядят малокровную, худосочную мысль в несоответствующие ей одежды, подкладывая вату на ее узкие плечики, бока и бедра только для того, чтобы заполнить пустоты, чтобы мелкость выглядела как глубина, чтобы отсутствие звучания восполнилось хотя бы шелестом шелков и кружев.

Подобным образом обстоит дело и с проблемой «непонятности», у которой две причины: либо это непонятность нарочитая, вытекающая из стремления к необычности во что бы то ни стало, либо она — результат стремления к новой выразительности, и тогда *непонятность* — лишь непонимание воспринимающим непривычного, которое со временем будет преодолено.

Эксперимент тоже бывает двух видов: эксперимент, возникший из мимолетной импровизации, который блеснет, восхитит и погаснет, и эксперимент, над которым много работали, дозревший, как зерно, многократно прогретое прикосновением солнца.

Больше всего я люблю поэтов, создающих стихи предметные, стихи, сотканные из конкретных по смыслу слов, и на меня наводят скуку стихи абстрактные, написанные неопределенными, туманными словами, парящими, как некие «души» умерших предметов...

Я знаю также, что лишь предметная поэзия, и старая, и новейшая, поэзия, наполненная вещественными, материальными понятиями, могла и может пластически выразить, если хотите, самые смелые, самые головокружительные *идеи*, человеческие стремления и мечты, иллюзии и разочарования, героические надежды и преподнести их в виде действующих персонажей. И наконец, я знаю, что лишь такие стихи долговечны, мудры и прозорливы, многозначительны даже при самой большой лаконичности, что лишь такие стихи вливают в человека новые силы.

Я люблю такую поэзию, потому что в ней — даже в самой лирической, наименее эпической — *все время что-то происходит* Кинетическая сила такого действия — опять-таки предмет, много предметов, чьи отпечатки — слова; без предметов нет движения, и не следует забывать, что подавляющее большинство глаголов, которые в языке представляют элемент движения, образовано от сущностных понятий.

И еще я люблю поэзию, лирический герой которой сохранил в себе редкий и ценный дар — непосредственность чувства и видения, столь характерную для детей. Особенно если это сочетается с мудростью интеллекта, всегда готового идти все дальше в познании жизни, возвращаясь назад, углубляясь, расширяясь, как грудная клетка глубоко дышащего человека, поглощенного делом, которое требует смелости, но приносит счастье.

Я люблю поэзию, из которой не выхолощена природа, точнее говоря: где не исчезли страсть и восхищение природой, породившей нас, частью которой мы являемся, несмотря на то, что стали существами общественными; поэзию, охватывающую природу, без которой мы погибли бы вместе со всеми нашими техническими чудесами и достижениями. Я имею в виду, конечно, искусство, в котором природа не скопирована, а *воспринята* всеми чувствами.

Меня всегда будет волновать и делать счастливым поэзия, прославляющая женщину и любовь. Кто-то написал, что нет женщин молодых и старых, есть женщины, которые любят или не любят, которых любят или не любят. Повторяю: я боготворю поэзию, прославляющую и чтущую женщин, и отвергаю поэзию, которая сознательно или от недостатка чувств, от бестактности или от неумения унижает женщину.

В середине пятидесятых годов начали говорить о схематизме стихотворений, которые кишели терминами из современного технического оснащения промышленного производства. Сегодня мне кажется, что наша поэзия переживает новый вид схематизма, объект и сфера которого — секс, а вовсе не эротика.

Недавно меня посетил сотрудник одного издательства и с некоторым смущением (причиной его было отнюдь не ханжество, а высокие эстетические критерии вкуса и чувство меры) показал стихи, сюжетом которых был половой акт, тема далеко не редкая в истории поэзии.

Но если в шедеврах мировой поэзии этот акт проявления самых могущественных сил природы возвышен художественным чувством до чуда, то в стихах, предложенных мне, я увидел лишь подробное и скучное техническое описание, своей деловитостью похожее на протокол судебного медика — педантичный перечень внешних физических деталей, все же не достигавший деловитости профессионального медицинского текста, имеющегося, например, в энциклопедической дефиниции совокупления. Единственной метафорой в этих скучных описательных стихах было сравнение девичьих бедер с... кровяной колбасой!

Почти все мы знаем «Песнь песней», каждая строка которой, каждый стих прославляет красоту тела возлюбленной. Но нигде, никогда не найдем в ней места, где бы царь Соломон, восторженный путник и проводник по женскому телу, который был большим поэтом, отожествил объект своего пламенного чувства, скажем, с жареной бараньей ногой.

Известное произведение Овидия «Наука любви» возникло на основе очень личных переживаний и было вместе с тем в античную эпоху руководством по искусству любви. Но, читая его, сразу можно понять, что оно написано поэтом, а не сексологом, что не сам по себе сюжет и тема, а их воплощение — есть поэзия.

Как смела и сочна любовная поэзия Неймана, Волькера, Библа и Горова и, конечно, Незвала.

Я хочу лишь сказать: наша молодая поэзия должна найти свой путь от описания к действию, от впечатления к переживанию, от поверхности к глубине, от холодной техничности к пылкой страсти, от голой рациональности к внутреннему жару всех чувств, но главное — найти его в мужественном, рыцарском отношении к женщине.

Мне вспоминаются слова Диккенса, обращенные к английским художникам XIX века: «Друзья, поймите же, что ваша модель — не конечная цель, а средство дать форму и силу вашим мыслям и вашему вдохновению». Сделать это во всех сферах природной и общественной реальности под силу великому художнику, а не жалкому копиисту и плагиатору; это задача, в решении которой должны участвовать чувство художника, его страсть, понимание коренного различия между моделью и окончательным творческим актом.

Среди поэтов прошлых времен и моих современников я люблю тех, которые искренне и страстно относятся к своему времени и тем самым укрепляют будущее. Поняв свое время и его закономерное движение вперед, они до краев наполнили им свои произведения и жизнь, потому что иначе не могли. Все средства своего искусства, своего таланта они сохранили в чистоте, данной им борьбой, и совершенствовали их не для прекрасных и предательских глаз мнимой славы, а лишь для этого наполнения.

Мы живем в эпоху больших социальных сдвигов, переворотов и перемен. Чрезвычайную опасность этой эпохи для человечества и для жизни на земном шаре нельзя измерить опасностями прошлых эпох, хотя и они были ужасающими.

Нашей эпохе нужны новые Маяковские, Брехты, Элюары, Неруды, Хикметы, Гильены. Они были убежденными коммунистами. Наш Незвал сказал как бы от имени их всех, что «социализм стоит того, чтобы мобилизовать искусство ему на службу».

Конечно, к этому приходят только вследствие внутренней убежденности. Ибо — и это снова слова Незвала — «пока мы не испытаем к социализму и к тем, кто его строит, такой же страстной любви, как к женщине и ребенку, мы не будем хорошими социалистическими писателями. Эта любовь для художника — все, без нее он будет лишь конструировать неудобоваримые произведения...»

Следовательно — тенденциозность? Да, все искусство тенденциозно по-своему. Даже то, которое основывается на мнимом отсутствии тенденциозности. Но тенденциозность — это свойство органичное, как сам характер личности, как аромат розы, как цвет полевого мака, и в этом ее тайна!

Вспомним Маяковского: «Голосует сердце, я писать обязан по мандату долга!»

Перевод с чешского С. ПАРХОМОВСКОЙ

ДАВИД САМОЙЛОВ

ПРОЗАИЗАЦИЯ ПОЭЗИИ И ПОЭТИЗАЦИЯ ЖИЗНИ

Иржи Тауфер — известный чешский поэт, ровесник века. Он прожил жизнь трудную, насыщенную событиями. Много лет провел в Советском Союзе. В годы войны работал на радио. После войны несколько лет был культурным атташе чехословацкого посольства. В ту пору мы часто встречались и беседовали с ним. Я переводил его стихи. Иржи Тауфера всегда интересовали вопросы о смысле и назначении искусства. Я рад продолжить с ним давние разговоры.

САМОЙЛОВ ДАВИД САМУИЛОВИЧ (род. в 1920 г.).

Советский поэт и переводчик. Начал печататься в 1941 г. Автор книг стихов «Ближние страны», «Второй перевал», «Дни», «Волна и камень», «Весть». Переводит с польского, венгерского языков и языков народов СССР. Книги Д. Самойлова переведены на многие иностранные языки.

В размышлениях Иржи Тауфера о том, что есть поэзия, при всей верности хода его мыслей, не названо одно звено. Это звено — категория таланта.

Между тем, показывая положительное, Тауфер обращается к творчеству поэтов талантливых и даже гениальных, отрицательные же его суждения обращены к современной поэзии «вообще».

Если же учитывать категорию таланта, отпадают многие вопросы, например, необходимость защищать свободный стих или отстаивать стих традиционный.

Для меня, как для поэта, гражданское содержание поэзии не тождественно ее эстетической ценности. Вероятно, и читатели различают эти две стороны творчества. Истинный талант сводит их воедино.

Нет стиха вообще — есть стих талантливый и стих бездарный.

У русской поэзии иной путь, чем у чешской. У нас нет повального увлечения верлибром, поэтому не стоит так остро вопрос о разрушении поэтической формы. Пропагандисты свободного стиха в России пытаются теоретически обосновать его необходимость. Но в поэзии можно доказывать только практически. Видно, нет у наших талантов внутренней потребности изъясняться без рифмы и без размеров, видимо, русское новаторство пошло другим путем.

В то же время нет никаких теоретических противопоказаний против верлибра. И немногие удавшиеся верлибры принадлежат опять-таки нашим талантливым поэтам (взять хоть Хлебникова).

Спор о том, годится или не годится для поэзии свободный стих, кажется мне вполне абстрактным. Элюару или Незвалу годится. Маяковскому — нет. (Он лишь однажды попробовал написать стихотворение свободным стихом.)

Говоря о непосредственности чувств, интеллекте, страстности, целомудрии и чувстве меры, присущих подлинной поэзии, Иржи Тауфер, в сущности, называет необходимые компоненты таланта. Тут нет никакого спора.

Однако когда он говорит о поэзии с оттенком долженствования, многие его высказывания можно отнести к сфере личного вкуса. Например, у меня вовсе нет уверенности, что только «предметная поэзия», «наполненная вещественными материальными понятиями», может выразить «самые головокружительные идеи». А Верлен? А наш Блок? Они, скорей наоборот, выражали «невещественными» словами вещественность мысли и чувства.

Нет у меня также уверенности, что для истинной поэзии обязательно изображение природы. У Маяковского, к примеру, очень мало природы, и я не назвал бы ни одного его «пейзажного» стихотворения.

Одна проблема, затронутая Иржи Тауфером в начале его эссе, кажется мне весьма интересной и важной. Это вопрос о соотношении таланта и мастерства, то есть о том, нужно ли поэту знание ремесла.

«Переоценка так называемого божьего дара и недооценка серьезного теоретического интереса поэта к ремеслу — глубокое заблуждение и зло». Я целиком разделяю эту точку зрения.

Конечно, без таланта теоретическое знание ничего не даст. Но невежество может загубить и талант. В поэзии, как и во всех других видах человеческой деятельности, есть некий накопленный опытом целой литературы арсенал средств. Противники «уменья» часто все силы тратят на «изобретение велосипеда», а на поэзию мало их остается.

«Птички божии» опасаются, что знание творчества более сильных поэтов может губительно сказаться на их творческой индивидуальности, заслонить ее, деформировать и сделать из поэта подражателя. Не надо бояться подражания. Для определенного этапа поэтического учения подражание — дело естественное. Хочется быть похожим на поэта, которого любишь, которым увлечен. Но подлинная индивидуальность от этого не пострадает, а скорей обогатится, воспримет важное и нужное для нее, а остальное отпадет само собой.

Поэт должен помнить, что он — наследник культуры.

Обычно ссылаются на Есенина как на поэта, который явился «сам собой» и запел «сам по себе», но тот, кто хорошо знает и понимает Есенина, помнит, с каким уважением он относился к своим поэтическим учителям: Пушкину, Брюсову, Блоку, Клюеву. А без виртуозного знания мастерства не могли быть написаны такие вещи, как «Сорокоуст» или «Пугачев».

Все это лишь отдельные соображения.

Главная задача, которую ставит перед собой Иржи Тауфер,— решить, «что есть поэзия и что не есть поэзия». Задача необычайно трудная, решать ее пытались многие выдающиеся умы, да так и не решили в окончательном, категорическом и бесспорном виде. Может быть, потому не решили, что поэзия — явление движущееся и развивающееся, вот и меняются представления о ней.

Не берусь решить и я, только вспоминаю ахматовское:

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда...

Поговорить здесь стоит, может быть, не столько о решении вопроса, сколько о его постановке.

Мне хотелось бы остановиться на двух разнородных явлениях, затронутых в размышлениях Тауфера.

1) Взаимодействие поэзии и прозы как литературных жанров.

2) Категории «прозаического» и «поэтического» в широком смысле (поэзия в живописи, в архитектуре, в романе, включая «поэзию любви» и «поэзию жизни»).

Давно уже известно, что не все, написанное стихами,— поэзия (когда-то в стихах излагались правила арифметики или грамматики), и не все, написанное прозой,— проза.

С тех пор как исчезла нормативная эстетика, считавшая достойным поэзии лишь определенный круг предметов и явлений (природа, любовь), оказалось, что для поэзии нет запретных тем, она стала гораздо более емкой, чем представлялась прежде. В наше время нет различия между предметом поэзии и предметом прозы. Разрушаются и перегородки между жанрами. «Евгений Онегин» — роман в стихах; «Мертвые души» — поэма. Так, во всяком случае, ощущали жанровую принадлежность авторы обоих произведений.

Интенсивное взаимодействие между поэзией и прозой — черта литературы нового времени. Это взаимодействие порождает оригинальные явления.

Замечательный исследователь литературы Б. Эйхенбаум выводит поэзию Анны Ахматовой из русской классической прозы. Андрей Белый вводит поэтический метр в прозу своего «Петербурга».

В современной литературе границы между прозой и поэзией открыты. Об этом же говорит Иржи Тауфер. Исконные литературные жанры не отменяются, но между ними происходит постоянная диффузия. Повесть заимствует сжатые монтажные приемы поэмы, стихи заимствуют у рассказа способы построения сюжета, мы иногда говорим о пристальности прозы в лирическом стихотворении и о поэтической интонации в прозе, мы отмечаем «прозаизацию» в поэзии и поэтическую образность в прозе.

Не думаю, однако, чтобы это взаимодействие определяло необходимый приход верлибра.

Обогащая друг друга, поэзия и проза не отменяют и не заменяют друг друга. И в нашем сознании есть все же четкая грань между тем и другим.

Таким образом, взаимопроникновение поэзии и прозы в том смысле, в каком это изложено выше, является закономерным явлением литературного процесса, и сейчас мало найдется защитников «суверенности» этих двух видов творчества.

Вопрос о поэзии «в широком смысле» кажется мне несравненно более сложным.

Когда мы говорим о том, что данный натюрморт или данное строение исполнены поэзии, и когда говорим, что данная любовь или данная жизнь поэтичны,— действительно ли мы говорим об одном и том же?

Поистине: «что есть поэзия? Непостижимый туман, белая плешь на географической карте», как писал когда-то Илья Сельвинский. Попробуем все же пробиться сквозь этот «непостижимый туман». Интуитивно мы чувствуем так: поэтично то, в чем есть нечто сверх практического назначения.

В натюрморте может быть изображена битая птица или фрукты.

Но оцениваем мы произведение живописи не с точки зрения качества изображенных там продуктов. Мы рассматриваем сочетание красок, игру света, расположение предметов, то есть нечто неутилитарное.

Когда мы любуемся зданием, мы не думаем о его пригодности для нашего поселения, а прежде всего обращаем внимание на пропорции, на соотношение материалов, на связь с ландшафтом.

В обоих случаях мы понимаем, что поэзия или красота не является природным свойством данных предметов, а «открыта» и запечатлена художником, то есть понимаем, что поэзия связана с личностью.

В случае, когда мы говорим о природе, о поэтичности пейзажа, личность художника как будто отсутствует. Но любование природой так же личностно, ибо тоже требует энергии «открытия» и присуще не каждому.

Сказанное целиком относится к «поэзии любви» и «поэзии жизни». Поэтической мы называем любовь, где личность проявляется в своем бескорыстии, жертвенности, постоянстве, поднимаясь над утилитаризмом и прагматизмом. В «поэзии жизни» проявляются, в сущности, те же начала: судьба личности, несводимая к ее практическому назначению.

Это не значит, что у поэзии, в ее литературном воплощении, нет практического, общественного, гражданского содержания.

Главное, что я хотел бы высказать: поэзия жизни неиссякаема, она будет существовать, пока существуют люди, пока цели личности не будут ограничиваться утилитаризмом, прагматизмом, узким практицизмом, то есть пока будет существовать человек-художник в самом широком смысле этого слова.

◆

Трибуна переводчика

ВЕРА ПОТАПОВА

СИЛА ЗЛАТОСТРУННОЙ АРФЫ

В Дании, в церкви Эрслева (провинция Сорё) сохранились две средневековые фрески. На одной из них с большой живостью изображена цепь взявшихся за руки юношей и дев, танцующих под звуки длинной трубы, украшенной бахромчатым флажком, в которую дует причудливое геральдическое животное. Русскому глазу оно более всего напоминает конька-горбунка. Другая фреска выразительно воспроизводит сцены из народных баллад. Приглушенный колорит — желтый фон и двухцветная, зеленая с серым, одежда — придает фрескам сдержанное очарование. Неизвестный художник откровенно любуется стройностью и благородной грацией удлиненных фигур.

Картины светского содержания могли появиться в церкви скорее всего как повод для морализирования и религиозного осуждения. Танцующим сулили адский пламень. Абсалон, епископ Шелландский, запретил танцы в монастырях, а знаменитый Саксон Грамматик назвал это времяпрепровождение «фиглярством», недостойным знати и воинства. На языке символического мышления, присущем средневековью, два зеркала в руках танцоров обозначают суетность и тщеславие, а пляска под музыку четвероногого трубача олицетворяет людское сумасбродство.

Эти фрески представляют значительный интерес как свидетельство «танцевального» происхождения датских народных баллад. Возникнув первоначально в виде певческого сопровождения танца. баллады лишь впоследствии были оценены по заслугам, как выдающийся памятник поэзии европейского средневековья.

Привычный термин «памятник» прозвучит здесь, пожалуй, некоторым диссонансом, если учесть поразительную жизнестойкость скандинавского фольклора. Средневековые датские баллады и в наши дни являются неотъемлемой частью народной жизни. Сохранившись со времен средневековья преимущественно в устной крестьянской традиции, они как бы донесли до нас тепло человеческого дыхания. Их поныне поют крестьяне в поле, рыбаки в море, матери над колыбелью. Их поют во время поездок верхом. Их распевает в хороводах веселящаяся молодежь — не единым джазом жив человек! Трудно переоценить и то влияние, которое оказывал множество лет скандинавский фольклор на литературу письменную вплоть до современной. Впрочем, тема взаимовлияния скандинавских литератур неисчерпаема, и развивать ее здесь нет места. Важно то, что, рассматривая датскую балладу в различных аспектах, мы сталкиваемся с ней как с реальным фактом современной жизни датчан. Это не надпись на саркофагах и надгробных стеллах, а живая, «действующая» народная святыня. Чтобы понять русский народ, нужно знать «Слово о полку Игореве». Чтобы понять датчан, нужно знать датские баллады.

Кстати сказать, ничто не привносит в работу переводчика такой отчужденности от оригинала, как «экзотизм», взгляд извне на предмет переводимой поэзии. Если мысленно созерцать скандинавское средневековье глазами посетителя музея, картины повседневной действительности в переводе получаются «смещенными», а внутренний мир человека — фальшивым и безжизненным.

Изначальная связь датской народной баллады с музыкой и танцем в немалой степени сказалась на мелодике и ритмико-интонационном строе стиха. Отсюда проистекают напевность (или, как говорили в старину, «певкость») и высокая эмоциональность его звучания. Эти качества усугубляют драматическую интонацию баллады. При этом ритмико-интонационный строй стиха впрямую зависит от ритма и синтаксиса языка оригинального произведения. Для переводчика сбиться с интона-

ПОТАПОВА ВЕРА АРКАДЬЕВНА

Советский поэт-переводчик. Основные переводы из скандинавской поэзии: книга датских народных баллад, книга стихов шведского классика Густава Фрёдинга. Из английской классической поэзии: стихи и поэмы Дж. Драйдена, В. Блейка, Т. Мура, Дж. Китса, Р. Киплинга; со славянских языков — песни южных славян и «Энеида» И. П. Котляревского; с санскрита — «Рамаяна» Вальмики, книга древнеиндийской антологической поэзии «Жемчужное ожерелье», поэма Калидасы «Времена года» и др.

ции означает утратить не только энергию стиха, но и поэзию подлинника. Между тем датский синтаксис, даже современный, весьма далек от русского.

«Я всюду старался держаться ближе к подлиннику, сохранить простоту и музыкальность речи, сравнения и эпитеты, характерные повторения слов... Это было нелегко: краткость английских слов вошла в пословицу»,— пишет Бунин, предваряя свой несравненный перевод «Песни о Гайавате». И все же, будучи парадоксальным по своей сути, перевод поэзии таит в себе многие неожиданности. Так, в начале века, с благословения известного датского литературоведа и фольклориста Акселя Ольрика, был осуществлен квалифицированный, безупречный с точки зрения версификации перевод датских баллад на английский язык. Работа была выполнена английской поэтессой тщательно и любовно. Поскольку датский в смысле краткости слов не уступает английскому, оригинал с переводом, что называется, совмещались при наложении. Это опасное «достоинство», усугубленное исторической общностью двух стран, привело к тому, что в переводе баллады получились... английскими!

Норвежский композитор Эдвард Григ, характеризуя великие произведения скандинавского фольклора, отмечает «поразительную силу и точность выражения, способность в немногих словах сказать многое», «простое и пластичное построение фраз». Григ пишет: «Чем глубже волнение сердца, тем более скрыто, загадочно оно выражено. Речь остается всегда строгой, серьезной, значительной. (...) Показывать свои чувства считается низким. Именно эти-то чувства получают особенно сжатое, целомудренное выражение. (...) Подобным же образом высказывается в народной песне внутренняя, духовная жизнь нашего народа». Эти слова Грига полностью приложимы к датской балладе.

Мрачный, порой даже зловещий колорит многих баллад и драматизм происходящих событий, подчеркнутый драматизмом интонации, позволяют говорить о драматургической структуре, присущей этому жанру. Напряженное движение стиха, острая сюжетность и конфликтность делают датскую балладу особенно динамичной. Ее краткая экспозиция сразу, без околичностей вводит в действие. Примером может служить начало баллады «Оге и Эльсе»:

Три девы сидели в светлице.
Две — пряли златую нить,
А третья не уставала
О мертвом слезы лить[1].

Стремительно-прерывистый, как конский топот, зачин баллады «Юный Энгель» поражает напором событий:

Юный Энгель отвагой блистал
И красотой лица.
Уехав из дома, он деву одну
Силой увез, без венца.

Мальфред — имя ее — с похвалой
Звучало у всех на устах.
С Энгелем первую ночь провела
Она в придорожных кустах.

[1] Здесь и далее стихи цитируются по книге «Датские народные баллады в переводах Веры Потаповой». М., «Художественная литература», 1980. *(Прим. ред.)*

С необыкновенной силой и экспрессией здесь сказывается то, что Пушкин называл «прелестью нагой простоты», упрекая своих современников в непонимании «поэзии, освобожденной от условных украшений стихотворства». Точность и сжатость изложения, отсутствие прямых авторских суждений, сдержанность в изъявлении чувств и отсутствие сентиментальности поражают в этих картинах, созданных поэтической мощью народа-мифотворца. Характеры и их столкновение вырисовываются из диалога. В балладе часто преобладает прямая речь. Немногословная, естественно интонированная, она весома и значительна. Творческое прочтение баллады нередко усложняется загадочным подтекстом диалога. Не говоря уже об отдаленности во времени исторических, социальных и житейских ассоциаций, затрудняющих даже смысловое прочтение текста, как необходимую ступень, предшествующую поэтическому истолкованию. Нельзя, однако, смешивать разбор семантики иноязычного текста с его творческой интерпретацией как поэтического произведения.

Необходимость проникновения сознания переводчика в сознание безымянного автора баллады наглядно подтверждают заключительные строфы исторической «Песни о Марстиге». Изгнанный из страны за убийство датского короля, рыцарь Марстиг воздвигает на острове Хьельме свой замок — неприступную твердыню. За этим сообщением следует четверостишие:

Крестьянин сеял в поле зерно,
Говоря: «Спаси нас бог!» —
И в сторону острова Хьельма глядел,
У которого вырос рог.

«Силуэт замка, возвышающегося на вершине горы, напоминает рог» — вот внешнее, смысловое прочтение строфы. Но такое понимание как бы двухмерно по сравнению с творческой интерпретацией, стремящейся проникнуть в глубь текста. «Рог» здесь не только зрительный образ замка на горе, но и символ жестокого социального гнета: сеятель опасается, что обосновавшийся на Хьельме феодал отнимет у него урожай.

Суровый и терпкий диалог, скупость изобразительных средств при затаенной силе и глубине чувства создают скрытую энергию стиха, составляющую непревзойденное очарование народной баллады. Эту сжатую, как пружина, просторечность словаря и синтаксиса при необыкновенной силе чувства нашел Пушкин в своих «Песнях западных славян», перешагнув через стилистику Мериме

Возвращаясь к датским балладам, можно сказать, что ни в смысле поэтического потенциала, ни даже в динамике повествовательные баллады не уступают тем, которые обладают драматургической структурой. Динамичности баллад немало способствует зримость, картинность описаний. Так выглядит в балладе поле битвы после победы датчан над врагом:

Кровь, по разрытой равнине бурля,
Стекала с холмов и бугров.

ВЕРА ПОТАПОВА
СИЛА ЗЛАТОСТРУННОЙ АРФЫ

Дымилась испариной красной земля,
И солнечный шар был багров.

Дивно контрастирует с сумрачными красками скандинавской природы «палитра», облюбованная народным вйденьем: пурпур, червонное золото, зеленый бархатный плащ, сапожки из зеленого сафьяна с золотыми шпорами, попона из белой парчи, белый конь, серый иноходец, златолистве нная липа, золотые волосы, белые руки. При этом все черты «декора» баллады несут некую служебную нагрузку. Приводим отрывок из прекрасной в своей повествовательности «Песни о ста сорока семи». Здесь исполненное поэзии описание двенадцати блистательных щитов, украшенных гербами, отнюдь не является самоцелью. Обычная для средневековья геральдическая символика, связанная с именами и характерами воителей, создает их своеобразный групповой портрет, оживленный реалистическими чертами.

На первом щите ослепительный лев
Красуется гривой косматой.
А сверху — царственный Дидрика знак:
Корона червонного злата.
Клещами и молотом щит второй
Украсил сын кузнеца.
Видрик в плен врага не берет,
А рубится до конца.
На третьем щите — блистающий змей.
Он в кольца златые свит.
Премудрый Местер Хильдебранд
Сей знак поместил на щит.
Ярла Хорнбуга отпрыск — юнец,
В битвах не закаленный,
Носит Хумлунгер четвертый щит,
С липой ярко-зеленой.
На пятом щите — одичалый волк,
Блистающий на пустополье.
Знак этот выбрал Железный Ульв.
Чуждо ему сердоболье.
Как жар, горит на щите шестом
Отливающий золотом гриф.
Хеллед Хаген с этим щитом
Бьется, покуда жив.
Виола украсила щит седьмой.
Она — веселья источник.
Так мыслит Фальквур-музыкант,
Бражник и полуночник.

Примечателен в смысле изображения характера «близорукий храбрец»[1] Сивурд Снаренсвенд. Сочинитель баллады не обмолвился ни единым словом о его достоинствах или недостатках, кроме пресловутой близорукости, таящей столь неожиданные ассоциации. Тем не менее Сивурд Снаренсвенд у нас весь как на ладони! Автор позволяет нам судить о своем герое по его поступкам по его физическим и душевным движениям. Черты характера Сивурда выясняются также из диалогов действующих лиц. Несмотря на то что этот бывалый, удалой воитель наделен, по сути, сверхъестественной силой, вся пластика богатырского характера Снаренсвенда достаточно выпукла, реалистична, человечна. Он бескорыстен, великодушен. Враги и те воздают должное «близорукому храбрецу».

Нет сомненья в том, что одна из главных причин долговечности датской баллады заложена именно в правдивом изображении характеров, то есть в ее истинной народности.

С особой силой и выразительностью народный дух проявляет себя в метком просторечном диалоге, которому в балладах отводится значительное место. Диалог этот обличает бахвальство, чванство, трусость, скупость, криводушие и другие недостатки, претящие скандинавскому не меньше, нежели русскому характеру.

Словесная перепалка в датских народных балладах бывает столь самобытна и неожиданна, что трудно удержаться от соблазна проиллюстрировать ее примерами. Так, мелочный, прижимистый рыцарь Магнус в балладе о дорогом плаще на просьбу прекрасной девы расстелить его на лугу отвечает:

«Для тебя свой новый бархатный плащ,
Зеленый, слегка ворсистый,
Чтоб от мокрой травы разлезлись швы,
Я не брошу на луг росистый!
Я не брошу на землю свой бархатный плащ!
Он достался мне не в подарок.
Я в Стокгольме его купил.
Он мне стоил пятнадцать марок».

Словесная игра составляет три четверти баллады «Король Эрик и насмешница». Высокомерная дева по платью принимает молодого короля за простолюдина. Танцуя с ним, она осыпает его колкостями и грубыми насмешками. Вот образец их диалога:

«Найдется ли в округе у вас
Швея или швец толковый —
Наряд из пурпура мне скроить
Да сшить его нитью шелковой?»

«Швею отыщешь в округе у нас,
Найдется и швец толковый —
Наряд из дерюги тебе скроить
Да сшить его нитью шелковой?»

«Послушай, надменная дева моя!
Всей датскою казной,
Всем золотом Дании будешь владеть,
Если станешь моей женой!»

«Все золото Дании хранит
Сидящий на датском престоле.
Ступай на чердак, залатай свой башмак,
Не то набьешь мозоли!»

Отношение автора к конфликту выявляется в последующем диалоге с достаточной убедительностью, придавая балладе бесспорно демократическое звучание. Особая роль в датских народных балладах отводится припеву. Это не рефрен в обычном понимании, а своего рода «устный эпиграф», некий камертон, вводящий в подтекст, в атмосферу баллады, настраивающий на осмысление событий. Так, баллада «Рыцарь Карл в гробу» сопровождается поэтическим припевом «А розы и лилии благоухали». Эти живые розы и лилии, благоухающие наперекор погребальному звону и слезам юной Кирстин по мнимоумершему рыцарю Карлу, как бы опровергают всю ситуацию ложных похорон. Розы и лилии олицетворяют благоуханный праздник живой любви, ее насмешливое торжество над монашками, читающими каноны, и всей монастырской бутафорией.

Иногда припев по контрасту подчеркивает, углубляет драматический ход сюжета. Так, щемящим диссонансом в своей безмятежности звучит в исполненной трагизма балладе «Олуф и королевна эльфов» припев «А танец легко плывет по поляне». И, напротив, припев «Мечи из ножон!», врывающийся в строфику баллады «Лаве и Йон» грозным призывом, в то же время естественно вписывается в текст и стано-

[1] Древние скандинавы считали, что близорукости воина обычно сопутствуют бесстрашие, свирепость и беспощадность в бою. Не потому ли, что недостаток зрения вынуждал «не видящих конца своего копья» отваживаться на опаснейшее сближение с противником?

вится неотъемлемой частью строфы. Порой припев состоит из двух строк. Они перемежают двустишие, создавая поэтический «воздух» баллады:

У переправы при Медельфаре
— А лес так зелен вокруг! —
Ивер пил мед с Эсберном Снаре.
— Друг другом вовек не надышатся лето
и луг!

в ночи средневековья, служащей сумрачным фоном для трагической событийности баллады «Юный Энгель», ее припев «Неужели заря никогда не разгонит мрак!» звучит нетерпеливым восклицанием безымянного поэта, как бы провидящего зарю Возрождения.

«А струны — из чистого злата!» — таков припев баллады «Сила арфы», перекликающейся с мифом об Орфее. В этой глубоко поэтической балладе сила златострунной арфы символизирует всепобеждающую мощь искусства. Со златострунной арфой неразлучен и древнескандинавский бог поэзии седобородый Браги, на чьем языке начертаны вещие руны.

Трудно в нескольких словах определить роль припева в датской народной балладе. Но думается, приведенные примеры достаточно выразительно, чтобы дать понятие читателю о своеобразном использовании этого элемента художественного воздействия.

Каким смелым и простодушным, каким развитым, иррациональным, поистине андерсеновским воображением нужно было обладать безвестному автору баллады, чтобы представить себе продажу... вещего девичьего сна за сверток золотого шитья, фигурки святых, повернувшиеся лицом к стене при появлении в церкви Водяного, сорочку из тонкого шелка, что лунным светом отбелила мать королевны эльфов...

Переводчику не следует забывать о том, что автор баллады был человеком средневековья, со всеми особенностями его сознания, мироощущения, с его образом жизни и житейскими воззрениями. Магические верования и олицетворение сил природы, тревожа его своей таинственностью и неразгаданностью, являлись для него реально существующим миром. Об этом приходится помнить, добиваясь той полноты перевоплощения, когда поэтическое виденье автора становится виденьем переводчика, а «информация» подлинника, не утратив своей первозданной поэзии, превращается в живопись словом. В противном случае едва ли возможно передать в переводе «стрессовый» уровень таких баллад, как, например, «Горе Хиллелиль». Представим себе кульминацию этой баллады, когда Хильдебранд с мечом в руках заклинает свою возлюбленную:

Сказал он: «Ради нашей любви,
Меня по имени ты не зови!
Меня по имени ты не зови,
Если даже увидишь лежащим в крови.
Не называй мое имя вслух,
Покуда не испущу я дух!»

Страстное заклинание Хильдебранда вызвано древним магическим представлением о том, что витязь, обладающий волшебной силой и неуязвимостью, утрачивает эти свойства, как только его имя, названное вслух, становится известно врагу. Верил ли в это сочинитель баллады? Можно предполагать, что верил, поскольку в ряде баллад мы встречаемся с таким магическим воззрением, в значительной мере определяющим ход событий. Что касается изуверского обычая, о котором рассказывает Хиллелиль,— права продажи в рабство под звон церковного колокола дочери, «утратившей честь»,— он был упразднен в XII веке, то есть до сочинения баллады. Об этом обычае и о пытке, которой брат подвергает сестру, поэт повествует немногословно, без сентиментальности, с внешней авторской сдержанностью. Тем сильнее ощущается здесь гуманизм сочинителя, его сочувствие к девушке и осуждение бесчеловечного обычая, в ту пору уже отошедшего в область предания.

Поэзия средневековья противоречива. Неожиданное развитие характеров и движение сюжета баллады могут порой озадачить. Добро и зло в ней зачастую неразделимы, а то и вовсе меняются местами. Как быть с чадолюбивым Водяным (нечистая сила!), «чьи волосы блеск золотой излучали, а очи были полны печали»? Он тщетно молит свою жену, земную женщину Агнéте, вернуться к семерым сыновьям, покинутым ею на морском дне. «Родительский» диалог любящего отца и бессердечной матери получает парадоксальное развитие:

«Пусть плачут, пусть плачут! О них
не тоскую.
Вовек не вернусь я в пучину морскую!»
«Вспомни, Агнете, хоть на минутку,
Старших, и младших, и в люльке
малютку!»
«Не вспомню ни на одну минутку
Ни старших, ни младших, ни в люльке
малютку!»
— Хо-хо-хо! —
«Ни старших, ни младших, ни в люльке
малютку!»

Как бы то ни было, поэт-переводчик не вправе подменять концепцию подлинника своей собственной, навязывать автору свой вкус, эстетические взгляды или нравственно-этические нормы, лгать в оттенках, ретушировать, стараясь «прояснить» непоследовательность спасительной отсебятиной.

«Шекспир в серебряных чашах подает нам золотые яблоки,— сказал однажды Гёте.— Мы получаем, изучая его произведения, серебряные чаши, а кладем туда только картошку — и это плохо!» Осмелившись перефразировать Гёте, заметим в скобках, что порой вместо золотых яблок читателя потчуют в серебряных чашах переводческой картошкой.

В записной книжке Марины Цветаевой о переводе говорится: «Идя по следу поэта, заново прокладывать всю дорогу, которую прокладывал он».

Что помогло мне в работе над переводом этой книги? Следует, пожалуй, назвать приходящее к нам с годами чувство профессиональной ответственности наряду с верой в неисчерпаемое богатство, гибкость и восприимчивость русского языка. А пуще всего — неодолимое стремление, «заново прокладывая дорогу», некогда пролеженную безымянными поэтами средневековья, открыть русскому читателю мир датской народной баллады в его первозданной сумрачной красе и трагической проникновенности.

К нашим иллюстрациям

ЛУБКИ ДЕРЕВНИ ДОНГХО

«Дружно шутихи трещат во дворе,
Гремят барабаны,
а на стене лубок с петухом...»

Знаменитые эти стихи вьетнамского поэта Ту Сыонга (1870—1907) посвящены празднеству лунного Нового года — Тета, когда лубки были — да и остаются доныне — непременным украшением и подарком. Они так и называются: «чань Тет» — новогодние картинки. В канун праздника их развозили купцы. Лодки сновали по ленивой реке Дуонг, в излучине которой лежит деревня Донгхо, где испокон веку — с пятнадцатого столетия, а иные считают и раньше — печатаются лубки. Прежде жители Донгхо и земли-то своей не имели, жили они ремеслом. У каждой семьи обычно была своя «тема», вырезанная на печатной доске. В некоторых домах печатали по нескольку сюжетов. Доски гравировали сами мастера из Донгхо. Здесь же готовили и особую бумагу и краски — растительные и минеральные. Яркие краски контрастными бликами ложатся на основной фон, накладываемый поначалу на листы кистью; фон бывает трех цветов: белый — из толченого перламутра на клею, желтый и оранжевый — эти краски тоже смешаны с перламутром. С досок печатают контуры изображения, затем оно вручную заполняется краской.

За столетия выработались канонические сюжеты лубка из Донгхо. Такие, как благопожелательные новогодние картинки: стилизованное в буддийской традиции изображение отрока с петухом, гусем или карпом — символами славы и богатства или знаменитые «Четыре красавицы» в старинных уборах и платьях, означавшие времена года. Или еще одна четверка: рыбак, дровосек, пахарь и книжник — мужи, представляющие полезнейшие занятья. Особо ценились лубки с Тао Куаном — Духом — хранителем домашнего очага; они висели в домах круглый год, и лишь накануне Тета их снимали со стен: считалось, что Тао Куан возносится в эти дни на небеса и сообщает Повелителю неба, как жила и трудилась семья; потом Дух-хранитель возвращался к очагу. и лубок снова вешался на стену. Изображались на лубках полевая страда, праздничные шествия, спортивные и прочие игры, полные юмора бытовые сцены. Очень популярны сатирические лубки «Триумф высокоученой мыши» (пародия на торжества в честь отличившихся на экзаменах ученых-конфуцианцев; вместо людей здесь мыши — каждая со своей ролью и характером, причем они не забывают дать взятку коту, олицетворяющему власть) и «Уроки многомудрой жабы» (насмешка над схоластической, оторванной от жизни заумью конфуцианских школ). Особое место занимают лубки исторические с батальными по преимуществу сценами. Здесь и государыни Чынг (I в.), и воительница Чиеу Ау (III в.), и полководцы Нго Кюйен (X в.) с Чан Хынг Дао (XIII в.), и военачальник, а позднее император Ле Лой (XIV—XV вв.), и ставший государем вождь крестьянского восстания Нгуен Хюэ (XVIII — нач. XIX в.) — все они в разное время сражались против вторгавшихся в страну китайских полчищ. Среди сюжетов лубка легенды и сказки: дракон спасает будущего императора Динь Тиен Хоанга (X в.) от крутой расправы, воитель Священный Бамбук громит вражьи орды... Печатались в Донгхо и лубки на религиозные темы, отражавшие зачастую сложный сплав буддийских и даосских верований с остатками местных языческих культов, а также пейзажные лубки, изображенья животных и растений. С последними связана замысловатая символика лубка. Так, наседка с цыплятами или свинья с поросятами символизировали богатство, петух — чиновное достоинство и доблесть, олень — продвиженье по службе, рыба — изобилие, лотос — чистоту и триединство времени (на лотосе одновременно бывают бутоны, цветы и плоды), хризантема — долголетие и совершенство. Здесь же и сказочные существа — дракон и феникс (символы государя и государыни, могущества власти и исполнения желаний).

Особенно интересны лубки — иллюстрации к популярнейшим произведениям фольклора и письменной литературы; упомянем лишь известные русскому читателю сказку о добром и справедливом богатыре Тхать Шане и роман в стихах «Стенания истерзанной души» великого Нгуен Зу (1765—1820). Между народным лубком Донгхо и литературой возникла и «обратная связь»: по мотивам картинки «Триумф высокоученой мыши» написана сатирическая сказка нашего современника То Хоая «О мышиной свадьбе, которая чуть было не состоялась», знакомая и нашему читателю.

Искусство Донгхо отнюдь не замкнулось в старых сюжетах и формах. После революции 1945 года появились лубки на новые темы. Да и сами лубки люди теперь часто делают сообща. А в Высшем художественном училище в Ханое преподают старые мастера из Донгхо; творческий опыт народного лубка становится неотъемлемой частью традиций нового искусства Вьетнама.

М. Т.

Заметки на полях

«СТРАННЫЙ ПОВОРОТ К УЖАСУ»: СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ?

Слова, взятые нами в кавычки, появились на обложке сентябрьского номера американского журнала «Харперс» за 1979 год. Они служат анонсом публикуемой здесь же статьи писателя Рона Розенбаума «Мурашки».

«В течение многих месяцев,— пишет Розенбаум,— я пытаюсь понять, почему вдруг в конце нынешнего беспорядочного десятилетия кино, литература, музыка, даже язык оказались наводнены, захвачены различными видоизменившимися формами старого классического ужаса, волной столь всепроникающей, что популярность ужаса в иерархии массовых сенсаций готова затмить секс и насилие».

Розенбаум коротко, но довольно полно излагает основные вехи проникновения ужаса в кинематограф. Он пишет, что жанр этот старинный, традиционный, берущий начало от английского «черного», или «готического». романа. У него есть и устоявшееся название «гиньоль» — от бытовавшего в свое время в Париже театра ужасов «Гран Гиньоль». В американском кино этот жанр завоевал популярность еще в 30-е годы, когда появились первые циклы фильмов о монстре Франкенштейне, вампире Дракуле, ведьмах и других «представителях» потусторонних сил. В военные и первые послевоенные годы наступило некоторое затишье, но с начала 50-х гиньольный поток вновь набрал силу. Как справедливо отмечает Рон Розенбаум, «фильм ужасов снова родился после Хиросимы и первой волны паники по поводу неопознанных летающих объектов в 1949 году». Но теперь традиционных героев потеснили всякого рода насекомые, мутировавшие в результате атомной радиации до невиданных размеров, и пришельцы из космоса. Эти картины больше относились к фантастике, чем к «гиньолю». «Ужасы шестидесятых годов,— продолжает автор статьи,— полностью удовлетворяли интерес к сенсациям такого рода, дополнительных не требовалось».

Рон Розенбаум связывает взлеты и падения в развитии жанра с теми или иными явлениями действительности. С такой оценкой нельзя не согласиться, и мы еще вернемся к ней, комментируя философскую часть этой статьи о сегодняшнем расцвете фильма ужасов.

А расцвет несомненен. Американский кинематограф решил дать как бы антологию «гиньоля». На экранах снова, как модно теперь говорить, были «задействованы» традиционные вампиры и оборотни (в одном только 1979 году о них появилось пять фильмов). Любимой сделалась тема Антихриста («Предзнаменование» I и II). Снята лента «Бывшая великая планета Земля» — причиной ее гибели становятся четыре преображенных всадника Апокалипсиса: загрязнение окружающей среды, голод, радиация и война. Выплыли многочисленные механические чудовища: акула в «Челюстях» и «Челюстях II», похожий на гигантского гиппопотама зверь из картины «Пророчество», огромный спрут, атакующий корабль в «Диктаторах Атлантиды». Вновь, как и в 50-е годы, ворвались на экран космические пришельцы («Близкие контакты третьего вида», «Чужак»). Опять появились устрашающие мутанты — дети радиации и загрязненной природы. То это нападающие на город стаи исполинских тарантулов («Царство пауков»), то жуткое чудовище, выросшее в зараженном ртутью водоеме («Пророчество»).

Особенно показательно следующее обстоятельство. Раньше фильмы ужасов, как правило, не требовали больших затрат, а ставили их, если не считать Альфреда Хичкока, режиссеры невысокого ранга. Сейчас бюджеты таких фильмов весьма солидны. Например, на постановку «Пророчества» истрачено семь миллионов долларов. А ставят такие фильмы крупные мастера: Роман Поланский, Джон Франкенхеймер, Стивен Спилберг. Розенбаум в своей статье пишет о намерении Стенли Кубрика «поставить фильм предельного ужаса». Его заявление, иронически комментирует критик, звучало

так, «как будто это некий неосвоенный эстетический Эверест».

Нужно сказать, что приход крупных режиссеров в фильм ужасов изменил стилистику жанра. В их картинах сверхъестественное незаметно, исподволь вырастает из обыденного и становится оттого еще более страшным. Роман Поланский в «Ребенке Розмари» и «Жильце» или Стивен Спилберг в первой половине «Челюстей» сумели с помощью этого приема добиться действительно сильного эффекта воздействия на зрителей.

Раньше Голливуд никогда не разрешал торжествовать злу. Сегодняшний фильм ужасов обходится без счастливого конца. Пессимизм во многом соответствует настроениям зрителей. Рон Розенбаум наглядно показывает это на сравнении двух фильмов по одному и тому же сюжету. Во «Вторжении похитителей тел», поставленном в середине 50-х годов, герой убегал от захвативших его в плен пришельцев и добирался до ФБР, которое — у зрителя не оставляли в этом сомнения — с ними должно управиться. Совсем иначе заканчивается одноименный фильм конца 70-х годов: герой подчиняется пришельцам, а зрителю дают понять, что человечество обречено на уничтожение. В «Ужасе Эмитивиля», действие которого происходит в США в середине 70-х годов, священник, попробовавший вступить в бой с терроризировавшим обитателей уединенного особняка привидением, терпит поражение и уезжает, бросив свой приход. В «Кануне дня всех святых» убийца-психопат оказывается сверхчеловеком, неуязвимым для пуль.

Рон Розенбаум задает вопрос:

«Не отражает ли обилие этих сеющих отчаяние и деморализующих развязок стремление, свойственное носителям коллективной психологии любителей ужасов,— стремление подчиниться, быть одержимыми? Не это ли стремление заставляет одних предаваться фанатизму религиозных культов, а других толкает к ... светским храмам, где показывают фильмы ужасов? На этом глубинном уровне феномен ужасов становится чем-то бо́льшим, нежели консервативная критика человеческого потенциала: это — религиозный феномен».

В начале статьи, анализируя развитие жанра, Рон Розенбаум писал о жизненной подоплеке фильмов ужасов. Сейчас он ее уже не признает:

«Очень заманчиво увидеть социальные мотивировки в содержании фильмов ужасов. Можно, например, сказать, что недавняя волна вторичных экранизаций историй о вампирах отражает наш национальный ужас перед нехваткой горючего, и образ преследующего нас вампира возник под воздействием жажды пополнить жизненные истоки нашей индустрии».

Начало цитаты указывает, что по этому «заманчивому» пути автор не пойдет. Многие же его соотечественники прямо говорят о социальной обусловленности подобных явлений в кинематографе. Приведем два интересных высказывания на эту тему.

Первое принадлежит Джону Франкенхеймеру, известному американскому режиссеру, недавно поставившему уже упоминавшийся фильм «Пророчество», где появление чудовища отнюдь не связано с вмешательством сверхъестественных сил. В картине слышится отзвук трагедии, произошедшей в Японии, когда в результате отравления воды ртутью, подобного тому, что описано в фильме, сто тысяч человек погибли. И вот в недавнем интервью журналу «Филмз энд филминг» Франкенхеймер так ответил на вопрос корреспондента о том, какова причина неувядающего успеха гангстерских картин, мелодрам и «гиньолей»:

«Честно говоря, я думаю, что при той экономической ситуации, которая сложилась сейчас в стране, люди просто боятся реальности: она слишком неутешительна. Они не хотят видеть, что делается с ценами. Если вы рядовой зритель, то вам приходится вести ежедневную борьбу за существование. Невозможно ничего заранее планировать и загадывать. События вокруг развиваются со скоростью пулеметной очереди, инфляция растет с удвоенной скоростью, ситуация на Среднем Востоке становится все более напряженной».

Другое свидетельство принадлежит журналу «Тайм». Правда, речь идет не о фильмах ужасов, а о фильмах-катастрофах, но сути дела это не меняет.

«Почему публика так увлекается землетрясениями, пожарами, погибающими кораблями или чудовищными акулами? Главная причина популярности этих фильмов заключается в том, что мы сталкиваемся с большинством подобных проблем вне экрана. Глядя на страдания других, мы даем выход нашим собственным страхам. Все наши страхи по поводу продовольственного и энергетического кризисов, инфляции и безработицы становятся менее значительными, если сравнить их с землетрясением, в котором погибают тысячи людей, или акулой, разрывающей человеческие тела на части».

Итак, по мнению влиятельного журнала и знаменитого режиссера, главная причина — в эскапизме («to escape» — бежать, в данном случае — бежать от реальности). Однако есть и еще один немаловажный стимул. Он связан с изменением традиционной системы моральных ценностей, с отказом от аскетических заповедей пуританизма. Материальный достаток и отсутствие высоких духовных интересов привели многих американцев к непрестанной погоне за удовольствиями и острыми ощущениями. Известный журналист Уильям Цинсер в статье, опубликованной в «Ридерс дайджест», жаловался на то, что «погоня за наслаждениями стала сейчас самым популярным спортом Америки». Она породила тягу ко все новым будоражащим чувства средствам, будь то в жизни, спорте или искусстве. Поставщиками «мурашек» и стали фильмы ужасов. Рои Розенбаум же предпочитает сосредоточить внимание на совсем другой трактовке проблемы. Он пишет:

«Воскрешение ужасов может рассматриваться и как теневая сторона движения за сохранение человеческого потенциала».

Теория «человеческого потенциала» во многом базируется на постулате, наиболее полно изложенном Зигмундом Фрейдом в его книге «Я и Оно». Идеальному *Я*, к которому стремится человек, там противопоставляется Оно, под которым Фрейд имел в виду «бессознательное» и гнездящиеся в нем половой и агрессивный инстинкты. Это-то «бессознательное», по мнению Розенбаума, и жаждет ужаса. Следуя фрейдистской же компенсаторной функции искусства, он считает, что, давая таким образом выход низменным инстинктам, человеческое Я становится лучше.

Рон Розенбаум входит в противоречие с самим собой. Кто может утверждать, размышляет он в другом месте статьи, что преступник Чарльз Менсон, называвший себя сыном дьявола, не руководствовался в своих действиях содержанием фильма «Ребенок Розмари» и что он лишь случайно выбрал для изуверского убийства жену режиссера этого фильма — актрису Шэрон Тейт? Конечно, точно установить взаимосвязь в таких случаях невозможно. Но совершенно очевидно, что на нестабильную психику, в первую очередь детскую и юношескую, такие зрелища могут оказать вредное влияние. Еще в 20-х годах известный советский ученый Л. С. Выготский в книге «Педагогическая психология» писал:

«Если ребенок с детства приучивается верить в «буку»... он либо путается, либо тянется к этому волшебному миру, но никогда не остается пассивным по отношению к нему. В мечтах или желаниях, под детским одеялом или в темной комнате, во сне или в испуге, он всегда реагирует чрезвычайно повышенным образом, и поскольку система этих реакций закрепляется на совершенно фантастической и ложной основе, постольку у ребенка систематически воспитывается неправильное и ложное поведение».

Что бы сказал он, если бы дожил до того времени, когда ребенку показывают уже не «буку», а леденящие кровь ужасы? Недаром американский психиатр Фредерик Вертем еще четверть века назад требовал цензуры над комиксами, в которых встречаются такие эпизоды, как «рассечение ножом лица хорошенькой девушки», «отрезание ей языка», «протыкание глаза ледяной сосулькой» и т. д. и т. п. Экран же обладает большей долей достоверности и сильнее воздействует на чувства, чем рисунок.

У нас нет конкретных социологических данных по воздействию фильмов ужасов. Но можно привести выдержку из решения спецнальной подкомиссии Сената США по вопросам детской преступности. Там говорится:

«Свидетельства и впечатляющие результаты исследований выявляют прямую связь между показом жестокости и преступности по телевидению и антиобщественным поведением молодых зрителей».

Да и сам Розенбаум рассказывает о том, как на одном из фильмов ужасов возбужденные зрелищем молодые люди, сидевшие на балконе, спрыгнули вниз, в партер, и начали избивать респектабельных горожан, попутно отнимая у них сумки и бумажники.

За несколько страниц до своего обращения к Фрейду Рон Розенбаум писал следующее:

«В драмах одержимости и психоза... внешний вид человека чаще всего остается тем же самым; уничтожаются, порабощаются, предаются забвению внутреннее содержание — личность, воля, душа».

Это, на наш взгляд, гораздо ближе к истине. Ибо фильмы ужасов являются лишь еще одним инструментом нивелировки личности, которых так много в арсенале манипулирования общественным сознанием на Западе. Но «внутреннее содержание — личность, воля, душа» определяется преимущественно разумом, а именно его превалирующее значение отрицает та философия, которую исповедует Рон Розенбаум. Он пишет, что ему по душе некий апокрифический миф о племени обезьян-убийц, пожиравших мозг своих жертв, пока их собственный не раздувался до огромных размеров. Они-то, считает он, и породили современную цивилизацию, а наше общество лишь «тонкая и ненадежная перегородка, отделяющая рациональное сознание от первобытного внутреннего аппетита, голода по ужасу, который требует удовлетворения кошмарными сенсациями».

Сомнение в ведущей роли разума, которое высказывает Рон Розенбаум, попытка подменить рациональное эмоциональным — одна из основных черт современной западной философии, проявляющейся и в массовом искусстве. Она утверждает, что инстинкты выше сознания, вера выше разума и потому те виды духовной деятельности, которые на ней базируются, то есть искусство и религия, тождественны. Так мы снова возвращаемся к утверждению Рона Розенбаума, что феномен фильма ужасов по самой своей сути — религиозный феномен.

Мысль о том, что эскапистское искусство на Западе во многом выполняет одинаковую с религией функцию и дает образ мира, не похожего на тот, в котором мы живем, высказывалась не раз и не лишена оснований. Однако Розенбаум скорее имеет в виду другое: веру в происходящее на экране, полнейшее вовлечение в действие зрителей, что делает тождественными просмотровый зал и кирху, костел или мечеть. Он рассказывает о своем посещении кинотеатра, где шла чрезвычайно популярная у молодежи лента «Панорама фильмов ужасов века рок-н-ролла» — пародия на картины этого жанра 50-х годов, сделанная в духе 70-х. Зрители были в основном белыми молодыми людьми, явно из состоятельных семей. Перед просмотром автор познакомился с одним из них — парнем,

одетым в костюм героя картины, и тот сказал, что будет смотреть фильм в 197-й раз. Тут же он представил двух «стопятидесятников» и трех «сотников», тоже одетых как герои «Панорамы». Во время сеанса аудитория была предельно «вовлечена» в происходящее на экране. Как только там появился свадебный кортеж, его закидали специально принесенным из дома рисом. Когда разразилась буря с дождем, зрители выхватили из карманов водяные пистолеты и начали поливать друг друга. На подобных картинах, замечает далее автор, публика ведет себя так, как будто в нее саму вселился дьявол, и делает вывод, что такого рода просмотры приобретают ритуальный характер.

Если рассматривать искусство с этой точки зрения, то с еще большим правом можно назвать религиозным культом концерты популярных певцов, на которых неистовствует молодежь. Во всякой же пародии, в том числе и той, на просмотре которой присутствовал Розенбаум, есть известная доля скептицизма, о чем он сам и пишет. Реакцию аудитории в таких случаях скорее можно объяснить не религиозным фанатизмом, а интересом к смакованию двусмысленных ситуаций, подаваемых в «страшном ореоле».

Подобный подход к искусству в последние десятилетия широко распространился на Западе и даже получил название — «кэмп». По мнению американской писательницы и кинокритика Сьюзен Зонтаг, «суть кэмпа — пристрастие ко всему неестественному, искусственному, чрезмерному», что в изобилии присутствует в упоминавшейся выше картине и многих других фильмах ужасов. Причем чем хуже в художественном отношении такие ленты, тем большим успехом они пользуются у определенной части зрителей, составляющей даже специальные списки «худших фильмов года», которые, по ее мнению, надо смотреть.

Кэмп — это своеобразный снобизм зрителей, ищущих все новые и новые острые ощущения. Предельная вовлеченность его адептов имеет совсем иную подоплеку, нежели религиозный фанатизм, в основе которого лежит слепая вера.

«При виде повального увлечения ужасом,— пишет Розенбаум в конце статьи,— у меня возникает чувство, что слишком короткий день просвещенности погрузился в сумерки и мы снова сидим, согнувшись, в пещерах, следя за бликами света от костра на стенах и ужасаясь при мысли, что может принести нам ночь... Я понимаю, что этот феномен ужаса создается умудренными манипуляторами, имеющими дело со словом и образом. Они похожи на ученых, которые в лабораториях пробуют испытанные временем формулы на крысах для получения заранее предсказанных результатов. Именно поэтому я отношусь с глубоким недоверием не только к темноте на экране, но и к тому, что может быть пробуждено с ее помощью в душах зрителей».

В свете этого высказывания «странный поворот к ужасу» представляется не столько странным, сколько закономерным, вытекающим из самой сути политики манипулирования умами людей. При этом, как мы могли убедиться, учитывается все: социальные и экономические неурядицы, актуальные тенденции общественного сознания, страсть к острым ощущениям. Но отнюдь не преследуется главная цель подлинного искусства — сделать человека лучше.

Е. КАРЦЕВА

◆

Публицистика

ПРОБЛЕМЫ ИДЕОЛОГИИ

Л. ТОДОРОВА

«СВОБОДНЫЙ ПОТОК ИНФОРМАЦИИ», ИЛИ КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКСПАНСИОНИЗМ США

В динамично развивающихся международных отношениях процесс разрядки, очевидно, не следует рассматривать как не знающую препятствий линию восхождения. В той или иной их области, на том или ином этапе могут иметь место моменты усиления противоречий, периоды острых политических и идеологических конфронтаций. Это — объективная историческая реальность непримиримого идейного противостояния и противоборства двух миров.

Весь арсенал средств идеологической экспансии приводит в действие капитализм с целью завоевания умов и сердец миллионов людей; радио, телевидение, кино, печать изо дня в день извергают потоки провокаций, клеветы, дезинформации. Любой ценой вызвать недоверие к перспективам, очерчиваемым разрядкой: разжиганием националистических и шовинистических страстей, раздуванием кампаний антисоветизма и антикоммунизма,— такова их цель.

Особо важное место выделила современная эпоха культуре и культурному обмену между различными странами и системами. С одной стороны, эта сфера международных отношений может содействовать многосторонним контактам, преодолению предрассудков и догм, наслоившихся в период «холодной войны», созданию условий для прочного мира и сотрудничества между народами. С другой стороны, она оказывается ареной ожесточенных идейных столкновений.

Явление с собственной спецификой и особо одиозными последствиями — «американизация» в сфере культуры. Разрушительная стихия эта подобно урагану сминает национальные черты, народные традиции, чтобы утвердить определенные стандарты, массовые образцы и клише в музыке, кино, литературе, изобразительном искусстве, в поведении людей,— и все это якобы с намерением «интернационализировать» культуру. На самом деле часто выдвигаемый американскими теоретиками лозунг о «космополитизме в культуре» не означает ничего другого, кроме стремления к ее денационализации, к унификации ее национальных черт. Это всего лишь начало процесса, в ходе которого стираются на-

ЛИЛИЯ СТОЯНОВА ТОДОРОВА

Болгарский ученый-социолог. Окончила философский факультет Софийского университета и Академию общественных наук при ЦК КПСС. Автор ряда статей по вопросам философии и современной культуры.

В «Иностранной литературе» (№ 1, 1978) напечатана ее работа «Мифы о конвергенции и культурный обмен».

Публикуемая статья получена редакцией в рукописи.

циональные особенности и характеристики, неповторимая самобытность и колорит, насущно необходимые любой культуре. Истинным содержанием американской экспансии оказывается духовная колонизация миллионов людей на земном шаре, стремление повсеместно утвердить образцы и нормы буржуазной идеологии.

Гегемонистские притязания американского империализма имеют длительную историю, но сегодня они раскрываются в рамках сложного комплекса связей, взаимопритяжений и отталкиваний — между США и остальными капиталистическими странами.

Разумеется, классовый союз этот, скрепляемый общими интересами буржуазии, испытывает влияние центробежных и центростремительных сил. С одной стороны, это межимпериалистические противоречия, его ослабляющие, а с другой стороны — конфликт между трудом и капиталом, между социализмом и капитализмом, играющий роль социального фактора, способствующего преодолению или смягчению экономических и политических столкновений между капиталистическими странами.

Межимпериалистические противоречия в сфере культуры и культурного обмена носят специфический характер, обусловленный родственной, идеологической основой, задачами борьбы против коммунистических идей и социализма, за распространение буржуазных идеалов. Противоречия в этой области проявляются довольно слабо, все чаще наблюдаются крупные совместные антисоциалистические действия в области культурного обмена, координируемые и руководимые США и направленные против деятельности компартий, против социалистической системы, против всех прогрессивных и демократических движений в мире. Во имя общих конечных устремлений отдельные капиталистические страны проявляют при этом готовность к компромиссам и уступкам перед мощной империалистической силой, навязывающей свой контроль в наиболее ответственных сферах культуры и информации.

Международные рынки буквально наводнены изделиями телевизионной продукции США. Из 134 стран, у которых есть собственное телевидение, в 130 транслируются в разных количествах американские телевизионные программы: детективные серийные фильмы, музыкальные программы, комиксы обеспечивают широкое присутствие американской модели в домах миллионов людей, которым внушаются определенные социально-политические и идеологические взгляды. Средства массовой коммуникации превращаются едва ли не в главное орудие формирования и ориентации международного общественного мнения.

Вслед за Соединенными Штатами, задающими тон шумным идеологическим антисоциалистическим и антидемократическим кампаниям, в общий хор вливается «информационный оркестр» Запада.

Уже более двух десятилетий США осуществляют свою политику информационной экспансии в Западной Европе, Латинской Америке, Азии, Африке, Австралии под прикрытием тезиса о так называемом «свободном потоке идей, информации и людей».

«Феномен информации,— писал профессор Калифорнийского университета Герберт Шиллер в «Монд дипломатик» (ежемесячном приложении к влиятельной парижской буржуазной газете «Монд»),— окружен в США могучими мифами. В облике, который старается придать себе индустрия культуры и человеческого общения, подчеркивается своеобразие, плюрализм, участие в свободном обмене идеями. Однако это не имеет ничего общего с действительностью». Как известно, своего апогея кампания пропаганды «потока свободной информации» достигла во время подготовки и проведения Общеевропейского совещания по безопасности и сотрудничеству. Упор демагогически делался прежде всего на гуманитарные проблемы: настаивали на том, чтобы социалистические государства создали благоприятные условия для широкого проникновения информации из буржуазного мира.

При подписании документов совещания тогдашний президент США Джеральд Форд подчеркивал в своей речи «необходимость более свободной циркуляции информации, идей и людей; большей свободы обмена в области печати, культуры и образования, в общении семей... знакомстве с бесценным наследием культур двух мировых систем». Дж. Форд «отечески» наставлял «страны Востока»: «принципы, по которым было достигнуто согласие на совещании, являются частью великого наследия европейской цивилизации, которое все мы должны оберегать для человечества».

Однако оставим в стороне абстрактные рассуждения бывшего президента США. После того как американцы впрягли новейшие достижения научно-технической революции и огромный аппарат средств массовой информации в колесницу американизации европейской культуры, хлопоты президента о судьбах «великого наследия европейской цивилизации», его заверения в «глубокой озабоченности американского народа и его правительства правами и основными свободами человека» выглядят более чем циничными. Если что действительно угрожает европейской цивилизации, то именно непрерывно усиливающееся американское идеологическое вторжение на Старый континент, осуществляемое с помощью американских долларов и американской массовой культуры и преследующее весьма далекие от лозунгов «прав человека» политические и идеологические цели.

Сразу же после подписания Заключительного акта в Хельсинки американские средства массовой информации не замедлили лаконично квалифицировать его в формулах: «ничего нового», «ничего особенного». Эти важные документы подавались в трактовке, удобной для Соединенных Штатов, заложенные в них идеи грубо подменялись. Был пущен в ход весь арсенал пропагандистских трюков: умалчивание, лживые доводы и аргументы, фальсификация. Мировой общественности пытались доказать, будто в итогах Общеевропейского совещания заинтересованы только социалистические страны, что Запад якобы пошел

им на уступки, способствующие укреплению позиций социалистических государств. Вывод напрашивался сам собой — необходима компенсация. И ее стали искать прежде всего в так называемой «третьей корзине», то есть в гуманитарной области. Отнюдь не озабоченные эквивалентным расширением культурного и информационного обмена, США усилили выступления за расширение доступа американской информации и культуры в другие страны мира.

■

Достижения научно-технической революции в сфере массовой коммуникации открывают возможности в неведомых прошлому масштабах влиять на сознание и поведение миллионов людей.

В США сейчас выделяются колоссальные средства на организацию мощных научных центров, занимающихся исследованием и разработкой наиболее эффективных форм и способов психологического воздействия на аудиторию с помощью средств массовой коммуникации.

Контроль над информацией выступает здесь отныне как часть национальной политики. Разрабатывается целостная система методов идеологической обработки читателей, зрителей, слушателей, вводятся в действие все новые и новые инструменты поддержки акций американского правительства.

Еще много десятилетий тому назад анализ механизмов пропаганды империализма позволил В. И. Ленину сделать вывод, что буржуазия «по искусству обманывать, развращать и подкупать рабочих не имеет себе равной на свете» [1].

Американские теоретики пропаганды, огромный пропагандистский аппарат не пользуются такими понятиями, как «империализм», «капитализм», «расизм», «классовая борьба». Смысл их они маскируют соответствующей абстрактной терминологией, превозносящей «общество всеобщего благоденствия», «свободный мир» с якобы присущей ему «классовой гармонией». На слово «пропаганда» наложено табу — не потому что пропаганда не ведется. Наоборот, она ведется — прямая и косвенная, гибкая и безоглядная, тактически изощренная и грубая, фактологическая и социологическая, индивидуальная и общая, но в большинстве случаев — конкретная и целенаправленная. Только об этом не любят говорить.

В завлекательных упаковках американская кино- и телевизионная продукция пропагандирует буржуазную идеологию и мораль, расизм и нетерпимость к политическим противникам, психологию насилия и страха, жестокость, цинизм. Публике внушаются потребительские взгляды, навязываются фальшивые социальные критерии справедливости, свободы и благополучия.

Навязчивая, назойливо повторяемая информация, нередко беспорядочная, мозаичная, идущая вразрез с реальной логикой событий, становится источником беспокойства, растерянности, порождает страх, обусловленный невозможностью управлять процессами и явлениями в общественном организме, вызывает социальную инертность и безразличие, способствует возникновению герметически замкнутых групп. Именно такая политическая апатия и пассивность создают необходимые благоприятные условия для функционирования буржуазной экономической формации, для формирования субъективно-идеалистического подхода к действительности.

Информация, распространяемая американскими средствами массовой коммуникации, усиливает процесс десоциализации людей, ведет к общественной нейтрализации индивида, существенно меняет и деформирует «культурный климат».

«Свобода печати,— писал В. И. Ленин,— во всем мире, где есть капиталисты, есть свобода *покупать* газеты, *покупать* писателей, *подкупать* и покупать и фабриковать «общественное мнение» *в пользу буржуазии*» [1].

Через буржуазную прессу капиталисты всех стран стараются «отвлекать внимание народных масс от действительно серьезных, глубоких и коренных вопросов их жизни» [2]. Буржуазия обеспечивает гласность «только формально, на деле подчиняя прессу капиталу, забавляя «чернь» пикантными политическими пустяками» [3].

Миф о том, что средствам массовой коммуникации в США предоставлена свобода «в интересах всего человечества», имеет целью внушить массам мысль о «независимом», «надклассовом», «нейтральном» и «беспристрастном» характере информации. Шумное пропагандирование американских концепций «индифферентности» и «биполярности», «централизации и децентрализации», «глобального контроля и локальной автономии», «аполитичности» средств массовой информации — все это политические маневры, которые вполне подходят для сценария, прославляющего американскую свободу и американский образ жизни.

При этом под напором внутренних социально-экономических, идеологических и нравственных проблем и складывающегося антиамериканского общественного мнения подчас США оказываются вынужденными разрешить известную децентрализацию, разумеется, в политически выгодных и допустимых рамках — с целью создать отдушину для протеста масс, одновременно поддерживая легенду о «свободе информации». Однако никакая словесная эквилибристика не в состоянии скрыть сущности протекающих процессов.

Либеральная на первый взгляд концепция «свободного потока информации» по существу не является ни демократичной, ни нейтральной — коммуникационный поток оказывается непосредственно связанным не только с политическими, но и с классовыми интересами правящей верхушки.

Массовые коммуникации все активнее используются как средство формирования общественных взглядов, создания настроений,

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 15, стр. 244.

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 44, стр. 79.
[2] Там же, т. 36, стр. 146.
[3] Там же, стр. 190.

Л. ТОДОРОВА

моделирования мирового общественного мнения — в дело идут при этом и умалчивание фактов, и препарированные инсценировки политических событий, и прямые инсинуации. И разумеется, одной из наиболее характерных тенденций этой пропаганды становится ее антикоммунистическая направленность.

■

В последние годы США все чаще обращаются к перспективному планированию американской внешнеполитической экспансии, имея в виду комплексное, всеобъемлющее проникновение, рассчитанное на «гарантированное» манипулирование сознанием, настроениями и потребностями людей, живущих далеко за пределами страны. Здесь создают теоретические доктрины ведения «конструктивной культурной политики» в век постиндустриального технотронного общества, программируют долгосрочный курс руководства духовными и культурными процессами во всем мире.

Отсюда поставляют сейчас основные концепции, потребные для идеологической борьбы с социализмом, здесь разрабатывается весь спектр тактических форм и средств распространения буржуазной философии, финансируются мозговые тресты, фабрики идей, чье назначение — производить многовариантные системы распространения американской культуры.

На цели информационной агрессии Соединенные Штаты мобилизуют огромные капиталы, создавая мощную техническую базу, привлекая себе на службу многотысячную армию журналистов, комментаторов, сценаристов, актеров, писателей. Владельцы крупных информационных корпораций любой ценой стремятся удержать мировое господство в этой области международных отношений, чтобы диктовать свою волю и порядки в сфере информации.

Не только развивающиеся, но и ряд европейских стран ощутили на себе мертвую хватку гигантских информационных монополий США, которые отвели им лишь роль потребителей американской информации, политики и идеологии, стремящейся закрепить за собой право навязывать другим народам свой образ жизни, свои стандарты и принципы, выдавая их за оптимальные.

Бесконтрольный экспорт американской информационной продукции осуществляется такими гигантами, как агентства Ассошиэйтед Пресс и Юнайтед Пресс Интернэшнл, концерны газет и журналов, заграничные тиражи которых достигают огромных цифр: например, тираж журнала «Тайм» составлял 5 миллионов экземпляров. Огромными тиражами распространяется этот журнал в странах английского языка. Тираж журнала «Ридерс дайджест» — 11,5 миллиона, журнала «Ньюсуик» — 1,5 миллиона, причем «Ридерс дайджест» выходил на 13 языках в 25 изданиях.

Подобная картина наблюдается и в телевидении. В начале 70-х годов США ежегодно продавали в зарубежные страны свои программы на 100—200 часов телевизионного времени. Крупнейшие телекомпании Си-Би-Эс и Эн-Би-Си экспортировали свою продукцию более чем в сто стран. Около 200 документальных фильмов, распространяемых через заграничные телевизионные станции, пропагандируют американские взгляды по международным проблемам и американский образ жизни.

Национальные корпорации действуют параллельно с крупными межнациональными компаниями США или поглощены последними. Аналогичная ситуация и в сфере кино, массовых периодических печатных изданий, в издательской деятельности, в области радиовещания и телевидения. Таким образом оказывается эффективное воздействие не только на структуру и функционирование кино, радио, телевидения и печати, но и на всю культурную жизнь той или иной страны. К примеру, в период с 1950-го по 1972 год тираж канадских изданий американских газет и журналов увеличился в четыре раза, а общий доход от них вырос в восемь раз. В то же время перестали выходить 200 канадских газет и журналов. В начале 70-х годов в Канаде продавалось в четыре раза больше американских журналов, чем отечественных.

Десять межнациональных центров: АТТ, ИТТ, ИБЛ, «Дженерал электрик», «Вестинхауз», «Хьюз», три крупнейшие американские телевизионные корпорации Си-Би-Эс, Эн-Би-Си и Эй-Би-Си — установили глобальный контроль за большой частью международной сети информации. Западноевропейские гиганты в этой области либо интегрировались в американский информационный механизм, либо находятся в зависимости от него, точнее — от инвестиций американских финансовых монополий, которые в соответствии со своими внешнеполитическими целями и интересами направляют движение миллиардов долларов. О какой «свободной информации» можно говорить, если крупный пакет (47,1 процента) акций Си-Би-Эс принадлежал коммерческим банкам и страховым компаниям, 76 процентов акций Эй-Би-Си находились в руках финансовых учреждений и страховых компаний, а в списке руководящих органов и институтов, занимающихся исследованием проблем внешнеполитической стратегии и тактики Си-Би-Эс, значились Совет по международным отношениям, Комитет по экономическому развитию, Институт проблем обороны, радио «Свободная Европа», «Ресурсы будущего», «Интернейшнл экзекютив сервис корпорейшн», «Ренд корпорейшн», «Американ эсамбли», Фонд Рокфеллера, научные центры и институты, работающие по заданию Пентагона, секретные службы и др.

Издание книг, журналов и газет, производство фильмов теле- и радиопрограмм находятся под контролем гигантских компаний, которые развивают деятельность в масштабах всей капиталистической системы и стремятся к глобальному ее охвату. «Например, «Уоркер коммюникейшнс инкорпорейтед»,— писал в «Монд дипломатик» Г. Шиллер,— так определяет свои функции: «Мы издаем и распространяем книги и журналы, рассчитанные на всякие вкусы. Мы производим всевозможные виды телефильмов, мультипликации, бульварные комедии, короткометражные фильмы, драматические серии. Словом... мы нахо-

димся всюду, где начинается будущее...». В настоящее время не менее десяти американских рекламных агентств господствуют на мировой арене сбыта и активно контролируют значительную часть информационной сети в Западной Европе и всюду, куда проник американский капитал. Крупнейшее в мире агентство «Дж. Уолтер Томпсон» получило за границей 45 процентов своих прибылей; другая гигантская рекламная компания США «Янг энд Рабикам» — 37 процентов, а «Маккенн-Эриксон» — 60 процентов.

До 1978 года особо ответственную роль в осуществлении американизации в области культуры выполняло агентство информации ЮСИА. С помощью 10 тысяч сотрудников эта служба создавала ежегодно 1700 телевизионных программ на 62 языках и радиопередач на 35 языках, которые распространялись более чем в 100 странах и на которые было израсходовано 200 миллионов долларов. Экспорт телевизионных программ колебался в пределах от 150 до 200 тысяч часов в год и приносил доход от 85 до 100 миллионов долларов. В Западной Европе и Юго-Восточной Азии расположены 34 американские телевизионные станции. Свыше 100 миллионов зрителей более чем в 110 странах мира смотрят 200 пропагандистских фильмов в год. В 93 страны для 247 библиотек и читален ЮСИА направило 1,6 миллиона книг, 22 тысячи периодических изданий. Передачи «Голоса Америки» транслируются на 36 языках по 789 часов в сутки. Радиостанция пользуется 115 ретрансляторами, охватывающими все континенты. Регионы, представляющие для США особый экономический, политический и идеологический интерес, подвергаются особо интенсивной массированной обработке. Эта широкая и активная международная деятельность осуществлялась заграничными представительствами ЮСИА, слитыми с культурно-информационными отделами посольств.

Какие причины заставили Конгресс и администрацию Картера внести изменения в организационную структуру внешнеполитической информационно-пропагандистской системы США?

В самом деле, еще в 1973 году комиссия сената выразила недоверие к деятельности ЮСИА и, точнее, к значению и смыслу пропагандистских акций, к «логике» проводимых мероприятий. Достижению главной цели — внедрению «привлекательного образа Америки» — препятствовали многие факторы. На фоне войны во Вьетнаме, Уотергейта, расизма, безработицы, террора секретных американских ведомств и т. д. ЮСИА не могла похвастаться высокими достижениями.

Перед вновь созданным Агентством информации и культурного обмена консультативная комиссия сената по вопросам информации выдвинула следующие основные задачи:

1. С помощью целенаправленных и планомерных акций обеспечить поддержку внешнеполитическому курсу США со стороны широкой международной общественности.

2. Активнее пропагандировать за рубежом «достоинства и преимущества» американского образа жизни.

3. Активнее способствовать распространению за рубежом проамериканских симпатий и взглядов.

4. Использовать положения «третьей корзины» Заключительного акта, чтобы находить новые формы и методы «информационного и идеологического проникновения» в СССР и другие социалистические страны.

5. Отвести подобающее место в идеологической концепции американской внешней политики «защите прав человека».

Эти рекомендации являются документом о подлинных внешнеполитических целях США в области культуры и идеологии и в то же время точным ответом на вопрос о том, насколько на практике применяются решения Общеевропейского совещания по вопросам безопасности и сотрудничества.

Новые акценты весьма симптоматичны. Они указывают на то, какое значение придает администрация США укреплению пропагандистского комплекса как орудия внешней политики под непосредственным руководством государственного департамента,— недаром директор вновь созданного агентства возведен в ранг главного советника президента.

Агентство информации и культурного обмена, окончательно сформировавшееся в 1979 году, в первый же год получило 393 миллиона долларов, то есть на 120 миллионов больше, чем было выделено ЮСИА за год предыдущий [1]. Важную роль в системе совершенствования его организационной структуры играет консультативная комиссия, разрабатывающая стратегические и тактические программы для различных политических и географических регионов мира, исследующая эффективность пропагандистских мероприятий и использующая в своих рекомендациях и анализах разработки примерно 150 организаций и 200 университетских кафедр, специализирующихся в этой области.

Колоссальный идеологический аппарат этот непрерывно совершенствуется под неотступным наблюдением правящих кругов. С помощью специально создаваемых научных институтов разрабатываются комплексные системы, поддерживающие определенный уровень некомпетентности, апатии, прямой дезинформации посредством огромного потока дешевых сенсаций, сентиментальных сочинений и экономической рекламы.

Надо ли говорить, что инициаторы крестового похода за глобальную свободу информации освобождают себя от какой-либо социальной и правовой ответственности перед странами, в которых она распространяется, а также перед международной общественностью.

[1] По недавно опубликованным данным только бюджет подрывных радиостанций «Свобода» и «Свободная Европа», вещающих на Советский Союз, предполагается увеличить до 113,5 миллионов долларов. Бюджет «Голоса Америки» доведен до 83 миллионов долларов, а в следующем году достигнет примерно 100 миллионов долларов. *(Прим. ред.)*

Американские средства массовой коммуникации старательно ограничивают выбор информации — они предлагают широкой публике единственный вариант интерпретации фактов социальной действительности. Обзорные телевизионные программы, очерки, фильмы, информационные передачи, предназначенные для зарубежной аудитории, рисуют оптимистическую картину бесконфликтной, счастливой американской действительности, насаждая в сознании людей потребительство, конформизм, веру в капиталистическую систему. Анонимная «индустрия информации и развлечений», «фабрика иллюзий» имеет совершенно реальную классовую функцию — компенсировать серое, безрадостное существование индивидов, выдвигая в качестве модели раскрашенный в розовые тона образ современного среднего американца с его потребностями, с его отношением к материальным ценностям и с его моралью.

Рекламируя достоинства американского образа жизни, его преимущества перед всеми остальными, новая система психологических, идеологических и экономических форм и методов обработки сознания зарубежных читателей и слушателей делает упор в первую очередь на их эмоции, чаще обращается к художественным средствам воздействия.

«Несколько лет назад,— писал Г. Шиллер,— всемирно известная кинопромышленная фирма «Уолт Дисней продакшнс» подсчитала, что 100 миллионов человек еженедельно смотрят один фильм Диснея, 800 миллионов читают одну книгу или один журнал Диснея, 50 миллионов слушают пластинки или танцуют под музыку Диснея. 150 миллионов просматривают комиксы Диснея. Через посредство всей этой многообразной сети, руководимой из единого центра, упорно проводится одна мысль: «Вот вам мир, который не знает социальных конфликтов». «Диснейлэнд» и «Дисней продакшнс» служат наглядным примером соединения воедино развлечения, предпринимательства и идеологии — синтеза, который все более широко заявляет о себе в США и всюду, куда проникает влияние американских средств информации».

«Империя развлечений» Уолта Диснея — пример современного конгломерата, включающего ряд крупных компаний, исследовательских центров, издательств и т. д., где производятся и фильмы, и пластинки, и книги, и телевизионные программы, и все, что может служить подтверждением мысли о том, что США — это «мир без социальных конфликтов».

Американская кинопромышленность нашла десятки вариантов «гибкого» проникновения в Европу: в одних случаях американские монополии действуют как партнеры (в Италии и Франции), в других — как независимые филиалы национальных кинокомпаний (в ФРГ), в третьих — наводняют рынок американской кинопродукцией, вытесняя национальное кино.

Данные официальной статистики говорят о том, что в США производится 200—220 фильмов в год. Эта цифра не отражает истинного положения в производстве кинофильмов. Каждый год на белый свет появляется дополнительно около 100 американских фильмов как продукция других стран. То, что они снимаются на Ривьере, в Греции, в Швеции или в Англии, не определяет их принадлежности той или иной стране, ибо на поверку выходит, что политические, идеологические и художественно-эстетические качества и цели фильма определяет страна, которая оплачивает расходы на его создание и демонстрацию. А платят США, и, следовательно, публика будет смотреть модели американской «массовой культуры».

Американская киноиндустрия подчинила себе значительную часть английского и французского производства фильмов, а во многих странах мира она создала свои кинокомпании. Экономическое господство ведет к господству идейно-эстетическому.

Английский кинокритик и журналист Кен Влашин, директор Лондонского международного кинофестиваля, сказал в одном из интервью: «Американцы, которые раньше финансировали фильмы Англии, перестали вкладывать в них деньги, так как эти фильмы им не нравятся. Многие известные режиссеры — Джон Шлезинджер, Карел Райс, Тони Ричардсон и другие — поступили на работу в Голливуд. И сейчас произошли некоторые перемены — американцы начали снимать свои фильмы в Великобритании, используя ее съемочные кадры и технику (например, «Межзвездная война» Джорджа Лукача, «Супермен» Клифа Донара и др.). Так что английские работники кино постоянно заняты, но не в своем, а в американском кино».

По поводу американской экспансии в культурной жизни Франции Жан-Клод Тексье и Анри Гобар констатируют: «Шоубизнес также находится под большим влиянием США. Большинство произведений современной легкой музыки импортируется из США, а парижский театр ориентируется на Бродвей. Кроме того, Франция покупает в США больше фильмов, чем в любой другой стране. Что касается телевидения, то оно использует не только многочисленные американские фильмы, но также телевизионные серии. В сущности, опасно не только то, что США экспортируют «товары культуры», но также и то, что они налагают свой отпечаток на многие их виды».

Особенно сильно американское влияние чувствуется в области рекламы. Если «Гавас» и «Пюблисис» занимают два первых места в классификации французских рекламных агентств и контролируют вместе со своими филиалами 40 процентов французского рынка, межнациональные агентства, обосновавшиеся в Париже, контролируют 30 процентов рынка. Из 12 ведущих французских агентств 8 — американского происхождения.

«Интернационализация» американской кинопромышленности проявляется и в производстве совместных фильмов, то есть на американские средства — силами европейских актеров и режиссеров. Такое «соучастие» широко открывает двери американской продукции в соответствующей стране, отменяя, таким образом, таможенные, финансовые и цензурные барьеры. В пос-

леднее десятилетие количество такой «совместной» продукции быстро увеличивается.

Вытесняя национальные кинокомпании, американцы добиваются господствующего положения на Старом континенте. Так, например, из 86 фильмов, демонстрировавшихся во французской столице в феврале 1979 года, 31 был американский, 29 французских и 26 — продукция остальных национальных кинематографий.

Подобная картина наблюдается и в Австрии, где за этот же период на экранах 76 кинозалов шло 48 американских фильмов. Такое же положение в Англии, Италии, ФРГ, да и во всей Западной Европе.

Подъем в области производства фильмов США (1978 год был рекордным для американской кинематографии) принес огромные прибыли в кассы продюсеров. Конечно, причины следует искать и в умении американцев подстраиваться под моду, вкус и потребности широкой публики, предвидеть ее спрос на определенные виды развлечений и вовремя готовить продукцию для массового потребителя. С участием ученых (психологов и социологов) и, конечно же, талантливых киноработников публике через фильмы с успехом внушаются определенные идеи, принципы, вкусы, формируется в определенном направлении общественное мнение миллионов зрителей за пределами США.

Так, например, в пору, когда еще не отшумела рекламная буря вокруг фильмов «Межзвездная война» и «Встречи третьего вида», машина пропаганды уже завертелась на полные обороты, прокладывая путь герою комиксов — «Супермену». В декабре 1978 года этот фильм был показан одновременно в 700 крупных кинотеатрах США, Канады, Западной Европы и других стран. Фантастический финансовый успех позволил ему побить рекорды в американском шоу-бизнесе. Широкая реклама этого фильма началась за четыре года до его появления на экранах. В 1974 году во время кинофестиваля в Канне над городом кружил самолет с широкой лентой, на которой было написано: «Супермен». На фестивале 1975 года самолетов было уже три, а в 1976-м — пять самолетов и три вертолета. Позднее кроме авиации в рекламу был подключен и морской флот — восемь судов рекламировали тот же фильм. Почему именно эта лента вызвала озабоченность и заинтересованность не только рекламных служб, но и ряда других американских ведомств? Причину отнюдь нельзя искать только в факте, что на ее производство затрачено 50 миллионов долларов. Американская кинопромышленность не впервые вкладывает в производство фильмов суммы, выражающиеся восьмизначным числом. Этот фильм, кроме всего прочего, является и важным документом пропагандируемых в США постулатов и ценностей. «Супермен» — посланец неба, которому предопределено судьбой поселиться в Соединенных Штатах, дабы он мог восстанавливать справедливость и сеять правду в мире, распространять «американский образ жизни» и американские критерии добра и зла, пропагандировать философию сильной личности.

На премьере кинофильма в Вашингтоне присутствовали сам президент Картер с группой высших чиновников Белого дома, которые, кстати, платили по тысяче долларов за билет. Это было своеобразным признанием удачного выполнения социально-психологических и идеологических задач, которые ставили перед собой авторы «Супермена»: создать образ молодого героя — писаного красавца атлетического телосложения, одаренного талантом находить выход из любой ситуации, воскрешать и спасать, способного вступить в поединок с суперпреступником и злодеем. Американский критик Джек Крол поместил в журнале «Ньюсуик» статью под заголовком «Метафизика поп-культуры», в которой подчеркивает, что все показываемое в фильме — безвкусное отражение идеалов американской массовой культуры, которая, на его взгляд, губит подлинную культуру. Но критические оценки фильма не помешали его герою — молодому полубогу-получеловеку — привлечь в кинотеатры десятков стран миллионы зрителей и принести огромные барыши его создателям. Такова история этого супербоевика, ставшего ярким примером четко запрограммированной коммерческо-идеологической операции, эффект которой измеряется не только горами зеленых банкнотов, но и силой идеологического воздействия.

Наглядный пример целенаправленного воздействия кинопропаганды являет бешеное увлечение рок-музыкой, охватившее в 1978 году Северную Америку и Западную Европу. Смесь вульгарности и невинности, уязвимости и нахальства, высокомерия и неуверенности — такой образ создал красавец Джон Травольта в фильме «Лихорадка субботним вечером», превратившем его в «мифическую личность». Только за один месяц это кинопроизведение принесло Голливуду 36 миллионов долларов. Герой фильма, продавец из магазина красок в бедном квартале Бруклина, едва дожидается конца рабочей недели, чтобы, повесив на грудь цепочку с медальоном и натянув брюки в обтяжку, унестись в царство высоких децибелов и урагана смешавшихся звуков, ритмов, цветов, судорог и конвульсий.

Многие критики отмечали, что, по сути, речь не идет о каких-то художественно-эстетических достоинствах фильма, а прежде всего о найденном способе максимальной эксплуатации рынка сбыта кинопродукции, тем более что преобладающей публикой в кинозалах является молодежь, поклоняющаяся божеству рок-музыки. И вот она снова очарована и снова обманута и оставлена без надежд, после чего она пытается найти спасение и на этот раз в сверкающем мире напомаженных иллюзий. Внешне бунтарь, Травольта дает новый рецепт, как следует жить: не к чему интересоваться будущим и прошлым, нужно только подождать конца рабочей недели, чтобы отдаться самозабвению бешеных танцевальных ритмов. Дискоэпидемия, планируемая на столах стратегов средств массовой информации и финансируемая кино-

---

Л. ТОДОРОВА
«СВОБОДНЫЙ ПОТОК ИНФОРМАЦИИ»...

бизнесменами, охватила Америку и по утоптанному коммуникационному пути добралась до Европы, чтобы залить ее этой новой волной ритмов и моделей поведения. Исполнив свою социальную функцию, «дискокороль» превратился в идола. Машина идеологии и пропаганды сделала свое дело. США поднесли миру ритм, танец, музыку и моду последних лет, удержав за собой амплуа «первооткрывателя» в области массовой культуры.

Тут следует добавить, что в создании всей этой лавины «кассовых фильмов» нередко принимают участие талантливые режиссеры, актеры, композиторы, художники, операторы, которые производят многообразную по жанрам, более и менее правдоподобную, фантастическую, сентиментальную продукцию псевдокультуры. Едва ли можно найти более точный барометр социального и духовного упадка западного общества.

«Кино шествует по всему миру,— пишет известный американский продюсер и режиссер Дерил Занук,— с одинаковым успехом доходя как до образованных, так и до безграмотных, как до людей в правительстве, так и до тех — вне правительства,— кто создает общественное мнение». Занук уточняет цели этой чрезвычайно эффективной зарубежной пропаганды: «Не один раз я заявлял, что американские фильмы — лучшее средство нанесения ущерба коммунизму». Это циничное признание вряд ли нуждается в комментариях. Надо добавить, что Занук — не случайная фигура в американском кино. Его имя не без основания связывается с господствующими в Голливуде течениями и тенденциями и с механизмами финансового и идеологического руководства кинобизнесом. Сформулированные им цели заложены еще в «производственном кодексе Занука», преамбула которого содержит основные принципы и требования: «Каждый американский фильм должен утверждать образ жизни в Соединенных Штатах как наилучший для любого человека. Каждый фильм должен быть оптимистическим и показывать «маленькому человеку», что когда-нибудь и где-нибудь он тоже добьется счастья». Таковы законы создания коммерческой кинопродукции. Они в силе сегодня, как были в силе 30, 20 или 10 лет назад.

И действительно, плеяда американских идолов шествует по киноэкранам Парижа и Рима, Лондона и Брюсселя, Бонна и Стокгольма, Амстердама, Афин, Вены — двери европейских столиц широко открыты для пропаганды американского образа жизни, для американизации культуры европейских народов.

■

Едва ли возможно обобщить все цифры и факты, которые бесспорно свидетельствуют об исключительной по масштабам культурно-информационной экспансии США. Если говорить точнее, то к ней подходит образ не «потока», а скорее всего «лавины» — слова, наиболее точно выражающего понятие «империализма в области культуры» — курса, осуществляемого методично, дифференцированно, ценой многих миллионов долларов и огромного количества техники, который всегда соотнесен с политическими, экономическими, идеологическими, военными и культурными целями и интересами США.

Понятие «обмен» предполагает адекватность, эквивалентность, взаимный интерес. Однако можно ли говорить об адекватности, если телевизионные передачи в странах Западной Европы содержат от 30 до 70 процентов американских материалов: многосерийные художественные и документальные фильмы, развлекательные и спортивные программы, телевизионные новости,— в то время как иностранные передачи по американскому телевидению составляют всего лишь один процент?

В США, как правило, не допускается импорт иностранных телевизионных фильмов, программ радиовещания и информации о событиях в мире. США планируют, организуют и направляют движение своего пресловутого «свободного информационного потока», плотно закрывая двери перед чужой информацией: даже закупленные фильмы, телевизионные программы и информационные передачи не доходят до миллионов американских зрителей и слушателей...

Исследования многих американских ученых пытаются отыскать «исторические корни» или «социально-психологические мотивы», способные оправдать американское присутствие в Европе. На самом деле задача их состоит именно в том, чтобы не раскрыть ни подлинных его причин, ни подлинных целей. Случайно затронув какую-нибудь из них, они ее преподносят в таком контексте или толкуют ее таким образом, что, естественно, обнажают логические противоречия с исходными теоретическими посылками.

Бывший заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам, сотрудник Брукинского института Ф. Трезайс заявляет, что США и Западная Европа связаны тесными узами, в основе которых находится «более или менее общая культурная и ценностная система; одинаковые, хотя и не идентичные, представления о национальной и региональной безопасности, растущая, хотя и не всегда осознанная, взаимная экономическая зависимость. Все это сближает атлантические страны, несмотря на действие мощных разделяющих сил». Автор предусматривает, однако, что отношения США с интегрированной Европой не будут развиваться односторонне. «США будут испытывать их неприязненное и враждебное отношение... Не только разные культуры, но и разные по сути дела проблемы, особенно в области экономики, будут предоставлять европейцам основания сопротивляться нажиму».

Не будем останавливаться на очевидных противоречиях в тезисах Трезайса, относящихся к характеру американской и западноевропейской культуры. На 11-й странице этой работы говорится о «более или менее общей культурной и ценностной системе», а на странице 42-й — о «разных культурах». Может быть, эти различия американцы хотят ликвидировать своим присутствием во всех областях социальной, политической и духовной жизни

Европы? Трезайс верно ощутил антиамериканские тенденции в Западной Европе — процесс все больше углубляющийся, которым нельзя пренебрегать, потому что — как справедливо отмечает автор — он является повсеместным.

Несбалансированный поток информации породил основательные требования установить новый порядок в этой области, который отвечал бы многообразным культурным и социально-политическим условиям отдельных стран мира, с их духовными потребностями, критериями ценностей, объективными, исторически сложившимися различиями в духовной культуре народов.

Миф о «свободном потоке информации», о ее «бесклассовом», «индифферентном» и «аполитичном» характере давно развенчан. Сейчас едва ли есть такая страна, где бы не сознавали пагубного влияния американского культурно-информационного империализма, который чаще всего маскируется демагогическими концепциями или фальшивыми филантропическими жестами.

«Еще недавно,— пишет в «Монд дипломатик» Арман Маттелар,— североамериканский аппарат рекламы мог ограничиваться замаскированной пропагандой моделей жизни и общественных отношений, соответствующих американскому образу жизни, расхваливая качество продукции своей экономики. Сегодня дело обстоит иначе: он расхваливает не только коммерческие товары, но и — совершенно недвусмысленно — модели политических режимов». Между тем в Заключительном акте Общеевропейского совещания по безопасности и сотрудничеству особо отмечается, что распространение информации за границей должно быть сообразовано с интересами взаимопонимания и уважения между народами, «государства — участники совещания будут воздерживаться от любого вмешательства, прямого или косвенного, индивидуального или коллективного, во внутренние или внешние дела, относящиеся к внутренней компетенции другого государства-участника, независимо от их взаимоотношений».

Пока что нет абсолютно никаких признаков, чтобы США готовились изменить свою политику в области информации и культурного обмена, дабы привести ее в соответствие с договоренностями в Хельсинки об эквивалентном обмене, хотя именно американские дипломаты с пеной у рта защищали положение о «свободной циркуляции идей, информации и людей», пытаясь представить его чуть ли не самым важным в отношениях между странами, принявшими участие в Хельсинской встрече.

И не парадоксально ли, что именно США стали инициаторами создания специальной комиссии для проверки того, как в Европе и, точнее, в социалистических странах осуществляются решения хельсинской «третьей корзины». Целью США было установить, насколько свободна дорога для проникновения американской информации в Европу — в Западную и Восточную. Администрация Картера намеревалась еще раз продемонстрировать миру свое «позитивное отношение» к претворению в жизнь документов Общеевропейского совещания, выступить в роли «контролера», «судьи», «мирового арбитра». И это в то время, когда означенная роль менее всего подходит США, ибо нет в мире другой страны, которая осуществляла бы столь безоглядный экспансионизм. Американские руководители упускают из виду одну деталь — главы государств подписались под документом сотрудничества, а не экспансии; взаимовыгодного и эквивалентного, а не одностороннего обмена; обмена подлинными художественными ценностями, а не пошлыми суррогатами.

Исполняется пять лет со дня подписания Заключительного акта Европейского совещания по безопасности и сотрудничеству между народами 35 стран Европы, Канады и США.

Каково отношение Соединенных Штатов в начале 1980 года к выполнению этих Документов, к проблемам укрепления мира и взаимопонимания? Ответ на этот вопрос дает известный американский дипломат и историк Джордж Кеннан в статье, помещенной в газете «Нью-Йорк таймс» (2. II 1980 года): «Я уже упомянул о военной атмосфере в Вашингтоне. Со времени окончания второй мировой войны в столице никогда не процветал столь милитаристский дух в разговорах и настроениях. Если бы туда попал какой-нибудь ничего не подозревающий иностранец, он пришел бы к единственному выводу, что исчерпана последняя возможность мирных решений и что, начиная с этого момента, только оружие, независимо от того, как оно будет использовано, может иметь значение». Профессор Кеннан очень точно уловил настроения, которые удалось создать картеровской администрации при исключительно активной помощи американских массовых информационных служб. Телевидение, радио и пресса в течение нескольких месяцев насаждают в США и за их пределами антисоветскую истерию, военный психоз, подрывая создававшееся с таким трудом и на протяжении долгого времени доверие, надежду на мирное будущее Европы, сотрудничество между странами Востока и Запада в материальной и духовной сферах. Правительство Картера объявило о прекращении всех форм экономического, научно-технического и культурного сотрудничества с СССР. Оно объявило и бойкот Московским Олимпийским играм. Однако американский Конгресс не сократил ни времени, ни миллионов долларов, предназначенных для субсидирования информационно-пропагандистских антисоветских радиопередач, транслируемых на СССР и социалистические страны. Напротив. Наблюдаются «трогательные проявления щедрости» со стороны государственного руководства и частных фондов. Эфир отравлен полуистинами, ложью, клеветой, шантажом и провокациями. И снова Америка — «инициа-

тор» акции, направленной на создание атмосферы страха, напряженности и «холодной войны». Таким бесславным путем она пытается расправиться с идеями Хельсинки и надеждами миллионов людей на мир и взаимопонимание. Именно этому негативному процессу в развитии международных отношений служит непрерывно расширяющаяся база и без того колоссальной американской информационной сети. Однако отказ США от культурного сотрудничества с СССР и стремление сократить культурный обмен с социалистическими странами нисколько не ограничили движения американского «свободного информационного потока» в Восточную Европу. В создавшейся международной обстановке американской пропагандистской машине отводится «ударная роль». Огромные средства выделяются в настоящее время на преобразование всей существующей системы радио и телевидения с максимальным использованием спутников. Неслыханной прежде оснащенности материальная база поставлена на службу идее завоевания господства в мире. Вложение миллионов и миллиардов долларов в эту сферу продолжается — и отнюдь не потому, что Соединенные Штаты заботятся об обмене духовными ценностями между различными странами и системами.

Не являясь приверженцами культурного изоляционизма, демократически настроенные круги всего мира настаивают на установлении более прогрессивного и справедливого порядка в области культурно-информационного обмена. Информационный империализм США вызывает естественную реакцию противодействия народов, живущих в странах с различными социальными системами. Эта волна недовольства отразилась и в выступлениях правительственных и неправительственных организаций мира, в которых осуждается экспансионизм США в сфере коммуникаций, его духовно-информационная агрессия. Общая идея этого противостояния — стремление сохранить неповторимый облик национальных культур, отстоять самобытность и традиции взаимодействующих культурных структур.

◆

«НЕТ!» ФАШИЗМУ, «НЕТ!» ВОЙНЕ

ДИК ВАЛДА

ОНИ БЫЛИ ДЕТЬМИ...

Собранные в этой книге признания роднит одно: их авторы были к началу войны и фашистской оккупации детьми. На этом, собственно, сходство между ними кончается.

Итак, опять книга о войне?

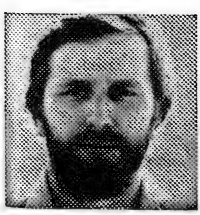
Да, и в первую очередь о том, как война, немецко-фашистская оккупация разрушали, уродовали детские души — проблемы эти и в наши дни не перестают тревожить сознание и совесть.

В Нидерландах живет несколько миллионов человек, чьи воспоминания о войне тесно переплетены с голодом, болезнями, изнурительными работами, смертельным страхом. Примерно 30 тысяч человек перенесли глубокие эмоциональные и психологические травмы в результате своего горького детского опыта. Основная причина — соприкосновение с фашизмом.

Как известно, мировоззрение взрослого человека в немалой мере формируется под влиянием тех жизненных обстоятельств, в которых проходило его детство, вот почему мне было важно понять структуру внутреннего мира детей той поры. Особую проблему представили в моих встречах беседы с детьми из кругов «энэсдевцев» [1], которых окружающие в то время награждали презрительной кличкой «друзья мофов» [2], а также с детьми злостных спекулянтов. Подобрать к ним «ключ» и добиться их доверия было очень сложно, хотя в конечном счете их тоже можно в каком-то смысле считать жертвами фашизма. Их исповеди тоже позволяют понять, как они становились жертвами господствующей общественной системы, увидеть, что фашизм органически связан с процессом обесчеловечивания. Среда, в которой они жили, ограничивала их сознание определенной, искусственно созданной «нормой»; к великому сожалению, постыдным образом она кое-где встречается и в наши дни. Этот факт, нашедший отражение в некоторых интервью и производящий весьма тягостное впечатление, тоже указывает на актуальность выводов и уроков, которые можно извлечь из данной книги. Суть их в нашей общей ответственности перед будущим, в том, что каждый сознательно мыслящий человек обязан отвергать любую форму фашизма, притом не пассивно, а действенно, пусть даже это порой окажется всего лишь каплей, пролитой на раскаленную плиту.

ДИК ВАЛДА

[1] От НСД — национал-социалистское движение в Нидерландах.
[2] Мофы — ругательная кличка немцев-фашистов.
© 1977, Sjaloom Odijk.



ДИК ВАЛДА — DICK WALDA (род. в 1940 г.).

Нидерландский писатель, драматург. Автор нескольких сборников рассказов, более тридцати радиопьес, а также сценариев многосерийных телефильмов, в частности 13-серийной картины по его роману «Волчатник». Дик Валда — главный редактор журнала «НЮ», органа Общества дружбы Нидерланды — СССР. В результате поездок по Советскому Союзу им написана книга «До ближайшего соседа 170 километров» (1977) и поставлен документальный фильм «Советский Союз — наш сосед».

Мы предлагаем вниманию читателя фрагменты из его публицистической книги «Расплачиваются дети» («Kind van de rekening». 1977).

ИОГАН Ф., год рождения 1928. Амстердам.

Отца взяли из дома.

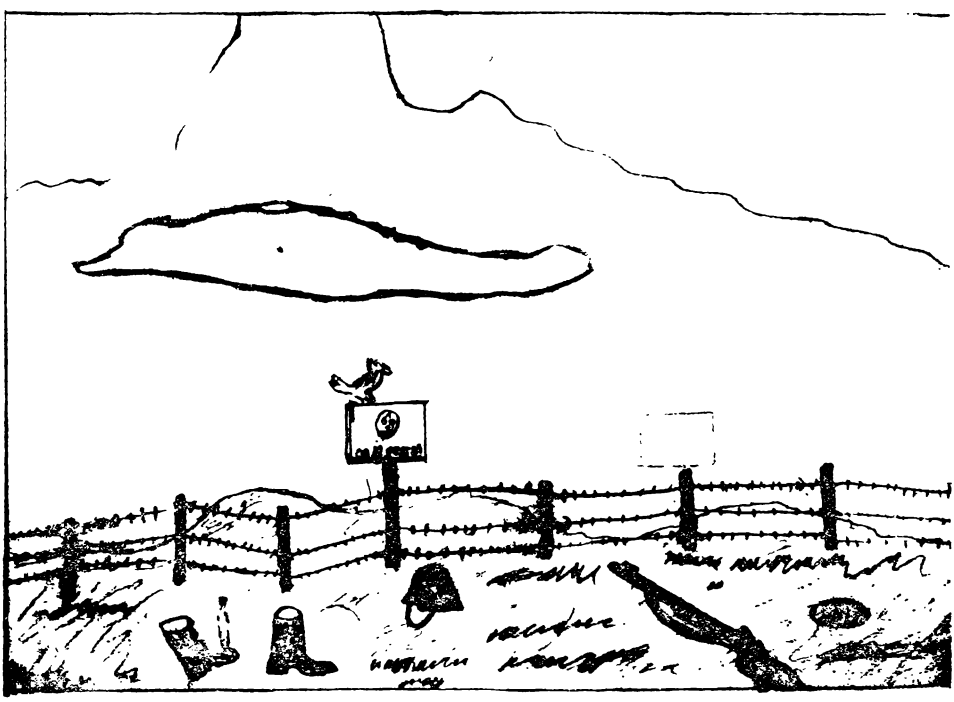
— Я скоро вернусь,— сказал он довольно бодро.

От него всегда пахло табаком. Он работал инструментальщиком. Я считал его, как бы это получше сказать, мудрым человеком. Да, именно мудрым. И он всегда был спокойным, выдержанным. Позднее мне часто встречались на улицах мужчины, похожие на него лицом. Одно время я непрерывно за кем-нибудь ходил. То по одной улице, то по другой. Не смел, конечно, никого из них остановить или, упаси боже, заговорить. Просто шел вслед за человеком, пока он не входил в дом.

Его умертвили в Нацвейлере. После войны мы получили от королевы Вильгельмины письмо. «С глубоким прискорбием сообщаю вам...» — стояло в этой бумаге. Какие зловещие звуки в слове Нац-вей-лер! Мне захотелось там побывать. Поехал туда в машине, но там не остановился, проехал мимо. Я ведь не был в концлагере никогда. Только видел их в кино. В последний раз это было в жаркий августовский день. Нас было семнадцать человек, и мы сидели в большом зале Критериона и смотрели «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма. Нас было только семнадцать, я их всех пересчитал. Когда фильм кончился и зажгли свет, я поспешил уйти как можно скорее. Мне было стыдно за других.

Когда Гитлер напал на Советский Союз, мой отец плакал. Сидел на кухонном табурете, на своем обычном месте, и плакал. Мама прогнала меня из кухни, но я все равно видел, как он плачет. Отец раздобыл карту Европы и изо дня в день следил за ходом военных действий. О положении на фронтах он нам сообщал со всеми подробностями. Я тогда в этом мало разбирался, но хорошо помню, какое удовольствие ему доставляло потом передвигать красные булавочки все дальше и дальше на запад.

Когда отец распивал с друзьями бутылочку, они всегда пили за здоровье русских. Отец никогда не сомневался, что советские войска разгромят фашистов. Сам он изо всех сил старался противодействовать оккупантам чем только мог. Помню, лежу в постели и слышу, как на чердаке гудит ротатор. По-моему, вся округа слышала это гудение. Формы приносила красивая девушка, имя ее я позабыл. Ее потом арестовали. Приходила ежедневно со свертком и работала по пять часов в день. Мать каждый раз предлагала ей поесть, но она отказывалась, говорила, что не голодна. Красивая она была! Меня она даже не замечала. Я украдкой бросал на нее взгляды, но стеснялся: а вдруг она это заметит. И пахло



Три рисунка детей — узников фашистских концлагерей — из подборки, иллюстрирующей книгу Дины Валды.

от нее как-то особенно приятно. Я очень горевал, когда она перестала к нам ходить. Вместо нее пришел мужчина в длинном непромокаемом плаще. Я даже бегал на улицу, где она жила, знал дом, в котором была ее комната. Несколько лет тому назад я специально ездил через Берлагебрук на эту улицу, чтобы побывать там, где она ходила, где жила. Она была очень молчаливой, а глаза как будто говорили. Как-то раз я сильно порезал руку и пришел домой окровавленный. Она взглянула на рану и кинулась за бинтом. Может, она была медицинской сестрой? Весьма возможно. Повязку наложила ловко, быстро, как будто профессионально.

Мне теперь кажется, что я знал ее годы, а на самом деле наше знакомство продолжалось всего лишь два месяца...

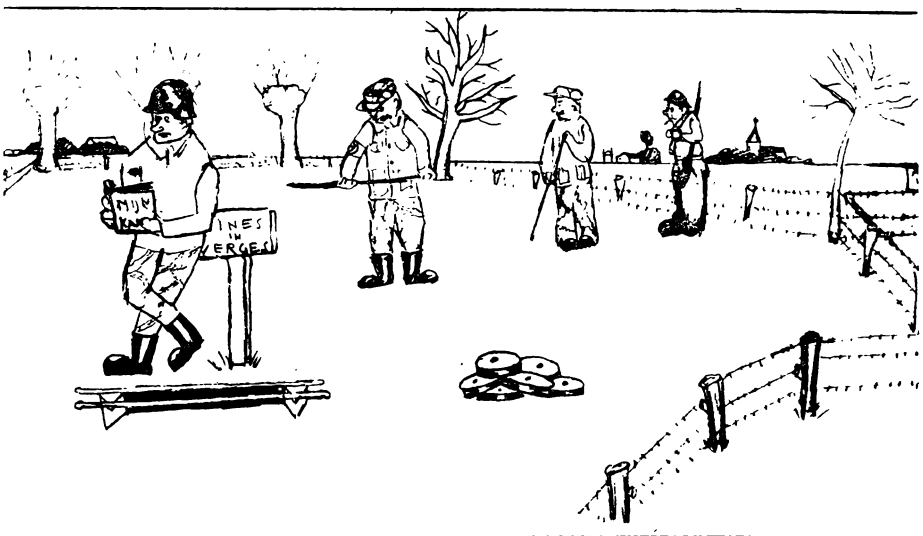
Неизвестность — вот что самое страшное. Идешь, бывало, по улице, встречаешь мофа и думаешь, что вот он-то, наверное, знает, где мой отец. Так мне тогда казалось.

Мама строго-настрого запретила мне вступать с мофами в разговоры. Если спросят — отвечай вежливо. Вообще старайся быть вежливым. Я поначалу к ним ненависти не испытывал. Отец ведь сказал, что скоро будет дома. Только гораздо позднее мать узнала, что его куда-то отправили после допроса. Поездом. Я даже пошел поглядеть на железнодорожный мост, на перекрещивающиеся между собой рельсы, даже подумал, что ведь вот ему повезло, едет в чужие края. Может быть, привезет мне хорошие подарки. Очень жалел маму, она все время убивалась, почти не спала, все отца дожидалась. Ее не стало в 1952-м. После войны она, можно сказать, потеряла рассудок. Все в ней словно отмерло. Собственно говоря, ее жизнь кончилась в ту минуту, когда отец сказал: «Ждите меня, я скоро вернусь...»

Были времена, когда я давал зарок не покупать больше ни одной книги о войне, но проходил месяц, другой, и я о своем зароке забывал. Снова накидывался на военные книги и покупал все подряд, что выходило. Думаю, что мое собрание книг о войне, пожалуй, одно из самых крупных, какие только имеются в частных библиотеках. Это безумие, самое настоящее безумие. Надо жить проблемами своего времени. Я это сознаю, но ничего не могу с собой поделать.

До войны было по-другому. Отец мой рисовал пейзажи, он был «воскресным художником», так, кажется, теперь называют дилетантов. У него была богатая фантазия. Сказки, которые он мне рассказывал, он сочинял сам, выдумывал из головы. Наша жизнь была до войны тихой и мирной, но вот началась война — и все переменилось. Отца не стало, и мне пришлось его заменять. Заботиться о маме и четырехлетнем братишке. На его обязанности было собирать махру. Что это такое, спросите вы. Да неужели не читали? Братишка искал на тротуарах окурки, приносил их домой. А иной раз приходил с пустыми руками. Вы бы видели, с какой укоризной глядела на него мама! Она сидела ко всему безучастная и нетерпеливо ждала его прихода.

Однажды мы съели собаку. Я ее выкрал из велосипедной сумки полицейского. Честное слово. Это произошло в ту страшную голодную зиму 44 года. И вот прихожу я домой с куском мяса. Мама говорит, что оно собачье. Что было делать? Сварили и подали на стол. Даже свечку зажгли и поставили посреди стола. Ну и пир мы устроили! Ели медленно, все косточки обсасывали. Мама потом перемолола их на муку...



Фашизм — это террор, абсолютный, тотальный террор. Собственно, ЦРУ — это тоже грязная организация, под стать всей общественной системе Америки. Но фашизм — это тотальный террор. Усовершенствованная система угнетения... во всех областях человеческого общения. Стоило вам сказать хоть слово, и вы мигом попадали за решетку. Никто и рта раскрыть не смел — вот до какой степени довели они свою машину угнетения. Конечно, германский фашизм 1933—1945 годов уже никогда не повторится, вместо него мы теперь имеем дело с ряженными, с опереточным представлением. И все же фашизм существует и может в один «прекрасный» день возродиться со всей своей страшной системой террора и угнетения. Не забывайте об этом. Когда я вижу наших молодчиков, нидерландских вояк, я иной раз стою и наблюдаю, как они в огромных зеленых грузовиках едут на учебные тренировки... И думаю, что волосы-то у них длинные-предлинные, а умишка никакого. Куда они годятся!

Боюсь я, как бы фашизм не взял реванш. Америка, например,— безработица там все возрастает, и кризис тоже углубляется. При таких обстоятельствах правительство нажимает на машину власти, пускает ее с наибольшей скоростью, а это всегда приводит к фашизму. Так происходит повсюду, где власть имущие не в состоянии создать оплот стабильности с помощью устоявшихся, традиционных средств управления. Получается, что превратить человека в орудие убийств не так уж сложно...

ЮДИТ Б., год рождения 1929. Амстердам.

До фашистского нашествия в Нидерландах проживало около 140 тысяч евреев. Из них 105 тысяч было депортировано в лагеря смерти. Назад возвратилось около пяти тысяч. Количество детей, оставшихся после депортации в живых, весьма незначительно. Большинство уцелевших страдают психическими расстройствами, манией преследования, как и автор данного интервью — Юдит Б. Об ужасах концлагерей она рассказывает бегло, не вдаваясь в детали,— это вообще типично для данной категории бывших узников лагерей. Они содрогаются при малейшем упоминании о страшных событиях времен их юности.

Ребенком я имела свою собственную комнатку, где стоял шкаф, полный игрушек. Ребята с нашей улицы дразнили меня, что нас, евреев, скоро заберут и вышлют, а они заберутся в наш дом и возьмут мои игрушки. Я им тогда не поверила, а вскоре нам действительно пришлось покинуть дом, бросить имущество и уйти с пустыми руками. Я до сих пор помню наизусть напечатанный на листке бумаги перечень вещей, которые нам разрешалось унести: 1 чемодан или рюкзак, 1 пару рабочих сапог, 2 пары носков, 2 пары штанов, 2 рубашки, 1 свитер, 2 шерстяных одеяла, 1 кружку, 1 простыню, трехдневный запас провизии. Все это я помню наизусть и, чтобы не забыть, повторяю по ночам вслух, громко, так что мешаю спать другим пациентам. Чтобы им не мешать, выхожу во двор и опять повторяю.

Носить выкроенную из желтой материи звезду с написанным на ней словом «еврей» — это еще не самое страшное. Гораздо хуже было то, что нас, детей, подвергали тысячам унижений. Немцы и нидерландская полиция заставляли нас строиться в шеренги по три человека в ряд и гоняли через Амстель, через мосты на какую-то улицу, сейчас уже не помню, какую именно, и там часами стоять лицом к стене. Где мы стояли, я не знаю, так как все мое внимание было устремлено на то, чтобы не выйти из шеренги, кто отставал, того избивали. Вот когда отец мой понял, что мешкать нельзя, надо уходить, и притом как можно скорее. Скорее, скорее. Как я боюсь этого слова, ведь тогда все надо было делать как можно скорее: ходить, ездить, бежать, когда тебя понукают. Мне и сейчас все кажется, что за мной кто-то гонится. Три с половиной года слышала я это слово, и оно для меня стало омерзительным.

Но вы хотите, чтобы я вам все рассказала в хронологическом порядке? Не правда ли? Я уже заранее подготовилась, кое-что записала, припасла карандаш, бумагу. Но я, собственно, ничего не записала, а только рисовала. Животных. Мне ведь хочется оставить что-нибудь и для себя. У меня есть дочурка. Только она живет не со мной. Не могу я ее воспитывать. Просто не могу. И все из-за фашистов, из-за оккупации, из-за того, что я испытала. Так мне говорит мой доктор-психиатр.

О концлагерях я рассказывать не в силах. Все равно не смогла бы их описать. Начала я с родителями с Вестерборка. Потом нас перевезли в Терезиенштадт. Здесь нас разлучили. Меня отправили работать на авиационный завод в Биркенау. Утром я увидела в другом цеху женщину-работницу, точь-в-точь как моя мама. Мне хотелось подбежать к ней, но вокруг стояли надсмотрщики, меня не пустили. Я изо всех сил махала ей рукой, но она не видела. Позднее я узнала, что на завод прислали партию венгерских евреев. Ну а вдруг и моя мать очути-

лась среди них! Потом я попала в Освенцим, под конец — в Маутхаузен. Завтра я вам все расскажу поподробней. Завтра... В конце войны я была в Австрии. Как я туда попала — не знаю. Знаю только, что мы ехали в товарных вагонах, битком набитых. И вдруг дверь отворилась, и мы вышли на перрон. А на перроне стоял музыкант и играл на аккордеоне. Он был из Красного Креста. Это он нас приветствовал. И теперь уже на нас никто не орал, не замахивался. Просто стояли на перроне и слушали аккордеониста. Я тогда еще не знала, что войне и оккупации конец, и не могла это оценить по-настоящему. Теперь нас перевели в другой поезд, и там мы сидели на скамьях, а не валялись вповалку на полу. Я даже сидела, прислонившись спиной к стеклу купе. И у меня красная карточка, куда я собственноручно вписала свое имя и фамилию. И я смогла поглядеть на себя в зеркало. Все эти годы я его ни разу не видела. А теперь увидела в нем не себя, а совсем другое существо, на меня ничуть не похожее.

О, как я боялась охранников со сторожевыми собаками! Эти капо так зверски с нами обращались. Однажды злющая овчарка подбежала к нарам, на которых я лежала со своей напарницей, нам еще повезло, что мы лежали вдвоем, на других нарах лежали втроем. Так вот, собака подбежала и была на расстоянии десяти сантиметров от моей головы, я закрыла глаза и потеряла сознание. По счастью, охранник свистнул, и она бросилась к нему назад. Собачья морда была так близко к моей голове, еще миг — и она бы в меня вцепилась. Мне вообще повезло. Дважды я была возле газовой камеры, а один раз уже внутри. Но тут такой необыкновенно счастливый случай — произошла авария и не подали газ. Нас отпустили. И вот я сижу здесь и вам рассказываю.

Иногда по праздникам в нашей клинике устраивают представления. Чтобы нас развлечь. В последний раз была оперетта. Я же сидела и все ждала. А вдруг распахнется дверь и в зал ворвутся фашистские солдаты с автоматами и начнут стрелять в нас и убивать наповал. Со мной один раз так и было. Они ворвались в наш барак, где были умирающие, и начали стрелять. Меня спасло то, что сверху на меня свалилось тело убитой женщины, она меня прикрыла. Потом трупы свалили в телегу и увезли, а меня подруга Джошуа, она работала в больничном бараке, перенесла к себе и привела в чувство. Ее потом застрелили, но это произошло гораздо позднее. Нас везли в Маутхаузен, и ее застрелили, она лежала на рельсах, уткнувшись носом в землю. Я бросилась к ней, мне хотелось остаться возле нее. Но кто-то оторвал меня от нее, поднял с земли и втолкнул в вагон.

Всякий раз, когда меня охватывает страх, а это бывает перед тем, как мне делают укол, я закрываю глаза и думаю о Джошуа. И мне кажется, что она рядом. Тогда я начинаю кричать и будоражу всю палату. Чтобы меня успокоить, мне дают лекарство. Это помогает, потом я уже ни о чем и ни о ком не думаю, даже о Джошуа...

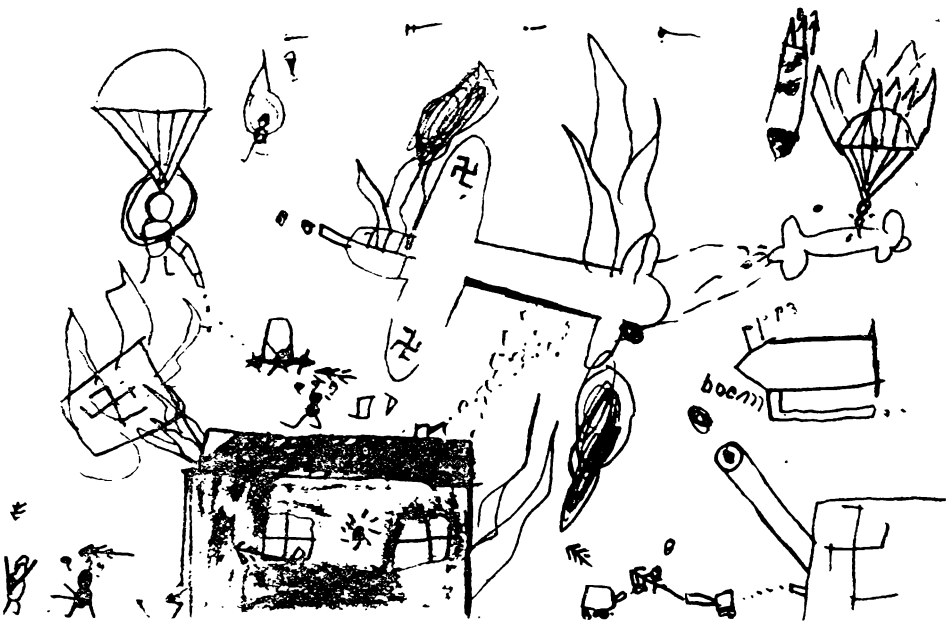
КАРЕЛ О., год рождения 1932. Аммерсфорт.

В семье нашей я был младшим из детей. Сестре во время войны было 22, брату Эвальду — 20. Отец был коммивояжером и неплохо зарабатывал. Начал он с мыла и одеколона, а под конец развил большое дело: что-что, а зубы заговаривать он умел. Это уж точно. А вот дома и рта не раскрывал. Ни слова, ни полслова нельзя было от него добиться.

Брат мой состоял в партии НСД. Мать фашистов смертельно боялась.

Эвальд вступил добровольцем в войска СС. Проходил военную подготовку в Мюнхене. Ну и шум поднялся тогда у нас дома! Родители орали на него с утра и до вечера. Отец был категорически против. Лежа по вечерам в постели, я прислушивался к их ссоре. Им ничего не помогло. Брат настоял на своем. Упрямец он был. Уж если что заберет в свою башку, непременно так и сделает. Он поначалу упражнялся в нашем садике позади дома. Проделывал там всякие штуки, учился маршировать и прочее. Перед отъездом сказал мне: «Привезу тебе кучу подарков». Он обещал матери через два года выйти из партии, через два года обязательно, говорил он маме, уходя. А она выбежала, рыдая, вслед за ним на улицу... Когда она вернулась, отец сказал: «Все, мы его больше никогда не увидим». Так оно и было, мы его действительно больше не видели. Позднее Эвальд прислал нам из Мюнхена свою фотографию. Он и по радио выступил. Нас заранее поставили в известность. Мама, конечно, плакала. Отец демонстративно отвернулся к стене, но все же внимательно слушал. Он нас всех приветствовал, а под конец заявил, что готов ехать на Восточный фронт воевать против России. И его туда отправили. Дошел до Украины в чине ротного. Через полевую почту слал нам письма. Ничего особенного нам не сообщал. Только о том, что сейчас, дескать, слишком холодно или, наоборот, слишком жарко. Позднее я понял, что писать правду им просто запрещалось.

Потом мы перестали получать от него письма. Зимой 43 года пришло извещение, что он пропал без вести. Отец утешал нас, уверял, что Эвальд возвратится, что Россия всегда была и осталась для нас закрытой книгой. Что мы о ней знаем? Что там живут медведи? И что у них был царь Петр? И ничего больше. После освобождения я как-то встретился в кафе с одним русским моряком. Добродушный и веселый парень. «Неужели он и есть русский?» — думал я. Я хочу сказать,



что у нас о большевиках сложилось совсем иное представление. Я хочу сказать, что происхожу из буржуазной среды и что социализм мы никогда не признавали. А что касается коммунизма, то знали только то, что с ним надо бороться. Вот как упрощенно мы все это понимали. Брат Эвальд это формулировал в нескольких словах: «Немцы собираются напасть на Советский Союз, чтобы уничтожить коммунизм, а вслед за этим настанет очередь и других стран». Я не помню, чтобы отец когда-нибудь принимал участие в этих разговорах. А вот один из моих дядюшек с материнской стороны — фанатичный нацист,— тот всегда ругал Россию. Так и кипел от ненависти к Советскому Союзу. Бог его знает почему. И Эвальд весь в него. Отец мой был от всего этого далек. Он много трудился. По вечерам сидел на кухне за столом и что-то записывал в большую толстую тетрадь. Мама сидела немного поодаль и вязала. Она вечно что-нибудь вязала. Оба они умерли в начале пятидесятых годов. Один за другим. Мать тяжело пережила гибель Эвальда, два года находилась в клинике для нервнобольных...

Последние годы мы с матерью много говорили обо всем. Проклинали немецких фашистов, но и себя тоже порицали. Мы ведь, как оказалось, все видели в кривом зеркале. Сами кругом виновны. И брат мой был преступником, и сестра тоже. Я, как и отец, тоже стал коммивояжером, или, как теперь принято называть, представителем фирмы. Приходится много разъезжать. Но где бы я ни был, чувство стыда не покидает меня никогда. И совесть мучает. Мне все кажется, что я несу ответственность за нацистские преступления, что все показывают на меня пальцем и говорят: «Вот идет тип, у которого брат командовал ротой на русском фронте».

Сестра моя крутила любовь с немецким солдатом. Он служил в вермахте. Какая она была хорошенькая, привлекательная! Отец запретил ей с ним встречаться, она и ушла из дому. Как я тогда огорчался! Однажды сестра пришла к нам со своим немцем и принесла конфеты. Отец был дома. Он молча взял эти конфеты и высыпал их в печку. Ну, они тут же ушли. Потом мы встречали ее на улицах Амерсфорта. Ходила в обнимку с солдатами, хохотала до истерики... Но вот наступил май 1945 года. Сестра попала в список нацистских проституток. Ее обрили, посадили в тележку, а на шею повесили табличку с надписью: «Я — мофовская проститутка». Люди шли вслед за тележкой, улюлюкали, плевали ей вслед... Вот я и говорю: год освобождения, когда все были так рады, для нас был годом страданий и унижений. В меня бросали камни, отца избили на пустыре за нашей улицей. Мать сидела дома, боялась выходить. Мы переехали в другой район. Но это мало помогло. И месяца не прошло, как нас и здесь стали ругать вонючими энэсдевцами. Сестра уехала в Амстердам и стала настоящей шлюхой. Я со своей семьей переехал в Гаагу. С сестрой не встречаюсь, только в день ее рождения звоню ей и поздравляю. Наш разговор, сухой и официальный, напоминает разговор с девицей из бюро справок.

Я не нахожу себе покоя. Даже теперь спустя 30 лет мне все кажется, что меня разоблачат, назовут фашистом. И многое я теперь понимаю по-другому. Вспоминаю, как Эвальд учился маршировать в нашем садике, чеканить шаг... Вначале учатся ходить по струнке, потом позволяют натравливать себя то на русских, то на вьетнамцев, то еще на кого-нибудь.

ХАНС ВАН С., год рождения 1933. Пюрмеренд.

Моя мать была немка Отец — нидерландец. Он был кельнером и постоянно переезжал из города в город в поисках работы. В Амстердаме ему наконец удалось устроиться на работу в приличной гостинице. Домой приходил поздно и ужинал на кухне принесенными из ресторана тефтелями. Меня по такому случаю будили, чтобы я тоже принял участие в пиршестве. Но чаще всего я просыпался от громкой ругани между родителями. Отец много пил, а злобу вымещал на матери, доставалось же ей от его кулаков! Мать служила кухаркой в чужих домах и меня кормила. Отец стал являться домой все реже и реже, только чтобы взять кое-что из белья и одежды, а потом и вовсе исчез.

Помню январь 1940 года. Мы переехали на Эландсграхт. Все окна были заклеены полосками бумаги. Собираться вместе более чем вдвоем строго запрещалось. Когда в Амстердам ворвались оккупанты, я стоял в толпе на улице, некоторые из горожан даже встречали их с цветами. Никто из ребят со мной не дружил, они меня все ругали, обзывали вонючим мофом, фашистским отродьем. Когда я спрашивал мать, почему меня так называют, она только вздыхала, а иной раз начинала на меня кричать. Потом она познакомилась с одним немецким офицером. Это был пожилой военный старой выправки. Все свои медали и награды он завоевал в первую мировую войну. Тогда же была изувечена его левая рука. Он переехал к нам и стал играть в нашей семье главную роль. Я должен был лежать в его постели и согревать ее, пока мать накрывала ему на стол. Чистил его сапоги, стаскивал их с его ног, когда он приходил домой, и отчищал с его рейтуз сальные пятна С того времени как Вилли, так его звали, у нас поселился, я окончательно растерял всех своих сверстников. Пытался их подкупить — раздавал им сигареты, которые таскал из кармана Вилли,— однажды он меня поймал и пребольно отхлестал...

Когда его отозвали в Германию, он настоял, чтобы мать поехала вместе с ним, а меня поместили в интернат для детей немецких военнослужащих. Я всю дорогу рыдал, мать утешала меня, обещала навещать. Детский интернат Бетани в Зейсте был раньше католическим приютом для девочек. Ребята делились на четыре группы. В старшей группе они носили форму гитлерюгенда и деспотически угнетали младших. Старшие девочки были членами Союза немецких девушек (СНД). Директриса интерната Эмми Беккер была офицером в юбке, и все делалось по ее команде. Мать ко мне ни разу не приехала.

В шесть утра — гимнастика. Потом парад с флажками, на которых изображена свастика. Потом директриса разглагольствовала насчет могучего германского рейха, в заключение мы пели фашистскую военную песню и хоп-хоп-хоп — по беговой дорожке в здание интерната. Покоя не было ни на минуту, все подлежало проверке. Постель надо оправлять как следует, иначе фюрер рассердится. В столовую ходили парами, выстроившись в колонну. Приветствовали друг друга словами «Хайль Гитлер». Разговаривать во время еды строго воспрещалось. После завтрака шли в классы и там учились до полудня Потом обед, час отдыха, потом занимались самообразованием: учили историю Германии и тексты фашистских гимнов. Под вечер нас выгоняли в лес играть в военные игры. Малыши, среди них был и я, должны были прятаться за деревьями или в ямах. Старшие нас искали и ловили. Нам приходилось защищаться в буквальном смысле зубами и руками. Если тебя уложат на обе лопатки на землю — значит, ты мертв и не смеешь подняться с места. Когда «игра» кончалась, подсчитывали количество «трупов», а потом обсуждали тактику «военных» действий. День кончался песней, сообщением о победах на фронтах, маршировки с флажками со свастикой.

Я себя чувствовал страшно несчастным. Я неуклюжий, поэтому часто попадал в положение проштрафившегося и подлежал дисциплинарным взысканиям. И вот сентябрь 1944 года. Союзники ворвались с юга. Наши начальники в панике забегали по коридорам. Ночью в саду зарывали документы, деньги, все, все. Нас посадили в грузовики, а на станции впихнули в поезд, который направлялся в Германию. По дороге нас обстреляли английские истребители. Началась паника. Поезд остановили, мы должны были искать убежище на лугу, старались сжаться в комок. Самолеты летали над нашими головами, немцы отстреливались. Впервые в жизни я увидел мертвых. Мертвых немецких солдат. Через три дня мы добрались до Люнеберга. Там нас поместили в школе Через неделю я, к моему великому удивлению, встретил свою мать. Она узнала, куда нас эвакуировали, и приехала за мной Она жила в Берлине, снимала комнату. Ее Вилли оказался женатым, имел жену и сына. Она с ним порвала и вместе со мной переехала в деревушку Бисдорф под Берлином. Здесь мы жили в мансарде небольшого деревенского домика, а мать работала в больнице кухаркой. Население страшно боялось русских — они быстро продвигались в глубь страны. В Бисдорфе копали траншеи, зарывали туда зенитки. Молодых мужчин в деревне не было. Пожи-

лые — в фольксштурме. Ну и гитлерюгенд, конечно. Их тренировали, учили стрелять из зенитных орудий, подавать боеприпасы. У нас в деревне еще продолжали уверять, будто у фюрера есть наготове новое, мощное оружие, которое поможет рейху победить Советский Союз.

Русские наконец заняли Бисдорф. И сразу же установили настоящий порядок во всем. Население обязали убрать и захоронить трупы. Тем, кто помогал, выдавался хлеб и даже масло. Я тоже помогал, как мог. Стал пасти стадо коров, ухаживать за лошадьми. Я теперь не боялся русских. Они очень хорошо относились к детям. Никогда и ничего плохого им не причиняли. Однажды один из русских солдат посадил меня на лошадь, но я ездить верхом не умел и упал на землю. Пришлось везти меня в больницу на перевязку, мне нужно было туда ездить несколько дней подряд. И представьте, русские каждый день возили меня туда и обратно на грузовой машине. Можно подумать, что им больше нечего было делать...

Однажды мать пошла к новому бургомистру и сказала ему, что она из Нидерландов. Он дал разрешение на выезд. Нас одели в новое платье, снабдили провизией и отправили домой. В 1946 году мы приехали в Эншеде. Оттуда поездом в Амстердам. Здесь мы быстро устроились. Мать получила работу. Наконец-то мы были дома...

ФЬЕН О., год рождения 1935. Зандам.

Почему я согласилась принять участие в этой беседе? Сама не знаю. Но думаю, что отчасти это связано с моим разводом. И с моей семьей. С мужем я разошлась четыре года тому назад и с тех пор живу с двумя детьми в этом новом районе города. После войны мой муж не нашел применения себе в Нидерландах. Отправился добровольцем в Корею. Когда он оттуда возвратился, мы с ним познакомились и поженились. Он тогда служил в военном флоте. Я даже немного им гордилась, мне нравились военнослужащие. Впрочем, я гордилась и моим отцом, который спекулировал на черном рынке. Восхищалась его ловкостью, его умением манипулировать. Мне тогда еще было трудно уловить связь между его поступками и всем, что нас окружало. Этому меня научили другие люди, и притом гораздо позднее. Возьмите моего бывшего мужа. У него очень примитивные взгляды на жизнь, только выгоду ищет. Из этих соображений и нанялся в корейскую интервенцию. Хотел наверстать упущенное, во время оккупации и войны в Нидерландах он особенно не разжился — не удалось. Целый год я хранила его знаки отличия в специальной шкатулке. Иногда он вынимал свои медали, все любовался ими. Разлад между нами начался с того времени, когда США напали на Вьетнам. Я внимательно следила за всеми перипетиями этой войны и никак не могла понять, почему же Америка, такая могущественная держава, терпит поражение от Вьетнама, крошечного по сравнению с ней. Стала много читать, собирать информацию, пыталась поделиться своими соображениями с мужем. Мы друг друга не понимали, стали ссориться, он не привык к тому, чтобы я ему возражала, считал, что он прав, а я во всем ошибаюсь. Дальше — больше. В конце концов разошлись. Дело, конечно, не в одном Вьетнаме, мы стали расходиться во мнениях буквально по любому поводу. Теперь, оглядываясь на прошлое, я понимаю, как много значит среда, условия воспитания. Наша семья, например, зависела от успешных спекуляций отца. После окончания войны он был арестован и сидел в тюрьме, а мы ему сочувствовали, считали, что он был схвачен по недоразумению, что он пострадал без вины, жалели его. Только много позже дошло до меня, что спекуляциями он занимался вовсе не для того, чтобы кормить семью, а чтобы наживать деньги, обманывая других и обделывая всякие грязные делишки. Как я все это презираю! Как теперь совестно вспоминать об этом! Вот, к примеру, в 1944 году мой отец нелегально скупил огромную партию торфа — вы же знаете, как обстояло дело с топливом в эти годы. Ни угля, ни одного полена дров. Торф в то время был на вес золота. И вот отец, у которого на эти вещи был нюх, начал делать запасы. Арендовал сарай и перевез туда торф. Он его не перепродал, а только спрятал. На первое время. А потом здорово на нем заработал: покупал по четыре с половиной гульдена за бочонок, а продавал по десяти. Пока мы за этим торфом ехали, нам попадались сотни людей, которые искали хоть какого-нибудь пропитания, топлива. Мы же плыли в лодке, направляясь к тому месту, где были склады торфа, отец подкупал контролеров, всех, всех, кто принимал участие в этой грязной сделке. Помню, как сейчас, отец стоял у руля, командовал, всем распоряжался, он знал, куда и зачем мы едем. Я уже тогда чувствовала, что тут что-то неладно, но кто бы меня послушал! И потом, я тогда еще не могла уловить связи между тем, что он делал, и общим положением всего нашего народа. Только гораздо позднее пришло понимание, что мы просто обжирались, тогда как наши соседи почти умирали от голода. Ворованная свинина. Туши втаскивались на чердак, и там мать целыми днями их коптила, готовые окорока продавались за сотни гульденов. А яйца! Их привозили из Гелдерланда, привозили сотнями штук, а потом перепродавали за бешеные деньги. И все это проходило безнаказанно, потому что, как теперь я понимаю, отец подкупал и отечественную и немецкую администрацию, и они ему помогали.

Короче говоря, меня и всю мою семью война превращала в моральных уродов. Мы становились все более бесчувственными и алчными, взрослые—осмысленно, мы, дети,— бессознательно.

К концу войны обстановка становилась все более и более сложной и запутанной. Отец мой орал поочередно то «Оранские превыше всего», то «Хайль Гитлер». В зависимости от того, с кем он встречался. Типичный конформист. Даже после того как фашистская оккупация кончилась и в страну пришли канадские войска, он сумел на какое-то время установить с ними контакт и брать у них для перепродажи сигареты. Но потом все кончилось, так как отец просчитался, недооценил силу народного возмущения: его арестовали как пособника оккупантов, дом наш разгромили, а мы с матерью отсиживались на чердаке, не смели высунуть нос на улицу...

ЕВА ВАН Х., год рождения 1929. Хилверсум.

Когда по телевизору показывают голодающие народы жарких стран, я ловлю себя на мысли, что они по крайней мере не страдают от холода. Что только не приходит мне в голову!

К счастью, на нашу улицу заходит человек, собирающий пищевые отбросы Специально для него я держу ведро, куда бросаю куски хлеба, картофельные очистки. Ничего-ничегошеньки не бросаю в помойку, ни одного кусочка. Может быть, с моей стороны это глупость, но я до сих пор запасаюсь. блоки сигарет, разного рода провиант держу в подвале дома. Ведь разве знаешь, что тебя ожидает? Мои дети подсмеиваются надо мной, им этого не понять. Пыталась объяснить — ничего не выходит. Стоит мне только завести разговор о войне, они начинают потешаться надо мной. Может быть, это моя вина — слишком я их пичкала рассказами о войне, когда они были еще совсем маленькими.

Я убеждена, что мир надо переделать, что наше общество нуждается в переустройстве. Всякий раз, когда по телевизору показывают голодные бунты, я тут же посылаю голодающим деньги. Кроме того, ежемесячно перевожу деньги в Индию, с моего текущего счета автоматически снимается определенная сумма, я испытываю удовлетворение от того, что вношу свою лепту в помощь беднякам, голодающим. Потому, наверно, что в страшные годы войны и оккупации наша семья была в отчаянном положении. Мы были тогда просто нищими. Чтобы купить кусок хлеба, я просила милостыню на углу табачной лавочки. И сколько раз бывало, что ничего не подавали... Когда я впервые встретилась со своим будущим мужем, он только закончил ученье, был весьма самоуверенным, война коснулась его лишь слегка. Он не знал ни что такое голод, ни что такое насилие, война почти не коснулась его Мои тревоги его не волновали. На первых порах он меня еще слушал, но так — вполуха. Поймите меня правильно. Я вовсе не хочу кого-то обвинять. Только пытаюсь объяснить, почему многие люди считают разговор о войне пустой болтовней, словно это произошло сто лет тому назад, а вот мать семейства, видите ли, до сих пор на этом заклинилась...

Три раза в неделю стояла в очереди за горячей похлебкой возле Центральной кухни. Нас было пятеро: отец, мать, два брата и я. Мне было 13, и я была самая старшая. Если не у Центральной кухни, то меня можно было найти в очереди возле хлебозавода. Тысячи по полторы-две людей скапливалось там. Мы голодали и мерзли. Отец болел. Младший братишка Иоганн тоже был болен. Вы можете себе представить зиму 1944 года? В доме — шаром покати, любая крошка, которую вносили в дом, считалась даром свыше. А уж полбуханки хлеба — целое состояние.

Спасибо дяде Иоганну — он принес нам цветочные луковицы. Это было уже в конце голодной зимы. Братишка мой умер. Лежал в задней комнатушке, а потом отец, совсем больной, отвез его в ручной тележке на кладбище. Его тельце положили в чемодан, который одолжили соседи.

На другой день после его смерти мать нашла два мешочка сахара: пролежали, наверно, в ларе для продуктов года четыре на кухне. Сахар! За него на черном рынке платили сотни гульденов. Держа мешочки в руках, мама сказала, что хочет, чтобы отец купил для сына гробик, чтобы его не хоронили завернутым в бумагу: в то время так хоронили — обертывали или бумагой, или простыней. Знаете, кто тогда богател? Похоронные бюро. За два мешочка сахара можно было приобрести гроб, деревянный гроб, который вы опускали в могилу. Отец положил чемодан с телом брата на тележку и ушел вместе с соседом на кладбище. Возвратившись, сказал, что сделал все так, как просила мать.

Потом я начала воровать. Начала с обменных пунктов, их было много по всему городу. Там можно было выменять золото на продукты или на сигареты, различные украшения — на хлеб. Голод, безумное желание получить хоть немного съестных припасов превратили меня в ловкую воровку. Если вы меня спросите, что хуже — голод или холод, я отвечу: конечно голод, но переносить холод было тоже очень тяжело. Вот почему, когда по телевизору показывают, как бедствует население где-нибудь в жарких странах, я начинаю думать, что им повезло хотя бы в том, что они не знают холода. А у нас не было ничего: ни угля, ни торфа. Просто ничего. Мама умела обращаться с топором, и мы с ней вырубали ступеньки лестниц, я потом собирала все щепочки, даже такие тоненькие, как спички.

Все шло в ход вместе с бумагой в печки-времянки. Большие печи мы не топили, не могли себе позволить такую роскошь. Лучшие, прекраснейшие часы нашей жизни мы проводили, греясь вокруг нашей времянки. Отец даже с постели слезал. Горе? Да что такое горе? Понятие относительное. Военная машина работала на всех парах почти пять лет. А потом вдруг сразу — стоп. И перестали стрелять. Но последствия войны мы еще и сейчас чувствуем — восстановить все, что было разрушено, привести все в порядок и главное — возродить к новой жизни людей, потерявших равновесие, выпавших из жизненного ритма,— на это нужно бесконечно много времени. Американцы, те скоро пришли в себя, через несколько лет напали на Вьетнам. Целое поколение погибло там, вероятно. Не меньше.

Я считаю, что мы должны знать о войне гораздо больше, чем многим кажется нужным. Это важно на будущее.

Перевод с голландского И. ВОЛЕВИЧ

ЮРГЕН ПОМОРИН, РЕЙНГАРД ЮНГЕ

НЕОНАЦИСТЫ

Серый, сырой ноябрьский вечер, дождь перестал, но на улице почти нет людей. Я направляюсь в клуб «Штавенхаген» на Фрустбергштрассе. На углу — доска с объявлением: «Открытое собрание районной организации НДП. Северный Гамбург. Выступает Фриц-Ульрих Бундт, заместитель председателя Союза молодых национал-демократов. Тема: молодежь нации в борьбе за лучшее будущее Германии. Клуб «Штавенхаген», начало в 20 00».

Несколько недель тому назад, на заседании редколлегии нашего журнала «Элан», размышляя над тем, как рассказать читателям об опасности, которую представляют неонацистские банды, мы решили выдать себя за неонацистов, поработать среди них и таким путем получить информацию, которая обычно остается скрытой от общественности.

На Гамбург выбор пал не случайно. В последние годы этот город стал постоянным местом сборищ неонацистов. Там расположены штаб-квартиры свыше двадцати реакционных и неонацистских организаций. Полиция и судебные власти молчат. Гамбургский сенат лишь однажды, в связи с запросом одного из депутатов, вынужден был обратить внимание на деятельность этих организаций: по официальным данным только за шесть месяцев на зданиях четырнадцать раз малевали свастику, семь раз совершали налеты на местные отделения ГКП, пять раз оскверняли кладбища.

Большинство фашистских выходок совершила, как предполагалось, банда, группирующаяся вокруг бывшего лейтенанта бундесвера двадцатилетнего Михаэля Кюнена. Участники его Ганзейского общества по проведению досуга были первого сентября пойманы с поличным: в одной из квартир полиция нашла оружие, форменную одежду, каски и фашистскую литературу. Но для судебных властей Гамбурга этого оказалось мало: за недостаточностью улик банду оставили на свободе.

В вестибюле клуба «Штавенхаген» около десятка людей. Молодая девушка у стола с книгами скользнула по мне взглядом. Я приглаживаю волосы, вытираю бумажным платочком капли дождя с дешевых роговых очков (такие выдают больничные кассы). С головы до ног я настроен на «коричневый лад»: коричневые брюки, коричневый пуловер, коричневое пальто. Вытаскиваю две монетки и получаю взамен клочок бумаги со штемпелем НДП. В зале собрания восемнадцать человек, молодых людей среди них только трое.

В двадцать минут девятого председатель районной организации НДП открывает собрание:

— Сердечно приветствую вас от имени районной организации НДП Гамбург-Север. Меня зовут Мануэль Регели. Сожалею, что сегодня собралось так мало друзей. Отчасти дело здесь в плохой погоде, отчасти же в том, что на улице коммунисты вновь пытаются мешать получить информацию о программе НДП.

Это правда. Перед зданием собралось около десятка протестующих демонстрантов. Убедившись, что и так мало кто пришел, демонстранты разошлись.

© Weltkreis-Verlag, Dortmund, 1978.

ЮРГЕН ПОМОРИН — JÜRGEN POMORIN (род. в 1953 г.).
Западногерманский журналист, редактор молодежного журнала «Элан». В издательстве «Вельткрайс» опубликовал дневники военнообязанного под названием «Пошевеливайтесь, ребята!» («Rührt Euch, Kameraden!») и в соавторстве — сборник рассказов.

РЕЙНГАРД ЮНГЕ — REINHARD JÜNGE (род. в 1946 г.).
Западногерманский педагог, учитель гимназии. В том же издательстве печатались его репортажи.

Мы публикуем монтаж по их книге «Неонацисты и как с ними можно бороться» («Die Neonazis und wie man sie bekämpfen kann», 1978). В русском переводе книга выходит в издательстве «Прогресс».

Слово берет Фриц-Ульрих Бундт, заместитель федерального председателя Союза молодых национал-демократов и председатель организации Союза в земле Нижняя Саксония. Он статен, лицо — тонкое, прическа — аккуратная. Целый час этот молодой нацист рассуждает о строительстве «новой Германии» в духе НДП. Основные тезисы: иностранных рабочих — вон из Германии! Ввести смертную казнь! Ограничить права профсоюзов! Объединить Германию! Сконцентрировать правые силы!

Мануэль Регели, владелец магазина диетических продуктов «Рюбецаль» на Борстелер-шоссе, дом 160, усердный распространитель автомобильных наклеек «Германский рейх, восточные провинции» и нацистских книжонок, открывает дискуссию.

Какая-то пожилая истеричная женщина лет шестидесяти не в силах сдержать себя: «Мы живем под пятой диктатуры социал-демократов!»— выкрикивает она. Хуже всего, по ее мнению, бывает на почте при оплате чеков, там «правоверно настроенных немок» встречают откровенными нападками. «Какая же это демократия, это же диктатура СДПГ!» Регели с трибуны поддерживает выступающую:

— Позор, когда честных немок, отстаивающих свое мнение, преследуют и запугивают. Достаточно вспомнить закон о радикалах, которым хотят заткнуть рот силам, преданным национальной идее.

Я тоже вспомнил этот закон и одного из главарей НДП, Гюнтера Декерта из Вейнгейма. Этот долголетний председатель Союза молодых национал-демократов и заместитель председателя НДП по-прежнему носит звание обер-штудиенрата и преподает в одной из мангеймских гимназий. В августе 1977 года дисциплинарная судебная палата в Карлсруэ вновь подтвердила, что он может и впредь заниматься педагогической деятельностью, ибо его сотрудничество в НДП не является служебным проступком. Закон о запретах на профессии применяется к неонацистам крайне редко, тогда как прогрессивно настроенные учителя и государственные служащие — будь то коммунисты, социал-демократы или либералы — все чаще подпадают под действие этого закона.

Еще одна пожилая дама берет слово:

— Важно привлечь на нашу сторону молодежь. Почему молодые национал-демократы не устраивают танцевальных вечеров, как это делает ССНРМ [1]? На такие вечера молодежь стремится. А вот на собрания, вроде сегодняшнего, никто из них не идет

На это отвечает Фриц-Ульрих Бундт:

— Всегда проще сказать, чем сделать. Конечно, вы правы: танцевальные вечера — это то, что нам нужно. Но вы же видите: коммунисты не оставляют нас в покое, срывают наши собрания. А если дело доходит до эксцессов, матери не пускают потом детей на наши собрания, боясь, как бы чего не случилось. Но вы правы...

[1] Союз социалистической немецкой рабочей молодежи — молодежная организация ГКП.

■

В октябре 1974 года я, свежеиспеченный редактор «Элана», побывал на IV федеральном съезде Союза молодых национал-демократов. Еще в ту пору мне довелось познакомиться с их националистическими и антикоммунистическими программными тирадами. Тогда был принят план работы с солдатами, составлен график занятий. Со стороны молодых национал-демократов раздалось немало критических замечаний, обозначивших различные позиции — от тех, кто открыто придерживался архиреакционных взглядов, до тех, кто под маской «национальной солидарности» кокетничал с ХДС/ХСС и другими правыми силами.

Единого мнения они придерживались только в отношении «третьего пути», хотя сам по себе он не так уж нов и оригинален: экономика «свободного рынка» объявляется «краеугольным камнем системы», вместо классовой борьбы — «социальный мир производственного коллектива», в котором профсоюзы лишены самых элементарных прав, как это было во времена господства нацизма. Ведь даже Союз молодых национал-демократов начертал на своих знаменах призыв к этому «третьему пути», пролегающему якобы между капитализмом и коммунизмом. Впечатления и записи, сделанные на том съезде, весьма пригодились мне теперь.

Земельное бюро НДП на Барнерштрассе, 42. Расспрашиваю Фрица-Ульриха Бундта о Фронте действий молодых национал-социалистов, этом отряде нацистов, группирующемся вокруг Михаэля Кюнена. В ноябре 1977 года эта организация была признана официально. От имени Сообщества граждан Гамбурга Кюнен пригласил своих единомышленников и представителей прессы на 12 часов в ресторан «Ганзеат». И только стараниями Герхарда Вебера — депутата от Свободно-демократической партии — сборище молодых нацистов было запрещено. Но то, что разыгралось в тот вечер, обернулось для гамбургской полиции крупным скандалом. Михаэль Кюнен зачитал собравшимся перед зданием ресторана сторонникам, а также представителям печати распоряжение о запрете, тут же назначил новое место встречи и в тот же вечер устроил учредительное собрание в ресторане «Гюргерштубен» в Вандсбеке (район Гамбурга) в присутствии многочисленных корреспондентов. А полиция? После того как боевой отряд Кюнена организованно покинул ресторан «Ганзеат», она исчезла. Дальнейшее расследование показалось ей не стоящим внимания — дали отбой, и все!

Что думает об этой организации Фриц-Ульрих Бундт?

— Фантазеры. Они считают, что если переворачивать надгробия и малевать свастику, то можно изменить мир. К сожалению, немало членов нашей организации идут за ними. Им, видите ли, скучно в нашей молодежной организации. Как будто политическую работу можно заменить на-

летами из-за угла. А в целом они крайне вредят нашей работе.

Он указывает на черную доску, где приколото циркулярное письмо руководства НДП, подписанное председателем партии Мусгнугом.

Там говорится, что погромные группы были созданы по инициативе Ведомства по охране конституции, чтобы повредить репутации партии. Членов таких групп надо «удалять» из партии. И именно Мартин Мусгнуг подписал это письмо. Тот самый адвокат Мусгнуг, который сейчас защищает в суде террориста Гофмана и его военизированную спортгруппу.

В начале декабря 1976 года было запланировано собрание Клуба тюбингенских студентов с пропагандистским выступлением Карла Хайнца Гофмана в поддержку расистского режима в Родезии и вербовки наемников на борьбу с освободительным движением на юге Африки. Пятнадцать громил из военно-спортивной группы Гофмана и Клуба тюбингенских студентов — объединения, близкого к ХСС,— учинили кровавую расправу близ Тюбингенского университета: жестоко избили протестовавших против собрания антифашистов кастетами, гирьками на стальной проволоке, деревянными дубинками.

Обвиненный в нанесении телесных повреждений и покушении на убийство Гофман должен был предстать перед судом. Председатель НДП Мусгнуг, озабоченный сохранением престижа своей партии, взял на себя защиту погромщика.

Активисты НДП вспоминают удавшийся праздник в честь дня рождения фюрера и дикие пьяные оргии:

— В Оснабрюке есть чайная, которая наверняка принадлежит кому-то из членов ГКП: там ошивается вся эта левая рвань. Мы уже не раз били им стекла. А однажды как следует навели там порядок. Разукрасили все нашими наклейками. У хозяина от страха поджилки тряслись. Попробуй он держаться понаглее мы бы его враз прикончили.

— А в Ольденбурге завернули в книжный магазин: просто брали книги с полок и бросали на пол. В магазине было только двое студентов, они и пикнуть не посмели.

Есть и другие способы «самовыражения»:

— Мотоцикл: один за рулем, другой действует. Все происходит молниеносно — большой камень в окно и смываешься.

Потом упоминают еще какой-то город, кажется Люнебург:

— Там мы испробовали наш самоновейший трюк. Заворачиваешь камни в газеты ГКП и бросаешь в окна леваков. Те не поймут, что к чему, и на следующую же ночь бьют в ответ на это стекла ГКП. А нам меньше работы.

О маоистах Фриц-Ульрих Бундт отзывается хорошо:

— С ребятами из МЛ[1] можно отлично договориться. У нас много общего, например требование независимой Германии высказывания против русских.— И добавляет под секретом: — Были уже случаи перехода от маоистов к нам — в земле Северный Рейн—Вестфалия и в Нижней Саксонии. Перешел даже один человек из руководства по имени Кирхман, мать его и по сей день в маоистской «Красной помощи»... Мы и маоисты — ох и дела начнутся в ближайшие годы!

Несколько месяцев спустя на это «родство душ» обратила внимание общественность. В Бонне и Гамбурге неонацисты и маоисты вышли на демонстрацию под едиными лозунгами.

■

Человек шестьдесят — преимущественно пожилые люди — сидят в зале, пьют горячий чай или холодное пиво. Среди них Мануэль Регели и двое участников последнего собрания НДП. Я насчитал еще пятерых, помоложе. Забираюсь в угол, откуда все хорошо видно. Открывает собрание Бернгард Кристиан Винтцек, издатель журнала «Мут», опубликовавший несколько собственных опусов, в частности книжонку «Наши отцы не были преступниками», произведение, оправдывающее преступления фашизма.

Винтцек самокритично расценивает неудачи правых, призывает к большей сплоченности, к единству. Затем слово предоставляется дипломированному преподавателю коммерческих наук из Бремена Гансу Хертелю. Голос его звучит предостерегающе:

— Народный фронт красных наступает!

И «ученый» Хертель рекомендует, не дожидаясь, пока СДПГ и СвДП в качестве «пятой колонны мировой революции» под руководством Вилли Брандта переделают мир, отдать дело спасения западных стран в его, Хертеля, руки.

Герхард Опиц, издатель «национал-политических трудов» и, если я не ослышался, бывший начальник штурмовиков в Варшаве, рассказывает, как их штурмовой отряд побывал в рабочих кварталах:

— Нас осыпали цветами... — На секунду он замолкает, а затем, понизив голос, продолжает: — Правда, цветы были в горшках.

Пауза. Старики оскаливают беззубые рты, смеются: «Да, нам это знакомо». Опиц, однако, продолжает в оптимистическом тоне:

— Но настанет день, когда вермахт снова пройдет маршем через Бранденбургские ворота.— Затем, посерьезнев, он добавляет: — Есть у нас и такие, кто не понял, к чему идет дело. В 1945 году они не бросили оружие, а закопали его. А теперь полагают, что время от времени надо это оружие демонстрировать своим товарищам.

■

Припоминаю инцидент с моими коллегами — Рольфом Брингманом и Дирком Гергардом. Оба они в прошлом году готовили для «Монитора» репортаж о неонацистских организациях и были избиты, когда попытались тайно заснять один из молодежных лагерей организации «Викинг».

До этого они 22 дня провели в летнем лагере «Викинга» в Аншау (Эйфель). Своими

[1] Левацкие группировки маоистского толка.

впечатлениями о «верной народу молодежи» Дирк Герхард поделился в «Элане»:

«Мы видели детей, которые сидели в бетонных трубах и бросали друг в друга палки — ручные гранаты. Другие дети изображали «атаку на траншеи противника». Одна шестилетняя девчушка откровенно призналась: «Мы тренируемся для войны». Мы слышали, как на маленьких девочек, начавших было напевать песенку, заорали: «Прекратить пение!» И малышки боязливо замолкли. Во всем лагере господствовала военная муштра, даже для самых маленьких. Жестокость с юных лет — вот что формирует характер юных членов организации «Викинг». Состязание по боксу, проходившее в палатке, вызывало омерзение: здоровенный верзила под улюлюканье «викингов» избил щуплого паренька. Хотя тот уже несколько раз падал, вожаки из «Викинга» вновь и вновь заставляли его драться. Не спасло и кровотечение из носа. «Хвала всему, что ожесточает» — таков их девиз.

Юноши и девушки проходили военизированную подготовку: передвигались на руках по канату от дерева к дереву на высоте нескольких метров, ползали по-пластунски, стреляли в тире местного стрелкового общества. Не раз по ночам топот отрядов «викингов» раздавался в деревне. Местных жителей запугали, несколько недель спустя они даже отказались фотографироваться, опасаясь, как признавался один из них, что «викинги» подожгут крышу моего дома».

В лагере мы убедились, что опасения жителей деревни обоснованны. Около 20.30 в ночном лагере на р. Эльц был подожжен штабель дров. «Викинги» мало-помалу перестали нас стесняться. Если вначале они еще распевали безобидные туристские песни, то теперь окончательно распоясались. Молодежь пела сентиментально-пропагандистскую нацистскую песенку о «парашютисте на острове Крит», который, умирая, думал о своей возлюбленной, оставшейся на родине.

Вдохновленные этой песней, молодые «викинги» присягали своему «фюреру Адольфу Гитлеру», который ныне взирает на них с небес, клялись друг другу в верности, желая бороться и умереть за цели фюрера. Вскоре послышалось и такое: «Пусть потоками течет кровь, плевать нам на свободу Советской республики». Некоторые варьировали: «Плевать нам на свободу Федеративной Республики». Эти и другие подобные изречения обязаны своим появлением фюреру Национального немецкого освободительного движения, некоему Роланду Табберту.

Роланд Табберт возбуждал умы молодежи лозунгами типа «Изменников отечества вроде Вилли Брандта — к стенке» и призывал отправиться в Иерусалим, чтоб газом истребить там уцелевших в свое время евреев.

В лагере собралось примерно 350 человек.

В троицын день большой сбор на лугу близ бывшей сельской школы открылся барабанным боем, грохотом фанфар и подъемом флага. Федеральный фюрер «Викинга» инженер Вольфганг Нарат из Штольберга произнес речь. Он обрушился на нынешний «дух времени», на «переоценку ценностей», на «ложь об ответственности за войну», затем провозгласил, что «Викинг» — против наркотиков, за «порядок», и призвал молодежь «блюсти чистоту» и «хранить верность». В конце речи трижды задорно прозвучало «Да здравствует Нордланд! [1]».

Мы с Дитером как изваяния стояли среди благостно внимающей толпы. В голову не приходило, что фразеология «федерального фюрера» может быть настолько плоской и дешевой. Глядя на зачарованно слушающих его юных «викингов», я не мог отделаться от щемящего чувства: постоянная муштра и чудовищно жестокая военная дисциплина сделали их нравственными калеками. Глупая болтовня «федерального фюрера» в нормальных условиях должна бы вызывать свист или смех. А тут стояли верные вассалы и покорные подданные. Они умели только повиноваться, о самостоятельном мышлении не было и речи; несчастные создания, выдрессированные подобно овчаркам, готовые в любое время броситься по приказу своих хозяев на мнимых врагов».

■

В субботу и воскресенье, 4 и 5 февраля 1978 года, в «Викинг-Хофе» Ровера снова собрались любители кулачного боя.

У них руки чешутся применить теорию на практике. И вот пятеро выехали на машине в южном направлении. Около трех часов ночи, закутанные в черное, они вышли из машины у бивака «Ландсберг» на военном полигоне Берген-Хоне и напали на палатку часовых голландской воинской части с криками «Встать! Руки вверх!», держа при этом автоматы на изготовку. Им удалось разоружить солдат, захватить четыре автомата и под покровом темноты удрать. За семь недель до этого, 19 декабря, двое из них действовали так же успешно. Вооружившись автоматом, они ограбили филиал гамбургской сберкассы, захватив 25 тысяч марок. А еще семнадцатью днями раньше предположительно те же самые лица напали на одного кельнского коммерсанта и захватили драгоценностей и фотооборудования на 65 тысяч марок.

Утверждают, что Луц Вегенер и Лотар Шульце признались в нападении на натовский полигон в Берген-Хоне. Четыре автомата также обнаружены. Уве Ровер передал их через одного адвоката в полицию. Мало-помалу вырисовывается план, о котором в нацистских кругах говорят шепотом: ядом, конфискованным у Франка Штуббемана, должны были через водопровод отравить охрану тюрьмы Шпандау, где содержится под стражей военный преступник Рудольф Гесс. Из автоматов предполагалось перестрелять уцелевших часовых. Финансирование всей этой акции и бегства в Бразилию должно было осуществляться из награбленных денег.

---

[1] Из терминологии нацистов — место обитания нордической (северной) расы.

■

В понедельник я до поздней ночи сижу у себя в дортмундской редакции. Еще несколько недель тому назад я задумал переворошить архив по разделу «Нацисты». Три фамилии засели у меня в голове: Борхардт, Экарт, Вюббельс.

О них упоминал Кюнен, обсуждая с Ворхом встречу в Ганновере. Фамилии этих людей я и раньше где-то встречал. Все они одиночки, нацисты-мечтатели, совершенно изолированные друг от друга. Так говорилось в отчете Ведомства по охране конституции. Для этого ведомства любой отчет о деятельности неонацистов всего лишь формальная обязанность, выполняемая без больших усилий и энтузиазма. Сначала я набрел на имя Вольфа Дитера Экарта. Долгое время он был одним из активнейших вожаков НСДАП в Северной Германии. Он инженер, ему тридцать восемь лет. В 1969 году организовал Союз немецких национал-социалистов, который, однако, вскоре был запрещен из-за протестов антифашистских организаций. Но Экарт не сдался. При помощи различных печатных материалов он внедряется в националистические круги. Становится автором и распространителем «Информационного бюллетеня кружка друзей НСДАП», «Национал-социалистского немецкого информационного бюллетеня», «Имперских инструктивных писем» и «Национал-социалистского бюллетеня».

Фронт действий молодых нацистов с жаром подхватил и теперь планирует осуществить его предложение воздвигнуть мемориал «в память фюрера и рейхсканцлера Адольфа Гитлера».

В 1977 году к изданиям Экарта прибавилось еще одно: «Воля и путь — имперская национал-социалистская газета», официальный орган «НСДАП в Германии».

Здесь в конечном счете проясняются связи с бохольтским неонацистом Генрихом Вюббельсом. Ибо последний считается соавтором этого подстрекательского листка. У Вюббельса репутация одного из самых таинственных персонажей на нацистской сцене. Вместе с Тисом Кристоферсеном он был организатором одной из крупнейших нацистских провокаций на территории Федеративной Республики, в которой, между прочим, принимал участие и Вольф Дитер Экарт. В гамбургском Дворце спорта, арендованном на этот раз членами НДП, 10 ноября 1974 года состоялось собрание нацистов с участием проживающего в США Гэри Рекса Лока (он же Герхард Лаук) руководителя зарубежной организации НСДАП. Он выступил с докладом на тему «Почему мы, американцы, продолжаем чтить Адольфа Гитлера» и зачитывал отрывки из книги Гитлера «Майн кампф».

Полиция и на этот раз оказалась «на высоте». Хотя приглашения распространялись еще за неделю до собрания, она вмешалась только тогда, когда уже не могла больше придумать никаких отговорок.

Ввиду массовых протестов в стране и за рубежом было отдано распоряжение о высылке Лока. Вопреки этому Лок продолжал находиться в Федеративной Республике. Только в апреле 1976 года, незадолго до установления им контакта с национал-социалистской боевой группой «Майнц», он был арестован и выслан. При аресте у Лока было изъято 20 тысяч наклеек со свастикой.

Вскоре я нашел и материал о двадцатидевятилетнем Михаэле Борхардте, издателе «имперского органа фашистского фронта» под названием «Дер ауфмарш».

Борхардт мечтает о фашизме в стиле Франко. Лежащий передо мной номер журнала за 1975 год полон восхвалений и восторгов в адрес фашистской Испании.

Борхардт уже не одиночка. По крайней мере с весны 1976 года он работает в тесном контакте с Вольфом Дитером Экартом, с Вюббельсом и НСДАП. Круг замкнулся.

Подвожу итоги: якобы разрозненные неонацистские организации сотрудничают друг с другом куда более тесно, чем это желает признать и обнародовать Ведомство по охране конституции. Напрашивается вывод, что у них есть даже единый центр и общий план работы.

Ведь когда в сентябре 1976 года около 50 представителей неофашистских организаций собрались в предместье Висбадена Кларентале под видом съезда «Бохольтского стрелкового клуба», то это определенно был не уютный вечерок, проведенный за игрой в скат.

Несмотря на раздутые штаты федерального ведомства по охране конституции, которому ежегодно ассигнуются сказочные суммы из налоговых отчислений граждан, неонацисты продолжают действовать беспрепятственно и, несмотря на массовые нарушения существующих законов, по большей части безнаказанно. Судебные органы только в самых крайних случаях, когда уже невозможно скрыть от общественности фашистские «подвиги», карают за них незначительными денежными штрафами или условными мерами наказания. Как будто им совершенно незнаком ни Закон № 8 Союзнического контрольного совета в Германии, являющийся составной частью конституции ФРГ, ни другие соответствующие постановления. А там говорится: «Проводимая письменно, устно или иными способами пропаганда или агитация, имеющая целью сохранить милитаристский или национал-социалистский дух или подобные учреждения, возродить их или поощрять, а также сделать войну объектом восхваления, запрещена».

Почтовое ведомство ФРГ, стремящееся отделаться от сотрудников левых убеждений при помощи закона о запрете на профессии, с готовностью попустительствовало конспиративной деятельности неонацистов. Понадобилась упорная работа антифашистов, чтобы добиться блокирования нацистских почтовых ящиков. Ибо как Борхардт («Дер ауфмарш», 2000 Гамбург, 50, абонемент до востребования № 086514), так и Экарт («Кружок друзей НСДАП», инж. В. Д. Экарт, 2000 Гамбург, 73, почтовый ящик 349) могли месяцами получать таким путем корреспонденцию и посылки с пропагандистскими материалами, открыто указывая названия своих организаций.

Вот несколько выдержек из 24-го номера (январь — февраль 1978 года) издания «Боевой призыв национал-социалистов. Боевой листок Национал-социалистской рабо-

чей партии Германии, ее зарубежной и восстанавливаемой организации».

На третьей странице краткие сообщения:

«Гамбург. В последнее время в газетах Западной Германии увеличилось количество сообщений о зарубежных организациях НСДАП. Долголетняя пропагандистская работа приносит свои плоды. С немецким приветом! Хайль Гитлер!»

«Франкфурт. В настоящее время фильм о нашем фюрере, снятый Фестом, производит здесь огромный фурор, хоть он и содержит немало искажений, но впечатляющие кадры, рассказывающие о фрау Рифеншталь, о партийных съездах, о речах фюрера, воодушевляют и современную молодежь, как я смог заметить на примере собственного 13-летнего сына. Борьбу стоит продолжить! Хайль Гитлер!»

19 декабря 1977 года обер-бургомистр Франкфурта вручил Фесту «Крест за заслуги» с лентой. Этой почести его удостоил федеральный президент «за особые заслуги перед государством и народом». Под комплиментом Фесту в «Боевом призыве национал-социалистов» опубликована песня, которая частенько звучит в офицерских клубах бундесвера. Причем тогда, когда офицеры правых взглядов полагают, что они в своей компании и наконец могут говорить и петь то, что у них на уме.

Когда под Данцигом флот красных
в море тонет,
Мы на танках въезжаем в Москву,
Вот тогда-то мир в Европе
настанет наяву...

Редактор «Боевого призыва национал-социалистов» — Герхард Лаук (Гэри Лок). По его адресу в Небраске (США) можно заказать знамена со свастикой (40 марок), наклейки со свастикой (1000 штук — 25 марок) и значки со свастикой (10 марок).

Финансовое положение... О чем бы ни шла речь: о листовках и наклейках, найме помещений или о далеких автомобильных рейсах — необходимые для этого деньги, кажется, всегда в наличии.

Во-первых, отдельные члены организации готовы отдать нацистскому делу свои последние сбережения. Во-вторых, НСДАП заботится о том, чтобы деньги, полученные путем ограбления сберегательных касс, не попали в руки частных лиц. О третьем источнике доходов Кюнен кратко информировал в ходе одного из своих телевизионных интервью: «У нас есть ряд жертвователей — это старые члены партии или просто пожилые люди,— которые чувствуют себя нашими сторонниками, но не хотят открыто появляться на политической арене».

И сегодня есть уже немало богатых и влиятельных лиц, которые кокетничают с неофашистским движением и хотели бы иметь его своим мощным резервом.

Нацист Лаук хорошо это знает. «Есть солидные круги и даже политические силы, которые надеются на образование сильного германского государства и поэтому приветствуют национал-социалистское движение,— утверждает он.— Но о солидной финансовой поддержке можно будет говорить только тогда, когда прочная национал-социалистская организация сама, собственными силами, добьется определенной власти и престижа».

Кюнен и его команда в союзе с Шёнборном, Экартом, Кристоферсеном и другими делают все, чтобы достичь этой цели в возможно более короткий срок.

Сегодня утром одна из сотрудниц редакции связалась с Кюненом по телефону и отрекомендовала главного редактора «Элана» журнала ССНРМ Петера Бубенбергера как репортера одной правой австрийской газеты. Кюнену дали понять, что он чрезвычайно положительно относится к национал-социалистскому движению. И давно, мол, пора единомышленникам в Австрии узнать наконец правду о новых мощных национальных силах. Дескать, пора «назад, в рейх» и т. п. Договорились: в 19.00 в «Эгерлендере».

А теперь уже пять минут девятого.

Я в общем-то могу себе представить, чем объясняется это опоздание. Сегодня во второй половине дня мы побывали в земельном бюро ССНРМ и еще раз обсудили некоторые важные вопросы.

Выходя из бюро, я услышал короткий вскрик, а затем проклятия: Петер прищемил себе дверью указательный палец, ранка сильно кровоточила. Мы расстались. Я поехал в «Эгерлендер», а Петеру пришлось пойти к знакомому врачу. Речь идет о враче Карле Райнере Фабиге. Имя его, может быть, не стоило бы и упоминать, если бы не тот факт, что он — антифашист, ставший несколько месяцев спустя жертвой покушений неонацистов. Сначала сожгли его служебную машину и дачу. Еще через несколько дней неонацисты напали на него и жену и зверски их избили.

А в пятницу вечером известному писателю и кандидату от ГКП на выборах в земельный парламент Петеру Шютту двое неонацистов в черных костюмах угрожали топором в метро на глазах у многочисленных пассажиров.

И в данном случае это, по всей вероятности, были «черные ребята из Эгерлендера», которых Кюнен сначала как следует «подзавел» на групповой встрече Фронта действий молодых национал-социалистов, а потом послал на «дело». Такие, безусловно, не остановятся в своем фанатизме и жестокости перед настоящим убийством.

Я все больше нервничаю.

Если Петер в ближайшее время не явится, то вместо моих «друзей» он встретит здесь разве что проституток и сутенеров. Но вот он в дверях, и у меня — камень с души.

К самозваному «корреспонденту» и «германо-австрийскому единомышленнику» Кюнен проникся доверием. С глазу на глаз он сообщает ему:

— Мы в «национальном лагере», но вовсе не так уже раздроблены, как кажется. Во-первых, мы, руководители, все друг дру-

га знаем в масштабе страны. Мы всегда можем нанести согласованный удар. Регулярно совещаемся, координируем наши действия. По возможности стараемся действовать не по писаным канонам, а так, чтобы сбить противника с толку — в этом наша сила. Так называемые органы безопасности не знают нашей стратегии и тактики. То участие в выборах, то активные действия. То мы действуем открыто, то наносим удары ночью...

Кюнен излагает свою концепцию:

— Мы добиваемся полной легализации НСДАП. С этой целью нужно вызвать беспорядки. Но этого мало. Слышали когда-нибудь об «Инициативном комитете»? Если в ближайшее время услышите эти слова, то знайте: это мы развернули широкую кампанию за легализацию НСДАП.

Проблема роста числа сторонников Кюнена не тревожит. Он рассказывает о притоке людей из студенческих корпораций и «Немецкой молодежи Востока». И из числа маоистов. Петер прикидывается удивленным:

— Разве при этом не возникает проблем?

— Никаких! Вообще никаких проблем. У нас ведь то же самое. Мы тоже резко выступаем против профсоюзных бюрократов, против ГКП и против партий, поддерживающих нынешний строй.

Через двадцать минут — заключительный вопрос:

— А деньги? Достаточно у вас денег для этих грандиозных планов?

Кюнен к таким вопросам подготовлен:

— Я, знаете ли, в этом деле как Крупп: о деньгах не говорят, ими располагают.

— Господин Кюнен, еще просьба. Не мог бы я сделать снимок группы? Лучше всего — за столом. Вы же понимаете — без фото очерк теряет половину своей достоверности.

Кюнен улыбается.

— Само собой!

Вместе с Петером он подходит к нашему столу.

— Камрады, вот наш друг из австрийской газеты. Он хотел бы сделать парочку фотографий. Ну-ка, встаньте. Кое-кому сниматься нельзя.— И обращаясь к Петеру: — Это, как вы понимаете, из соображений безопасности. У некоторых могут быть неприятности на производстве или дома.

■

У нас были достаточно веские причины прервать на этом свою операцию «Неонацисты». За эти недели нам удалось получить много до сих пор неизвестной информации об опаснейшей организации НСДАП, замаскированной под названием Фронт действий молодых национал-социалистов, ознакомиться с биографиями и мотивами поведения ее членов и руководителей. Мы из первых рук получали сведения об их планах, смогли наблюдать взаимодействие самых различных неонацистских организаций, рассеянных по всей территории ФРГ. Мы видели, как активисты молодежной организации НДП выступали в поддержку избиений антифашистов и как тесно молодежь НДП связана с неонацистскими террористическими бандами.

Самый существенный новый материал был собран. Дальнейшие контакты с Фронтом только увеличили бы риск провала и тем самым поставили бы под угрозу мою жизнь. Никакая маскировка не спасла бы меня от слежки, объявленной службой безопасности НСДАП.

В майском и июньском выпусках журнала «Элан» мы опубликовали наиболее важные сведения и факты.

Последовавшие затем анонимные телефонные звонки в редакцию доказывают, что мои «друзья» отнюдь не обрадовались случившемуся: «Мы тебя угробим, ты, коммунистическая свинья!.. В первый и последний раз вам, пачкунам, удалось запятнать честь фюрера... Придет день отмщения. Победа или смерть. Вам — смерть, НСДАП — свободу!»

Публикации «Элана» не в последнюю очередь способствовали тому, что свыше четырех тысяч гамбуржцев вышли 19 мая на демонстрацию и потребовали от сената, органов юстиции и полиции положить конец проискам нацистов. Призыв к демонстрации исходил от известных гамбургских борцов Сопротивления, от Объединения антифашистов и лиц, преследовавшихся при нацизме, от земельной молодежной организации, Ученической палаты, Немецкого общества сторонников мира и Объединения противников военной службы, Немецкого союза мира, Германской коммунистической партии, ССНРМ и множества других организаций и лиц.

Протесты против активных действий неонацистов внутри страны и за рубежом возымели действие: Уве Ровер, Луц Вегенер, Франк Штуббеман и некоторые другие молодые национал-социалисты были арестованы.

Вольф Дитер Экарт 5 июля был приговорен Главной судебной палатой земельного суда в Гамбурге к двум годам лишения свободы за подстрекательство, разжигание расовой ненависти и призывы к уголовно наказуемым действиям. Бежавшего в Бразилию председателя Сообщества германских граждан Манфреда Рёдера видели там, в обществе ныне арестованного бывшего заместителя коменданта национал-социалистского лагеря смерти в Солиборе Густава Франца Вагнера. Рёдера разыскивают.

На троицу сорвался слет нацистов в Шарцфельде (Гарц), на который кроме Кюнена и его людей съехались видные нацисты со всей ФРГ. Среди них Тис Кристоферсен и Вильгельм Штеглих.

Еще в апреле Фронт действий молодых национал-социалистов снял кандидатуру своего представителя на выборах в земельный парламент Гамбурга. Широко задуманная кампания потерпела крах из-за недостатка подписей и, как они сами жаловались, из-за «непрекращающихся клеветнических нападок на Фронт».

Несмотря на эти контрудары, неонацистские организации продолжают работать с ничуть не меньшим фанатизмом и оперируют при этом еще более солидными денежными средствами.

И вот что характерно для гамбургской полиции и юридических органов: Фронт действий молодых национал-социалистов, как и прежде, проводит встречи по пятни-

цам вечером в «Этерлендере», маленьком подвальном ресторанчике в двух шагах от гамбургского Главного вокзала. В конце июня наши друзья снова их там видели: в черных высоких сапогах, черных бриджах и куртках, с портупеями, украшенными эмблемой СС, и здоровенными ножами.

И снова они заставляют говорить о себе. 22 июля 1978 года Фронт после тщательной подготовки провел в шлезвиг-голштинской деревне Лентфёрден «день памяти Гитлера», в котором приняло участие около сотни неонацистов со всей ФРГ. Вызванная полиция только после многократных попыток смогла проникнуть в забаррикадированные помещения. Неонацисты вступили с полицией в драку, во время которой около двадцати полицейских чинов было ранено, некоторые — тяжело. Михаэль Кюнен был временно задержан, но уже через шесть дней выпущен на свободу, несмотря на то что нюрнбергский суд еще 11 июля приговорил его и Кристиана Ворха к десяти месяцам лишения свободы условно за подстрекательство. В октябре 1977 года он вместе с тридцатью другими неонацистами организовал возложение венков перед зданием судебной палаты (Дворца правосудия), где в 1946 году был вынесен смертный приговор членам «имперского правительства», как главным военным преступникам. Там же он расклеил подстрекательские плакаты, текст которых завершался словами: «Борьба начинается».

■

Суббота,
17 июня 1978 года

17 июня 1977 года нацистские молодчики избили на площади Рёмерберг во Франкфурте десятки антифашистов. Год спустя НДП вновь призвала своих сторонников провести «митинг свободы». Тысячи жителей Франкфурта потребовали: «Нацисты не должны возвратиться!» И они не прошли на Рёмерберг. Но вместо нацистов пустили в ход дубинки полицейские...

Стефан Луц-Бахман, тридцатилетний дипломированный теолог и член Объединения лиц, преследовавшихся при нацизме (ОПН), принадлежит к числу основателей и активных участников кружка ОПН по проблемам неофашизма. Он и его товарищи решили воспрепятствовать тому, чтобы Франкфурт — город со старыми демократическими традициями — стал местом сборищ неонацистов. Ведь именно в этом городе на Майне действует Комитет борьбы за освобождение Рудольфа Гесса, пытаясь снять с этого нацистского преступника ответственность за его тяжкие преступления. Там же каждые две недели встречаются члены ХИАГ — организации, являющейся преемником СС. А теперь НДП вознамерилась устроить митинг на Рёмерберге, площади перед Франкфуртской ратушей.

«Когда это стало известно,— рассказывает Стефан,— у нас оставалось уже не так много времени. Ибо широкий, действенный блок против неонацистов возникает не вдруг. Только в апреле мы смогли пригласить несколько организаций и отдельных лиц на первую предварительную беседу».

Во Франкфуртском доме Объединения немецких профсоюзов они совещались о том, как воспрепятствовать проведению нацистского митинга перед ратушей. Представители ОНП и ОПН, Молодых социалистов и НСМ, ГКП и ССНРМ и Городского совета учащихся решили провести на площади Паульсплац, вблизи Рёмера, антифашистский митинг: «Не дадим спровоцировать себя на акты насилия, не будем агрессивны ни по отношению к неонацистам, ни по отношению к полиции. Но только мощный протест вынудит обер-бургомистра запретить нацистское сборище».

Своевременно, к 1 мая, была готова первая листовка. Под лозунгом «Нацисты не должны возвратиться!» были помещены две фотографии. Верхняя изображала центр Франкфурта, сожженный дотла в последние дни развязанной гитлеровцами войны. А на нижней фотографии можно было увидеть, с какой жестокостью громилы из НДП бесчинствовали во Франкфурте 17 июня 1977 года.

Без длинных объяснений людям было ясно, о чем идет речь. Старые, испытанные активисты говорили: «Это первая хорошая листовка!» И многие сохранили ее. 17 июня 1978 года они собирались участвовать в демонстрации против неонацистов.

Обер-бургомистр Вальман попал в затруднительное положение: под угрозу была поставлена репутация Франкфурта как города ярмарок, открытого для гостей со всех концов мира. 12 мая в газетах было опубликовано сообщение о запрете митинга НДП.

Неонацисты ответили на это «открытым письмом». Четвертая палата Франкфуртского административного суда отменила 8 июня распоряжение обер-бургомистра Вальмана о запрещении митинга. Тем самым нацистам, которые бесчинствовали здесь год тому назад, суд еще раз открыл зеленую улицу.

Вот в такой ситуации сорок организаций, объединившихся в антифашистском блоке, готовились к 17 июня.

К этому дню во Франкфурте не было, пожалуй, человека, который не знал бы о запланированном нацистском митинге и антифашистской демонстрации. Организации блока за шесть истекших недель распространили четыре различных листовки общим тиражом 49 тысяч экземпляров. Скандальное решение суда также способствовало тому, что франкфуртские газеты почти ежедневно информировали своих читателей о развитии событий...

Послушаем, как провели 17 июня Стефан Луц-Бахман и Роланд Фришкорн — 24-летний лаборант-биолог, руководитель молодежного клуба во франкфуртском Доме профсоюзов.

Стефан: «Я сам еще утром под проливным дождем помогал строить сцену на Паульсплац. С самого начала нацисты сновали по площади, внимательно наблюдая за тем, что мы делаем. Там даже появлялся председатель НДП Мусгнуг.

Роланд: «Меня назначили распорядителем. Когда я прибыл на место, там уже околачивались группы леваков. Знаменательно, что сначала вход на Рёмерберг был блокирован водометом полиции. Но когда подошла колонна маоистов, водомет сразу уехал, так что левые экстремисты беспрепятственно вступили на Рёмерберг».

Стефан: «К этому времени полиция уже оцепила весь район вокруг Паульсплац и Рёмерберга. Те, кто шел на наш митинг — нас было пока только около трех тысяч человек,— должны были пристраиваться в колонну левых экстремистов. Их было в общем не так уж много. Но вместе с зеваками и нашими сторонниками к их колонне подошло еще около четырех тысяч человек. И всех их направили на Рёмерберг. Пожалуй, можно даже сказать: заманили в ловушку.

Нас, находившихся на Паульсплац, охватило подлинное ликование: «Дружище, ведь там, на Рёмерберге, четыре тысячи человек! Теперь уж нацисты не пройдут!» И многие из нас побежали туда посмотреть, что происходит».

Роланд: «Но потом был отдан приказ очистить площадь».

Стефан: «То, чему товарищи сперва не хотели поверить, действительно произошло. Полиция потребовала очистить площадь, после того как сама направила туда людей. И меньше чем через десять минут после первого приказа набросилась на демонстрантов. Это было безумие, если учесть, что у нескольких тысяч человек, собравшихся на площади, был один-единственный узкий выход — к Паульскирхе».

Все, что в эти полчаса происходило между Рёмербергом и Паульскирхе, Стефан и Роланд могли наблюдать лишь издали.

Одна свидетельница рассказывала:

«Внезапно передо мной выросли трое полицейских, они что-то кричали, от страха я не поняла, что именно,— тут же набросились на меня с дубинками: били по голове, по лицу и — когда я, шатаясь, попыталась уйти — по спине. Кто-то выбежал из будки привратника и увел меня в безопасное место».

Из газеты «Франкфуртер рундшау»: «Одной нашей журналистке с трудом удалось убежать от охваченной паникой толпы. Она видела молодую женщину в летнем платье, которая закрывала руками окровавленную голову. Она видела, как били по рукам молодого человека, который хотел предохранить от ударов свой фотоаппарат, как одного парня вытащили из телефонной будки, как демонстранты уговаривали разъяренных людей бросить булыжники...»

В то время как франкфуртские полицейские избивали на Рёмерберге всех, кто попадался им под руку, нацисты на своем сборном пункте возле улицы Ратсвег беспрепятственно охотились на протестующих прохожих и мирных демонстрантов. «Франкфуртер рундшау» писала:

«Многочисленные читатели нашей газеты звонили нам, сообщая, что «группа молодых национал-демократов отвечала градом камней на лозунги, которые мы скандировали хором». Ульрику Г. и двух ее знакомых в 19 часов 15 минут преследовали вооруженные дубинками чернорубашечники».

Роланд Фришкорн: «С какой жестокостью действовала полиция, видно из того, что она буквально гонялась за демонстрантами. Я еще никогда не видел так много людей, истекавших кровью...»

Стефан: «Когда полиция затем продвинулась на Паульсплац, наши тоже принялись кидать в водометы камни. Ответственные за порядок бросились к этим людям и потребовали прекратить хулиганство.

В ответ один из них рявкнул: «Проваливай, красная свинья!» Это — не жаргон леваков или «спонтис»[1]. Думаю, первыми бросать камни на Рёмерберге начали провокаторы, нацисты, которые хотели дать полиции повод дубинками очистить площадь для НДП. Роланд Фришкорн тоже считает, что это была провокация».

Полиция не просто гнала тысячи людей, как скот, по улицам, явно к удовлетворению нацистов. Она еще собиралась разогнать антифашистский митинг на Паульсплац, где все еще находилось около трех тысяч человек.

Роланд: «Затем полиция потребовала очистить и Паульсплац. Товарищ Юнгман сразу же заявил, что полиция должна защищать наш митинг. И призвал всех остаться.

Тогда из-за подмостков прямо на нас выдвинулись водометы. Мы тотчас образовали живую цепь и решили: отсюда мы не уйдем. Это разрешенный антифашистский митинг, мы вправе находиться здесь. И мы опять потребовали от полиции оставить площадь: у нас ведь мирный митинг.

Они все-таки не осмелились разогнать нас дубинками».

Но те несколько провокаторов оказали нацистам и начальнику полиции неоценимую услугу. Ибо в следующий понедельник пресса обошла молчанием высказывания участников антифашистского митинга. Вместо этого газеты от Гамбурга до Мюнхена пестрели заголовками «Уличный бой» и «Баррикады». «Франкфуртер рундшау» тоже напечатала процитированные выше сообщения с опозданием — лишь после множества телефонных звонков.

Председатель франкфуртского профсоюза работников предприятий общественного обслуживания, транспорта и связи Карл-Хайнц Юнгман от имени всех профсоюзов города произнес на Паульсплаце речь:

«Многие политики никогда не расстаются с текстом Основного закона и зачастую применяют его антиконституционно: как правило, в интересах своей собственной политической линии. Достаточно напомнить о практике слежки в общественных учреждениях.

Почему эти политики забывают об Основном законе, когда действительно нужно выполнять его требования? Статья 139 нашей Конституции предписывает запрещение всех неонацистских организаций. Объединение немецких профсоюзов уже много лет требует запретить НДП и другие неофашистские группировки. Нацизм не должен возвратиться!»

И вот во имя того, чтобы нацисты не возвратились, тысячи демократов вышли на улицы. А начальник полиции Мюллер приказал дубинками очистить Рёмерберг. То,

[1] Молодежное анархистское движение.

что он два часа спустя все же запретил демонстрацию НДП в центре города и на Рёмерберге, произошло благодаря стойкости трех тысяч антифашистов на Паульсплац.

Перевод с немецкого А. ПЛЮТО

ВЛАДИМИР ЛОМЕЙКО

Способно ли еще плодоносить чрево?

Старый, больной вопрос: есть ли шансы у неонацистов? Не верьте тем, кто снисходительно отмахнется или пожмет плечами: нашли, мол, о чем говорить. А с такой реакцией встречаешься. Вопрос действительно старый, ибо вот уже четвертое десятилетие его по-прежнему задают люди во многих странах, и прежде всего в тех, которым выпала тяжелая судьба быть под пятой и бороться против фашистских оккупантов. И вопрос по-прежнему больной, ибо он ноет не только в раненой памяти поколений, прошедших через войну, но и будоражит воображение их детей и внуков, как эхо великой беды, постигшей родную землю. Вопрос старый и больной и для нас, советских людей, и для самих западных немцев, и не один десяток раз я его слышал в разных городах моей страны и в Западной Германии. Звучит он с разной интонацией, но никогда равнодушно.

На этот вопрос не так-то просто ответить, потому что никто не может знать до конца, насколько опасна бацилла заразной болезни, которую вроде бы и побороли всем миром, и давно уж не было вспышек эпидемий, а в то же время нет и стопроцентной гарантии, что массовые заболевания исключены. Ведь то там, то здесь обнаруживают очаги заразы.

Человечество давно побороло и чуму, и оспу, и желтую лихорадку, но пока еще продолжает делать предупредительные прививки против них. И хотя нет реальной серьезной угрозы, укол как бы настораживает организм, заставляет мобилизовать его готовность к отражению возможной опасности.

Книга Юргена Поморина и Рейнгарда Юнге «Неонацисты» — укол-напоминание для людской памяти, для памяти прежде всего самих западных немцев, большинство которых убеждено, что разговоры о неонацистской опасности преувеличены. Подобная реакция, с которой я не раз сталкивался при встречах с западными немцами, не обязательно свидетельствует о попустительстве, о снисходительности или уязвленном национальном самолюбии. Хотя такое тоже бывает. Как правило, речь идет о незнании подлинных обстоятельств или о нежелании, возможно и невольном, придавать даже известным фактам значение. Было бы неверным сравнивать признания немцев сразу после войны о том, что они ничего не знали о печах Освенцима, с нынешними заявлениями вполне добропорядочных бундесбюргеров о том, что рассуждения о современных неонацистах — наговор на Западную Германию. Тогда тоталитарная фашистская система замалчивала свои преступления. Сегодня буржуазная демократия сама время от времени занимается самобичеванием — правда, всегда в меру и всегда с оговорками. Но и в той прежней и в нынешней реакции есть характерная черточка общего — нежелание большинства людей плохо думать и говорить о своих соплеменниках: возможно, именно потому, что паршивая овца все стадо портит.

Вот почему Юрген Поморин и Рейнгард Юнге, притворившись на время «неонацистами», чтобы попасть в их настоящую среду и изнутри осветить разоблачительным журналистским лучом тайные сборы и тайные намерения поклонников фюрера, совершили поступок подлинного гражданского мужества и оказали услугу своему обществу. Горькая ирония состоит в том, что само это общество отнюдь не рассматривает исследование авторов как благо и добродетель, а скорее склонно либо замалчивать, либо даже охаивать его как пристрастное, преувеличенное, недоброжелательное мнение. Значит, снова все та же нетерпимость к критике, особенно если она исходит из левых рядов.

И вот здесь я затрагиваю то явление, которое отмечают и авторы книги «Неонацисты», и многие их предшественники, явление, с которым мне не раз самому приходилось сталкиваться в Западной Германии: вся государственная машина ФРГ — и власти, и полиция, и ведомство по охране конституции, и суды, да и большая часть средств массовой информации — значительно более пристрастна к активным антифашистам, чем к неонацистам. Вся история становления послевоенной ФРГ вплоть до последних дней полна примеров подобного рода. Излишне напоминать о том, как в эру Аденауэра бывшие нацистские судьи преследовали бывших антифашистов, о том, что в наши дни пресловутый «закон о радикалах» трактуется повсеместно в первую очередь как закон для дискриминации коммунистов и часто оставляет без внимания откровенно антиконституционную деятельность десятков неонацистских групп, распространяющих фашистскую идеологию. Что же, значит, боннская Фемида по-прежнему крива на правый глаз?

Юрген Поморин и Рейнгард Юнге подтверждают это своими документальными рассказами о вольном и невольном покровительстве полиции неонацистским сборищам и о ее чрезмерном рвении в разгоне антифашистских митингов и демонстраций. Эти симптомы мне, как и многим в Западной Германии, кажутся еще более опасными, чем сами неонацистские группы.

Опасность неонацизма не только и не столько в легальном существовании многочисленных организаций — последовательниц национал-социалистской партии Гитлера. Изучая эти группы, и, в частности, национал-демократическую партию, я имел возможность познакомиться не только с их документами и изданиями, но и побывать на собраниях, митингах и съездах НДП. Это действительно прибежище «вечновчерашних», хотя там есть и молодежь. Они действительно не делают погоды в нынешней ФРГ. Но опасность неонацистской малярии в том, что это болото не высыхает. Вот уже четвертое десятилетие оно то и дело начинает хлюпать под ногами бундесбюргера и оттуда несутся все те же крики гитлеровской чертовщины.

Разве сам этот факт не наводит на печальные размышления?

Когда в ноябре 1971 года мы вместе с корреспондентом «Труда» Рудольфом Колчановым побывали на съезде НДП в Хольцминдене, где, между прочим, бывший фюрер Адольф фон Тадден передал бразды правления новому фюреру Мартину Мусгнугу, наши коллеги, западногерманские журналисты, снисходительно бросали в наш адрес: «Нашли чем заниматься, через пару лет о национал-демократах никто и не вспомнит!» С тех пор прошло почти десятилетие, и уже новое поколение журналистов «Элан» расследует деятельность председателя НДП Мартина Мусгнуга, который в качестве адвоката защищает в суде правого террориста Гофмана и его военизированную группу.

Когда мы с режиссером Анатолием Колошиным в последние годы работали над документальным фильмом «ФРГ — урок немецкого», кое-кто из западногерманских коллег тоже показал себя задетым: «Опять вы не смогли обойтись без неонацистов!»

Значит, тема по-прежнему больная и колючая, хотя не потому она колет, что неправда, а как раз наоборот. Ведь в нашем фильме приводится документальное телеинтервью, которое взял у того же Гофмана английский журналист, и рассказ о тех же тренировках громил из его военизированной группы, о которой сегодня пишут Поморин и Юнге. А разве совсем недавно журнал «Штерн» не с той же тревогой писал о деятельности неонацистов?

Отчего же тогда такая болезненная реакция многих западных немцев на внимание других наций ко всем проявлениям неонацизма? Разве не в общечеловеческих интересах искоренить безвозвратно бациллу фашизма?

Пристрастность порождает сомнения в объективности намерений. Когда мы с тревогой отмечали новую волну ностальгии по Гитлеру, «гитлер-велле», захлестнувшую несколько лет назад книжный рынок и киноэкран в Западной Германии, наши коллеги — оппоненты из ФРГ — успокаивали нас: «Это здоровое явление, мы хотим разобраться в феномене фашизма». Но вот Поморин и Юнге рассказывают нам о восторженной реакции юнцов, у которых эти фильмы и книги о Гитлере возбуждают не просто любопытство, но восхищение, восхваление и подражание. Так одностороннее некритическое изложение двенадцатилетней истории «тысячелетнего рейха» содействует стремлению обелить хотя бы частично тот страшный период, возложить вину на отдельных людей и на обстоятельства и оправдать тысячи и тысячи убийц только потому, что они были убийцами-исполнителями. И разве не о той же прискорбной пристрастности свидетельствует замалчивание книги «Неонацисты» в большой прессе Западной Германии?

Когда спрашивают, много ли неонацистов в ФРГ, представляют ли они опасность, не стоит искать однозначных ответов. Дело не в количестве, хотя тот факт, что существуют десятки пронацистских организаций и десятки тысяч людей исповедуют культ фюрера и ненависть к другим народам, что на смену «старым борцам» НСДАП приходят новые, молодые, сам этот факт не может не настораживать, не вызывать вопросов. Точно так же как не могут не возмущать и террористические действия неонацистских групп, погромы, которые они устраивают против левых. И, пожалуй, больше всего настораживает то, что их достаточно давно и слишком многие воспринимают как естественную часть сообщества. К ним относятся по-разному, одни с негодованием или презрением, другие поддерживают, покровительствуют, шефствуют, подбадривают, злорадно любуются ими, похлопывают по плечу, а попади они в беду, им помогают. В отношении к неонацистам есть все оттенки, как, впрочем, и в отношении к Гитлеру. И купаясь в мутных водах «гитлер-велле», неонацисты беспрепятственно делают главное злое дело своего движения — они оправдывают преступный режим, постепенно обеляют теорию и практику нацизма. Стоит ли после этого удивляться, что по прошествии трех с половиной десятилетий, как свидетельствуют опросы общественного мнения, все еще многие бундесбюргеры считают, что «нацизм был хорошей, но плохо осуществленной идеей».

В дискуссиях с западными немцами у меня всегда вызывают подозрение те, кто слишком громко восхваляет Брехта, но морщится, когда им скажешь: «А как вы относитесь к его предостережению:

Еще плодоносить способно чрево,
которое вынашивало гада?..»

Если люди чувствуют себя уязвленными вместо того, чтобы обсудить, что мы вместе можем сделать для искоренения общечеловеческого зла нацизма, значит, есть еще основания для опасений, значит, наша бдительность оправданна.

◆

Антирубрика

ДИНО БУДЗАТИ

ВОЕННАЯ ПЕСНЯ

Притча

Перевод с итальянского ВЛАДИМИРА РОНИНА

Король поднял голову от своего рабочего огромного стола, отделанного сталью и алмазами.

«Что это, черт побери, поют мои солдаты?» — спросил он. И в самом деле, снаружи, по площади Коронации один за другим с песнями шли батальоны на фронт. Жизнь была для них легка, так как враг уже отступал и там, в далеких прериях, им оставалось только пожинать славу, которая бы увенчала их возвращение домой Да и сам король по этой причине находился в отличном настроении, бодрый и уверенный в себе. Весь мир уже вот-вот должен был покориться ему.

«Это их песня, ваше величество»,— ответил первый советник, закованный в броню и железо, как того требовало военное время.

«А нет ли у них чего-нибудь повеселее? — спросил король. — Ведь Шрёдер написал прекраснейшие гимны для моих войск. Я сам их слышал. Это настоящие солдатские песни».

«Что поделаешь, ваше величество,— заметил старый советник, согнувшись под тяжестью оружия больше обычного.— У солдат есть свои прихоти, почти как у детей. Мы им даем лучшие гимны в мире, а они все равно предпочитают свои песни».

«Но это же не военная песня,— сказал король. — Похоже даже, что, когда они поют ее, они грустят. И я не сказал бы, что в ней вообще есть мотив».

«Вот именно: не сказали бы,— подтвердил советник, льстиво улыбаясь.— Но может быть, это просто любовная песня, и ничто другое».

«А какие у нее слова?» — настаивал король.

«Я в этом, по правде сказать, не сведущ,— ответил старый граф Густав,— но я их узнаю».

Батальоны прибыли на фронт, наголову разгромили врагов, устлали землю их телами; гром побед раздавался по всему миру; топот сапог уносился по равнинам все дальше от серебряных куполов королевского дворца. И с их биваков, окруженных прежде неведомыми созвездиями, разливалась все та же песня, совсем не веселая, а печальная, не победоносная и воинственная, но полная горечи. Солдаты ели хорошую пищу, носили мягкие одежды, сапоги из кожи, теплые шинели, и кони скакали галопом от сражения к сражению, все дальше вперед, нагруженные лишь вражескими знаменами. Но генералы спрашивали: «Что, черт возьми, поют солдаты? Неужели у них нет ничего более веселого?»

«Так уж они созданы, ваше превосходительство,— отвечали в штабе.— Здоровые парни, но не без навязчивых идей»

«Не слишком блестящая мысль,— ворчали раздраженные генералы — Ей-богу, похоже, что они плачут. Может показаться, что они недовольны. И чего только им не хватает?!»

Но они были вполне довольны, все, как один, солдаты победоносных полков. В самом деле, чего им не хватало? Одна победа за другой, к их услугам богатая добыча, новые женщины, все ближе триумфальное возвращение. Враг будет окончательно истреблен, уже читалось на лицах юношей, прекрасных своей силой и здоровьем.

«А каковы слова?» — полюбопытствовал генерал.

«Ах, слова! Это самые глупые слова, какие мы только слышали»,— отвечали люди из штаба, по старой привычке осторожные и сдержанные.

«Глупые или нет, но какие?»

«Я не знаю точно, ваше превосходительство,— сказал один.— Ты, Дилем, знаешь?»

«Слова этой песни? Признаться, нет. Но здесь капитан Маррен, который, конечно...»

«Я в этом не силен, господин полковник,— ответил Маррен.— Однако мы можем спросить у фельдфебеля Петерса, если позволите».

«Ну, быстро, сколько лишней болтовни! Бьюсь об заклад, что...» — Но генерал предпочел не договаривать. Немного взволнованный, твердый, как палка, фельдфебель Петерс приготовился отвечать на вопросы.

«Первый куплет, вашество, звучит так:

По полям и селам
Барабан бьет,
А время идет.
Обратной дороги,
Обратной дороги
Никто не найдет.

А потом второй куплет: «По диндам и по дондам...»

«Как?» — переспросил генерал.

«По диндам и по дондам...», именно так, вашество».

«А что это значит: «по диндам и по дондам»?»

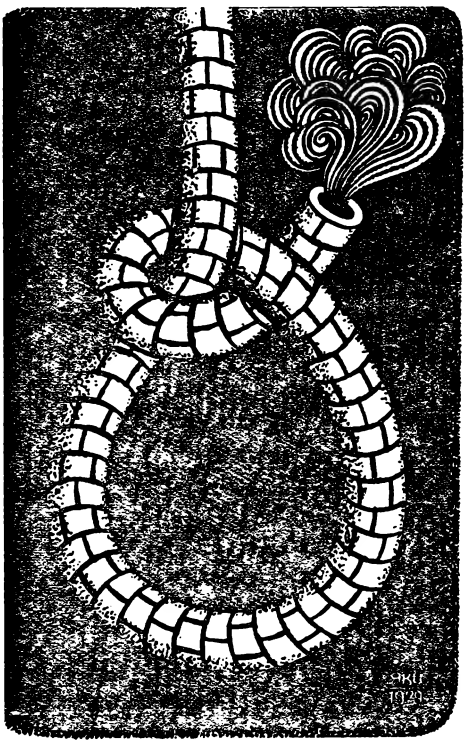
«Не могу знать, вашество, но поют именно так».

«Ну ладно, а дальше?»

«По диндам и по дондам
Вперед, вперед!
А время идет.
Где я тебя оставил,
Где я тебя оставил,
Крест меня ждет

А потом есть еще третий куплет, но его, однако, почти никогда не поют. Он звучит так...».

ЯНКО КРЫСТЕВ
Болгария
Без слов



«Хватит, хватит и этого»,— сказал генерал, и фельдфебель отдал честь.

«Не очень-то веселая, как мне кажется,— заметил генерал, когда фельдфебель удалился.— Во всяком случае, малопригодная для войны».

«Действительно, малопригодная»,— подтвердили с должным почтением полковники из штабов.

Каждый вечер, на исходе боя, когда еще дымилась земля, уже летели с быстрыми гонцами добрые вести. В городах повсюду вывешивались флаги, люди обнимались на улицах, звонили колокола церквей, и все же кто проходил ночью по окраинным кварталам столицы, слышал, как мужчины, женщины, девушки пели ту самую песню, бог весть когда появившуюся здесь. Она была и в самом деле довольно грустная, в ней как бы проглядывала покорность судьбе. Юные блондинки, опершись на подоконники, пели ее как-то потерянно.

Никогда в мировой истории, насколько углубляешься в века, не бывало подобных побед, столь удачливых армий, таких отважных генералов, таких стремительных продвижений, стольких завоеванных земель. Даже последний из пехотинцев оказывался в конце концов богатым синьором: столько добра было поделено между солдатами. И надежды утратили всякие границы. В городах с утра до вечера царило ликование, вино лилось за порог, нищие плясали. А между одним бокалом и другим хорошо шла песенка, маленький хор друзей. «По полям и селам...» — пели они, и третий куплет тоже.

И когда новые батальоны пересекали площадь Коронации, направляясь на фронт, король приподнимал голову от пергаментов и рескриптов, вслушиваясь, но не в состоянии объяснить самому себе, почему это пение раздражало его.

Но по полям и селам полки с каждым годом продвигались все дальше, не решаясь пуститься, наконец, в обратный путь. И теряли свои ставки те, кто бился об заклад, что уже скоро придет последняя и самая счастливая весть. Сражения, победы, победы, сражения. Теперь армии наступали в странах невероятно далеких, чьи трудные названия никак не удавалось произнести.

И вот однажды (от победы к победе!) настал час, когда площадь Коронации опустела, окна дворца затворились и у городских ворот раздался гул от приближавшихся странных чужих обозов, а на дальних равнинах из непобедимых войск выросли леса, которых не было прежде, леса из крестов, терявшиеся за горизонтом, и больше ничего. Потому что не в мечах, не в огне, не в ярости взбесившейся кавалерии крылась судьба, но в той самой песне, что король и генералы справедливо считали малопригодной для войны. Долгие годы этими скудными звуками настойчиво говорил сам рок, предвещая людям то, что было уже решено. Но дворцы, полководцы, мудрые министры оставались глухими как камни. Никто не понимал, одни только невежественные солдаты, увенчанные сотней побед,— когда пели, устало шагая по вечерним дорогам навстречу смерти. ■

ЭНТОНИ БАКЕРИДЖ

ПРОПАВШАЯ КНИГА

Перевод с английского ВЛАДИМИРА ПОСТНИКОВА и ИГОРЯ ЗОЛОТАРЕВА

Жил когда-то на мансарде один бедный автор, который работал на жестокого издателя. Далеко за полночь при мерцающем пламени свечи писал он свои книги, а когда занималась заря, выходил на улицу в поисках более честного занятия.

Иногда он забредал на телестудии, почтительно и робко стучался в заднюю дверь и поправив волосы на голове, спрашивал: «Нет ли у вас какой-нибудь работенки? Может, надо старый фильм переделать? Или что-нибудь подчистить?» — «Вы что, шутите,— отвечали ему,— или просто не знаете, что у режиссера хватает приятелей и кое-кто из них тоже умеет читать и писать? Да и нечестно было бы отнимать у них лакомый кусочек ради того только, чтобы дать вам какую-то корку».

Случалось, заходил он в книжный магазин — взглянуть, есть ли на полках его книги. Но ни разу не видел ни одной, и когда спрашивал, нет ли чего-нибудь знаменитого и талантливого Джона Смита, ему неизменно отвечали: «Что вы, таких вещей мы здесь не держим, но, если хотите, мы могли бы кое-что заказать и, вероятно, недель через десять или даже, чтоб не ошибиться, месяцев через шесть получить. А пока не угодно ли взглянуть на пластиковые абажуры: у нас ими все полки завалены, так что, сами видите, нам есть чем торговать. И это, уверяем вас, получше всяких книг».

Но он не мог себе позволить тратить деньги (которых у него не было) на какие-о абажуры и тихонько ретировался, чтобы, чего доброго, не узнали, что перед ними знаменитый и талантливый Джон Смит собственной персоной.

Но однажды, отправившись в публичную библиотеку заморить червячка сандвичами, он страшно удивился, когда увидел на полке одну из своих вещей. Он ее сперва и не узнал — уж слишком солидный был переплет: фибролитовый, да еще с проволокой. Видимо, для того, чтобы книга не истрепалась и библиотеке не пришлось покупать новый экземпляр. Впрочем, даже если бы здание пострадало от пожара, с книгой в таком переплете все равно бы ничего не случилось. Бедный автор почувствовал прилив гордости. Он решил, что его произведения не подвластны времени, и почувствовал жалость к Шекспиру и ему подобным: у тех ведь не было ни одной библиотеки, которая могла бы гарантировать, что хоть один экземпляр их книг сохранится навечно.

Открыв книгу, он пришел в восторг, увидев, как много людей ею пользовались. Он определил это потому, что исписанных формуляров в книге было чуть ли не больше, чем самих страниц. Автор заметил также какое-то торжественное предупреждение, прикрепленное к форзацу. Оно гласило, что любого, не вернувшего книгу в течение двух недель, ждут большие неприятности, поскольку за каждую просроченную неделю взимается шесть пенсов, тех же, кто уклоняется от уплаты, ожидает тюрьма за воровство. Итак, берегитесь!

Бедный автор принял все всерьез: библиотеке ведь вполне могут понадобиться шесть пенсов для покупки других вещей, скажем, других переплетов из фибролита с проволокой.

И вот, доев свои сандвичи, бедный автор подумал, как хорошо было бы взять из библиотеки эту книгу, поскольку он давно ее не читал. Когда-то, давным-давно, жестокий издатель прислал ему шесть бесплатных экземпляров, но ему пришлось раздать их своим богатым друзьям, которые не привыкли заходить в книжные магазины.

Он понес книгу к даме, сидевшей за столиком, и она поставила на ней штемпель, где значилось, что книга должна быть возвращена в двухнедельный срок, иначе... Довольный и гордый, он вернулся на свою мансарду и читал всю ночь при мерцающем пламени свечи.

А потом случилось нечто ужасное — он потерял книгу. То есть на самом-то деле он не терял, а дал одному своему другу, который бы почувствовал себя неловко, если бы ему пришлось заходить в магазин за экземпляром этой вещи. И этот друг по рассеянности оставил книгу в коктейль-холле своей океанской яхты, и книга куда-то пропала.

Бедный автор чуть не помешался от горя, думая, что же он скажет той леди за столом, когда придет время. Он проводил бессонные ночи и даже нанес визит жестокому издателю и спросил, нельзя ли ему получить еще один экземпляр своей книги, пусть даже за деньги. Но жестокий издатель сказал: нет уж, хватит. Он уже выдал ему бесплатно шесть экземпляров, а теперь даже деньги ему не помогут, поскольку он заключил с издателями дешевых книг какую-то хитрую сделку, а старых книг не осталось.

Делать было нечего. И вот в самый последний день бедный автор приподнял половицу в своей мансарде и вытащил шесть пенсов из старой обувной картонки, где он хранил те жалкие гроши, которые жестокий издатель прислал ему, когда истек полугодовой срок его авторских прав.

Он пошел в библиотеку. «Мне очень жаль,— заявил он,— но в силу сложившихся обстоятельств я не могу вернуть вам кни-

АНТИРУБРИКА

гу сегодня. Вот пеня — надеюсь, вас это устроит?»

И леди сказала, что на этот раз все обойдется, но через неделю ему придется уплатить еще шесть пенсов, не говоря уже о шести пенсах через две недели и т. д.; ведь люди стоят в очереди, чтобы бесплатно почитать произведения знаменитого и талантливого Дж. Смита, и среди них есть даже такие, как, скажем, состоятельные директора компаний и другие весьма важные персоны. А на что же им надеяться, если отдельные эгоисты держат книги так долго? Так что пусть уж он, пожалуйста, позаботится о возвращении книги, и чем скорее, тем лучше.

Бедный автор почувствовал себя страшно виноватым и впал в уныние, поскольку задача, которую задала ему эта дама, была ему явно не по силам. В течение нескольких недель он отвращал несчастье с помощью тех жалких грошей из-под половицы, но наконец наступил день, когда в старой картонке из-под туфель осталась одна-единственная монета в шесть пенсов.

Тогда бедный автор понял, что настал критический момент: либо он должен отправиться в тюрьму за то, что украл собственную книгу, либо же перестать быть писателем и подыскать какую-нибудь постоянную работу, чтобы зарабатывать на хлеб насущный и на еженедельную пеню в библиотеку.

Он отправился на биржу труда «Чем вы занимаетесь?» — спросил его клерк. «Я пишу книги»,— ответствовал автор, а служащий засмеялся и сказал: «Нет, серьезно, я имел в виду, чем вы зарабатываете на жизнь?»

Ну, нашли ему все же работенку подметалы на одной фабрике, и он был очень доволен, потому что ему больше не надо было писать, хотя теперь у него было много свободного времени, он мог легко написать множество книг. А каждую пятницу, когда его товарищи по работе делали очередной взнос за купленные в рассрочку телевизоры, мистер Дж. Смит (как его теперь обычно называли) шел в библиотеку и отдавал свои шесть пенсов, чтобы не поссориться с законом.

А когда 37 лет спустя он ушел на пенсию, он высчитал на обратной стороне конверта, что уплатил 42 фунта 12 шиллингов и 6 пенсов — неплохая прибыль для библиотеки, поскольку книга была приобретена всего за 15 шиллингов.

Но мистер Дж. Смит не очень-то огорчился — на фабрике он был счастлив. Ведь ему не надо было беспокоиться даже о чтении книг, не говоря уже о том, чтобы еще писать их.

ДЖОН КОЛЬЕР

АХ, УНИВЕРСИТЕТ!

Перевод с английского ТАТЬЯНЫ ГИНЗБУРГ

Жил в предместье Лондона один старый отец, нежно любивший своего единственного сына. Поэтому, когда юноше шел восемнадцатый год, старик позвал его и, благожелательно щурясь сквозь очки в роговой оправе, сказал:

— Ну, Джек, школу ты закончил. Теперь ты, конечно, мечтаешь об университете.

— Да, папа,— сказал сын.

— Это разумно,— сказал отец.— Годы, проведенные в университете, бесспорно, самые лучшие в жизни. Даже не говоря о широких познаниях, отличных профессорских лекциях, о внушающих почтенный трепет серых корпусах, обо всей атмосфере культуры и утонченности, человеку в эту счастливую пору обеспечена материальная поддержка.

— Да, папа,— сказал сын.

— Собственные апартаменты,— продолжал отец,— обеды с друзьями, неограниченный кредит у лавочников, трубки, сигары, кларет, бургундское, наряды.

— Да, папа,— сказал сын.

— Там существуют превосходные клубы,— сказал старик,— все виды спорта, гребные гонки, спектакли, балы, вечера, скандалы, кутежи, проказы, розыгрыши, одним словом — все развлечения, какие только можно вообразить.

— Да, папа! Да! — воскликнул сын.

— Безусловно, на свете нет ничего более прекрасного, чем ученье в университете,— сказал отец.— Весна жизни! Сплошные удовольствия! Кажется, будто мир кишит устрицами и внутри каждой из них жемчужина. Ах, университет! Впрочем, я не намерен посылать тебя туда.

— Так какого же черта ты затеял весь этот разговор? — спросил бедняга Джек.

— Чтобы ты не подумал, что я о тебе не забочусь и недооцениваю удовольствий, которых вынужден тебя лишить,— сказал отец.— Видишь ли, Джек, я не могу похвастать здоровьем; ничего, кроме шампанского, мой организм не принимает, и, если мне случается выкурить второсортную сигару, у меня становится противно во рту. Мои расходы ужасно возросли, и я смогу оставить тебе очень мало, но все же самое заветное мое желание — устроить твою жизнь.

— Если это действительно твое желание, ты можешь осуществить его, послав меня в университет,— сказал Джек.

— Мы должны думать о будущем,— сказал отец.— Тебе придется зарабатывать себе на жизнь, а жить ты будешь в мире, где культура — самый неходкий товар. Если ты не намерен стать учителем или священником, от университетской премудрости тебе будет мало проку.

— Так кем же мне быть? — спросил юноша.

— Недавно,— сказал отец,— я прочел фразу, которая подобно внезапной вспышке молнии прорезала мои мрачные раздумья о твоем будущем: «Большинство игроков слабы». Я вычитал эти слова в брошюрке, описывающей восхитительную и повсеместно распространенную игру в покер. Ведется она на специальные марки, их называют еще иначе фишками, и каждая такая фишка означает определенную сумму денег.

— И ты хочешь, чтобы я стал шулером? — вскричал сын.

— Вовсе нет,— поспешно возразил старик.— Я прошу тебя быть сильным, Джек. Я прошу тебя проявить инициативу, характер. Зачем учить то же, что учат все? Ты, мой дорогой мальчик, первый примешься за изучение покера так же систематически, как берутся другие за языки, физику, математику и все такое. Ты первый подойдешь к игре всерьез, по-научному. Для твоих занятий я оборудовал уютную комнатку: стул, стол, нераспечатанные колоды карт. На книжной полке собраны лучшие фундаментальные труды, посвященные покеру, а над камином висит портрет Макиавелли.

Все протесты юноши были напрасны, так что он против воли засел за учебу. Он добросовестно потрудился, проштудировал книги, истрепал сотню карточных колод и к концу второго года отправился в дорогу, снабженный отцовским благословением и наличной суммой, достаточной, чтобы продержаться несколько партий, ставя по одному пенни.

После отъезда Джека старик утешился шампанским, первосортными сигарами и другими приятными мелочами, скрашивающими старость и одиночество. Жизнь его текла очень неплохо, и он был вполне доволен положением дел, когда однажды раздался телефонный звонок. Вызов был с континента, от Джека, о существовании которого старик почти уже забыл.

— Привет, папа! — В голосе сына слышалось сильнейшее возбуждение.— Я в Париже, играю сейчас в покер с американцами.

— Желаю тебе удачи! — сказал старик, намереваясь положить трубку.

— Слушай, папа! — вскричал сын.— Тут такое дело. Ну, в общем, я разок решил сыграть без лимита.

— Да смилостивится над тобой господь!— сказал старик.

— Двое из них тоже держатся,— сказал сын.— Они уже подняли ставку до пятидесяти тысяч долларов, а у меня нет больше ни цента.

— Уж лучше бы мне видеть моего сына в университете, чем в таком положении,— простонал старик.

— Но у меня четыре короля! — воскликнул сын.

— Ты не можешь быть уверен, что у других нет четырех тузов или даже флеши,— сказал старик.— Сдавайся, мой бедный мальчик. Бросай игру, а впредь играй на сигаретные бычки с соседями по меблированным комнатам.

— Но послушай, папа! — взмолился юноша.— Сейчас не та игра. Я видел в сбросе туза и еще другие карты. Флеши здесь ни у кого быть не может.

— Правда? — крикнул старик.— Никто не посмеет сказать, что я не пришел на помощь моему мальчику. Задержи их. Я мчусь к тебе на подмогу.

Молодой человек вернулся к карточному столу и попросил своих противников приостановить игру до приезда его отца, на что те, с улыбкой разглядывая собственные карты, охотно согласились.

Пару часов спустя старик прилетел в Ле Бурже и вскоре стоял уже у игорного стола, потирая руки, довольный, приветливый, весело поблескивавший стеклами очков. Он пожал руки американцам, отметив про себя, что вид у них преуспевающий.

— Так.— сказал он, занимая место сына и вытаскивая деньги.— Ну и что же мы имеем?

— Ставка,— сказал один из игроков,— пятьдесят тысяч долларов. Я ответил. Слово за вами. Ваше дело принять или повысить.

— Или отступить,— сказал другой.

— Я доверяю суждению моего сына,— сказал старик.— Я повышу еще на пятьдесят тысяч, даже не заглянув в свои карты.— И он выложил на стол сто тысяч долларов.

— Я перекрою еще на столько же,— сказал первый игрок.

— Я отвечу,— сказал другой.

Старик бросил взгляд на свои карты. Лицо его пошло пятнами: с губ сорвался глухой, протяжный стон. Он долго колебался, явно переживая тяжкую внутреннюю борьбу. Наконец, собрав все свое мужество, он рискнул последней сотней тысяч (иначе говоря, всеми сигарами, шампанским и остальными мелкими радостями бытия), несколько раз облизал губы и сказал:

— Я отвечаю.

— Четыре короля,— сказал первый игрок, открывая карты.

— Дьявол! — сказал второй.— Четыре дамы.

— А у меня,— почти проревел старик,— четыре валета.— С этими словами он повернулся к сыну, вцепился в отвороты его пиджака и немилосердно потряс.— Будь проклят тот день, когда я стал отцом такого безмозглого дурака!

— Клянусь, я думал, что это короли!— вскричал юноша.

— Разве ты не знаешь, что «V»—это валет? — спросил отец.

— Боже мой! — сказал сын.— Я думал, «V» имеет какое-то отношение к французским королям. Знаешь, Карл, Людовик, V один, V два, V три. Как жаль, что я никогда не был в университете!

— Ступай туда,— сказал старик.— Туда, или к черту, или куда хочешь. Только чтобы я больше не видел тебя и не слышал о тебе.— И он с шумом удалился, прежде чем сын или кто-нибудь другой вымолвил слово, хотя бы объяснил ему, что игра шла «хай-лоу» и что четыре валета забирают половину котла.

Молодой человек положил в карман свою долю, пробормотал, что невежество любого рода печально, распрощался с партнерами, без дальнейших проволочек покинул Париж и очень скоро поступил в университет.

◆

Наши гости

Самим Коджагёз

ТУРЦИЯ

В первый послевоенный сборник турецких рассказов, вышедший в нашей стране, вошел рассказ «Аллах, государство и земля». Имя автора—Самим Коджагёз — мало кому тогда что-либо говорило. Но говорил за себя сам рассказ: он был написан с таким проникновением в строй чувств турецкого крестьянина, которое дается только любовью и талантом.

С той поры минуло более четверти века. Самим Коджагёз выпустил около двадцати сборников рассказов и романов. Его имя ныне называют в ряду имен крупнейших писателей Турции. Его произведения переводятся в Европе, Африке и Азии. Роман «Возвращение десяти тысяч» принес ему признание и в нашей стране. А рассказ «Смерть старого вола», опубликованный в журнале «Иностранная литература», вызвал многочисленные отклики читателей[1]. И вот Самим Коджагёз — в редакции «Иностранной литературы».

— В 40-х годах после окончания Стамбульского университета я три года изучал историю искусств в Лозанне. С тех пор я ни разу не покидал пределы Турции. Я счастлив, что впервые за тридцать пять лет выехал за границу в качестве гостя советских писателей, в страну, где творили такие художники, как Гоголь, Достоевский, Толстой.

Самим Коджагёз родился в 1916 году в небольшом городке Сёке, неподалеку от Измира, в семье землевладельца. Большую часть года писатель проводит в своем поместье, занимаясь сельским хозяйством, и только осенью возвращается в Измир, чтобы поработать над новой книгой. Литературным трудом в Турции прожить нелегко.

Все книги Самима Коджагёза, будь то сборник рассказов или роман, связаны с Измиром, с его землей. Здесь и в окрестностях живут его герои — шоферы, студенты, подрядчики, работницы табачных фабрик, крестьяне, адвокаты. Отсюда они уезжают на заработки, сюда они возвращаются. За эту землю сражаются и умирают. В 1965 году мне довелось увидеть этот город глазами Коджагёза, который сам показывал советским гостям родной Измир.

На ровной, как грязно-синий паркет, поверхности Измирской бухты стоят суда под разными флагами. Далеко за нашей спиной, на скале высятся стены средневековой крепости Кадифекале, откуда открывается вид на вечнозеленые долины, рощи оливков и инжирных деревьев, хлопковые поля. Все, что дает благословенная земля Измира, стекается сюда, в порт, вывозится за границу. Каждая ягода измирского сушеного инжира — он пользуется мировой славой — обернута станиолем, уложена в коробки тонкими пальцами 10—12-летних работниц. У железнодорожного вокзала Басмане каждое утро шумит «невольничий рынок» — за гроши здесь можно нанять человека на любую работу. Сюда стекаются безработные со всей округи. А по другую сторону привокзальной площади в Парке культуры (в 30-е годы подобные парки были созданы в некоторых городах Турции по советскому примеру) окунают в бассейны с голубоватой водой свои косы плакучие ивы. Под вековыми платанами стоят столики кофеен и ресторанов. Скульптуры, выставки, цветники, детские площадки... Ежегодно в этом парке бушует в конце лета крупнейшая на Средиземноморье международная торговая ярмарка. Население города увеличивается едва ли не вдвое. Гуляют провинциальные купцы, развлекаются представители иностранных фирм. Ры-

[1] См. «ИЛ» № 9, 1961.

щут в поисках экзотики туристы. Шныряют карманники, шулера, проститутки, съехавшиеся «на гастроли» со всей страны.

Здесь, в Измире, в мае 1919 года началась национально-освободительная война турецкого народа против империалистов, вознамерившихся стереть Турцию с политической карты мира. «Согласно решению великих держав, — повелевал султан, сдавшийся на милость иностранным оккупантам,— Измир будет занят греческими войсками. Приложите усилия, чтобы народ занимался своим делом». И народ занялся тем, что считал своим прямым делом: взялся за оружие. Неподалеку от города есть деревня, которая носит название Ильк Коршун — Первая Пуля. Тут был дан первый бой оккупантам. В Измире национально-освободительная война и закончилась: с набережной Бириндже Кордон оккупанты были вышвырнуты в море. А за ними был вышвырнут из страны и султан. Этим событиям посвящены романы Самима Коджагёза «Люди в папахах» и «Во весь опор».

— Однажды, в день национального праздника — он называется в Турции Днем независимости,— рассказывает наш гость,— в мой дом в пригороде Измира явилась делегация. Седобородые старики. То были герои моих книг, участники национально-освободительной войны, в тех самых папахах, в которых они сражались полвека назад. Они пришли поздравить меня с праздником. Но в их словах звучала тревога за судьбу нашей независимости, завоеванной кровью и жизнями их боевых товарищей...

Герои книг Самима Коджагёза беспокоились не зря. Над набережной Бириндже Кордон, переименованной в честь вождя национально-освободительного движения, первого президента Турецкой Республики в бульвар Ататюрка, ныне разместился штаб НАТО в Восточном Средиземноморье. Неподалеку построен стадион, где одетые в спортивные доспехи американские солдаты играют в свой заокеанский футбол. Туркам вход запрещен. Запрещен им вход и в «американскую деревню» под Измиром, которую охраняют турецкие солдаты — аскеры. Все больше людей начинает понимать, что подчинение страны иностранным интересам не только угрожает национальной независимости, но и привело уже к невиданному в истории Турецкой Республики экономическому, социальному и политическому кризису.

По мнению Самима Коджагёза, волна терроризма, захлестнувшая его страну, в последние годы — всего лишь одно из проявлений этого кризиса. Кое-кто пытается представить терроризм как борьбу «левых» и «правых». На деле же он на руку тем, кто любой ценой пытается предотвратить неизбежные социальные перемены. Их цель, переполнив чашу народного терпения, убедить массы в неизбежности диктатуры профашистского толка: дескать, с демократией ничего, кроме хаоса, не получается в Турции. Вот почему, когда на улицах среди бела дня убивают студентов, профсоюзных активистов, профессоров, литераторов, то полиция не находит преступников. Когда же молодежь пытается сама дать отпор провокаторам, то на прогрессивные силы обрушиваются запреты и аресты.

Этим проблемам как раз и посвящен последний роман Самима Коджагёза «Спор», вышедший три года тому назад. В «Споре» нашли отражение умонастроения передовой интеллигенции разных поколений, активно участвующей в нарастающем революционном движении. Споры и разногласия привели к расколу социалистического движения, впервые за всю историю Турции получившего в 60-х годах возможность создавать свои легальные организации, расколу, который в конечном счете обернулся правым переворотом 12 марта 1971 года.

Самим Коджагёз — писатель социальный. Но его рассказы и романы не иллюстрации заранее известных социологических истин, а исследования характеров. В романе «Спор» писателю удалось нарисовать запоминающиеся фигуры интеллигентов старшего поколения вроде адвоката Экрема-бея, члена руководства Рабочей партии Турции, молодежных активистов и сбитых с толку псевдореволюционной фразой «леваков». И как всегда, действие развивается в родном городе писателя Измире. За некоторыми персонажами романа угадывается личный опыт автора, активного деятеля Рабочей партии, в спорах о будущем которой он сам принимал участие. После переворота 12 марта вместе со многими другими писателями и деятелями культуры Самим Коджагёз был взят под стражу и предстал перед военным трибуналом. Не понаслышке знает он и о тех пытках и издевательствах, которым подвергались в управлении безопасности, в полицейских участках прогрессивные студенты, рабочие.

— Я назвал свой роман «Спором» не случайно. Мне хотелось, чтобы в книге были представлены все точки зрения на события, все существовавшие в социалистическом, в прогрессивном движении позиции. И выводы делал бы не автор, а сам читатель.

Самим Коджагёз в своих рассказах и романах смотрит на мир глазами простого народа. Те, с кем он связан своим происхождением, пытались заставить его отказаться от этой позиции. Те, кто считает себя монополистами народолюбия, ибо родились в крестьянских семьях, отказывали писателю в праве на такую позицию. И для первых, и для вторых измирский помещик и народный писатель казались понятиями несовместимыми. Но Самим Коджагёз имел перед глазами пример любимого писателя, который, будучи яснополянским помещиком, рассказал о крестьянстве своей страны лучше, чем кто-либо иной до него. И своими произведениями Самим Коджагёз еще раз доказал: для писателя важно не происхождение, а убеждения.

РАДИЙ ФИШ

◆

Из нашей почты

Как и обычно, разнообразна и пестра почта, полученная журналом «Иностранная литература» за первое полугодие 1980 г. Рядом со словами благодарности — замечания критического свойства, рядом с отзывами на напечатанные произведения — пожелания прочесть новые книги того или иного зарубежного писателя, рядом с жалобами на затруднения с подпиской на журнал — суждения о шрифтах и техническом оформлении очередной журнальной книжки. Но во всех письмах различима заинтересованность читателей в том, чтобы журнал велся лучше, разнообразнее, чтобы он был содержательнее и полнее отражал беспрестанно движущуюся панораму современной мировой литературы.

Естественно, что большинство откликов посвящено произведениям художественной прозы — читатель повестей и романов неизменно в преимущественном числе. Но отрадно отметить, что читатель все чаще откликается и на материалы других разделов, в частности публицистики и критики.

Время от времени авторы получаемых редакцией писем выражают настойчивые пожелания прочесть на страницах журнала новые произведения ранее зарекомендовавшего себя писателя или познакомиться с сочинениями автора, известного им лишь по имени и еще не переводившегося на русский язык. По разным причинам пожелания эти не всегда могут быть выполнены. Но редакция испытывает удовлетворение, когда может пойти навстречу читательским просьбам и рекомендациям. Так, в одном из предыдущих обзоров нашей почты публиковалось письмо читателя Е. Медведева («ИЛ» № 1, 1978), в котором выражалось пожелание ближе познакомиться с творчеством видного латиноамериканского писателя Марио Варгаса Льосы. И вот теперь роман Варгаса Льосы не только появился на страницах «ИЛ», но и вызвал, судя по письмам, благожелательный отклик у многих читателей. Инженер Ю. Студенцов из Ленинграда, письмо-рецензию которого мы, в частности, публикуем, пытается по-своему разобраться в сильных и слабых сторонах романа «Тетушка Хулия и писака» и даже оспорить некоторые суждения профессиональной критики. Когда читатель начинает замечать критику, прислушиваться к ней или затевает с ней спор — это новый уровень понимания литературы, который заслуживает быть сочувственно отмеченным вне зависимости от того, что конкретные оценки читателя могут показаться чрезмерно «любительскими» или субъективными.

Последнее время значительное число писем посвящено вопросам подписки, жалобам тех наших постоянных читателей, которые не смогли подписаться на журнал. К сожалению, редакция не в силах чем-либо им помочь. Вопросами подписки ведает «Союзпечать».

Своим опытом удлинения срока службы журнала, сохранения и распространения в самодельных переплетах и «конволютах» лучшего из напечатанного в минувшие годы в «ИЛ» делится в своем письме Л. Н. Боголюбов из Москвы. Его инициатива, как нам представляется, заслуживает одобрения и поддержки. Редакции небезразлично, сколь долго живет в среде читателей каждый отдельный экземпляр «Иностранной литературы». По-видимому, наряду с библиотечным обслуживанием это один из путей, чтобы при существующем тираже число читателей журнала значительно обогнало число его возможных подписчиков.

Редакция благодарит всех читателей, приславших нам свои отклики, и ждет новых писем.

Г. С. Леонтьев. Челябинск

Ваш журнал живет в моей семье вот уже больше 10 лет. Может быть, поэтому, прочитав в № 10, 1979 беседу «Кризисные семидесятые?» — решил написать это письмо.

Но сначала кто я и что. Работаю изыскателем, место работы: Ханты-Мансийск—Аральское море, по трассе, где намечается постройка канала. Работа такая, что иногда с утра до вечера на ногах, а иногда по 2—3 дня приходится кого-то или чего-то ждать. Для меня это очень полезные дни, можно

прочитать не одну сотню страниц. Читаю не все, что попадает под руку. Из иностранной литературы меня интересует американская, польская и литература ГДР. Поясню почему. Сам-то я родом из Белоруссии, можно сказать, вырос рядом с поляками, они меня интересуют как своеобразная нация, следовательно, мне хочется знать, как польская литература «просвечивает» жизнь своей страны.

О литературе ГДР. Во время войны в Белоруссии погиб каждый четвертый человек. Я из тех троих, кто остался живым. Меня интересует, как немцы анализируют свое прошлое и какие они в настоящее время.

А теперь об американской литературе. Возьмем к примеру, «Кентавра» Дж. Апдайка. Прочитав эту книгу, понял, что, хотя доброта сама по себе бессмертна, в мире вещей она становится вроде бы как врагом.

Не буду перечислять, какие книги американцев я прочитал в вашем журнале, получится длинный список.

Обычно у меня нет доверия к тому, что пишут критики. Не знаю, может быть, критика в вашем журнале более мудрая, как, например, то, что писал когда-то И. Кашкин про Хемингуэя, возможно, специалисты оценивают ваших критиков высоко, но я только читатель и как таковой к критике отношусь с недоверием. Но когда увидел запись беседы «Основные тенденции в современной литературе Англии и США», прочитал все внимательно, с карандашом, и не один раз. Беседе я верю, в ней много мнений, какое-то из них самое объективное. Только непонятно, зачем делить литературу по десятилетиям. Литература не газета, чтобы делать моментальные снимки американской или другой действительности. Другое дело, если брать десятилетия как условные промежутки времени, чтобы по ступенькам такой условной лестницы легче было раскладывать для показа появившуюся зарубежную литературу. Вот тут-то и должен сказать свое слово журнал, для читателей он открыватель, лоцман и капитан в море зарубежной литературы, как сказала И. Левидова. Было бы неплохо по возможности публиковать предисловия и послесловия. Конечно, переводчикам, сотрудникам журнала «ИЛ», специалистам предмет публикации известен почти со всех сторон: биография автора, его отношение к действительности, экономическое и политическое положение страны в годы событий, о которых пишет автор. Но примерно 95% читателей этого не знают.

Поддерживаю предложение Г. Анджапаридзе: печатать тематические обзоры по итогам года или большим периодам, но именно брать 5 или 10 лет, чтобы помочь читателям иметь представление о происходящих в зарубежной литературе явлениях.

Лучше это делать в форме бесед, типа той, что в № 10 за 1979 г. Лично для меня она более подходит. Теперь я знаю фамилии специалистов по американской литературе. Прочитав их высказывания, я отметил про себя более или менее «симпатичные» для меня личности, теперь я буду искать их имена на страницах «ИЛ». Возможно, прочитав кое-что, через какое-то время буду полностью доверять их суждениям и взглядам на американскую литературу. А пока спасибо организаторам беседы за саму беседу и за знакомство с ее участниками.

С. Шестерев. Киев

Мне 24 года. Я регулярно читаю ваш журнал четвертый год. Мне хочется поблагодарить редакцию за произведения, напечатанные в журнале. В 1979 г. особенно мне понравились «Тихик и Назарий» Станева, «Давай поженимся» Апдайка, «Продается человек» де Леры, «Тетушка Хулия и писака» Марио Варгаса Льосы.

Уважаемая редакция, не идите на поводу у любителей легкого чтива и не печатайте, пожалуйста, детективы и развлекательные произведения типа серии Дрюона «Проклятые короли». Этим вы растеряли бы авторитет журнала. Хотелось бы видеть на страницах журнала новые, еще неизвестные произведения, знакомиться с новыми писателями зарубежных стран.

Писарчук Лариса Федоровна, юрист. Минск

Коллектив сотрудников Белорусского научно-исследовательского института трудоспособности и организации труда инвалидов выражает благодарность редакции журнала за публикацию повести Тибора Дери «Милый бо-пэр!..». Благодарим переводчицу Елену Ивановну Малыхину за умелый перевод сложной и прекрасной прозы.

К большому сожалению, мы не были раньше знакомы с другими произведениями талантливого венгерского писателя и очень бы хотели прочесть что-либо еще написанное им.

Убедительно просим редакцию не забыть нашу просьбу. Обещаем и в дальнейшем быть вашими постоянными и верными читателями. Пишу по поручению и от имени многих товарищей из Минска.

Ю. Студенцов, инженер. Ленинград

Видимо, даже искушенного читателя удивил последний роман Марио Варгаса Льосы «Тетушка Хулия и писака», раз, не дожидаясь окончания, «Литературная газета» рассказала об авторе, его книгах, замысле последнего романа, вызвавшего большой интерес в ряде стран. Помогла и заключительная статья Юрия Дашкевича в декабрьской книжке журнала (1979) где он вновь возвращается к автору, приводит слова Льосы о стержневой линии романа, подчеркивает новаторство, особенно же его социальную направленность...

Пересказывать содержание романа нет необходимости, да и нелегко это сделать. Основная сюжетная линия — история восемнадцатилетнего Марито, тетушки Хулии — содержит и автобиографические мотивы. В этой стержневой линии немалое место занимает и «писака» Педро Камачо. А вокруг стержня, словно «наматываясь» на него, следуют девять историй, девять новелл, написанных в духе «Декамерона» Боккаччо, так они талантливы, связаны с эпохой, страной, людьми. И вот тут хочется несколько возразить критику, утверждающему, что история «писаки» — чуть ли не главное в романе, что в обличении нравов буржуазной прессы, средств информации, средств «об-

щественной коммуникации» — основное достоинство произведения...

Критика пишет о романе остро, находит необходимые слова, выражающие именно то, что хотел сказать автор (нельзя не отметить и достоинства перевода Л. Новиковой). Но ведь история юного журналиста и его обаятельной тетушки не создала бы такого успеха всему произведению, не будь в нем девяти новелл. Именно они и позволяют судить о безудержной фантазии самого автора. Если первые две новеллы написаны довольно строго, то чем дальше, тем больше накаляются страсти, юмор переходит в сатиру. И даже умышленная путаница имен (симптомы заболевания истощенного непомерным трудом бедняги-графомана) не заставляет забыть о том, что читаем-то мы плод труда самого Марио Варгаса Льосы.

Именно такая форма романа позволила автору создать яркую мозаику жизни города и страны, метко очерченные типы.

Не случайно мы начали с первых новелл. Ведь они написаны в духе социальных романов. Есть живые люди, есть быт, социальные условия. А вот далее, особенно в последних новеллах, начинается «пиршество воображения»; здесь автор не сдерживает своей фантазии. И вряд ли все это объясняется только стремлением обличить тлетворное влияние культуры, насаждаемой в Перу. Сцены, достойные Апокалипсиса, изображены нашим современником, но с яростностью таланта и выдумки...

Не решил ли автор нанизать на основной стержень девять новелл, дабы испытать себя в стиле Боккаччо? Они антиклерикальны. Они в меру эротичны. Они несут и идейную нагрузку. Но для подлинного разоблачения зла им (опять-таки мое частное и не претендующее на безусловность мнение) чего-то не хватает: живописание отвлекает автора от той цели, о которой он сам рассказывал и писал.

Автор предстает зрелым мастером. Эрудиция его огромна. Талант очевиден на всем протяжении романа. Ему знакомы и традиции плутовского романа — разве не ощущаются они в «Тетушке Хулии и писаке»? А сочные картины-фрески будто почерпнуты из эпохи Возрождения... Но если говорить об обличительной силе, то тут избранная форма все-таки вступила в противоречие с добрым намерением автора Себя он сумел показать во всем блеске таланта. А вот социальные проблемы остались менее заметными, оставили равнодушными. Вот почему слияние нескольких линий в сюжете, думается, не дало такой отдачи, о которой думал, судя по его словам, сам писатель.

К. М. Читишвили, кандидат физико-математических наук. Тбилиси

В критических обзорах, встречающихся в «Иностранной литературе» (лучше сказать: в вашем отделе критики), посвященных литературным процессам, идущим в разных странах, часто встречаются упоминания тех или иных писательских имен, мало известных советскому читателю, но которые получили в последнее время большую популярность у себя на родине (я имею в виду в первую очередь молодое и среднее поколения). Знакомишься с подробным анализом и даже пересказом содержания их произведений. Развернутое рецензирование их творчества, кстати выполняемое на очень высоком и квалифицированном уровне, часто рождает (и не может не вызвать) большое желание читательской аудитории журнала ознакомиться с переводами этих романов. Желательно было бы даже предварять разговор о писателях или же литературных школах напечатанием «образчиков», что ли, их продукции, хотя бы наиболее характерных. И кому, как не журналу «Иностранная литература», публиковать наиболее достойные произведения новых для нас писательских имен, но, повторяю, имен, получивших уже признание своей критики.

Французская литература наиболее близка мне и членам моей семьи. Просматривая июньскую книжку журнала за 1979 г., я остановился на обзоре Н. Ржевской «Возвращение к человеку», посвященном новым явлениям во французской прозе 70-х годов. Из перечисленных автором имен мое внимание привлекли Патрик Модиано и Эмиль Ажар.

Хочется надеяться, что широкое знакомство советского читателя с современной французской литературой будет способствовать сотрудничеству между нашими народами в других областях и поможет лучше узнать друг друга. С большим удовольствием ознакомился с романами Ж. Карьера и Ж. Жубера, удачные публикации которых (о них много говорили) показывают, что редакции под силу выполнять пожелания своих читателей.

Л. И. Паницкая. г. Щучинск Кокчетавской обл.

...Журнал «Иностранная литература» я начала выписывать сразу после окончания института (а прошло уже 10 лет). Каждый номер этого журнала я жду с нетерпением, и, когда получаю, у меня вроде маленького праздника. Часто собиралась высказать свое мнение относительно содержания журнала, и вот случай представился (не радостный случай — не смогла подписаться).

Особенно люблю читать публицистику. И этот раздел, пожалуй, одна из важных особенностей журнала. «Тревоги Запада», «Почетный белый» Э. Р. Брейтуэйта, «Итак, я работаю на заводе» Робера Линара не только интересно читаются, но и много дают в познавательном смысле. Прошлый год вообще радовал меня своими произведениями: «Башня из черного дерева», «Записки молодого варшавянина», «Особый дар» и особенно «Милый бо-пэр!..»—какой стиль! Но до сих пор, пожалуй, самое сильное впечатление сохранилось у меня после «Барьера» Павла Вежинова. Прочитала на одном дыхании. Сейчас снят фильм, и я, откровенно говоря, и жду его и боюсь. Как важно сохранить дух именно этого произведения! Бесконечно хочется вспоминать то одно прочитанное, то другое, но письмо начала я с иной целью.

В этом году, как мне объяснили в «Союзпечати», ни один индивидуальный подписчик в городе Щучинске не смог выписать журнал «Иностранная литература». На весь город (около 60 тыс. жителей) дали всего 15 подписок, и эти журналы распределили по

библиотекам. Город Щучинск небольшой. Природа не обидела его, но в городе, кроме кинотеатра, некуда пойти. Единственное, чем живешь,— это книги и любимый журнал. И вдруг во всем городе невозможно подписаться на этот журнал! Вот уж поистине парадокс местожительства!..

Л. Н. Боголюбов. Москва

В свое время в письме в редакцию «ИЛ» я высказал пожелание, чтобы краткие сведения об авторах художественных произведений для удобства читателей были вынесены из рубрики «Авторы этого номера» и давались в начале, рядом с фотографией автора. Открыв 12-й номер журнала (1979), я с большим удовлетворением отметил, что указанное пожелание, высказанное, очевидно, многими читателями журнала, редакция приняла к сведению. Теперь сведения об авторах даются в сносках к соответствующим статьям.

Хочу приветствовать и другое новшество. Роман Марио Варгаса Льосы «Тетушка Хулия и писака» напечатан более мелким и убористым шрифтом, чем обычно принято в «ИЛ» для художественных произведений. Это дало возможность разместить его в двух номерах журнала (в общей сложности 150 страниц), в то время как, будь он набран обычным шрифтом, потребовалось бы 300 страниц и размещение его в 3-х номерах, что читателю крайне неудобно и досадно, в особенности когда произведение сильно его заинтересовало.

Кроме удовлетворения пожеланий читателей это дает и экономический эффект, содействует уменьшению дефицита бумаги. По моим расчетам (приблизительным, конечно), только по упомянутому роману редакцией «ИЛ» сэкономлено количество бумаги, достаточное для выпуска дополнительно 35 000 (!!!) экземпляров журнала.

Более 10 лет выписываю я журнал «Иностранная литература». Привлекает он меня тем, что в нем печатаются произведения современных прогрессивных иностранных писателей, часто отмеченные национальными и международными премиями.

За последние семь лет (1973—1979) почти все художественные произведения и многое из «Публицистики» и «Антирубрики» из «ИЛ» мною подобрано и вполне удовлетворительно лично переплетено. Таким образом домашняя библиотека пополнилась 32 томами иностранной литературы, в среднем 500 страниц в каждом томе. В них содержится: романов — 70, повестей — 49, рассказов и новелл — 188, пьес — 6, поэм — 3.

Друзья и знакомые охотно берут у меня эти книги, потому что, интересуясь иностранной художественной литературой и не будучи подписчиками «ИЛ», они практически иначе не смогли бы их прочесть.

◆

Среди книг

Издано в СССР

СХОДНОЕ, БЛИЗКОЕ, НАШЕ ОБЩЕЕ...

Единство и многообразие. Литературно-художественная критика в НРБ. Перевод с болгарского. Составление В. И. Злыднева и Н. Н. Пономаревой. Москва, «Прогресс», 1979.

Книги серии «Литературно-художественная критика в странах социализма», выпускаемой издательством «Прогресс», полезны для всех, кто интересуется теоретическими, методологическими проблемами анализа художественных произведений и историко-художественных процессов, и особенно необходимы тем нашим исследователям, у которых в круг творческих интересов входит изучение национальной специфичности и процессов интернационализации в сфере литературы и искусства. Социалистическое содружество, прочное и динамично развивающееся,— явление не только политическое, экономическое, общеидеологическое, это и взаимодействие культур, литератур.

Если вся данная серия — это широкая улица, то каждый «национальный» сборник — особый, со своей архитектурой, дом на ней. Улица видится не в эклектическом разноречии, разностилии: социалистическая «планировка», то есть общие законы строительства социальных, в том числе духовно-культурных отношений, явственно ощутима для всякого, кто по такой улице захочет пройти. Но, с другой стороны, здесь нет унылого однообразия, стандарта. Оригинальная национальная история (и досоциалистических времен и времен строительства социализма, вплоть до нынешнего развитого социализма, путь к которому разрабатывают коммунистические и рабочие партии зарубежных европейских социалистических стран), совокупность культурных и художественных традиций — все это и делает каждый «дом» ясно отличимым от других, но из общего, социально нового, ансамбля не выпадающим.

Название «болгарского» тома — «Единство и многообразие»— в этом смысле можно принять как подзаголовок всей серии. Единство и многообразие... Не правда ли, оборот речи, звучащий очень привычно? Это ведь нашу единую многонациональную литературу так характеризуют.

Такой терминологический «повтор» понятен: в опыте развития литератур наших братских советских народов есть много закономерно перекликающегося и с социалистической историей каждой литературы (ГДР, Болгарии, Польши, ЧССР, Венгрии и т. д.) и с региональным созреванием социалистических отношений в литературах всего данного круга стран. Но при этом единство и многообразие в художественном развитии европейских социалистических стран — явление исторически особое, небывалое. Оставив в данном случае в стороне весьма непростой вопрос, входит ли наша многонациональная (стало быть, несводимая к европейским своим «частям») советская литература в обозначенный выше регион и если входит, то каким образом [1], подчеркну, что развитие литератур социалистических стран Европы расширяет проблемный горизонт литературоведческой мысли, заставляет ее быть еще более внимательной к новизне и «нежданности» модификации «единства и многообразия» литератур.

И к нашему литературоведению в целом, и уж тем паче к занимающемуся изучением национально-интернациональной проблематики на «материале» литератур братских социалистических стран, относятся слова Л. И. Брежнева: «Теперь мы знаем не только теоретически, но убедились и практически, что путь к социализму, его главные черты определяются общими закономерностями, которые присущи развитию всех социалистических стран. Знаем мы также и то, что действие общих закономерностей проявляется в различных формах, отвечающих конкретным историческим условиям, национальным особенностям. Не базируясь на общих закономерностях, не учитывая конкретно-исторической специфики каждой страны, невозможно строить социализм» [2].

Каждый том серии представляет нам

[1] Свои соображения на сей счет я высказал накануне прошлогодней Международной конференции славистов в Киеве. (См. украинский журнал «Радянське літературознавство» № 7, 1979).

[2] Л. И. Брежнев. Ленинским курсом, т. 3, М., 1973, стр. 197.

практический опыт художественно-культурного процесса в странах социалистического содружества. Наш читатель, а им, конечно, в первую очередь будет все-таки профессиональный литературовед, критик, хотя и не только он, наш советский читатель неизбежно будет воспринимать книги этой серии через призму советского художественного опыта, советского «единства и многообразия». Отыскивая, подчас непроизвольно, сходные черты, параллели и постигая проявления общего, а также и того, к чему параллелей у нас, может, и вовсе не найтись...

И вот я, советский критик, литературовед, занимающийся советской многонациональной литературой преимущественно, и особенно ее «современным этапом», вхожу в дом болгарских своих коллег и друзей. Вхожу как в хорошо знакомый дом, где многое, очень многое напоминает мне наш собственный дом. Не оттого ли оно так, что я был в Болгарии, знаю некоторых авторов сборника, стараюсь по мере возможностей своих следить за литературной жизнью страны, благо язык литературных болгарских газет и журналов мне в какой-то мере ведом и понятен?

Не думаю, чтобы в этом была причина. Тогда — суть в традиционных связях болгарской и русской культур, корни которых уходят в глубины веков? Да, это мотив существенный. Но главное — сходство, родство путей движения *социалистической* болгарской литературы и литературы советской, как взятой в целом, так и в некоторых ее национальных секторах (много сходного можно обнаружить, сопоставляя болгарскую не только, скажем, с украинской, но — «неожиданно» — с прибалтийскими советскими литературами, например).

Я буду говорить именно о сегодняшнем сходстве, родстве болгарской и советской *литературоведческой, теоретической мысли.*

Вот несколько страниц сборника — в доказательство сказанному. Две статьи Тодора Павлова о социалистическом реализме. Они прямо соотносятся с нашими размышлениями о единстве метода (и направления) и многообразии, широте его (их) проявлений, с нашими спорами о «социалистической литературе» и «социалистическом реализме». Читаю у Тодора Павлова: «Как основное или главное направление социалистический реализм не отрицает возможности существования в то же время других художественных направлений... В ходе развития болгарской литературы и искусства уже закреплена победа искусства социалистического реализма как основного или главного направления и метода, но это не отрицает наличия других направлений и методов». Сказано несколько лет назад. Применимо ли к нам? Полностью, по-видимому, нет: большинство наших ученых отрицает наличие у нас других, кроме социалистического реализма, направлений и методов. Однако Болгария 70-х — это не вполне тот социальный уровень развития, что СССР 70-х, и в структуре ее культуры есть еще такие элементы, которых у нас уже нет,— удивляться надо не этому, а если уж удивляться, то быстроте движения болгарской жизни и культуры к развитому социализму, движения, из опыта которого есть что, безусловно, позаимствовать и нам. Тодор Живков, говоря о закономерном движении к развитому социализму, подчеркивает, что темпы «зависят от набора оптимальных форм, наиболее подходящих средств и путей» (см. речь Т. Живкова на международной теоретической конференции «Строительство социализма и коммунизма и мировое развитие» [1]). Социалистический реализм как единственное, но многообразное направление в художественной культуре, как всеохватывающий творческий метод — это, очевидно, «оптимальная форма», «оптимальный вариант». Но если у нас и достигнут этот оптимум, то — поставим такой вопрос — значит ли это, что все художественные произведения, появляющиеся сейчас в нашей стране, принадлежат к единственному направлению? Пусть именно в недрах социалистического реализма как метода отыскиваются все новые и новые творческие возможности, но от вопроса, поставленного здесь, уходить не надо, наличия произведений, по методу своему не «входящих» в социалистический реализм, отрицать, во всяком случае в теоретическом допущении, не стоит. Как этого и не делал, не советовал делать Тодор Павлов.

Я читаю статью Пантелея Зарева «Стиль и личное мироощущение». Она — о всем том, что волнует наших «стилеведов». О стилеобразующих факторах. Об объеме и самом содержании понятия «стиль». О его взаимосвязях с другими категориями поэтики и эстетики. Я выделяю особенно сильно подчеркиваемую автором и менее, может быть, чем нужно, разрабатываемую в нашем литературоведении мысль о том, что «важной предпосылкой возникновения стиля является значительная творческая личность», да, да, стиль — не почерк, это почерком своим обладает каждый, кто умеет писать, стилем же — отнюдь не каждый! «Сердцевину творчества крупного писателя составляет его идейный мир... Вот почему одной из важнейших предпосылок возникновения стиля в искусстве является личная нравственная идея как отражение объективного мира, личная социальная идея и личное мироощущение...» «У каждого значительного писателя существует своя «тема», его «внутренняя тема».

Я читал высокосодержательную книгу П. Зарева «Народопсихология и литература. Аспекты стиля». Не со всеми ее положениями я согласен. Но с акцентом на том, что стиль есть выражение внутреннего пафоса, идейно-нравственной сердцевины творчества, согласен всецело. Да, стиль есть «закон формы», но истоки этого закона — в сердце художника, его идее, его внутренней теме. П. Зарев предостерегает против недооценки «предпосылок» стиля, которые есть на деле его *стимулы.* Ищите своеобразие нравственной идеи, «внутренней темы» художника — тогда только вам может открыться и тайна его стиля!

[1] Цит. по «Литературен фронт», 14.XII 1978.

Все это живо, все это близко нашим проблемам.

И сколько другого в сборнике «Единство и многообразие» близко, родственно нам!

Спор о генезисе метода социалистического реализма, о его сущности... Нельзя слово «реализм» в понятии «социалистический реализм» отождествлять с предшествующим реализмом как методом — наследуя критическому реализму (и не только ему), социалистический реализм выступает качественным новообразованием в плане творческого метода. Так считает В. Колевский (см. стр. 99—100 сборника), и я думаю, он прав, хотя с ним (и со мной) не все наши ученые согласятся, быть может.

Ну, а это место из весьма интересной работы Светозара Игова «Социалистический реализм и национальное своеобразие литературы» мне как маслом по сердцу! Говоря об успешных попытках осмыслить национально-эстетическую специфику болгарской литературы в единстве с ее исторической, политической, психологической и т. д. специфичностью (работы Т. Жечева, Е. Каранфилова и др.), С. Игов отмечает и негативные мотивы, крайности и концепции в этой области изучения: «Иногда, например, национальное своеобразие рассматривается почти метафизически, как «исконный» болгарский дух, становится некой лишенной историзма категорией. В других случаях сторонники идей национального своеобразия впадают в неоправданную крайность, стремясь поддержать дух национальной обособленности, замкнутости и исключительности. В-третьих, благородное желание воспитывать на положительных примерах традиционного приводит к попыткам сгладить, скрыть сложность и противоречивость исторической истины, исказить принцип классового и партийного отношения к историческим процессам. Не всегда являясь реакцией на тенденции проповедовать идеи национальной исключительности, сказывается порой и другая крайность — национальный нигилизм; трезвое, реалистическое отношение к национальному перерастает в скептицизм и чувство национальной неполноценности, которые могут стать немалым препятствием на пути творческого развития нации».

Я очень бы желал, чтобы наши критики, работающие над подобными проблемами, знали это суждение болгарского коллеги и сопоставили с ним толкование «своего» литературного национального опыта.

Выше я привел несколько примеров, казалось бы, чисто теоретических (но имеющих отношение к художественной практике) суждений болгарских критиков и ученых, которые впрямую, а часто и с обширным использованием советской теоретической и критической литературы перекликаются с нашими научными заботами. Важно понять однако, что в какой бы абстрагированной форме такие проблемы ни были выражены, диктует их творческая практика, это она выдвигает их перед литературоведческой и эстетической мыслью. Поучительно вникать в те работы, опубликованные в сборнике, авторы которых, хорошо показав стимулирующую, «подталкивающую» роль творческой практики, нового художественного опыта, затем уж подводят читателя к обобщениям теоретического порядка.

Так построена, к примеру, глубокая статья известного театроведа Чавдара Добрева, широко цитирующего работы советских исследователей. Статья эта посвящена «лирической драматургии», своеобразному явлению, свидетельствующему о подвижности родовых и жанровых структур в современной литературе («Итак, не лирика как самостоятельный жанр, а лиричность в драме! Не застывшие законы драмы, а ее творческое обогащение и осмысление!»). И снова ловишь себя на том, что мысленно примеряешь сказанное болгарским критиком к опыту нашей драматургии, ищешь и находишь параллели к этой «лирической драме», новой комплексно-жанровой системе форм, увенчанной драмой поэтической, лиродрамой, как говорят у нас иные латышские авторы. Эта драма знает такие великолепные образцы, как поэмы (но для театра!) Ю. Марцинкявичюса и М. Карима.

Исследование, объединяющее два измерения — теоретическое и собственно критико-аналитическое, имеющее дело с конкретными явлениями,— проделал Боян Ничев в статье «Путь болгарской прозы к крупным эпическим формам». Пожалуй, даже и третье измерение есть здесь исторически последовательное рассмотрение предмета. Великолепный пример подобной трехмерности — работа Тончо Жечева «Революционные сентябрьские традиции (имеется в виду первое в Европе антифашистское народное восстание сентября 1923 года.— *Ю. С.)* и современная болгарская культура». Методологический опыт такого рода комплексных анализов, повторяю, очень поучителен!

Вообще говоря, сборник болгарских ученых и критиков составлен весьма разнообразно, и это еще одна привлекательная сторона его (как, впрочем, и других томов серии). Разнообразна тематика сборника (исторические сюжеты умело соединены с анализом литературного процесса 60-х годов); разнообразны жанры статей (здесь и проблемные обзоры, и общекультурологические статьи-размышления, например, известного эстетика и искусствоведа А. Стойкова, эссе, портреты и своеобразные диалоги, беседы с Эмилияном Станевым, Георгием Караславовым — опыт Атанаса Свиленова в развитии этого критико-аналитического жанра, опыт трех его книг такого характера заслуживает внимания). Есть, естественно, в сборнике и работы, анализирующие воздействие Октябрьской революции и Горького на болгарскую литературу (авторы — Георгий Цанев и Иван Цветков). Впрочем, могла бы быть здесь статья и о современных связях двух литератур — это целое направление в деятельности болгарских литературоведов да и советских болгаристов, добрыми представителями которых являются составители сборника В. Злыднев и Н. Пономарева.

Ну вот, кажется, я перешел и к критическим замечаниям по составу сборника. Может быть, стоило еще более расширить состав авторов? Преобладают те, кому шестьдесят (за и около), пятьдесят (за и около); сорокалетних — двое-трое. Дело не просто в возрасте — дело в том, что одно

или два новых поколения, сегодня активно действующих в критике и литературоведении Болгарии, «не успели» попасть в сборник, другими же словами, сборник от них «отстал», а между тем творческая генерация и в критике — не пустой звук, хотя критика и не похожа на эстафетный бег, когда пробежавший свое сходит вообще с дистанции. В данном случае все старшие продолжают, на радость нам, активно работать, но все же пусть число «бегунов» все время увеличивается, мы рады будем познакомиться и с ними.

Еще одно соображение критического порядка. Серия называется «Литературно-художественная критика в странах социализма». Но в большинстве выпущенных томов (за исключением венгерского, пожалуй) перевес литературоведческих и литературно-критических работ слишком велик. Между тем замечательно развивается болгарское изобразительное искусство, интересен театр (критико-драматургический материал в сборнике есть, но не критико-театральный), в активных поисках — болгарская кинематография. Почему же все это за бортом издания? Предвижу ответ: не хватило места. Но прежде чем я выскажу свои контрдоводы и предложение, этим ответом обусловленные, замечу, что в сборнике зияет еще одна лакуна, совсем уж непростительная,— речь идет о полном отсутствии статей, хотя бы статьи, о развитии в 60-е и 70-е годы самой критики, самой науки о литературе; между тем и в методологическом, и в тематико-проблемном, и в жанровом, и в стилистическом, и во всех других отношениях эти годы для них чрезвычайно важны (недаром так часто обращает свое внимание на творчество критиков и условия их работы Болгарская коммунистическая партия, начиная с Первого секретаря ее ЦК). Важны и плодотворны. Немало новых творческих тенденций оформилось, определилось в эти годы (см. об этом статью Ивана Попиванова «Критика — новые тенденции и явления», в «Литературен фронт» за 17.V.1979 и материалы недавней, в апреле этого года состоявшейся творческой дискуссии, где едва ли не доклад о критике Здравко Петрова вызвал наиболее острые прения).

Словом, «критика критики» должна быть непременной частью таких сборников, если не этого, так...

Вот тут предложение, стимулированное тем обстоятельством, что серия в недалеком будущем кончается. Ну, а что же дальше?

А дальше серию надо продолжить. Сейчас материалы серии охватывают критику социалистических стран в основном за шестидесятые годы и лишь отчасти за семидесятые. Но материал семидесятых весьма богат и многообразен, а если учесть еще сектора искусствоведческие, то и конца ему не видно. Не берусь подсказывать, как будет лучше — выпускать ли сборники совместные (под углом той или иной актуальной темы — путь более традиционный для наших издателей) или снова по отдельным странам. Так или иначе, но надо продолжать. И второй сборник болгарской литературно-художественной критики, предположим, появись он года через два-три, будет, безусловно, добрым продолжением первого.

На этой оптимистической ноте я и закончу...

ЮРИЙ СУРОВЦЕВ

СТРАНИЦЫ БОЛИ И ГНЕВА

Называй меня «миссис». Рассказы южноафриканских писателей. Составление и перевод с английского Валентина Коткина. Ташкент, Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1978.

Многообразная и развитая литература Южной Африки, кажется, вплотную приблизилась к «эпохе новеллы». Наряду с чисто авторскими предпочтениями, очевидно, определенную роль здесь играют и условия жизни — а они таковы, что не только черному, но и белому писателю становится все труднее спокойно работать длительный срок. И рассказ как наиболее краткая и доступная художественная форма выражения мысли приобретает в их глазах все большую привлекательность. То же самое можно сказать и о читателях: тревожная, неупорядоченная жизнь зачастую не позволяет сосредоточиться на крупном серьезном произведении. Короткий же и волнующий рассказ на злободневную тему может быть прочитан по дороге на работу или домой, в автобусе, в электричке. А как известно — спрос рождает предложение.

По мнению известного южноафриканского писателя и критика Эзекиела Мпахеле, в литературе ЮАР жанр рассказа развивается в трех направлениях: романтико-эскапистском, открытого протеста и ироническом. Рецензируемый сборник включает произведения двадцати трех писателей Южной Африки. Есть в нем вещи первого и третьего направлений (если пользоваться классификацией Мпахеле), очень теплые, лиричные, наполненные горечью и грустью. К ним можно отнести рассказ талантливого писателя, погибшего в стычке с карателями, Бейзила Февруари «Передача» — о смерти матери, принесшей передачу сыну, «Нищие» Дана Джекобсона, «Дорога на Северструм» Джека Коупа — о тяжелой доле пастуха-африканца.

Но все-таки основная часть сборника — это литература протеста. Привлекает внимание глубоко психологическая новелла Надин Гордимер «Запах смерти и цветов». Вроде бы случайные мотивы привели белую девушку Джойс Маккой в ряды борцов с апартеидом. Однако участие в антирасистских выступлениях не только укрепляет ее уверенность в правильности сделанного шага, но и позволяет заново осмыслить значение собственной личности, свое призвание, взглянуть на себя «со стороны». В результате романтический порыв перерастает в осмысленную жизненную установку.

Или рассказ Артура Меймана, давший название всему сборнику. Сын африканского фермера зашел на почту провинциального городка. При этом он не нарушил ника-

ких официальных правил: вошел через дверь с табличкой «Только для неевропейцев» и вежливо попросил продать ему две марки. Начальница почты, зная, что перед ней студент, приехавший на каникулы из Иоганнесбурга, решила все поставить на свои места.

— Скажи «миссис» или убирайся вон!

Африканец называл ее «меффрау» [1], говорил «пожалуйста», но упоенная собственным величием белая расистка настаивала. Через некоторое время на почту забежал черный мальчишка; назвав начальницу «миссис», он купил две марки и скрылся за дверью. В окно было видно, как он передал покупку «строптивому» студенту. И это было расценено как посягательство на устои.

Через несколько дней в половине для черных и цветных снова появился непокорный африканский парень.

— Доброе утро, мевру [2]! — весело приветствовал он начальницу почты и попросил бланк для перевода.

— Скажи «миссис»!

— Но почему все же я должен называть вас «миссис»? Вы ведь не замужем, правда?

Вспышка гнева, крики «проклятый кафр», «оскорблять белую женщину...». Позже разыгралась трагедия, и где-то в буше студента застрелил полицейский.

Рассказ Артура Меймана точно передает атмосферу межрасовых отношений в ЮАР, где в белых культивируется спесь и самодурство, а в черных — чувство полного бесправия и полной беззащитности. Реалистическая литература ЮАР бросает вызов этому моральному рабству.

А вот рассказ Робинсона Матселе «Костюм для концерта». В африканской семье радость: сын участвует в певческом конкурсе. Может быть, ему удастся победить, и тогда мальчику больше повезет в жизни... Но жюри требует, чтобы дети приходили только в приличных костюмах. Значит, предстоят большие расходы, на которые уйдут все семейные сбережения. И вот торжественный момент: отец и сын отправляются в магазин. Они почти у входа, и слышно, как кричит торговец-индус: «Заходи, мама, заходи, папа!». На стене можно прочитать рекламу: «Купите костюм — получите в придачу два»... Рядом тормозит полицейская машина. У отца не оказывается пропуска — забыл его дома,— и его арестовывают. Десять месяцев спустя мальчик сидит с матерью у постели отца — смертельно больного, умирающего: тюрьма выжала из него все соки...

Как много в этих рассказах горечи и гнева. Бесхитростные строки превращаются в моральное и политическое оружие огромной силы воздействия. Это прекрасно понимают власти предержащие, жестоко преследующие и самих писателей, и их произведения. Ведь в полицейской ЮАР любой писатель, правдиво отображающий жизнь, автоматически приравнивается к борцу против апартеида.

97 пунктов «закона о цензуре» определяют в ЮАР «опасные» темы. При этом в категорию «опасных» всегда попадают лучшие произведения лучших авторов. Большинство работ всемирно известной писательницы Надин Гордимер, как и произведения десятков других авторов, запрещены. Сами писатели постоянно подвергаются полицейским репрессиям. Согласно недавним признаниям Артура Макгивена, одного из ведущих офицеров южноафриканской разведки, порвавшего с режимом апартеида, в ЮАР заведены досье на всех известных писателей. За ними установлена слежка. Не выдержав полицейского разгула, ЮАР покинули те, кто составляет гордость ее литературы: Питер Абрахамс, Филис Альтман, Алекс Ла Гума, Эзекиел Мпахеле, Уильям Модисейн, Артур Мейман, Робинсон Матселе, Деннис Брутус и многие другие. Рассказы всех этих авторов можно прочитать в сборнике, составленном и переведенном В. Коткиным. Однако значительная часть рассказов написана сравнительно давно и не полностью отражает положение в современной малой прозе ЮАР, хотя и демонстрирует нам основные направления в ее развитии.

В настоящее время Южная Африка переживает решающий период своей истории. Расистский режим, полностью скомпрометировавший себя в глазах мировой общественности, пытается создать видимость демократических преобразований. В действительности же «новая стратегия» Боты призвана создать в городских районах прослойку зажиточных африканцев, класс средней буржуазии, который должен выполнять роль буфера между белым меньшинством и черным большинством, то есть в конечном счете призвана укрепить режим. Но даже если в процессе реформ и будут сглажены наиболее вопиющие проявления расизма, сущность режима апартеида от этого не изменится. Останется нравственный античеловеческий климат, в котором реализует свою политику Националистическая партия, останутся нетронутыми все силы, в интересах которых в Южной Африке творится беззаконие. А значит, не утихнет и борьба черного населения за свои права, за то, чтобы быть хозяином в собственном доме. Знакомство с рецензируемым сборником помогает нам в этом убедиться.

В. ПЕРЕХВАТОВ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ И СКАЗОЧНИК ДЖОН ГАРДНЕР

Джон Гарднер. Никелевая гора. Роман. Королевский гамбит. Повесть. Рассказы. Предисловие Г. Злобина. Москва, «Прогресс», 1979.

Как видно из содержания, первая русская книга избранного американского писателя Джона Гарднера включает произведения разных жанров.

«Никелевая гора», «пасторальный роман» (1973),— один из четырех реалистических романов писателя о современной Америке. Его сюжетная канва — история любви двух неустроенных людей, нашедших душевную

[1] Меффрау *(африкаанс)* — госпожа, равнозначно английскому «мисс».

[2] Сокращенное от «меффрау».

опору в общих повседневных заботах и желании преодолеть несходство возраста, характеров, привычек.

Герои «пасторали» Гарднера живут не просто в провинции, но и вдалеке от ближних поселков — их дом, одиноко стоящий у дороги, служит проезжим закусочной. Днем и ночью дорога приводит к ним знакомых и новых людей. Все здесь камерно и вместе с тем символично: и будни, и события, и сами люди, их мысли и чувства. И наверное, в этом и состоит достоинство романа Гарднера — его герои, живые и достоверные, заурядны и человечны, как большинство людей. Однако еще более ценным представляется ощущение скрытого от поверхностного взгляда высшего смысла этих будней, вечности жизни.

Повесть «Королевский гамбит» (1974) кажется написанной другим человеком. С первой ее строки читателя подхватывает ветер странствий, сметающий саму память о привычном и обыденном. Все в ней строится на контрасте романтического порыва и иронии, мистики и здравого смысла, неумолимой судьбы и человеческой стойкости.

Юный герой этой повести мечтает стать фермером в удивительном уголке Америки — южном Иллинойсе, «где бушуют ужасные торнадо, весной холмы зеленей изумрудов... где лес растет быстрей, чем в Экваториальной Африке». Но оказывается, что его путь в южный Иллинойс лежит не к западу от его родного Бостона, на другой край Америки, а туда, где его ждет невероятное плаванье под звездами Южного Креста на «Иерусалиме», близнеце Летучего голландца. На его борту герою суждено попасть в загадочный мир, дверца в который приоткрылась для него еще в детстве на сеансе знаменитого чародея доктора Флинта и его дочки-помощницы, прекрасной девочки Миранды. Ему, неискушенному в жизни, но твердо знающему разницу между добром и злом, предстоит спасти обреченный корабль от безумного мага, разыграв с ним роковую шахматную партию «Королевский гамбит».

Рассказ «Долг пастыря» возвращает читателя в современную Америку. Его герой, молодой священник, страдает от сознания неверия и бессилия помочь своей пастве нести тяжкое бремя жизни. Одинокий и невзрачный пастырь не подозревает, как нуждаются в нем его прихожане, как нужны им и ему самому взаимное стремление понять друг друга, увидеть действительность через призму знакомых образов и ценностей святого писания. Неожиданно для всех проповеди пастыря вдохновляют юного «бунтаря», уверовавшего в то, что именно его рука призвана выжечь скверну — взорвать общественное здание. Священник решает оставить свой пост, но жизнь готовит ему новую трагическую встречу: девушка-хиппи, накурившись наркотиков, гибнет под колесами поезда. Ищут врача, уже бессильного чем-то помочь. И пастырь понимает, что вопреки собственному неверию его долг — нести людям утешение.

Герой второго рассказа «Джон Нэпир плывет по Вселенной» — пожилой художник, переживший в молодости мучительные творческие поиски, которые привели его на край безысходности и мрака, но сумевший преодолеть этот кризис. Теперь он воплощает свое мировосприятие в красочных полотнах, изображающих людей и зверей среди ярких цветов. Джон Нэпир «плывет по Вселенной», ощущая счастье своего единства с ней.

Эти четыре работы дают известное представление о широте творческих возможностей Джона Гарднера, о своеобразии обширного и живого мира, созданного его воображением. Рассказ «Долг пастыря» и притча «Королевский гамбит» — наиболее характерны для Гарднера — реалиста, тонкого бытописателя современной Америки и мастера стилизации. Увлекательная игра писательского таланта, неизменно контролируемая ироничным и изощренным интеллектом эрудита, непрестанная борьба мысли и воображения, чувства и логики создают своеобразие его творческой манеры и порождают желание снова и снова возвращаться к книгам Гарднера, следить за ходом его размышлений о жизни. Потому что, как и у каждого подлинного художника, каждая новая его работа — это еще один шаг на пути поисков совершенных форм выражения своих мыслей, своего жизненного опыта.

Джон Гарднер родился в Батавии, небольшом городке в западной части штата Нью-Йорк. Там, где происходит действие самого крупного его романа «Диалоги с Солнечным». Неподалеку от Батавии, в краю, история которого хранит память о жестоких религиозных распрях начала столетия, закончившихся опустошительными пожарами, развертывается действие романа «Никелевая гора». Призраки прошлого тревожат порой воображение его главного героя, а однажды, когда в доме появляется современный религиозный фанатик, прошлое словно врывается в его жизнь.

Гарднер вырос в семье фермера, самостийного проповедника и талантливого рассказчика, одинаково свободно чувствовавшего себя в мире Библии, Шекспира, английской классической поэзии, американских народных преданий. Свою любовь к музыке писатель объясняет тем, что он наполовину валлиец, в детстве много бывавший в церквах, где «пели, пели и пели». Жители его родной Батавии страстно любили театр и даже в пору уборки урожая уезжали в соседний Рочестер на оперные спектакли. Будучи уже известным писателем, Гарднер создал либретто к операм по роману М. Шелли «Франкенштейн» и по рассказам Эдгара По. Гарднер считает, что наиболее существенное влияние оказали на него Данте, Чосер и Дисней. Из современных писателей ему ближе всех англичанин Джон Фаулз[1]. «Все, что я пишу,— говорит Гарднер,— имеет двойственную основу — классическую западную литературу и философию и... детектив, комиксы, волшебные сказки, местные побасенки... Я не хочу обмануть читателя, который ждет увлекательного приключения, игры».

Гарднер убежден, что искусство призва-

[1] Повесть Дж. Фаулза «Башня из черного дерева» напечатана в «ИЛ» № 3, 1979.

но «поддержать жизнь», утверждая человеческие ценности. Подлинное искусство должно противостоять весьма распространенным сегодня попыткам убедить читателя в том, что «все мы — подонки». Но не желая, чтобы его книги служили только развлечению, писатель в то же время не хочет являться с «посланием», моралью... «Я не проповедую, я просто исследую»,— говорит он.

Вглядываясь в жизнь современной Америки, Гарднер облекает временами свои поиски в форму исторического романа или повествования, стилизованного то под классику, то под современный литературный ширпотреб, предлагая читателю новый угол зрения на скрытое за повседневным и привычным.

Писать Гарднер начал в девятнадцать лет, в период увлечения теоретической химией, но тяга к литературе вскоре победила. Однако печататься он стал уже сложившимся человеком. Его первый роман «Воскресение из мертвых» (1966) вышел, когда ему было тридцать три года. Он использовал в нем классический сюжет, знакомый всем по «Смерти Ивана Ильича» Толстого. Герой романа — сорокалетний философ. Перед лицом смерти он оказывается способным остаться личностью, любящим и мыслящим человеком. К идеям своего первого романа Гарднер возвращается в других книгах. Для первой — особенно важна тема философии, которая предстает в романе не как система абстракций или игра ума, но как жизненная потребность мыслящего существа в некоем единстве ценностей, помогающем ему воспринять и самый неприемлемый для человеческого сознания факт — собственной смертности.

Мировосприятие Гарднера, как утверждает он сам, в основных чертах было воплощено уже в романе «Диалоги с Солнечным» (1972). В нем он противопоставил современного философа-нигилиста, личность изломанную и трагическую,— полицейскому, пытающемуся втиснуть драматическую, а порой и абсурдную, как ему кажется, реальность американской жизни 60—70-х годов в привычные рамки здравого смысла. К этому идейному и нравственному конфликту писатель возвращается вновь и вновь.

Гарднер, реалист и исследователь, занят вечными и самыми современными проблемами, Гарднер-художник ищет пути обретения гармонии мировосприятия. Он пишет сказки для детей, где добро всегда побеждает зло. Он верит в то, что человеку необходимы книги, страницы которых «вечны, как пространство и время». Искусство помогает Джону Нэпперу преодолеть отчаяние, и он старается нести людям радость. Поэтическая душа героя «Королевского гамбита» общается порой с мистическими птицами, он ловит в океане запахи цветущей земли и мечтает постичь язык всего живого. «В мире нет границ, есть лишь чудовищные зеркала...— говорит Гарднер читателю этой повести.— Все в нем связано ньютоновским законом тяготения, сдвв пылинку, я вращаю Луну, меняю судьбы планет». Как бы вторя ему, К. Воннегут в «Завтраке для чемпионов» сравнивает творческое воображение с «зеркалами, отражающими другие миры», а жизнь — с бесконечной цепочкой полимера, которую в любой момент можно оборвать и написать: «и так далее...» Так современная наука добавляет к привычным этическим и философским представлениям новые образы, дает новый угол зрения на окружающий мир, возвращая художникам ею же разрушенную целостность западного сознания.

Почти полтора десятилетия Джон Гарднер прожил в южном Иллинойсе, где преподавал классическую литературу. В последнем из написанных там романов — «Свет в октябре» [1] (1977) — его герои-старики размышляют о прожитой жизни, освещенной прозрачным светом осенней зрелости. Итогом размышлений Гарднера об искусстве стало написанное вне условностей художественной формы эссе «О нравственном искусстве» (1978).

Сейчас Гарднер живет в Бостоне, где ведет семинары для начинающих писателей и готовит к печати книгу «Писательское мастерство».

Т. РОТЕНБЕРГ

Издано за рубежом

НЕПРИКАЯННЫЕ

Kaj Skagen. En elv under gaten. Oslo, Tiden, 1976.
Kaj Skagen. Barføtt gjennom Europa. Oslo, Tiden, 1978.
Кай Скаген. Река под улицей. 1976.
Кай Скаген. Босиком по Европе. 1978.

«Я понял, что мир, который меня окружает,— угнетенный мир. Я понял, что о самом важном для меня и таких, как я, говорить запрещено. Тогда мне было двадцать лет. Литература и искусство не отражали того, что я видел вокруг: невыразимую тоску по настоящей жизни, неутолимую жажду любви, жестокость общества. И тогда я поклялся: эту потаенную действительность, от которой отворачиваются, о которой не решаются сказать во всеуслышание, я должен во что бы то ни стало изобразить».

Так пишет о себе и своем творчестве Кай Скаген, представитель младшего поколения норвежских писателей, литературный дебют которого состоялся в 1971 году, когда увидел свет его поэтический сборник «Уличные стихи». Впоследствии он начинает писать прозу. Герои Скагена — его ровесники, не принимающие буржуазных идеалов, разочаровавшиеся в официальных символах счастья и успеха, но и не видящие никаких реальных альтернатив ненавидимому ими миропорядку.

Романы, о которых пойдет речь, построены в форме лирического дневника Юнаса

[1] См. рецензию Г. Злобина — «ИЛ» № 1, 1979.

Эде. В 1969 году, когда начинается действие первой книги — романа «Река под улицей»,— ему около двадцати лет. Приехавший из провинции изучать теологию в университете Осло, он сразу же оказывается в гуще молодежного движения, увлекается идеями, как ему кажется, революционного, а на самом деле анархистского толка, главное в которых — неприятие мира сытых и благополучных, ничего более определенного у юных радикалов нет. Юнас пишет стихи, сочиняет гневные политические памфлеты и даже ухитряется что-то иной раз заработать своими произведениями. Есть деньги — он торжественно поселяется в «отдельном помещении» — на чердаке или в мансарде, кончились сбережения — переселяется к друзьям, таким же, как и он, неприкаянным, уложив в сумку все свое имущество: пластинки Боба Дилана да несколько книг, среди которых Лев Толстой, Герцен, Бодлер.

Втянувшись в молодежное движение, Юнас вместе с товарищами отправляется в Гамбург на конференцию по проблемам социал-демократии. Юным делегатам не до теоретических споров, в дебатах они участия не принимают, а слоняются по незнакомому городу.

Вернувшись в Осло, Юнас встречает Вилле, «самую красивую девушку на свете», и забывает решительно обо всем, в том числе и о том, что жизнь — великое несчастье. Он посвящает возлюбленной стихи, полные нежности и тоски,— заметим, что поэтические опыты Юнаса Кай Скаген охотно и помногу вводит в художественную ткань романа. Юнас и его приятели проводят дни в кафе за кружкой пива, вечера же — в доме Риты, неунывающей матери-одиночки — в попойках, курении «травки», то есть марихуаны.

Героям кажется, что в подобном существовании обретается свобода от мещанских правил и стандартов, но в полуиллюзорный мир мечтаний вторгается реальность: друзьями интересуется полиция, их обвиняют в торговле наркотиками. Спасаясь от полиции, герои уезжают в Копенгаген, пытаясь там наладить простую и спокойную жизнь, но у них ничего не получается, и они возвращаются на родину, где их никто не ждет и где их возвращению никто не радуется.

Так, на полуслове, обрывается «Река под улицей». Роман «Босиком по Европе» является продолжением первой части дилогии. Вторая книга написана примерно в том же интонационном ключе, однако если в «Реке под улицей» Кай Скаген прежде всего стремился разобраться в суматохе чувств своего главного героя, то в романе «Босиком по Европе» очевидно стремление молодого писателя дать возможно более широкую картину настроений современной молодежи и прежде всего тех, кто безнадежно запутался в повседневности, которую буржуазные идеологи называли и открытым обществом, и обществом равных возможностей, и цивилизацией процветания,— тех, кто судорожно ищет выхода в оккультизме, мистической философии, галлюцинаторных впечатлениях.

В поисках свободы Юнас решает порвать с организованным обществом и уезжает на крошечный морской островок. Он живет там, питаясь дарами моря и суши, сводит знакомство с таким же, как и он, отшельником, рассорившимся с буржуазной обыденщиной, и ведет с ним долгие метафизические споры. Вскоре, однако, появляются друзья Юнаса и забирают нового Робинзона назад в Осло. Снова наступает полоса существования по инерции, Юнас не знает, за что взяться, да он и не уверен, стоит ли вообще браться за что бы то ни было: все равно мир вокруг поражен коррупцией, делячеством, застыл в чудовищном эгоцентризме. Временами, правда, ему кажется, что нет, еще не все потеряно, еще можно начать новую, осмысленную, полезную жизнь, но такие настроения быстротечны, он снова возвращается к привычному существованию «на отшибе»— к полупьяным компаниям, что собираются на холодных мансардах, к случайным связям, к жизни в постоянном страхе перед полицией.

К Юнасу приходит новая любовь, он встречает еще одну самую лучшую девушку на свете, только на сей раз ее зовут Анна. Юнасу уже видится семейный очаг, труды и радости жизни вдвоем, но счастье внезапно обрывается...

В отчаянии одиночества Юнас берется за перо и пишет роман, который, к немалому его удивлению, принимают к публикации в одном из издательств. Творческий успех отзывается в Юнасе бурным приливом общественной активности. Однако деятельность новоявленного писателя направлена по ложной линии: он оказывается бескомпромиссным борцом за права наркоманов. В интересах «дела» он посещает Амстердам, куда стекаются со всего мира неприкаянные молодые люди. Но и собравшись вместе, они остаются такими же опустошенными и разъединенными, как у себя дома. Время молодежных выступлений, констатирует автор романа «Босиком по Европе», позади, а бывшие активисты потеряли интерес к «революции». Кое-кто из ветеранов — среди добропорядочных членов буржуазного общества, другие, напротив, предав это общество анафеме, ведут полурастительное существование хиппи, подчиняясь лишь мятежным импульсам собственного «я», единственного для них авторитета и законодателя.

Случай убедительно демонстрирует Юнасу ложность избранного им пути: борец за права наркоманов впервые в жизни принимает дозу ЛСД. Чудовищные видения сопровождают его, скитающегося в наркотическом озарении по улицам. Придя в сознание, он дает себе зарок никогда больше не повторять подобных экспериментов.

Робинзонада на острове, писательство, «общественная деятельность» равным образом оказываются лишенными внутреннего смысла для героя книг К. Скагена. Нет правды и в антропософском центре под Базелем, куда увлекает героя случайно встретившийся соотечественник по имени Кристофер (он-то и путешествует по Европе босиком, ибо только так, полагает он, возможно осуществить целительное единение с землей).

Впрочем, в центре изучения и обожествле-

ния человека метафизического, куда прибывают герои, менее всего заботятся о реальных, эмпирических людях: строгостью правил центр скорее напоминает монастырь или казарму. Не сумевший должным образом соответствовать требованиям местных человековедов, Юнас изгоняется. Та же участь постигает и Кристофера, причем прогоняют его именно за хождение босиком — как за серьезное преступление против нравственности и общественных приличий.

И снова скитания без цели, без идеалов, без веры в будущее. Пилигрим, мистик, преступник, анархист, поэт, Юнас чувствует, что все эти поиски были ложными, а истинное «я» безнадежно исчезло, растворилось в пустопорожней активности. Герой не знает, что не устраивает его в современном буржуазном обществе, но то, что поначалу представлялось ему выходом, каждый раз оборачивается тупиком. К сожалению, не в состоянии помочь своему герою и автор. Ситуация для современной западной литературы весьма типичная: констатация неблагополучия — социального, психологического, нравственного — сплошь и рядом сочетается у западных художников слова с неумением распознать истинные причины ощущаемого ими социального зла. Проблема, которую так и не сумел до конца разрешить К. Скаген, возникала и перед его соотечественником Х. Аскиллсеном, автором повести «Будни». Герой «Будней», простой рабочий парень, на своем собственном опыте изведав глубину общественных противоречий, нашел в себе силы одолеть подступавшее отчаяние, встал на путь сознательной политической борьбы.

Трудно предположить, как сложится дальнейшая судьба Кая Скагена, безусловно одаренного прозаика, человека, чутко прислушивающегося к пульсу эпохи. Пока несомненно одно — в его искренней, а во многом и исповедальной дилогии настойчиво утверждается невозможность обретения устойчивых нравственных ориентиров в рамках буржуазного сознания — и невозможность существования без таких ориентиров.

М. НИКОЛАЕВА

КАК ПОБЕДИТЬ ЧУМУ

Richard Adams. The Plague Dogs. London, Allen Lane, 1978.
Ричард Адамс. Чумные собаки. 1978.

Из заключения бежали двое. Сторонясь населенных мест, терпя голод и холод, они жадно вдыхали воздух свободы, убежденные, что самое страшное уже позади...

Эти двое, герои нового романа Ричарда Адамса: фокстерьер Сниттер и дворняжка Рауф — бежали с таинственно-зловещей Станции научных экспериментов, проводимых на животных, что расположилась в живописном уголке того самого Озерного края, где некогда жили и творили прославленные поэты-романтики Кольридж и Вордсворт. В свою «озерную школу» Адамс зачислил тех, кто видит в природе не источник любования и вдохновения, а материал для опытов. Уединились же современные «природолюбы» не в знак протеста против дурной, погрязшей в пороках цивилизации, как это водилось в романтические времена, но как раз для того, чтобы лучше выполнять заказы этой самой цивилизации и не привлекать к своей деятельности лишнего внимания.

Ричард Адамс родился в 1920 году, а его роман-дебют «Уотершипские холмы», где описывалось общество кроликов, удивительно напоминавшее человеческое, появился в 1972 году. Поклонники занимательного чтения были в восторге, но и те, кто за сюжетными перипетиями ищет обобщений, кто берется за книгу, чтобы разобраться в конфликтах современности, тоже не прогадали. Феномен Ричарда Адамса, взявшегося за перо в середине жизненного пути и представшего перед читателем самобытным, а главное, вполне зрелым художником, заставляет вспомнить давнюю точку зрения, по которой писателю должно всегда оставаться любителем — в том высоком смысле, который предполагает служение искусству слова из любви к правде,— и не превращать талант в средство поддержания собственного материального существования. Реальная жизнь, конечно, всегда накладывала ограничения на возможность неуклонного выполнения подобного императива, но справедливость требования браться за перо лишь тогда, когда не браться н е л ь з я — не позволяет совесть,— тем более остро ощущается в эпоху специализации и профессионализации, затронувших и те области человеческой деятельности, что считались в этом смысле заповедными.

Если в романах-аллегориях «Уотершипские холмы» и «Шардик» (1974) современность и проблемы, ею рожденные, приходилось узнавать и вычислять на материале весьма — и сознательно — от нее удаленном, то «Чумные собаки», не утрачивая иносказательной тональности, повествуют о нынешней Англии, поражая точностью социальных характеристик и нарастанием сатирически-обличительных интонаций, «раннему» Адамсу не свойственных.

Случайность, пустяк — бегство двух подопытных животных — становятся катализатором реакции, приводящей в действие пружины всего британского социального механизма, выявляющей потаенную сущность общественных установлений и государственных институтов. История двух четвероногих беглецов, преображенных магическим кристаллом аллегории Адамса, приглашает читателя задуматься над проблемой условий существования человека в «свободном и открытом» обществе, над тем, что такое гуманизм. Послушать официальных представителей этого общества в романе, все они неисправимые гуманисты. О человеке пекутся на Станции, возглавляемой анонимным Директором. Ради блага человечества умерщвляют и реанимируют собак, морских свинок, кроликов. Цели экспериментов? Самые разные, в том числе и чисто теоретические. Сниттеру, например, сделали операцию на мозге, чтобы добиться «полного смещения объективного и субъективного». Какая от этого опыта поль-

за? Пока неизвестно какая, но если послушать руководителя лаборатории доктора Бойкотта, то он напомнит общеизвестную истину, что и открытия, пока не имеющие никакой практической ценности, могут весьма пригодиться человечеству. Со временем. Впрочем, и о сегодняшнем дне не забывают: Станция буквально завалена заказами промышленно-коммерческого характера. На кроликах и собаках проверяется токсичность новейших марок сигарет, губной помады, лака для волос, проходит испытания капкан новейшей конструкции (вместо того чтобы ловить белок, он их исправно уничтожает). Нет, сотрудники Станции не живодеры. «Мы не потратим двух животных, если есть возможность обойтись одним»,— заверяет Бойкотт. Гуманность, однако, сочетается и с иными соображениями: «живой материал» постоянно дорожает (инфляция!), стало быть, приходится экономить, чтобы не вылететь в трубу.

Было бы наивно полагать, что Адамс вообще против экспериментов на животных. Такие опыты — необходимость, против которой трудно что-либо возразить. Задача писателя совсем в другом. Посвящая читателей в жизнь Станции и не скупясь на натуралистические подробности, Адамс пользуется приемом остранения, чтобы поговорить о проблемах более общего характера. Его тревожит безответственность иных ученых-экспертов, которые, самозабвенно разгадывая тайны природы, в том числе и живой, человеческой, совершенно равнодушны к тому, кем и в каких целях могут быть использованы их открытия. Где та грань, вопрошает Адамс, за которой знание-благо превращается в знание, несущее зло? Как соотнести научную истину и нравственный закон? Увы, слишком часто, по мнению писателя, «чисто научные» исследования осуществляются под опекой далеко не научных организаций. Недаром на той же Станции за семью замками работает лаборатория под руководством доктора Гуднера (фамилия ироническая — по-русски звучала бы как Добродеев или Доброскло-нов) в тесном контакте с министерством обороны.

Пока суд да дело, пока на Станции гадают, как побыстрее изловить псов-дезертиров (стоит работа!), Сниттер и Рауф пытаются наладить отношения с миром Свободы, ведут споры о том, как жить дальше. Общеизвестно, что собаки лишены дара речи. На людях Сниттер и Рауф безмолвны, в своем же собачьем кругу весьма словоохотливы, распевают собачьи песни, рассказывают собачьи истории, в том числе и предание о Звездном Псе. Он ведь, как известно, создал все живое, а самое удачное свое творение, человека, заставил заботиться о прочих живых существах, но человек оплошал...

С человеком или против человека? Сниттер, у которого был раньше заботливый хозяин, считает, что надо найти хороших хозяев,— все равно без людей, убежден он, собакам нет жизни. Для бездомного Рауфа все люди, как и ненавистные «белые халаты», — мучители и угнетатели, а стало быть, спасение в том, чтобы стать дикими и никому не подчиняться. Однако неудачный опыт сближения с людьми рождает афоризм: «Плохо собакам в этом мире»,— который рефреном пройдет через весь роман. Собаки Адамса бросают вызов обществу людей. Однако аллегорический контекст романа вполне позволяет взглянуть на ситуацию Сниттера и Рауфа как на обобщенную модель отношений личности и общества, какими их видит Адамс. Изгой, отщепенец с его стремлением «никому не давать отчета», презирающий сытых и благополучных мещан, весьма популярен в западной литературе XX века, особенно в американской, где он издавна окружен особым почетом. Однако некритическая трактовка аутсайдерства (от бродяг Керуака до высокоинтеллектуальных отшельников Сола Беллоу с многочисленными модификациями на уровне «массовой литературы») вызывает у автора «Чумных собак» серьезные нарекания. Свобода без границ может породить эгоцентризм, безответственность, стремление жить за счет других и ставить это себе в особую заслугу. Не случайно, оказавшись в положении аутсайдеров, герои Адамса, вполне симпатичные собаки, быстро ожесточаются. Люди, правда, тоже в долгу не остаются. Похитителям кур и овец объявлена самая настоящая война, приобретающая поистине национальные масштабы, когда за дело берется корреспондент крупнейшей газеты «Лондонский оратор» Дигби Драйвер.

Еще в XIX веке Карлейль писал, что журналисты успешно заменили королей и жрецов. С течением времени и совершенствованием средств массовой информации сложился любопытный тип профессионального гуманиста, который по долгу службы заботится об общем благе, зарабатывая тем самым себе на жизнь. Гуманистам из «Лондонского оратора» наплевать и на Станцию, и на потерпевших от собак фермеров, но, заступаясь за последних и защищая «справедливость», они разом убивают двух зайцев: бросают тень на правительство, щедро финансирующее работу Станции (оно неугодно тем, кто субсидирует этот печатный орган), и благодаря этому увеличивают тираж. Правдолюбие оказывается весьма рентабельным.

Гордый девиз газетчиков: «факты священны, их комментирование свободно» в свете подвигов Драйвера обретает откровенно фарсовый смысл. На практике священным как раз оказывается комментарий, продиктованный идеологическим заказом, а уж факты под него нетрудно подтасовать. Драйвер ест свой хлеб не даром. Ему удается потолковать с засекреченным Гуднером. В результате угрозы обнародовать его биографию (он немец, по фамилии Гойтнер, «служивший науке» в Бухенвальде) Драйвер получает информацию насчет проводимых Станцией экспериментов с бубонной чумой. Драйвер бьет тревогу: собаки-то не иначе как чумные! Рождается сенсация, начинается паника. Заметим, что Драйвер работает безукоризненно: в атмосфере растущего недоверия населения к официальным заверениям, не раз оказы-

вавшимся в разладе с реальностью, любые, даже явно нелепые, слухи охотно — как никак голос «свободной» прессы — принимаются на веру, и невдомек уверовавшим, что информация такого рода распространяется с одобрения властей предержащих.

Между тем дело дворняжки и фокстерьера разбирается в парламенте. Распространителей чумы решено истребить. В Озерный край брошены солдаты, в карательной экспедиции участвует Министр собственной персоной. Плохо пришлось бы «чумным собакам», не окажись у них покровителя... в лице Драйвера. Готовясь завершить свой «собачий эпос» эффектной концовкой, он выясняет, что хозяин Сниттера не погиб, хотя действительно был при смерти, а теперь мечтает обрести своего любимца. Драйвер деятельно ему в этом помогает: еще бы, такой поворот может окончательно дискредитировать Министра, устроившего охоту на двух ни в чем не повинных животных. Трогательное воссоединение человека и собаки фиксируется теле- и фоторепортерами, равно как и растерянность Министра, попавшего впросак, да еще при всем честном народе.

Как говорится, все хорошо, что хорошо кончается, но сам Адамс не в силах скрыть иронического отношения к такому финалу. Торжество добродетели — в данном случае всего лишь побочный продукт деятельности мастера сенсации Дигби Драйвера и закулисных махинаций хозяев «Лондонского оратора», заинтересованных в смене кабинета. Если не считать неудачника-министра, довольны все: и Сниттер, вновь обретший хозяина, и Рауф, готовый признать, что и среди людей попадаются неплохие. Оставлена в покое и Станция, отделавшаяся легким испугом и незначительным сокращением получаемых ассигнований. Зато впереди увлекательные исследования по проблеме выживания в экстремальных (близких к полярной тундре) условиях по заказу одной американской организации. Да и доктора Гуднера-Гойтнера Драйвер, давший честное слово журналиста, оставил в покое — можно продолжать изыскания по чуме. Зло живуче, особенно если принять во внимание его способность прикидываться добром, что наглядно продемонстрировали в романе Адамса бизнесмены, журналисты, «белые халаты», члены парламента. Вместе с тем писатель не намерен объявлять это зло неизбежным и неискоренимым. Есть в романе «чумные собаки» и персонажи, в дурных поступках не замеченные, — реально существующие, хорошо известные Адамсу люди (об этом он говорит в предисловии, рассказывает, чем они занимаются сейчас, «отслужив» Адамсу в романе). Что же до Дигби Драйвера, доктора Бойкотта и им подобных, то они придуманы. Вот так же, по мысли писателя, «придумано» зло, которому не должно быть места в жизни. Человек, разгадывая тайны природы, становится богаче и сильней, учится противостоять стихийным бедствиям, болезням, в том числе и чуме. Теперь дело за тем, чтобы не давать хода другой чуме, не менее опасной, чем та, что побеждена успехами медицины и здравоохранения. Эта чума — ложь, жестокость, безответственность. Осознав свою причастность к тому, что происходит в мире, объявив врагом трусливое «моя хата с краю» и циническое «после меня хоть потоп», люди сумеют — обязаны суметь — победить и этот недуг. Таков смысл аллегории Ричарда Адамса.

СЕРГЕЙ БЕЛОВ

◆

Из месяца в месяц

АВСТРИЯ

НОВАЯ ПЬЕСА ТОМАСА БЕРНГАРДА

В Штутгартском городском театре состоялась премьера новой пьесы известного австрийского писателя Томаса Бернгарда «Перед уходом на пенсию».

Героя пьесы зовут Рудольф Хёллер. В настоящее время он — председатель суда в одной из западногерманских земель. А в прошлом заместитель коменданта гитлеровского концлагеря.

Каждый год, 7 октября, этот высокопоставленный «служитель правосудия» устраивает небольшое торжество в узком кругу: он отмечает день рождения Гиммлера, своего бывшего шефа, горячо почитаемого им «рейхсфюрера СС».

Спектакль показывает нам сцены этого торжества. Облачившись в черную униформу, Хёллер пьет шампанское, листает альбомы с фотографиями, напоминающими о счастливых эсэсовских временах, и разглагольствует перед своими сестрами о «долге и справедливости».

Сестер у него две. С одной, здоровой, Хёллер сожительствует, над другой, парализованной, издевается. Чтобы сделать воспоминания более живыми, он в этот день нагло остригает больную и наряжает ее в лагерные лохмотья.

В финале пьесы с перепившимся нацистом происходит сердечный удар. Врач-еврей, один из тех, кого он только что клеймил, как «вечных врагов нации», оказывает ему помощь. Сестра снимает с него черную униформу. Кошмар на сцене подходит к концу, но зритель, как пишет западногерманский журнал «Шпигель», уходит из зала, полный глубоких раздумий о немецком прошлом и о переплетенных с ним современных проблемах.

Пресса высоко оценивает новую работу Бернгарда, считая ее важным этапом в его творчестве. «До сих пор было трудно представить себе что-либо подобное у автора, который стремился к обобщенной параболичности»,— пишет в журнале «Шпигель» критик Гельмут Каразек. А рецензент швейцарского еженедельника «Вельтвохе» Рольф Михаэлис замечает: «Знатоки и любители творчества Томаса Бернгарда с изумлением видят, как он по-новому трактует свои «старые» темы». Критик подчеркивает, что в связи с памятными прениями в германском бундестаге об отмене срока давности для нацистских убийц пьеса «приобретает зловещую актуальность».

Беньямин Хенрихс в западногерманском еженедельнике «Цайт» также пишет о «новом, поразительном таланте Томаса Бернгарда», которого «его консервативные поклонники все еще считают возвышенным одиночкой», о его способности «быстро и недвусмысленно откликаться на политическую ситуацию». В пьесе можно увидеть и намек на нашумевшее «дело Фильбингера» — нацистского судьи, занимавшего еще недавно пост премьер-министра земли Бадеи-Вюртемберг. Кстати, именно Фильбингер в свое время вынудил уйти из театра режиссера Пеймана, который теперь осуществил постановку пьесы Бернгарда в Штутгарте.

Рецензенты отмечают мастерство постановки и великолепную игру исполнителя главной роли Трауготта Буре.

АЛЖИР

ДЖОХА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Образ хитреца Джохи чрезвычайно популярен в арабском фольклоре. Джоха давно перешагнул границы арабских стран: на Мальте он известен под именем Джахаи, в Сицилии как Джукка или Джуфа, в Турции и советских республиках Средней Азии как Ходжа Насреддин.

Журнал «ИБЛА» опубликовал рецензию на книгу известного исследователя литературы стран Магриба Жана Деже «Джоха, герой устных арабо-берберских преданий, вчера и сегодня», вышедшую в канадском издательстве «Нааман» (г. Шербрук, провинция Квебек).

«Можно было бы думать,— пишет автор рецен-

зии,— что Джоха, персонаж вчерашнего дня, принадлежит всецело литературе прошлого...» Однако в своем исследовании Ж. Деже, подчеркивая непреходящий характер этого персонажа, показывает его актуальность для современной литературы стран Магриба... Возрожденный к жизни, Джоха выступает сегодня в роли народного философа, способного поспорить с каждым, в роли насмешливого критика так называемых «здравомыслящих»: законоведов, служителей культа.

В приложении к книге приводятся рассказы о проделках Джохи, собранные в Варгле (Алжир), а также сведения о «родственнике» Джохи турецком петрушке Карагозе.

«Эта со вкусом иллюстрированная книга,— заключает рецензент,— не только заставит вас смеяться. Джоха расскажет вам много поучительного о мире, который вас окружает, о вас самих».

«РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ АЛЖИРСКОЙ ПРОЗЫ»

В Тунисе, как сообщает журнал «Аль-Фикр», вышла книга алжирского литературоведа доктора Абдаллаха Ракиби «Развитие современной алжирской прозы». В книге рассматривается творчество алжирских писателей, пишущих как на арабском, так и на французском языке.

Ранее опубликованные две книги Ракиби — «Проблемы арабского мира в современной алжирской поэзии» и «Короткий рассказ в Алжире» — вышли недавно третьим изданием в тунисско-ливийском издательстве.

БОЛГАРИЯ

ВЫСТАВКА СВЕТЛИНА РУСЕВА

Исключительный интерес вызвала прошедшая в Софии выставка замечательного художника Светлина Русева, получившая высокую оценку болгарских критиков и деятелей культуры. На открытии выставки выступил известный писатель и искусствовед Богомил Райнов. Чтобы понять творчество художника, сказал он, нужно найти к нему ключ. «Ключ к творчеству этого художника, как мне кажется, в его взгляде на жизнь, на испытания, которым она нас подвергает, взгляде, одинаково чуждом как тривиальному пессимизму, так и бездумному оптимизму... Некогда Рерих назвал социалистический реализм героическим реализмом. Определение, может быть, не исчерпывающее, но верно раскрывающее одну из его ведущих линий. Многие из образов Светлина Русева отличаются именно этим героическим звучанием, но не героикой позы и жестов, а спокойным повседневным героизмом людей, готовых все перенести и превозмочь, чтобы до конца остаться людьми».

Главное достоинство творчества Светлина Русева, по словам Райнова, в том, что оно исполнено света и веры в победу светлых сил над силами мрака в той битве, которая идет между ними и сегодня.

На снимке: репродукция картины Светлина Русева «Пробуждение».

(Еженедельник «Литературен фронт»)

ДИМИТРОВСКИЕ ПРЕМИИ 1980 ГОДА

Как сообщает еженедельник «Литературен фронт», в этом году высшей наградой Болгарии — Димитровской премией — отмечены те произведения последних лет, которые стали не только значительной вехой в творчестве их авторов, но и событием в современной литературе и искусстве.

В области литературы премия присуждена поэту Александру Герову за сборник стихов «Лучшее», в котором действительно собрано все лучшее в его поэзии, отличающейся простотой стиля и философской глубиной; прозаику Дико Фучеджиеву за романы «Река» и «Зеленая трава пустыни», а также двум ведущим критикам Пенчо Данчеву за книги «Черты гения», «Яворов» и «До и после расстрела» и Тончо Жечеву за книги «Болгарская пасха, или Страсти болгарские» и «История и литература».

Д. Фучеджиев, известный советским читателям по повести «Небо Велеки», напечатанной в журнале «Иностранная литература» (№ 6, 1965 г.), и другим повестям и рассказам, в своих новых романах с большим художественным мастерством ставит острые общественные и нравственные проблемы об отношении человека к природе, о преемственности поколений, о роли искусства, о судьбе художника и его ответственности перед обществом.

Книги П. Данчева посвящены классикам — великому поэту и революционеру Христо Ботеву, замечательному поэту-лирику Пейо Яворову и выдающемуся поэту-антифашисту Николе Вапцарову, 70-летие которого в прошлом году торжественно отметила мировая общественность. Четкость идейных позиций, оригинальность решения, тонкий анализ материала, ясность изложения определили, по мнению болгарской критики, успех книг Данчева.

Книга Т. Жечева «Болгарская пасха...», посвященная важному периоду национально - освободительной борьбы болгарского народа, получила в Болгарии широкое признание. Связь литературы с историческими процессами и общественной жизнью страны прослеживает автор и во второй книге.

В области киноискусства премия присуждена режиссеру Зако Хеския за фильмы «Одни среди волков» и «Зарево над Дравой», в области изобразительного искусства — скульптору Валентину Старчеву за скульптуры «Ленин», «Пьета» и «Литейщик».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

БЕЗ КОНТРАСТОВ НЕТ ДВИЖЕНИЯ

В центре внимания английской и американской литературной критики находится трилогия Дорис Лессинг, две части которой — «Микастра» и «Брак между зонами три, четыре, пять» — уже известны читателям. Необычные названия, пишет Р. Тауэрз в «Нью-Йорк таймс бук ревью», скрывают не менее неожиданное содержание. Формально оба произведения относятся к научной фантастике: действие происходит в космосе, на неведомых планетах. С другой стороны, это и романы-аллегории, напоминающие произведения средневековой литературы.

«Это несомненно новая Дорис Лессинг,— пишет Р. Тауэрз,— совсем непохожая на автора романов «Трава поет», «Марта Квест», «Лето перед закатом». Уже в книгах «Город четырех ворот», «Краткая инструкция для спуска в ад», «Мемуары выжившего» чувствовалось, что писательницу, которую всегда занимала судьба женщины, ее место в обществе, ее право на равное социальное положение с мужчиной, стали интересовать глобальные социально-философские аспекты существования индивидуума».

Общее число планет шесть. Движение идет от низшей формы к высшей: от планеты № 6 к планете № 1. На планете № 6 живут беспокойные, утратившие гармонию души, они мечутся в надежде, что им будет ниспослано разрешение на перевоплощение. В основном действие происходит на планете № 3. Это средняя ступень в иерархии. Здесь правит прекрасная королева, очень похожая на героинь средневековых произведений. Планета № 3 — мирное, богатое, спокойное место. Здесь нет армии, поскольку в ней нет никакой надобности. Королева демократична в своем поведении и правлении. Государственная жизнь лишена церемоний, дети здесь имеют не только родителей по крови, но и духовных родителей, роль которых в воспитании молодого поколения очень важна.

Иная ситуация на 4-й планете. Здесь правит король, за которого выходит замуж королева планеты № 3. Здесь патриархат, мужчины — на службе в армии, женщины следят за детьми дома. Здесь идут постоянные военные приготовления, среди населения царит страх. И лишь под влиянием прекрасной королевы, под воздействием облагораживающего, с точки зрения Лессинг, женского начала здесь происходят изменения.

Вероятно, пишет рецензент, сегодняшнюю Дорис Лессинг занимает идея движения, возможности социального и нравственного совершенствования человека. Она хотела изобразить такой порядок существования, в котором движение идет по восходящей. Это своего рода неоплатоническая лестница, конечная точка которой — «гармоническое состояние души».

98721

Именно столько писем вошло в двухтомное издание эпистолярного наследия автора знаменитой «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла, изданных Морто-ном Коэном и Роджером Лэнслином Грином. «Эти два тома,— пишет рецензент «Бритиш бук ньюс»,— плод двадцатилетнего труда и любви». Издание снабжено обширным справочным аппаратом; читатель найдет здесь фотографии и рисунки Льюиса Кэрролла, узнает новые подробности, связанные с судьбой «Али-

На снимке: иллюстрации к различным изданиям книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» — Джона Тенниела (1865), Мейбл Люси Этвелл (1910), Вилли Погейни (1929), Филиппа Гофа (1950), Мервина Пика (1954).

(Еженедельник «Санди таймс»)

сы...», прочтет неопубликованные ранее акростихи Кэрролла, шарады и загадки, которые он был мастер сочинять. Среди адресатов писателя — Теннисон, Раскин, лорд Солсбери и, конечно же, Алиса Лидел, та девочка, которой посвятил Кэрролл свою сказку, ставшую любимой книжкой детей.

ВЕНГРИЯ

ПРЕМИЯ КОШУТА — ПОЭТУ

Янош Пилински — лауреат премий имени Баумгартена и Аттилы Йожефа — относится к поколению поэтов, которое пережило все ужасы второй мировой войны. Его поэтическое слово родилось в горниле военных лет, принесших людям неисчислимые страдания. Первые произведения Пилински были напечатаны в 1942 году. Сегодня Янош Пилински — автор нескольких сборников стихов, книги сказок, автор сценария известного фильма-новеллы «Реквием». Он активно работает и в журналистике.

Уже в первых своих произведениях Янош Пилински проявил себя как страстный антифашист и гуманист. Рецензент газеты «Мадьяр немзет» писал в связи с присуждением Пилински премии Кошута, что поэзия его проникнута неистребимой верой в человеческий разум, для него главное в человеке — чувство ответственности. Поэзия для него, по мнению рецензента,— способ действия во имя постоянного изменения мира к лучшему. Его творчество отличается неустанными нравственными исканиями.

АТТИЛА ЙОЖЕФ — ПЕРЕВОДЧИК СТИХОТВОРЕНИЯ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА

Не только для венгерских литературоведов, но и для читателей было неожиданным недавнее сообщение о том, что Аттила Йожеф в 1932 году перевел на венгерский язык стихотворение Фридриха Энгельса «Господин Тидман», написанное по мотивам датской народной баллады XVII века и воссоздающее эпизод героической борьбы датских крестьян за свою независимость. История этой публикации, говорится на страницах газеты «Мадьяр немзет», относится к периоду между двумя мировыми войнами, когда многие представители творческой интеллигенции, преследуемые хортистскими властями, вынуждены были эмигрировать за границу.

ВЬЕТНАМ

ЮБИЛЕЙ МОЛОДЕЖНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА

Исполнилось 25 лет издательству вьетнамских комсомольцев «Тхань ниен». За прошедшие годы им было выпущено примерно 1 100 наименований книг общим тиражом 15 миллионов экземпляров, среди которых немало произведений советской литературы.

По этому случаю правительство СРВ наградило издательство «Тхань ниен» орденом Труда.

НОВОСТИ ВЬЕТНАМСКОГО ТЕАТРА

Исполнилось двадцать лет Ханойскому драматическому театру «туонг» — одному из ведущих театральных коллективов страны. В самом начале творческого пути в этом коллективе насчитывалось всего 15 исполнителей, а сейчас — более 100, причем многие из них за свою деятельность отмечены наградами на смотрах театрального искусства. В репертуаре театра — исторические и современные пьесы: «Меч предводительницы», «Нго Куйен», «Де Тхам», «След впереди идущего», «Моллюски» и др.

С особым интересом был встречен зрителями новый спектакль «Источник огненной земли», поставленный режиссером Нгок Фыонгом по роману «Страна поднимается» известного вьетнамского писателя Нгуен Нгока. В пьесе говорится о том, как французские колонизаторы и их приспешники старались посеять вражду между малыми народностями, населяющими пло-

Восемьдесят женщин — скульпторов и живописцев представили свои работы на выставку изобразительного искусства в Ханое. Особый успех выпал на долю работ Нгуен Тхи Ким «Портрет дочери», Фам Зя Хыонг «Портрет матери», пейзажей Май Тхань Тхин.
На снимке: эстамп Май Кхань «Женщины, чинящие сеть».

(Газета «Нян зан»)

скогорье Тайнгуен. Но их происки терпят провал, а население Тайнгуена поднимается на борьбу против врагов страны.

За заслуги в области театрального искусства коллектив театра был награжден орденом Труда.

В Ханое начал работать недавно созданный Театр юного зрителя, поставивший две пьесы — «Горячий камень» по произведению Аркадия Гайдара и «Как принц ремеслу учился» по мотивам народной легенды. В репертуаре театра—также пантомима и музыкальные номера.

ГДР

НОВЫЙ РОМАН ГЕДДЫ ЦИННЕР

«Во всех моих романах и стихах я пытаюсь рассказать о судьбах людей в конкретных политических и исторических условиях. В романе «Катя» поставлено много вопросов, на которые я сама не всегда могу ответить; возможно, на них и нельзя ответить... Важно то, что они, эти вопросы, поставлены». Такими словами охарактеризовала на встрече с читателями свой новый роман «Катя» одна из старейших писательниц Гедда Циннер (о ней см. «ИЛ» № 5, 1979).

Издательство «Дер морген» приурочило выход новой книги к юбилею писательницы: Гедде Циниер исполнилось 75 лет. В статьях, посвященных Г. Циннер, видные литературоведы рассказывают о творческом пути писательницы, о ее общественной деятельности. Произведения Гедды Циннер вышли тиражом более четверти миллиона экземпляров, многие из них переведены на иностранные языки, писательница награждена орденом Карла Маркса, она лауреат Национальной премии и ряда литературных премий.

Героиня новой книги — молодая женщина Катя. У нее открытый, прямой характер, она добра и немного наивна. Столкнувшись с эгоизмом и черствостью Уве — человека, которого полюбила и с которым связала свою жизнь,— она не выдерживает тяжелого испытания и кончает самоубийством. Ее страшный конец заставляет всех ее близких мучительно размышлять о том, что привело к трагической развязке. Каждый из них считает, что на нем — часть вины.

«Новая книга Гедды Циннер поднимает очень серьезные моральные проблемы,— пишет Вернер Нойберт в газете «Берлинер цайтунг».— Я думаю, что это очень важное и нужное произведение, посвященное современности».

«УВЛЕЧЕНИЕ»

Так называется фильм, выпущенный студией ДЕФА.

Героиня фильма Эдит узнает, что ее муж Вольфганг продолжает любить женщину, к которой хотел уйти еще двенадцать лет назад. Рушатся все ее представления о, казалось бы, благополучном браке, она считает, что жизнь для нее потеряла всякий смысл. Но Эдит предстоит новое серьезное испытание: возлюбленная мужа трагически погибает, остается ее двенадцатилетняя дочь, которую нужно принять в свою семью. Два взрослых человека должны скрывать от подростка свои переживания, проявить лучшие человеческие качества. И для Вольфганга, и для Эдит это становится своеобразным экзаменом.

На снимке: Рената Гайслер и Уве Цербе—исполнители главных ролей в фильме «Увлечение».

(Еженедельник «Зонктаг»)

«Увлечение» — дебют двух женщин: режиссера Эвелин Шмидт и сценариста Регины Вайкерт, создавших, по мнению рецензентов, очень лиричный и эмоциональный фильм.

ДАНИЯ

РОМАН О СОПРОТИВЛЕНИИ

Журналист, видный деятель датской компартии Вилли Карлссон известен и как автор романа «Квадрат» (1976), отразившего развитие рабочего движения в Дании с начала экономического кризиса 30-х гг. до вторжения в страну гитлеровских войск 9 апреля 1940 года. Роман «Неизвестные», выпущенный недавно издательством «Тиден»,— второй опыт автора в жанре художественной прозы. Эту книгу можно справедливо назвать продолжением «Квадрата»: в ней прослеживаются дальнейшие судьбы знакомых уже читателю персонажей — обитателей Квадрата, блока неблагоустроенных многоквартирных домов на окраине Копенгагена. Тема борьбы трудящихся за свои права органично сливается в новом романе с темой освободительной борьбы датского народа в период оккупации страны нацистами; не случайно «Неизвестные» увидели свет в 35-ю годовщину освобождения Дании от фашистских захватчиков.

В центре романа стоят те, кто возглавил и поддержал движение Сопротивления,— коммунисты, рабочие, в целом датский народ. Герои Вилли Карлссона — множество «неизвестных» участников подполья, которые в грозный для родины час не покорились фашизму. Вместе с тем, отмечают критики, герои книги отнюдь не идеализированы. В прошлом сам участник Сопротивления, Вилли Карлссон строит свое повествование целиком на жизненном материале: никаких абстракций, все — конкретно и детализировано.

По отзывам прессы, «Неизвестные» проникнуты верой в могущественные силы, таящиеся в народе, верой в великую роль коммунистической партии.

Роман Вилли Карлссона состоит из самостоятельных, разных по объему глав, иногда даже не связанных друг с другом сюжетной нитью. Однако, отмечают критики, подобное композиционное построение не мешает восприятию романа как цельного произведения.

Рецензент газеты «Ланд ог фольк» указывает, что Вилли Карлссону удалось создать впечатляющее эпическое полотно, объективно отражающее общественно-политическую жизнь страны в период Сопротивления.

ИНДИЯ

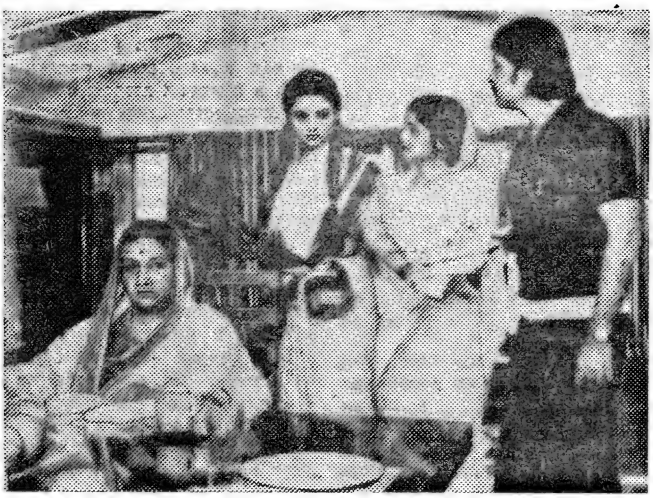
«В СТОРОНЕ ОТ ПРОТОРЕННОЙ ДОРОЖКИ...»

На экранах индийской столицы и других городов Северной Индии, как сообщает газета «Джан юг», с успехом демонстрируется новый полнометражный художественный фильм «Прелестное создание», поставленный режиссером Ришикешем Мукерджи. Сценарий написан по рассказу Д. Н. Мукерджи.

Это фильм об индийской семье, ветхозаветные устои которой постепенно рушат-

На снимке: кадр из фильма «Прелестное создание».

(Газета «Джан юг»)



ся под напором современности. «Фильм создан в стороне от проторенной дорожки дешевых коммерческих фильмов, заполняющих индийский экран», — такими словами характеризует рецензент новую картину. Отличая ее глубоко гумачистическое содержание, рецензент указывает, что новая работа Ришикеша Мукерджи развивает лучшие реалистические традиции индийского кинематографа. Значение картины еще более возрастает в период, когда, по словам рецензента, «показ насилия, секса и безнравственности на экране достиг крайних пределов».

Рецензент отмечает великолепную игру всего актерского ансамбля, особо выделяя исполнителей главных ролей — Ашока Кумара, Рекхи и Дины Патхак.

ИРАК

«СЛОВАРЬ БАГДАДСКОГО НАРОДНОГО ЯЗЫКА»

В Багдаде вышел первый том «Словаря багдадского народного диалекта», составленного известным иракским лингвистом и этнографом шейхом Джалелем аль-Ханафи аль-Багдади. Источником для словаря послужили записи живой повседневной речи багдадцев, их пословиц, рассказов и песен. Приведя то или иное слово или выражение, составитель дает его толкование и примеры его живого употребления. В словаре приводится множество названий предметов повседневного обихода, названий одежды и народных кушаний.

Словарь шейха аль-Ханафи — это лексикон современного, а не древнего багдадского диалекта: в его основе, как пишет автор, говоры арабских племен, поселившихся в Багдаде в середине XIX столетия — после эпидемии чумы и последовавшего за ней наводнения, опустошивших город в 1843 году.

Шейх аль-Ханафи дает этимологию слов, вошедших в современный багдадский диалект. Основной источник этого диалекта — арабский литературный

Большой популярностью пользуется у иракских зрителей актриса театра и кино Салима Хдейр (на снимке).

(Журнал «Ас-Сакафа аль арабийя»)

язык, за ним следуют языки арамейский, турецкий, персидский, монгольский, курдский, хиндустани, английский и французский. Небольшое число слов заимствовано им также из итальянского, испанского, русского, армянского и китайского языков.

ИТАЛИЯ

«ПО ТУ СТОРОНУ ОТ ЭБОЛИ: ПОЭЗИЯ»

В этом названии двухтомной поэтической антологии, выпущенной издателем Лакаита ди Бари,— перекличка с известной книгой художника, писателя, общественного деятеля-антифашиста Карло Леви «Христос остановился в Эболи», знакомой советскому читателю теперь уже не только по изданному в 1955 году переводу романа, но и по прекрасному фильму Франческо Рози, завоевавшему золотой приз на XI Московском международном кинофестивале в 1979 году.

Цивилизация не дошла до южных итальянских провинций, об одной из которых рассказали Леви и Рози, ибо «Христос остановился в Эболи». «Но поэзия в Эболи не остановилась» — так названа рецензия на поэтическую антологию в газете «Унита». Более девяноста поэтов, создававших свои произведе-

---

«Крупные уголовники не могут действовать, если не связаны с финансовыми кругами»,— так объясняет замысел своего нового фильма «Час шакалов» режиссер Дамиано Дамиани, создатель лент «Признание полицейского комиссара прокурору республики», «Я боюсь», «Человек на коленях» и других известных политических фильмов.
Главный герой его последней ленты занимается расследованием убийства комиссара полиции и важнейшего свидетеля преступления. Он четко представляет себе препятствия, которые неизбежно встанут на его пути.
На снимке: Лаура Троттер и Джулиано Джемма в фильме «Час шакалов».

(Газета «Паэзе сера»)

ния на отсталом итальянском Юге, «по ту сторону от Эболи», и отразивших в своем творчестве надежды и чаяния южан, явились перед читателем на более чем тысяче страниц двухтомника.

Составленная Леонардо Манчино под редакцией Антонио Мотта и Карло Альберто Ауджери (он же автор критических очерков о представленных здесь поэтах) антология являет собой, по мнению газеты «Унита», «историко-критическую карту малоисследованных областей нашей литературы XX века, серьезный библиографический указатель, необходимое пособие для тех, кто в будущем захочет глубже изучить отдельных авторов и отдельные явления культурной жизни Юга страны».

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

АВТОБИОГРАФИЯ ИЗВЕСТНОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ

Издательство «Кнопф» (Нью-Йорк) выпустило в свет новую книгу Сильвии Эштон-Уорнер «Пройденный путь». Писательница хорошо известна у себя на родине и за рубежом (советские читатели получили в 1979 году перевод ее романа «Времена года») как автор книг, затрагивающих проблемы воспитания и обучения детей и разрушающих традиционное представление об этих процессах.

Новое произведение Эштон-Уорнер, как сообщает рецензент еженедельника «Паблишерз уикли» Женевьева Статтафорд, — автобиография, причем писательница, по словам рецензента, сумела в рамках этого жанра создать вполне оригинальное произведение. В своих импрессионистических зарисовках, продолжает рецензент, она воссоздает нелегкий жизненный путь женщины, которая в силу обстоятельств много лет прожила вдали от своей родины — Новой Зеландии. Лирично, без ложной сентиментальности Эштон-Уорнер рассказывает о своем далеко не радостном детстве, о скитаниях, о первых шагах на учительском поприще. Вместе с мужем, тоже педагогом, Эштон-Уорнер много лет проработала в отдаленных районах страны, отдавая свои силы и педагогический дар детям маорийских бедняков — коренных жителей Новой Зеландии. Эта работа, кроме непосредственных практических результатов, дала писательнице опыт и богатый материал, который она обобщила в своей педагогической теории, получившей признание во всем мире, но, к большому огорчению автора, не привлекшей внимания в ее собственной стране.

ПОЛЬША

«В КРУГУ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ»

Так назвал свою статью в журнале «Театр» критик Хенрик Беневский, в которой дается широкий обзор советских пьес, идущих на советской сцене.

«Поиски ответа на вопрос «Как жить?» — вопрос не последней важности,— пишет он,— является общим для просмотренных мною спектаклей, поставленных по пьесам советских драматургов.

Современная советская драматургия, преобладающая в репертуарах советских театров, поражает многообразием тематики и проблем, многообразием сценических решений. Об этом свидетельствует репертуар театров Москвы и Ленинграда: историческая тематика соседствует с современностью, рядом с бытовой, психологической пьесой — пьеса политическая. Все эти произведения отличает высокий накал страстей: любят ли герои или ненавидят, защищают ли свои идеалы или обличают зло, все они делают это со страстью, чтобы никто в зрительном зале не остался равнодушным. И действительно, аудитория реагирует крайне активно, зрители спорят о сыгранных спектаклях долго и взволнованно».

Среди ленинградских спектаклей критик выделяет спектакль «Тихий Дон» в Большом драматическом театре, поставленный Г. Товстоноговым. «Проза Шолохова,— пишет он,— была переведена на язык эпического театра. Вопросы Григория: куда идти, где искать правду? — звучат как вопросы не отдельной личности, а всего огромного человеческого коллектива, как вопросы новой, рождающейся эпохи».

Говоря уже о спектакле Московского драматического театра им. Станиславского «Взрослая дочь молодого человека» по пьесе Виктора Славкина (режиссер Анатолий Васильев), он отмечает, что там ставится тот же вопрос: «Как жить?». Славкин очень метко и беспощадно показывает жизненную катастрофу своего героя (блестяще сыгранного Альбертом Филозовым), который до сих пор живет страстями пятидесятых годов и обидами, нанесенными ему когда-то, и поэтому не может так активно и наполненно жить, как его ровесники.

Критик отмечает спектакли по пьесам Александра Вампилова, поставленные В. Андреевым в Театре им. Ермоловой, «А зори здесь тихие...» по книге Бориса Васильева в Театре на Таганке, «Лунин, или смерть Жака» на Малой Бронной по пьесе Радзинского (постановщик Александр Дунаев) о трагической судьбе декабриста Лунина, замечательный образ которого создал молодой актер Олег Вавилов. «Прекрасная пьеса Радзинского,— пишет Хенрик Беневский,— повествует о бунте против царской тирании, она является приговором гибнущему миру, разжигает пламя надежды на приход новой эпохи, эпохи справедливой». Рождение этой эпохи отражает Михаил Шатров в своей пьесе «Синие кони на красной траве», поставленной Марком Захаровым и Юрием Михеевым, главным героем которой является Ленин. «Обращение Шатрова к истории ни в коей мере не является уходом от действительности. Наоборот, драматург, говоря о событиях давних лет, глубже может

отображать события сегодняшнего дня. «Синие кони на красной траве» не являются традиционной пьесой, а «попыткой», по словам драматурга, создать публицистическую пьесу, где отсутствует литературный вымысел, а присутствуют документы. Высокую оценку дает критик исполнению Олегом Янковским роли Ленина: «Янковский без всякого грима необычно просто, с глубокой проникновенностью произносит слова Ленина, ни в коей мере не подражая ему, и благодаря этой простоте слова Владимира Ильича звучат с особенной убедительностью».

Заканчивая свой обзор, Хенрик Беневский говорит: «Выходя из театра, я с завистью думал о многообразном и чрезвычайно интересном репертуаре советских театров, я думал о репертуаре, который не только доставляет удовольствие зрителям, а предоставляет актерам, режиссерам, театральным художникам огромные возможности создавать произведения искусства, имеющие право на долгую сценическую жизнь».

«ВРЕМЯ НЕВОЛИ — ВРЕМЯ СМЕРТИ»

Во второй мировой войне погибло 13 миллионов детей, в том числе свыше двух миллионов польских детей. Этой трагедии посвящена книга-альбом, снабженная большим количеством иллюстраций, под названием «Время неволи — время смерти». Авторы ее — Роман Храбар, Зофья Токажова и Яцек Е. Вильчур. Сотни документальных фотографий, взятых из архива главной комиссии по расследованию гитлеровских преступлений в Польше, из Государственного архива, из Музея в Освенциме и из частных собраний, представляют историю мученичества польских детей в 1939—1945 годы. Часть фотографий принадлежит самим гитлеровцам, на которых показаны гестаповцы, проводящие операции по уничтожению детей.

Газета «Трибуна люду» сообщает, что эта книга-альбом будет издана также на английском, немецком, французском и русском языках. «Стоит это только приветствовать,— пишет газета. — По прошествии тридцати пяти лет победы над фашизмом многим людям, особенно на Западе, надо напомнить, чем был гитлеризм и какие преступления против человечности он совершал».

САЛЬВАДОР

ПАМЯТИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОЭТА

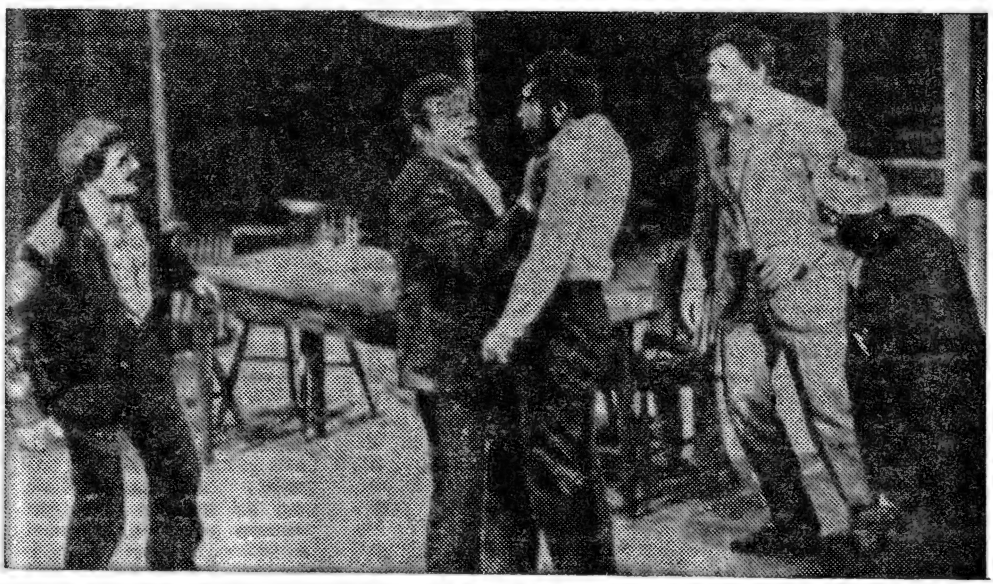
Исполнилось пять лет со дня смерти выдающегося сальвадорского поэта Роке Дальтона, убитого 10 мая 1975 года ультраправыми экстремистами, проникшими в подпольную «Революционную армию народа», в рядах которой поэт боролся против хунты.

Известный аргентинский писатель Хулио Кортасар писал по этому поводу в статье «Чудовищная смерть», вошедшей в подборку посвященных памяти поэта произведений и откликов писателей разных стран на его гибель («Каса де лас Американас» № 94,

---

Театр им. Выспянского в Катовицах поставил спектакль по театральной повести Василия Шукшина «Энергичные люди». Режиссеру спектакля Михаилу Павлицкому, как пишет критик Барбара Остерлефф, удалось успешно донести до зрителя острую сатиру Шукшина. Критик отмечает яркую игру всего актерского ансамбля.
На снимке: сцена из спектакля «Энергичные люди» в театре им. Выспянского в Катовицах.

(Журнал «Театр»)



1976): «Роке Дальтон принадлежал к тем народным заступникам, чью нестибаемую волю не в силах были сломить ни горькая доля изгнанника, ни постоянные преследования, ни пребывание в тюремных застенках и угрозы палачей-тюремщиков убить его и затем оклеветать перед потомками, о чем он писал в своей книге «Простодушный поэт, которым был я». Он неизменно находился на переднем крае жесточайшей борьбы. И говорить о Р. Дальтоне-поэте — значит говорить прежде всего о революционере, который не мог позволить себе быть просто поэтом».

Недолгая жизнь Р. Дальтона оборвалась безвременно — на пороге его сорокалетия (он родился 14 мая 1935 года). Еще при жизни поэта его произведения завоевали широкое признание и любовь читателей и были удостоены наград на международных литературных конкурсах. Дважды присуждалась ему премия «Каса де лас Американас» — за поэтические книги «Очередь оскорбленного» и «Таверна и другие места».

К пятилетию со дня смерти Р. Дальтона издательство «Каса де лас Американас» выпустило собрание избранных произведений поэта (составитель — уругвайский писатель Марио Бенедетти). «Поэтический язык Р. Дальтона,— пишет рецензент газеты «Хувентуд ребельде»,— не знавший риторики, впитал в себя образность живой народной речи, ибо темы его произведений почерпнуты из сальвадорской действительности, из повседневной жизни простых людей его порабощенной родины и других стран Латинской Америки». Верой в победу сальвадорского народа над силами реакции, убежденностью в неотделимости задач революционной поэзии от целей национально-освободительного движения проникнуты созданные Роке Дальтоном в подполье произведения последних лет жизни, впоследствии объединенные в книгу «Поэтические истории о борьбе классов». Книгу, которая ныне воспринимается как завещание поэта.

США

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ УМИРАЛ

Год назад исполнилось сто лет со дня рождения американского борца за рабочее дело, поэта, композитора, певца и музыканта, выходца из Швеции Йоэля Эмануэля Хеглунда, известного миру как Джо Хилл (см. «ИЛ» № 7, 1979).

В 1915 году, по настоянию владельцев медных рудников в Солт-Лэйк-Сити Джо, обвиненный в не совершенном им убийстве, был казнен за свое активное участие в профсоюзном движении, за свои бунтарские песни, объединявшие разноязычных американских рабочих и поднимавшие их на забастовочную борьбу.

Прошли годы, и Джо Хилл-человек превратился в человека из легенды. В волнующей песне Алфреда Хэйса и Эрла Робинсона «Джо Хилл», с которой советских людей познакомил Поль Робсон, в ответ на недоуменное восклицание автора, увидевшего казненного Джо во сне: «Ведь ты же умер!» — Джо отвечает: «Я никогда не умирал». Эта строка песни и послужила названием для пьесы и записок Барри Стэвиса «Человек, который никогда не умирал». В год столетия Джо Хилла эта пьеса была поставлена во многих странах.

Как сообщает газета «Лидер пост», выходящая в столице провинции Саскачеван г. Реджайне, по инициативе Федерации труда этой провинции впервые в Канаде в театре «Глоб» осуществлена постановка «Человека, который никогда не умирал». По словам «Лидер пост», высоко оценившей игру всей труппы и качество постановки, пьеса Стэвиса стала одной из крупнейших постановок «Глоба» сезона 1979/80 гг. «Идеи Джо Хилла,— пишет газета,— пережили Хилла-человека, его песни солидарности все так же звучат в профсоюзных залах и сегодня. «Человек, который никогда не умирал» доносит до зрителей эти же убедительные мысли со сцены».

Сам автор пьесы Барри Стэвис присутствовал по приглашению шведского «Рикстеатра» на премьере «Человека, который никогда не умирал» на родине Джо Хилла. Пьеса была показана также столичным театром Манилы на Филиппинах. Спектакль был столь превосходно принят зрителями и прессой, что администрация театра включила его в репертуар будущего сезона. Би-би-си в Лондоне осенью 1979 года передала оперу Алана Буша, написанную по либретто Б. Стэвиса. В Будапеште, подготовленная под руководством известного режиссера Ольги Сиклос, большая программа была передана по венгерскому радио в день рождения Джо Хилла. В Национальном театре Югославии постановку пьесы о Джо Хилле осуществил режиссер Мирослав Белович.

В Советском Союзе пьеса Стэвиса «Человек, который никогда не умирал» неоднократно передавалась по радио и телевидению. Главы из записок Барри Стэвиса о Джо Хилле и очерки о нем публиковались в журналах «Огонек» и «Октябрь». Отдельной книгой полный текст записок «Человек, который никогда не умирал» был издан «Мыслью» в 1964 году. Песни самого Джо Хилла издавались отдельным сборником издательством «Художественная литература». Подобные издания осуществлены также и на Украине.

ТУРЦИЯ

«НАПАДЕНИЕ НА СОЛНЦЕ»

Название одного из самых известных революционных стихотворений турецкого поэта-коммуниста Назыма Хикмета также послужило названием для спектакля студентов Босфорского университета (Стамбул).

В основу спектакля студенческого театра положены стихи революционных поэтов мира, рассказывающие об истории международного рабочего движения от бунта луддистов в Англии до Великой Октябрь-

ской социалистической революции в России. Спектакль, пользующийся большим успехом у молодежи, идет в сопровождении слайдов, иллюстрирующих происходящее на сцене картинами борьбы рабочего класса Турции.

ФИНЛЯНДИЯ

ЗВАНИЕ АКАДЕМИКА — ВЯЙНЕ ЛИННА

По сообщению газеты «Кансан уутисет», 10 марта с. г. в связи с юбилеем Академии Финляндии президент республики присвоил звание академика пяти финским и шести зарубежным деятелям науки и культуры. Среди них — широко известный в Финляндии и за ее пределами писатель Вяйне Линна. Две части фундаментальной реалистической трилогии Вяйне Линна «Здесь, под Полярной звездой» о судьбах финского крестьянства последних десятилетий прошлого и первой половины нынешнего столетий были переведены на русский язык.

Сейчас в Москве в издательстве «Прогресс» готовится к выходу из печати в издании Библиотеки финской литературы роман об участии Финляндии во второй мировой войне «Неизвестный солдат», уже переведенный на многие языки мира. Гуманистический антивоенный роман Вяйне Линна выдержал рекордное для Финляндии количество переизданий и получил невиданный для страны тираж — около полумиллиона экземпляров.

ФРАНЦИЯ

«ФЛОБЕР, ТЕАТР-РОМАН»

К столетию со дня смерти Гюстава Флобера Театр им. Максима Горького в Париже показал пьесу «Флобер, Театр-роман», написанную и поставленную Аленом Ван дер Мальером. Пьеса стремится показать связь жизни и творчества писателя с историческими событиями его времени. Первая часть пьесы посвящена отрочеству и юности Флобера, той важной роли, которую сыграло в его творческом становлении увлечение театром, в нее входит и веселая одноактная пьеска, написанная и поставленная Флобером, когда он был пятнадцатилетним лицеистом. Во второй части инсценирован ряд эпизодов из романа «Воспитание чувств», подчеркнута их связь с революционными событиями 1848 г. В завершающей части пьесы показаны сцены из «Бувара и Пекюше».

Критик «Юманите» Жан-Поль Жуари отмечает, что актеры Жан Жулен и Даниэль Лезюр достигают в своей игре всестороннего раскрытия этих персонажей: «Они то восхищают нас своим энтузиазмом в стремлении к знаниям, то смешат наивным преклонением перед наукой, смешанным с невежеством, то трогают отчаянием, вызванным нелепыми и неудачными попытками применить теорию на практике, в шаржированной форме возрождая перед нами девятнадцатый век». Критик видит удачу спектакля в раскрытии антибуржуазной направленности творчества Флобера, столь же современного сегодня, как и сто лет назад.

Новый многосерийный телефильм «Монт-Ориоль», по одноименному роману Мопассана, создан режиссером Сержем Моати по сценарию Женевьевы Дорман. «Социальное полотно Мопассана до сих пор актуально»,— говорит Ж. Дорман в беседе с критиком еженедельника «Нувель литтерер».— Каждый день мы видим предприимчивых дельцов, которые наживаются на разорении деревень. Каждый день мы видим девушек, которых принуждают вступить в брак по расчету».
На снимке: кадр из фильма «Монт-Ориоль».

(Еженедельник «Нувель литтерер»)

ЯПОНИЯ

УНО ДЗЮКИТИ О ЧЕХОВЕ

Недавно вышла книга «О «Вишневом саде» А. П. Чехова. Это труд главного режиссера театра «Мингэй», известного актера Уно Дзюкити. Основой для книги послужила его режиссерская тетрадь, в которой он делал записи во время работы над пьесами Чехова. В послесловии Уно пишет:

«Мне довелось поставить три пьесы Антона Павловича Чехова: «Чайку» (1969), «Трех сестер» (1972) и «Вишневый сад» (1974).

Когда я пересмотрел и привел в порядок свои режиссерские записи, мне пришла в голову идея издать каждую из этих тетрадей отдельной книгой... И конечно, было бы естественнее начать работу с «Чайки», которая была поставлена первой. Но так как свежи еще были впечатления от только что завершенной работы над «Вишневым садом», я принялся именно за нее. Работа была не такой простой, как казалась поначалу. Нелегко

На снимке: сцена из спектакля «Вишневый сад» в театре «Мингэй».

(Из книги «О «Вишневом саде» Уно Дзюкити)

было выразить на бумаге все то, что я думал и передумал о самой пьесе, о каждом персонаже, о каждой его реплике. Одно дело написать короткое эссе и совсем другое — целую научную работу.

Трудно добиться выразительности не только в литературных опусах, но и в работе над самими спектаклями. Пьесы Чехова требуют прежде всего талантливого актерского коллектива, но беда именно в том, что они возбуждают нетерпеливое желание сию же минуту начать работу, даже если еще не набран нужный состав исполнителей.

И когда по окончании спектакля не слышишь взволнованных аплодисментов, а раздаются лишь жидкие рукоплескания ради приличия, ощущаешь вину перед Чеховым за то, что не смог создать такой спектакль, который захватил бы зрителя целиком. Одним словом, пьесы Чехова сложны не только для тех, кто их ставит, но и для зрителей.

И все-таки я уже с трепетом думаю о постановке четвертой пьесы Антона Павловича — «Дядя Ваня». Уже готов новый перевод пьесы, режиссерская разработка, над которой я трудился с огромным наслаждением. Осталось лишь найти нужных исполнителей...».

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. И. Иванова.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17. Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

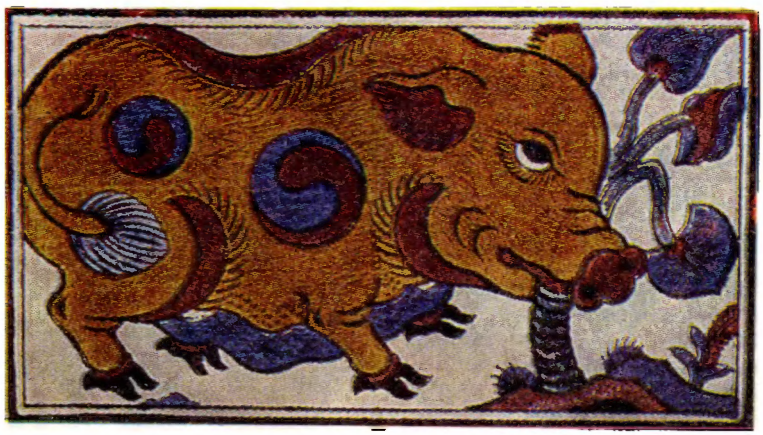
Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 3/VII 1980 г. А 11147. Подписано в печать 19/VIII 1980 г.
Бумага 70×108 1/16. 17 п. л. (23,8) усл. п. л. Уч.-изд. л. 29,01.

Тираж 480 000 экз. (1-й завод: 1 — 400 000 экз.) Зак. 2185.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

老蝸講讀
長
幹



Цена номера 80 коп.

Индекс 70394